



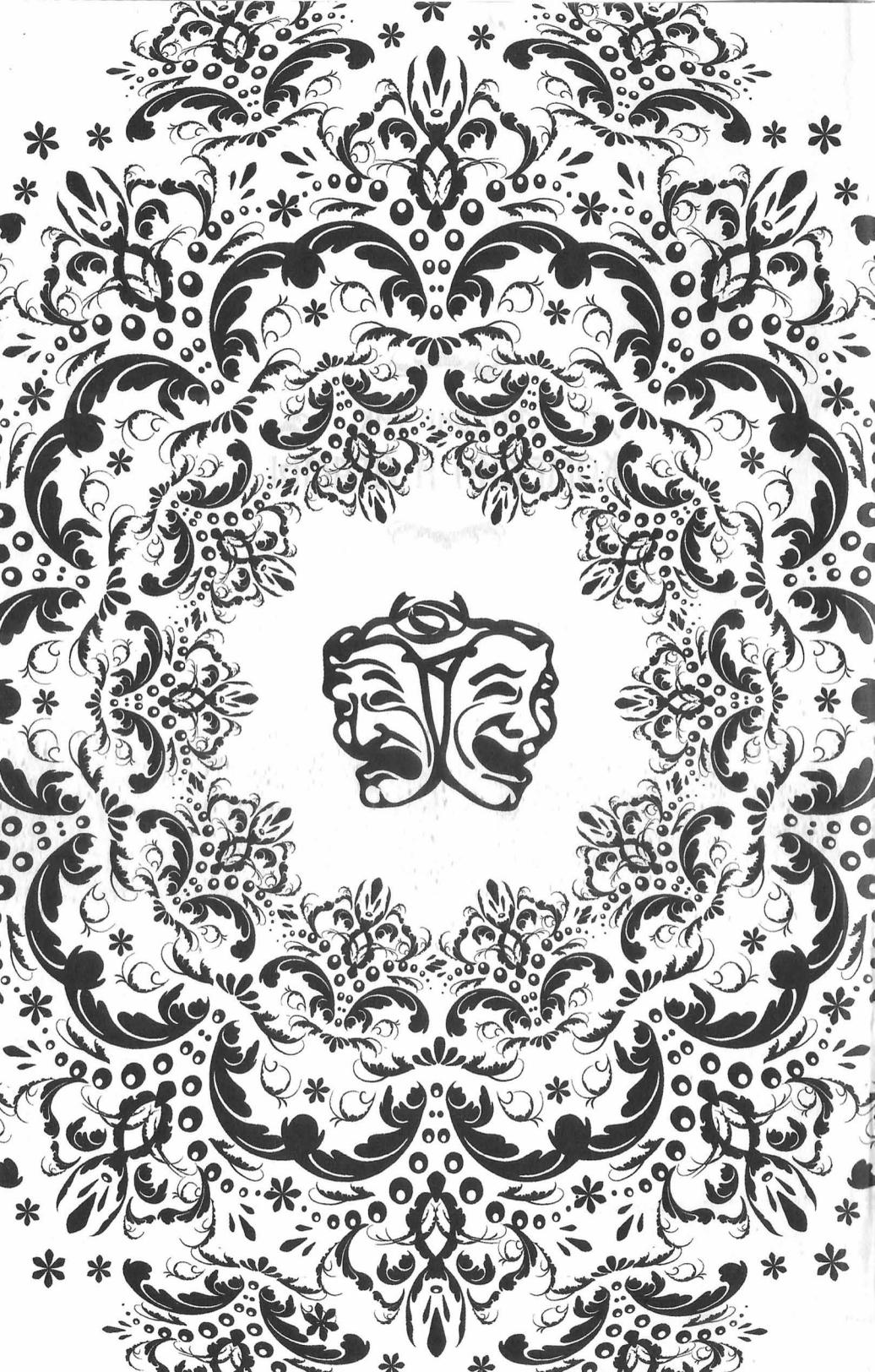
Людвиг ТИК
КОМЕДИИ И ДРАМЫ





ЛЮДВИГ ТИК
КОМЕДИИ И ДРАМЫ







ЛЮДВИГ ТИК
КОМЕДИИ И ДРАМЫ



Москва
Русский импульс
2016



УДК 821.112.2
ББК 84(4)
Т 40

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»

Тик, Людвиг Иоганн.

Т40 Комедии и драмы / Людвиг Иоганн Тик; / пер. с нем.
И.В. Логвиновой. — М.: Русский импульс, 2015. — 560 с. —
ISBN 978-5-902525-98-1

В этой книге представлены ранее не переводившиеся комедии и драмы немецкого романтика Людвиг Иоганна Тика (1773–1853): «Автор», «Пролог», «Анти-Фауст», «Принц Цербино», «Кайзер Октавиан», а также «Мир наизнанку». Тексты снабжены историко-литературными комментариями.

Данная книга предназначена для исследователей романтизма, германистов, историков и теоретиков литературы, преподавателей.

Категория 16+

ISBN 978-5-902525-98-1

© Логвинова И.В., перевод, 2015.

© ООО «Русский импульс», оригинал-макет, 2015

© Верповская Ю., оформление, 2015

СКАЗКА И ЛЕГЕНДА В ПЬЕСАХ Л.И. ТИКА

Сказка — жанр очень древний, тесно связанный, по мнению сторонников мифологической теории (Я. и В. Гримм — в Германии, А.Н. Афанасьев и Ф.И. Буслаев — в России) в фольклористике, с мифом («осколки древнего мифа»). По свидетельству Э.В. Померанцевой, «сказки постоянно привлекают внимание писателей, широко использующих народные сказочные образы, темы и сюжеты, создающих литературные сказки. Таковы сказки А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Х.К. Андерсена, В. Хауфа...»¹. В середине XVIII века сказкой с морально-этической точки зрения заинтересовались просветители. Сказку любили йенские романтики, поскольку главной чертой нового искусства было объявлено «чудесное и вечное чередование водушевления с иронией» (из формулы романтической иронии Фр. Шлегеля). Новалис говорил о сказке как о каноне поэзии, в котором соединяется поэзия и случайность. «Настоящая сказка, — писал Новалис, — как и сновидение, бессвязна — ансамбль чудесных вещей и происшествий <...> сказки — ряд милых, занимательных опытов — увлекательная беседа — праздник. Сказка более высокого порядка возникает, когда в нее вносится рассудок (композиция, значение и т.д.), уживающийся со сказочным духом. Сказка может стать даже полезной»². Фр. Шлегель говорил о значении для романтизма народных легенд, которые выражают «настроение и мировоззрение многих столетий»³. Он же первым отнес Гёте к прогрессивным, а не современным поэтам. Иными словами, к поэтам романтическим: «Универсальность Гёте становится более очевидной, когда я заключаю то разностороннее воздействие, которое оказывают его произведения на поэтов и друзей поэтического искусства»⁴. Легенда и сказка даже стали своеобразным языком романтизма, поскольку они отвечают принципу универсальности.

Самые яркие представители сказочной просветительской литературы в Германии времени Гёте были К.М. Виланд (роман «Дон Сильвио де Розальва» со вставной сказкой «История принца Бирибинкера»), И.К. Музеус (сборник «Народные сказки немцев») и сам И.-В. Гёте («Сказка»). Своеобразным переходным звеном от сказки Просвещения к романтической сказке можно считать сказки Новалиса, в которых есть черты, характерные для эпохи XVIII века. Таковы его вставные сказки в романе «Генрих фон Офтердинген». Вслед за Новалисом в жанре сказки выступил Л. Тик (сказки-новеллы «Белокурый Экберт», «Руененберг», драматические сказки «Кот

¹ Померанцева Э.В. Сказка // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. М.: Сов. энцикл., 1971. Т. 6. С. 881–882.

² Новалис. Фрагменты. / Пер. с нем / А.Л. Вольского. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 250

³ Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М.: МГУ, 1980. С. 69

⁴ Там же. С. 65

в сапогах», «Жизнь и смерть маленькой Красной шапочки»). Затем можно назвать сказочную повесть Фридриха Де Ла Мотт Фуке «Ундина».

Таким образом, атмосфера, в которой жили и творили просветители, романтики и Гёте, была пронизана интересом к фольклору, в частности, к народным сказкам и легендам, шванкам, народным книгам. Можно даже заметить, что в этот период писатели перепевают на разные лады одни и те же сюжеты: персонаж народной книги и легенд Геновева (Л. Тик «Жизнь и смерть святой Геновевы», Ф. Геббель, опера «Геновева»); фея Мелюзина, образ которой взят из кельтской мифологии, героиня средневекового рыцарского романа «Мелюзина» Жана из Арраса (И.-В. Гёте «Новая Мелюзина», Л. Тик «Мелюзина», «Дунайская дева»); персонаж народной книги Фортунат встречается в сказках братьев Grimm и в большой драме для чтения Л. Тика «Фортунат»; герой народной книги доктор Фауст (И.-В. Гёте «Фауст», Л. Тик «Анти-Фауст»); герои сказок Ш. Перро Красная Шапочка, Ослиная Шкура, Кот в сапогах, Синяя Борода, Мальчик-с-пальчик встречаются и в сказках братьев Grimm, и в пьесах-сказках Л. Тика. Такие примеры можно множить и множить. Не говоря уже об образах животных и птиц, которые в литературной сказке получали новое, по сравнению с изначальной народной версией, философское, этическое и эстетическое звучание.

По словам А.А. Морозова, начало сказочному жанру в немецкой литературе положил К.М. Виланд: «Заимствуя традиционный реквизит французской «сказки о феях», Виланд иронически переосмысляет и пародирует ее мотивы, что создает почву для включения в нее философской и социальной сатиры»¹. Журнал Виланда «Немецкий Меркурий» пародировал Л. Тик (во фрагменте «Анти-Фауст», есть выпады против Виланда и в «Принце Цербино»: «Об одном персонаже сказки говорилось, что он “согласно виландовской традиции” воплотил в себе “восемь или девять утонченных и возвышенных умов”, а на вопрос, как же они в нем умещаются, дан ответ, что автора это особенно не интересовало»²). В романе Ф.М. Клингера «Новый Орфей» также звучат сказочные мотивы. Феи и волшебники есть у Гофмана. По словам А.А. Морозова, сказочный мир Гофмана «вобрал в себя все истинное и прекрасное, подлинно поэтическое, как он себе это представлял. Но он хорошо сознавал, как хрупко и ненадежно это пристанище. Его ирония почти в равной мере простирается на мир реальных отношений и на фантастический»³. Как и Л. Тик, Гофман любил сказки К. Гоцци. Однако его сатирическая сказка «продолжала традиции Просвещения в немецком романтизме. До известной степени она разрушала романтические иллюзии и представления <...>»⁴.

¹ Морозов А.А. Немецкая волшебнo-сатирическая сказка // Немецкие волшебнo-сатирические сказки / Отв. ред. А.В. Федоров. Л.: Наука, 1972. С. 155.

² Там же. С. 178.

³ Там же. С. 199.

⁴ Там же. С. 201.

Многие сюжеты своих пьес-сказок Л. Тик заимствует у Ш. Перро, в творчестве которого ярко проявилось стремление к новому и отражение народной жизни. Таковы пьесы «Жизнь и смерть маленькой Красной Шапочки», «Рыцарь Синяя Борода», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик». В отличие от сказок Ш. Перро, сказочный сюжет у Л. Тика не является главным, он скорее показывает жизнь этого сюжета, его бытование, его трансформацию в процессе взаимодействия с вечно текущей и вечно изменяющейся жизнью. Сюда привносится романтическая ирония (часто разрушающая сюжет), здесь создается ситуация диалога самых разных эпох и культур, от античной до средневековой и современной Л. Тика (сатира на Виланда, Фалька, Коцебу, Ифланда; творческий диалог с Гёте).

Если говорить о разнице во взглядах просветителей и романтиков на литературную сказку, то, пожалуй, основное здесь то, что романтики на материале народных сказок создавали новую мифологию.

Так, Л. Тик вводит в художественный мир своих романтических комедий персонажей из пьес Шекспира, Гольдони, Гоцци, Мольера и многих других, а также маски комедии дель арте, греческих богов (Аполлон, музы, Меркурий), сказочных персонажей (кот Гинц, Готлиб, Красная Шапочка), героев народных книг (Фортунат, Кайзер Октавиан, Геновева). Все они получают в его комедиях новую жизнь, он придает им новые черты, развивает их индивидуальность, показывая таким образом, что ни сказка, ни древняя мифология не застыли в себе, не остановились в своем развитии и что их персонажи живут, они мыслят, они даже пытаются взглянуть на себя со стороны глазами нового века. Попадая в непривычные для них обстоятельства, эти персонажи прекрасно в них адаптируются. Поэтому в «Принце Цербино» Нестор и Цербино могут общаться с поэтами прошлого, а в пьесе «Автор» к герою может явиться в гости драматург Лессинг верхом на облаке; в пьесе «Анти-Фауст» юный черт может читать «Фауста» Гёте и сравнивать его с народной книгой о Фаусте. Даже возможен спор Меркурия с Аристофаном, который прерывается внезапным появлением Ангела, сообщающего о «реабилитации» Аристофана в пьесе «Анти-Фауст»). Новая мифология предполагает и появление Старомодного человека при первой же мысли о нем («Автор»), потому что если в мире все взаимосвязано, то и мысли материальны. Точно так же появляется в комнате Поэта Ложная Слава, а потом и Настоящая Слава. Таким же образом к нему приходит Муза.

Л. Тик самим движением сюжета своей пьесы «Принц Цербино» утверждает идею творящейся и творимой жизни с ее капризами, непредсказуемостью. Романтическое видение мира, которое раскрывается в пьесе, характеризует спутанность, смутность, хаотичность жизни. Ее прихотливое движение раскрывается в самой структуре пьесы. Действие комедии «Кот в сапогах» непредсказуемо, изменчиво, строится на импровизации.

Подобная структура соответствует идее хаоса, которая была одной из самых важных в романтической философии и эстетике. Она активно об-

суждалась у Новалиса, Ф. Шлегеля, Шеллинга. Хаос — живая нерасчлененность, спутанность и единство всех явлений жизни, составляющая ее очарование. Показательно, что высшим символом хаоса, по мнению Шеллинга, является язык. В речи перемешаны все оттенки звуков, тонов, голоса, и все является единством: «Чувственное и не-чувственное здесь совпадают», все становится «образом всего», а сама речь становится «символом тождества всех вещей». По Шеллингу, существует единый язык, «взятый в абсолютном смысле», из которого «подобно тому как из абсолютного тождества выделяются различные вещи, <...> образуются различные языки»¹. В языке, которым говорит со своими читателями/зрителями художественное произведение, воплощаются смыслы искусства, идеи и замыслы поэта. В языке как высшем символе хаоса становится возможным синтез искусств, показ многомерности жизни, многомерное строение художественного произведения. Н.Я. Берковский пишет о том, что хаос ранних романтиков «рождает светлые миры»², в хаосе содержатся возможности для различного проявления творимой жизни. Идею такого хаоса в своих пьесах воплощает Л.Тик. Он смешивает драматические, эпические и лирические жанры. В его пьесах прозаические реплики перемежаются стихотворными вставками, песнями, балетом. В пьесе «Кот в сапогах» слито воедино по крайней мере несколько эпических (литературная сказка, новелла, философское эссе (в рассуждениях кота Гинца, Трактирщика и других персонажей)), драматических (мещанская драма, трагедия, фарс), лирических (песня, баллада, пастораль) жанров и жанров других искусств (музыки, живописи, режиссерского искусства (сюда относится появление на сцене Машиниста и его объяснения по поводу спецэффектов)). По существу, в некоторых комедиях на сцене представлен роман, но не читаемый, а играемый актерами. Персонажи этих комедий живут на сцене («Принц Цербино», «Кайзер Октавиан», «Фортунат»). Кроме того, эти пьесы очень объемны. Драма «Фортунат» напечатана в двух томах, в пьесах «Принц Цербино», «Кайзер Октавиан» в каждой более трехсот страниц. Их можно определить как пьесы для чтения, что уже означает синтез эпического и драматического начал.

Внутри пьесы-сказки «творчески живут» разные жанры (пастораль, семейная драма, философская беседа, импровизация на тему комедии дель арте и другие). Различные жанры присутствуют в текстах пьес-сказок как отдельные эпизоды и вставки. Пасторальные вставки есть в комедии «Принц Цербино» (история любви Лилы и Клеона), «Кайзер Октавиан» (хор пастухов и пастушек, а также последняя сцена, в которой показывается райское блаженство, переживаемое обществом на лоне природы), философские беседы есть в «Принце Цербино» (беседы Иеремии с Сатаной, Лесным братом и Поликомикусом), в комедии «Чайное общество» (застольные беседы, которые ведут персонажи), семейная драма пародируется

¹ Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1999. С. 216.

² Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 26.

в комедии «Кот в сапогах» (сцена получения Готлибом наследства; сцена, в которой сапожник снимает мерку, чтобы сшить сапоги коту Гинцу; разговор Короля и Принцессы), в комедии «Мир наизнанку» (сцены семейных будней Грюнхельма и Талии; разговор Ворона и супруги о воспитании сына) и т.п. Одна из ярких импровизаций на тему комедии дель арте представлена в комедии «Мир наизнанку» (битва за Парнас, в которой участвуют Скарамуш, Панталоне, Арлекин).

Конечно же, обилие сказочных и легендарных сюжетов у Л. Тика далеко не исчерпывается этой книгой. Задача составителя — заинтересовать читателя волшебным миром драматургии Л. Тика, его чарующей новой романтической мифологией, которую он создает из всем нам знакомых или уже забытых сюжетов. Хочется надеяться, что эта книга даст импульс к углубленному изучению драматического наследия Людвига Тика, которого читают, любят, помнят и переиздают у него на родине, в Германии. И хочется надеяться, что современная германистика, вслед за В.М. Жирмунским, Н.Я. Берковским, А.В. Карельским и др., продолжит изучение творческого наследия йенских романтиков и особенно Л. Тика, ибо романтизм, как таинственный многогранный кристалл, таит в себе еще много загадок.

О переводах и исследованиях немецкой романтической комедии

Немецкая романтическая комедия не случайно обращает на себя интерес исследователей.

Романтики поставили важнейшие проблемы эстетики, над которыми продолжают работать последующие поколения. Это универсализм как стремление искусства к охвату разнообразных и различных явлений в их взаимосвязи — идея универсальной прогрессивной поэзии (Ф. Шлегель), синтетическая природа искусства (смешение жанров и эстетических категорий), принцип историзма, народности, романтическая ирония, положение о преобразующей роли искусства (оно впервые было сформулировано А. Шлегелем в 1798 г. в рецензии на поэму И.-В. Гёте «Герман и Доротея»). Романтики размышляли о формировании новых жанров (фрагмента, драмы для чтения, романтической комедии, лирического цикла, психологической повести, лирической и драматической поэмы и др.), выдвинули концепцию мировой литературы (одновременно с И.-В. Гёте ее разрабатывали Фр. и А. Шлегели).

Заслуга романтиков и в утверждении преобразующей роли искусства, о чем справедливо писал А.С. Дмитриев¹.

¹ Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980. С. 15, 18.

Главное назначение романтической поэзии теоретики романтизма видели в универсальном охвате действительности. Поэт, по словам Новалиса, всеведущ, являет собой Вселенную. Ф. Шлегель считает, что не только поэт, но каждый образованный человек должен стремиться к универсальному взгляду на мир, т.е. «уметь настроиться по желанию философски или филологически, критически или поэтически, исторически или риторически, на античный или современный лад, совершенно произвольно, подобно тому как настраивают инструмент, в любое время и на любой тон»¹.

Поэту подвластны чужие культуры и эпохи, и все средства для выражения своих эмоций и мыслей. Он создает, по Ф. Шлегелю, универсальную прогрессивную поэзию, призванную объединять все явления бытия, разные жанры, а также поэзию с философией и риторикой. Романтическая поэзия основывается на идее синтеза, претендует на показ универсальной картины мира. Новалис по этому поводу рассуждал так: «Все законченное выражает не только себя самоё, оно выражает и весь сродный мир»². В каждом фрагменте действительности отражена, по мысли романтиков, целостная картина мира. Вместе с тем в нем выражена идея незавершенности и даже принципиальной незавершенности мироздания. Представление о творческом акте как выражении незавершенности и вечных метаморфоз мира, принципиальный отказ от жестких дефиниций, стремление видеть любое явление, любое понятие как развивающееся и становящееся, — являются важнейшими положениями романтической эстетики. Н.Я. Берковский отметил, что романтики не признавали точности и завершенности как фальшивых по сути понятий. Жизнь никогда не бывает завершена, а вещи — «весьма относительные точки покоя, временные узлы постоянного движения, пауза ради отдыха и нового собирания сил»³. Недосказанность, незавершенность предоставляет свободу творческой фантазии читателя.

Допуская «божественную дерзость» художника, Ф. Шлегель создал программу движения романтизма. Он выдвинул положение о том, что поэзия, как и искусство в целом, движется в рамках реальной человеческой истории, являясь внутренней творческой силой ее эволюции и прогресса. Эта верная в своей основе идея, к слову говоря, была позже положена в основу философии искусства Гегелем. Ф. Шлегель торжественно объявил о появлении новой мифологии, творящей будущее, распространяя это творческое начало на все сущее, в том числе на естественные науки. Продолжая развивать идеи Фихте, Ф. Шлегель разрабатывает концепцию *иронического*, и таким образом теория романтизма и романтической поэзии приобретает в его трактовке исчерпывающую полноту.

Важное место в эстетике йенских романтиков занимала теория жанров, в том числе драмы, комедии. Романтики создали разветвленную картину

¹ Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980. С. 52.

² Новалис. Генрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. С. 146.

³ Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 19.

драматического искусства, говорили об античной драматической поэзии и о современной поэзии.

Творя в разных жанрах, романтики осмыслили их специфику, размышляли над внутренними глубинными связями прозы, лирики и драмы, над связью различных искусств друг с другом (литературы и музыки, музыки и архитектуры и др.). В.-Г. Вакенродер, опираясь на средневековые поэтики, выделил музыку в отдельный вид творчества и в своих статьях осмыслил ее связь с другими искусствами (с литературой, архитектурой, живописью). Идея взаимодействия искусств лежит в основе романтического театра. В области драмы ее развивал Г. Клейст, а в области комедии — Л. Тик.

Об актуальности и жизненности идей йенских романтиков свидетельствуют современные исследования, отечественные и зарубежные, посвященные проблемам романтизма, нахождению новых связей между эстетикой романтизма и реализма, модернизма, постмодернизма (К.Г. Ханмурзаев, И.В. Карташова, Л.Е. Семенов, Н.С. Павлова, Д.Л. Чавчанидзе, О.В. Смолина, коллектив третьего тома «Истории немецкой литературы» в 5 тт. (1966) и др.; W. Sturk, R. Haym, M. Thalmann, B. Allemann, K. Brodnitz, K. Günzel, I. Kreuzer, W. Rath, E. Ribbat, G. Rommel и др.).

Специально комедиями Л. Тика занимался А.В. Карельский. Он отмечает антирациональную направленность пьес Л. Тика, принцип разрушения сценической иллюзии, который в дальнейшем будет широко использоваться драматургами. А.С. Дмитриев говорит о том, что комедия Л. Тика «Кот в сапогах» стала классическим примером воплощения теории романтической иронии¹.

Сами романтики обращались к жанру комедии в своих критических статьях (Ф. Шлегель «Об эстетической ценности греческой комедии» и др.), А. Шлегель в берлинском и венском курсах лекций, Л. Тик, анализируя творчество Шекспира, неоднократно говорил о комическом и комедии².

К сожалению, труды А. Шлегеля и Л. Тика в полном объеме еще не переведены на русский язык. И, несмотря на то, что интерес к романтизму оживился, остается много белых пятен в его изучении.

Что касается переводов немецкой романтической комедии на русский язык, то здесь складывается такая картина. Деятнадцатый век не проявлял большого интереса к комедиям Л. Тика. В начале XIX века из немецких драматических авторов были популярны в основном Шиллер, Гёте. Л. Тик не был широко известен читающей публике. В основном переводилась его проза и отдельные стихотворения. Внимание на драматургию Л. Тика обратила уже эпоха модернизма, как и на продолжающее новаторские тенденции Л. Тика творчество М. Метерлинка и Л. Пиранделло. Даже в Германии новаторские пьесы-сказки Л. Тика не имели очень большого успеха.

¹ История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 1991.

² Письма о Шекспире, статья «Понятие чудесного у Шекспира» (Tieck L. Kritische Schriften. In 2 Bde. Leipzig, 1848).

Они просто ждали своего часа. В начале двадцатого века была полностью переведена его пьеса-сказка «Кот в сапогах» (пер. В. Гиппиуса, 1916; пер. А. Карельского, 2004), и только в 2004 году — другие пьесы этого автора: «Шиворот-навыворот» (пер. Ю. Архипова) и «Мальчик-с-пальчик» (пер. М. Рудницкого).

Пьесы Л. Тика открывают новую эпоху в драматургии. Помимо Л. Тика авторами романтической комедии выступали К. Брентано («Сказки» и поздние «Капричио»), А. фон Арним. Таких комедий немного, но все они свидетельствуют о развитии жанра.

А.В. Карельский указывает на то, что «Пиранделло с признательностью вспоминал Тика, а Брехт не вспоминал. Но как бы то ни было: оказывается, тиковские «литературные забавы» предвосхитили очень существенные тенденции театра XX века...»¹. На самом деле, «эпический театр» Б. Брехта имеет много общего с экспериментом Л. Тика. Он использует не только тиковскую технику разрушения иллюзии, но, подобно Л. Тику, выступает реформатором немецкого театра, и считает, что зрителя нужно воспитывать. Используя эффект остранения, Б. Брехт сохраняет эмоциональную дистанцию между сценой и зрительным залом. При этом происходит не вживание в образ, а суд над героем. Используя прием разрушения иллюзии, Б. Брехт подводит под него идеологическую основу, дополняя его «техникой отчуждения». Театр Брехта — словесный, агитационный театр.

Можно сказать, что эстетика «нового театра» во многом основана на идеях экспериментальных пьес Л. Тика. Это и «эпический театр» Б. Брехта, и французская экзистенциальная драма (А. Камю), и камерная драма, и лирическая драма, и театр абсурда (Э. Ионеско), и другие.

Развитие приема разрушения сценической иллюзии происходит в различных формах философской и исторической драмы-притчи XX века, авторами которых были Жан Ануй во Франции, Тенниси Уильямс в США и др. Некоторые идеи (говорящие вещи, фантастические события, произвол художника) использовал в пьесе «Синяя птица» М. Метерлинк. В основе драм С. Беккета и Э. Ионеско также лежит разрушение сценической иллюзии вместе с разрушением действия как такового и отсутствием героя. В то же время эти авторы создают собственную мифологию. Основная масса западноевропейских драматургов восприняла от театра йенского романтизма романтическую иронию и тираноборческие тенденции, а также разрушение принципов классицистического театра: В. Гюго («Марион Делорм», «Эрнани»), А. де Виньи («Чаттертон»), А. де Мюссе («Лорензаччо») во Франции, Дж.Г. Байрон («Манфред»), П.Б. Шелли («Ченчи») в Англии, Г. Клейст («Пентиселея») в Германии, А. Мандзони («Граф Карманьола») в Италии.

В Восточной Европе сценические идеи Л. Тика получили своеобразное продолжение в пьесе И.-Л. Переца «Ночь на старом рынке», в творчестве

¹ Немецкая романтическая комедия / Сост., вступ. ст. А.В. Карельского. СПб.: Гиперион, 2004. С. 15.

Ст. Выспанского и Кароля Войтылы («театр восторга»), где театральное действие воспринимается как религиозный ритуал. Ст. Выспанский стремился в своих драмах к синтезу самых разных искусств (литературы, живописи, музыки), используя приемы разных жанров, и тем самым явился реформатором польского театра (философская драма «Освобождение», где использован прием «театра в театре», символистская пьеса-мистерия «Акрополь», где автор размышляет, подобно Л. Тику, о возможностях художника, о взаимовлиянии и взаимопроникновении искусства и жизни).

Основная масса восточноевропейских драматургов в своих пьесах использует прием романтической иронии: в Польше — «Дзяды» А. Мицкевича, «Кордиан» Ю. Словацкого, «Небожественная комедия» Красиньского, «Варшавянка» С. Выспанского, в Венгрии — «Воевода Штибор» К. Кишфалуди, «Бегство Задана» М. Верешмарти, в Чехии и Словакии — сказочно-фольклорные («Волынец из Стракониц») и революционные («Ян Гус») пьесы Й.К. Тыла, в Украине — пьесы П. Кулиша, в России «Борис Годунов» А.С. Пушкина, драматургия А.П. Чехова.

Таким образом, интерес к эксперименту Л. Тика у представителей восточноевропейской и западноевропейской драматургии начинает проявляться уже после его смерти, со стороны авторов поэтики «новой драмы», к которой относят такие направления, как «эпический театр» Б. Брехта, французская экзистенциальная драма, камерная драма, лирическая драма, театр абсурда и другие. В эпоху романтизма идея показа влияния пьесы на «театр сознания» зрителя еще не могла быть воспринята адекватно, она была слишком новой и революционной для только что отказавшейся от классицистических канонов литературы. В основном творчество Л. Тика обратило на себя внимание модернистов, а затем и постмодернистов.

Интерес к Л. Тику как к драматургу еще только начинает пробуждаться. Далёко не все его комедийное и теоретическое наследие переведено на русский язык. Ждут своего часа большая посмертно изданная «Книга о Шекспире», статьи о театре, рецензии.

Пьесы Л. Тика переводить непросто, поскольку это немецкий язык конца XVIII — начала XIX века, и, кроме того, в речь своих персонажей автор вкладывает много диалектных слов и архаических оборотов. В немецком тексте встречалось много пословиц, словесной игры, особенно в заумных высказываниях ученых персонажей. Также в пьесах Л. Тика очень много стихотворений, написанных в полушутливой манере, не всегда рифмованных. Чаще всего стихи этого автора можно переводить белым стихом, позволяющим максимально сохранить смысл, чем и воспользовался переводчик. Для нас главным было — сохранить смысл, вложенный самим Л. Тиком в свои пьесы.

Комедию «Кайзер Октавиан», которая наполнена поэзией и не предполагает постановки на сцене, мы перевели максимально близко к тексту, чтобы сохранить все ее поэтическое своеобразие. Поэтому мы не стали зариф-

мовывать стихотворные строки, чтобы не исказить поэзии, образов, изначального авторского замысла. Поэзия вообще непереводаема на другой язык.

Пусть читатель не удивляется, что в пьесах Л. Тика нет перечня действующих лиц. Сохраняя особенности тиковских текстов, мы сохранили и эту, тем более что персонажей у него очень много, и их перечень составил бы не одну страницу. Драмы и комедии Л. Тика не предполагают постановки на сцене, это драмы для чтения. Такие пьесы могут быть стихотворными или прозаическими, с быстрой сменой места действия или с элементами фантастики, а также с очень большим количеством действующих лиц.

Мир комедий Л. Тика необыкновенный, сказочный, полный самоиронии, игры, приключений, аллюзий на средневековые народные книги, мифы, и мы хотим надеяться, что нам удалось отразить его в русском переводе. Пусть даже наш перевод иногда очень близок к тексту и в чем-то несовершенен художественно, но это первая ласточка в данном направлении. Наша цель — открыть русскоязычному читателю волшебный мир этого автора, как он однажды открыл немецкоязычному читателю творчество М. Сервантеса и У. Шекспира.

Сказки, написанные Л. Тиком на рубеже XVIII и XIX веков, являются собой своеобразный сплав новаторства и архаики, наивности и мудрости, юмора и печали, прозы и поэзии. Л. Тик перенес действие в условно-средневековую Германию, обогатил и осовременил сюжет, введя новых персонажей и добавив элементы социальной иронии, философской и литературной полемики.

Новый и неожиданный ракурс, свежий взгляд на давно известные, устоявшиеся в умах понятия — такой подход был присущ ранним немецким романтикам круга Людвига Тика и именно это получит читатель, прочтя шесть его произведений, а также его теоретические статьи, впервые опубликованные по-русски.

Книга будет интересна исследователям, преподавателям литературы, детям старшего школьного возраста и студентам гуманитарных вузов. Издание сопровождается вступительной статьей и комментариями. Теоретический раздел, посвященный анализу новой романтической комедии на примере пьес-сказок Л. Тика, расширяет представление об этом замечательном романтике как о комедиографе и теоретике литературы.

Хочу поблагодарить за дружескую поддержку и помощь *Александра Николаевича Николюкина* (академика РАН, главного научного сотрудника ИНИОН РАН), *Виталия Юсупова* (актера Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра), *Ивана Сергеевича Ревякова* (преподавателя Донецкого национального университета) и *Сергея Владимировича Сухова* (преподавателя Московского педагогического государственного университета).

И.В. Логвинова

ПРОЛОГ

(Пьеса)

Скапин.

Добро пожаловать! А если докучаю, простите, и послушайте немного,
Ведь я тут подвигаюсь в важной роли: Прологом быть в Прологе:
— Как, Скапин? — и ты осмелился, без всякого смущенья,
Ораторствовать для предвосхищенья?
Поймите, целый день быть чудачком — тяжелая работа, между прочим, —
И большинство людей по временам, как к новому, к безумию охочи.
А мне, признаться, все равно, имеют право.
И чем безумнее я, тем оригинальней.
Иные с чердака в подвал слетают,
И люди им прохожие кричат:
О редкий человек! Оригинальный,
Но, кажется, когда пролог читают к отдельным сочинениям таким,
К нему еще один пролог необходим.
Поэтому могу, что я и совершаю, с ума сойти,
Могу же и для удовлетворенья совсем уйти.
Вы только в суть подробнее загляните,
увидите, что все, от мала до велика
нисколько не смеются предисловью,
когда ему дается предисловье.
От принца до крестьянина, однако,
Все любят жизнь приукрашать богато.
В больших ли, малых городах живут, они о жизни знают так немного,
Что несмотря на каждодневный труд, они лишь приближаются к прологу.
Моя забота вам сегодня показать лишь эпизод короткий вашей жизни,
И я прошу, не глядя, извинить мне, при всей моральности, немного эстетизма.
Вы думаете, я вместо того, чтоб вам давать холодное жаркое,
Вместо пролога к пьесе, обратно утащусь, чтоб вымыть руки? —
Я вам бы не советовал так думать.
И разве я способен на такое —
Немытыми руками, *illotis manibus*¹, представить пьесу!
К поэзии немного снизойдите,
метафоры буквально не примите,

¹ Неумытыми руками (*лат.*) (выражение древнегреческого комедиографа Плавта).

иначе черепки вы лишь узрите, где горы золотых лежат сокровищ,
Вы плохо приспособлены для жизни, и к смерти тоже.

Уходит.

*Темный партер, ни одной горячей лампы, оркестр еще пуст, несколько
мужчин и дам сидят на лавках.*

*Петер и Михель входят спотыкаясь и задевают головой прическу
господина Поликарпа.*

Михель. Простите, мы двигаемся в темноте.

Поликарп. Очень хорошо, — у меня все ухо гудит.

Петер. Нужно ведь однажды побывать в театре.

Михель. Говорят, тут будет на что посмотреть.

Поликарп. До сих пор мы еще все видим очень туманно.

Мелантус.

Я тут сижу уже так долго,
И я уверен — будет страшно,
Так трудно в темноте, однако,
Должно быть несколько светлее.

Михель.

Я где-то слышал этот голос,
Он мне знаком: — Эй, добрый вечер,
Милейший господин Мелант.

Мелантус.

К вашим услугам: как здоровье,
домашние?

Михель.

Все слава Богу!
Сейчас хотелось бы однако
уже увидеть что-нибудь.

Мелантус.

Займите, может, рядом место?

Михель.

Мы тут устроились чудесно,
Мой брат двоюродный со мною,
Он из деревни, моя по матери родня.

Мелантус.

Знакомству с вами очень рад.

Петер.

Покорный ваш слуга, и мне приятно.
Я думаю, едва зажгутся лампы,
Нам надо наострить свое вниманье.

Михель.

Смотрите, как народу много!
Что ж за спектакль дают сегодня?

Мелантус.

Бог знает, трудно угадать,
Возможно, «Ночь ошибок».

Поликарп.

Проклятье! Мы тут ждать должны,
Сидим потеем, мерзнем. А могли послать
Хоть поваренка, что ли, чтоб чуть-чуть
Всем людям подкрепиться чем-нибудь.

Петер.

Ах если бы глазам чуть-чуть светлей!

Мелантус.

Да все так происходит на земле.

Михель.

Мне кажется, вам грустно. Что не так?
Коль вам охота говорить об этом.

Мелантус.

Ах, у меня полно забот, любезный,
Сидим мы тут в конце в тумане,
Тупеет наша голова, к тому же
В искусство вовсе мы не верим.
Вполне могло быть, что напрасно
Прождали этот мы спектакль,
И потому, мой друг, остались
Мы в дураках.

Петер. Возможно, это была плохая шутка.

Михель. Ваша уверенность мне это прояснила.

Мелантус.

Но кто нам может поручиться,
Что будет здесь на что смотреть?
В конце концов ведь мы напрасно
Надеемся теперь на свет,
Нет ни Директора с Поэтом;
Свернут ли занавес?

Михель.

Бог мой!
Лежит он этот странный сверток.

Петер.

Еще немного, и сейчас же выйду,
Как в сумасшедшем доме мы сидим.

Михель.

Наверно, вы порой меланхоличны,
Так ссоритесь причудливо друг с другом,
Ведь только соберите свои мысли,
Что вам за выгода в подобных спорах?
Не так ли? Мечтали вы увидеть что-то,
Иначе вам домой вернуться нужно?
Откуда б это к вам пришло желание,
Когда бы пьесы не было в программе?
Поймите, говорю я философски,
И доводы мои не только вам,
И потому останетесь довольны,
Что пьесу непременно вам подарят,
Прекраснейшую.

Петер.

В этом убежден
И я. Вы видите, сморкаюсь иногда,
И потому платочки носовые
На свете есть. А чтобы их купить,
Необходимы деньги. Стало быть,
Из этого всегда я заключаю:
Коль есть башмак, подходит он к ступням;
А значит, должны быть ступни,
Где есть ступни, там есть ноги;
И дальше так же, и в конце концов
я дохожу до всадника. Все больше
разграничений видно с каждым днем.
Как видите, тут нужно размышлять:
Зачем мы тут сидим на этих лавках?
И даже все они сукном покрыты.
И занавес перед собой там видим,
К чему-то он, однако, должен быть,
И потому я размышляю дальше,
И ясно мне становится одно:
На наши терпеливые надежды
Откроется театр в конце концов.

Поликарп.

Ах, слава Богу! Не придется сквернословить,
Мое печенье наконец пришло.

Он покупает вдоволь, усаживается и начинает есть.

Антенор.

Соседи! Мне, конечно, неприятно,
Вы тут одни все поняли превратно,

Не хотел бы вас лишать надежды,
Но все мы — суеверные невежды.
Ведь посмотрите! Жизнью вам клянусь,
Сюда еще не приходил Директор,
А как тогда должна начаться пьеса?
Идея эта, сознаюсь, прекрасна;
Однако, кто же ответственен за это?
Мы здесь сидим, считая нашу плату,
И ждем, и размышляем тут; и это
Одно уже считать мы можем пьесой.
Знакомы вы с Директором?

Петер.

Нисколько.

Храни Господь, я прибыл из деревни.

Антенор. Могли бы вы мне дать определение директора?

Петер. Я уверен, этот человек хочет нас помучить.

Антенор.

Так, следовательно, директор — это кто?
Советуете нечто, не подумав,
Запутались вы вдоль и поперек,
Из этого лишь следует в итоге...

Мелантус.

Не надо слишком скорых заключений!

Антенор.

Что, если основательно прикинуть,
За этим словом не стоит директор,
Не шевелится он, не двигается даже,
И нами же *перед* театром пьеса
Исполнена была, чтоб *позади*,
За занавесом, не было движенья.
А мы, как обезьяны, в это верим,
И только тем сейчас и занимались,
Чтобы предстоящей цели послужить,
Впустую просидели современность.

Михель (*украдкой Петеру*).

Плохого сорта этот парень, ему нужно,
Однако, высморкаться.

Петер.

Ну, а если
Его с такою философией в могилу
Положат, чтоб не мог он шевелиться?

Михель.

Ему уж это явно не поможет,
Ведь он — чурбан, но у меня есть палка,

Такая крепкая, что мог бы я ему
Разочек показать, чтоб он получше
Ценил уроки будущего.

Петер.

Все же,
Раз вы предполагаете, что нет
Директора, то как же вы спокойно
Сидите тут?

Антенор.

Да потому что там, снаружи,
Неуютно. А тут сидеть мне доставляет радость,
Рассматриваю я сидящих рядом,
И это развлекает меня больше,
Чем если б нам сейчас же дали пьесу,
Ведь люди заскучали.

Михель.

Посмотрите
Скорей сюда! Под занавесом свет!
Готов поспорить, там сейчас директор
Уж все устроил для показа пьесы
И очень скоро занавес взовьется.

Антенор.

Ну, в добрый час! Ведь если так и дальше
Пойдет, то я смогу поверить
В реальность пьесы, если будет пьеса.

Ламповщик входит с фонарем в руке.

Петер. Директор!

Многие голоса. Где? Где?

Петер.

Как будто бы директор настоящий
Стоит вон там, смотрите! Что вы мне
Дадите, если с ним отважусь
Заговорить, спрошу его о пьесе?

Поликарп.

Мы к вашей речи присоединимся,
Уж целый час сидим мы тут без дела.
Для развлечения у меня в руках
Был только провиант в течение часа.

Многие голоса.

Так вы ему скажите, это ж так
Легко и вовсе ничего не значит.

Петер (*поднимается*).

Покорнейше прошу простить меня, Вы в силах
Откликнуться сейчас на нашу просьбу,
Уведомить нас благосклонно,
Как, как и где играть будет пьеса,
Поскольку каждый уж горит желаньем
Ее увидеть?

Ламповщик. Што там фнizu такое трешшит? Хе?¹

Михель.

Ну, Петер, слышал? Швабский диалект?
Увы! Иль это я не так расслышал?
Но только говорить никак не может
На этаким наречии Директор.

Петер.

Мы думали, поскольку с фонарем
Пришли и разогнали тьмы завесу,
Должно быть, из администрации театра
Вы кто-то, и могли бы нам, возможно,
Дать описание, какая будет пьеса
По жанру, по тональности. Та пьеса,
Которую мы ожидаем тут.

Ламповщик.

Фот как? Ви ошидаете тут пьесу?
Я перфым делом и услышал².

Поликарп.

Все светится будто бы там, далеко позади,
Между тем я и в этом урок усмотрел,
Что всегда дорожат тем, чего дольше ждуд.
Что надежд, ожидания может полезнее быть?

Ламповщик. Меня пошлалаи некоторые лампы зашшетць³.

Михель.

Так выходит, что вышестоящий
Послал его прямо сюда;
Разве это не так?
И, конечно же, этот пославший — Директор?

Ламповщик.

Директор? Он пошлал? Тот самый человек, —
Нет, нет, ви ошибаетесь во мне,

¹ Что там внизу такое трешит? А? (здесь и далее в речи этого персонажа: переводчиком передается путем изменения произношения согласных швабский диалект Ламповщика)

² Вот как? Вы ожидаете тут пьесу?

Я первым делом это и услышал.

³ Меня послали некоторые лампы зажечь.

Кроме того, что отщень здесь темно,
Понять не смог я больше нитщего¹.

Петер. Однако, кто же этим ведает?
Ламповщик.

Ви только
не обижайтесь², если темнота
вам больше по душе, по вкусу,
мгновенно отступлюсь я.

Михель. Этот парень ничего не соображает.
Антенор. Вы едва не дошли до моей гипотезы?
Михель.

Ах, господин! Да успокойтесь, вы нас злите,
Не надо нам тут этих разговоров,
От дирижера черта Вы не отличите
Как можете Директора признать Вы?
А то мы Вам сейчас намылим шею,
Не будете осмеливаться снова
Менять местами разные примеры.
Что станется тогда со всем театром,
Коль с глупой болтовней ползет каждый?

Антенор.
Коль вы такой уверенный, так будьте
Вы так добры и покажите мне
Хотя б малейший след Директора.

Михель.
Безбожник! Как смеет он таким быть неприличным,
Нарочно все стремится отрицать?
А может, он еще и безбилетник?
Не видит занавеса? Нет ли среди нас
Такого человека благородного, который
С Директором знаком и к нам был послан?
Не отражен ли он уже в прекрасном свете?
И не спугнули ль мы его своими
Бесстыдными речами? Что же вы
Сказать на это можете? Увы!
Вы только к отрицанию способны.

Антенор.
То было б слишком дерзко; все же, если
Иную логику я верно понимаю,

¹ Директор? Он послал? Тот самый человек, —
Нет, нет, вы ошибаетесь во мне,
Кроме того, что очень здесь темно,
Понять не смог я больше ничего.

² Не обижайтесь.

То вы не можете отсюда заключить,
Что господин директор где-то позади.
Михель. Ну погодите, ха! Ты должен быть наказан.

Поднимает палку.

Ага, сделайте из этого парня месиво!
Голоса. Что это за беспорядок?
Петер.

Простите, господа, но нас
Довольно сильно беспокоит этот парень,
Который нам указывает дерзко,
Что мы тут не нужны, и в убежденных
Своих так далеко зашел он,
Что некоторых ввел тут в заблуждение,
Он утверждает, что еще наружу
От целого директорского взгляда
Не показалось даже волоска.
И этот говорит нам, что мы все
Не понимаем разницы в спектаклях,
когда один из нас спектаклем очарован,
Он говорит, что это мир иллюзий,
И нам вполне достаточно комедий.

Баал. Почему вы не прогоните его?

Голоса. Он в этом доме ничего не забыл.

Антенор. Но люди, мне тут уже меньше нравится.

Баал. Мы не будем тебя долго упрашивать.

Михель. Я его уже держу за сапоги.

Баал. Вон этого клеветника.

Антенор выдворен из зала.

Поликарп.

Однако, где, скажите мне, разносчик?
Проголодался я быстрей, чем думал.

Баал.

Что лучше в этой ситуации для нас,
Мы можем после этой крепкой
Борьбы в покое снова ожидать,
Что добрая судьба подарит нам.
И некоторых научил сей случай.

*Оркестр начинает наполняться,
музыканты настраивают инструменты.*

Петер. Скажите же, что это означает?

Михель. Они готовятся играть музыку.

Баал.

Готовятся? Да это же концерт,
Не оценили вы гармонию. Внимайте,
Как звук со звуком борется, и вдруг
Сам по себе он понижается.
Но ах! Кто не проникнется звучанием таким,
То ни одна не заиграет пьеса для него.

Мелантус.

Вам не уговорить меня, что в этом шаривари
Имеется мелодия.

Баал.

Нет, лучше, и более, чем просто шаривари,
И наслаждение от этого поболе.
Вы в этом ничего не понимаете,
Поэтому хочу пример вам привести,
Ну, в качестве эксперимента, что ли,
И потому пусть каждый замолчит:
Играю что-то я себе на скрипке,
Однако у меня еще не тот
Высокий уровень, поэтому всегда
Останусь я на уровне таком,
Как это шаривари.

Мелантус.

Ну тогда зачем же вам отваживаться спорить,
Высказывать так дерзко здесь сужденья,
Имеет каждый уши, чтобы слышать,
И этим визгом каждый вдоволь сыт.

Баал.

Что за разврат идет здесь, да с таким размахом?
С таким злым языком и грубостью такой
Заслуживаете вы, господин, того,
Что будете, как Антенор, наружу выметены.

Мелантус.

Тут никого нет, кто осмелится ко мне
За этим руки протянуть.

Баал.

Он здесь, тот человек! К тому же,
При этом я еще и дилетант.

Он хватает Мелантуса.

Друзья и зрители, давайте быстро скинем
С себя врага, и воцарится вновь
Покой у нас, и тут же мы увидим

Директора работу, и концерту
Такому милому, божественному, больше
Невежи этикие тут мешать не будут.

Мелантус вытеснен.

Петер. Здесь происходит что-то странное, как я полагаю.
Михель.

Имеет этот парень вес и силу.
Не надо больше спорить,
Если место не хочешь потерять.

Петер.

Как эти люди все бесцеремонны,
И потому меж них один такой
Нашелся экземпляр.

Поликарп.

О горе мне! — ах! Мое сердце разобьется —
Я в состоянии — сказать хоть слово —
Что становлюсь беднее — сбитый человек
В этом — большом — где характерные черты?

Баал.

Вы только гляньте, что с сознанием нашим
Вдруг происходит при плохой игре,
Из этого легко понять мы можем,
Что этот грешник попросту объелся.

Поликарп.

Ах нет! — со мной несчастный случай,
Жестокая, напрасная судьба —
Ах маленькие вы мои печеня —
Ах! Мог бы помощь где-то я найти.

Баал. Это наказание за чувственность!

Поликарп.

И это ли ведь не бесчеловечность,
Эти бедные вещи от чувств, нами приобретенных,
Так жестоко за чувственность были наказаны?
Ах! Пелена застилает глаза мои,
О, помогите, помогите мне — из гуманизма!

Он сползает вниз, и его кто-то выносит.

Петер.

Еще немного времени пройдет,
И опустеет вовсе весь театр, должно быть.

Михель.

Конечно, если снова не наполнится,
То публика иссякнуть может вдруг.

Баал.

Вот видите, соседи дорогие,
Сегодня мы уже пример имеем,
Куда ведет нас подлая чувствительность,
Что мы теряем на спектакль надежду
И все теряем.

Англичанин-путешественник.

Просто к черту в ад
Такую публику, и черту потому
Я не завидую. О всемогущий Бог! Как много
Недугов от еды, и от надежды мало толку,
И постоянно все одно и то же: мы все себе скучны,
И лучше б я все деньги потерял и не купил билет,
Чем здесь среди безвкусных дураков чего-то
Безвкусного с таким же нетерпеньем ждать.

Баал.

Однако, дорогой, коль вам так мнится,
Вы можете отсюда удалиться.

Англичанин. Не иначе!

Баал.

Но есть у вас уверенность, что это
Для вас не будет впредь иметь последствий?

Англичанин.

Я этого не принял во вниманье,
Хотел я избежать общенья с дураками.

Баал.

Однако не исчезнут дураки,
они еще в других местах найдутся.

Англичанин.

Так это же какой-то новый вид,
В проклятое пришел я, видно, место,
Где этот толстый парень возомнил
Себя умнее всех, налог лишь заплатив.

Баал.

Кто ожиданья небольшого испугался?
Его, конечно, надо пожалеть.
Те, кто мешает, будут выдворяться.
Не так ли, вы теперь усердно пьесу ждете?

Петер.

Так будьте так добры мне предписать,
Как лучше мне вести теперь себя,
И я надеюсь, это так и будет,
Чтоб только мне не вылететь отсюда.

Михель.

Нет, нет, здесь хорошо сидится и прекрасно,
Мы непременно что-то да увидим,
Когда б я только знал, я должен был стыдиться
То говорить, что к делу не подходит.

Готфрид.

Вы знаете, я довести хочу
До сведения вашего: во-первых,
Что это не для смеха; во-вторых,
Что удовольствия не принесет вам это;
И, в-третьих, что годится это все
Для масс; в-четвертых, драк не будет;
И в-пятых, брани тоже нет; в-шестых,
Прекрасно это, просто первосортно,
И, наконец, своими вы глазами
Увидите теперь все это сами.

Петер.

Мне любо это все, я остаюсь,
Вполне он описал мне эту пьесу.

Михель.

Как странно, этот добрый человек
Так ясно и доходчиво сумел
Сказать об этом, раз уже однажды
Он видел эту пьесу — значит, правда,
Она и в самом деле так прекрасна.

Второй Ламповщик входит.

Михель.

Смотрю я, свет-то снова воссиял.

Петер.

Что думает об этом герр Баал?

Михель.

Мы, господин Баал, так беспокойны,
Ведь сильного недостает нам мненья,
Вы не могли б сейчас за нас подумать,
Нас своим мненьем добрым одарить?

Баал.

Друзья мои, легко могу устроить
Я это, только мне поближе
Вот этого б увидеть человека.

Ламповщик между тем зажигает лампу.

Грубиян.

Ну это же совсем другое дело,
Теперь можно прочесть уведомленье.

Ламповщик.

Я свет зажег, и вижу я при этом,
что сделал хорошо. Все было перед этим
теней лишь царством, а теперь я вижу
и публику, и вообще людей.

Публика.

Зато мы были все по вашей воле
В покорности глубокой в это время
Единым целым.

Ламповщик.

Я надеюсь, скоро
Начнется пьеса.

Петер.

Мы того желаем
Всем сердцем.

Ламповщик.

Дерзко я
Отважиться хочу, и мое мнение
Вам коротко сказать, ведь знаю лично
Директора. Он добрый человек,
Обычно каждый день его я вижу,
Поэтому могу о нем немного
Поговорить. Он одного лишь хочет —
Развлечь вас. Ничего ведь не скрывает
Он от меня, и если вы потерпите немного,
То безграничным будет ваше удивленье.

Михель. Можно ли во всем быть так уверенным?

Петер.

К тому же еще многие у нас
Разболтаны. И только если
Так будет добр господин Баал
И даст им небольшие указания...

Публика.

Господин Баал, мы в большом затруднении,
Вы же знаете, насчет мнения.

Баал.

Все верно, будет мне в конце концов
Немного утомительно, конечно,
За всех подумать, быть уверенным за всех,
и надо дух перевести немного.

Я думаю, что этот человек
Едва ли может знать директора, поскольку
Директор с ним держаться очень просто не может,
он ведь здесь главнее всех и значимей, и потому пари
держу, что этот парень просто
похвастался, и будем мы безумцы — терпеть такое.

Часть публики бросает в Ламповщика яблоки, после чего тот уходит.

Грубиян.

Мне новая пришла на ум идея,
И выскажу ее вам без боязни.
Когда я в целом оценил все это,
То понял, что в театре мы не можем
Соседями считать друг друга,
Это — иллюзия и лишь сплошной обман.

Михель.

Вы ставите нас в положение неловкое;
Но где же доказательства у Вас?

Грубиян.

Так ясно же, как день, кто только может
Постичь такое доказательство. Ведь мы
Себе внушаем мысль, что мы,
Конечно, существуем, и отсюда
Сейчас же следует, что в этом мире
Все вещи — только призраки, фантомы,
Которые лишь в нас самих парят.

Петер. В нас? Только в нас? Парит во мне театр?

Грубиян. Не иначе.

Петер. Со всеми этими скамьями?

Грубиян. Конечно!

Петер. Это мне рассудок вывихнуло.

Михель.

Такое мненье развращает нам желудок,
Достаточно имеем на душе своей мы груза.

Грубиян.

Вы отрицаете мое обоснованье,
На сколько спорим, что еще дойду я
Или изобрету подобное? Я — тот,
Единственный, кто все же существует,
А остальные лишь себя воображают,
Едва-едва хоть примитивно понимают,
Как мог я накопить свои изобретенья,
И что сию я здесь так тесно,

И теснота тут существует для того,
Чтоб я потел, и только не могу
Расстаться со своим воображеньем
Проклятым, и все это должен
Производить.

Михель (*дает ему оплеуху*).

Ни капли человеческого смысла, мне кажется,
Тут нет, и потому простите эту руку.

Грубиян.

Пощечину придумал я, и в этом счастье ваше,
Иначе непременно вам затылок разбил бы я.

Михель.

Где же у меня затылок? Впереди
Сидите Вы.

Грубиян дает ему также оплеуху.

И правда. Поэтому ударил Вас я в ухо,
Но то не я, душа моя единственная Вас
Ударила, измученная этим.

Петер. Это какой-то в самом деле изверг.

Михель. Здесь добрый совет теперь дороже.

Петер.

Могу я лишь помочь его ударить,
Однако для него двойная прибыль,
Он изначально получил от нас
Тяжелый и обдуманый удар,
И вместе с ним, вы слышали, что сам он
Сказал, что терпим мы от сей борьбы.

Голоса. Спокойно, к чему этот гвалт?

Грубиян.

Да это ничего, я чуть увлекся.
Спокойно, господа! Мы все живем,
Конечно, в единении всеобщем,
Я ссоры лишь улаживаю, это
От недостатка в нас терпенья происходит,
И в этом отдыхает снова
Воображение наше.

Баал (*пробуждаясь ото сна*).

Теперь я знаю все, народ мой милый,
Семейная сегодня будет драма,
В Директора внезапно превратился
Тот Ламповщик, его узнаем сразу;
Лишь занавес теперь в конце концов

Поднимется, и мы увидим сцену,
Жизнь обывателя в своем приватном доме,
Начальства беспокойство о семье,
Детишек воспитание кнутом
И пряником. Увидим, как в обед
Начальник, добросовестно насытятся,
Скучает, переваривая пищу,
Петь арии себе он позволяет
И делать все возможные дела,
Какие мы делаем обычно в нашей жизни.
И этой мы картиной насладимся.
Нас это, забавляя, подкрепит,
Жизнь нашу скучную нам в зеркале представит!

Готфрид.

Я рад сейчас тому, что подниматься
Уж начал занавес! Однако, я надеюсь,
Узнаю, что вчера случилось с родней соседа
И кто перешел в тот новый дом,
Об этом много разного судачат,
Хочу увидеть все сегодня сам я.

Петер.

Увидим также мы и господина
Меланта, мою тетку, что со мной
Прийти не захотела. Все они
В театре, видно, получили место.

Михель.

Меня недавно взволновал слуга,
Который был, наверное, на службе:
Конечно, он стремился к одному,
Чтоб меньше получить побоев, если можно.

Август.

А я уверен, что увидим мы
Такое, что еще ни разу
Не видели. Какую-то картину,
Которую назвать картиной трудно,
Передвижные механизмы и лучи
Такие пестрые и с тысячью цветов,
Изображенные чудесно и прекрасно,
Чтоб мы за облаками и туманом
Сияющим, за безгранично прекрасным действием
основательно забылись
И не могли театра обнаружить.
Вот таково предчувствие мое.

Филипп.

Рассудок мой не может согласиться,
Чтоб лишь чужие мненья принимать,
Ведь глупо верить этому, и я
Нашел пути другие к расширенью кругозора.
Поэтому я лишь немного верю вещам подобным,
Должен я создать систему,
И просто так не станут поднимать
В театре занавес, пока моя система
Еще шатается, и я не подготовлен,
И, как свинья, я пошлой радости не полон.

Баал (*Гансвурсту*).

Мой сын, ты не сказал сейчас ни слова,
Тебя ли я тому не обучил?
Скажи, тебе ль не хорошо на этом месте?

Гансвурст.

Простите мне, отец, скажу я только
О размышлениях моих, что ничего
Не значит это, никакая одаренность
Тут не показана, помимо скудных мнений,
Однако, кажется, меняет то судьбу,
Одним орлиным смелым взором можно
Пронзить все общества разнообразные слои.
Изящное и отшлифованное видеть,
Отведавшее палок деревянных, дубовых,
Можно ровно пустое место мерить,
Чтоб в каждой бессмыслице тут истину найти
И все сложить в одну большую кучу.
Отец, мне ваше мнение известно,
Его я принимаю, и для вас
Талантливое что-то сотворю.
Немного я возьму от Антенора,
Чтобы не впасть порой в односторонность.
Возьму и господина Поликарпа,
Он ведь почти совсем не ошибался,
Однако нужно тут прилежно думать,
Как репликой Филиппа совместить
Его слова, и точно так же нужно
Обдумывать и речи Грубияна.
Я также позабочусь о Меланте,
А также Готфриде и Августе добрейшем.
Нам всем должна сопутствовать удача,
Чтоб проложить мосты от сцены к сцене,

Итак, друзья, пусть будут ваши души
Открыты, и надейтесь, что сейчас
Чудеснейшее зрелище для вас
Произойдет. Увидите, как вещи,
Которые бессмысленными вам казались,
Превратятся в осмысленные вдруг.
И шванк из этого получится не худший,
По крайней мере скоротаем время.

Публика.

Да, это наилучшая метóда,
Итак, не скоро выйдем мы из моды.

ПРИНЦ ЦЕРБИНО, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ХОРОШИМ ВКУСОМ

(В некотором роде продолжение «Кота в сапогах»)

Немецкая комедия в шести актах

Входит в роли Пролога Охотник с охотничьим рогом.

Густой лес

Сначала от меня поклон охотничьей веселой пьесе,
Затем скажу вам мои просьбы и пожелания успеха:

Он трубит в рог, и раздается невучий звук.

Живое сердце, свежий ум,
Вот польза в чем.
Свозь чащу радостно бежать.
Уходит ночь,
Все на охоту! На охоту!
Когда смеется розовое утро.
Лесная песня.
Звуки рога,
Звук рога с песнею лесной
Заполнили собой угодня.

Волшебен мой прекрасный голос,
Когда заманчивые нотки
Насквозь просветят сумерки лесов,
Но выше грудь вздымает радость, бьется сердце,
Когда лесного рога глас поет.
Утомлено и робко твое сердце,
Скорей его ты песней леса освежи,
Лесною песнею и звуком рога:
Быть может, ваша грудь вместить стремится
Все то, что вы принять готовы и с любовью
Стерпеть; когда фантазия пред вашими глазами
Взмахнет своими крыльями и в тучах
С закатом вспыхивает Остроумие пред вами.
Так музыка небесная смогла бы своим чудом,
И голосом, и жестами все то изобразить,
Что выразить не смогут людские речь и жесты,
Так слушай шелест леса, так слушай шум дубров.
Они подобны духов немому разговору,
Что, из пространств далеких слетаясь порой,
Прносятся однажды у нас над головами
И исчезают вновь в дали кромешной.

И вот несутся звуки оттуда и отсюда,
А ветви-языки ведут свой разговор,
И все лесные птицы на фоне изумрудной
Прохладной этой ночи — веселый, шумный рой.
Вот для друзей готова охотничья отрада,
Для тех, кто освеженный свой дух несет сюда,
Труд радостный приемля. Собаки уже лают,
Охотничий уж возглас звучит, и скачет дичь
Сквозь заросли, и следом — охотники, в волнение
И в возбужденье все, друг друга побуждают.
Не будьте же ленивы, друзья, покой привычный
Страхните и забудьте в охоты диком вихре
Былую поговорку, что чересчур разумно
Гласит, что осмотрительным повсюду надо быть.
Не бойтесь, что от вас дичь сможет далеко,
Сил полная, сбежать, которую вы с пылом
Преследуете; вы найдете снова,
Ее, коль сохраните этот пыл.
Ведь никому еще не удавалось
Охотником быть на дороге ровной,
На безопасной улице. Так, значит,
Терять не надо мужества, хоть может,
И вовсе не увидите добычи, или что-то
Мелькнет вдали и забелеет в чаще,
Олень, быть может, или просто заяц.
Простите, если воздуха рассудку
Вам вдруг в стихотворении не хватит,
Из ветра сотканном, как это в снах бывает,
Досужую фантазией рожденных.
Вам доводилось иногда в засаде
Добычу поджидать: тогда отрада
Охотничья становится домашним
И скучным удовольствием. Тогда
Ломитесь снова сквозь шипы и дебри,
Пройдите воду и огонь. Когда в глубины
Спускается лесные всадник, часто
его от усталости в седле.

Деревьев кроны в вышине шумят,
У лошади из рта — густая пена,
Неистово сбиваясь, бьется сердце,
Но вот его переполняет радость,
Когда достиг долины безопасной.
Так не смотрите на забаву нашу,

Как на иное что, чем трудную игру.
Ведь птичка ни одна не носит груза:
Любовные записки носит голубь,
И ласточки таскают шерсть, чтоб гнезда
Уютней сделать, но лишь птица Рухх,
Огромная и сильная, имеет
возможность сочетать с полетом смелым,
неся слона в когтях, большую радость.

А в заключенье небольшая, незначащая песня:

Зачем томиться?
Толку — тосковать?
Все слезы,
Ах! Думаешь,
Как далеко до дали,
Где мнишь —
Прекрасны звезды.
Тихий воздух
повеет мягко
над бездной,
Полною цветов,
А песня льется,
забавляя духов,
чье сердце
легче воздуха лесного!

Ах! Ах! Как непрестанно тоскует сердце,
о далекая страна, о тебе!
Неужели никогда не стану ближе,
Когда ум мой так к тебе устремлен?
И ни одно суденышко в мире
Не приплывет, туда идущее под парусом?
Неоткрытые дальние страны!
Увы! Меня держат крепкие узы,
И лишь когда вокруг меня сгущаются сны,
Я вижу, как ваши побережья блистают,
Я вижу, как кто-то оттуда знак подает мне,
Друг ли это и человек ли это?
Все быстро тонет,
И прежняя власть надо мной верх берет.

Зачем томиться?
Толку — тосковать?

Все слезы,
Ах! Думаешь,
Как далеко до дали,
Где мнишь —
Прекрасны звезды.

Так пусть же дух игры в полях резвится,
Как на любезной сердцу нашему мечты
Прекрасном ипподроме, как на площадке
Турнирной сна отрадного. А мы,
как смертные, не смеем в это время
и места лучшего занять.
Прощайте ж с миром!

Марш охотников, Пролог уходит.

ПЕРВЫЙ АКТ

Дворец

Курио и Селинус.

Курио. Как себя чувствует принц?

Селинус. Как всегда, по-прежнему. С каждым днем хуже.

Курио. Но в чем же дело, что же такое происходит и неужели нет средства от его болезни?

Селинус. Говорят, все это только от вселения некоего злого духа, который, на беду этого государства, завидует его могуществу и величию, хочет сияние нашего двора погасить и таким образом высшее обратить в низшее.

Появляется Сикамбр.

Курио. Ну, Сикамбр?

Сикамбр. Ну, Курио?

Курио. Ты уже видел принца?

Сикамбр. О, да.

Курио. И он с каждым днем глупее, как говорят?

Сикамбр. Глупее?.. Вы удивляете меня, господа.

Селинус. Или наивнее, называйте это как угодно, суть остается одна и та же.

Сикамбр. Наивнее?.. Не могу сказать!

Селинус. А как бы ты сам назвал его болезнь?

Сикамбр. Я предпочитаю никакого имени ей не давать, поскольку я не могу нести ответственность. Это болезнь, которая имеет обыкновение

часто приходиться на смену величию, и лучше о ней ничего не говорить. Она не подлежит описанию и еще менее — обсуждению.

Из глубины дворца появляется Доктор.

Курио. Ну, господин доктор?

Доктор. Его королевское высочество сейчас занят тем, чтобы немного отдохнуть. Вероятно, скоро все резко изменится к лучшему...

Селинус. Отчего возникает эта болезнь, дорогой господин доктор?

Доктор. От напряжения нервов головы. Если сравнить человеческий дух с пружиной, то я могу сказать, что Его королевское высочество слишком много позволял своему острому уму, отчего и пострадала ясность.

Курио. Я предсказывал то же, когда он отдался наукам.

Доктор. Он не должен был этого делать. Для славы ему было достаточно наукам покровительствовать; но, покинув свой дворец, входить в область философии и литературы — от этого неизбежно мог произойти только такой прискорбный казус.

Курио. В чем же ваша надежда?

Доктор. Самая лучшая для нас надежда в мире — надеяться, что нам не придется делать трепанацию.

Селинус. Упаси нас, Боже!

Доктор. Но, я думаю, мы пойдем тем путем, который лучше знаем. Диета поможет лучше всего.

Курио. Он ее, без сомнения, соблюдает?

Доктор. Они (т.е. принц) слишком много занимаются чтением, особенно на душеспитательные сюжеты. Я прописал журналы, и еще некоторые художественные альманахи, но они представляются мне слишком тяжелой пищей, поскольку в них помещают многочисленных поэтов, которые предаются фантазии, что годится только в определенных обстоятельствах, и не более.

Селинус. У больного, по-видимому, момент кризиса.

Доктор. Да, это должно разрешиться или сумасшествием, или возвращением к обычному рассудку, в нынешнем же неустойчивом равновесии так держаться долго не может. Августейший пациент спросили меня сегодня, какую форму правления я считаю лучшей. Я отметил для себя этот симптом и тут же ощутил по его пульсу явное изменение состояния... Мы должны теперь терпеливо ждать девятого дня...

Вбегают Гансвурст.

Селинус. Господин Доктор! Господин Доктор!

Доктор. Что случилось?

Селинус. Принц зовет вас, я уверен, он умирает.

Доктор. Тысяча чертей! Я должен взглянуть (*убегает*).

Курио. Умирает? Наш принц?

Гансвурст. Да, господа, он будто прощается взглядом, нас и свое богатство меняет на беззаботное сознание. Сколько боремся за кронпринца, столько оспариваем его у ворон!..

Селинус. Но как он попал в такую беду?

Гансвурст. Драгоценный господин Селинус, он принял меня за господина придворного ученого Леандра, и это отнюдь не хороший знак, к тому же он иногда кашляет, и, главное, будь мир вечен, то границы между тем и этим светом были бы непреходимы. Меня огорчило его состояние, я попытался обнадежить принца, весело сказал, что юные годы — лучшее его оружие, чтобы как-то направить на правильную дорогу, но он возразил, что вулкану Этны легче переварить философа Эмпедокла, нежели обыкновенный ботинок, и потому мне нечему веселиться.

Сикамбр. По чести сказать, я бы тоже остался обескуражен таким ответом.

Гансвурст. Вы не бываете обескуражены, господин камергер, вы всегда остаетесь непоколебимым человеком. Я разговаривал недавно с торговцами, и они мне сказали, что вы, задавая вопросы, не слышите ответов и всегда остаетесь в прежнем мнении.

Сикамбр. Господин Надворный советник, на вас всегда смотрят так, будто бы вы прежде были известным дураком.

Гансвурст. Великий Боже! Я мог бы даже большее утверждать о вас.

Сикамбр. Что хотите вы утверждать?

Гансвурст. Главное утверждение моей жизни можно выразить одной фразой: разъяснение чувства необычайно полезно.

Курио. Любите вы разъяснения.

Гансвурст. О, это огромное удовольствие. Кем бы я был, если я бы не разъяснился для вас? Я разъясняю, что своим шутовством сыт по горло, хотя оно немало способствовало моей популярности и даже мое имя — Ганс Вуршт — вошло поговорице.

Курио. Я не знал, что Вы так преуспели с годами.

Гансвурст. О, милейший, мы замечаем иногда в людях то, что в них заложено, это идет в нас от душевного богатства. Мои изречения, несомненно, входят в ваш круг чтения.

Курио. Допускаете ли вы возможность счастья?

Гансвурст. Ах, дорогой друг, вот здесь-то моя слабая страница. Я допускаю иное истолкование жизни.

Возвращается Доктор.

Доктор. Великие дары имеем мы. Его королевское высочество только что избежали смерти. Единственный виновник опасности, только что миновавшей, — господин надворный советник.

Гансвурст. Я? Как это?

Доктор. Он позволил себе с пациентом глубокую философскую дискуссию и свел все лечение на нет.

Гансвурст. Неужели я не имею права говорить разумно и сказать принцу, что будет лучше, если он вообще перестанет лечиться.

Доктор. Разумно, но не метафизически; разумное разумному рознь!

Гансвурст. *Prima sorte*¹ ему также не полезен.

Доктор. Вообще смертелен, никакие беседы кроме практических, не должны тревожить его сознание.

Гансвурст. Должен ли он верить призракам?

Доктор. Конечно, нет, а также мечтам, ни в каком виде, об этом читал я ему часто из голубого ежемесечника.

Гансвурст. Вы-то его в первую очередь и сбили с толку.

Доктор. Нет, мой друг, я исхожу из действительности и не придерживаюсь пустых идеалов.

Гансвурст. Действительность пуста.

Доктор. Нет, мой друг.

Гансвурст. Да, господин доктор!

Доктор. Нет, господин надворный советник!

Гансвурст. Нет никакой действительности.

Доктор. Никакой? Ну, вы только послушайте, господа! Никакой?! Гром и молния, если нет никакой действительности! И что тогда было бы со мной, и этими господами, и королем, и двором, и дворовыми учеными, и с королевской библиотекой, и с чертом, и с Приснодевой?

Гансвурст. Порождения фантазии.

Доктор. Сами вы фантазер! О, милейший господин надворный советник, позвольте мне, я вам как другу откровенно изложу свое искреннее мнение, как мог бы сказать ваш родственник?

Гансвурст. Говорите, господин доктор.

Доктор. Видите ли, мне частенько кажется, что вы именно в качестве шута, а не надворного советника, служите. Давняя молва права, говоря: если ты дурак, в ступе толченый, то не считай себя надворным советником.

Гансвурст. Господин доктор, я вынужден иметь честь вам сказать, что я зла не держу. Вообще я необидчив, но в этом вопросе вы лезете мне в душу. Я известный шут, это так, но времена моего шутовства, слава Богу, прошли. Посмотрите на эту седую голову, посмотрите на этот крест, что мне милостивый король подарил; посмотрите на этого достойного отца многочисленного немецкого семейства, и тогда отважьтесь снова сказать, что я шут! Мой господин, человек, который три раза горячую лихорадку преодолел, человек, который с королем запросто встречается, — он шут?! За это слово Вы должны мне дорого заплатить. Их королевское величество

¹ *Prima sorte* (лат.) — первый сорт.

меня держат как надворного советника, и потому определенно уверены: человек этот должен быть здесь, при дворе, уже давно мои владения стали настолько широки, что в них просторно шутам, но тесно дуракам! Люди вправе думать обо мне, что хотят. Награды трона, надо надеяться, будут и далее распространяться на дураков, назло вам, известному демократу!

Доктор. Мне назло? Никогда и ни за что, уважаемый!

Гансвурст. Господа, вы слышите здесь государственного изменника!

Курио. Доктор говорит возмутительные речи, если это не ложь.

Гансвурст. И оскорбляет меня. Но я надеюсь, революция ознаменует лучшие времена.

Доктор. Господа, я не виноват!

Гансвурст. Лукаво выбирает он ту партию, что и все, врач тела в заговоре с ней!

Доктор. Мои господа, я только доктор, и я ничего не знаю.

Гансвурст. Возможно, вследствие злого умысла принц потерял рассудок.

Доктор. Я протестую...

Гансвурст. Если б только знать главного заговорщика!

Внезапно появляется Леандр.

Леандр. Можно сейчас навестить принца Цербино?

Доктор. Нет, сударь, ему нельзя разговаривать.

Леандр. Почему нет?

Доктор. Я его с большим трудом уговорил заснуть.

Леандр. А я с ним охотно поговорил бы.

Сикамбр. Что у вас к нему?

Леандр. Я написал книгу, которую хотел бы ему прочесть. Это улучшит его состояние.

Курио. Как же она называется?

Леандр. «Основания критики», и издана в 2 томах. Деятельная фантазия всегда с чем-то соглашается, чтобы рассудку разъяснить, в чем мы неформальное видим и как мы в поэзии постепенно к классическому и окончательному приходим.

Курио. Ну, это настоящее христианское изречение.

Гансвурст. Ну конечно, нужно немедленно разбудить принца, чтобы затем читать ему на сон грядущий...

Доктор. Если эти утверждения одобрены официально, видимо, в них есть нужда.

Леандр. Все это очень хорошо разработано и чувства упорядочит.

Гансвурст. Если Вы любите меня, то позвольте прочесть оглавление.

Леандр. Почему именно оглавление?

Гансвурст. Оглавление и введение, которые, в своем роде, составляют меч и терновый венец, читаю я в каждой книге, ведь бывает мало средней части, как мало и настоящих книг. Единственная радость для меня, когда употребляешь голову и хвостовую часть рыбы, и встречается порой прекрасный алфавитный порядок слов...

Леандр. Да вы юморист!

Цербино (*изнутри*). Сикамбр!

Сикамбр. Иду, ваше высочество.

Быстро уходит.

Курио. Принц, кажется, проснулся.

Селинус. Я уверен, он больше не уснет.

Леандр. Мы можем его каприз использовать для чтения.

Возвращается Сикамбр

Сикамбр. Принц ждет, когда Вы войдете, господин Леандр!

Леандр. Подчиняюсь!

Исчезает.

Курио. И мы следом.

Сикамбр, Селинус и Курио уходят.

Доктор. Я должен наблюдать влияние лекарства.

Уходит.

Гансвурст. Он вообще не знает, что такое влияние и наблюдение. Как легкомысленны люди в обращении с прекраснейшими словами! Больше не буду ошибаться, пойду за ними, чтобы иметь слушателей, ничего другого мне не остается. Нет, поневоле усомнишься, что язык воспитывает человека! Имея замечательных актеров, можно поставить неискusstный спектакль. Большинство актеров не знает приличий, их грубыми пальцами только свеклу пропальывать, их ум и знания поверхностны, и перед зрителями они выглядят несостоятельными должниками. Я уверен, что учение о прекрасном с самого начала было привилегией аристократов, а все остальные питаются крохами с этого стола. Придворное обучение воспитало бы будущего государственного человека, пока он еще молод и глуповат, но испорченное современное остроумие приносит его в жертву. Он же порой не может 3 на 3 умножить, не говоря о 9 музах, правилах музыкальной игры или об осмыслении совершенного числа Пифагора. Знания, не проверенные собственным опытом, он должен принять на веру. Удел и обязанность смертного в том, чтобы обдумывать будущие поступки, заботиться о будущем, он же, наоборот, порхает, как невесомое перо и глотает страницы чужой премудрости, а между тем судьба его делается все тяжелее.

Входит Нестор.

Нестор. Здесь господин врачеватель телес?

Гансвурст. Нет, мой друг.

Нестор. Как же встретиться с ним?

Гансвурст. Он у принца, и я хочу его оттуда выгнать.

Нестор.

О, тем лучше (*Шум уходит*). Надо исследовать, пока не стало хуже. Почему я должен быть в убытке и, ничего не предпринимая, лишь наблюдать, как зло разрастается? Разум подсказывает мне этот шаг, и я не буду ему противиться.

Входит Доктор.

Доктор. Чего хочет мой друг?

Нестор. Дорогой господин доктор, я хотел бы с вами побеседовать.

Доктор. Говорите.

Нестор. Вы знаете, что принц поражен опасной болезнью.

Доктор. Да, знаю.

Нестор. Боюсь, от нее будет эпилепсия.

Доктор. Как это?

Нестор. Я хотел сказать: эпидемия, и в конце все королевство заразится.

Доктор. Это было бы великим несчастьем, мой друг.

Нестор. Я слуга принца, я много для него... и мне всегда, если я ощущаю что-то подобное...

Доктор. Но откуда такое заключение?

Нестор. Вчера, господин Доктор, как прочел о болезни принца, я даже газету отбросил. Я не знаю, откуда это пришло, с юных лет чувствовал я нечто, и прежде чем я понял, что именно, я испытал уважение к Эпаминонду, как к римскому Бруту.

Доктор. О, это плохой симптом!

Нестор. Более того, с известным поэтическим благоговением я думаю о своем бессмертии, и по мере того, как осознаю его, понимаю, что моральные недуги, как и добродетели, могут быть названы, соответственно, болезнью или здоровьем. Вот так мы приходим к глупому и безвкусному.

Доктор. Э, милый друг, где же вы взрастили столь опасное безумие? Покажите ваш пульс.

Нестор. Здесь, Вас ожидая... Ну, видите, господин Доктор, я всегда боюсь, могло это все миновать меня, что я предупреждения против Цезаря и Александра Великого потерял, но я советовался в горячечном бреду, разве что, и люблю религию... и, господин Доктор, уверовал я тогда не более, чем честный человек, закрывший глаза.

Доктор. Вы правы, друг мой, вам нужно взять себя в руки, раз уж всё так происходит... Возможно, имеет место настоящая заразная эпидемия! У меня с некоторого времени определенное слабоумие отмечается в собственном рассудке. В таком случае господин советник... Идемте, друг мой, я хочу ему кое-что написать. Было бы жаль этого уважаемого советника.

Оба уходят.

Рыночная площадь

Большой парад караула. Полки маршируют; праздничный поезд, зрители.

Генерал. Внимание!

Полки выравниваются, барабанная дробь.

Капитан. Хочешь ли ты лучше служить, парень, что тебе не нравится под королевским покровительством? (*Бьет его.*)

1-й бюргер. Им бы только дань получать.

2-й бюргер. Для кого дань, а для нас — вынужденный заем.

3-й бюргер. Поймите, отец, армии нужны, если в порядке армия, в порядке и государство.

4-й бюргер. Я всегда говорил, порядок должен сопровождаться силой.

1-й бюргер. Когда палка по ребрам сыграет прелюдию, ты изменишь свое мнение.

2-й бюргер. Но, отец, я как патриот заявляю, что иначе и быть не может.

3-й бюргер. Это историческое предупреждение.

2-й бюргер. Всякий настоящий патриот согласится, что нам нужно поддерживать равновесие в государстве.

3-й бюргер. Хорошо, хорошо. Как бы при этом свое равновесие не потерять.

1-й бюргер. Тихо, идет король.

2-й бюргер. Уважаемый господин.

1-й. Уважаемый?

2-й. Ну да. Я думаю: уважают короля — уважают и его подданных.

4-й. Подданные есть верноподданные.

2-й. И потому он так милостив.

Входит король Готлиб со свитой.

Готлиб. Добрый день. Все ли в порядке?

Генерал. По приказу Вашего Величества.

Готлиб. Патронташи обновлены?

Генерал. Как и следует.

Готлиб. У меня была беспокойная ночь, всё думал, не прикрепить ли на шапки еще один пучок травы?

Генерал кланяется.

Готлиб. Итак, все в порядке.

Марш деревьев, полки маршируют перед королем.

Готлиб. Все хорошо. И вот еще что: армия должна воевать в других сапогах.

Генерал. Внимание уже уделили.

Готлиб. Вот это я люблю. Приятно, когда благодаря моему правлению все в прекрасном порядке. Пароль?

*Генерал обменивается паролем с королем, отдает честь;
трепетная тишина.*

1-й бюргер. Теперь разделят пароль.

2-й бюргер. Да, весело, весело.

3-й бюргер. Он дает знание и хороший пароль, что я, как патриот, поддерживаю.

Крестьянин слезает с телеги, хочет пройти.

Солдат. Назад!

Крестьянин. Почему?

Солдат. Назад!

Крестьянин. Что здесь?

1-й бюргер. Король дает пароль.

Крестьянин. Что это?

1-й бюргер. Вы не знаете, что такое пароль?

Крестьянин. Нет, слава богу!

1-й бюргер. Пароль, это как если вы так сказать хотите, — вы должны меня только правильно понять, — если я также знаю пароль... — ну, глупый черт, не стойте так, а то узнаете...

Крестьянин. Благодарю. И это хорошая штука?

1-й бюргер. От этого счастлива страна, потому что в ней порядок.

Крестьянин. Почему же я не могу проехать с телегой? Нельзя бедному крестьянину поторговать?

1-й бюргер. Натурально нет, всюду полно солдат. Они заняли всё пространство.

Готлиб. Цербино! Слышишь ли ты меня? Я повторен в твоём облике.

Король уходит, Генерал и солдаты расступаются.

2-й. Что у тебя в телеге?

Крестьянин. Репа.

1-й. Такая же хорошая, как пароль?

Крестьянин. Поделикатнее, господа, если вы не нуждаетесь в пароле, — налегайте на репу. Спелая репа! Репа!

3-й. Пойду, скажу жене.

4-й. Я тоже. Пока, приятель, парад был прекрасен!

Комната принца Цербино

*Цербино в постели, Леандр рядом с ним. Сикамбр,
Селинус и Курио снят. Гансвурст.*

Цербино. Больше ни слова, больше ни слова, что это хуже, чем мышьяковый ангидрид. Средства, которые используют как распылители, вскружили мне голову.

Гансвурст. Мой принц, нужно только делать упражнения, и вы снова вернетесь к жизни.

Цербино. Я не хочу жить, это несчастье, если легко живется.

Гансвурст. Можно взглянуть иначе. Жизнь — это радость, это учитель, который ни о чем не думает у своей масляной лампы, когда восходит прекрасное утро.

Цербино. Очень верно, если истина может иметь образ.

Гансвурст. Почему бы не позволить бледную метафору истины? Это нужнейшее, из того, что у нас может быть.

Цербино. Я позволяю вам это.

Гансвурст. Жизнь таких поэтических образов очень коротка, нужно иметь к ним сострадание: они возникают и проходят незаметно; в крайнем случае их заносит, как цветы, в реестр, подобно тому, как наш ученый господин Леандр делает, но иногда, мой принц, единственный цветок более ценится, чем сто таких реестров.

Цербино. Ты должен написать мне книгу своих тезисов, придворный советник.

Гансвурст. О, это будет грехом против разумных мыслей.

Цербино. Почему?

Гансвурст. Я вынужден буду наполнить книгу безвкусицей, подобно большинству наших книг, что нарушит логику и будет свидетельствовать против моих тезисов. Поэтому я назвал это грехом против разума.

Леандр. Господин надворный советник, Вы софист.

Гансвурст. Не клейте мне ярлык. Я обойдусь без аттестации, и никто не воспретит мне высказываться.

Цербино. Надворный советник, хотя ты и прирожденный шут, ты — умнейший во всей стране человек.

Гансвурст. Это относится к шутам не только в нашей стране.

Цербино. Таким образом, мы оба из породы умников; ты благоумен, а я способен подметить твой здравый смысл.

Леандр. Ваша болезнь, мой принц, порождает ложные идеи.

Цербино. Покажи, что они ложные.

Леандр. Если вы мне это поручаете, мой принц, я хотел бы уединиться у себя дома и там на бумаге изложить мои важнейшие положения, а затем написать конспект начисто.

Цербино. Начисто, учитель, ты никогда не пишешь.

Гансвурст. Имея возвышенную природу, господин учитель полностью поглощен своей концепцией, но она основана на ложных допущениях и потому разрушает логические связи в голове. От этого мысль в голове плавает свободно, туда и сюда, как рыба.

Цербино. Ха-ха-ха! Как здорово вы изобразили рыбу! Вы умеете поддержать хорошее настроение.

Гансвурст. Я хотел бы всегда поддерживать в вас бодрость. Но с помощью легковесных острот слишком легко выглядеть умным не по годам. Облегченный ум — не более чем глупость, которая устремилась в простонародье, и в результате большинство вокруг составляют глупцы.

Цербино. Что это за глупость?

Гансвурст. Я говорю о невежестве, о недостатке знания. Знание обитает повсюду и редко у кого — в голове. Когда доходит до дела, до принятия решения, большинство хозяев отказывается от такого арендатора. О знании заботятся как о прическе — чтобы блеснуть, выставить напоказ, им похваляются судьи и князя, министры и учителя, даже курильщики табака за свободной беседой, наконец, знание восхваляет сам Иоанн Богослов. Тома им заполнены, мраморные аллегории его изображают, оно собрано в библиотеках, его рекомендуют юношеству, прямо-таки навязывают молодежи, и при этом редко оно достигает разума.

Цербино. Но почему же отказываются от такого арендатора, как ты выразился?

Гансвурст. Причина проста. Когда сотворена была Земля, ангелы спросили между собой: о, Доброе небо, что ждет человечество? Оно обречено погибнуть, оно всегда будет бояться смерти, болезней, мучений, скорби, тысячи соблазнов его подстерегают, ни минуты покоя ему не будет, захочет полакомиться от Древа познания, после чего прозреет и поймет, что согрешило. Люди вынуждены будут охотиться, чтобы не умереть, бегать в шкурах, не понимая, как еще можно проводить время, то самое время, которое им так хотелось бы остановить, ибо рано или поздно неизбежная могила каждого из них забирает. Ангелы беседовали об этом между собой, и многие плакали от сострадания...

Цербино. Неужели? Я не знал, что ангелы — такие добродушные животные.

Гансвурст. До злодеев им далеко. Хотя один из них, который был самым мягкосердечным, окончательно пал по ряду причин...

Цербино. Мне очень интересно!

Гансвурст. В раю было что-то вроде огорода, рядом с настоящим охотничьим парком, полным зверей. В этом огороде под какой-то ботвой росла разнообразного вида глупость, которая невинных земных обывателей сделала столь просвещенными. Когда всё зацвело буйным цветом, явился туда ангел с женой и собирали они плоды и хлопок. Из хлопка сделали они изящную куклу. Добрый ангел спрятал куклу под одежду и отправился с ней к людям. Люди сидели за столом, ели суп и рассказывали друг другу свои жалостливые истории. «Успокойтесь, — сказал Добрый ангел — я принес вам утешение». Из съестного у него было яблоко с пятнышками, оно помutilo их рассудок и сделало глупыми. «Смотрите же,

принес я вам истинное знание, — с этими словами добрый ангел протянул им куклу, — хорошо спрячьте это сокровище, только так будете вы ближе к Создателю». Подарок понравился, и все поверили словам этого «пророка». «Берегитесь, — резюмировал небесный посланник, — чтобы у вас не выманили эту куклу. Вокруг шпионы, они собирают против вас улики, хотят заморочить вам голову и доказать, что мудрость — это глупость. Не верьте тому, кто придет и спросит о глупости, ибо он ищет мудрость и хочет её у вас отобрать». Ангел ушел. А затем прошли странные речи меж теми, кто его слышал. Стоило спросить со всей невинностью: «Друг мой, не здесь ли живет Глупость?», как тут же следовал ответ: «Господин мой, на что это вы намекаете? Хотите выставить меня ослом? Скорее сами вы глупы». Такая вот повсюду пошла перебранка.

Цербино. Ты должен написать историю человечества.

Входит Доктор.

Доктор. Почему вы встали с постели, Ваше высочество?

Леандер. Господин доктор, от надворного советника исходит раздражение, беседа, он использует восточную высокопарность и тем усугубляет болезнь.

Доктор. Дорогой господин надворный советник, если вы не хотите сделать страну несчастной, немедленно уйдите.

Гансвурст. Мой господин, не раньше, чем мне укажет принц. Я буду жаловаться на вас.

Доктор. Короче, вы должны уйти, и я сделаю это пинком королевской ноги.

Гансвурст. Падайте ниц, сюда идет Король.

Входит король Готлиб с чужестранным доктором.

Готлиб. Ну, мой сын?

Цербино. Дорогой отец?

Готлиб. Ты все еще болен? Это жестоко, имеются правительственные хлопоты, и к тому же сын снова болен. И вдобавок, ослы-придворные спят вповалку в углу. *(Он указывает в их сторону)* Имею в виду вас, негодяи, вас! Ну, всё они не много значат. Вы, ко всему прочему, камергеры?

Сикамбр. Мой великодушный король, чтение виновато, господин Леандр...

Готлиб. А если он осёл? Возможно такое? Ага, он бодрствует.

Селинус. Он также читал вслух.

Готлиб. Ну так пусть читает дальше, что ещё с него взять? Вот, сын мой, я привел чужеземного доктора. Я надеюсь, с ним тебе станет лучше.

Чужеземный Доктор. Ваш пульс, мой принц. Плохо. Очень плохо, могло быть и лучше. Эх, я не думал, что так плохо...

Доктор. Принц не придерживается никакой диеты.

Чужестранный Доктор. Вы выбрали ложный путь. В таком лечении не было необходимости.

Доктор. Я хотел бы вернуть ему рассудок, и мой король предложил, чтобы к больному был приставлен надворный советник, так как у него всегда хорошая фантазия.

Чужестранный Доктор. Как раз наоборот! Никакой фантазии не должно быть, она возбуждает, нужна природа, чтобы *materia pecans* — грешная материя — пошла напролом. Здоровье и разум ничто, если нет равновесия в теле и в душе; нужно позволить злу отбушевать, так само по себе установится равновесие. Потому должен господин надворный советник остаться в вашем обществе, мой принц, а здравомыслящие люди пусть удалятся от Вас.

Готлиб. Итак, мы можем идти.

Чужестранный Доктор. И не укоряйте себя, мой принц, если вы в случае войны не поможете в отражении врага. Не сдерживайте буйство, если не можете иначе. А вы, господин надворный советник, всегда подстрекайте и подталкивайте, прошу убедительно...

Король Готлиб, Чужеземный доктор, Доктор и Леандр уходят

Цербино. Ну, как тут не обезуметь?

Гансвурст. Сказано так общо, словно что-то должно в этом быть.

Цербино. Я бы не желал никакого разума, если бы находил себя в порядке.

Гансвурст. Кому больше чем хорошо, тому бывает потом больше чем плохо.

Входит Гинц фон Гинценфельд (кот).

Гинц. Доброе утро, мой принц! Как мне вас жаль! О, господин надворный советник!

Цербино. Утро проводите в ученом обществе?

Гинц. Да, мой принц, всегда просвещаюсь. Вы уже уходите, надворный советник?

Гансвурст. Известное дело.

Гинц. Adieu¹, мой принц, мне нужно к Королю.

Уходит.

Гансвурст. Не правильней ли следовать советам прежнего доктора?

Цербино. У нас в природе слишком быстро перенимать новое. Однако спешка хороша при ловле мышей. В сравнении с другими наш старый доктор — почтеннейший человек. Идём, нам пора погулять в саду.

Цербино и Шут выходят.

¹ Adieu (фр.) — пока, до скорого, с Богом (при прощании).

Селинус. Итак, чужестранный доктор — с совершенно иным нравом.

Сикамбр. Да уж, право. И неизвестно, откуда он.

Курио. Неизвестно, кто его жена и дети, неизвестно, сколько денег он стянет, ему теперь во всем доверие.

Селинус. Не хотите ли последовать за принцем?

Селинус, Сикамбр, Курио уходят.

Вольная местность, с маленьким сельским домиком.

Дорус (*один*).

Живу я здесь в достатке и покое
Вдали от суеты и от людей.
Проходят дни, желания пустые
Давно уж не тревожат жизнь мою.
Мои друзья — цветы, деревья сада,
Я знаюсь с тем, что выращено мной,
Заботливой ухожено рукою
И осенью плодами одарит.
Далекие края меня не манят,
Но дорога родная сторона,
Здесь умерла жена, и раз в неделю
Её могилу навещаю я.
Но не ропщу на божье попеченье, —
Осталась дочь, похожая на мать,
И для меня она как чистый образ,
Как светлое подобие Творца.
Когда она в саду цветы срезает,
Срывает виноградную лозу,
Хлопочет в доме, трапезу готовит,
Я вспоминаю милую жену.
И кажется, что легкими стопами,
Бесплотна, как богиня хороша,
Ко мне Камилла верная приходит,
И с нею мы как прежде говорим.

Входит Лиля.

Лиля

Всё ли в порядке, дорогой отец?

Дорус

О да, дитя. Тебя тревожит что-то?

Лиля

Мне показалось, ты печален был,
когда вошла. Но вот опять улыбка...

В саду созрели фрукты, я смотрю,
На розовых кустах зажглись бутоны,
И пламенеют мальвы у крыльца.
Ах, если бы весна опять вернулась!

Дорус

Позволь сезонам соблюдать черед,
Вечерний отдых дню идет на смену,
Весной ты не имела бы того,
Что осень пышная тебе приносит.

Лиля

Давно ли ожидали мы весну?
Теперь в свои права вступила осень.
Давно ль с любимым попрощалась я?
И жду теперь. Когда же он вернется.

Дорус

Помолвке вашей ровно тридцать дней,
И столько же разлуке. Он вернется
Быстрее, чем ожидаем, и тебя
Обнимет нежно на пороге дома.
Возможно ли, чтоб дочь моя со мной
О чувствах без смущенья говорила
И думала опять весну вернуть,
Чтобы собрать у ног своих букеты?..

Лиля

Я не умею верно передать,
Что чувствую.
Порой его встречаю
У нас в саду, на дерево гляжу,
И чудится: Клеон стоит и шепчет
Слова любви... А иногда, напротив,
Надолго забываю я о нем
И этого пугаюсь: неужели
Любовь ушла, оставила меня?
Бывает, перечитывая песни,
Которые он пел, неволью плачу
И ясно ощущаю поцелуи.
Скажи отец, что с дочерью твоей?

Дорус

Ты влюблена, дитя мое, и боле
Мне нечего сказать тебе. Любовь
Порабощает пойманное сердце,
Опутывает тысячами лент.
Любовь, увы, не дружит с настоящим,

То человека в прошлое уносит,
То в будущем ему рисует грезы,
Поддерживая сладостный обман.
Влюбленные, когда они в разлуке,
Вокруг себя не понимают мира,
Живут в своем, обманчивом и зыбком,
Куда извне не долетает звук.
Всё мироздание, земля, вода и небо
Суть декорация для их большого чувства, —
Им кажется, и лишь любимый голос
Способен их к реальности вернуть.
Но если разум тяготится властью,
Которую над ним забрало сердце,
Освободиться от нее не может;
Не разделить две молодые жизни,
Когда они в единую слились.

Лиля

Отец, откуда ты об этом знаешь,
Кто приоткрыл тебе любви секреты?

Дорус

Ты — дочь Камиллы, а она любила
Меня, как ты теперь Клеона любишь...

Лиля

Как странно... Неужели у Клеона
Когда-нибудь, как у тебя сейчас,
Появятся седины и морщины,
Он постареет, взор его погаснет?

Дорус

Достать Клеону молодильных яблок?
Они, увы, бывают только в сказках.

Лиля

Я многое за них отдать готова!
Ах, неужели милые мне губы,
Что сладкой красной свежестью полны,
По-зимнему однажды побелеют?
Поверить не могу, что мой любимый
С годами превратится в старика,
Нет, лучше не дожить до этих лет!

Дорус

Какую бы мне изгородь поставить,
Чтоб дом наш от напастей уберечь?..

Уходит.

Лила

Отец не забывает пошутить,
Но он не в силах грусть мою развеять...
Ответь мне, лютня, помнишь ли ты песни,
Которым научил тебя Клеон?

Она играет.

Мне говорит и сердце, и глаза —
Нет никого прекраснее на свете,
Чем ты, и никого желанней нет.
И нет, увы, конца разлуке нашей.
Вот, кажется, готова я взлететь,
В поток любви и воздуха вступаю.
Уже не страшно. Подо мной моря
И горные хребты, леса и реки.
Мой милый, от меня ты далеко,
Но мы преодолеем все преграды.
Я — над землей. Услышь, тебе пою!
Взмахни рукой и позови невесту.

Стихают звуки, наступает вечер
И овцы возвращаются в овин.
Пора и мне, пойду готовить ужин,
Чтобы отец поел, когда вернется.

Уходит.

Входит Охотник в качестве хора.

Охотник

Теперь, друзья, вернемся во дворец
К событиям важным в нашем королевстве.
На принца глядя, все сокрушены,
Но вылечить его никто не может.
От Лилы отвлечемся, ей сейчас
Никто, кроме любимого, не нужен,
Душа ее любовью занята,
Но, как известно, и любовь проходит.

Милое лето, прощай,
Ласточка, вновь улетай,
Землю, снег, укрывай,
Вступает зима в наш край.
Возобновляем рассказ
И продолжаем показ,

А вы не смыкайте глаз,
Если есть силы у вас.
Уходит.

ВТОРОЙ АКТ

Комната во дворце

Леандр, Курио заняты работой, расстановкой свинцовых солдатиков.

Курио. Как же мне жаль этого человека!

Леандр. Да, и больше всего его прекрасный разум, каким он был прежде.

Курио. Он правил как истинно великий король.

Леандр. Но теперь он стал совсем как ребенок, он совсем впал в детство.

Курио. Хорошо, что он способен разумно мыслить, и разрешил править своему старшему сыну, сыну мачехи, нашему всемилостивому Готлибу.

Леандр. Величайшее было время, давно прошедшее, когда он все, что должен был подписывать, желал прочесть.

Курио

Почему же, если он имеет такую тягу к чтению, ему не дадут книги?

Готлиб входит.

Готлиб. Где мой дорогой отец?

Курио. Он хотел пройтись по саду, скоро вернется.

Готлиб. Что он там делает?

Курио. Старые дела: Его Высочество всегда отдыхает за игрой в свинцовых солдатиков.

Готлиб. О Боже, что же из этого будет, я не могу себе представить, как ему это не надоест?

Курио. Напротив, с каждым днем хуже, то он просчитывается, то вынужден менять власть, то бросает в них маленькими ядрами и радуется, когда падают те, которых он терпеть не мог. И напротив, у него также есть немногие любимцы, этих он вытаскивает из всяких передряг и ставит впереди других, у него к ним совершенно особое доверие.

Готлиб. Кем же является при этом он сам?

Курио. Это отличный всадник. Когда ему случается упасть, он в состоянии об этом плакать.

Готлиб. Ну, парень выглядит молодцом, это хорошо, но старый человек не должен выглядеть чересчур по-детски.

Король входит в помещение.

Король. Пойдемте, мой дорогой сын, не произведете ли смотр моей армии?

Готлиб. Да, она изрядно привлекательна.

Король. Достойные люди служат тут, дорогой сын, люди, перед которыми я испытываю благоговение.

Готлиб. Как это?

Король. Что как? Кто может сказать, для чего, по какой причине некоторые испытывают благоговение! Благоговение возникает без всякого основания.

Готлиб. Но ведь эта армия — детская игра.

Король. Смотри как посмотреть, любезный сын. Любая игра — это детская игра; а что понуждает нас к серьезности?

Готлиб (*Леандру*). Жаль великолепный ум, который у него, пожалуй, еще есть. Ему бы не следовало говорить эти странные вещи.

Леандр. Рассудок у людей с годами всегда истончается, до тех пор, пока окончательно не оборвется.

Готлиб. Пусть только при мне не обрывается, пока я стою рядом с ним.

Король. Когда я хранитель чести армии, это перестает быть игрой, в игре у нас другие заботы, и мы меньше всего думаем, что это игра.

Готлиб. Прекрасно, великолепно, мой уважаемый отец.

Король. Ведь все происходит по моему слову.

Готлиб. Да, да, адью, так можно сделать больше добра.

Уходит.

Король. Теперь к делу. Не является ли одолжением такая забота об армии, какую я оказываю ей?

Курио. Да, милостивый государь.

Король. Надеюсь, этот всадник станет полковником.

Курио. Не иначе, ему это как нельзя больше приличествует.

Король. Смотрите, люди, в конце концов козни ведут к позору точно так же, как заслуги приводят к повышению, хоть иногда и поздно, но вы ни в коем случае не должны терять терпения.

Леандр. Потому и я так терпелив.

Король. Справедливо, господин придворный учитель, это лучшее, что вы умеете, оставаться терпеливым.

Курио. Терпение, конечно, очень хорошая добродетель.

Король.

Итак, я обрел, наконец, настоящий успех,
Который давно и упорно искал повсеместно!
От этого царства ушел я в свое королевство,
Где свита из олова мне не устроит интриг,
Все важное в мире порою на самом-то деле
Бессмысленней всяких исполненных смыслами игр.

Над чем размышляет король, что с упорством он ищет
И сам, и придворные, — это игра в кошки-мышки.
В ней каждый при деле, но дела реального — ноль.
А польза одна лишь желающим обогатиться.
С повязкой один на глазах все вокруг суетится,
И мнит, что он правит огромным своим королевством.
Иные все видят, но делают вид, что ослепли,
Лишь то замечают, на что им укажет король.
И верят, чем больше любви и наград от него получают,
Тем более каждый из них всякий раз прозревает,
Но нет среди них чистой совести, разума нет.
Лишь те благодарны, кто слова не молвит в ответ.
Чужды оловянной природе злословье, вражда,
Гонения, сплетни на ум не придут никогда.
Их мир оловянный в себе лишь самом заключен,
И в тихом своем одиночестве дорог мне он.

Леандр. О, государь!

Король. Я забываюсь. Да, это действительно плохо, что я теперь не могу владеть своими идеями; возраст играет с моим духом в дурную игру, все мои душевные способности поглощены ржавчиною, невозможно оставаться всегда молодым.

Леандр. Из всех наблюдений до сих пор было ясно, что это невозможно.

Король. Что за золотые были дни, придворный учитель, когда мы постигали искусство общения?

Леандр. Согласен, Ваше Величество, это было очень хорошее время.

Король. Как он это с числами и планетами, — да, теперь я слишком слаб для такой серьезной пищи. — Я, к сожалению, вынужден вовсе отказаться от науки.

Курио. Удовольствие, мой господин, — это тоже вещь, которую надо брать во внимание.

Король

Чему мне удивиться, как не странным
Пристрастиям моим, с недавних пор
Мне нравится, как крашены солдаты,
Каков их рост, каков одежд фасон.
Их вид не вызывает порицанья,
Но все мои солдаты из свинца,
И каждый лучше настоящего бойца.
И тут в своей фантазии я волен,
И радую вас тем, что всем доволен.
Однако наше право тут не право,

И все о том свидетельствует здраво,
Что для того, чтоб понимать в делах,
О них умело нужно рассуждать,
А это войско из солдат отважных
Гораздо больше подражаний ваших важно.
И мне так эти нравятся фигуры
Во всей своей естественной фактуре,
Других не надо, я и этим рад,
Хоть были бы и хуже — краски гуще,
Тела чудовищны, шагают неуклюже.
Не правда ли, Леандр,
Фантазия лишь может все исправить?

Леандр. Вероятно, так может быть, мой государь. Вполне возможно.

Король

Зачем с инакомыслием бороться?
Не могут люди мыслить, как фигуры,
Все в шутку обратить, и всех оставить
Довольными, Довольствоваться малым...
Так нет же, вместо этого они
Охотно ненавидят тех, кто судит,
Завидуют охотно прочим людям,
Вражды с такими же, как сами, не боятся,
И мы не знаем, чем от них нам отличаться.

Леандр. Мой государь, вы сильно утомлены.

Король. Вы должны проявить ко мне терпение, друзья мои, ибо не дойдете ли сами в моем возрасте до ребячливой слабости. Ну, станем же рядом с генералом и будем вершить судьбу.

Курио. Судьбу?

Король. Да, я всегда считаю до 15, и когда счет доходит до 15, тогда станет понятно, что он уже мертв, и так далее с каждым.

Леандр. Почему же 15, мой господин?

Король. То же самое ты мог бы спросить о любом другом числе. (*Считает:*) 12, 13, 14, 15 — вот, этот гусар мертв, идемте дальше, Леандр.

Леандр. 12, 13, 14, 15 — этот всадник...

Король. О ужас! Прекраснейший человек уничтожен,
Ай!

Ах да! Судьба не смотрит на корону,
На красоту, богатство, на талант!
И вот добычей делается орков
Рукою рока выбранный солдат,

Она полузагадочным желаньем
Судьбы к нему была устремлена,
И даже не успел солдат подумать,
У «правила пятнадцати» в силках.
Исследуем же тайну этих правил,
Могущественный управляет ими.
Мы можем их небесными назвать,
Ведь неизвестность носит это имя.
Случайностью не может быть оно,
Безумие одно — случайно верить.
Ведь борется безумие давно
Со здравым смыслом...

Леандр. Мой государь...

Король. Я не знаю, то такое, у меня сегодня очень неудачный день. Поезжай считать, и продолжим играть в судьбу, мы должны увидеть, что от этого всего останется.

Зал Академии

Гансвурст и Гинценфельд.

Гансвурст. Для своих лет он выглядит хорошо.

Гинценфельд. Слава Богу, мы не ошибаемся. Эти занятия служат иногда очень к улучшению нашего телесного и душевного состояния.

Гансвурст. Да и потом — темперамент.

Гинценфельд. К чему вы это, любезный Советник? Я уверен, если бы у каждого человека обязательно были приличествующие ему занятия, то мы бы все были очень довольны.

Гансвурст. Смотря как понимать это предложение, дражайший?

Гинценфельд. Ну, конечно, все зависит от того, как это понимать.

Гансвурст. К примеру, есть ли у меня настроение для такого переворачивания.

Гинценфельд. Да, выходит, будет такой вид, какой стороной его повернешь.

Гансвурст. Ну, это же то же самое, что я сказал.

Гинценфельд. Конечно! Но о чем же мы говорили?

Гансвурст. О занятиях.

Гинценфельд. Все верно. Но, а прого¹, чем же занят Принц?

Гансвурст. Несчастье его, что он Принц, потому что будь он подданным, то была бы его болезнь безвредной?

Гинценфельд. Как это?

¹ Между прочим (лат.).

Гансвурст. Как подданный, он мог бы всегда найти занятие, в котором иначе раскрыл бы свое безумие, так что ему, в такой зеркальной ситуации, ни безумие, ни дело не причинили бы особенного ущерба.

Гинценфельд. Ха!., Да...

Гансвурст. Возможно, он стал бы ученым и удивительные вещи обнаружил в себе, от которых он составил бы географическую карту, чтобы также и других убедить в этой «Америке».

Гинценфельд. Совершенно верно, Вы намекаете на Колумба.

Гансвурст. Будет тогда ему terra инкогнита настоящей terra инкогнита, и он будет счастлив иметь больше земли, ибо если нужны будут также Новая Голландия и вся пятая часть света, то, однако, он мог бы принести присягу на Библии, что этих земель больше не может быть.

Гинценфельд. Но ему не хватает к несчастью одного из пяти чувств.

Гансвурст. Очень справедливое и такое прекрасное замечание! Стало быть он исходит из того, как Принц, чтобы иметь рассудок, вместо того чтобы ему было достаточно, как Киру или Кирусу, Коресу в подобном случае, управлять людьми, которые имели бы рассудок.

Гинценфельд. Конечно. О мне так приятно с Вами говорить.

Гансвурст. Благодарю...

Гинценфельд. Нет, по правде, эта начитанность, эта, — как я должен сказать? — эта способность, эти убеждения в том, что другие ошибаются, — нет, в самом деле, я каждый раз этим восхищаюсь.

Гансвурст. Мы в этом мире так избаловываемся, что вынуждены только с самими собой разговаривать, и я также от этого страдаю.

Гинценфельд. Конечно, конечно, непременно нужно было больше ресурсов вложить.

Гансвурст. Вы также много времени находите в уединении, господин министр.

Гинценфельд. Я вынужден, если бывать часто в обществе и вести себя с народом дружелюбно, то долго не протянешь, все хотят что-то от тебя поиметь, и это для меня исключительно фатально. Я еще не нашел ни одного интересного друга.

Гансвурст. Действительно.

Гинценфельд. Эти люди, любезный Советник, все эгоисты, поверьте моему слову. Потому я чрезвычайно люблю уединение. И к тому же в обществе я всегда немного стесняюсь.

Гансвурст. Почему же? У Вас меньше денег, лет и титулов, чем у остальных? Вы носите орден, и к тому же еще довольно дородны.

Гинценфельд. Все это мое имущество и небесные подарки несмотря ни на что могут и не производить впечатления. Видите ли, так повелось уже с давних пор, что я сменил свое прежнее униженное положение, но все же...

Гансвурст. Вы меня удивляете.

Гинценфельд. Все же возвышает меня немного известная близорукость, которую я вам вообще описать не могу. Это правда, я возвысился благодаря своим добродетелям, но иногда порядком, как если бы это было мое благородство, стыжусь. И затем чертовская натурфилософская достопримечательность, которую я собой являю...

Гансвурст. Я вас не понимаю.

Гинценфельд. Я имею в виду отчаянного так называемого паука, того ворчуна, которого я при некотором удобном случае совсем не могу подавить. К примеру, если будет подано прекраснейшее жаркое, или если некто скажет лезть и так далее. Видите ли, затруднение. О это поразительно: *Naturam espellas furca, tamen usque recurret!*¹.

Гансвурст. Но вы же однажды уже стали таким, что не должны позволять себе вообще беспокоиться.

Гинценфельд. У меня уже есть много предубежденных против этой медицины, но это некие старые тени, которые прекратятся только с моей смертью.

Гансвурст. А не выращиваете ли вы сами этих пауков?

Гинценфельд. Этого я не смог бы сказать; мне напротив в таком случае очень хорошо в моей шкуре, и я верю, что так как я вынужден ворчать, вынуждены другие персоны в этом положении творить стихи, и такова моя болезнь, что это от меня не дальше, чем поэзия — от жаркого из зайца, который не может выскочить из шкуры.

Гансвурст. Вы неизменно шутите, господин Министр.

Гинценфельд. Обо мне говорят, я пускаю все на самотек, и не только отбавляю, но еще к этому прибавляю.

Леандр и Курио входят.

Леандр. Мое почтение, господин Министр.

Гинценфельд. Покорно благодарю.

Гансвурст. Как дела, господин Ученый?

Леандр. Я в отчаянии.

Гансвурст. Отчего это?

Леандр. О, поганая, проклятая судьба меня совсем изнурила!

Гинценфельд. Сдерживайтесь, мой любезный, в вашем несколько вольном образе мыслей. Между нами вольность не имеет смысла, но могла бы в присутствии других.

Курио. О, он не имеет в виду обычную судьбу, или разумное провидение.

Гинц. Ну, что же в таком случае?

Курио. О мой Бог, судьбу старого впавшего в детство короля. У меня тоже ум весь сжался.

¹ Гони природу в дверь, она войдет в окно (*лат.*).

Леандр. Мне, слава Богу, за весь ужин ничего иного не пришло на ум, как число пятнадцать, такое жалкое было у меня настроение.

Курио. Я уверен, я могу не более приличным порядком досчитать до 15, так часто мне приходилось это делать.

Леандр. И к тому же эти проклятые имена — одного парня называет Максимилианом, другого Себастианом, — а все должны сдерживаться, когда с ним играют.

Гансвурст. Почему же вы не хотите сдерживаться?

Леандр. Потому что меня эти парни не интересуют и потому что во всей этой игре нет человеческого смысла.

Гансвурст. Ах, друг, вы думаете совсем несправедливо о человеческом смысле.

Лисипп входит.

Гинценфельд. Мы вполне можем садиться, общество уже скоро соберется. Здесь у нас тоже есть умные головы.

Гансвурст. У него в запасе заготовлен целый склад шуток, которыми он часто извращает лучшие вещи.

Лисипп. Итак, господа? Хорошо, господа, я надеюсь, теперь уже здесь достаточно ученых, чтобы сформировать ученое общество.

Гинценфельд. Превосходно! В самом деле превосходно. Но знаете ли вы, господа, что сегодня годовщина основания?

Лисипп. О да, и потому надо читать стихи, и господа министры зажгут фейерверки, потому что первый камень в основание этого общества положен, я думаю, и они дали первую к тому идею.

Гинценфельд. Это также и моя идея о камне.

Лисипп. Именно тесовый камень, милостивый государь, и все что на нем зиждется, имеет всегда благородный стиль.

Гинценфельд. Очень хорошо, уверяю вас, клянусь честью, господин Советник, безусловно, хорошо. Сюда идет Философ!

Входит Саппи (философ).

Саппи. Добрый вечер, всесторонне высоко чтимые господа, я удивлен тому, что еще не горит свет.

Гансвурст. А что, уже темно?

Саппи. Ах, смотрите же, господин Советник, правда, так темно, что я вас едва смог узнать.

Доктор, придворные и другие представители ученого сообщества.

Доктор. Тут воздух нездоровый, влажный.

Саппи. И поражаются преимущественно нервы головного мозга.

Лисипп. Привидения будут подавлены, и в стране шуток должен будет наступить неурожай и время дороговизны.

Саппи. Шутка собственно и есть неурожай, как же может быть неурожай неурожая?

Лисипп. Вы пренебрегаете шуткой, господин Философ, и потому все это, собственно, вообще смешно.

Саппи. Вы охотно принимаете за шутку все, что темно для вашего понимания.

Лисипп. Вы остры, вы язвительны.

Саппи. Не острее, чем мои убеждения.

Лисипп. Так ваше убеждение есть отточенный меч, которым вы не так часто позволяете себе раздвигать границы.

Саппи. Эти границы суть философия.

Гансвурст. О какова улада, за долгое время еще ни разу не услышать разумных речей!

Слуги зажгли огонь, и становится все светлее и светлее.

Лисипп. Вот и просвещение доставлено.

Гансвурст (*про себя*). О, надо бы упразднить в цивилизованном мире известное балагурство, чтобы при чихании больше не говорили: «Боже, помоги!» Добрые были времена, когда Ной между своими сыновьями придумал семейное удовольствие с зажиганием свечей в субботний вечер, что было еще дешевым новшеством, но теперь износились от времени золотые и серебряные галуны, и шитье платков совсем истончилось.

Лисипп. Вы задумались, господин Советник? Почему вы не веселы?

Гансвурст. А вы почему не грустны? Все веселы. Все радуются всему, о чем бы вы ни заговорили, между тем как к этому поощряет только ученое сообщество, а это сообщество не способствует всеобщему образованию.

Гинценфельд. Но садитесь же, господа. (*Все усаживаются*). Господин Советник, будете ли вы на этот месяц нашим президентом, или начальником?

Гансвурст. К вашим услугам.

Саппи. На днях поднимался вопрос: ради чего непременно человек добивается счастья, и я ответил на это, недолго думая: ради добродетели. Ибо мне кажется очевидным, что добродетель только для того существует, чтобы людей делать совершенно счастливыми, так как мы обыкновенно около великого и мудрого провидения находили бы слишком сомнительный к этому повод. Было бы как будто противоречием, если бы мы почувствовали в себе эту неподдающуюся искушению склонность к добродетели, и добродетель не делает нас вопреки этому счастливее.

Гинценфельд. Итак, я надеюсь, это достаточно дельное замечание.

Лисипп. Прекрасная мысль и до сих пор еще популярная.

Гинценфельд. Совершенно верно, не та ordinaria школьная премудрость, которая сплошь довольствуется познанием терминологии.

Лисипп. А еще не тот дикий скептицизм, который хромает, и в заблуждении бегаёт кругами без всякой палки.

Гансвурст. Будет ли мне позволено дать краткую отповедь?

Саппи. Все, что вам угодно, дорогой Советник.

Гансвурст. А если бы я возразил, что я не ощущаю в себе ни этой склонности, ни зуда к добродетели?

Саппи. Э, мой дорогой Советник, тогда вы были бы исключением среди различных человеческих натур, и я бы этого не желал.

Гансвурст. Почему нет? Это ведь могло бы быть возможным.

Саппи. Э, так я мог бы прийти от вас в ужас.

Гинценфельд. Нет, Советник, я сам охотно предаюсь сомнениям в праздные часы, но вы идёте ещё дальше. Нет, добродетель вы должны оставить в покое, ведь вам должно быть известно, что добродетель не есть никакое пустое имя, суждение, которое даже уже имелось у язычников.

Саппи. Нет, человеческое благородство ни в коей мере не связано с такими убеждениями.

Леандр. О Советник пошёл уже намного дальше, он же засомневался даже в самой реальности.

Гинценфельд. В этой реальности? Могу я хоть немного ближе увидеть эту вещь, — в её постоянстве, — целесообразности, — в её настоящей реальности?

Гансвурст. А иначе в чём же мы должны усомниться, если у нас сразу возникло такое затруднение?

Гинценфельд. Нет, приятель, честно говоря, это эксцентрично, это заводит далеко. Есть сотни вещей, о которых можно позволить иногда вежливо усомниться, но в этом сомнении уже всё определено.

Саппи. А что же добродетель, не так же действительна, как реальность?

Лисипп. У меня постоянно начинает болеть сердце, когда кто-то хочет, чтобы я отрицал то, что я люблю больше всего на свете.

Саппи. Любого человека, который отрицает добродетель, нужно сторониться.

Леандр. Я никак не мог бы ему доверять.

Лисипп. Это плохо с вашей стороны, господин Советник.

Саппи. Бюргерское общество.

Лисипп. Это всеобщая уверенность.

Все общество между собой. Все обеспокоены. Каждый приходится кому-нибудь спутником жизни. Религия уже больше не выдерживает испытания. Все пришло в волнение, и государства и троны опрокидываются сами собой. Порядок гибнет.

Гансвурст (*поспешно надевает шляпу*). Уважаемые господа, президент надел шляпу! Здесь тоже порядок при смерти.

Гинценфельд. Энтузиазм завел нас слишком далеко.

Леандр. Не могли бы вы любезнейше позволить, чтобы я до конца прочел вам свое ученое сочинение?

Гинценфельд. Это доставит нам бесконечное удовольствие.

Леандр. Господин Лисипп...

Лисипп. О мой Бог, я горю желанием.

Леандр. Господин Саппи...

Саппи. Ученые сочинения мне всегда желанны.

Леандр. Я не знаю, господа...

Все. О да, весьма охотно.

Леандр читает. — первая песнь завершена.

Хор. Да! Да!..

Принимаются ожесточенно зевать.

Леандр продолжает чтение.

Всеобщий хор. Да!..

Но все прикрывают руками рты.

Леандр читает дальше.

Гансвурст (*тихо Лисиппу*). А не могли бы мы вместе с господином Симонидом пойти в другую комнату, и затеять ломбер?

Лисипп. С удовольствием.

Все названные тихонько выходят.

Леандр продолжает читать.

Хор молчит, потому что все спят.

Леандр закончил.

Все. Прекрасно! В самом деле прекрасно! Мы во всем присоединяемся к вашим выводам, господин Леандр.

Гансвурст, Симонид и Лисипп тихонько входят обратно.

Гансвурст. Почему нет большой полемики, господа? Остроумно! Но, я должен откланяться, потому что уже поздно.

Уходит.

Леандр. Советник себя в жизни ничем не ограничивает.

Уходит.

Саппи. Как убога эта поэзия, в ней начисто отсутствует глубина изображения и аллюзий. Слог недостаточно корректный, и все рифмы, чтобы не выглядеть свалившимися с неба, должны согласовываться со здравым смыслом.

Уходит.

Гинценфельд. Господин Саппи тоже позволил себе умное высказывание. Адьо, господа, было очень содержательно. (*Уходит.*)

Лисипп. Зануда этот министр, но в целом хороший господин. Его шутки порой убоги, но манера выражаться всегда несколько добродушна.

Уходит.

Доктор. Мне кажется, господин Лисипп здесь заработал катар, который подорвет его жизненные силы. (*Уходит.*)

Курио. Ну и жалкие манеры и образ жизни у этого доктора, я склоняюсь перед вашей благосклонностью, господин Симонид.

Уходит.

Сикамбр (*один*). Через восемь дней снова заседание, я со всей страстью ожидаю этого дня. Если только дворцовые паразиты не пожелают втиснуться между образованными людьми.

Уходит.

Шарманщик (*декламирует снизу*).

Радует жизнь нас,
Ведь лампы еще горят,
Сорвана роза,
Едва расцвела она.

Слуги входят.

Первый слуга. Да, тут до сих пор лампы не служат примером, что их нужно погасить.

Второй слуга. И розы также не желают ничего значить. Но, Каспар, зачем ты полез под стол и там ползаешь?

Третий слуга. Я думаю, они уронили несколько монет.

Первый слуга. Вот дурак, карточная игра теперь вышла из моды в среде разумных людей; теперь просвещаются, и коротают время и развлекаются с умом. Самое большее, что ты там выудишь, — пару философских идей.

Третий слуга. Это меня вообще не устраивает. — (*Появляется из-под стола.*) Кто так ломится в дверь? Э, гляди-ка, Конюх!

Конюх (собака) входит.

Первый слуга. Ну вот, как дела, дружище? —

Второй слуга. Как будто собака может тебе ответить!

Третий слуга. Очень жаль. (*Слуги уходят.*)

Конюх (*один*). На этом стуле, определенно, сидел кот. Если он министр, почему я не могу один раз побыть Гофмаршалом? Мой господин, принц, болен и так умен, что все государство приводит в замешательство многочисленными шутками. Распожусь-ка я на этой софе, и с комфортом посплю до утра.

Лес

Лесной отшельник, Геликан.

Лесной отшельник. Так вы вообще не желаете посоветоваться?

Геликан.

Что вы называете советом?

Поистине, любезный брат, когда бы я

К пустым словам, к советам праздным прислушался,

То жил бы вечно в мире болтовни

И не искал убежища в природе.

Лесной отшельник. В одиночестве, что сделали вам люди?

Геликан.

Что?

О никакой язык, ни речь, ни сердце

Так громко, страшно громко объявить

Не может то, что по лесу фанфары

Трубят, как род людской меня тревожит,

Преследует, и в горькие мученья

я погружаюсь с каждым днем все глубже.

Чем глубже вражью школу постигаю,

Тем больше к ней вражда моя с годами,

Тем злейшим становлюсь ее врагом.

Лесной отшельник. Конечно, некоторые охраняют мир и не знают, для чего должны охранять его;

Кто на дружбу надеется, видит в друзьях чужеземца.

Он холодный товарищ, ведь этот обыденный мир

Преисполнен объятий пустых и сердец

равнодушных,

И поэтому мы не должны безрассудно любить,

Чтобы в худшее вдруг не попасть положение.

Так, попросишь однажды ты чьей-то любви,

И с насмешкой тебе вдруг укажут на двери.

Геликан.

Ты выразил судьбу мою словами

Своими: так не раз уже бывало,

И будет впредь еще неоднократно,

И потому хочу пустой оставить мир.

Лесной отшельник.

Так уходи же посреди спектакля,

И рассерди Поэта, только он

Нам в середине показать собрался,

Как осознают добродетель персонажи:

Дождись конца, однако, он тебе
Там реплику еще одну оставил.

Геликан.

Я сыт уже таким пустым спектаклем,
Где болтовня одна, и все бессвязно,
И болтовней заполнены все сцены.
Тщеславие ничтожностью кичится,
Притворством, фальшью. Скукой забавляюсь
Я как дурак. Мне это ненавистно.

Лесной отшельник.

Тогда, конечно, это боль со смыслом,
Терпение срывается, рассудок
Голодным и пустым лишь остается,
Как девушка шутливая, что друга
Разговорит, чтоб время пролетело.
Я в грудь твою вложил бы свое сердце,
Раз ждут его еще в пути страданья.

Геликан.

Отец святой! Да можешь ли ты думать
И чувствовать, как ощущает юность
И как бунтует кровь в груди отважно?
Ты знаешь ли любовь?

Лесной отшельник.

О, все в тумане,
лежит в долине темной, глубоко
от мира спрятано. Однажды в моей жизни
все было: было жаворонка пенье,
заря была, и лес лучи златые
встречал, и в блеске утра
качались кроны, с радостной отвагой
хотел забраться я как можно выше.
Но солнышко взошло, мечты рассеяв,
Так свет дневной свет коварно поглощает
Все ясностью настойчивой, жестокой,
И леса стал жильцом я одиноким.

Геликан.

Но в чем тогда нашли вы утешенье,
Как вы достигли мудрости и счастья?

Лесной отшельник.

Терпением железным мог бы скалы
Расчистить я. Оставил я друзей,
И в полном одиночестве я начал
Жить здесь, как глупец. Я бы хотел

Стать юным вновь перед тобой, который
В восторге не владеет языком.

Геликан.

Ну я тогда с тобой имею дело:
Я видел, слышал, как вся жизнь твоя
Напоминает мне мои страдания.
Неблагодарный, я всю жизнь бежал
природы вечной. И теперь я только
почувствовал в груди твоей желанья
свои же и узрел в тебе себя.
Свою любовь я гордо отмечаю,
из моих вздохов больше ни один
не постучится в сердце к ней, и только
тоска моя и пламенная верность
как дань, отдача должного процента
ее красе. Она уж их считает,
и много у нее таких процентов.
Приобрести я должен буду славу.
В опасностях я должен закалиться.
Бесстрашно я ввязался в эту битву,
Презрев опасность, сотворил я это.
И я назад израненный вернулся,
Но радости в глазах ее не встретил —
Я бедным стать решил, с пренебреженьем
Имущество оставить, возвративши
Ей половину скудную. Теперь же
Я должен буду стать еще богаче,
Стремясь к деньгам, я то предпринимаю,
Что никому на ум не приходило,
Я не ищу прибежища у ближних,
Мой путь лежит в далекие пределы —
Я возвращаюсь, и, увы, проклятье! —
Я возвращаюсь, — кто бы мог подумать,
Как горек для меня был этот вермут,
Вернулся — а она обручена.

Лесной отшельник. Жестокая судьба! Однако слушай и рас-
судок.

Геликан.

И вот, во всем большом, бескрайнем мире
Нет сердца, с кем я мог бы поделиться
Заботами своими. Как творенье, увы,
Необитаемо, пустынно.
О как же ненаполненно, и в этой

Неизмеримости ответных звуков нету.
Насмешка только, горькие слова,
холодность, равнодушие, и только
на крайний случай утешенье словом
не значащим. О, жалкая утеха!

Лесной отшельник. Так послушайте же разумной речи!
Геликан.

Мой ум, а знаете ли вы, что этим словом
Сказали вы? Ведь разум мой повержен,
Я вынужден теперь им пренебречь,
Советует бежать мне этот разум
От всех проверок мер и веса,
Чтоб только это горе миновало.

Лесной отшельник. В таком случае разум — опасное без-
умство!

Геликан.

Да, кто может болтать, тот, конечно, разумен,
Чьи молчат ощущения, тот вовсе разумен,
Кто застывший, холодный старик, тот разумен,
Кто рожден от сверхумного, этот разумен!
Люди все таковы! Все — вопящее быдло!

Лесной отшельник.

Твои речи беспомощны, ты говорить не умеешь,
Если б уши имела твоя неразумная страсть,
Ты легко мог бы сам все стенанья

свои опровергнуть!

Ты порочишь людей, не желая при этом узнать
О страданье хотя б одного человека, и думать
Не стремился, и слышать о том не хотел,
Что когда-то, быть может, к тебе обратится
Кто-то с болью, которой не ведает сердце твое.
И растрогает этим тебя, потому что внутри милый
образ хранится,

И с холодной насмешкой тебе

начертал он границы,

Те, с которыми ты не смирился в желанье,
Вот сюда и пришел ты, для боли ища оправданий,
Ты считаешь, что люди вокруг недостойны тебя,
Но, возможно, тебе далеко и до них, и тогда
Возвращайся из леса обратно, учись у людей.

Геликан.

Это благоразумно! Но друг мой, скажи о себе,
Почему ты ушел в дикий лес от людей?

Лесной отшельник.

Потому, — прочь же, слезы, утихните, — старая боль,
Сколько в жизни страдал я, об этом не знает никто.

Геликан.

Но ведь каждый на свете испытывал боль,
Ощущая чудовищной, страшной ее,
И не надо рассказывать про эгоизм,
Ты гордишься ведь этим несчастьем своим.
Так любой рассказал бы, сведя на себя,
Но для тех, кто страдает, — пустые слова,
Мудрословье бряцающих зря бубенцов
И раскрашенных празднично вычурных слов.
Им безумцы внимают. Но я был глупцом.
Свои юные беды со старым делить мудрецом.

Лесной отшельник.

Он не прав, но, пожалуй, немного и прав.
Стариковский всегда рассудителен нрав.
Веселы они, благоразумны и каждый
Захотел бы сыграть роль судьи хоть однажды.
Только что справедливо? Только слово, не боле.

Крестьянин входит.

Крестьянин. Можете мне указать путь к королевской резиденции?

Лесной отшельник. О да.

Крестьянин. Я хочу с королем Готлибом поговорить.

Лесной отшельник. Пойдемте. —

Наверняка удастся нам избрать
Путь безопасный, верный и короткий. (*Уходят.*)

Зал Академии

Привратник. Не знаю, или это мне мерещится, но я уже давно слышу грохот в зале, — или вчера вечером один из членов ученого общества мог запереться там? Да уж освобожу. (*Ищет ключ.*) Сейчас, сейчас, мой высокочтимый господин, сейчас (*открывает дверь, наружу выскакивает Колюх*). Смотри-ка, как же ты туда попал?

Входит Нестор.

Нестор. Не здесь ли собака?

Привратник. Здесь он.

Нестор. Принц спрашивает его.

Привратник. Хорошо. Да, он здесь.

Нестор. Собака должна немедленно идти домой.

Привратник. Уже.

Нестор. И почему я должен искать эту собаку.

Привратник. Вот-вот; будет этому конец?

Нестор. Потому я лучше уведу его с собой. *(Они уходят.)*

Домик Доруса

Ли́ла.

То тут, то там,
И вдруг она,
Любовь, в глаза глядит пытливо
И вопрошает молчаливо:
Что хочешь ты, дитя, узнать?
Скажи, любовь, как долго ждать,
И далеко ль желанный мой?
Как облаков полет
И как игра теней,
Так мысли то грустей, то веселей.
И звук идет сюда издалека
Любимый, это ты зовешь меня?
Я не пойму, откуда, — даль темна.

Входит Дорус.

Дорус. Ты поешь очень громко, милая дочка.

Ли́ла. Что же делать, если не петь? Все время жаловаться — вечное однообразие.

Дорус. Я выйду вниз в деревню, кузнец должен был поправить мои земледельческие инструменты.

Ли́ла. Скоро вернетесь?

Дорус. После того, как будет готово; ему трудно объяснить, что от него требуется.

Ли́ла. Так я тем временем буду прясть.

Дорус. Пряди, милое мое дитя.

Уходит.

Ли́ла *(садится на пол в доме и оставляет дверь открытой)*. Так я смогу свободно обозревать ландшафт. О как вечер исполнен покоя.

Поет.

Колесико
Крутится бодро,
Ниточки
Книзу выются:
Где ты находишься,
Милый,
Спешишь ли ко мне вернуться?
Я мечтаю дни напролет

И пряду напролет все недели,
Лишь тобою полны мои мысли.
Под жужжанье колесика прятки,
Под гудение мерное это
Я чудесное озеро вижу.
И вот появляются феи.
И его они провожают.
Как гордо он с ними шагает!
Ему служат горние духи,
Радостно мчится по небу
В ярких лучах заката.
Изредка заиграет
Где-то пастушья флейта:
Тогда я мечтаю о крыльях,
За ним лететь и подпрыгнуть
Наверх, в облаках на крыльях
Покачаться в лучах заката.

Да! Кто бы знал! О блаженный жаворонок, как часто я завидовала твоему
быстрому полету! Мы вынуждены шаг за шагом медленно передвигаться,
а можем уйти далеко. О Клеон! Я все время думаю о тебе. Я часто стыжусь
этого, и оттого злюсь, когда я эти мысли допускаю.

Геликан (*из лесу*).

Как заря там расплескалась нежно
За холмом зеленым, словно детство
Золотым лучом окантовало
Тени леса темные, густые.
Тянется румянец красный, нежный,
Яблочный, как сладкая улыбка,
Так невинно и наивно в небе
Смело, безмятежно засияла.
Старый мир ко мне идет навстречу,
И тоска внезапно накатила,
Этот взор небесный, упоенный
Манит блеском облаков вечерних.
Слышу я вдали напев призывный,
Что как лебедь по волнам прохладным
Вечера несется, заставляя
Лес внимать всей зеленью той песне
И смягчаться в звуках ее томных,
Усмирять лесной веселый шум.
Мое сердце в тон ей прозвенело,
Глубину души ее прозрело.
Сам себе я что-то говорил,
Что — не ведал, я бежал на голос,

Даже не бежал я, а парил,
Словно облака, за ним я влекся.
Как ребенок-паинька не может
правила нарушить, так и я
воле этой полностью покорный.
И неслась на звук душа моя.
Что за чудо случилось вдруг со мной?
Я попал во власть каких-то фей,
Мысли все в волненье, под влияньем
Этих мыслей сердце утомилось,
И позвать на помощь сил не стало.
И любовь передо мной предстала,
Как весна, и темное «вчера»
На засов закрылось и пропало.
«Завтра» лишь во мне теперь живет,
Золотым окрылено сияньем.
Прошлое, оно уходит вдаль,
С неба звезды новые блистают.

Подходит ближе.

Как прекрасно это существо!
На ланитах теплится невинность,
Как меня стесняет этот взор,
Необыкновенно, с тихой силой.
Маленькие сени у крыльца,
Лестница, прилежно крутит прялка,
Милая старательность — ах, я
Нежности такой еще не видел.
А не ты ль тут пела на закате?

Лила. Я пела, потому что я не знаю ничего лучшего.
Геликан.

О только хоть тон, хоть звук один,
Чтоб время еще раз вернулось вспять.
Больного вылечить сможет вдруг
Лишь свежее счастье. Богиня любви
Танцует на лестнице. Боги с холмов
Спустились, их множество; только звук
Их пеструю может снести толпу,
И опрокинуть, чтоб в звуках волн
Они купались. А я тебя лишь об одном
Звуке молю!

Лила. Если вы хотите (*поет*):

Вылетела в поле пташечка
И поет в сиянье солнечном,

Сладким, дивным своим голосом:
Адю! Я теперь улетаю,
Далеко! Далеко!
Сегодня уже отправляюсь в полет.

Я прислушиваюсь к песенке,
Что поется в поле весело.
Как нам раньше было радостно,
А теперь уже так боязно.
С тоскою веселой,
С радостью хмурой в груди
(Как изменчиво все).
Сердце! Сердце!
От радости замерло ты
Иль от дикой тоски?

Когда листики опавшие
Я увижу, говорю себе:
Это осень. Верно, ласточка,
Летний гость, с тоской готовится
И с любовью к путешествию.
Далеко! Далеко!
Так быстро,
Как время летит.

Но вернется снова солнышко,
Вновь пригрезится мне пташечка,
И увидит, что я плакала,
И споет: любовь не вымерзла
На холодном зимнем инее.
Нет! Нет!
Она есть,
Она будет сиянием вечной весны.

Геликан.

Ты видишь, как дыханье затаив,
Тебе внимает чуткая природа.
Вечерних звезд сияньем золотым
Так славно озарен весь небосвод!
Напев твой сладкозвучный мир несет
Земной юдоли, вечер тени расстиляет.
Лучи луны вокруг меня плетут узоры
Гармонией любви исполненные волны
Несут меня, качая, в небеса.

Ли́ла. Я не знаю, кто вы, сударь.

Ге́ликан. О, простите, милая девушка. Заблудившийся путник.

Ли́ла. Заблудившийся?

Ге́ликан. Правда, не заблудившийся, а не имеющий никакой дороги.

Ли́ла. То есть вы потерялись?

Ге́ликан. Ну да.

Ли́ла. Мой отец должен скоро вернуться домой, он может показать вам правильный путь.

Ге́ликан. Благодарю. Не могла бы ты принести мне глоток воды?

Ли́ла. Я принесу вам бокал вина.

Уходит.

Ге́ликан

Она ли это? Да, она! И где же?

Ее искал в своих мечтах, и в Польшу

Летел, и в неизведанные страны.

И вот нашел ее ты, Ге́ликан.

Так рудокоп не может слитку золотому

Обрадоваться, найденному в шахте.

Ли́ла возвращается.

Ли́ла. Вот вино, и хорошее. Пейте, вы тоже хорошо устали.

Ге́ликан. Нет, — да.

Ли́ла. Так садитесь тут на скамейку. Вы издалека?

Ге́ликан. О да.

Ли́ла. Земля большая.

Ге́ликан. Слишком большая, — и все же в тысячу раз меньше и теснее.

Ли́ла. Как это может быть?

Ге́ликан. Будет лучше, если ты не поймешь этого.

Ли́ла. Сюда идет отец.

Дорус входит.

До́рус. Добрый вечер. У тебя гость, Ли́ла?

Ли́ла. Бедный, заблудившийся человек из лесу.

До́рус. Я его приглашаю к нам.

Ге́ликан. Благодарю вас за гостеприимство.

До́рус. Если вы устали, то отдохните до утра в моем маленьком доме.

Ге́ликан. До утра, и только, — я кое-что хотел бы вам сказать.

До́рус. Говорите.

Ге́ликан. Вы бедны, как я догадываюсь, по крайней мере небогаты, я немного большего у вас прошу, — оставьте меня у себя в этой тихой, мирной местности, жить в вашем милом обществе. Я — человек, изгнан-

ный из мира, не нашедший себе друга: станьте моим другом. Что скажете? Я не хочу быть вам в тягость, я научусь вашему образу жизни.

Дорус. Лила, как ты думаешь?

Лила. Как вам угодно, папа, но...

Дорус. Только до того, как вернется Клеон. Видите ли, господин, я охотно вас приму, но только на короткое время. У меня тут только этот маленький дом, будущее наследство моей дочери и ее мужа. Если вам этого довольно, то можете войти: но, как говорят, надолго я вам, возможно, не могу дать приют. Хотите взглянуть?

Они уходят.

Королевская опочивальня

Готлиб, королева, его супруга.

Готлиб

Совсем не постарела ты, о Хольда,
И мною ты по-прежнему любима,
Мила мне, как всегда, как было раньше.

Королева

Ах, дорогой супруг, тебе ли думать
С тоской в груди о радостях любви.
Тебя твоя оберегает королева.

Готлиб

Дитя мое, могу и больше думать,
Ведь от любви не станет в океане
Воды намного больше.

Королева

Ах, дитя, хоть я и уважаю твои мысли,
Но ты, скажу любя, не так уж высоко и образован.

Готлиб

Считал всегда я, что должна жена
Умнее мужа быть, разумнее, но свет,
Как говорят у нас, сошелся клином.

Королева

Свидетель Бог, твой стих довольно хром,
Так неустойчиво стоит на камне он.
Не чувствуешь в берцовой кости боль?

Готлиб

Ах, кость берцовая! Одни спондеи зришь:
Немного их, но в этом ценность их.

Королева

Прекрасно! Вот так жизнь! Да черт бы все побрал!
Я больше не могу свободной быть в словах?

Готлиб

Не выражайся, как плебеи, неприлично.
Ведь чернь от нас порой лишь титулом отлична.

Королева

Управил ртом жены весьма красиво муж.
Но горе для страны — она не знает нужд!

Готлиб

А что же патронташ, кустарник новый?
Я первым делом лично все устроил,
Чтоб каждому кусту участок свой.

Королева

Вот так мы и живем единодушно,
И твое сердце, и ты сам весь — мой.

(Стук в дверь.)

Готлиб. Войдите!

Крестьянин. Тут живет господин Король?

Готлиб. Да, друг. Чего тебе нужно?

Крестьянин. Если вы можете прочесть, то у меня к вам письмо.

Оно пришло через экспресс.

Готлиб. Через что после экспресса?

Крестьянин. Да, вестимо, через меня, я курьер, для этого избранный среди многих других, которые не имеют рассудка, чтобы представить себе экспресс. Перекладных лошадей прямо для меня на очереди не было, так я, по правде говоря, выжал их под экспресс. И таким образом перенес сюда это письмо.

Готлиб. От кого же оно?

Крестьянин. От соседнего короля, господин Король, человека хорошего сорта, правдивого, кроме того, он почти чистокровный крестьянин.

Готлиб. От нашего дорогого брата?

Крестьянин. Да, но я должен сказать, достопочтенная госпожа Королева, как только мы попадаем в вашу страну, дороги становятся намного хуже.

Королева. Как это?

Крестьянин. Да этого я, собственно, не знаю, и почему это так, я также не могу провидеть. Сначала идет себе шоссе, а затем дорога становится такой бесконечно широкой, что проходишь лишнюю милю, когда думаешь выскочить на ведущую дорогу. Так уж старый отживший Лесной отшельник мне правильную указал. Скажите мне еще, почему же эту страну больше не возделывают?

Королева. Дороги занимают слишком много места.

Крестьянин. О, так нужно некоторым подлым дорогам сказать: Да будет дорога! Ведь что может из этого выйти?

Готлиб. Только послушай, любезная супруга, что наш сосед пишет. *(Он читает.)* Во-первых, С.Т., это я не знаю, что оно означает, и далее:

«Узнали мы в соседнем королевстве,
что принц Цербино ваш сошел с ума,
сказать по чести, это так прискорбно,
Но для рассудка год сейчас плохой,
не захотел он обратиться ни к кому,
конечно, это плохо, не поможет
тут ни лопата, ни крюки. Но, к счастью,
живет один волшебник дикий
в северо-западном лесу.
Чудесный доктор этот лечит глупость,
обогащает душу превосходно:
потерянное ищет, и как будто
для нашего ребенка он родился.
Вот его адрес: господин Поликомикус.
До востребования в уединенном диком орехе.
Известен он ослиными ушами
большими, коих от своих забот,
наверно, удостоился; живет
он в нижнем этаже пещеры темной,
и там предсказывает, и ни о каких
он душах не заботится. В глубокой
покорности засим Ваш остаюсь
король Пиндар».

Что ты об этом думаешь, супруга?

Королева. Позволь тотчас большой совет созвать и послать к этому человеку миссию.

Готлиб. Это будет сделано. Крестьянин, тебе полагается спасибо!

Крестьянин. Полагается? Ну, это великолепно.

Готлиб. Меня это устраивает.

Крестьянин. И это есть спасибо?

Готлиб. Непременно.

Крестьянин. Какая ветренная вещь наша человеческая речь!
У нас эти вещи называют вовсе не благодарностью.

Готлиб. Нет?

Крестьянин. Правда! Кто же так прекрасными словами злоупотребляет...

Готлиб. Так ты получишь деньги.

Крестьянин. Ну, оставайтесь на правильном пути, возвращайтесь к вашим трудам, и пусть они у вас удаются, больше говорите на нашем языке как на своем родном. *(Он уходит.)*

Зал

Нестор, Леандр.

Нестор. Нет, господин Леандр, я ни в коей мере не могу к этому обратиться.

Леандр. Но что вас делает таким упорным?

Нестор. Что? По правде не что иное, как мой здравый рассудок. Я ни в коей мере не могу увериться, что ваши принципы критики были бы более справедливыми, чем вся поэзия, которую они хвалят или порицают.

Леандр. Но послушайте же меня.

Нестор. Я ничего больше не хочу слушать, это звучит неразумно.

Леандр. Эти самые принципы в конце концов приведут к тому, что будут создаваться отличные стихи.

Нестор. И это тоже не служит ли к тому, чтобы нужно было для этого писать принципы?

Леандр. Тем лучше, что это полностью правда, но мы так пойдем слишком далеко.

Нестор. Куда же, наконец?

Леандр. Туда, туда, понимаете ли, где человечество станет таким совершенным, что ему уже наконец не нужна будет никакая поэзия.

Входит Доктор.

Доктор. Как поживаете?

Леандр. О, друг Нестор в высочайшем бешенстве.

Доктор. Как это случилось? Медицина не может воздействовать?

Нестор. Они помешались, господин Доктор!

Доктор. Как? Определенно тут возникла эпидемия, я боюсь, весь Двор будет заражен.

Нестор. Ради Бога, если бы только она прекратила тот скучный сорт рассудка, который сплошь и рядом.

Леандр. Вот только послушайте безумца!

Готлиб входит.

Готлиб. Что тут случилось, народ?

Доктор. Слуга принца тоже уже спятил.

Готлиб. Это распространяется по определенному образцу. Ну, наберитесь терпения, люди, мы хотим написать одному волшебнику, человеку с ослиными ушами, который будет всех нас лечить.

Доктор. Это зашло так далеко? О небеса! Я с благодарностью преклоняю колена, за то, что я не великий колдун.

Уходит.

Леандр. Ну, его надо примерно наказать, мой друг.

Нестор. Как это?

Леандр. Он прилюдно должен попросить прощения за то, что он поступил глупо. Церковное покаяние ему вовсе не повредит.

Уходит.

Нестор. Голова у меня прежде уже совсем иначе была настроена, по правде говоря, но почему это не так хорошо стал знать рассудок, не постигаю.

Уходит

Большой совет

Готлиб в качестве Председателя, советники Гинц, Лисипп, Симонид.

Готлиб. Я прочел вам письмо моего брата — короля, живущего по соседству.

Советник. Да, мой государь.

Готлиб. И вы содержание поняли и уразумели?

Советник. Да, Ваше Величество.

Готлиб. Таким образом, по моему разумению, это человек, которым не надо пренебрегать, который в состоянии произвести это чудесное лечение.

Советники. Конечно, нет.

Готлиб. Идите же, наш верный Лисипп, с неограниченными полномочиями и возьмите с собой Симонида в качестве секретаря посла. Ваши усилия будут отмечены. *(Лисипп и Симонид уходят.)* Итак, заседание упраздняется. *(Все расходятся.)*

ТРЕТИЙ АКТ

Внутри пещеры Поликомикуса

Охотник в роли хора каким-то образом выползает из камина.

Охотник

У Поликомикуса мы сейчас в пещере,
Волшебника известного. Вошел я
Через камин и мужество имею
Теперь сказать вам пару слов, однако
Я должен быть предельно в речи краток,
Ведь может скоро и колдун войти,
И тут найти, схватить меня, как вора,
он очень мог бы в добродетели моей
тут усомниться, ведь меня не оправдает,
что в дом его я для того проник,
чтоб с вами, уважаемые, мог я,
используя его, поговорить:

он думает, лишь он имеет право
в пещере разговаривать своей.
Скажите, но без шуток, вы ведь шутки
воспринимаете? И если их всем сердцем
вы любите, то вы мне дать должны
ответ на мой вопрос без тени фальши,
застраховать себя от шутки нельзя иначе.
Это ведь не то, над чем всегда охотно вы смеетесь.
Как будто жизнь двойную вы ведете,
Смеетесь лишь, коль истина по вкусу.
Но истину как шутку рассмотреть
И шутку в виде истины — извольте.

Страдание и радость
Играют наравне,
Печаль присуща шутке,
Совсем чуть-чуть присуща,
Едва-едва видна.
Ах, очень любит шутка
И выбирает шутка
Такую тишину,
В которой ее радость
В едва-едва заметным
Страданием видна.

Всерьез не принимайте эти вещи,
Они порой не так уж и забавны,
Конечно, кроме тех *utile dulci*¹,
Сиропа от катара. Вы такого
У нас не встретите ни в прозе, ни в стихах.
(У нас — то бишь себя с поэтом
Имел в виду я.) Можете попутно
Заметить, что я в список персонажей
Действительно в сей пьесе не вхожу.
Ведь вы, конечно, действия хотите:
Я зритель здесь, как все вы, говорю
От вашего я имени. И вот,
Исправит пусть вас Божье милосердие,
И вы с меня пример берите. Был же
И я, как вы, в дни лучших свои,
И зрителем я был одной прекрасной пьесы,

¹ Приятное с полезным (*лат.*). *Utile dulci miscere* соединять приятное с полезным (рекомендовалось Горацием в «Науке поэзии»).

Гораздо лучшей этой. Я сидел
И головой качал, и умную гримасу
Состроил, только не могло ничто
Мне угодить. То принимаю я, другое отрицаю.
Презренья жалкого, казалось мне, так мало,
Чтоб глубину презренья передать,
Поэта чтоб примерно наказать.
Как только пьеса подошла к концу, смотрю:
Явился гнев богов (друзья, богов вы, верно, чтите?
Так почитайте их вы, ради Бога!).
Меня тяжелым штрафом обложили
Те боги, и я должен в роли Хора
Всю пьесу эту длинную пройти,
Прологом быть, а также Эпилогом,
В вас пробудить благое состраданье.
Так сжальтесь, пусть вам будет по душе
Вся эта пьеса, ведь иначе мне
Еще другое будет наказанье.
Не будьте же упорно беззаботны.
Чтоб не пришлось и вам самим, и детям вашим
Позор сей пережить и в роли Хора
И Эпилога шествовать по пьесе.
Смотрите же, меня тут не должно быть,
Засим — адью! Сюда идет Волшебник.
Уходит.

Поликомикус (*входит со своим жезлом, и говорит*).

Я волшебник, и зовусь я Поликомикус,
Вширь и вдаль по королевству я известен,
Древних знаний применяю я советы,
Возвратился из далеких путешествий.
Был бы я теперь у себя дома,
Я бы точно не хотел наружу
Выходить теперь как можно дольше.
И клянусь вам Богом (только тихо,
Не хочу при этом сквернословить),
Я, дожив до третьего столетия,
Ни к кому не собирался б в гости.
В волшебстве, однако, нету проку,
Потому я это ремесло
В сторону хотел бы отложить.
Как прекрасно одиноким было б жить.
Я давно не принимал лекарства,
Что от меланхолии новейшей.

Но другой я глупости избег и,
Собственно, остался дураком,
Глупым чертом. Но любовь народа
Далеко заходит, несомненно.
Книгами моими полны полки
И мой стол. Но я нигде не вижу
Перьевой метелки.

(Вытирает пыль со стола своими ушами.)

Вот бы только быстро подучиться,
Выйдет из меня, возможно, целый
человек; тут нужно лишь усилие
маленькое. Может, даже гений
из меня бы вышел очень скоро,
тот, что в состоянии законы
предписать, и, ежели желают,
ум к тому употребил бы я;
я сегодня только лишь волшебник,
нужно ж чем-то мне на жизнь свою
лучше заработать, чем в противном
случае тут с голоду совсем
умереть. А с волшебством, конечно,
жить могу вполне себе безбедно,
даже независимо. К науке
неустанно должен я стремиться,
ведь когда возобновляю обученье,
жду, что это приведет к чему-то.

Он усаживается и углубляется в науку.

Дикорастущий лес

Лисипп, Симонид.

Лисипп. Тут мы теперь в диких зарослях.

Симонид. Да, в дичайших, какие я только мог видеть.

Лисипп. Должна ли мудрость помещаться в таком отстранении?

Симонид. Одиночество должно все пойти ей на пользу.

Лисипп. К черту еще раз, мы будем как дураки слоняться вокруг,
и не сможем сразу беспрепятственно доставить почту.

Симонид. Да, никакой станции не встретилось досюда.

Лисипп. И только гляди, я нигде не вижу домов.

Симонид. Или людей.

Лисипп. Даже ни одного крестьянина.

Симонид. Что только должен делать тут посланник?

Лисипп. Тут мы можем только наши деньги проесть.

Симонид. Если бы только можно было спросить, где эта дорога кончается!

Лисипп. Или куда ведет.

Симонид. Тут вообще никакой дороги нет.

Лисипп. Ничего кроме деревьев, ударов, скал, поганого бурьяна.

Мне на ум приходят исключительно мысли о смерти.

Симонид. Но вы же уполномочены.

Лисипп. Что тут пользы от этих полномочий?

Симонид. Но королевская печать.

Лисипп. Однако имейте рассудок, господин секретарь, эти деревья не умеют читать.

Симонид. Но ведь Принц заслуживает того, чтобы пойти ради него на эту смертельную опасность?

Лисипп. Ах, что он может заслужить! Мы образованные люди, и, следовательно, это же сомнительно, что что-то, несмотря на все волшебство, вопреки нашему пожертвованию, из этого выйдет.

Симонид. Если бы мы взяли с собой компас, мы бы знали, в какой стороне света теперь находимся.

Лисипп. Можно ли на такую вещь смотреть?

Симонид. Без сомнения.

Лисипп. Я думал, он может пригодиться только на море.

Симонид. Если б нам так напролом внезапно в Америку вторгнуться или в какую-то другую чужую страну.

Лисипп. Тогда у нас была бы возможность открыть новый пролив Дэйвиса. Ты же тоже веришь, что полюса плоские?

Симонид. Так говорят.

Лисипп. Если б только наша эрудиция помогла нам избежать ошибок.

Симонид. Что это сюда движется?

Лисипп. Слава Богу, святой отшельник, давший обет ордену розенкрейцеров.

Входит Лесной отшельник.

Лесной отшельник

Прости нам наши грехи, как и мы прощаем...

Верно, прекрасное пожелание; о если б душа

Только всегда чувствовала магнитную силу,

Которая тянется с неба: обратно же двигает

Земля, и так мы парим в сомнениях,

И не знаем, на что нам решиться.

О, оставь нас свободными, ты, милосердная земля,

Чтобы душа испытала свои крылья,

Двигалась в ясной стихии огня,

И приблизилась к эфиру, ее источнику.

Лисипп. Будьте здоровы и простите, что мы прервем вас в ваших молитвах.

Лесной отшельник. С благодарностью принимаю ваше приветствие.

Лисипп. Я посланник, делегат, если вам понятно значение этих слов и мое звание; здесь, вы видите, королевское полномочие, собственноручно подписано, просто Готлибом, здесь печать, вот только взгляните, ведь так редко это попадаете вам на глаза.

Лесной отшельник. Очень хорошо.

Лисипп. Вам довольно удивительно, наш добрый невинный Лесной отшельник?.. Да, и, не правда ли, вы находите, что я довольно снисходителен?

Лесной отшельник. О, да...

Лисипп. Нравы, видите ли, господин Лесной отшельник, улучшаются с каждым днем во всем мире, нет никакого преувеличения в этом. Мы продвинулись в человеколюбию уже довольно далеко, и это одобрено каждый день новыми законами собственноручно высокой рукой, которые десять лет назад были досадными еретиками, и потому я также к вам и к вашему сословию имею известное сочувствие. Объясняю так порядочно, имея уваженис, относящееся к вашему розенкрейцерству, но также являетесь человеком, и не знаете о том, что вы не более просвещенный человек.

Лесной отшельник. Конечно нет! Но вы мне между тем еще что-то хотели сказать?

Лисипп. Не многое. Знаете вы, наверное, где живет Волшебник? Секретарь, как это проклятое имя?

Симонид (*посмотрев на исписанную табличку*). Поликомикус.

Лисипп. Совершенно верно. Итак, где этот человек обитает, или живет?

Лесной отшельник.

Лесной отшельник

У того дуба вы найдете тротуар,
Оттуда нужно пересечь густейший лес,
И будете идти все время прямо,
Придете наконец к большой скале,
Она вся почернела от огня,
Стоит себе пустая и печальная,
И сверху донизу обвитая плющом,
Заросшая кустарником;
Живет под ней великий тот Волшебник.

Лисипп. Большое спасибо, друг мой, какого же приблизительно вида этот человек?

Лесной отшельник

Он великан, чуть больше человека,
Угрюмый темперамент у него;
С ущербом для себя уже искали
Его знакомства всемогущего другие.
Когда в дурном он будет настроенье,
То мало обратит на вас вниманья,
На все печати ваши, полномочья,
А также и на подпись Короля.
Но чаще у него охоты нет
Обычным чародейством заниматься.
Он быстро превращается то в зверя,
То вдруг водой проточной станет,
То огнем пылающим, поистине ужасным.
Здоровы будьте. Должен я теперь
Уединиться в келье для молитвы.

Уходит.

Лисипп. Будь здоров. Должно быть, это будет один из поистине гнусных парней.

Симонид. У вас есть перед ним преимущество, я останусь в передней.

Лисипп. Нет, Секретарь, вы передаете полномочия.

Симонид. Нет, потому что я на это ни в коей мере не осмелюсь.

Лисипп. Это ваша обязанность.

Симонид. Я исполняю только мелкие поручения.

Лисипп. Что вы называете мелкими поручениями?

Симонид. Реальные дела. Вы же создаете по большей части только видимость.

Лисипп. Никогда я к нему близко не подойду. Должен парень подчиниться, измениться, если ему письмо Короля и печать показать?

Симонид. Это, наверное, на нем ошибка природы, о которой он не знал.

Лисипп. Это что! Я подумал, мы бы лучше оставили Принца в его безумии пропадать.

Симонид. Но это противоречит нашим обязанностям.

Лисипп. Э, что обязанности? Если нас сожрет великан, то у моей жизни и моих обязанностей будет одинаковый конец.

Симонид. Но патриотизм.

Лисипп. Да, какой же я глупец!

Входит Иеремия.

Симонид. Что это за урод?

Лисипп. Этот? Он выглядит, как угольщик.

Симонид. Но у него горб, и он косит, к тому же на нем чулки разного цвета; знать, какой-то чудак.

Лисипп. У него неестественная походка, он хочет казаться слегка хромым, и это у него выходит очень неуклюже.

Иеремия (*идет мимо них, он поет*).

Черта не знает никто,
И был бы он так толст,
Глаза не видят рук,
И это большое счастье.
Иначе так ненадежно живется,
При свете дня, при свете дня.

Добродетель знакома каждому,
И была бы она невидима;
Ее не ищет никто,
Ни просто блондины,
Ни люди с волосами седыми.
Потому каждый живет так спокойно,
Всегда к бодрости, всегда к бодрости.

Эти путники там кажутся мне парой дураков. Хорошей охоты, если будет удача.

Лисипп. Что нам небо подарило, угольщик, друга или осла?

Иеремия. Обоих, многоуважаемые господа. Может, хотите со мной немного поговорить?

Лисипп. Это был бы в самом деле труд достойный того, чтобы так далеко за этим ехать.

Иеремия. Почему нет? О Боже, меня встречает множество людей, людей из разных сословий; после моего господина я не знаю никого, кто бы здесь в лесной глуши так высоко ценился.

Лисипп. Кто же твой господин?

Иеремия. Вы не знаете моего господина, о так вам придется плохо. Вы не знаете великого человека, величайшего человека, Поликомикуса?

Лисипп. О его мы очень хорошо знаем, к нему мы как раз хотим попасть.

Иеремия. О, какое счастье, что мы таким образом встретились, ведь я его привратник, его бедный недостойный слуга, его охранник, тот, кто миски и тарелки за ним моет, кто выметает его комнаты и переписывает его письма, которые ему также иногда разъясняет, когда он теряет самообладание. По воскресеньям я читаю ему проповедь, потому что я ведь также забочусь о пользе для его души, но прежде я сам пою церковные песнопения, потому что он не оплачивает причетника, ведь экономия же — первая добродетель в мире.

Лисипп. Что за ученого-энциклопедиста мы тут в лесной глуши подхватили?

Симонид. Великий, и по всему, видать практичный человек.

Лисипп. Он скорее более достоин, чем его господин.

Иеремия. Кроме того, я также по этой причине учился на привратника, и так легко вначале пошла эта наука, и так много и очень больших трудностей потянулось затем; потом вряд ли уже надо вспоминать о скромности, когда прежде уже зашел далеко.

Лисипп. Он кажется мне все же эксцентричным.

Иеремия. Скорее вообще сумасшедшим.

Лисипп. Только не сумасшедший, потому что мы же более принимаем в расчет психологические признаки. К какому же типу принадлежит твой господин?

Иеремия. О, он несравнимый. Так кроток, как ребенок, так нежен, как голубка.

Лисипп. Нам описали его как людоеда.

Иеремия. Ну да, так добродетель можно оклеветать: не доверяйте этому, высокочтимым господа, сам Сатана моему господину говорил исключительно хорошее, но пусть это вас не вводит в заблуждение.

Лисипп. Ну, так можем мы туда идти?

Иеремия. Может, у вас есть к нему письмо?

Лисипп. Да, непременно.

Иеремия. Ну, это отлично с вашей стороны. Хотите по этой тропинке сократить путь? Я вас буду сопровождать.

Они идут, он сзади них, и внезапно превращается о большую птицу.

Лисипп (*не оборачиваясь*). Далек еще?

Иеремия (*отрывисто*). Скоро.

Лисипп (*обернувшись*). Что за черт? Кто вы?

Иеремия. Король сов.

Лисипп. Кто?

Иеремия. Вы не можете расслышать? Король сов!

Симонид. Что это такое?

Иеремия. Человек, который повелевает над совами.

Лисипп. Где же остался угольщик?

Иеремия. Угольщик? Вы сошли с ума, я уже полчаса с вами говорю, и вы же меня попросили, чтобы я вас проводил к Поликомикусу, потому что вы не знаете дороги.

Лисипп. Симонид.

Симонид. Господин Посол!

Лисипп. Если я сплю, то верни мне уверенность, разбуди меня.

Симонид. Если я не замечтался, то мы бодрствуем.

Они глубоко задумываются.

Иеремия (*принимая снова свой настоящий облик*). Ну, не хотите ли продолжить путь, господа?

Оба. Смотри-ка! Привратник!

Лисипп. Угольщик, так мы же идем, но вдруг за нами увязался Король сов.

Иеремия. Э, какая мечтательность!

Симонид. Нет, на самом деле.

Иеремия. Э, вы же не поклянетесь, не было никакого Короля сов. Я к вам с этой стороны не подходил. Посмотрите же, темнеет. (*Они идут, он превращается в большую обезьяну.*) Эй! Эй!

Лисипп. Что такое, господин Привратник? О, ах! Симонид!

Симонид. Лисипп!

Лисипп. Мы сошли с ума, всем рассудком. Сто против одного, что я сумасшедший.

Иеремия (*заикаясь*). Н-не х-хотт-ите ли спрос-ить К-кор-роля сов?

Лисипп. Короля сов?

Иеремия. Я его Дворецкий, Мартышка, трава — Молокосос, между прочим, еще называюсь славкой, пою нежные песни; оп-пасайтесь Угольщика, он п-предатель!

Сме-ме-мейтесь же,
Просну-у-лись уже?
По-о-торапли-и-вайтесь!
Рассудок, — о — со-о-бира-а-йте.

Как Сова.

Топ! Куда господа?

Как мартышка.

По-по-чему не смеетесь?

Как Иеремия.

Господа, мы придем очень поздно.

Лисипп. Зачем бы мне больше смущаться; (*запевает песню*).

Сумасшедший и сумасшедший!
Полно нас наполнил
Мой мозг;

Этот уголь,
Ах что ему
В этом лбу?

Симонид.

Вверх! Вверх! К веселому хороводу!
Пусть молчит кукушка и гусыня,
Тогда разыграется скрипка.

Оба.

Весело в радостно кричащем круге,
Рассудка ни у кого, ни у кого среди нас.

Иеремия (*громко поет*).

Вам бы восторгаться!
Вам бы всё шуметь!
Всегда дерзите вы
Любимому учителю!
Впредь не будете ошибаться,
Воровать при дворе благосклонность.

Все трое (*в танце*).

Йох-хо, гоп-ла-ла;
Дал-да-рай, гоп-ла-ла;
Навсегда
Без отдыха,
Гоп-ла-ла,
Да, да,
Ничего, кроме гоп-ла-ла!
Увлекаются.

Ночь. Келья Лесного отшельника

Лесной отшельник (*поет*).

Приди, утешение ночи, о соловей,
Пусть твоего голоса радостный звук
Нежнейший зазвучит,
Приди, приди, и хвали своего Творца,
Потому что другие птицы спят,
И больше петь не могут:
Пусть твой
Голосок
Громко раздается,
Ведь за всех
Вознесешь ты хвалу
Туда к высоким небесам.

Оттуда уже не светит солнце,
И мы должны быть в темноте,

Также можем петь,
По Божьему благословиению и его властью,
Потому что мы не можем препятствовать его воле,
Свою хвалу совершая.

Потому твой
Голосок
Пусть разносится,
Ведь за всех
Вознесешь ты хвалу
Туда, к высоким небесам.

Эхо, дикий пересмешник,
Будет с нашим радостным звуком,
И позволит также услышать его;
Отбросим всякую усталость,
Которую мы все время получаем,
Научи нас обманывать сон.

Потому твой
Голосок
Пусть разносится,
Ведь за всех
Вознесешь ты хвалу
Туда, к высоким небесам.

Звезды, так на небе застывшие,
Показываются к Божьей славе,
И выказывают ему почести;
Также и сова, которая не может петь,
Но заявляет своим уханьем,
Что она тоже превозносит Его.

Потому твой
Голосок
Пусть разносится,
Ведь за всех
Вознесешь ты хвалу
Туда, к высоким небесам.

Только, моя любимая пташка,
Мы не должны быть ленивыми,
И оставаться лежать спящими,

Но до утренней зари
Радовать этот пустынный лес,
Проводя время в восхвалении.

Пусть твой
Голосок
Громко раздаётся,
Ведь за всех
Вознесешь ты хвалу
Туда, к высоким небесам.

Пещера Поликомикуса

Поликомикус, Иеремия.

Поликомикус. Ты уже приготовил мне постель, слуга?

Иеремия. О да, милостивый господин.

Поликомикус. Что с тобой? Ты выглядишь таким плутоватым.
Ты, конечно, снова совершил какую-то проделку?

Иеремия.

О, господин мой, все бока болят
От хохота ужасного и дикого;
К вам приходил народ из города опять,
Вас увидеть, совета получить,
Они вот и спросили у меня,
И я был полон всяческой премудрости,
Психологом прикинулся сперва
Серьезным, сразу их прибрал к рукам,
Затем подробно выслушал их глупости.
А после начал незаметно я
Свои насмешки за спиной выделявать,
Ту старую и милую забаву:
То птица, то мартышка я,
То снова человек. Ах, что тут стало,
Остатки их рассудка далеко
Развеялись по воздуху, и вот
Теперь они танцуют, грезят в бешенстве,
и в состоянье дикое все более
они теперь впадают от того.
Деревья все, что есть там, в изумлении
И скалы в удивлении рассматривать
Теперь способен этот хор, который
Так сумасбродно куролесит в грезах.

Все забыл, и мне нужен весь мир.
И пришел бы тогда дивный образ Клеоры,
И обратно ушел от меня четким шагом;
О, тогда погружусь глубоко я,
Зароюсь ногами в землю мягкую,
Буду шататься как пьяный;
Вспоминать, как Клеора смеется,
И сразу мне Лилы улыбка
Не улыбка, и перед любимой она
Станет бедной и жалкой
Пред всем этим великолепьем,
От которого солнц всех лучи
Происходят. И Лила отступит в туман.
И тогда я скажу себе снова:
Нет, в мире никто не сравнится
С милой Лилой, и с очарованием,
С небом, что в кротких у Лилы очах,
С этим тихим сияньем любви,
Что в словах описать невозможно,
О, какое мученье поднимет все это
В смущенной груди!

Лила входит.

Лила. Слышишь, как поет жаворонок?

Геликанус. О да, милая Лила.

Лила. Вам всегда с утра весело, люди из города спят дольше.

Геликанус. О, кто может спать, если он думает о Лиле?

Лила. Вы снова начинаете об этом.

Геликанус. Послушайте меня.

Лила. Ничего не хочу слушать.

Геликанус. Неужели ты так жестока? Может ли так быть с таким воспитанием?

Лила. Вы не знаете сами, чего хотите, о потому должна я так поступать.

Геликанус. Ты меня доводишь до отчаяния.

Лила. До этого вы уже меня дольше доводите.

Геликанус. Почему же ты такая любезная?

Лила. Почему вы... но я буду молчать. Я не могу вам говорить колкости.

Геликанус. О скажи, что мне заботиться о словах, когда ты мое сердце разрываешь!

Лила. Я не могу вас любить, не могу. Что вы терзаете меня и себя? Я должна уйти от Клеона? Вы сумасшедший, если вы этого добива-

етесь, я буду скверной, если я его забуду. Чем я так скверна, что вы хотите сойти с ума?

Геликанус. О Лила!

Лила. Всего хорошего.

Уходит.

Геликанус. И что я такого ей сказал? Я не должен возвращаться, я не могу оставаться. Сердце хочет выскочить из груди, и ведь она права. Права? О да, но это безумие, сумасшествие, здесь говорить о правоте и неправоте, и об этом думать. Я пойду в самую гущу леса, и скроюсь от своих мыслей, или сюда соберутся они совершенно ласково около меня; снова начинается война противоречивых чувств. Я хотел бы, я умер бы, чтобы потом Лила почувствовала мою потерю и мою любовь.

Уходит.

Лес

У пещеры Поликомикуса.

Иеремия сидит, прислонясь к скале, и читает внимательно книгу.

Иеремия. Солнце садится, как раз такое время, чтобы работать над своим духом.

Сатана выходит из лесу.

Сатана. Ну, Иеремия, как у тебя дела?

Иеремия. О владетельный князь, хорошо, мое почтение вашему всликолепию.

Сатана. Что ты с таким великим напряжением читаешь?

Иеремия. Одну поистине хорошую книгу, на титуле которой написано: религиозные утренние мысли.

Сатана. Ты совершенно извращаешься, мой дорогой друг, ты что-то становишься слишком набожным, немного лицемерия может ничего не значить, и я сам так поступаю, но слишком много от этого вреда.

Иеремия. Это зависит от взгляда, высокочтимый господин Сатана, по нему и польза. И почему же мы должны каждый день проживать всегда так бессовестно? Потому и много выходит из этого чего бы то ни было.

Сатана. Друг, ты меня раздражаешь тем, что ты все более меняешься.

Иеремия. Рассудок приходит с годами, это движение природы, и никак иначе. Видите ли, непостижимо забываем мы эти утренние мысли, восход солнца и восторг, а пробуждение природы по-настоящему поэтически описано, и так теперь читаю я и сравниваю, что как солнце выше становится, шаг за шагом копия и оригинал. Я изучаю это совершенно ясно, в каком виде ни в коем случае утро не должны описывать, и в этом уже многого достиг.

Сатана. Но это же во всяком случае религиозно, а это слово мне до смерти ненавистно.

Иеремия. В сущности, об этом говорится только в заглавии, которое, если читать религиозно, будет таким радостным, но поэтому все книги религиозны.

Сатана. С каких это пор ты остришь?

Иеремия. Ах, милостивый господин Сатана, мы ищем различные возможности для образования своей души. Как же дела с вашими проектами?

Сатана. Я полностью отказался от них и живу только одним днем; так далеки еще эти планы от завершения, это еще не скоро будет.

Иеремия. Я тоже это всегда говорю, особенно таким поэтам, как вы.

Сатана. Ты называешь меня поэтом?

Иеремия. Первым трагическим поэтом в мире, достопочтеннейший. Вместо ваших планов возможно только то назначить, что они все слишком выходят из ужасного. Время от времени недостает красивого упрощения греческой трагедии.

Сатана. Что ты имеешь в виду?

Иеремия. Вы начали со слова дьявольского, латинского, адского: радостно делаем эффект, но, дражайший, вы слишком часто манерны. Чистая красота! Господин Сатана! Чистая красота, это то, в связи с чем мы ощущаем мысль.

Сатана. Я уверен, ты взбесился. Поэт! Скорее всего влюбленный! Что делает твой господин?

Иеремия. То же, что и прежде, он благодетель человеческого рода.

Сатана. Он еще не отучился от этого?

Иеремия. Он на этом помешан, с каждым днем все больше.

Сатана. Он все еще спит?

Иеремия. Если он не занят наукой, конечно.

Сатана. Позови же его, я хотел бы ему снова кое-что сказать.

Иеремия. Извольте только позвонить, он сам выйдет.

Сатана. Это причиняет мне сердечную боль, не видеть его такое долгое время. *(Звонит в колокольчик.)*

Поликомикус в ночной одежде из окна.

Поликомикус. Хочет со мной чужеземец познакомиться?

Иеремия. Господин Сатана хочет удовольствие иметь.

Сатана. Ну, как дела, старая плешивая мышь? Ты домосед? Что за новые идеи пришли тебе в голову?

Поликомикус *(очень вежливо снимая шапку)*. Вы имеете в виду меня, мой драгоценнейший?

Сатана. Меня? Ослиная рожа, кого еще? Я полагаю, ты играешь роль Гофмана на старости лет?

Поликомикус. С кем же я имею честь беседовать?

Сатана. Э как себя поставил, Трусишка Ганс! Эта роль тебе очень не идет.

Поликомикус. Драгоценный, я сначала имел намерение вас потрясти гуманностью, но я увидел, что это метание бисера перед свиньями; не примите также в обиду, если я теперь покажу изнанку.

Сатана. Так меня встречать?

Поликомикус. Да никого иного, как вас, конечно, вас, ведь здесь вы. Я хотел наше прежнее знакомство разорвать учтиво, но сейчас вижу, что я вынужден Вам без дальнейших церемоний запретить посещать мой дом.

Сатана. О любезный, если ты можешь жить без Сатаны, то это хорошо для тебя, поэтому тебе не нужно строить из себя такого хвастуна.

Поликомикус. Если обратиться к морали, как я сейчас поступаю, то от Вас можно с полным правом отказаться. Мой дорогой друг Сатана, я должен Вам признаться, что все люди о Вас говорят, Вы аморальный малый. Что Вы попались в нашем столетии на чертовщине. Одним словом, я не хочу с Вами иметь дела. *(Закрывает окно.)*

Сатана *(гневно)*.

Ты черствый скупец! Добродетельный плут!

Забыл ты, что сделал я ради тебя?

Кто всеми вначале тебя наделил

Дарами, способностями и заставил

В тебе почитать их? Ну, кто,

Признавай, шарлатан!

Кто тот человек, что впервые тебе дал основы?

Кто славу доставил тебе человека,

Что очень начитан? И кто всех побил слепотой

Египетской, так что поверили,

Будто в гляделках твоих, столь маленьких,

Есть хоть немножечко зренья?

К тебе приходил ли правитель,

Что правит другими, иль муж благородный,

Иль средних сословий, крестьянин,

Который невежествен был и нуждался в совете?

И мне не придется теперь тебя делать глупее,

Чтоб вмиг опрокинуть. Другие не сильно умнее,

и истинно, это сегодня же после обеда

свершится. Весь мир, соблюдающий послеобеденный сон,

проснется, спросонья глаза протереть не забудет,

и прочь суеверия старые выгонит он.

Иеремия. Вы разгорячились.

Сатана. А ты, отродье, обслуживающее эту неблагодарность! Что мне тебе сказать?

Иеремия. Все, что вам взбредет на ум.

Сатана. Но я — дурак, что я так гневаюсь.

Иеремия. Мой господин совсем изменился, это правда, но я думаю, вы это уже знаете.

Сатана. Не правда ли, Иеремия, что он мне всем обязан?

Иеремия. Совершенно всем, да больше чем всем.

Сатана. Я ему оказал содействие во всех науках, я ссудил ему денег, я так много на него потратил, и теперь он так меня встретил?

Иеремия. Он теперь считает, что он стоит достаточно крепко на хорошем основании.

Сатана. Очень хорошо, ты увидишь, как в скорости это изменится.

Уходит.

Иеремия. Старый дружище был не совсем учтив? Когда дьявол так серьезно сначала воспринимает вещи, то мало радости на что-то еще в мире надеяться. Этот человек совсем уже не то, что он был в молодости; так я теперь совершенно не хочу с ним видаться... Но вот только он теперь мне прервал «Утренние размышления». *(Снова погружается в чтение.)*

Лисипп и Симонид входят, громко смеясь.

Лисипп. Ха-ха-ха! Секретарь посла, я хочу, чтобы дьявол побрал этот проклятый смех! Ха-ха-ха!

Симонид. Ха-ха-ха! Да, если вы только хотите немного подавить ваши шутки. Ха-ха-ха! Я зашелся смехом, ха-ха-ха!

Лисипп. Хороший случай! Ха-ха-ха!

Симонид. Ха-ха-ха! Но по чести, ха-ха-ха! Ваше превосходительство, никакого случая, ха-ха-ха! Мне не до шуток, ха-ха-ха!

Лисипп. Секретарь, — ха-ха-ха! Бросьте эти забавы, ха-ха-ха, иначе я разозлюсь! Ха-ха-ха!

Симонид. Разозлюсь? Ха-ха-ха!

Лисипп. Ха-ха-ха! У вас хороший смех, ха-ха-ха, но я дам вам отставку.

Симонид. Ха-ха-ха!

Лисипп. Ха-ха-ха! *(оба смеются.)*

Симонид. Смотрите, не это ли, ха-ха-ха!

Лисипп. Да, не это ли, ха-ха-ха!

Иеремия *(грубо)*. Господа, могу я узнать причину, почему вы изволите смеяться?

Лисипп. Ха-ха-ха! Не ты ли, парень, Король Сов? Ха-ха-ха!

Симонид. Кроме того, снова, ха-ха-ха, о, это убийственный смех, ха-ха-ха!

Иеремия (*плачет*). О господя, благочестивый нрав не заслуживает, чтобы над людьми так издевались.

Лисипп. Ха-ха-ха. Кто же издевается?

Симонид. Не ты ли нас развел? Ха-ха-ха!

Иеремия. Развел? Этого я не знаю.

Лисипп. Как привидение, и птица, ха-ха-ха, и слуга, и причетник, ха-ха-ха!

Иеремия. Ах мои дорогие, я совершаю здесь утренний молебен в полном душевом покое.

Лисипп. Этот парень выглядит таким невинным. Ха-ха-ха!

Симонид. Невинным! Чудовищно смешная идея! (*ухахатывается*).

Иеремия. Господя, вы, конечно, пришли из города?

Лисипп. Угадал! Ха-ха-ха!

Иеремия. Вы весьма веселая парочка.

Симонид. Нужда учит молиться. Ха-ха-ха!

Лисипп. Нужда заставит пойти на все. Ха-ха-ха!

Поликомикус из пещеры.

Поликомикус. Что тут за шум и смех? Я не могу собраться с мыслями!

Лисипп. Мысли! Ха-ха-ха!

Поликомикус (*передразнивая*). Ха-ха-ха! Что это за насмешка над мыслями?

Симонид. Я тоже этого не знаю, господин посланник, ха-ха-ха!

Поликомикус. И осуждает этот порок и впадает в такой же порок!

Симонид. Порок! Ха-ха-ха.

Лисипп. Ха-ха-ха! Как только можно смеяться над пороком?

Поликомикус. Иеремия!

Иеремия. Они смеются надо всем.

Лисипп. Смотрите, смотрите, Секретарь, — Ослиные уши! Ха-ха-ха!

Симонид. Как удивительно! Ха-ха-ха!

Поликомикус уходит.

Иеремия. Мои драгоценнейшие друзья, мой господин наверно зол, что он так молчаливо вернулся в дом. Сдерживайте же себя, иначе вас может постигнуть несчастье.

Лисипп. Не заставляй меня смеяться к несчастью! Ха-ха-ха!

Поликомикус выходит обратно с огромной метлой.

Симонид. Чего вы хотите, пророк?

Поликомикус.

Отмести от своей двери мусор,
Вроде вас, которым тяготится
дом мой. И сейчас улечься должен
глупый смех ваш, думаю, и впредь,
чтобы вы не вздумали дразниться,
передразнивать людей, что выше званьем,
есть и те, что государством правят,
скипетром своим через всемирный
банк они Европой всею крутят.
Научитесь одному, что уши —
Это непременно украшеньё!
Потому лишь знатоку прилично
Надо всем свободно издеваться,
Вы же оба, кажется, однако,
Только молодых два дилетанта,
Что свой длинный нос до сей поры
Ни на чем, однако, не сожгли,
Только, ваша подлость, вы ко мне
Обратились явно неуместно,
По-мужски поговорю я с вами,
Накажу метлою честь по чести.

Он начинает изо всех сил мести.

Лисипп. Пощадите! Пощадите!

Симонид. Мы летаем по воздуху.

Лисипп. Не замечайте нас метлой.

Симонид. Этот смех у нас только природная странность.

Лисипп. Не врожденная. О я весь покрылся пылью!

Симонид. Этот смех исходит не от разумного соображения,
отставьте же метлу.

Лисипп. Это не меньше, чем пробный камень истины, а потому
милосердия!

Поликомикус. Ну, я выслушаю. Теперь вы исправились?

Лисипп. У меня все карманы полны пыли.

Поликомикус. Теперь вы разумные люди?

Симонид. Мое почтение, я не могу видеть.

Поликомикус. Ну говорите.

Лисипп. Смех до упаду мы впервые здесь в пустыне получили.

Поликомикус. Почему же я не смеялся?

Симонид. Вы привыкли к воздуху.

Поликомикус. Говорите.

Лисипп. Ах, эта метла меня очень потрепала.

Поликомикус. Отбросы теперь отчищены добела.

Симонид. Я потерял дыхание и голос.

Поликомикус. Впредь не будете надоедать невовремя. Теперь соберитесь и говорите.

Лисипп. Величайший господин пророк, мы посланники короля Готлиба.

Поликомикус. Где ваши полномочия?

Лисипп. Секретарь!

Симонид. Здесь!

Передает лист бумаги.

Иеремия. Как мой господин скосил глаза! Что даже я не могу себе представить.

Поликомикус. Как, вы бессовестные, пустозвонные бубны, вы осмелились так отплатить мне за мою тяжелую чистку? Смотри, Иеремия, нахальство! Он вручил мне листок литературной газеты, где отрецензирована моя новейшая работа. Иеремия, читай; я прошу тебя во имя всего святого, и никаких шуток!

Иеремия (*складывает руки вместе над головой*). Никаких шуток? О, это прямо гнусно, когда так говорят, у вас никакого рассудка.

Поликомикус. Никаких шуток? А вы злодей, это и есть ваше полномочие?

Лисипп. Не выставяйте против меня так страшно ваши уши, секретарь пас баранов.

Симонид. Без моего ведома, ужаснейший господин пророк.

Лисипп. Если он не при чистке выпал, то был потерян нами!

Симонид. На все четыре стороны. Всемиловитый, злой поступок против моей чести исходит от Короля Сов. Он засвидетельствовал наши полномочия и сыграл с нами дурную шутку. Но здесь есть первоначальные заверения.

Поликомикус (*читает*). «Мы Божьей милостию, Готлиб Первый...» — да, я пропустил.

Лисипп. Слава Небесам, что мы избежали опасности.

Поликомикус. Я вижу из этой всеблагосклоннейшей рукописи, что ожидают моей помощи юному наследному принцу.

Лисипп. Вся страна протягивает к вам руки.

Поликомикус. Иеремия, я должен выйти в свет. Охраняй метлу, поддерживай в доме порядок, учись тем временем мне на славу, поддерживай свои знания и не спи так много.

Иеремия. Могу ли я давать мелкие советы?

Поликомикус. Если они срочные, почему нет. Но соберись с мыслями. Если какой-то важный случай, то придется дожидаться моего возвращения. Идемте, господа посланники.

*Уходит вместе с посланниками.
Иеремия уносит метлу в дом.*

Сад Доруса

Дорус (*один*).

Так я и думал, этот злой Кузнец
Работу отложил, меня заставил ждать,
И день за днем никак не получить мне
Необходимых в поле инструментов,
Горит работа, и лениться будут
Работники мои, однако, чу! —
Мне показалось, что его я слышу!

Кузнец идет.

Кузнец.

Здесь вещи есть такие, непременно
они больших усилий стоить будут.

Дорус. Что же это такое?

Кузнец.

Я поясню, взгляните, как искусно
Из плуга вышла борона, и заступ
Трофейный прямо, укрепил я сверху.
И вы не обнаружите, что нету
Тут карста, он внутри положен,
Поистине, произведением искусства
Отныне явится разнообразная работа.

Дорус.

Чуть было я не разозлился, что же
Еще вам делать, как не портить вещи?
Не постигаю я, ведь тут железо
Лишь заострить, и заменить детали, —
И что же я могу теперь на поле
Использовать?

Кузнец.

А вы хотите это
использовать?

Дорус.

А как же? Непременно.

Кузнец.

Так, значит, зря потратил я искусство,
Мои труды потеряны вотще.

Вы видите, заказ ваш взял я прямо
В его аллегорическом ключе.

Дорус.

Так вы сошли с ума.

Кузнец.

Нет, друг,
Безумием считается как раз,
Когда один слова другого человека
буквально понимает. Ведь наивно —
стараться смысл постичь, который
лежит себе открыто в каждом слове,
уменье нужно тут напасть на след,
уметь иначе мыслить. Очень часто
под птицей мы в виду имеем рыбу,
в награду мне на ум приходит кошка,
что держит птицу, так все связано взаимно.

Дорус.

Мудрей могли бы поступить вы как кузнец,
И не сопоставлять такие вещи.

Кузнец.

На плоском смысле, как теперь я знаю, вы
Настаивать решили, и, конечно,
Друг другу больше мы противоречить
Не будем.

Дорус.

Так примите мой заказ.
И сделайте как следует сейчас.

Кузнец.

Вы упрощенно думайте, ведь вы
В прекраснейшем находитесь порядке.
Не надо злоупотреблять словами.

Дорус.

Вам в розницу внести оплату?

Кузнец.

Работа не ценна, ценны ее плоды. *(Они уходят.)*

Дворец

Леандр, Курио, Селинус.

Курио. Новый доктор тоже безуспешно лечит Принца.

Леандр. Это невозможно, чтобы Принц считал себя умнее своих докторов.

Селинус. Неприятная болезнь!

Леандр. Если бы только сюда чужого волшебника, то была бы какая-то надежда.

Двор собирается, король Готлиб, его супруга, старый Король входят внутрь, за ними — Сикамбр, Гинц фон Гинценфельд, государственные Советники, Доктор и Чужой Доктор, свита. — Король усаживается как знатнейший.

Готлиб. Мы, к прискорбию, заметили, что никакое врачевание нашему сыну не пошло впрок, ни домашнее, ни чужестранное врачевное искусство не в состоянии поставить его на ноги, мы со своей стороны были вынуждены прибегнуть к помощи сверхъестественных средств и теперь ожидаем с величайшим нетерпением всемирно известного Волшебника. Вам, доктора, разрешается покорнейше сложить с себя полномочия занимаемых должностей, так как мы теперь с полным правом можем отказаться от вашей бесполезной помощи.

Доктора кланяются и уходят.

Король. Мне любопытен этот Волшебник.

Готлиб. Каким образом, господин Отец?

Король. Ну, я только думаю, как он может выглядеть.

Готлиб. Как он выглядит? Как любой другой человек, как каждый из нас, сверхъестественное, мой дорогой господин Отец, сидит внутри него, снаружи нельзя ничего обнаружить.

Король. Я только думал об ослиных ушах.

Готлиб. Это совсем другое дело, это такая отличительная примета, как родимое пятно или что-то в этом роде. Но наши посланники ушли очень надолго.

Королева. Если они только в пустыне не заблудились.

Лисипп и Симонид входят с громким смехом.

Готлиб. Посланники, прилично это являться к нам со смехом?

Лисипп. Мой милостивый Король, ха-ха-ха!

Симонид. Мой всемилостивый, ха-ха-ха!

Готлиб. Что произошло?

Лисипп. Ха-ха-ха, ужаснейший Волшебник настоящий.

Готлиб. Возможно ли посылать придворных в пустыню, чтобы они не привезли с собой всех обычаев чужой страны?

Селинус. Однако эта мода приятна, ха-ха-ха.

Курио. Удивительный обычай, ха-ха-ха.

Король. Ну, этот чужой порок может теперь распространиться среди придворных. Сознание людей, что ли, так восприимчиво?

Готлиб. Где же остался господин Волшебник?

Лисипп. Ха-ха-ха, он так велик, что ему сначала надо открыть обе створки двери.

Готлиб. Не смейтесь над всем: не потому ли вы хотите высмеять этого человека, что сами малы?

Симонид. Ха-ха-ха, Ваше Превосходительство, мы были выметены и все, но ха-ха-ха, этот смех нас не отпускает.

Поликомикус входит со своим посохом.

Поликомикус. Здесь я!

Готлиб. Это значит Волшебник или Чародей. Это вы?

Поликомикус. Да.

Готлиб. Он говорит очень разумно, в нем нечто трудно уловимое je ne sçai quoi¹ само по себе, что делает его чрезвычайно любезным. Приведите кто-нибудь принца!

Сикамбр уходит.

Поликомикус. Я не хочу колдовать, я сегодня не расположен к тому.

Король. Он хочет, как настоящий виртуоз, чтобы его об этом попросили.

Готлиб. Смотри же внимательнее.

Поликомикус. Я не могу колдовать.

Готлиб. Вы, однако, не лишайте нас удовольствия.

Поликомикус. Этого нельзя допустить.

Преображается в дерево.

Готлиб. Вот это да!

Король. Старинный прием!

Готлиб. Одолжение моей отеческой любви...

Поликомикус. Никоим образом. (*Горит как пламя.*)

Готлиб. Мне даже не жалко сотни золотых монет.

Поликомикус (*преображается снова в свой собственный образ и принимает эти монеты*). Ну почему вы мне это прямо не скажете, чтобы я не предпринимал столько ненужных усилий.

Принц Цербино с Гансвурстом, Нестором, Сикамбром и другими.

Цербино. Где этот человек, который хочет испробовать на мне свои приемы?

Готлиб. Говори с большей почтительностью об этом человеке, мой несчастный сын. Не держите на него зла, что он так рассеян.

Поликомикус. Мелочи для меня — выправить испорченную природу! — Подойдите ближе, мой юный любезный Принц.

Цербино. Я здесь, но мне кажется, как будто до так называемого лечения еще так далеко.

¹ Я не знаю, что (*фр.*).

Поликомикус. Как это?

Цербино. Потому что вы сами были вынуждены образовываться только из вашего невежества.

Поликомикус. Чрезвычайно нескромный ответ, какие уже мне иногда в подобных случаях встречались. Эта болезнь далеко не худшая, и я думаю, мы одержим над ней победу с помощью небольшого колдовства. У вас хороший аппетит?

Цербино. Не хотите ли вы предложить мне травку своего приготовления?

Поликомикус. О, молодой человек, сначала доживи до моих лет и надлежащим образом ознакомься с «Дарами Бога». Я вот теперь изучил: ваша болезнь, ваш редкий случай, она происходит от Сатаны, это одна из его проклятых проделок.

Готлиб. Упаси Бог! от Сатаны? (*Все толпятся взволнованно вокруг Волшебника.*)

Курио. От Сатаны?

Селинус. А есть ли Сатана?

Поликомикус. Существует ли он? Я с ним вырос, мы были в юности лучшими друзьями.

Король. Как он выглядит? Как он одевается?

Поликомикус. Я не могу сказать, чтобы у нас были общие вкусы. Что только этот дремучий народ не выдумывает о вкусе: развратный, фантастический, вычурный, своенравный, короче говоря — крайне безвкусно.

Готлиб. Между прочим, какую религию исповедовал этот парень?

Поликомикус. Никакой, это же очевидно, где его слабое место.

Готлиб. Может ли быть делом игра в вольнодумство? Держит ли он себя также отдельно, не имея ни с кем ничего общего?

Поликомикус. Вовсе нет, это и есть та причина, почему я порвал с ним все связи, в его обществе можно только попасть в беду, а также стать аморальным.

Готлиб. Верю, любезный человек. Это, однако, при всем при том вечно сумасбродное устройство мира и небосвода, и так далее, чтобы у нас должен быть Сатана.

Цербино. Я хотел бы с этим человеком познакомиться.

Готлиб. Не при жизни, сын мой, с грязью играть — лишь руки марасть, это очень верное выражение.

Поликомикус. Из-за этого Сатаны, этого злого врага приключилась болезнь, чтобы нам в этом мире сделать вред, и потому обращаются ко мне, как к настоящему человеку, чтобы снять вред. Но мы должны прежде всего произнести заклинание.

С ужасающим бормотанием.

Пусть тебя злой враг не очарует,
Умным будь своею головой,
Как дико расцветшей головешкой
Обеспечен ты благоразумьем.
Мнению ты следуй большинства,
Неизменно будет безопасной
Жизнь твоя и избежишь врага —
Гирмма ядовитого, большого
Зверя Зависти многоголовой.
Так скажи, неужто не удобней
Подчиниться мнению отца?
Знаешь, ведь приятнее намного
Было бы, чтоб всякие сомненья
Не мешали твоему покою.
Видишь, путь проложен твой цветами,
И по этой сказочной тропе
Много благородных ног уже
До тебя прошло: дари отныне
Небу свою милость, мой совет
приведет к выздоровленью в скором времени...

...Ну, господа, прошу, обратите внимание! Отныне удивительные перемены будут происходить с Принцем сами собой!

Он взмахнул посохом.

Готлиб. Ну, сын мой, как ты себя чувствуешь?

Цербино. Благодарю за добрый вопрос, милостивый отец, мне хорошо, спешу засвидетельствовать вам мое послушание.

Готлиб. В какую же сторону ты изменился?

Поликомикус. Не видите вы сами? *(В сторону подающего надежды молодого человека.)*

Готлиб. О, этому я бесконечно обязан вам.

Поликомикус. Но колдовство гнусного Сатаны еще не полностью ушло, Принц должен путешествовать, так долго, пока он не обретет хороший вкус, тогда он избегнет всех опасностей.

Готлиб. Жаль, что мы его теперь должны потерять.

Поликомикус. Нельзя иначе, ведь так решает иногда судьба.

Цербино. Позвольте мне, любезнейший отец, если я вследствие моего несчастья в дорогу собираюсь, то хотел бы я охотно подвергнуться этому трудному путешествию.

Готлиб. Ты хочешь оставить меня, мой любимый сын?

Цербино. Я потом вернусь, вооруженный познаниями, чтобы тебе и твоим родителям больше доставить радости.

Готлиб. Ах, ты, нежное дитя!

Цербино. Поверьте мне, что мое сердце тоже болит при расставании с вами, я отложил в сторону мое прежнее легкомыслие и вижу теперь все вещи с их истинной точки зрения. Я сожалею о печали, которую я вам до сих пор причинял, но в будущем это все будет вознаграждено! *(Весь двор плачет.)*

Селинус. Не несчастье ли, что мы должны потерять такого чрезвычайно превосходного принца?

Сикамбр. Который исполняет искреннейший и чудовищнейший обет?

Цербино. Но я должен, возможно, долго путешествовать, пока не отыщу вкус в нашем столь развращенном столетии. О, была бы мне подарена такая судьба до четырнадцати или пятнадцати лет!

Леандр. Милостивый принц, наверное, могут послужить вам мои «Основы критики» в качестве путеводителя: так что, поскольку мне они сейчас не нужны, возьмите их с собой...

Цербино. Я принимаю их с величайшей благодарностью и буду прилежно трудиться, чтобы исследовать глубокий смысл и вашу всемирно известную основательную ученость.

Гансвурст. Могу я сопровождать вас в путешествии, мой Принц?

Цербино. Господин Советник, мне очень жаль, что я не могу иметь такого удовольствия, но я решил, что моя поездка будет происходить без спутников. Я, скорее всего, также, может быть, кроме того не самый приятный попутчик для вас, и я знаю ваш развратный юмор, и то, что вы с радостью презираете истинную основательность, которую я впредь более старательно буду осваивать.

Готлиб. О, сын мой, увидишь, как большими потоками слезы радости из глаз побегут ввиду твоего послушания мне.

Цербино. Мой услужливый Нестор должен сопровождать меня в моем путешествии.

Леандр. Но он сначала должен пройти лечение, потому что до сих пор он еще буйный.

Нестор. Да, господин Цербино, я здесь, к тому же уже снизойду, чтобы милостивым господам угодить. Спасите меня от досадного неистовства, господин Волшебник.

Поликомикус. Охотно. *(Он дотрагивается до Нестора.)* Ну, иди, ты здоров.

Нестор. О! Как, однако, полностью изменилось настроение, когда находишься в здравомыслящей оболочке! Да, это, конечно, другое сознание. О, теперь скорей к обдумыванию, к полаганию или суждениям, чтобы таланты не испортились во мне без употребления!

Цербино. Только терпение, мой дорогой Нестор, в нашей поездке будут разнообразные поводы, чтобы устроить остроумнейшие наблюдения.

Нестор. А это всё мы потом сможем опубликовать как «Дневник путешествия».

Цербино. Этому поспособствует Совет, если мы наше сочинение правильно обработаем.

Готлиб. Отец, дорогой отец, поскольку это так надежно, не хотите ли вы тоже подойти?

Король. Ни в коем случае.

Поликомикус. Больше нет желающих лечиться? Ну, подходите все, кто еще желает, это всего лишь работа.

Готлиб. Дорогой тесть, Ваше Старое Величество, вам бы возможно это не помешало.

Король. Ни в коей мере! Нет, я к этому парню ни за что не приближусь.

Поликомикус. Только подойдите, от Вашего Величества отстанут все недомогания.

Готлиб. Идите же. — Вы меня злите, господин отец.

Король. Нет! Скорее пусть меня лишат жизни! Не собираетесь же вы прибегнуть к насилию? Если я вообще немного сумасбродства должен совершить, то подойди, Цербино, и я дам тебе свое благословение.

Цербино преклоняет колена перед ним.

Останься добрым и разумным, когда сюда вернешься снова.
Что редко встретишь молодого среди путешественников ты,
Должно сдержатъ тебя не лучше, чем если ты оставишь вовсе
Все нынешнее сумасбродство. И вообще жалея животных,
Не загоняй в дороге лошадь, с трактирщиками будь учтивым,
Чтоб меньше денег заплатить. И никогда не будь поспешным,
Когда тебе из экипажа придется выходить, иначе
Поспешность может привести к несчастью. Ну вот,
Мой внук, ты это все учти, желаю я тебе счастливого пути.

Готлиб. В добрый путь, мой дорогой, совершеннейший сын, да хранит тебя Небо.

Королева. Я тебе, кроме нежности, ничего хорошего не могу пожелать.

Цербино. Прощайте, дорогие родители.

Нестор. Мы возьмем с собой нашу Собаку, мой Принц.

Нестор и Цербино уходят.

Поликомикус. Я тоже должен возвращаться домой.

Готлиб. Удовольствуйтесь же, великий человек, ложечкой супа от меня.

Поликомикус кланяется.

Готлиб. Вообще на будущее всегда на моем столе будет стоять прибор для вас.

Они уходят, Гансвурст, Король, Курио и Селинус остаются.

Гансвурст. Это не горе ли, как быстро Принц переменялся?

Король.

Пускай, в конце концов! Что может
Случиться с человеком! И горе нам,
Когда окажется пословица права:
«Сегодня ты, а завтра я!» — гласит она.
Едва меня не принудил мой сын
От рук Ушей Ослиных измениться.

Гансвурст. Жаль Принца. Мне кажется, из всего этого дела ничего хорошего не выйдет. Я с некоторого времени очень переживаю.

Король.

Кто знает, что нам предстоит! Как говорится.
Ведь нами правит непреклонная судьба.

Гансвурст.

Могу ли я сказать вам, что лежит
На сердце у меня, хотя б однажды?

Король. Не иначе, если нас боги берегут.

Гансвурст.

Так вот, я полагаю, не иная
Судьба, чем своенравие Поэта,
Как он себя назвал, и он всю пьесу
Преобразовывает так, что человека
Ни одного в здравом уме не оставляет.

Король.

Ах, друг мой! Ты струну такую тронул!
Как грустно стало мне, когда подумал
Я только, что совсем теперь нас нет.
Идеалист — вот жалкое создание,
Ведь он один всегда должен признать,
Что бытие его — действительное нечто,
И все же мы, мы мизерней, чем воздух,
Фантазии чужой мы порожденье,
По произволу своему живущей.
И потому никто из нас, конечно,
Не может знать, что выполнить заставит
Нас автора перо. О, так жалка
Ролей всех драматических судьба!

Гансвурст.

Не принимайте это, Государь,
Так близко к сердцу.

Король.

Нет, но говорить,
Что думает другой, и жить, и думать,
Что думает другой, и быть безвкусным,
Когда того он хочет, и играть
В солдат оловянных по приказу
Руки его, — такого мне раба
О, покажите, чтоб в цепях своих
Не более меня он был свободным.

Гансвурст.

Оставь его теперь, от всех несчастий наших
Мы будем лишь счастливее Поэта.
Но как ты думаешь, об этой его пьесе
Заговорит весь мир, что в ней на сцене
Представлена как будто пьеса в пьесе?
Со всех сторон ведь критики стремятся
Такое сумасбродство наказать,
Которое он дерзко в содержанье
Вперед поставил. И уже давно
От верного пути он уклонился,
Хотя была какая-то надежда,
Он только затемнил все то, что важно,
В дичайшей этой пьесе так бесстыдно.
Пока очухался, ее уже в печать
Отдали, на обложке — его имя.

Король.

Вы совершенно правы, я гляжу,
Достойные ученые мужи
плечами пожимают. А когда
дойдут они до этого момента
(Или читатель добредет сюда в итоге
И снова будет вынужден так долго
Ждать продолженья пьесы), то потом
Тем более что он об этом скажет?
Подумает ли он, что это тоже
Безумие, когда стремятся люди
Безумие осумасшествить? Между тем
Еще получит по заслугам он,
Послужит нам. Вот только сожалею
Об этом и страдаю изнутри,

Что мою роль использовать он может,
Меня же наводя на эту мысль. (*Они уходят.*)

Курио. Старый Король с каждым днем все больше впадает в детство.

Селинус. Я ничего не смог понять из того, что этот сумасшедший человек тут произнес.

Они уходят.

Охотник (*выступает в качестве Хора*).

Что в оправданье я могу сказать?
Зря благородное негоже тратить время,
Но это мы могли б легко уладить,
И вызвать возмущение людей
Благонамеренных и благородных,
Которые пришли послушать пьесу.
Нет, лучше за собой самим следит
Пусть каждый сам в ужасном этом мире,
Достаточно лишь каждому беречься
Тут самому; а если не дал Бог,
(Который очертил уже однажды
Круг благородный, частный и законный
Для избранных сердец), то те всегда
Умеренными не хотят остаться,
Их вовсе не застанешь за работой.
И я уже предвижу, эта пьеса
Едва ли к улучшению идет,
Достаточно уже того, когда бы
ее не стало это только портить;
а потому, кому не хватит духу
уплыть отсюда, или кто снарядов
боится вражеских, тот, верно, дорогие,
сейчас же удалившись, только благо
нам сделает. Люблю, когда немного
читателей, но мужественных, стойких.
Как предводитель со своей огромной
Когортою солдат сам в бой не вступит,
Охотно позволяет насмехаться
Он трусам над собою, чтобы только
Других не развратил своим он страхом.
Поэтому Поэт через меня
Вам руку подает, пожать сердечно
Я руки должен всем, он говорит,
Кто хочет удалиться, ведь, конечно,

Он остается всем вам добрым другом.
Однако, что же будет с остальными!
Он, между прочим, прочил мне также,
Как это до сих пор у нас бывало,
Сыграть вам сценку с песней.
Вот вам песня!

Поет.

С небес к нам приходит напев,
Несутся звуки из густого леса,
Это птичий смешанный хор,
Звучит на склонах гор...
Снова каждую весну это поют, —
Что возвещает нам ваша песнь?

Что хочет кукушка сказать,
Что кричит она сквозь лесные тени,
И в прекрасном солнечном дне
Такая простая повторяется песня?
Своим пророческим клювом она
Ваши считает дни, таков сюжет.

Соловей! Выводи сладкие трели
Вращенного на дереве Баха,
Со вздохами подслушивают все
Эти красоты, эхо твоим вторит звукам,
Зеленее засияет трава, и вся зелень
Источает сияние как будто изнутри.

Но если бы ты только подошел,
Отошла бы я учтиво от тебя,
Чтобы еще лучше тебе было слышно,
Но хочется еще постараться,
И то, что ты петь начинаешь,
Ей в прозе захочешь изложить.

Хотел бы соловей быть учтивым,
Хотел бы он ему что-то ответить,
Вошел бы он снова в свой напев,
В ноты разнообразных сортов,
И засвистал бы сладкую, пленительную
Песню, пронзая зеленую тьму леса.

Так что же хотят своим блеском
Обозначить земля и небо?
Смешанных звуков толпа
Пестрая что говорит умным людям?
Увы, все лишь ради самих себя,
Поют ни собакой, ни петухом, как видим.

Вы, верно, уж заметили, что в пьесе
На радость вам показан Сатана.
Он не в новинку вам, и тем Поэт охотнее
Включил его, и сам того хотел он,
Но к сожаленью, был единственной он пищей,
Почти нигде такого больше нет
Героя, если только сам он
От Сатаны не происходит, и не хочет
Никто иметь с ним дела. Лишь однажды
Была из Петербурга чертовщина
предъявлена! Так человек, который
Звонил туда, шумел и столько жалоб
Он подал, что теперь не выйдет
Ни книги без него, и потому
Нет монополии на это у Поэта,
И предложений о морали нынче нет
Без дьявола, и эта злая шельма
Должна сама себе читать теперь
Акафист покаянный. О — сухое
И самое бесчувственное поле,
Которое переработав, может
Безоблачно стремиться человек
Вперед, и только дьявол лишь мешает.
Так вот, когда служить не хочет бочка
Прямому назначенью своему,
Изготовитель с горя очень часто
Обыкновенно говорит о ней:
«Эх! Дьявол в ней засел!» Обыкновенно
Теперь так выражаются поэты:
Коль эта книга вовсе не годится —
То черт с ней!.. И поэтому позвольте
Вам рекомендовать таким же словом
Спектакль сей дикий, как желали ваши
Вам передать старинные друзья!..

Уходит.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Аллегорическая кузница

Хор подмастерьей (*в разгар работы поют*).

Бей в такт,
Чтоб наковальня звучала,
Искра раскалывается,
Как рука размахивается,
Работа ладится.

Кто не может бить,
Как положено быть,
Руки при этом отваживается
Сунуть в огонь, —
Незначительно начинание его.

Ух! Подмастерья кузнеца,
Отважны будьте в этой битве!
Сразу время засияет
Потемневшее, как только
Завершите вы его!

К этому нужна отвага,
Чтоб перенести железо,
И когда мы бьем его,
Никогда не быть нам битым,
И любой будет смущен!

Входит Мастер.

Мастер.

Вы делаете себя заслуживающими имени человеческого,
И будьте в своем усердии неутомимы,
Как подобает славным ученикам.

Петер (*подмастерье*). Что должно из этой работы получиться,
Мастер?

Мастер.

Всех лучше знает это только небо,
Которое этот металл для нашего блага сотворило,
И радость в наши души вложила,
Быстрой рукой так сверху и снизу стучать молотком.

Михель (*другой подмастерье*).

Ляжет это наконец слоями нам на радость?

Мастер.

Из ничего, прекраснейший, не может выйти радости,
Одно лишь удовольствие есть в мире, то, которое
Традиционно каждому внушает удовольствие.
Из ничего ведь тянет нить и это остроумие,
Вот тут и начинается и шутки ткань нетканая;
И нет здесь никаких миров, чтоб нам о них шутить,
Так выкопана тут действительность, живем себе, чтоб жить;
Готовы вы, не выкопав, прийти и без находки к нам,
И даже если не пришли, в нас есть все то, что мы нашли,
У нас хватает и без вас своей лишь правды про запас,
А вот без правды-то, как раз, без правды нет и нас.

Петер. Что вы хотите, чтобы из этого вышло?

Мастер.

Предположим, что вам не сказано о назначении,
Никому другому, к тому же, сюда нет доступа,
И прежде всего, что в итоге получится,
Только от настоящего кузнеца зависит полностью.

Дорус. И где же найти этого настоящего кузнеца?

Кузнец.

Вы видите его перед собой,
Сюда вошел со всеми подмастерьями,
И для начала будет вам дразнилка,
Которую легко переживете,
Затем позволю вам беспрекословно
Побить от всей души это железо.

Дорус. А потом?

Кузнец. Потом вы будете на правильном пути.

Дорус. Это все мне не подходит, я вообще только хочу забрать мой плуг.

Кузнец. Знаете ли вы, что такое плуг?

Дорус. Как?

Кузнец. Включите воображение! Говорят: смерть поле науки перепахала, чтобы получить новые и лучшие плоды, но мой лучший друг совсем не понимает аллегорий.

Дорус. Вы сходите с ума!

Кузнец. Теперь, например, что вы делаете этой лопатой?

Дорус. Копаю.

Кузнец. Да, вы поступаете хорошо; только не упускайте выражение: «докопаться до истины», склоняющееся к еще большей аллегоричности. Вы достигли всего и надеетесь на плоды.

Дорус. Что же при этом с грехом?

Кузнец. Итак, когда слава или бессмертие, или подобное им собирает урожай, то вы думаете, — о, это полная чушь! Вы безрассудны.

Дорус. Вы меня выводите из себя.

Кузнец. Как бы то ни было, человеку истина изначально дается с трудом, но мы не должны этого пугаться. Я могу вам привести еще пример из физики. Вы знаете камень, который называют ляписом?

Дорус. Да.

Кузнец. Вам также должно быть известно, что он изготовлен из серебра.

Дорус. И потому он так хорошо сделан.

Кузнец. Ну, это уже удивительно, что вы и здесь аллегории не видите! Идите, вы потерянный человек; аллегория, которая так прекрасна, благородна, и не вывести! Вы также думаете, когда о солидной мысли в критических заметках идет речь, что мысль на самом деле солидна? О, идите, это ниже моего достоинства с вами объясняться.

Дорус. Но мои инструменты...

Кузнец. Вашей глупости достаточно ваших пашни и плуга, — только это вы тут буквально могли понять, потому что это, возможно, единственный из миллионов случаев, где это подходит.

Дорус. Я должен идти, и лучше все бросить на произвол судьбы, чтобы больше не оказываться полным идиотом.

Уходит.

Кузнец. Подмастерья, вы видели простой, крестьянский разум, который ни в одной вещи не видит смысла? Теперь мы должны вернуться к работе, и ковать железо, пока оно горячо. *(Хор повторяется).*

На вершине горы

Цербино, Нестор, держащий Конюха на привязи.

Цербино. Мы уже объехали столько областей, многоуважаемый Нестор, где-то же мы должны отыскать хороший вкус?

Нестор. Я совсем сдаюсь, отчаиваюсь его отыскать: тут и более достойные люди умирают, другие, которые имеют право первого голоса, держатся тихо и спокойно, и вообще, теперь такое положение дел в мире, при котором хорошо думающий дилетант отчаяться бы мог.

Цербино. Мы не должны отчаиваться, но, напротив, объединить, насколько возможно, наше мужество. Я жалею теперь, что не пригласил присоединиться к нашей компании господина Леандра, он мог бы мне быть чрезвычайно полезен.

Нестор. Хорошо еще, что мы его книгу взяли с собой.

Цербино. Ты уже принял во внимание, что нет признаков, где мы остановимся теперь?

Нестор. Ничего подобного! Мы должны еще раз прочесть сначала! (*Усаживается*). Здесь хороший обзор, как мне кажется.

Цербино. Видимость для нашего обзора наиболее важна, ведь если заходят глубоко, то часто потом остаются небольшие царапины.

Нестор. Однако вообще странно, что эта даль вводит в заблуждение до такой степени.

Цербино. Это кажется прежде всего при движении оттуда, потому с далью обыкновенно всегда связано известное отсутствие близи.

Нестор. Непременно об этом основании можно говорить; я также занесу его в наш дневник. (*Делает пометку в большой книге.*) Однако при этом, возможно, нужно сделать одно ограничение.

Цербино. Когда мы подвергнемся литературной обработке, мы уже прилично ограничим себя; теперь у нас ни времени, ни удобного случая, чтобы надлежащим образом навести лоск. Там, внизу, расположилась очень живописная мельница, а на другом конце двора кузница составляет бесподобную перспективу!

Нестор. Мы, однако, должны немного подвергнуть себя искусству.

Цербино. Не немного, хочу надеяться! Хватило бы его для нас, и это было бы очень удовлетворительно.

Нестор. Мне все более становится очевидно, что мы во всем мире умнейшие.

Цербино. За исключением немногих благородных людей...

Нестор. Которые теперь не живут, конечно же!

Цербино. Также Поликомикус показался мне человеком очень редкой души.

Нестор. Конечно! Он нам изначально и подарил это вдохновение.

Цербино. То, что мы почувствовали себя полностью здоровыми, это его работа.

Нестор. Но мы уже прежде имели свои способности...

Цербино. О да, впрочем, из нас бы ничего не вышло.

Нестор. Я только хотел бы потом узнать, как мир нас отблагодарит.

Цербино. Нас ведь уже повсюду изрядно чествуют, куда мы только ни придем.

Нестор. Но этого еще не достаточно, я хотел бы также выпускать ежемесячное издание с медными гравюрами.

Цербино. На это теперь вся надежда.

Нестор. Эта собака — парень простой, он ни в чем не принимает участия; как только мы вошли на постоялый двор, он так долго приняхивался вокруг, пока не нашел еду: никакого порыва посмотреть на интересных людей или сделать замечания об особенностях обитателей.

Цербино. Я уверен, ему нужно предоставить больше свободы, чтобы его душа облагородилась.

Нестор. О, если я только перестану держать его на поводке, он
вовсе от нас убежит.

Входит Клеон.

Клеон. Можете указать мне дорогу, ведь я здесь чужестранец.

Цербино. Все зависит главным образом, добрый человек, от
того, куда вам нужно.

Клеон. Вы правы, и я всегда забываю, что никто не знает, где
живет моя Лила.

Взгляд мой вдруг она приветит,
Стоя в хижине одна,
Поцелуев моих страстных
Испугается она.

Цербино.

Ах, если бы нашел я мудрость,
Которую ищу уже так долго,
Которая уже неделю дразнит,
До истины ведь должен докопаться
Дух этот неустанный наконец.

Клеон.

Не путешествовал ли я с востока
на запад? Ожидали меня чувства,
любовь прислушивалась к звукам, —
что может быть дороги этой лучше?

Цербино.

Вы знаете источник благородный,
Откуда вкус в скале берет начало,
О, я молю, чтобы к этому вы месту
Доставили нас, бедных пилигримов.

Клеон.

Надеюсь, что не дрогнет ваше сердце, —
С опаской на долину я взглянул, —
Останется ль оно от чуждых уз свободным?
Не выдержишь ты больше боли, сердце!

Цербино.

Искал я часто с горькой болью, мысли,
Страдал, теперь на месте я, и здесь
Источник благородный протекает, -
Но только вечно остаешься пресным, сердце!

Клеон. И вы не можете дать мне никакого ответа, и ваша тоска,
похоже, даже больше, чем моя.

Цербино. Отдохните здесь с нами, наши дороги различны, ведь мы идем на эту сторону к воде, а вы идете в ту сторону, где долина.

Клеон. Я уже внизу в той кузнице уточнял вопрос, но также получил ответ, которым я не могу воспользоваться.

Цербино. Таким образом, пошли бы вы к мельнице.

Клеон. Я также в досаде направил туда свои шаги, но люди вокруг не понимают моей речи. Здесь хорошо отдыхается и милый вид.

Нестор. Возможно; их угнетает то же самое, как вы можете видеть, рассмотрев разнообразные местности, с деревьями, хатками, подворьями и мельницей, воду, за которой ехать, и с человеческими фигурами, проводящими тут жизнь. Мы вчетвером к этому равным образом не годимся.

Клеон. Ваша собака была бы еще живее и веселее, если бы вы освободили ее от рабства.

Цербино. Я уже говорил то же самое. Тонко чувствующее сердце, конечно, не будет свою собаку и друга таскать вот так на поводке, нужно к зверю быть чувствительнее, если имеешь намерение возвысить проводника настоящим гуманизмом.

Нестор. Ну, так я, ради Бога, сниму с него веревку. Гляди, Конюх, я обращаюсь с тобой отныне, как с разумным существом, но я считаю, что ты это должен понимать. *(Конюх так обрадовался, что убежал под гору.)*

Нестор. Вот вам и неразумное животное! *(Спешит за ним.)*

Цербино. О горе, он на радостях совершит непристойный поступок!

Он также убегает.

Клеон

Как на север склоняется стрелка магнитная,
Так к тебе мое тянется сердце,
Уверяю тебя, только ты отмахнешься опять,
Как всегда на земной оси неподвижно находится полюс.
Ты радость моя, принесла мне известие сладкое,
Дуновение мягкое ты, что ласкает мне щеку,
И я чувствую губ твоих сладких дыхание.
Если б рядом могла оказаться вне всякого времени,
Сквозь цветок, сквозь кустарник пробраться.
Тобой околдован я! Высочайшею радостью
Было бы вспыхнуть в ланитах твоих,
Что прекрасны, как пурпурно-алая роза,
И прелестнее лилии белой; и эти глаза,
Что обвеяны нежною розой, никак не иначе,
Улыбаются мне благодарно. Ты вся излетела
Из обители вечной блаженства, точно звук серебряный,
К тебе долгий путь я проделал,

Я в себе заблудился, на твой отвечая привет:
Водопадом из золота падает книзу закат,
Снова в сердце тоскующем лишь благодарность тебе.

Цербино и Нестор возвращаются.

Цербино. Мы его не смогли отыскать.

Нестор. Он убежал в лес, ну и черт с ним!

Клеон. Однажды он явится сам.

Цербино. Да, если бы мы не должны были искать хороший вкус;
но как он нас догонит?

Клеон. Если ему одно не попадется, то другое, наверное, к этому подтолкнет. Прощайте, я должен продолжить свое путешествие.

Уходит.

Нестор. Я уверен, этот человек — влюбленный.

Цербино. Я даже соблазнился спеть с ним дуэтом, что, конечно, очень неестественно.

Нестор. Да, я очень этому удивился; влюбленным подобные клятвы не преступление приносить, но от вас, мой принц, я ни в коем случае этого не ожидал.

Цербино. Но, в сущности, в мире мало естественного.

Нестор. Естественно! Поэтому где же избыток природы?

Цербино. Я считаю лучшим, чтобы мы оба разделились, чтобы собаку как можно раньше найти.

Нестор. Я уверен, мы видели его в последний раз.

Цербино. Мы должны приложить немного усилий. — Идите по той дороге, а я пойду по этой.

Нестор. Из газет я всегда узнаю, где вы находитесь.

Цербино. Непременно! Уже вечер, и эту ночь я думаю провести на мельнице, если ты собаку сегодня не найдешь, то иди за мной туда. На этом адью.

Уходит.

Нестор. Так пошли мы по трем разным дорогам!

Уходит.

Дворец

Курио и Селинус, они сидят в отдалении, и сердечно плачут.

Курио. Ах! Ах! Великая боль!

Селинус. Несчастье! Невыразимое словами несчастье!

Курио. Кто нас может утешить?

Селинус. Никто в мире! Ах! Ах!

Курио. Не рыдай так, за душу берет.

Селинус. Не надо быть осмотрительным, когда работаешь на благо целого королевства. Ах! Ах! Ах!

Курио. Ах! Ах! Ах! Я думаю, любезнейший, что вы охотно стали бы камергером, но это сейчас же не случилось.

Селинус. Ты же мне никогда на пути не стоял!

Курио. Никто не может знать. Ха! Ха! Ха!

Селинус. Вы смеетесь над всеобщим трауром в королевстве? О, берегитесь, теперь я знаю свое дело.

Курио. Я не смеялся, это было известное конвульсивное сотрясение диафрагмы, которое вызвано чрезмерной скорбью.

Селинус. Поверит этому только дурак. Ах! Ах! Ах! Ах!

Курио. Что же вы вздыхаете так тяжело? Ага! Король идет! Ах! У! Ах! И! У!

Оба. О! Ага! И! Ахах! Ах аах! Я больше не могу.

Готлиб, Королева, свита, среди них Гансвурст, старый Король, Леандр.

Готлиб. Немного дайте покоя, Ваше Доброе Ребячество, я также имею отеческие переживания, что вы все знаете, и не забыл, но в каждом деле надо соблюдать меру.

Гансвурст. Но также в соблюдении меры, милостивый Король; вы и мы все ничего не делаем, чтобы разделить обязанности каждого добросовестного подданного.

Готлиб. Да, я уверен, что сейчас в моей стране плачут для виду.

Гансвурст. Вся работа стоит, ремесла бездействуют, каждый думает только о том, как он поступит для успокоения своей боли.

Готлиб. Мы хотим поэтому изготовить памятник или медаль, чтобы это все запечатлеть.

Гансвурст. Господин Леандр в этом деле хорошо осведомлен, подберет подходящий рисунок и надпись.

Леандр. Если тоска мой гений совершенно не изнурила.

Готлиб. Однако колокол все эти дни был слышен хорошо?

Гансвурст. О да, мой государь, это делается регулярно, для всеобщего созидания.

Селинус. Ваше величество, но есть такие люди, в частности при дворе, которые осмеливаются раздражаться недопустимым смехом.

Готлиб. Ах ты черт! Подобное я строго запретил.

Курио. Мой милостивый государь, случилось господину Селинусу сказать неправду, почему я сделался камергером, былые счеты. Я узнал, между прочим, об отъезде Принца с величайшим сожалением, так впал я в глубочайшую скорбь и никак не мог себе позволить, и вот мой необычайный всхлип человек, который не является знатоком плача, принял за смех.

Селинус. Я не знаток плача? (*Необычайно сильно плачет и всхлипывает*). Теперь я предоставлю нашему единственному высокому пронизательному величеству мой талант должным образом оценить.

Готлиб. Хорошо, Курио, что ты имеешь против его плача? Он, дорогой мой, отныне камергер.

Курио. Мой государь, сейчас открыл он мне свое обличье.

Готлиб. Молчать, я ничего больше не хочу знать.

Курио. Соизвольте точно так же благосклоннейше выслушать, во всяком случае, мой плач.

Готлиб. У меня сейчас много дел; я должен подумать о дворцовом трауре, и организовать ливреи для моих слуг.

Уходит со свитой.

Курио. Ну, господин камергер, удачи на новом поприще.

Селинус. Любезнейший, Вы простите, что я никак вот не могу вспомнить ваше настоящее имя, ах, Боже! Много есть над чем подумать! Моя память часто избегает запоминания многих особенностей, которые я мог бы удержать. Потому и не услышал в этот раз ваше имя, но вы озабочены только своей важнейшей службой, потому я вам вообще не могу быть полезным, не смущайтесь, и вы увидите, как я услужлив, исполню все ваши желания.

Уходит.

Курио, старый Король и Гансвурст остаются.

Курио. Остается надеяться, что это судьба всех людей, которые принесли свою жизнь в жертву государю? О, неблагодарность!

Старый Король. Радуйся, ведь если бы ты на это разозлился, то непременно твой товарищ Селинус достиг бы высочайшей своей цели.

Гансвурст. Сочувствую вам; кто знает, где и в каком краю для вас спрятано еще прекраснейшее счастье.

Курио. Если, Ваше Высочество, наш милостивый Готлиб иногда с вами одним беседует, то часто верят, что, быть может, это величайшая удача, а потом, однако, это оборачивается ничем.

Гансвурст. Это такой новый стиль, который завелся при дворе, по которому каждый придворный должен найти себе примитивнейший образ.

Старый Король. Да, это правда, в мое время здесь был иной образ жизни, но мой племянник все переменял.

Гансвурст. В прежнее время было при дворе все празднично, Король был окружен величием со всех сторон, с дрожью и биением сердца входил каждый в эту комнату; с нетерпением ждали его слуги, царил устрашающий стиль. Было милостивой и великой наградой, когда лишь Король позволял к себе войти бедному грешнику, который к тому же обыкновенно не знал, как ему держаться. Говорил он лишь Королю, так как был

нижайший подданный, который грубо и коротко немного спрашивал или вовсе ничего, а когда слуга, или художник, или ученый затем уходили, то чувствовал он себя в высшей степени счастливым; Король давал ему обещание, или только одним словечком об этом обмолвливался, так он не мог уже сдержать своего счастья, так это уже было величайшим событием, что он с Королем смог поговорить. Но как все сейчас перевернуто! Как я жалею художника, которого его величество совсем недавно сам по себе позволил позвать! Этот человек был вознесен на третье небо, Король, исполненный милости, называл его непременно на вы, провел с ним более часа, был так предупредителен, так учтив, без церемоний, и ничего из этого не вышло. О, я видел людей, которые обронили бы грубое выражение по поводу этой новомодной популярности и гуманности, которые на самом деле годятся на то, чтобы ими наполняли тюрьму. Но правда, если сейчас искать что-то при дворе, никто не знает, для чего, и от всех благосклонных лиц, которые ведь исключительно известную вежливость сохраняют, получал бы постоянно отказы.

Старый Король. Совершенно верно, я тоже думал об этих удивительных переменах, но не будем далеко уходить от темы, ведь я потерял все влияние на своего сына: теперь мне это ясно, что сейчас очень ревностно распространяется во всем мире известная гуманность, которая в конечном счете удивительно негуманна; мода эта охватила дворы и правящих монархов, и потому я пророчу, что будет скоро случай для обратных изменений.

Курио. Наступил бы он как можно скорее, если я только смогу также скоро получить хорошее содержание!

Старый король. Тысяча других забот еще вертится у меня в голове, так что я часто не в себе.

Гансвурст. Как вы себя чувствуете, дорогой государь?

Старый Король. Я принадлежу, без сомнения, к так называемым людям с заветной мечтой, о которых в мире уже так много говорят.

Гансвурст. Непременно.

Старый Король. У меня сейчас есть одна заветная мечта в голове, что мне ни днем ни ночью не дает спокойно спать, и что меня со временем загонит в могилу, если не сделать с этим что-то как можно скорее.

Курио. Э, ради Бога!

Старый Король. Да-да, так же точно каждый человек имеет в голове заветную мечту, один о женитьбе, другой о написании книги, третий о создании картины, так и я вынашиваю свою.

Гансвурст. Скажите, опишите ее, мой удивительнейший государь.

Старый Король. Ну да, точно. Ты, Курио, знаешь обоих персонажей, Максимилиана и Себастиана?

Курио. О да, Ваше Величество, я их довольно часто должен был выстраивать; оба удивительные люди из свинца.

Старый Король. Верно. С отъезда Принца в моем сознании находится эта мечта беспрестанно, как бы я этого Себастиана с удовольствием встретил как-нибудь живым и как других обыкновенных людей.

Курио. Мне это кажется совсем невозможным.

Гансвурст. Почему невозможным? Почему не мог бы некий художник по своему воображению образ этого господина Себастиана сотворить, и такой же человек жил бы, который бы этому образу соответствовал? Это не что иное, как известная симпатия между природой и художником, который ведь является сыном природы, и легко может запечатлеть в карандаше и красках своего брата; тут придет третий брат, ваше Королевское Высочество, к тому же, и оба экземпляра между собой сравнив, припомнить сможет, потому что он догадается, что такой же точно человек должен существовать вживую. Так что я нахожу все это совершенно естественным.

Старый Король. О Советник, вы даете мне надежду, и добрый совет, и новую жизнь.

Гансвурст. Нечасто случается, чтобы поэт из своего воображения извлек изображение, которое непременно людей не хотело бы признать неподходящими и преувеличенными, и чтобы тому назад две, три сотни лет субъект нашел бы, без каких-то знаний об этом поэте и его изображении, так подробно в таких же пропорциях, что и у него, что это ему соответствует? Это вообще, возможно, и случится, и потому мы хотим надеяться, чтобы мы сейчас жили в такое время, в какое могут происходить подобные, по-видимому удивительные, созидания.

Старый Король. Ну, я обнадежен и буду ждать исполнения своей заветной мечты, без ропота о промедлении. Идем, друг мой!

Они уходят.

На мельнице, рассвет

Цербино (*выходит*).

Такой ночи, как эта, я до сих пор не переживал. Ни минуты покоя, мельница беспрерывно стучит, и если же однажды на мгновение затихает, то проклятая кузница рядом с ней начинает еще больше шуметь. Все вместе — это концерт для дьявола!

Мельник входит.

Мельник. Ну, хорошо ли спалось?

Цербино. Ни минуты, мельница всю ночь напролет работала.

Мельник. Иначе нельзя, мы беспрерывно заняты работой для пользы и питания человечества.

Цербино. Разве у вас так много заказов?

Мельник. Так много, что, я могу сказать, мы не имеем никаких выходных.

Цербино. И где же остается вся эта мука?

Мельник. Далеко и широко расходится. Эта мельница перемалывает одинаково и зерно, и турецкий маис, и все возможное.

Цербино. Раз она такая нужная, я вам прощаю, что она мне спать помешала.

Мельник. Да эти мельница и кузница рядом — самые нужные институты во всей стране.

Цербино. Я большой поклонник технологии и нужности, будьте же добры, немного мне опишите строение и оборудование вашей мельницы; я думаю об этой моей поездке издать книгу, и подобные особенности ее могут украсить дивным образом.

Мельник. Всем сердцем охотно вам все это поясню, однако я должен для этого позвать своих подмастерьев. Сюда! Парни! Придите на минутку.

Большинство подмастерьев входят.

Цербино. Это они? Действительно, это дельные парни.

Мельник. Благодаря святому Поликомикусу! Это исключительно порядочные парни.

Цербино. Вы знакомы с Поликомикусом?

Мельник. Да ведь он покровитель всех мельников и кузнецов во всей стране; мы благодарим его каждое утро.

Цербино. Это, должно быть, весьма почитаемый человек; видите, тому что я тут стою, я обязан только ему, он меня исцелил от одной болезни, которая казалась неизлечимой.

Мельник. На самом деле? Что же с вами случилось?

Цербино. Я страдаю великим слабоумием, которое иногда в обычном сумасшествии выражается.

Мельник. Эх! Эх!

Цербино. Но этому великому человеку удалось меня полностью вылечить, однако все-таки возвращается остаток недуга внутри черепной коробки, который в моей речи и поступках, правда, как вы можете заметить, не выражается, но все же время от времени может играть старые штучки; и поэтому я должен был сейчас отправиться в путешествие, и хороший вкус отыскать, и когда я его найду, тогда больше не страшен никакой рецидив.

Мельник. Эх, какое счастье! Ведь прямо сейчас ты стоишь обеими ногами посреди хорошего вкуса.

Цербино. Как это?

Мельник. Эта мельница как раз то, что ты долго искал.

Цербино. Правда?

Мельник. Правда, на самом деле!

Цербино. Величайшее счастье мне не могло не встретиться.

Мельник. Конечно, и эти вот подмастерья необычайно уважаемые сотрудники!

Цербино. Я полагаю, мне бесконечно повезло с вами, господа, таким неожиданным образом познакомиться. Мне было очень приятно с вами встретиться, и я очень этому рад, я даже не рассчитывал на такой непредвиденный случай. *(Он обнимается с каждым по отдельности.)*

Мельник. Ах, мой дорогой гость! Вы говорите чуть ли не так, как если бы вы были нашим родственником. Вы выглядите таким правдивым.

Цербино. Еще есть давнее замечание, которое я сейчас вспомнил, о том, что мельник лжнет.

Мельник. Да, мы белое братство, но никак не тайный орден, мы ручной работой занимаемся очень даже открыто.

Цербино. Вы хотели быть таким добрым, мне что-то об устройстве вашей мельницы рассказать.

Мельник.

Всем сердцем рад.
Тут главное, как видите, ручей,
Большой, который называют водопадом, —
Взгляните хорошенько на него, —
Он целый день вращает колесо,
И только этим он все время занят.
Течет, такой прозрачный, лишь вперед!
При этом весь горит он, словно пламя,
В нем есть, по-нашему, невинность и любовь,
С достойного он берега спадает,
И это любо мне, ведь его сила
Вращает мельницы тяжелый механизм.

Цербино. Он в самом деле очень прозрачен, я могу на дне каждый гольш видеть, никакие песчинки мне не мешают, и к тому же, кажется, вам никакого вреда нет от этой воды.

Мельник.

И, ах! Как из источника напиток
Целебен, ведь такой здоровой нет
Воды нигде, ее усладой края
По праву люди местные считают.
Из стран чужих есть спрос на нашу воду,
И сладость в каждой капле у нее.

Цербино. Это поразительно, значит, вы должны гордиться, что вам этот источник не один раз пригождается.

Мельник. Об этом я забочусь день и ночь, верите ли, потому уже завели некоторый ежегодник.

Цербино. Я верю, таково, к сожалению, время, где каждый должен делать себе ежегодник. Но ваши надежные подмастерья?

Мельник.

Конечно, не один ручей тут нужен,
И не единственная наша он забота,
Хотя, конечно, с ним никто сравниться
Не может, и он нужен постоянно,
И день и ночь на мельнице, в работе,
В движении. Однако, об устройстве
Мы мельницы самой поговорим.
Прекраснейшая штука для помола,
И величайшая, ведь без нее муки
Не будет никакой, а без муки
И мы без пищи будем, потому
Что стали б делать мы с этим зерном,
С большими и огромными кусками,
Чудовищными, теми, что старье,
Как говорится, нам всем оставляют?

Цербино. Это очень верно, если мы должны будем довольствоваться этим, то это может привести к тому, что все известные меры устареют.

Мельник.

Здесь сыпется в корыта добродетель,
Отчизна, доблесть, и все вещи эти,
Которые сначала так грубы;
Но лишь начни помол всеми камнями,
Так там внизу, вот видите вы сами,
Как добродетель ловкая идет,
Отчизна миловидная и прочих
Героев вы там видите воочью,
С великодушием, любовью и печалью,
С самопожертвованием так мелются красиво,
Изысканными кажутся они!

Цербино. Совершенно несравненное сравнение! О, пожалуйста, взгляните также на домашний быт, на бюргерскую добродетель, массу таких крайне тонких семейных отношений!

Мельник.

Вы не поверите, сколько есть силы у мельника,
Собственно, вещь величайшая, очень известная,
Просто сильнейшая, ведь ты на голову выше
Сразу становишься даже Гомера великого,
Даже Софокла, которого принято числить
Среди значительных личностей. Всех их

Молоть предстоит, только внутрь их забрасывай.
Вечно выходят они с перемола наружу
Лучше и очень становятся лакомы.

Цербино. Вы даже так хорошо знаете такие вещи? Это, мой друг, настоящее искусство, ручной труд в искусство превращать, и это может привести к тому, что вы сами со временем английские фабрики превзойдете.

Мельник.

Да, но должны вы подумать, что есть в наше время
Люди, которые, если питаться должны,
Разве не столь же усердными стать должны
мельниками?

Цербино. Однако, это все чем-то замещается по мере прогресса нашего столетия!

Мельник.

Как отруби прекрасны, не поверите,
К примеру, благодарен тут лишь я
Тому же Берлихингену и Вергеру;
Такой ведь был помол в те времена —
Все мельницы трещали. А английские
Все эти неуклюжие дела
В упрек мне долго ставили, когда
Кормил людей я многих, никогда
Я полностью в работе не был вымотан.
Вот только покажите мне историю,
Она уж, слава Богу, сформирована,
Так отчего большой курфюрст так плох
В отличие от маленьких народов,
Ведь все другие только пуще рады:
В волшебной этой пьесе лишь одна
Ошибка есть, в том, что она мала
Для полного ее перетиранья.

Цербино. Как я слышал, хотели ведь обыкновенно начать с того, чтобы этого англичанина понимать без перемалывания.

Мельник.

Да у меня от всех этих людей
Седые волосы встают на голове,
Они противники ручной нашей работы,
Обычно против мельников они,
Однако до сих пор еще
Я суеты мирской не ощущаю,
Ведь большинство за нас, я это знаю.

Цербино. Было бы жаль, если бы уменьшилось число покупателей, ваша мельничная аскетическая обстановка послужила бы еще не один раз таким хорошим прибежищем.

Мельник.

Они верные батраки, не в Вейнберге,
В институте для высочайших нужд;
Силач прекраснейшую делает
И лучшую, всем нужную муку.

Силач. Да, я верю, что сейчас эта мука нужна прежде всего, как и этот ручей, так говорят и все люди, даже некоторые меня еще и предпочитают. Я могу изготовить такую муку, что сердцу любо-дорого, и молочный хлеб, и печенье, которые из них будут выпекаться, будут такими нежными, что и несколько дюжин магов не превзойдут меня в мастерстве.

Мельник.

Великан наш также добрый малый,
Только он, увы, так долго несерьезным
Был, но чудо совершилось,
наконец увидел мир он.
Потому пришел он к нам немного
Прииспаненным, как говорят в народе.

Великан. Я делаю крутую, крепкую муку. —

Мельник.

Ну хорошо, ведь если он однажды
Начнет рассказывать, то мы конца и края
Тут не увидим. Вот еще другой,
Который часто запруды делает,
Надежный и упорный. Ты здесь,
О! Подойди, семейная мука, еще ни разу
Не отказавшийся от трапезы (вот также
И бургеры, и государи способны подкрепляться),
У каждого свои тут есть дела.
Никто ему не верит, что по вкусу
Такой он государственный изменник,
Такой невинный только он преступник.

Цербино. Кто этот с умным взглядом?

Мельник.

А он для нас одно большое счастье,
Как сумасшедший, необуздан он,
И если с криком не хотят мучной мешок
Поднять иные, может Александр,
Не думая, поднять его. Атилле

Свернуть он может голову, и в ящик
Приходит Фемистокл с разбитым телом,
С поломанными полностью ногами.
Когда идет народ такого рода,
Такой вот необузданный народ,
Что все мы вместе справиться не можем.
Но вы во всем широком мире не найдете
Такого ловкого, кто б быстро мог стреножить
И крепко бы умел связать. И мы за это
Зовем его еще всегда Стреногом.

Стреног.

Да, скручиваю я его так крепко,
Когда таких надмирных получаю,
Что в нескольких томах их собираю,
И он так слаб становится, что больше
В нем жизни никакой не ощущаешь.

Мельник.

Могу вам показать еще другого,
Маисником его зовем мы пошлым,
Однако меньше у него работы,
Как каждый там, он только головой болтает;
Они всегда такие крепкие мне слуги,
Один, который перемальвает этот
Маис, а тот второй — зерно, и также
Немецкую он кашу делает. И этот
В истории уже засел так долго,
Он с Аполлоном возится. А я
Немного от себя хочу добавить,
Ведь всю работу мы хотим пройти.
Свою муку в коричневой бумаге
Я в основном храню, тогда оно
Хранится хорошо, и это будет
Банальная, безвредная еда,
И полностью здоровая к тому же.
Мне было бы похвастаться не стыдно,
Охотно на английском Стерне сижусь я.

Цербино.

Скромность не порок. Но что же это там?

Мельник.

Здесь собираются самые грубые отруби.
Которые тут уже с прошлого года лежат,

Однако находятся также друзья и у них,
Я их называю архивом для вкуса и времени.
Представьте, сквозь воздуходувку
Такая прекрасная выйдет крупа,
Еда, за которую стыдно не будет.

Цербино. Но, дорогой мой, мое внутреннее состояние не улучшается, я на этом я заканчиваю.

Мельник. Однако разве вы не внутри хорошего вкуса находитесь?

Цербино. Примерно похоже.

Мельник. Друг мой, вы грубите.

Цербино. Мне жаль, но я должен дальше ехать.

Уходит.

Мельник. Подмастерья! За работу! —

Все идут работать, Мельник идет вслед за ними.

Около корчмы

Конюх (*входит*).

Я давно бегу рысцей и теперь так устал, что вынужден завернуть на постоялый двор. Если я только туда смогу попасть, как обыкновенный путешественник устроиться, чтобы люди никакого подозрения не исполнились! Общество слуг, в котором я жил, было мне в конце концов совсем невыносимо, и потому я также с ним покончил. Оба мои господина держат себя за очень умных, а между тем пинали меня, как собаку; когда они погрузились в очаровательную природу, меня слуга Нестор, как преступника, стал вести на веревке; обо мне совсем не беспокоились, когда я хоть однажды высматривал что-то для себя, или хотел остаться на постоялом дворе, теперь я охвачен состоянием свободы, и путешествую через деревни, будучи сам себе господином. Я лишь постучусь.

Владелец трактира выходит.

Хозяин. Кто это стучится так поздно?

Конюх. Странствующий ремесленник-подмастерье, который просит ночлега.

Хозяин. Ну, так заходи внутрь! Откуда же ты?

Конюх. Недалеко отсюда, я уроженец этой страны.

Хозяин. Прими во внимание, что если ты не взял с собой вербовщика, то здесь в округе установлен новый режим.

Конюх. Позвольте только мне скорее войти, эта ночь вдобавок будет холодная.

Входит внутрь.

Комната в трактире

Хозяин. Конюх.

Хозяин. Ну, садитесь, странник, вы, должно быть, очень устали?

Конюх. Не то слово, я целый день скитаюсь.

Хозяин. Ну, выкладывайте. Что хорошего произошло на свете?

Конюх. Вы изволите шутить, хороших новостей никогда не бывает много.

Хозяин. Очень верно, несомненно, вы умны, странник.

Конюх. Мы вынуждены бороться, если уже с ранних лет все тебя в мире кругом толкают, куда ни пойдешь.

Хозяин. Нюхаете ли вы табак?

Конюх. Нет.

Хозяин. Жаль! У меня как раз хорошая контрабанда в доме, которую я по дешевке достал. Я занимаюсь между делом небольшой торговлей. Я не представляю, как тяжело людям тащиться по жизни.

Конюх. Конечно, конечно; также и я, как видите, эти несколько лет, потому что ничего другого найти не мог, вынужден был служить собакой.

Хозяин. Э, это же поразительно!

Конюх. Да, что поделывать? Крестьянином я быть не захотел, табачная фабрика была упразднена, и вот, без связей, как был, я вынужден был занять уже должность собаки.

Хозяин. Был бы я, однако, тоже на это обречен, если бы я восемь лет тому назад с отчаяния не пошел в солдаты! Рядовому человеку в наше время от этого плохо.

Конюх. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы случайно здесь вокруг что-то о хорошем вкусе?

Хозяин. Нет, мы рады, когда вообще лишь имеем что поесть, и мы не заботимся, чтобы даже вкусно было.

Конюх. Я имею в виду, любезнейший, в духовном, моральном смысле.

Хозяин. Возможно, брошюры о нужде и о помощи? Да, но я в них никакого вкуса найти не мог бы. Это ни в нужде, ни конечно же как пособие для нуждающихся не употребимо. Мне кажется, Уленшпигель, если его с ними рядом положить, совсем другое сочинение.

Конюх. Вы остаетесь в эпохе Просвещения, как мне кажется. Вы должны бы знать, что человечество до сего дня уже такими книгами совсем не одержимо, потому что они до этого не дозрели.

Хозяин. Да?

Конюх. Безусловно: и сельский житель, и буржуазия начали тем более садиться живо за перо.

Хозяин. Вы не работали с этими самыми вещами?

Конюх. До сего времени еще нет, потому что я того еще не был достоин, но я хочу в ближайшее время пойти учиться, потому что я теперь, вдобавок, остался без службы.

Хозяин. Но вы же верите, что это то, что нужно.

Конюх. Это должно быть нужно, тут недавно спрашивали: польза и все остальное должно быть удобным для людей, которые работают по профессии.

Хозяин. Есть также газеты, если вы читаете.

Конюх. О да, лишь дай сюда, сейчас интересная эпоха. Здесь есть и курьезная заметка: Собака-шпиц, с желтыми ушами и лапами, по кличке Конюх, потерялась, кто об этом бродяге может дать известие в газетную контору, получит пять талеров вознаграждения. Но ему самому, если ему этот номер должен попасться на глаза, сообщено, что он мог бы отправиться назад к своим родственникам, без боязни наказания. Да, как удивительно, что сейчас убегает много собак. (*Про себя*): Что же я за дурак! Я рад, что я от них ушел, и если они хотят вернуть меня, то как раз такой хороший случай меня найти. Господин трактирщик, вы уже почти спите.

Хозяин. Да.

Конюх. Укажите мне, пожалуйста, мое спальное место.

Хозяин. Я не вижу для вас ничего иного, как та скамья у печки.

Конюх. Ну, это меня очень даже устраивает. Значит доброй ночи!

Оба уходят спать.

Лес

Лесной отшельник, Геликанус.

Лесной отшельник.

Как, снова я встречаю вас на этом пути?

Геликанус.

Моя душа меня
Сквозь этот лес в безумии вновь гонит,
Поднимаясь, спускаясь, скоро прибыл я сюда,
Свой путь я повернул назад,
В сомнении запутываясь глубже.

Лесной отшельник.

Вот так у нас выходит, если мы
Совету не внимаем, не хотим
Внять дружескому голосу. Твой разум
Безумный вскоре был бы исцелен,
Когда бы захотел ты посвятить
Всего себя природе, размышленьям
Над чудесами Божьего творенья.

Геликанус.

Той старой боли больше нет во мне,
Что привела меня в сей лес сначала,
Новый огонь горит во мне теперь.

Лесной отшельник.

Итак, одно безумие тебя
Избавило, выходит, от другого:
Так это происходит у людей!
Избавиться он часто хочет
От всякой силы, чтобы на него
Земля и небо хмурились, и вот
Уже берет безумие его
в такие материнские объятия
И нежно утешает.

Геликанус.

Ты меня
Совсем не знаешь, как и род людской,
Ты очень тороплив в своих советах,
И рубишь ты суждением с плеча.

Лесной отшельник. Ну, так рассказывай, наконец.

Геликанус.

Как только я тебя на этом месте
Оставил, устремился я отсюда,
И тут попал в одну такую местность,
Где небеса сливаются с землей,
Разбрасывая там свое веселье.
Там наслажденьем пышет от кустов,
Деревьев, и напев сладчайший
Там обитал, и я бесповоротно
Решил, что уж отечество по сердцу
Себе я в самом деле приобрел.

Лесной отшельник. Что же это было, что тебя так высоко восхитило?

Геликанус. Смеяться будешь, если я девушку увидел?

Лесной отшельник. Я этот ответ уже предвидел.

Геликанус. Я не могу сформулировать, если я тебе ее буду описывать.

Лесной отшельник. Воздержись, я тебя прошу, от внешних описаний!

Геликанус

Она меня не любит! Ах! Едва,
Как я люблю ее, заметила, казалось!

Лесной отшельник.

И где же, сын мой, твоя первая любовь?
Да, вот как юность поступает безрассудная!

Геликанус.

Не говори, мой друг, чего ты не чувствовать можешь,
Чему твои слова помогут? Ты поверь,
В воздушной паутине красоты,
Какой-то магнетической силой
Меня к себе она тянула, и к ней
судьба меня вдруг сходу приковала,
Она меня навеки удержала б,
Вольна ли разорвать?

Лесной отшельник.

Слова твои — они слова бессилья,
Но могут разум сдерживать они,
И возмущать и умирять твои
Все жизненные силы. Но доколе
С любой силою они твои уста
Употребляют, словно знаки
Таинственного мастера, что снова
Они неотразимо повлияли на грудь и дух.

Геликанус.

Нельзя у твоих образов отнять
Ни сердца верного, ни силы человека,
Ни заклинания волшебного.

Лесной отшельник.

Зачем же
Совсем недавно страсть безумная
В груди твоей так буйствовала дико?

Геликанус.

Так это вот оно и есть, что не дает
Мне успокоиться, и вдруг дрожит душа
От образа того, который раньше,
Владел мной как судьба,
Я часто вопрошал немые камни скал,
И водоемы, прозрачные, желобчатые, и
Я начинаю лишь — слогами эхо
Мне говорит, но слоги не понятны,
Кричать источник продолжает мне
Свою былую песнь неустрашимо,
И моей боли ни один из них
не облегчает!

О старая родина сладка!
Где я снова найду тебя?
Зачем такая мука?
Почему ты меня преследуешь?
Почему меня уничтожаешь?

О, дальнейшее сияние любви,
Возвратишь ли мне мерцание свое?
Должно ли это быть моим счастьем?
Меня поразила эта боль,
Кто обо мне подумает, о, кто?

Вдруг нашел я облегчение
В тебе, о мучительный ливень;
Думал я тогда, что этого достаточно,
Но снова я воображаю, что она
Меня поцеловала, и я должен
Все время странствовать,

И новая поражает боль
Бедную верную грудь,
Тело заключает в тюрьму,
И более не знает радости —
Она все мне отравила.

Лесной отшельник.

Как трогательно вы поете эту песню
Прекрасным голосом, и если должен я
Советовать, то приведу пример мой:
Когда меня изгнали мир и счастье,
Когда я зря скрывал свою надежду,
То стал я одиноким, с давних дней
Живу тут в радости и вновь обрел себя.
Порвалась та материя давно,
Вся полностью порвалась, беззаботно.
Живу я жизнью внутренней, и все,
Что раньше было внешней, для меня
То умерло, и милая супруга,
И сын, который в памяти моей;
И наблюдаю сейчас небес великое я чудо,
Бессильный, как я есть, я изменяюсь.
Как трепетный цветок, через инстинкт
вслед за высоким Божьим дуновеньем.

Когда вечерняя заря целует роши
Прощальным пламенем,
Когда в великолепном утреннем сиянии
Звуки жаворонка солнце приветствуют,

О тогда вбрасываю я песнь ликования
Во славу природы,
Эхо вторит этим звукам,
Все молится лишь Вечности.

Идет мой привет родниками,
И во мне пустое сердце
Должно быть разбужено Богом,
Который нас защищает постоянно.

Морские волны громко зазвучали,
В лесах живет много звуков;
И мы не должны ли воспевать
Радость все время?

Геликанус. Прощайте, ведь вы не постигли моей боли!
Лесной отшельник. Прощайте, вам еще недостает духовного
света!

Оба расходятся в разные стороны.

Пустыня

Иеремия (*выглядывает из окна утеса*).

Мой господин Поликомикус исполняет очень утомительную и скучную
должность, о чем я могу сказать по опыту; сюда идет народ всех возрастов
и положений, чтобы получить от меня более тысячи бесценных советов,
и тут нужно им давать моральные ответы и разговаривать разумно, и в то
же время быть глупым так невыразимо, чтобы честный человек мог тем
временем впасть в отчаяние.

Собирается все больше и больше народу.

Иеремия. Желаете ли вы совет получить?

Люди. Да, ведь этого невозможно найти никак в достаточном
количестве.

Иеремия. Но я заскучал.

Люди. Мы к этому прирождены.

Иеремия. Но почему вы сами себе не можете дать совета?

Люди. Это было бы чем-то совершенно новым!

Иеремия. Выгода, которой я сейчас пользуюсь, заведет меня очень далеко. Моего господина нет дома, он еще не вернулся из дворца, откуда ему написали.

Люди. Это безразлично, мы должны получить приличествующие нам советы.

Иеремия. Знаете что, друзья мои? Чтобы никого из нас не утруждать, давайте мы полезное немного соединим с приятным.

Люди. Это для нас одинаково.

Иеремия. Ну, так станем же добрыми друзьями. Слушайте, мои дорогие, я думаю, мы соорудим здесь на скале для себя своими силами маленький театр, моральный и улучшающий человеческие слабости!

Люди. Ради Бога, создайте уже лучше вообще Национальный Театр.

Иеремия. Для чего?

Люди. Для чего?! Этого мы не знаем, но, кажется, это было бы лучше.

Иеремия. Ну, если вы так хотите. Хорошо, как только мы организуем свой национальный театр, я возьму большую метлу, которая чисто выметет сцену, и затем хочу я произнести трогательный пролог по этому торжественному случаю, который всем вам, конечно, понравится.

Петер. Начинайте же, и сделайте так, чтобы я с вашей и Божьей помощью стал немного лучше, ведь я должен сказать вам, что я совершенно гнусный парень!

Иеремия. Равным образом я имею честь засвидетельствовать мое почтение всеми видами морального.

Он берет метлу и распахивает окно в скале.

А ну-ка, публика достопочтенная,
Скорее осмотритесь, все ли я
Вам хорошо устроил, образ жизни
Свой улучшайте, ведь зачем иначе
Скривили рты вы все в едином плаче.
Здесь это не пройдет, чтоб вас увеселить,
Ведь это может сделать и любой,
Конечно, Арлекин, с умом,
С меланхоличным умилением
Развлечь очередным вас представленьем.
Поэта благородного должно
Все это украшать, и мы хотим
Теперь смысл, мысль, поэзию
Своими силами в порядок привести.

Уходит.

Петер. Теперь он придет, друг Каспар, чтобы нас обоих совсем другими людьми сделать.

Каспар. Это необходимо.

Некоторые другие. Потише! Не мешайте нам, чтобы мы могли внимать.

Две марионетки выходят, Король и Королева.

Королева. Так ли плохо обстоят дела с королевством, как говорят?

Король. Ах! Дорогая супруга, ты не верь тем, что смеют так говорить, если бюргера заставить сопротивляться врагу, то они остерегутся ваших стен с угрожающими флагами. Они сейчас не более готовятся к войне, они вечно пьют пиво и нюхают табак, а как однажды приказать: Вы, патриоты, вставайте! Защищать родину! Никто не пойдет по домам.

Королева. Так мы же таким образом проиграем?

Король. По меньшей мере, если не умрем, то очень будем обеспокоены; как многие короли в свое время были в ужасе, от чего часто чернь вдобавок сердилась, подняться с трона мне, однако, не дано, прежде, чем я пожертвую, родина, тебе, охотно свою кровь и жизнь!

Некий посыльный.

Посыльный. Государь, враги наступают на нас все сильнее, каждый убегает от них с деньгами, и детьми, и женами, и из подвалов выползает застрявший солдат, в общем, боязнь врага достигла высокой степени. Что мы можем сделать в таком случае?

Король. Я уже так долго был королем, что можете еще отдыхать в безопасности.

Посыльный. Осталось лишь ожидать, что будет дальше?

Король. Показываю, сын мой, так здесь вытаскиваю я мой лучший меч и хочу быстрее узнать, где враги стоят гуще, опрокину их и буду победителем или паду убитым.

Уходит.

Королева. Какое благородное королевское мужество в этой великой груди! Вам он покажет настоящий божественный успех. Я тоже должна уйти и видеть, как это случится, и как в битве держит себя мой благородный супруг, а он повержен, ах! Адьо и трон, и королевство! Затем, что все мы здесь попали в сети.

Уходит.

Посыльный. Да только и остается, что ругаться, потому что вы уже при смерти, больше нет никакого сомнения, что враг нас победит, я знаю мужество короля, который не очень далеко, также понес он для себя необычную тяжесть. Вот слышу я уже восклицания и ликующие крики врагов, они над городом стали уже прямо хозяевами, теперь того, кто был здесь

впервые, я вижу уже вполглаза, как скрутят нам руки, и будем мы Республикой.

Уходит.

Каспар. Господин Иеремия!

Иеремия (*поворачивает голову*). Вы звали меня, господа?

Каспар. О да, эта вещь нам совсем не нравится.

Иеремия. Мне бесконечно жаль, зависит что-то от марионеток?

Каспар. Нет, в основном все хорошо и на ощупь мягко, но это сочинение, собственно, ни к черту.

Иеремия. Эй, как это?

Каспар. Очень неестественно, на наш взгляд, чтобы слова всегда рифмовались и сочетались друг с другом, в то время как их настроение выражается само по себе.

Иеремия. Они, таким образом, неестественно ведут себя?

Каспар. Конечно!

Иеремия. Да, если так, то нужно нам уже совсем другую страницу перевернуть.

Каспар. Как раз об этом мы и хотели попросить.

Иеремия. Сейчас, мои дорогие, мы отправимся с вами, таким образом, для начала в бюргерскую трагедию, но я боюсь, что это вам также не очень понравится.

Две другие марионетки, Мужчина и Женщина, появляются на сцене.

Мужчина. В какой нищете находится теперь наша бедная, несчастная Родина! И в каком бедствии находимся мы по сравнению с другими людьми!

Женщина. Это же была не твоя вина, не твое преступление, что нас толкают на это преступление?

Мужчина. О замолчи!

Женщина. Нет, теперь я буду говорить, потому что должна. Ты отважился на это жаловаться? Ты, который вначале перебежал к врагам, который вначале сделал предложение открыть ворота? Смотри, теперь здесь на рынке лежат трупы твоих братьев, зри эти задымленные дома, разрушенный монастырь и затем скажи мне: все это моя работа!

Мужчина. Жена! Ты меня злишь!

Женщина. Нет, ты лучше сейчас проснись от своего безумия, приди в ужас от этой нищеты, которую ты воздвиг, и это налетит на тебя как штормовой ветер, и все кончится отчаянием, самоубийством.

Мужчина. Вначале должна умереть ты, затем я, тебя я буду, рыдая, сопровождать в преисподнюю, к которой ты должна указывать мне путь. (*Он вскидывает свой кинжал, Женщина убегает, он преследует ее.*)

Многие зрители устремились в пустыню, среди них также Сатана.

Иеремия (*осматриваясь*). Не правда? Это также неправильно?
Михель. Не особенно.

Сатана. Дорогие люди, это недостаточно трогательно, вы ни черта не понимаете в драматическом искусстве, и потому также вам неизвестно, где в этом представлении слабое место.

Люди. Это правильно. Вы определенно знаток. Мы хотим трогательного!

Иеремия. Хорошо, я то же самое имел в виду, поэтому мы еще одну заметку ниже дадим.

Сатана. Эти вещи, господин директор спектакля, состоят в том, что вам немного больше надо впадать в естественное.

Иеремия. Минуточку!

Две другие марионетки выходят на сцену, Отец со своим Сыном.

Отец. И Он опять лишь к утру домой пришел?

Сын (*ходит молчаливо назад-вперед*).

Отец. Ответ хочу я получить. Ну? Чтоб он вдруг заговорил?

Сын. Господин отец...

Отец. Я тебе уж не отец, а, по меньшей мере, твой господин отец! Он осмеливается, злодей, чувствительному отцовскому сердцу, всю ночь напролет изъеденному заботой и печалью, «господин отец» говорить?

Сын. Не имелось в виду ничего плохого.

Отец. О если я в этом должен буду убедиться, то хотел бы я сейчас в последний раз видеть наши четыре глаза! Я бы его холодным, бессердечным, недостойным, негерманским негодяем вышвырнул из дома!

Сын. Да не горячитесь вы так.

Отец. Я буду горячиться! Видит он, что я совершенно разгорячился! Я полон пыла, огня и пламени.

Сын. Но пощадите же себя, сделайте одолжение, и ваше здоровье, ваше драгоценное здоровье. Этого недостаточно, что я так рано должен был лишиться матери, хотите вы у меня также отца похитить?

Отец (*обнимает его растроганно*). Нет, дорогой мой сын, он тебя не обворует. Ах! Любимая, увековеченная Катерина! О, сын мой, в память о ней я поклялся тебе, дать тебе свою безрассудную любовь, свою бесполезную благородную любезность и скрасить старость отца. Если ты охотно здесь меня рядом с собой видишь, то докажи мне это переменой в поведении. Видишь, теперешняя нужда твоей родины, враги, которые в город ворвались, выписали такую тяжелую контрибуцию, так мало уважая божественное и человеческое правосудие, что мы скоро совсем обнищаем. Обдумай твою собственную благотворительность, сын мой, ведь без этого более не может быть речи об этих седых волосах.

Уходит, рыдая.

Сын. Мой отец благородный человек, совсем по старому честному немецкому обычаю, дымит и вспыхивает, но внутри он в корне замечательный человек. Ах! И тем не менее мог я его добрым советам не последовать! Любовь! Это всемогущая любовь, та, которая самые крепкие узы природы разрывает.

*Многие зрители плачут, Сын хочет уйти,
Иеремия тянет его за руки,
между тем он снова выглядывает.*

Иеремия. Господа, вы тоже растроганы, и этот крепкий деревянный злодей все еще не хочет убираться. Должны ли мы это терпеть?

Сын. Судьба, неумолимая судьба меня ужасно взволновала. О добрейшая судьба, позволь мне еще немного доиграть до конца мою роль, так ты увидишь, как я в пятом акте еще стану совсем другим человеком.

Иеремия. Вот как? В пятом акте? Великолепно! Это было бы прекрасным примером для всех бедных грешников! Все понадеялись бы на пятый акт, и ничто в мире поэтому не развратило бы человека больше, чем именно этот пятый акт, из-за чего его так предпочитают, как совершенно отменяющий нарушение нравов.

Сын. Но как я потом стану хорошим, это должно доставить тебе самой, о величественная судьба, радость.

Иеремия. Нет, как раз здесь, на этом месте, нужно тебе измениться, или ты мгновенно умрешь.

Сын. Как же я могу так скоро измениться? Вы, судьба, не изучали никакой критики? Это было бы возмутительно, безнравственно, неестественно, и если бы я, таким образом, что-то хорошее сделал в моральном плане, то этим я допустил бы в так называемой эстетике более досадный промах.

Иеремия. Парень имеет хитрость и дар красноречия, но мы на это не можем пойти. Убирайся из театра! Ты безнравственный невежа!

Толкает его со скалы в пустыню, зрители смеются.

Сын. О человечество! Смеешься, когда видишь, как жестоко неумолимая судьба играет с собратом?

Каспар. Да, мы кувыркаемся от смеха, как вы отсюда сверху упали.

Сын. Смеяться? Это страшно, такое признание выслушать? О человечество, так я тебя в этом случае покидаю, если ты больше никаких слез не льешь над несчастьем, в пустыню ухожу...

Петер (*и все смеются*). Ты уже стоишь посреди пустыни.

Сын. Ну, так я пойду от отчаяния в город, прыгну в первый же очаг, какой найду, сам себя в огонь посажу и сгорю дотла!

Уходит разъяренный.

Иеремия. В основном это хорошо, что мы его лишились, ведь он мне тоже надоел.

Каспар. Так уж вышло.

Сатана. Причем он всю вину сваливает на пятый акт.

Иеремия. Он же всегда был неблагодарным сыном, если мы его внимательно рассмотрели, и потому хорошо, что мы его изгнали. Но что нам оставалось? Он в отчаянии вступает в широкий мир, и нам нужно подумать о новом времяпрепровождении. По крайней мере, пусть придет что-то совсем необыкновенное, но так, чтобы это не так тяжело управлялось нитью. Вы не будете сердиться, если вам иногда будет немного видно мои кулаки?

Люди. Нет, ничего.

Иеремия. Дело сводится к этому одному.

Музыка, показывается сгоревший город, Король и Королева ввозятся с триумфом как пленные. Хвастун, как победитель, на своем черном коне.

Хор.

Нам удалось,
Мы победили
Волею судеб;
Могущественные властители
Лежат, покорены,
Потому это будет воспето
Как удача полководцев.

Хвастун. Введите пленных в темницу, а там посмотрим, что с ними делать. Но где же Артемизиус, который нам этот город сначала предал?

Солдат. Говорят, что он в полном отчаянии бежал вдоль по улицам.

Хвастун. Так он, похоже, в своем поступке раскаялся? Если его найдут, пусть в любом случае тащат в тюрьму.

Солдат. Непременно, ваше величество.

(Уходит.)

Теон входит.

Теон. О, где найду я своего сына? Мой сын, которого я еще сегодня так хорошо проучил? Он убежал!

Хвастун. Утешьтесь, несчастный отец.

Теон. Я не хочу ничего слышать об утешении.

Показываются три гения.

Гении. Так дрожите, негодяй, приближается великий человек, который все может, ты не знаешь его! Начнет он колдовать. Этого вы хотите?

Хвастун. Ну, ребята, что вы об этом думаете?

Поликомикус выходит с большой свитой из марионеток, которые несут ему шлейф, между тем в пустыне появляются Поликомикус, Лисипп и Симонид.

Поликомикус. Нет, в таком случае, уважаемые господа, ни шагу дальше...

Лисипп. Мы просим покорнейше...

Поликомикус. Полное повиновение! Только я могу мое ничтожное жилище достичь глазами во всеоружии, вы больше не стесняетесь. Но что же я тут обнаружил?

Поликомикус (*марионетка*). Я зовусь великим волшебником, господином Поликомикусом по всей стране, я могу, если мне понравится, самого дьявола потрясти, черное искусство испытывать на солнечном диске, отчего также многие меня боятся, потому что я всем вообще жизнь уже огорчил.

Лисипп. Господин пророк, что означает этот спектакль?

Поликомикус. Высшее предательство, без сомнения.

Каспар. Это нам нравится, этот вид спектакля нам нравится.

Поликомикус. Вам нравится, неразборчивый осел? Персональная сатира на уважаемых людей, моим неблагодарным слугой вам представленная! О, ты, в высочайшей степени слепой сброд!

Поликомикус (*марионетка*). От кого у вас такие прескрасные длинные уши? Кажется, судьба меня избрала, в великом деянии мир в удивление привести, или, по меньшей мере, вас смехом разгорячить.

Все люди в пустыне смеются, Поликомикус выходит вперед разгневанный.

Поликомикус. Иеремия!

Иеремия (*высовывая голову*). Господин пророк?

Поликомикус. Что ты занимаешься бесстыдными проделками?

Иеремия. Я, как могу, всеми силами образую человечество.

Поликомикус. Ты образоваешь человечество? О ты, медяница! Теперь они узнали больше искусства.

Люди. Он образует нас, но в поступках, мы должны, однако, почувствовать, на собственной шкуре испытать это.

Иеремия (*бросает ему в голову марионеток и музыку и появляется с метлой*).

Поликомикус. Как? Ты отважился меня на глазах у всех так опустить?

Сатана. А что бы ему на это не отважиться?

Поликомикус. А ты, нечистый малый, осмеливаешься еще своей единственной ногой эту пустыню топтать?

Люди. Он настоящий знаток, а тот — поэт.

Поликомикус. Вы ошибаетесь! Я знаток!

Сатана. Это я!

Иеремия. Он, а я поэт! И вообще я лучше понимаю и в советах!

Поликомикус. Небо и земля! (*Бьет его своей палкой.*)

Сатана. Эй ты, закоснелый негодай! Ты на то же самое отважился?

Иеремия. Позволь, кум, у меня, однако, слава Богу, есть метла! —
(*взмахнул ею со всей силы*).

Поликомикус. Ах! Невыразимо тяжелое, тяжелое страдание, что я после всех моих лучших радостей сам должен страдать от жестокой метлы!

Все зрители, также Лисипп и Симонид смеются.

Хор. Так ему и надо.

Поликомикус. Однако наконец прекрати подметать, эта метла выбьет из меня все мысли!

Иеремия. Ну, достаточно. Берите уже свою метлу, а я вообще расторгаю с вами контракт. Идемте, господин Сатана!

Уходит с Сатаной.

Хор. Так ему и надо. (*Рассеиваются также и зрители.*)

Поликомикус. Ничего подобного до сих пор мне еще ни разу не встречалось. (*Берет метлу и идет задумавшись в пещеру.*)

Занавес.

Охотник (*в качестве Хора*).

Пьесу туда-сюда крутит поэт,
И осталось ему немного еще.
Благосклонно снесите его настроенье,
И горечи не привносите,
Которая делает пьесу
Для понимания трудной.
И тут показались тени
Могучих героев, которые
Рассердиться могли б на поэта,
что он ввязал их в игру эту дикую,
заставил их всех говорить
языком таким слабым, что лучше
была бы веселая глупость,
чем эта поэзия; потому что,
ее рассердив, мы хотим
попросить ее с благоговением:

Ты в твоём святилище,
Высокая богиня Поэзия,
Когда ты под большими цветами
Гуляешь ранним утром,

Когда ты все песни вспоминаешь,
Которые твой первый любимый пел,
Чтоб его увидеть направляешь шаги
В туманный коридор книги,

Ах, прости же отважного того,
Кто приближается к твоему божеству,
Служение тебе до смерти
Согласись принять как подарок;

Хочешь ты ему взгляд подарить,
Какой ты твоим жрецам даришь?
Его своей улыбкой напоить,
Чтобы ты свой дух усладила?

О, как бы он был возрожден
В море твоей любви!
Из бесчисленного множества один
К блаженству избранный!

Хочешь ты запретить людям
Испытывать боль,
Должны они в радости пребывать,
Ты — земное счастье!

Уходит.

ПЯТЫЙ АКТ

Конюх, с пачкой печения.

Конюх. Должно быть, правда, что в путешествии наше понимание расширяется, только я нахожу скверным, что свои соображения об этом так тяжело носить, ведь манускрипт, который я ношу с собой, стоит мне многих капель пота. (*Усаживается*). Это очень озорная привычка, что я язык так выставляю, когда я разгорячен, но все мое образование и усилия при этом не помогают.

Иеремия входит.

Иеремия. Где теперь мне найти снова такого же господина, который мне своей глупостью так много удовольствия бы делал?

Конюх. Что это за парень?

Иеремия. Кто это тут сидит и дышит свежим воздухом с таким великим напряжением?

Конюх. Он выглядит совершенно как бродяга.

Иеремия. Добрый день, приятель; куда путь держишь?

Конюх. Я составляю представление о мире и путешествую в свое удовольствие по стране.

Иеремия. И что вам за удовольствие от этого?

Конюх. Разнообразие, ведь как мои познания расширяются, так мое сердце великолепием природы умеренно размягчается, затем наблюдаю я людей и их обычаи, затем захожу я иногда в харчевни, в общем, это путешествие доставляет мне разнообразное удовольствие.

Иеремия (*про себя*). Я уверен, парень — собака... Точно! Это же интересное знакомство... Нужен вам, может быть, слуга?

Конюх. Я мог бы его достаточно хорошо употребить, но он будет нуждаться при мне, это уже другой вопрос.

Иеремия. Раз подобный образ мыслей вы приводите, я вам буду служить совсем без оплаты, ведь мне бы только трудиться для господина.

Конюх. В этом смысле я доволен. Умеете ли вы писать?

Иеремия. Я, собственно, составитель.

Конюх. Это очень кстати, так можете вы мне обрабатывать подразделы в моих сочинениях.

Иеремия. С радостью. (*Они обнимаются.*) Что же вы пишете?

Конюх. Так, немного о гуманизме; получается капля в море, сейчас забочусь о дворовых.

Иеремия. Это необходимо.

Конюх. Этот класс общества тоже должен быть образован. Воспитание детей, собственно, моя главная сила, и о занятиях для молодежи я все время думаю.

Иеремия. Мы оба великие люди и должны мир сделать счастливым.

Конюх. Это моя прямая задача, ведь я только что из низшего состояния.

Иеремия. Как же тебя зовут?

Конюх. Конюх.

Иеремия. Красивое и подходящее аллегорическое имя для того, кто хочет объезжать человечество.

Конюх. А приятель как зовется?

Иеремия. Иеремия, и я слуга с рождения.

Конюх. Таким образом, приятель не учился?

Иеремия. Нимало, кроме как под руководством Поликомикуса. Я могу превращаться во всевозможных зверей.

Конюх. О, это прекрасно, этим приятель должен будет мне помочь завоевывать сердца.

Иеремия. А через сердца — деньги.

Конюх. Само собой, ведь в наше время триумф сердца...

Уходят, держась за руки.

Поликомикус (*в своей пещере*).

Не знаю, как мне быть, с чего начать,
Я глуп уж с незапамятных времен,
Должно быть, злая управляет мной судьба,
И все меня оставили друзья,
И если только буду действовать, как встарь,
Меня в огонь и дым охотно превратят.
Среди огня мне холодно, в воде
Мне горячо, и я как дерево
пред воробьем предстать не в силах,
как острая скала уже не стану я,
лишь на меня ветер северный подует.
Я совершенно потерял свой гуманизм;
Мне книги не приносят утешенья,
Помимо собственных моих, однако, книг.
В пустыне этой больше никакой
Собаки не предвидится, теперь
Ни рано и ни поздно не решится
Никто ко мне, однако, обратиться
За ценным ли, хорошим ли советом.
Действительно, когда бы не был я
Украшен очень многими годами,
Пошел бы я сегодня же в гусары.
О люди! О неблагодарная вы раса!
Скажите прямо, кто прежде всего
Заботился о вашем счастье?
Теперь я отправляюсь ко двору,
Возможно, там сначала жизнь начну.

Конюх входит.

Конюх. Буду ли я иметь несказанное счастье видеть перед собой всемирно известного господина Поликомикуса?

Поликомикус. Непременно! И снаружи на моем колокольчике написано, чтобы люди меня сразу могли найти, если придут ко мне ночью.

Конюх. О, как я счастлив, и трижды счастлив, и я мог бы от радости креститься и благословляться, как обычно говорят.

Поликомикус. Лучше не говорите, ведь это вид высказывания, которым вы меня вводите в заблуждение, а вы кажетесь, впрочем, очень рассудительным и интересным человеком.

Конюх. Я делаю, по крайней мере, все возможное, и если, однако, впоследствии не удастся, то виновата судьба, а не я.

Поликомикус. Нужен вам добрый совет?

Конюх. Бесконечно нужен, ведь я молодой человек, который никогда не думал вступать в жизнь, чтобы действовать, и позволять действия над собой.

Поликомикус. Вы выглядите уже довольно старым и вообще брошенным.

Конюх. Так у всех в нашем роду.

Поликомикус. Вы, однако, порядочно нуждаетесь?

Конюх. Чрезмерно, и именно поэтому пришел я к вам.

Поликомикус. Ну, пойдемте в мой рабочий кабинет, там мы сможем лучше поговорить между собой.

Конюх. С радостью и восхищением вступлю в эту святыню моей дрожащей ногой и с бьющимся сердцем.

Поликомикус. Проходите, ведь вы начали так, что мне очень приятно.

Оба уходят.

Лес

Дорус, Лила.

Дорус.

Мы стоим здесь под старым дубом,
Ты всматриваешься теперь в зеленый лес,
И все еще Клеон не возвращается.

Лила.

Со скалы выглядывала я его,
Струится и звучит ручей прозрачный,
Я смотрю на его волны,
Я плачу, когда птицам внимаю.
Деревья цветут,
Розы пылают,
А на моем сердце только зима,
От желаний,
Смущения,
Разорвано оно от боли разлуки.

Дорус.

Он сразу вывернет из-за скалы,
О нем ручья мне волны рассказали,
Идет сюда, и волны путь домой
Ему показывают, и весна тебя
Не обманула, он ее пыльцу
Отряхивает. И уже так скоро
В лесу влюбленным верным
Он встретится тебе, объединит

Печали ваши восхитительный,
Небесный, вознаграждительный
В награду поцелуй.

Ли л а .

И всегда напрасно
Чувства его зовут:
Его далеко побережье,
О темная бездна,
Его пленяет жизни
Единственная радость,
О, пусть скорей принесет
Его добрый ветер,
Любимейшего, уже сегодня
тоскующими руками!

Д о р у с .

Доверься времени,
цветение оно
всегда приносит,
Укрепляет грозди
У винограда, и уверенности ты
Лишь наберись,
Идут часы вверх, вниз,
Он возвращается,
И скоро в счастье нежном
с тобой соединится!

Ли л а .

О, солнце, с утренней зарей,
С вечерним ласковым сияньем,
И ты, луна, с любезным блеском,
Вы, звезды, с трепетным мерцаньем,
Общительные ваши вспышки,
Вас всех особенно скрывают
От миленького облака,
И не найдет никак дорогу
Поэтому через долину.

О, ночь, с тенями ты густыми,
В оврагах темнота подстерегающая,
Блуждающие, ложные огни,
Дождь кратковременный, с неба слетающий,
Лети назад!
Звездами освети
Дорогу, по которой он идет,

Ночь фонарем ты звездным освети,
Чтобы свои ускорил он шаги.

О, путь неверный, что его шаги
Лишь отдаляет, увлекая в край чужой,
Мое ты сердце унеси на те поля,
Где шаг его в долину дальнюю ушел:
Цветы, что для него цветут так радостно,
Ему навстречу пусть цветущими созвездиями машут,
Приводят в восхищенье от меня
Любимого. Завидую вам я,
Его ревную к вам. Желаю, чтоб моя
Обеспокоенная мысль себе на радость
Могла переломить запальчивую бурю.

Дорус.

Пусть будет так, чтоб он теперь сорвал
Прекраснейший цветок, и стебли голубые,
При этом вспоминая твоих глаз
Небесный свет. И чтобы он подумал
Над розами склоняясь, что они
Лишь о твоих губах так нежно шепчут,
И это б все тебе заплел в букет он.

Лила.

Цветы, любезные дети, простите меня,
Вы нежные, цветущие домики любви,
Которая весной ростки показывает
Из холодной земли в утешение влюбленным,
И все вокруг разрисовывает
исполненными воспоминаний украшениями:
О простите! И гоните его прочь,
Настроив все ваши нити,
Все розовые, голубые звезды,
Как стрелки часов,
Как игла в компасе,
Склоняющаяся лишь к полюсу,
Только в этот край ведите.

Дорус.

Вернемся в нашу хижину, дитя,
Совсем немного времени прошло,
С тех пор как навсегда, навеки твой он.

Они уходят.

Геликанус входит.

Геликанус.

Откуда? Куда? Как разбросаны мысли.
Что начал ты? Мысли о чем? Или счастье
Вовек не изменится? И никогда
Страданиям этим не будет конца?
Смотрю я на небо, луч солнца навстречу мне светит,
Я сам доверяю себе, и надеюсь, что стану счастливым,
И руки навстречу далекому, вечно далекому счастью
Тяну, умоляю, чтоб Бог наделил меня им.
Глаза опускаю на землю! Вздывается грудь от страданий,
И полное чувств стонет сердце, влечет меня дальше дорога.
Смотрю на себя, и дрожу, и шатаюсь,
И нет направленья, и нет никакой мне дороги.
Ах! Радости нет никакой!.. Ты восстала из ночи,
Клеора. И тянет ко мне эта ночь свои черные руки,
И хочет убить мое сердце, но вдруг убегает,
Дрожа, от сияния. Память о прежней любви
Пусть снова приходит ко мне, об огне небывалом
пусть время былое, пусть чувства былые приносит.
Проснись, моя прошлая гордость!
Давай, приноси же видения эти и слезы
Тяжелые, жгучие, эти отказы и то
Холодное высокомерие. Страсть и любовь
Пусть снова пожар тот раздуют, огонь тот чужой.
Чтоб дико, стремительно он пожирал те картины
Любви нашей прежней, так быстро — одну за другой.
И пусть меня снова охватит отчаянье это,
И жизнь, что мне в тягость, уже я оставлю, оставлю!
В лесу равнодушный, холодный шумит уже ветер
Осенний. Шумящей листвы осыпаются стаи,
И сыпется дождь несчастливейших воспоминаний,
Картины страданий. Как часто охвачен тоской,
И туманные грезы приходят ко мне,
Как мечтаю заснуть я без боли и радости жизни,
Холмами зелеными скованным и без желаний,
Без всяких претензий. И пусть надо мною
Лишь месяц и солнце, изменчивых гроздь созвездий,
Закаты и зори. И буду не тронут твоими
Лучами, глухой буду к песням весенним.
Природа творит превращения образов дивных,
И новому рада, и старое скупое меняет,
Собой украшает поля. Прорастет мое сердце
В прекраснейших розах, и станут они распускаться,

И вдруг испугаются света, и в нем заиграет
Ласкающий вдруг ветерок, будто память о лете,
И новыми красками встанет любовь, будто это
Какой-нибудь памятник прошлой любви, на котором
Мне клятву она принесла и нарушила клятву.
Кровь будет сочиться из красных цветов, и дожди,
И все оживленье вокруг устремится вслед ветру,
В растения я превращусь; чтоб ее только видеть,
Чтоб видеть ее, обнимать, ощущать. А она,
Возможно, пройдет и слегка прикоснется рукою,
Слегка удивясь, что так быстро мои лепестки
Трепещут, дрожат и от радости стыннут.
И должен я снова терпеть ее высокомерье?
И снова в тоске проводить свои дни и несчастье видеть?
Увянут мои лепестки, опадут, и о жизни моей
Лишь жизнь моя будет жалеть? Нет! Меня не потянет
К тебе! Убегу! Удержусь дивной силой! Но в жизни и смерти
Я предан тебе! Как бежать, как спастись отсюда?
К тебе! Разрываются цепи. К тебе!..

Уходит.

Клеон (*выходит*).

Все выше, все глубже во мне забирается память,
Поймать не могу, я дрожу, и колеблется шаг,
Из сил выбиваюсь. Злой дух ли меня в заблуждение
Ввергает? Я все еще цели своей не достиг,
Она от меня постоянно все дальше и дальше.
Как часто готов уже встретить те самые земли,
Кустарник и заросли все постоянно чужие,
Себя ощущаю чужим и таким одиноким...
Мне слышался голос любимый сквозь лес,
Он меня призывал. Ах! Выпала мне
Величайшая радость на свете. Любимая?
Снова уверен, что это она
Выходит ко мне из кустарника. Сердце,
О как бьется сердце!
Но пропал вместе с ветром твой образ;
И усталый, задумавшись, снова стою.
Бегущий ручей со скалы увидал я,
Вот это удача. И я не ленив:
Гордо скалы смотрели в глаза мне,
И я посмотрел нелюбезно
На них. И цветы придорожные пели

Мне имя ее, и деревья шумели мне: «Лила»;
Что было поделаться мне с этим?
Но хватит дразнить так искусно.
Вы верный мне путь укажите! Но все в заблужденье
Вводило меня, все глупее бывал я запутан,
Едва ли уже и дорогу увижу. Но я все яснее предвижу,
Что я пред тобою предстану сегодня же, Лила.

Уходит.

Лесной отшельник (*выходит*).

Пустое стремление мысли людской,
Зачем ты наполнило ложью мне грудь,
Теперь же меня избегаешь ты вдруг?
О ты, одиночество милое,
О сладкие тени лесные,
Луга ваши, тихие пастбища,
Живет подле вас сердца радость.
Должны подружиться со мною
Прозрачные бабочки ваши
И малые пташки. И небо,
Цветов аромат простодушно
Затянет меня своим страстным
Желанием. Строите вы
Свой маленький дом. Свою песню
Затем выдыхаете в ветви,
Стремитесь вы все удержаться
В небесной своей тишине.
Дальше и дальше! Лежишь ты,
Мир, там внизу, как могила,
О, милое уединенье!
О, сладостная сердца радость!
Придите же, ограниченья,
Сердечные, где вы, смущенья?
Навек улетайте, мученья,
Сегодня природа добра,
И выгнуто дугообразно
Высокое милое небо,
Покрыто оно облаками,
Зеленым распахано полем!
Навек улетайте тревоги!
О, милое уединенье!
О, ты, моя сладкая радость!

Уходит.

Клеон (*выходит снова*).

Или для того стоят тут рощи и дубы с вершинами густыми,
Чтоб меня обманывать и путать? Ноги так устали, что идти
Уж не могут далее. Ни поля нет нигде, и на дороге
Никаких следов, и лишь густая
Из деревьев и кустов ограда, из дубов темнеющих.
Где только я найду сейчас людей разумных?!

Лесной отшельник выходит.

Лесной отшельник.

О, сладкое уединение!

Клеон. Ближайшая деревня еще далеко?

Лесной отшельник.

О, ты, любезное веселье!

Клеон.

Где только я найду сейчас людей разумных?

Лесной отшельник.

Что ищете вы в диком возбужденье,
Так никогда вы не найдете счастья:
Оно так любит тихий, светлый взгляд.

Клеон. Покажите мне дорогу из лесу обратно.

Лесной отшельник. Для этого вам нужно оставаться в лесу.

Клеон.

Шатают меня мысли,
Отсюда должен я
Бежать, ведь дома ждет меня
Уже моя подруга.

Лесной отшельник.

Должна подружиться с тобою
Малая пташка.

Входит Геликан.

Геликан.

О, тяжела, печали грудь полна,
Всегда она удерживает радость
Поспешную, когда пустые дни,
Она, как дева косы, расплетает,
Терять всегда и никогда опять
Мне не дано еще приобрести?

Клеон. Вы можете меня вывести из леса?

Лесной отшельник.

Поет в ветвях весь день оно и ночью —
Сообщество прекрасное лесное.

Геликан. Что же вас сюда привело?

Клеон.

Сияет одна скверная звезда
Над этими холмами, и манила,
И выманила с Родины меня,
И, уклонившись, жесткими поводьями
Несчастье наводит. Я спешу
Напрасно от холма к холму,
И тщетно я стремлюсь от места к месту.
А в это время дома ждет меня
Любимейшая и в окно с тревогой
Глядит. Меня назад влечет тоска
К любимейшей. Но никакой дороги
Не нахожу, ни малой, ни большой,
Судьба к слезам, к мольбам моим оглохла
И ждущей меня милой не внимает.

Геликан.

О, поспешная любовь-радость!
О, грудь, наполненная мечтами!

Клеон.

Можете ли вы меня без песни
Провести вот через этот лес?

Геликан.

Кто ценит выше гроба эту жизнь,
Увитого цветами, и от смерти
Изнемогает, тот гробом сам
Является себе же.

Лесной отшельник.

О, сладкое уединение!
О, ты, великолепие лесное.

Клеон.

Раскаиваюсь я,
Что даром время
Потратил
Бесконечно,
Ваша песня
Страшна мне будет.
Лучше мне идти
Весь день,
Всю ночь,
Чем в песне этой
Бездействовать.

Все уходят.

Хор странствующих мастеровых входит.

Хор.

Широко и велик этот мир, но живется в нем тесно,
Вмещает он всех, но не встретишь, однако, ты вдрут
Того, кто бы мог разделить твои мысли,
Ведь зависть и ненависть только повсюду живут:
Предчувствую я откровенно, что мне остается
Лишь снова покаяться пред моим маленьким золотцем.

Ах! Как надоедливы все и заботливы,
Сегодня все так происходит, а завтра иначе,
Мы жизни не рады своей, мы для голода созданы:
Предчувствую я откровенно, что мне остается
Лишь снова покаяться пред моим маленьким золотцем.

Однако не прямо же все так наружу повернуто,
Сегодня все так, только завтра выходит иначе,
То плачет, то снова чему-то обрадуется,
То выйдет, то снова затем будет дома,
То мы образованны ей, то грубы мы бессовестно:
Предчувствую я откровенно, что мне остается
Лишь снова покаяться пред моим маленьким золотцем.

Иеремия входит.

Иеремия. Да тут я нашел неожиданно прямо-таки веселое общество.

Подмастерья. Что же другое делать в нужде, как не быть веселым?

Иеремия. Так вы тоже в нужде, дорогие господа?

Подмастерья. Как иначе? Небо знает, как это с нами еще должно быть.

Иеремия. Если я могу спросить, кто или что такое ваше золотце, похвалу которому вы тут пели.

Первый подмастерье. Ах, это такая непостоянная штука, капризное создание, которое никоим образом не знает, чего хочет, и сверх того изрядно публично.

Иеремия. А как это?

Первый подмастерье. Никак прямо не раскаивается, то любит это, то предпочитает другое, то требует совершенно обратного.

Иеремия. И вы все влюблены в одно и то же создание?

Первый подмастерье. Конечно, ведь к слову, наше золотце — это так называемая публика.

Иеремия. Вот тебе на! Однако, с вашего позволения, спрошу еще, с кем я, собственно, имею честь повстречаться и общаться?

Первый подмастерье. Мы теперь из путешествия, но наш собственный характер происходит от великих людей, которых обыкновенно называют великими людьми.

Иеремия. Я совершенно понял, что вы имели в виду, это однажды приносит с собой время, мода, чтобы эти слабости вместе сложить. При этом все же иногда среди великих людей есть честные, которые вначале обломали себе дикие рога гениев, как в пословице говорится. Не могу ли я попросить имена всех уважаемых? Я охотно понаблюдаю за всеми причудами, которые меня касаются, я собираю их уже третий год.

Первый подмастерье. Наверное, вы тоже из этой компании?

Иеремия. Не имею чести, но безмерный дилетант от всего великого и прекрасного, если я так же буду способствовать новому прогрессу человечества, то потекут у меня от радости слюни. Не так редко мне такое перепадает, чтобы я вынужден был видеть себя источающим потоки радостных слез.

Первый подмастерье. А я стесняюсь, тебя, простодушную душу, заключить в моем немецком сердце. О ты, добрая немецкая почва, какая сила глупости, какая благородная человеческая натура из тебя выходит!

Иеремия. О, дорогой мой, добрые боги вообще не позволяли себе предписывать никаких границ. Но ваше имя?

Первый подмастерье. Рад вам услужить благородным старонемецким именем Витт, и моим ткацким ремеслом. Но ах! Моей новейшей судьбой является — гол и бос!

Иеремия. Ах, как мне вас жаль! Но я уверен, что вы очень хорошо держитесь, я всегда думаю, это не могло быть вашей ошибкой, за других опустошать большой бокал.

Первый подмастерье. Это, мой дорогой, разговоры о прошлом. Все проходяще, каждый там сделал мне большие убытки.

Второй подмастерье. Да, он по-настоящему должен думать об обороне на протяжении своей жизни. Я прихожу к этому во всей невинности, и встречаю мою любимую публику, увлеченную своим безумием; достопочтенный, если я хотел бы спасти хороший вкус, я бы не должен был позволять себе никаких издержек и никаких хлопот, я бы должен был покорить миллионы призраков и ведьм, воздушных и водяных духов, чтобы только их чаши и турниры и старонемецкие молниеносно-коренные слова вставить вместо ваших этимологических разъяснений.

Иеремия. Я верю вам, ведь на одного грубого чурбана требуется один грубый клин.

Второй подмастерье. Не правда ли? Это же и мне, с божьей помощью, так изрядно повезло. Да, где не будет помощи, туда должно про-

тянуться копые. Но а проро, не хотите ли вы ко мне наняться? Мне сейчас к тому же нужен носильщик.

Иеремия. Сожалею, что не могу быть таким счастливым, ведь я уже на службе у другого достойного господина.

Второй подмастерье. Могли бы вы также быть элементарным регентом, мне нужен к этому образец. Если я правильно припоминаю, то вы мне скоро напоминаете человека-петрушку, на эту роль должны были вы подходить.

Третий подмастерье. Подойдите ко мне, дорогой, будете смелым парнем, напишите для меня диалог Травяной силы, который был бы совсем умным стариком, если будет удача, или мог бы мне служить как Девушка-охотница, или Девушка-арфистка, но в этом теле должна ощущаться благородная душа.

Иеремия. Как говорят, я уже в другом месте пристроен. Собственно, кто вообще этот господин?

Третий подмастерье. Главный немец, оригинальный составитель, чертов парень, необыкновенный в обыкновенном, такой сильный в спектакле, что пьеса летит к тому, чтобы нервы треснули.

Первый подмастерье. Только, видите ли, господин неизвестный дилетант, те же самые люди предстают мне как немецкая публика.

Иеремия. Вы, дорогой мой, смотрите на это с необыкновенным лукавством, а я мог бы держать пари, что вы политик.

Четвертый подмастерье. Вы, господин, не ошиблись.

Иеремия. Но почему вы делаете такую странную физиономию?

Четвертый подмастерье. Потому что я пренебрегаю всеми прочими невысказанными, которые вам также, наверное, могут встретиться, если вы не можете иметь правильного представления о равновесии сил, о действии и противодействии. Кроме того, меня зовут Хинес, и я, не прося славы, потомок некоего Гинеса, которого Сервантес уже в своем как будто превосходном «Дон Кихоте» сделал как будто бессмертным.

Третий подмастерье. Мы его иногда называем Хинесиком, или Хензеликом.

Четвертый подмастерье. Вы знаете, что я могу, так же не переносу, как и мой предок, когда мое имя искажают. Нет, господин незнакомец (охотно мог бы я сказать, мой читатель), меня зовут Гинес, я при любом раскладе полный и законченный, вообще и прекрасно, и все, что я думаю и пишу, вообще совершенно, и как по мне, выглядит это не легче прозрачного и ясного. Я теперь устраиваю большое путешествие, к которому меня понуждает нужда.

Иеремия. Куда вы собираетесь?

Четвертый подмастерье. Ах, друг мой, я ищу правительство, которое имеет глаза.

Иеремия. Это, поистине, о многом говорит; но что вы хотите с этим правительством начать?

Четвертый подмастерье. Я хочу под его надзором писать политический журнал, чтобы люди окончательно узнали, что они хотели бы думать и размышлять, принимая во внимание революцию.

Иеремия. Что же вы об этом думаете?

Четвертый подмастерье. В основном о малой крови, только это, чтобы вскоре письменно все расставить по местам. Я вижу весь мир как целостную сущность, и здесь же скоро найдут, что не так много выходит великих деяний и событий.

Иеремия. Я заметил, что у вас совершенно честное лицо.

Четвертый подмастерье. Мое важнейшее замечание, что финансы и характер времени, желания и усилия его удовлетворить всегда состоят в некоем полностью очевидном несоответствии.

Иеремия. Вы правы! Подобную правду нужно, однако же, держать под стеклом.

Четвертый подмастерье. Не хотите ли вы мне случайно сделать маленькое оправдание подобной правды?

Иеремия. Я желал бы, чтобы я мог, но вы сами знаете, в каком наши желания с нашими силами в слабом соотношении находятся. С кем же я тут имею честь беседовать?

Пятый подмастерье. С одним плутом.

Иеремия. Плутом по профессии?

Пятый подмастерье. Непременно.

Иеремия. Э, нужно с вами держаться осторожно.

Пятый подмастерье. Это не беда, ведь я очень расположен к сатире.

Иеремия. Из каких соображений?

Пятый подмастерье. Из двух важнейших: во-первых, потому что во всех учебниках и также в других местах предпринимаются попытки, чтобы немцы меньше возделывали сатиру.

Иеремия. Сатира, возможно, лучше произрастает в дикости, и немцы возделывают ее незначительно.

Пятый подмастерье. Позвольте мне высказаться дальше; и, во-вторых, мое имя вообще прекрасно рифмуется с плутом, а кто не захотел бы быть плутовским!

Иеремия. Э, я так погляжу, стало быть, передо мной физически человек, в котором должны воплотиться по одной традиции Вейланда восемь или девять изящных и благородных духов.

Пятый подмастерье. Поживем — увидим.

Иеремия. Какие латинские, греческие и английские авторы были вам равны, что собрались сами в вас перевоплотиться?

Пятый подмастерье. Я, собственно, этого не знаю, ведь здесь я нахожусь внутри, не заботясь особо о внешнем.

Иеремия. Вы немного поспешили погнаться за всем, без исключения, так что удивились сами себе. Но вы не ощущаете от этих гетерогенных духов некоторого стеснения?

Пятый подмастерье. Так мало, как если бы у меня не было внутри ни одного. Так как я имею свои привилегии, то я выпускаю свои шутки с величайшим хладнокровием.

Иеремия. И вас за них не изгоняют?

Пятый подмастерье. О нет, я владею собой.

Иеремия. Как щедро! Какой благородный образ мыслей!

Пятый подмастерье. Не пишете ли вы часом чего-нибудь, чему я мог бы подражать? Мне не хватает сюжета для моих будущих книжек.

Иеремия. Ах нет, я ничего не пишу, за исключением счетов для моего господина.

Пятый подмастерье. Поделитесь же этим любезнейше со мной. Возможно, что я, однако, между тем найду и свои счета, вы не поверите, какой великолепный материал я часто нахожу в книгах, из которых ничего иного выйти не может. Возможно, я опишу жизнь слуги с натуры, если вы пару недель со мной захотите пообщаться.

Иеремия. Как-нибудь в другой раз. Вы работаете теперь по Свифту?

Пятый подмастерье. Да, он уже объявлен и таким образом чист.

Иеремия. Только не будьте при этом слишком поспешны.

Пятый подмастерье. Не беспокойтесь, его, возможно, нужно заново узнать. Между нами, он иногда обороняется всеми четырьмя и обрабатывает землю руками, но я думаю, мы его еще с хорошим словом осилим.

Иеремия. Вы читаете Шекспира?

Пятый подмастерье. Иногда.

Иеремия. В «Антониусе» есть одно прекрасное место¹:

¹ У. Шекспир «Антоний и Клеопатра» (Пер. Б. Пастернака).
Сцена 14

Антоний

Бывают испаренья
С фигурой дракона, или льва,
Или медведя, или замка с башней,
Или обрыва, или ледника
С зубцами, или голубого мыса
С деревьями, дрожащими вдали.
Они — цветы вечерней мглы. Их формы
Обманывают глаз. Ты их видал?

Sometimes we see a cloud that's dragonish;
A vapour sometime like a bear or lion,
A tower'd citadel, a pendent rock,
A forked mountain, or blue promontory
With trees upon't, that nod unto the world,
And mock our eyes with air. — - —
That which is now a horse, even with a thought
The rack dislimns, and makes it indistinct,
As water is in water.

Пятый подмастерье. Прекрасное место.

Иеремия. Я вам теперь его несколько свободно переведу, ведь я знаю, что вы любите свободные переводы. «Часто видим мы белый лист бумаги, называемый сатирически, есть воздушные образы, однако представляющие как лев или медведь, называются героями, людьми, святыми могилами, и эти пустые воздушные образы кажутся миру, и дается читателю некий вид. Книжечки с лошаадьми впереди, скоро без следа они становятся все меньше: не смотри на авторитет отважного кутилы, как страна наблюдает многое, и есть только вода в воде».

Пятый подмастерье. Очень нелюбезно осмыслено и вообще дерзко.

Иеремия. Господа, я вам советую непременно отправиться вон на ту мельницу, я не сомневаюсь, что вы там сможете найти хороший приют.

Все

Мы это должны попробовать.
Остается мне моему золотцу каяться
Так чувствую я прямо и открыто.

Они побрели дальше.

Поле и роща

Пастух выходит.

Пастух

Через горный луг весна бредет,
Под ногами у нее цветы,
Зелено мерцает сумрак леса,
Соловей приветственно поет.
Возвратились уже гости все,
В небе синем жаворонок звонкий,

Эрос

Да, государь.

Антоний

То, что конем казалось,

Внезапно растворяется во мгле,

Сливаясь с нею, как вода с водою.

Праздник радостный справляет лес,
Ветерки шумят, щебечут птицы,
Источают аромат цветы в долине.
Как прелестна и сладка тоска,
Ты пленяешь грудь мою, страданья
Прогоняешь и веселья слезы
Понуждаешь, и издалека
Шлешь привет мне,
Как он проникает
В грудь мою, и как знакомо мне
Пролитое негою сиянье,
И любви румяные уста,
Поцелуй для меня теперь
Стали как священная молитва.

Входит Нестор.

Нестор. Нигде нет ни Принца, ни собаки, ни вкуса. О развращенный век! Как может мир быть таким искусным! Только от ботинок и сапог, которые мне предоставило человечество, все получают значительное удовлетворение. Я это во всех видах испытал, но ни в каком единственно не преуспел, человечество слишком бессовестно отступило назад. Принц погибает от своей болезни, и мы без толку десять лет ходили по кругу, — я этим фарсом сыт и устал от него. Тут не подумаешь ни о каком прекрасном отдыхе, ни о каком семейном счастье, ни об избранном чтении, когда нанят устраивать облаву на хороший вкус. О, приятная деревенская жизнь, как меня ты привлекаешь, в недрах благовоспитанной семьи, за пазухой дружбы и любви, со страницей «Гамбургского Корреспондента» с его приложением, как я хотел бы вкушать мне подобающие блаженство и высшее счастье! Но это, я уже подумал, что это мечты сумасбродной идеализирующей фантазии, которые никак не реализуются! Правда, сюда идет пастух, или что бы это могло быть за создание. Я не за пастуха, они с революцией заодно, что слишком плохие последствия повлекло за собой, ведь все эти чрезмерные идиллии и деревенские картины и неправдоподобие созданы пастухами и всегда имеют вид оправдания для себя, что это ведь в конце концов так важно, чтобы в мире был пастух.

Пастух.

Кто это недоволен там?
По сторонам он озирается, возможно,
Дорогу потерял, спросить он хочет,
Как правильно из затруднения выйти.

Нестор. Я не знаю, мне здесь так странно ощущается, как будто передо мной повесили новое небо, так повеяло здесь другим воздухом, едва я могу воздержаться, чтоб не запеть песню.

Пастух. Не здешнего он края житель, по походке, по дикой передаче слов заметно это. Он скандинав, наверное, такой он безобразный, грубый. Он не пастух, во всяком случае, общенье с домашним кротким стадом любого пастуха делает мягче.

Нестор. Я боюсь, моя душа, мой рассудок снова потеряны. Но что же тут мне во всем мире наблюдать?

Пастух. Разрешите вопрос, вы не пастух?

Нестор. Ах! Смотрите-ка! Пастух? Теперь да, это я уже ощущаю. Как бы могли вы это узнать! Нет, мой друг, я, слава Богу, путешественник, который, когда снова осядет дома, первым делом поднялся бы вверх к ряду писателей о путешествиях.

Пастух.

Вы счастливы, что край ваш, ваши люди
Осмыслены в картинах многих будут.

Нестор. Вы также счастливы, что вы можете на меня полюбоваться.

Пастух. Вы хотите редкий сад найти?

Нестор. Как мне это сделать? Уже раньше заметил я такое: «Хотите вы редчайший сад найти?» Да вы же говорите так называемым ямбом?

Пастух. Не иначе.

Нестор.

Так вы ж должны быть глупым
Быть безумным. Иначе это неправдоподобно!
Где ж это я, я бедный, очутился?
Лишь чувствую, что я с иным столкнулся,
С тем, что примешивает страсть в любую песню,
Мы только опере бы все это простили.

Пастух.

Подумайте вы лучше, что и сами
Настроены вы говорить стихами.

Нестор.

Я знаю это хорошо, уже
Почти наполовину я помешан,
Я чувствую, что воздух нездоровый,
Химер он полон, глупости-поэзии.

Пастух.

Как этому могли б вы удивиться,
Так здесь совсем недалеко есть сад,
В нем редкости премногие найдете
Вы с тысячью цветов и ароматных
деревьев, и с Поэзией, что там
с друзьями верными нашла себе обитель.

Нестор.

Эй, что вы говорите? Ни за что
Поверить не могу я, тут бедлам
Лишь может быть, и сумасшедший дом,
И атеизм, и новомодная поэзия,
Что мне в нос бьет везде.

Пастух.

Нет большей святости под небесами.

Нестор. Прекрасная клятва! Достойная сумасшествия!

Пастух.

В раю этом живет богиня,
Цветы и краски есть в ее хозяйстве,
И под единым небом благозвучья
Звучащие там собраны.

Нестор.

Ну хорошо же! Эту неприятность
Исправим с помощью мы Бога!
Должно помочь нам это средство.

Он достает книгу.

Составитель этого труда, мой благороднейший друг, дал мне с собой эту книжку на случай нужды, если меня захватит фантастика, тронет шутка, если я не в себе, чтобы я это читал. Мне этот канат поможет как уже разорванному парусу, я сейчас сбит со своего запасного якоря!

Он обнюхивает книгу и позже читает в ней, но только немного.

Ха-ха! Ну остается мне только над вами и вашей поэзией смеяться. Это называется у меня укрепляющей сердце прозой! Я уже только немного этого понюхал, и уже совсем голова закружилась, почти как когда вынуждены нюхать сырой хлеб, когда очень сильно вдохновились горчицей в носу. Смотрите же, как сдуваются эти стихи.

Пастух. Похоже на сильный талисман.

Нестор. Ну, расскажите, что вам интересно, и это не должно особенно меня тронуть.

Пастух. Эта роща скрывает удивительный вход, в котором птички сладкоголосые внезапно манят чувствительное сердце, указывают путь к этому саду песнями. Чудесно, чудесно, звучит и шумит оттуда повсюду, это головокружительное чувство поражает и обвивает как бы блестящей цепью, влечет ввысь к чудесному миру. На входе там чудесные знаки. Никто не может их понять с первого взгляда, но вскоре показывают они такие же вещи, которые мы в раннем детстве уже знали, теперь они как побледневшие воспоминания, и разум нам изменил: так они борются, рассматривают тихо магические образы. Недолго, смотри, так звучит сама собой дверь, внятно входит сюда призрачное дуновение, со всех сторон

вверх прорастают цветы, в зеленом блеске дерева видно, как стоят, благоговейно представляется взору благородный хор, это поэт, который идет через сад, его видят тихо погруженным в благосклонную задумчивость, ты пугаешься, ведь ты не можешь убежать. Посети этот сад, величайшее чудо покажут тебе в нем, на самом деле, обворожительное, о путешественник, громадные лилии в воздухе, подстерегающие тебя, и звуки живут в их чашечках, поют, так что ты сам едва доверяешь себе, так дерево, как цветок, захватывает твои чувства, краски звенят, формы звучат, каждый там имеет форму и краску, язык и речь. Что завистливо еще разделяет замок богов, Богиня Фантазии повсюду соединяет, так что звук здесь знает свою краску, в каждом листе сияют сладкие голоса, называют себя краски, запахи, песни братьями и сестрами. Все принимают всех только как друзей, в счастливой поэзии они так крепко связаны, что каждый в этом друге себя самого находит. И как по-своему звучат краски и цветы в единой мелодии, так блеск, и блеск и звук вместе, проникает, и братски цветет в одном благозвучии, смотри, когда поэты поют, некоторые песни и вовсе радостно тянутся в сиянии: каждый летит в красках своего видения воздушной картиной в золотой колее. Никакой смертный не может всю эту радость высказать, жилье в этом редком кругу иметь, никакой смертный не способен туда вознестись: счастлив, кто однажды только мимо прошел! Ах каждый мог бы охотно это путешествие совершить, ведь немногие через ручей переплывают, который бушует, лишая слуха, через мир, вниз, и только восхваляет мир в каждой волне. Потому держитесь, в заботы мира погруженные, для сюжета сада прекрасная весть, она позволяет счастливым казаться, ловят они настоящие часы; только немногие могут испытать этой радости, только немногие умоляют об этом чистыми устами; они божественно поднимались к божественному, сам мир узнал это свыше дарованное божество. Ведь ручей течет от блаженства вниз, в широкий мир, каждое сердце может он вести в это внутреннее, что содержит в себе радость. Только немногим это удастся в редкие времена, в какие божество само находится, этот мир изумляет, когда движет сферу, и сердце, и чувство высокой силой управляет.

Нестор. Как?

Пастух. Когда ночь угасает и утренняя заря прорывается, часто бывает в саду необычайное мерцание от тысяч и тысяч меняющихся красок, прозрачны цветы, и их духи взбираются вверх, и качаются, и прыгают в чашечках, маленькие духи вешают на деревьях украшения, и дразнят отвечающего соловья, чтобы все листья горели огоньками, сквозь колеблющую траву блуждают звезды, звуки сердечнее, задушевнее воспламеняются, музыка обнимает более пылко природу, порхающую с мечтами. Затем пробивается из золотых облаков бурлящая, трепещущая, излучающая сияние, в росе, прелестно поющая, любовь, любовь свысока к восхитительным цветам. Если же я иногда мимо этого сада прохожу, высоких певцов наблюдаю, которые в прохладе луны путешествуют и сверкают безумными

очаи в ослепительной суматохе красок и блеска, это все мне высыпается навстречу: звучат в ушах полные смещения звуки, я сам себя не могу понимать, есть у меня такая мечта, хотел бы я стать поэтом.

Нестор. Совершенно верно, совсем если вы уже к этому приставлены, безусловно. Получите сполна, господин неистовый.

Уходит.

Пастух. Очень разнообразны человеческие чувства, и много очень различных характеров распространено на другом конце земли. Они чувствуют внутреннюю музыку сердца, благозвучие идет мимо их ушей, возможно, уже стоит спросить, знают ли они, как отсчитывать такт.

Уходит.

Клеора (*выходит*).

Я ищу тебя и трепещу тебя найти; куда, к какой пропасти ты улетел? Так много дней, ночей я уже ищу, я твоим именем называю воздух и ветер. Скоро моя смерть должна тебе объявить мою верность, ведь ветер, и ручей, и дерево говорят мне лишь насмешки, они шумят там, где я, сумрачным звуком, и бранят сердито мои грехи. Ах, самый верный, самый любимый, должна ли я тебя покинуть? Ты думаешь, можно терпеть более суровое испытание, чем то, что в тебе погаснет сияние ответной любви. Все же ты мертв, мне посвятил ты, бедный товарищ, счастье, ведь для меня так тяжела вина, мне приписанная, от тебя она меня оттолкнула.

Она садится на землю.

Ах! Какой я себя чувствую потерянной! Почему я еще влекусь через этот мир? Что должен мне этот ненавистный дневной свет, что мне взгляд этого цветка передаст? Я виновата, не должна дерзать к свету, к детской невинности этих цветущих растений глаза поднимать. Эти развевающиеся волосы шелестят несвязанные на ветру, оживляющем траву, мои слезы смачивают землю, мои праздные руки воздеты к небу в мольбе о прежнем счастье. Могли бы слезы тебя примирить, могло бы обновление для тебя быть возможным: они мне принесли бы все счастье, эти прежние дары, никогда я не хочу их насмешек. Но охлаждение не освежает того, кто свои деревья рубит; им погублен зеленый шатер; кто свой дом сам опустошает, тот не может обрести себя. Ах! Как нежно обнимает меня блаженство! Что меня стесняет, сердце мне суживает, похищает проворный сочувствующий ветер. Светлый взгляд сверху, дальше нивы, как цветы радость идет впереди. Как я пришла под защиту богов, они на меня расточают дружеский покой. Эта ноша снята с моей груди; как источники, которые с гор вниз текут, иссякают, умирая, они снимают заботы, которые мое бедное сердце разорвали. Прекрасным утешением я чувствую себя окруженной, я со смертью, а также с жизнью примирилась. Как буря и дождь часто бьют поля, чтобы все растения к земле прижимались, листва с дерева опадает, и слезы

на траве и цветах показываются, однако, все поднимается, чтобы снова жить, когда в конце только небесные бури утихают, так делается сияние дня посреди моих забот, мои страдания улетают, легкая утренняя дрема. Только образы мечты держат в плену мои чувства, я черных теней теперь избегаю, к новой жизни чувствую я новое желание, к новой игре, только начатой мечтами, часто я вижу их висящими в облаках, боги, будьте благословенны за подарки! Вы, дарующие покой, выкажите себя гостеприимными.

Сад

Нестор (*выходит*).

Видел ли я что-либо подобное в своей жизни! Что здесь за устройство! Никакого сада, только мерзость запустения. Я уверен, если я здесь дольше задержусь, то на самом деле рискую стать безумным. А почему нет? Совсем другое встречать порядочных людей по дешевой причине. Цветы, такие высокие, как маленькие деревья, лилии, которые выше меня, с одним цветком-звездой, которые нельзя обхватить, большие розы роз, среди дубов, которые верхушками упираются в небо, аллеи, которые так высоки, что взгляд едва может достигать вершин, — и все в таком изобилии, все так тесно одно рядом с другим, что весь сад выглядит как один-единственный густо покрытый лепестками цветок. И все гудит и поет, и обыкновенно осмысленно! Я мог бы иногда смеяться, если бы я не был вынужден беречься от сумасшествия.

Лес. Свежий утренний ветер дует сквозь наши ветви, сразу каждый лист шевелит, когда он так весело сквозь все сучки веет. Шевелит тебя, о, человеческое дитя, что за боязнь? Сбрось твою маленькую боль, иди, иди в нашу зеленую тень, сбрось все заботы с себя, наполни свое сердце радостью.

Нестор. Это не проклятое ли искусство, шуметь? Я уже так долго тут мог бы думать, уже некоторый лес видел, но подобное мне еще не попадалось.

Лес. Мы шевелим ветвями в небе наверху, и чувствуем особенное блестящее сияние; пальцами, ветвями, сучьями, насквозь прошелешены играющим западным ветром, насквозь пропеты птицами, радуемся мы свежести до самых корней. Мы шумим, мы шепчем, мы волнуемся, отгороженные от голубого небосвода, любезно воздухом просквоженные. Весенний блеск! Весенний блеск! Будь здоров, будь здоров с вечера до утра, с утра до вечера, приди, человек, будь свободен от забот в нашей тени, которая по-братски освежает.

Нестор. Будь свободен от забот! Ваша проклятая болтовня, которая граничит с разумом, делает меня еще более озабоченным. Это самая большая глупость, когда они все вместе музицируют и щебечут; если это не было бы по необходимости, то бы я уже сбежал отсюда подальше.

Лес. Каждый своеобразен, березы, ели, дубы, стоим мы собранные все попеременно, однако никто не злит другого, который протягивает ветви вдаль, движется заслонить траву рукой, который стоит, повернувшись к небу, производит каждый свой особый шум, и качается, освежаясь ветвями, все же течет разнообразный звук в одном братском согласном хоровом пении. Совсем, как люди, собранные вместе, которые отличаются друг от друга только происхождением, каждый шевелит своими ветвями. Но все стремятся к свету пробраться, когда склоняются многие к земле, все они братья, различие — только видимость, они шумят сбивчиво друг через друга, тут уместна хоровая песня.

Нестор. Гляди-ка, гляди-ка, проповедует он моей душе терпимость, несмотря на лучшее между нами. Только немного конфузно, идеи и речь немного сбивчивы; но, впрочем, могли бы, однако, пойти к черту.

Розы. Ты пришел, чтобы любить, так возьми наше цветение, мы остаемся стоять, покраснев, красуемся в весну года. Кусты как знаки розами расцвели, чтобы освежилась любовь, всегда юная предстала обновившейся. Мы уста, румяные поцелуи, румяных щек нежный жар, мы означаем любовную смелость, мы показываем, как так сладко сердце к сердцу льнет взаимно, любовная благосклонность от губ поднимается.

Нестор. Я держу пари, что в этой розе не найти ни следа настоящей моральности.

Розы. Поцелуй — это украшение розой любимого времени цветения, и вы, сладкие розы, есть желания прекрасного охрана, как роза поцелуй означает, так означает благородный поцелуй саму великолепную потребность в любви.

Нестор. Я вообще подумал, что нечто такое и будет происходить.

Розы. Это любовь, которую розы всеми путями разжигают, любовно приходит красный рассвет и стоит внизу каждой ночи: красный румянец стыда, есть месть, есть поцелуй; в гранате поднимается красное, указывает на высочайшую роскошь, это любви полнейшая потребность.

Нестор. Всегда то же! Всегда то же!

Лилии. Повернись на наши белые звезды, они как лунный свет в солнце, месть неизвестного блаженства, радость и боль, но вдали. Только воспоминание охотно их хранит.

Нестор. Это очень непонятно.

Лилии. Наша любовь, наша поэзия, любовь, только густые сумерки, верно и огненно указывает как след, молитва цветка, тихая ночь, немногие сердца, которые обращаются к нам.

Нестор. Этому я верю без клятвы. Какие диковинные речи! Потому я вовсе не понимаю, почему мне эти лилии так странно встретились.

Лилии. Молитва цветка, безмятежная ночь, невинность и великолепии, мы стоим вот так, как тихие охранники, приводя в движение твои

чувства и дух; идет он мимо цветущих роз, без желаний и блеска святого мужество, могли бы мы охотно его охранять.

Нестор. Я, верно, действительно дурак, что смешиваюсь с этими созданиями.

Кусты. Иди, иди! Шелест листьев, тебя скроет наш блеск, наша свежая зелень; мы любим тебя, твое сердце неси к нам, что ты нас отвергаешь? Вселенная не может быть лесом, вселенная не может быть цветком, должен быть и ребенок.

Нестор. Как? Прекрасное оправдание. А если лес и цветок имели бы те же права!

Лес. Погуляй в зелени, если хочешь понять цветы, пройди через лес сначала. Это тебе объяснит смысл зелени, и сможешь понять цветы.

Нестор. Ну, вижу только бесстыдство!

Лес. Зелень — первая родина, в ней природа тебя освятила, первая краска — зеленая, зеленый весь мир украшает, дыхание жизни, любимый элемент, в котором вся радость заключена. зеленый означает мужество жизни, радостной невинности, поэзии. Зеленые все стебли цветов и листья у цветов, происходит эта блестящая краска от материнской зелени.

Тюльпаны. Кто может говорить о красках, если мы против? Никакой другой цветок не заслужил, начинаем мы говорить, что такое молитва цветка, что значит поцелуй? Мы красуемся искусным великолепием, никакие другие цветы не смеют с нами состязаться, мы блистаем в полную силу, никакого иного значения не требуем, кроме того, что в нас сияние тысячи горящих красок смеется. Стоим мы вместе на грядке, и ветер обдувает наши цветки, так колеблются и дергаются бесчисленные огоньки и ослепляют, смешивают радостные чувства. Дерзко формируются лепестки, представляя урну, золотым, красным и голубым они украшены, в нас весь отряд красок. Уже в расцвете красок мы великолепны, тюльпаны с раскрытыми крыльями стоят полны величия: к чему тоска, к чему желания?

Нестор. Я замечу, эти тюльпаны играют роль свободолюбия среди цветов, и являют, в известном роде, пародию на лилии.

Фиалки. В тишине под листьями, зелеными, в дальней пелене мы служим цветами. Не осмеливаемся выпрямиться, боимся солнечных взглядов, которые светлы. Трава — наша сестра, над нами разрослись кусты: в одинокой долине процветаем мы одновременно.

Незабудки. Мы цветочки у ручья, с голубым сиянием, хоть совсем маленькими вынуждены быть, но все же маним глаз. Мы смотримся светлыми волнами морскими. Мы невинные малыши со сладким голубым сиянием; могли бы мы стать больше!

Полевые цветы. Ты идешь мимо, о, дорогой! И не видишь, не чувствуешь, как прекрасна зеленая трава, как освежающа, и прохладна, и сыра, и по временам золотые звезды; должен же ты идти дальше?

Птичья песня. Мы веселые обыватели зеленого города, шумим и роимся, поем и буяним с утра до вечера, и всегда мы сыты. Деревья тенистые для жилья нам предназначены, для отдыха нам даны горные луга вольные, широкий мир, — как нам это любо! Любо! О прекрасный мир!

Небесная синь. Их всех я обнимаю нежными руками, их всех с радостью я своей грудью напоила, я посылаю прохладный ветерок! Я глубоко заглядываю внутрь их, все они, однако, заглядывают ко мне оттуда, все делает живее мой прозрачный взгляд, нежная голубизна в бездонном море. Облака идут, тучи тянутся, облака плывут, в моей сфере тут и там движутся; стала я величайшим взглядом лесных листьев, цветков украшением, перелетным блеском вечерней и утренней зари, радуга смело натянута, золотые вечерние моря, которые тысячи огней колышут в страшную бурю, танец облаков, взгляд, подернутый блеском.

Нестор. Это заходит слишком далеко, я забываю себя; всегда и вечно одному тут стоять, и непрерывную болтовню вынужденно выслушивать, это слишком глупо. Кто же сюда идет? Женщина, судя по виду. Она изящно выросла, но все же очень велика, слишком велика. Кажется, здесь это общая ошибка.

Богиня входит.

Богиня. Кто ты?

Нестор. Я? Ожидающий, путешественник, наполовину безрассудный, с настоящей точки зрения, потому что я не знаю, предан я или продан.

Богиня. Тебе так мало нравится в саду Поэзии?

Нестор. С вашего позволения, я должен немного усомниться. Поэзия? Сад Поэзии? Здесь вы хотите мой вкус и здоровый человеческий рассудок только немного подвергнуть испытанию.

Богиня. Как это?

Нестор. Поэзия должна, по моему мнению, по моему слабому рассудку, совсем другой образ иметь. Здесь же — просто как в сумасшедшем доме.

Богиня. Не эти ли цветы вас раздражают?

Нестор. Конечно, нет, ведь я очень хорошо вижу, что это вовсе не цветы.

Богиня. Как вы можете сохранять такое ложное убеждение?

Нестор. Потому что я в своей жизни уже так много цветов видел. Да, если бы у меня не было этого удивительного опыта, то мог бы я, наверное, позволить себе зазнаться. Мои родители имели свой собственный сад около дома, и там часто цветы выращивали и привязывали к палке.

Богиня. Чем же вы признали эти растения?

Нестор. Я их признал за дураков, ведь чем-либо другим они также вряд ли могут быть, настоящие цветы, по крайней мере, не таковы.

Только взгляните, они кажутся поистине чудовищами. Нет, я должен сказать вам по правде, главное в цветке известный маленький размер и то, что он милый. И затем отсутствие такого преувеличенного множества; я вообще люблю цветы, и они дают известную отраду и увеселение, но такие вещи не должны переходить границы, и не должны выходить, конечно, такими эксцентричными.

Богиня. Вы забыли, что такое эти настоящие цветы, эта кровь от крови; земля знает только бледную тень этого великолепия.

Нестор. Ну да, конечно, это высокий уровень, которого всегда достигают идеалисты; когда не хотят верить вашей фантазии, то могут объявить, что это есть правильный и настоящий вид, и, собственно, все остальное в мире должно быть таким. И когда я также все остальное мог бы перенести, то для меня вечное пение и говорение этих вещей совершенно фатальны.

Богиня. Вам цветы вообще никогда не пели?

Нестор. Ха! Ха! За кого вы меня принимаете? Хороши бы были те цветы, которые осмелились бы на подобную невоспитанность.

Богиня. Что вы, собственно, делаете в этом мире?

Нестор. Я представляю одного мученика, я иду к основанию для общего блага. Я в путешествии, и мой Принц не может лучше поддержать свое полное здоровье до того, как мы найдем хороший вкус.

Богиня. А что вы называете хорошим вкусом?

Нестор. Я хочу сказать вам откровенно — ведь вы кажетесь мне весьма расположенной к тому, чтобы стать ученой. Видите ли, вкус, — я хотел сказать, какое-нибудь стихотворение, — но только вы должны понять правильно, ибо я сделаю усилие стать ясным, дабы изложить вам всё четко и определенно, — итак, если вы подразумеваете вполне классическое стихотворение, — классическое в собственном смысле, ну там, — ну, которое само по себе получается классическим, — там эпиграмму, или героический эпос, или трагедию какую-нибудь, где соблюдены все правила, никогда не изменяемые...

Богиня. Я вас не понимаю. Имеете в виду вы, наверно, вообще искусство?

Нестор. Ну да, это приблизительно соответствует ему. Если бы вы читали классиков, то вы бы меня поняли больше. Было бы у меня с собой все же только мое основное правило критики!

Богиня. Оставьте больного распорядиться здесь, в этом блаженном месте будет он совершенно избавлен от всякого зла, ведь здесь живет Поэзия.

Нестор. Здесь? По правде говоря, этого ему только нехватало, чтобы впасть снова в старое безумие. У вас завышенное представление о себе и вашем саде, я тут не видел ни одного поэта.

Богиня. Они прогуливаются сейчас там, по туманной дороге, вижу я как они направили шаги к нам.

Входят Поэты.

Нестор. Это правда, на самом деле поэты?

Богиня. Ты напрасно прикидываешься подозрительным.

Нестор. Нужно немного остерегаться подобных утверждений. Только смотрите, как они невежливы, они совсем не заботятся обо мне, и все же я тут чужой.

Богиня. Они тебя еще не заметили.

Нестор. Еще одно слово, я вот в вашем саду вообще никаких гусениц не обнаружил, а все же сейчас для них время.

Богиня. Никакое вредное насекомое не приближается к святой обители.

Нестор. Ну, так это же в любом случае неестественно и неправдоподобно. Нет, этак ни один человек вам не поверит, моя дорогая фрау, такой сад до сих пор еще был несслыханным. К нам идет поэт, так что я хочу у вас все же, с вашего разрешения, немного попытаться выведать.

Богиня. У вас редкая бодрость духа.

Нестор. Как звать того мрачного старого брюзгу?

Богиня. Говори скромнее, это великий Данте!

Нестор. Данте? Данте? Ах, сейчас припомнилось мне, у него вроде есть комедия, как будто поэма, о преисподней.

Данте. Как будто поэма? А кто такой ты, что позволяешь себе такое говорить?

Нестор. Ну, только не надо так сердито, я друг тебе и всем вам вместе взятым, ведь я люблю поэтическое искусство и часто провожу свои праздные часы за вашими безделушками.

Данте. Безделушка? — какое же из моих произведений ты так называешь?

Нестор. Ха, ха, ха! Он не знает своих же безделушек. Это означает, что так глуп ваш материал, понаделанные вами комические безделицы, ради которых можно только из любезности переводить время попусту.

Данте.

Да кто ты, низкое ничтожество,

Что ты осмелился изречь такую наглость?

Да ты хоть звук из моего произведения встречал когда?

Слепого старика, религии с поэзией жильца ты отвергаешь?

Нестор. Не горячитесь так, старый человек, ведь, по правде говоря, так я ничего вашего не читал.

Данте.

И тут пришел и о моем твореньи наговорил:
Безделка — Комедия божественная!

Бесстыдное и варварское слово, и насилие
Манит благочестивым языком!

Нестор. Да тише, говорю вам, и давайте один раз серьезно поговорим. Вы ведь на самом деле были когда-то поэтом?

Данте. Ариосто! Петрарка!

Нестор. Ну, ну, с тех пор времена очень сильно изменились. Тогда, да, это тогда — но теперь вас очень трудно читать, и к тому же еще и раздражает.

Данте. Тогда! Что ты имеешь в виду под этим, червь?

Нестор. Ну и вспыльчивый человек! Ну тогда я хочу только сказать, что было удивительно легко быть поэтом, потому что, как я читал, кроме вас в новое время никаких других поэтов не существовало; поэтому вы должны признать свое счастье, ибо любой иной в то время мог бы быть, как и вы, знаменит, и им бы точно так же восхищались.

Данте.

Когда б, тебе явив расположенье,
На время лишь забросили на свет
Тебя в тот прежний век, ты мог бы
Мир удивить, подобно мне?

Нестор. Естественно, да более того, я приближусь к тому времени в наш век, когда это в тысячу раз труднее. Для начала я так тихо, тихо попаду с сочинением в ежемесячник, в котором обнаружу свою ученость и представлюсь тут со всей учтивостью неким мечтателем или пиетистом, чистым до уязвимости. Затем буду писать о том, что не существует призраков, затем роман, направленный против вас, и все, что мне придет в голову. Затем я позволю себе замечание, что в основном мир устроен неправильно, до того я в конце пойду выше и выше, начну производить шум своими сочинениями и надоедать, как только возможно, до того, что люди окончательно примут меня за первого человека планеты. Но ту же самую материю, как ваша так называемая комедия, я не стал бы описывать применительно к моей душе, в том непросвещенном веке. Ад и рай! И все так сложно, как я бы сказал. Фи! Стыдитесь, старый взрослый человек, — и такую детскую шутку дни напролет сочинять.

Данте.

Я все же одолжен был Божеством,
И небом мягким мне дозволено услышать:
Один певец отважный песнь мою
Пророческую в чистом вдохновенье изрек
Во славу католической религии.

Нестор. Ну, так именно об этом мы говорим. Католическая религия — это же камень преткновения для меня и для других разумных людей.

Данте. Что может думать червь об этом выраженье?

Нестор. Проклятая горячка! Что об этом подумают, знает каждый ребенок, и это уже вошло в поговорку, что если вскоре услышат большое, неразумное и скучное, можно сказать: «Ах, в этом вы могли бы быть католиком».

Данте отворачивается от него с негодованием и возвращается в рошу.

Нестор. Поэты — мерзкий народ. Ничего кроме неблагодарности, когда их творениями интересуются.

Ариост. Этот протестант протестует против всех благ, и особенно против поэзии.

Нестор. Все без исключения грубы! А вы кто такой?

Ариост. Меня зовут Лудовико Ариосто.

Нестор. Ага! С вами я уже знаком немного получше, вы так же забавны, как тот брызга, но чертовски аморальны. Послушайте, как это вы можете так много оставлять на отшлифовывание?

Ариост. Ха, ха, ха!

Нестор. Не смейтесь, не смейтесь, ради Бога, если я не должен полностью привести в отчаяние ваше сердце. Из любви к человечеству, из любви к добродетели, вы вообще не должны были бы записывать многие из злых шуток.

Ариост. Из любви к людям я это сделал, но что такое человечество?

Нестор. Человечество, — меня удивляет, что вы об этом не знаете, — видите ли, человечество велико, как мир. Сейчас, впрочем, человечество поразительно поднимается, даже создали школы для рабочих, немного меньше бьют солдат, ну, в общем, видите ли, это мы называем человечеством.

Ариост. Об этом можно, наверное, комедию написать.

Нестор. Без вас достаточно написано, к тому же вы пришли очень поздно, все они для человечества.

Ариост. И все они очень веселы, эти комедии?

Нестор. Что вы только себе воображаете? Ну да, тут видим очень грубое ваше столетие, подвижное, пьющее вина, все полно проповедников, и принцев, и злодеев, и людей высокоблагородных.

Гоцци. Этот был бы довольно хорошей маской.

Ариост. Читают же еще мои собрания песен?

Нестор. Это происходит так, что некоторые придают вам огромное значение, а в основном же сейчас так много делают для своего облагораживания, что одним для удовольствия остается не так много лишнего времени, исключая меня и других подобных друзей поэта. Мы только однажды питали эту слабость.

Ариост. Глупцы, сейчас, должно быть, жалкое время на земле.

Нестор. Как вы это понимаете! Нет, мой дорогой, об этом судите вы слишком поверхностно. Вы в своей жизни и не слышали о подобных справочниках и полезных книгах, подобно тому как о превосходных регентах, об институтах для глухонемых, правительственных приказах, библиотеках для чтения, благотворительных журналах, опасности оспы и деревьях акации.

Ариост. Ты неистовствуешь.

Нестор. И прекрасная женственность, и сладкая, как сахар, домашняя жизнь, и настоящее человеческое чувство, и доброжелательность, и сочувствие одному другому.

Ариост. Мне кажется, это необходимо по сути.

Нестор. Необходимо. Да, вам нужно было бы жить сейчас. Вам бы не запретили существовать, где вы только ни показались бы.

Ариост. О жаль, что я не могу вернуться на землю.

Нестор. Между прочим, сейчас без вашей поэзии могут обойтись из внимания к другим, ведь величайший немецкий поэт взял примерно лучшее из вашей манеры, и в своем великолепном «Обероне» превосходно улучшил; к тому же он также так называемым «Стансам» придал прекрасную оригинальность, он их свободнее, безыскуснее, любезнее отшлифовал и отчеканил.

Ариост. Вот как?

Нестор. Прилежно вас наследуют и улучшают. А вас как зовут?

Петрарка. Меня зовут Петрарка.

Нестор. Я имел честь узнать ваш очень влюбленный ум. Вас тоже стали со временем переводить, так сказать, один или два ваши сонета, ведь многое из этого хлама сверх меры скучно. Скажите мне только, как вам эти вещи не стали надоедать?

Петрарка. Ты удивительный чудак. Да понял ли ты мои сонеты?

Нестор. Ах, Боже мой, что же там вообще понимать, все время одна любовь и только любовь, подобного для меня не существует. Я мог бы побиться об заклад о том, что вы — знаменитый Тассо.

Тассо. Никто иной.

Нестор. Да, вы также хорошо понимаете, это невозможно совсем отрицать. Кто этот дружелюбный человек там?

Тассо. Это кастильский поэт Сервантес.

Нестор. А, балагур, балагур, проходи же, и не смотри так застенчиво, тебя я могу поразительно охотно терпеть, ведь ты веселый парень.

Сервантес. Что ты от меня хочешь?

Нестор. Твое творение, твой «Дон Кихот» до смерти смешной, но что за новеллы в нем?

Сервантес. Это вопрос к Дону Кихоту.

Нестор. Ну, ответьте на него.

Сервантес. Что, целой книгой?

Нестор. Вы этого не сказали, мой дорогой, ведь, во-первых, эта книга имела другой, много лучший повод, к примеру «Дон Сильвио фон Розалва», также известная значительной пользой, и затем это действительно уморительный смех, нет среди нас ни одного, кто эту глупую вещицу не прочитал бы, нет, пусть будьте спокойны. Жаль, что он не живет сейчас, из него могло бы что-то выйти.

Сервантес. Я, который в своей жизни уже так много плохого испытал, после своей смерти так глубоко запал в души, что публика меня своим парнем и братом называет?

Нестор. Пусть тебе не будет грустно, ты читаем всеми уважающими себя людьми, и в переводах не упустили твоей поэзии и подобного ей, что к делу не относится, это же вещь совершенно на загляденье.

Сервантес. И никто об этой нежной Галатее не позаботился?

Нестор. Да это же были юные слабаки, простим им, дорогой друг.

Сервантес. Это я должен рассказать своему другу Шекспиру, когда он вернется.

Нестор. Так и этот чертов парень тоже здесь? Забавное общество! Однако же здесь нет ни одного классического и корректного человека, которым могли бы подкрепить свой дух разумным образом. И это Сад Поэзии? Мечтательность, нелепая фантазия, с этим я скорее соглашусь.

Богиня. Кого ты недосчитался?

Нестор. Однако, тут один плохой пример представлен, немецкая нация уже давно имеет свой Золотой век поэзии, и я ищу среди этих цветов и старомодных поэтов напрасно Хагедорна, Геллерта, Геснера, Клейста, Бодмера, — я не вижу ни одного немца.

Богиня. Тех, кого ты назвал, мы не знаем, но тут есть славный Ханс Сакс.

Ханс Сакс. Знаком ли ты с моим фарсом о докторе и сумасшедшем?

Богиня. Полная цветов роща приготовлена, для тех художников, которых уважает это будущее поколение, с этим именем немецкое искусство пробудилось, он вам еще много благородных песен споет, ради вас его сердце излучает сияние поэзии, чтобы вы понимали свое будущее; Великая Британия надеется его обнять, Сервантес тоскует по нему день и ночь, и Данте сочиняет смелое приветствие, затем бродят эти четверо святых, мастера нового искусства, объединяя собой это поле.

Нестор. Кто бы во всем мире мог это быть?

Бюргер (*тихо, на ухо ему*). Гёте.

Нестор. О, однако везет мне на подобное, я сам дал такую рецензию на новый «Герман и Доротея», изданный этим гением времени, теперь надо быть слепцом, чтобы считать этого сочинителишку поэтом.

Входит Софокл.

Софокл. Что я от Данте услышал? Вам не по вкусу терпеть этих клеветников в этом чистом месте?

Нестор. Кто этот громадный господин?

Сервантес. Весело слушать Софокла, его речи.

Нестор. Ах, это грек Софокл? Доброе утро, Ваша милость.

Софокл. Я не могу с ним ничего поделать. Пусть некоторые гении идут, чтобы его продолжить, и ему затем подадут немного пищи.

Нестор (*между тем продолжает*). Ваша милость же грек, а я очень уважаю их, — только, как говорят, ваши хоры несколько трудны, — такую плохую шутку сыграли вы с друзьями поэзии!

Софокл. Как этот варвар здесь оказался?

Богиня. Он вошел самостоятельно, был в высшей степени современным и скептическим.

Софокл. Вы поступаете несправедливо, о мудрый поэт, принимая во внимание ваши речи, должен я иначе высказать свое мнение.

Сервантес. Эти земные нас нимало не понимают, почему ты так удивился?

Они уходят.

Цветы

Спускается вечер все ниже,
Фиалки ночные от сна встают,
И в воздухе тихом несется
Их сладкий ночной аромат.
Мы поем еле слышные песни,
Фиалки ночные от сна встают,
И сладким ночным ароматом
Пронизан весь воздух вокруг.

Комната

Гении увлекают Нестора внутрь.

Нестор. Это свыше всякого описания, сверх всякого понимания. Бывало ли со странником, образованным знатоком такое обхождение в чужих краях? Весь этот Сад полон людей, и все смотрели на меня как на смешное удивительное животное, этот грек, которому на самом деле следовало бы иметь более манер, меня наконец соизволил даже проводить, чтобы мне было достаточно пищи, и вот я ничего тут не вижу.

Первый Гений. Тотчас будешь ты накормлен.

Второй Гений. И напоен.

Нестор. Большое спасибо! Но только лучше и приличнее съестные припасы, а не такой фантастический дурацкий хлам, как эти речи, сыплющиеся на воздух.

Первый Гений. Земной должен вкушать земное,

Нестор. Это то, что я хотел сказать, господин Гений. Этот Боккаччо еще побегал за мной, чтобы надо мной посмеяться, и известный Бенджамин Джонсон кричал мне вслед бесконечную латинскую сатиру. Это же правда, что он был фантазером в смутном движении пресловутого Якоба Бёме?

Первый Гений. Это ты сказал.

Нестор. Да, но я тоже говорю, что ваш Сад Поэзии — сад для сорванцов и бездельников.

Первый Гений. Не рассердись, но тебя тут никто не держит, ты можешь оставить его в ближайшее время.

Нестор. Да, я непременно после еды более не потрачу здесь времени даром.

Стол. О, как удачно это создание восхвалять, которое в конце концов образумилось, и вместо того, чтобы быть праздным, стало полезно.

Нестор. Кто же это здесь говорит так разумно? Не вы ли это?

Гении. Не мы.

Стол. Это я, который тут для тебя стоит, мое имя Стол.

Нестор. Но у меня кружится голова, меня оставляет рассудок; я такого еще никогда не слышал.

Стол. Я рад, что теперь пища скоро будет поставлена на мою поверхность, затем ты возьмешь моего брата, Стул, сядешь доверчиво и смеяшь за меня, и я буду тебе полезным удобством.

Стул. Тебе только и дела, на меня сесть, ведь я к тому отлично приспособлен.

Стол. Как мы рады, что более не стоим снаружи на свободе одинокими зелеными деревьями, и не шумим, и не качаемся, что никому не приносит пользы. Здесь мы служим полезной цели, переработанные и воспитанные.

Стул. Мы мебель, можем только напоминать себе еще смутное наше сырое, зеленое, необработанное состояние, но эти дикие дни нашей бесполезной юности прошли, мы выросли и развились, и стали после этого прекрасными сухими поленьями, так что мы даже ни разу не были брошены; кто не знает, что мы вообще однажды были деревьями, совсем в нас их не разглядит.

Стол. Потому мы не стесняемся, но наслаждаемся в нашей службе завидным душевным покоем.

Нестор. Вот те на! Вот те на! Где я мог достаточно набрать достойного удивления удивительного, чтобы удивиться таким удивительным образом? Да, я сам себе с дерзостью признаюсь, что этот стол и этот

стул благороднейшие, разумнейшие создания, которые я еще, исключая себя самого, встречал на этой земле до сих пор. Это не так, как обычно для большинства людей, руки этих почтенных персон висят наружу, чтобы могли им их пожимать с вниманием и простосердечием! Да, что я могу сделать, что, чтобы мою благодарность засвидетельствовать? Мне не остается ничего иного, как на тебя, о прекраснейший и удивительнейший Стул, сесть.

Стул. Не правда ли, хорошо сидится?

Нестор. Великолепно, прекрасно, благороднейший. Теперь повернемся мы к Столу, и составим приятнейшую компанию, и теперь не хватает моему домашнему счастью не более, чтобы скорее принесли сюда еду.

Пища вносится.

Шкаф. Я тоже полезный участник, во мне хранятся салфетки и скатерть, а также я, как бывшее дерево, образумился.

Нестор. Ваше здоровье, господин Шкаф, чтобы еще долго проклятый древесный жучок не мог положить конец вашему полезному существованию!

Шкаф. И затем я еще полезен, что на моих останках можно суп сварить.

Нестор. Это правда. О люди, люди! Если бы я мог вас все же хоть однажды повернуть к этому постыдному зеркалу. Как мало отличных людей среди вас могли бы все с ним сравниться!

Зеркало. Я собственно, Зеркало, соизвольте в меня посмотреть.

Нестор. Немедленно. Ах! Как я красив! Каким я выгляжу духовно богатым! Могут ли больше огня в глазах иметь? Большое спасибо, милое правдивое Зеркало, что вы мне это превосходное удовольствие позволили иметь.

Жаркое. Съешьте меня, господин Нестор, я ваш друг, я горю вам быть по вкусу и доставить удовольствиё.

Другие блюда. Возьмите же также из нас вареные плоды.

Вино. И к тому же выпейте.

Нестор. Как я могу вознаградить такое благородство? Я изнемогаю под грузом благодарности. Самопожертвование, не что иное, как самопожертвование! О, вы высокие духи! Мое сердце, мои челюсти, мой желудок, — все, все вам навечно предано. Как целесообразно все же это устройство этого прекрасного мира! О, ты, мой честный друг, ты мне эту книжечку давший с собой, здесь ты также бросил бы якорь: здесь ты свои золотые мечты увидел бы в исполнении.

Стол. Не правда ли, я держу блюда очень крепко, смелая крепкая персона, стою я на сильных, крепких ногах.

Нестор. Несравненный, честный, сильный, я двигаюсь туда и сюда с удовольствием, большего не могу сделать. Ну, Гении, скажите то же

самое, — бедные парни тихо улизнули; ну, я не прошу вас, ведь я в хорошем обществе.

Стул. Ах великодушное сердце, вы двигались слишком живо, мое строение немного нежнее, чем у брата Стола, этого могли бы мои элегантные ноги не вынести.

Нестор. Прошу прощения, пожалуйста, тысячу раз простите, когда от всего сердца, то часто ведем себя недостаточно умеренно.

Стол. Когда я еще из зеленых поленьев был сложен, были у меня уважаемые друзья-бродяги свет и солнце, с тех пор, как я выполнил мое назначение, оба меня забыли.

Нестор. И по праву, мой друг, они мебели вредны. Сейчас я сыт, и снова продолжу свой путь.

Бутылки. Так выпей же еще.

Блюда. Так поешь еще.

Нестор. Я на самом деле не в состоянии. Э, да тут висит целое множество музыкальных инструментов на стене. Скрипка! Я хороший виолончелист, я хочу один раз попробовать ту сонату сыграть, которую один добрый друг совершенно особенно для меня сочинил. (*Играет.*)

Скрипка. Ой! Ой! Как мне это всю душу разрывает! Вот черт, я не флейта! Как можно меня так терзать, все мои звуки заглушать, и резать, и скрести, и царапать, до чужого визжащего возгласа доцарапывая! Я не узнаю свой собственный голос, я напугана сама собой, в этих нездоровых пассажах. Эй! Эй! Чтобы другой дух мог с тобой однажды обойтись так бесцеремонно, и тебя зверям прямо отдать. Внутренне причиняет мне боль эта музыка, которая там снаружи живет, и дикими звуками уничтожена, колика тревожит меня совершенно, резонансное основание от подагры упало, переключатель визжит и стонет. Как кларнет должна я кривляться, сейчас фаготу подражать стала, раздирает меня еще язык мелодии, долго мне нужно будет лежать, и мне приходится в себя, прежде чем я эти страхи смогу преодолеть. Эй, так режешь ты, ущипнутый Сатана! Сам собой недоволен, стремится к концу проклятой сонаты. Ах! Ой! О! Какое ощущение! Ребра, бока, спина, все как разбитое!..

Нестор. Удивительное впечатление в этой пьесе! Чем чаще ее слышишь, тем более она нравится.

Арфа. Мы то, что человеческая рука, этот ребячливый поэт, из инертной доски вырезает для пользы.

Нестор. Вы инструменты, и никакого тут нет поэта.

Арфа. Постоянно живущие в нежных боках, эти неповторимые звуки души; кто загоняет их внутрь? Трогает нас родственным духом, телесным делает наше тело, так поднимаются эти пестрые крылья, так возносится дружеский дух, и посмотрит на тебя ясным взором, поприветствует приветливой улыбкой, сделается тебе не по себе, сыграй для себя как

соверши священнодействие, и снова спустится твой друг в бездну благозвучия. Можешь ты его снова позвать, он придет на знакомый призыв, пожалуйся ему о том, что тебя тревожит, скажи ему, чего ты хочешь, он поймет, он знает твоё сердце, твои чувства, он взмахнет крыльями и перенесется в страны, которых ты не видел, и принесет с ласковой радостью сияющие дары, нигде не виданное чудо дружбы, обитающее в сердце.

Нестор. Если бы я только умел играть на арфе, то она скоро повела бы иные речи.

Флейта. Наш дух небесно-голубой, устремись в синюю даль, нежные звуки заключат тебя в созвучие других тонов. Мило речь ведем мы изнутри, когда другие тихо поют, обрисовываем кротко голубые скалы, облака, милое небо, как этот последний едва заметный фон, под зелеными свежими деревьями.

Гобой. Я кричу перед неизвестностью, хочешь ты со мной идти, душа моя, наружу, ступи на туманный путь, чудесную страну увидеть; свет дружелюбно нам освещает путь, и следуют зеленые луга, под нами коричневые тени.

Труба. Эта земля будет свободнее, небо будет выше, пусть смело взгляд поднимается! Как далеко находятся нужда, забота от пламенеющих звуков!

Скрипка. Искристый свет, светящиеся краски сквозят в радуге, как отсвечивающий прыгающий фонтан, вверх в резвящиеся волны воздуха. Обнажено красное сияние и зыграло, и упало снова: что ты хочешь от милой шутки?

Валторна. Слушай, как говорит с тобой лес, песню деревьев.

Нестор (*затыкает ей рот*). Ради Бога, только помолчи уже, ведь ты самый фатальный для меня из всех инструментов. Тут есть книга, кратко изложенная, мне кажется, «Путешествие Штернбальда», там, в трех словах, речь о валторне, и всегда снова эта валторна. С тех пор я тобой сыт по горло. Я должен идти. Еще один бокал вина! Адью, господа Стол и Стул, и вы все, мои друзья, мое сердце вас никогда не забудет.

Мебель. До свидания, симпатично настроенный друг!

Нестор уходит.

Горы

Выходит Цербино.

Цербино. Заблудился я, странствуя тут кругом, и не могу найти обратный путь из этих скал, этих лабиринтов. Удивительные мысли пришли мне в душу, ощущение, которое я еще не переживал. Природа лежит передо мной великая и необъятная, бури бушуют в ближнем лесу, источники шумят. Каким ничтожным и маленьким кажется мне тут мое

существование, которое мне всегда таким великим представлялось, как смешна эта цель, ради которой я оказался тут. Почему мы так часто раздражаемся друг на друга без нужды, и не лучше ли наслаждаться настоящими прекрасными часами в покое и удовлетворенности? Все вокруг меня сохраняет значительный образ и очертания; если бы я дольше здесь побыл, то сделался бы я полупьяным, эта книга здесь, эти деревья владеют своим языком и речью, с этой горной высоты всё выглядит для меня имеющим облик некоего духа.

Источник.

Ходи, броди, отвага
Радости полна,
Спускается с вершины
И вниз течет ручей,
И светлым остается,
И каждая волна
Его поит водою.
Долины и луга
Так рады этой влаге.
И духи из ядра
Глубоко под землю
С усилением ростки
Собою поднимают.
О, тките этот прах,
И пусть соткется жизнь,
Прозрачная, и к звездам золотым
Тащите нас. Все связано со всем,
И только сердце говорит
И в пульсе дальнем
Жизнь бьет,
и каждое создание пробуждает,
и смело времени повелевает.

Цербино. Что я ощущаю? Не так ли, если хотелось это непонятное журчание добровольно в слове разрешить, в смутных мыслях выстроить загадочную речь, моя кровь застыла, мой ум вскружился от страха и оцепенения.

Горный ручей.

Вниз, падай, падай, вниз,
Вниз с поспешностью в долину
Волны, волны; тут найдешь
Сразу ты источник тихий,
И возьми его с собою
Хоть в могилу. Никакого

Нет покоя, нет покоя,
Быстры волны, быстро время
Счастья ли, несчастья,
И великие дела сброшены
И прошлое
Не вернется никогда.
Нет нигде затишья,
Нет нигде застоя,
Всюду лишь движение,
Сил соревнованье,
Одного в другое
Чуждое вливание.
Все стремится связь чудесную
Проломить враждебной песнею!

Цербино. Это и есть мечта? Я был сумасшедшим? Как я сегодня удостоился, чтобы для меня упала завеса с лица, и природа себя мне открыла?

Буря.

Дыхание мое живительное
Пронизывает всю природу,
В леса зеленые ныряет,
Кустарники, поля и в горы
Высокие идет оно.
Со мною сила, свежесть жизни
Приходят в мир. И с облаками
Порой я в воздухе играю,
Траву и листья на земле
Я нахожу довольно часто,
Хоть больше мне цветы по вкусу,
Которых часто жертвой гнева
Я делаю. Но приношу
Я дождь лугам, на полевые
Я всходы навожу туман,
Потоку течь я позволяю
Сквозь тьму лесную,
Ведь должна быть
Борьба, чередование в природе
Всего со всем...

Цербино. Куда мне спастись бегством? Я больше этого не вынесу, я больше не в состоянии самого себя понимать, я подавлен всеми

духами, они возникают, эти гигантские духи, из невидимости, в которой они до сих пор еще были заключены.

Дух горы.

Мы с тобою, смертный,
Родственные души,
Внутренне уже давно знакомы,
Дух твой назван моим духом. Сердце
Гонит ввысь тебя, ко мне навстречу,
Но назад влечет земная сила,
Мертвый разум, этот свет для мира,
Сдерживает все твои стремленья,
И душа в том страхе остается.
Бросься же отважно в этот быстрый
И стремительный поток веселья,
Дай простор своей душе небесной,
И найдешь ты радость, о которой
И мечтать не мог, о ней не зная.
И утешит тут тебя природа
Призраками, и на службу станет
Твоему гуманному сознанию,
Ты ее притягиваешь очень,
Силы духа выказать ты хочешь.

Цербино. Я утопаю, невыносим для меня груз этих мыслей, это я, гора лежит уже на мне и надо мной, превращаются эти лес, поток и горы в дикую оживленную толпу. Таким образом в последний день однажды насильно затрещит природа по всем крепко связанным швам. Но что за божественный образ там движется с вершины вниз? Как подвижен его шаг, как божественна и как человечна его внешность! С подвижной непосредственностью бросает он один осмысленный взгляд на эту великую природу; такого не может быть ни у кого из смертных.

Образ спускается вниз.

Цербино. Могу ли я спросить, кто вы?

Шекспир. При жизни звали меня Шекспиром.

Цербино. Шекспир? О, как я безумно рад вас видеть, по всей земле между нами речь часто о вас. Меня удивляет, как вы с этими голосами и песнями духов остаетесь таким спокойным и естественным.

Шекспир. Это мое развлечение, слушать язык природы.

Цербино. Меня это так напугало, что я уже едва знаю, где я, этот страх сделал меня просто безумным.

Шекспир. Ты должен это как прекрасную игру вкушать (наслаждаться): ведь когда я тоже еще был жив, меня подобное не пугало.

Цербино. Вы были даже тогда уже великим человеком.

Шекспир. Я никогда не был тем, что вы обыкновенно обо мне говорите. Что вы думаете обо мне?

Цербино. Вы подразумеваете — каково общее мнение?

Шекспир. Я подразумеваю — что некоторые, как я знаю, видят и чувствуют во мне друга.

Цербино. Вас считают необработанным, могущественным талантом, который просто-напросто изучал природу, отдавался своему необузданному вдохновению и только через это сочинял, все подряд — и хорошее, и плохое, и возвышенное, и низменное — вперемежку.

Шекспир. И ты считаешь так же?

Цербино. Я не могу сказать ничего иного.

Шекспир. Привет твоим знакомым от меня, и скажи им, что они ошибаются.

Цербино. Но между ними есть превосходные головы, между прочим наш высокообразованный Леандр.

Шекспир. Все-таки они ошибаются, но это не имеет значения. Объяви им, что искусство всегда было моим Божеством, которому я поклонялся.

Цербино. Мне не поверят.

Шекспир. Потому что ты сам этому не веришь. Пойдем со мной, ты тут заблудился в этой дикой, благородной и великой природе, я хочу тебя вывести отсюда, и наставить на твой прямой путь.

Цербино. Как вы добры!

Шекспир. Я ведь держу путь домой. У Сада Поэзии мы расстанемся, ведь ты хотел идти дальше.

Цербино. Непременно, я еще далек от своей цели. *(Они уходят)*.

Королевский Двор

Готлиб, Гинц фон Гинценфельд, Леандр, Советники.

Готлиб. Это, должно быть, удивительный человек, которому так обстоятельно расточал хвалы этот достопочтенный Поликомикус.

Гинц. Народ, человечество непременно много выиграет, если мы здесь ему предоставим подыскать выгодный род занятий.

Леандр. Возможно, что потом отсюда по всему миру распространится всеобщее образование.

Готлиб. Так пусть же он войдет.

Конюх входит, кланяясь.

Готлиб. Так это и есть тот человек? Поистине приятный человек.

Конюх. Я считал бы себя бесконечно счастливым, если бы я немногие свои таланты на службу Вашему благосклонному Величеству мог предоставить.

Готлиб. Это может случиться, это может в самом деле случиться. Вы просвещенный человек?

Конюх. К вашим услугам.

Готлиб. Прекрасно. Тогда, видите ли, мой преданный просвещению друг, — до всех верноподданных в конце концов должно дойти, что они теперь могут считаться не просто глупыми, как бараны, но непросвещенными! Без этого само управление не в радость.

Конюх. Также все должны для начала очиститься от предрассудков, чтобы затем стать способными мыслить по-новому, при этом было бы полезно обратить внимание на издание просветительского журнала.

Готлиб. Но вы и должны исполнить эту стирку.

Конюх. Я готов с радостью это исполнить.

Готлиб. Ну, у вас доброе, честное лицо, я положусь на вас. Если вы только не вроде мечтателя, мне кажется, у вас глаза несколько меланхоличны.

Конюх. Наверное, это невольное, с позволения Вашего Величества, потому, что я иногда немного пишу стихи.

Готлиб. Лучше оставьте это на будущее, чтобы не спутать эти две работы.

Конюх. В этом журнале или Еженедельнике я буду постоянно наилучшим образом следить за потребностями читателей, и зажигать светильник, который должен гореть и дальше; вначале мы хотим только положить солому, возможно, чтобы затем найти лучшие материалы. Затем должен я попросить благосклонности, чтобы по стране ездить, чтобы я мог сформировать представление обо всех ваших слабых местах, описать их и представить, каково их распространение.

Готлиб. Вы должны заняться этим промыванием, чтобы установить, где находятся мечтатели, дабы их в установленном порядке описать и доложить о всех их слабостях. В моей стране большой избыток этой сорной травы.

Леандр. Мне, например, для начала знаком человек, один корзинщик, который непременно хочет стать пророком.

Конюх. О, этот экземпляр мне непременно потребуется.

Леандр. Другой, башмачник, считает субботу более священной, чем воскресенье.

Конюх. Тоже хорош.

Готлиб. Да тут есть между другими Его Величество старый король, мой тесть, который одержим одним оловянным человеком из свинца, по имени Себастиан, и верит, что вот этого Себастиана в таком виде, как он есть, вылитого из свинца, он в скором времени однажды встретит живьем. Если взяться за этот случай с надлежащей умеренностью, осторожностью и не называя имен, то вы могли бы взять его тоже как вклад в свою книгу.

Конюх (*падает ему в ноги*). Я не могу найти слов, чтобы выразить приличествующую благодарность за эту безграничную любовь к благодетельному, дарующему счастье человечеству просвещению.

Готлиб. Берегите себя, это будет самое лучшее.

Конюх. Но мы хотим Его Величество вашего тестя в медной грабюре увековечить, в точечной манере.

Готлиб. Ради Бога.

Конюх. Это был бы один из пунктов. Но большинство поступили бы лучше, если бы исправили свое прежнее воспитание.

Готлиб. Вы имеете в виду, что мы должны позволить себе перевоспитывать всех еще раз?

Конюх. Ваш покорный слуга далек от подобных дерзновенных мыслей. Я хочу осмелиться, основать школу, в которой эта нынешняя современная молодежь должна образоваться и вырасти в полностью непостижимых для простого ума великих людей.

Готлиб. Эй! Эй! Как вы хотите это претворить в жизнь?

Конюх. Одним новым путем; когда я изучал оптику недавно...

Готлиб. Что это такое?

Конюх. К вашим услугам, искусство делать очки. Когда я недавно изучал оптику, я заметил, что есть некоторые различные краски, как красная, синяя, зеленая и так далее.

Готлиб. Смотри-ка, смотри-ка, это я тоже в самом деле заметил, полностью самостоятельно, без прохождения курса по искусству изготовления очков. Так часто имеют в себе талант, а ни слова об этом не могут сказать. Ну, так вперед, мой дорогой, вы разумный и очень образованный человек, вас слушали бы с удовольствием.

Конюх. Я и сам себя слушаю с удовольствием. Я хочу подобными разнообразными красками теперь разбудить гений и прилежание в милой молодежи посредством засвидетельствования их хорошего поведения, чтобы искусство и науки начать вскоре развивать, и их цветение дало бы плоды.

Готлиб. Гляди-ка, гляди-ка, это в самом деле ловко, и почти никакого труда не составит.

Конюх. Но для этого и вы мне любезно доверьтесь, о моей школе пойдет великая молва, неизменно хвалить и восхвалять (именно меня), и в подобных важных изобретениях продвигать вперед.

Готлиб. Осуществляйте это, все школы по всей стране реформируйте, и будьте же самым главным привилегированным учителем.

Гинценфельд. Не простирается ли королевская милость слишком далеко? Что-то в физиономии этого человека есть такое...

Готлиб. Я вас понимаю, Министр, вы до сих пор так мало занимались образованием в моей стране, ну, только не пожалейте об этом, только

позвольте рутинную работу вести этому человеку, спокойно образовывать и управлять школой, вам доверяю стать его начальником.

Гинценфельд. Великолепно, если вы с меня тоже сделаете медную гравюру.

Конюх. Точечную?

Гинценфельд. Как я есть, с натуры.

Конюх. Ваше Превосходительство будет представлено со всеми своими регалиями.

Готлиб. Ну вот и славно, у вас должны быть свои заказы; теперь я устал, более говорить не могу.

Уходит со свитой.

Входит Иеремия.

Конюх. О, я тебя должен очень и очень благодарить! Все так прошло, как ты предвидел.

Иеремия. Итак, все твои мечты исполнились?

Конюх. Вполне, я буду повсюду реформировать школы, я буду издавать еженедельник, всё, всё; этот Кот — мой начальник.

Иеремия. Хорошо, теперь ты должен прежде всего изучать искусство, писать программу.

Конюх. Тяжело ли это?

Иеремия. Я изложу тебе самые начала, чтобы ты их с пониманием усвоил. Второе, ты должен принять во внимание, чтобы не совершать тех глупостей, которые мы уже обсудили.

Конюх. Так значит я не должен быть чурбаном?

Иеремия. Затем ты должен вообще в твоих сочинениях искать повод нажать врагов.

Конюх. Это было бы жаль.

Иеремия. Вовсе нет, если ты за это дело только правильно возьмешься. Лучше всего, мы создадим целую секту, большое сообщество для омраченных и неимущих, которые стоят на пути света просвещения, этих сумеем мы повсюду разоблачить, свергнуть, найдем тысячу следов, и будем грубы. Это притянет и одно и другое к нравам, немедленно будете вы выданы как некий такой злодей, пишут, пишут, и люди читают и читают, так идет время, приходят деньги, и ты станешь знаменитым на любимейшем и привлекательнейшем пути.

Конюх. Мне кажется, это происходит, если верить тебе, так, как у собак.

Иеремия. Об этом теперь больше не думай, ведь те времена сейчас прошли. Есть один или другой умник, который мог бы тебе это заметить, так гони его с своей дороги.

Конюх. Этот проклятый Кот совсем напал на мой след.

Иеремия. У него это только инстинкт, но не разум. Возобновляя наш прежний разговор, так непременно случается, что тот и другой однажды, после того как ты долго находился на этой службе, вовсе грубым с тобой становится, и тогда ты должен радоваться.

Конюх. А почему бы и нет!

Иеремия. Не иначе, ведь тогда ты становишься в глазах дураков вообще мучеником за правду, неким человеком, который себя приносит в жертву прогрессу этого столетия, а у всех важных великих людей всегда находятся враги, так что ты этим должен пользоваться, и тихо себя с ними вести, чтобы всегда находить указание, как плохо сердце твоего врага, от чьего разума и от тебя благоразумно молчал, и вы всегда только тратите борьбу на делание тобой добрых вещей.

Конюх. Но это презренное, подлое дело для просвещения.

Иеремия. Конечно, но ты представляешь, чтобы этому разуму читать наставление? И станешь ли ты это делать ради должности главного просветителя страны?

Конюх. Ты прав, мы должны скорее браться за работу.

Оба уходят.

Чайное общество

Дамы и господа за беседой и чаепитием.

Хозяйка. Не прикажете ли еще?

Первый господин. Покорнейше благодарю.

Один из слуг входит.

Слуга. Господин фон Цербино.

Хозяйка. Давно заждались. (*Слуга уходит.*) Это знатный путешественник, с которым все жаждут познакомиться.

Цербино входит, звучат комплименты.

Первая дама. Он напоминает англичанина.

Вторая дама. И богатого.

Третья дама. У него очень интересное поведение.

Первая дама. Такой томный, тонко чувствующий и немного меланхоличный.

Хозяйка. Благодарю вас покорно за книгу, которую вы мне передали.

Цербино. Как вам она?

Хозяйка. Я нахожу ее прекрасной.

Цербино. Конечно в целом, еще только стоит вопрос о том, что мы должны были бы по-новому и близко к оригиналу перевести Шекспира.

Первый господин. Конечно.

Цербино. Мне было лестно познакомиться с этим автором, но он у нас не возделан (он воспитан не в нашем духе), он приводит нас только к ошибкам.

Первый господин. Так много прекрасного он содержит, что все же нужно признаться, что он вообще абсурден.

Цербино. И весьма безыскусен, незнаком с правилами, всегда следует только своим причудам.

Хозяйка. Не следует ли ему выказать хоть малую толику образованности?

Цербино. Что значит эта «малая толика», по сравнению с великой массой грубости?

Хозяйка. Однако на этого человека жалуются.

Слуга входит.

Слуга. Господин ученый Нестор.

Хозяйка. Очень приятно.

Слуга уходит. Входит Нестор.

Нестор. Я рад, по правде говоря, всесторонне с вами познакомиться, я не забуду этого счастья в моем описании путешествия.

Цербино. Нестор!

Нестор. Мой Принц! *(Они обнимаются.)*

Все. Принц! Это удивительно.

Цербино. Нашел ли ты вкус?

Нестор. Ах нет. А вы?

Цербино. Ах нет.

Нестор. Нашли ли вы собаку?

Цербино. Ах нет. А ты?

Нестор. Ах нет!

Оба. О мы бедняги!

Хозяйка. Садитесь же на подобающее вам место, господа.

Цербино. Ах мы должны уйти, мы несчастные люди.

Хозяйка. Что вы потеряли?

Цербино. Вкус.

Хозяйка. Так оставайтесь у нас, возможно, тут смогут вам помочь, у нас в городе так много славных мужчин, которые все вместе стараются, и этим заслужили почет, они вам немного вкуса преподнесут. Я сама могу, наверное, помочь, я посещала Италию, я посетила все прекрасные памятники искусства, вы можете прочесть о них в моем дневнике.

Цербино. Можем и мы попробовать?

Хозяйка. Ну, например, я не нашла в Аполлоне ничего от гневающего божества.

Нестор. Вы, наверное, просто не заметили, что он был злым, ведь этот поэт...

Хозяйка (*покраснев*). Ах, вы имеете в виду это, и указываете на это в моем стихе, я же говорю об известной статуе.

Нестор. Тогда мы еще немного останемся здесь с вашего позволения, и попытаем счастья.

Занавес.

Охотник-хор (*выходит на сцену*).

Уже опускается вечер на пьесу,
И скоро конца представленья достигнем,
Умолкнет поэт, лишь последний покинет
Сей зрительный зал задержавшийся зритель,
И толком не знает никто, почему.
Так летом средь ночи гроза набегаёт,
Уж молнию видят, и верят, что слышен
Уже дальний гром, только черные тучи
Прошли незамеченно, теплая ночь
Легла покрывалом из тысячи снов
На божье творенье, и ложной тревогой,
И с радостью мягкой спят смертные все
В прекраснейшем сладком своем полусне;
Вот так же и красочный этот спектакль
Уже завершается, и напоследок
Уж падает занавес. Каждый подумал,
Как он развернулся уж целых шесть раз,
И мог бы еще развернуться в седьмой,
Но будет оставлен он все же в покое
Уже окончательно, хоть и, держу я пари,
Безосновательно, если каприз
Не будет достаточным тут основанием.

Дикий охотник в темной ночи,
дичайшие заросли леса он будит.
Внимает грозе, поднимается в гнев,
Собаку он держит и рог, что поет.
Седлает коня вороного, стрелой
Сквозь лес потрясенный
он с фырканием громким несется,
звучит рог в дозоре,
чтоб спутники не отставали,
И фыркает конь, лают псы.

Охота моя, возникай! Возникай же, охота!
Участок весь этот за нами, ведь ночь на дворе,
И мы мимолетных всех духов прогоним охотно,
от воя и лая которые в ужасе все.

Езжайте ж туда, громыхая по воздуху. Ужас
Испытывать будут, в ком набожны чувства,
В ком дух боязлив. Но другие, кто ночи
И леса не будет бояться,
Те переполохом сбегающих духов
Теперь наслаждаются.

Оправдывает это злодеянья многие;
У каждого, друзья, рассудок свой,
У брата, у сестры, богини нежной,
Учеников, которые всему
Охотно верят.
В досаде он, ведь каждый божий день
Ему поклонники, внимали благосклонно,
Так может он теперь себе позволить
Разнообразие порадоваться, час
Всего один пожертвовать охоте.
Кто христианский ум имеет, тот знаком
С той истиной, что Судный день и смерть
Кладут всегда конец любому делу!

Уходит.

ШЕСТОЙ АКТ

Дворец

Иеремия, Конюх.

Иеремия. Ну теперь предстало Просвещение уже в лучшем цвете, поистине от этих добрых людей ничего более и не требуется, они вбирают в себя разум и облагораживание, совсем как пчелы.

Конюх. Все же у меня иногда эта материя почти на исходе.

Иеремия. Дело в том, тебе чувствуется открытие, ты очень односторонне пристрастился к благу и облагораживанию, и я боюсь, это не продлится долго, ты сам так этому веришь.

Конюх. И по праву. Я верю в это, для чего ты мне мешаешь?

Иеремия. Как?

Конюх. Ты ведь думаешь, что со всеми этими делами только достигаю одного неблагородного лицемерия?

Иеремия. Эй, я свалился с неба.

Конюх. Да, ты, ты, не ощущающий в себе никакого сердца, ты, который небесную истину только как цель трактуешь, чтобы достичь цели своей жизни, да ты должен с Божьей помощью упасть с неба.

Иеремия. Что я слышу?

Конюх. Голоса подлинного энтузиазма слышишь ты, и они не должны сдерживаться поистине перед человечеством. И если это мне иногда недостает материи, так это происходит до тех пор, пока мой энтузиазм очень искренен и очень ободрен.

Иеремия. О Конюх, Конюх! Как глубоко ты завяз!

Конюх. Я поднимусь, всегда я поднимусь, я только пробуждаю к жизни благородные ростки в человечестве, и никакой злодей не должен отвлекать меня от моей добродетели.

Иеремия. Я молчу, я нем, ты выглядишь таким простодушным при этом, что я тебе должен поверить, совершенно серьезно. Но я хочу пойти и представить тебе одного человека, который тебе для твоего сочинения просто необходим.

Уходит.

Конюх. Этот парень не так умен, как я вначале верил, мне удалось в самом деле его перехитрить, он не имеет права играть роль господина и учителя надо мной, теперь он видит, что это моя правда. Обманывать можно всех, если не ожидать от них ничего, кроме глупости.

Иеремия возвращается с Гансвурстом.

Конюх. Эй, не господин Советник ли это?

Иеремия. Конечно.

Гансвурст. Да, господин Управляющий школами, для меня время часто тянется очень долго, и я с удовольствием к новому роду развлечения приложу руку.

Конюх. Господин Иеремия говорил мне, что я мог бы вступить с вами в союз?

Иеремия. Да, это очень нужно, ведь я перенасыщен этим существом, я хочу для разнообразия однажды пойти к Сатане.

Гансвурст. Вы отчаянный человек?

Иеремия. Нет, я его лично знаю, и хочу поступить к нему на службу.

Конюх. Однако, господин Советник, с чего начнем мы наше сотрудничество?

Гансвурст. С чего хотите, ведь я могу быть полезен в различных делах, я с удовольствием поделю свое время между вами и впадшим в детство Его Величеством старым королем.

Конюх. Вы ведь в моей профессии разбираетесь, если хотите сотрудничать со мной?

Гансвурст. В сущности, это ничего не значит, но я хочу вам косвенно быть полезным. Видите ли, чтобы мне вкратце представиться, я был прежде шутом.

Конюх. Да.

Гансвурст. И я должен вам признаться, что мне это занятие такое доставляло необыкновенное удовольствие, что я потом о том сожалел, что должен был эту работу оставить. С тех пор день и ночь старые мысли и мечты, снова пойти на свою старую должность, и я не знаю лучшей цели, чем ваша, мой дорогой, предлагаю свою службу, чтобы миру и человечеству хоть немного принести пользы, и я после этого спокойно смогу умереть, не зря прожив жизнь.

Конюх. Вы меня тронули, но я все еще не понимаю вашего похвального намерения.

Гансвурст. Как только стану я свободным, вам эти вещи в глаза бросятся. Вы именно намереваетесь все предрассудки искоренить и попутно обессмертить свое имя, мне это нравится, что у вас эта материя очень скоро иссякнет, но что вы в конце концов попадете в затруднительное положение, всегда повторяется одно и то же, что вам действительно будет неприятно, но читатели в долгосрочной перспективе могли бы впасть в скуку.

Конюх. Прекрасное замечание.

Гансвурст. Теперь соизвольте мою бабушку уважить. Я обязан огромному влиянию ее разума, вам к вашему облагораживанию человечества подойдет как вечная модель.

Конюх. Вы так благородны?

Гансвурст. Ах, ни в коем случае! Как могла бы моя скромность признать, вам это сказать прямо в глаза. Я не выйду за границы своего намерения. Я хочу именно напротив изобрести вечно нелепости, пошлость и фантастические проделки, которые вы потом могли бы опровергнуть.

Конюх. Великая душа! Возвышенный Советник!

Гансвурст. Вы могли бы, с одной стороны, запустить выдуманные мной суеверия, или пароксизмы, или проделки, затем, с другой стороны, выпустить все разумные доказательства, чтобы люди почти даже умными стали, как вы сами, и мое ошибочное мнение не нашло бы сторонников. Я к тому же разрешаю вам еще меня, так часто, как вы хотите, называть по имени.

Конюх. Эта широта души играет огромную роль! И как часто вы будете приниматься на работу, чтобы покончить с глупостью?

Гансвурст. Раз или два ежедневно.

Конюх. Очень много, вы будете очень добры, если только мне раз в неделю будете предоставлять свои услуги, я буду в высшей степени доволен.

Гансвурст. Идет, итак сделка состоялась?

Конюх. Вот моя рука.

Иеремия. Небо засвидетельствовало ваш благородный союз, потомки назовут ваши имена с почтением, я беру отпуск, мои великие сердцем друзья, чтобы старого Сатану разыскать.

Они уходят.

Вольная пустыня, в дали вид с вереском

Нестор и Цербино выходят.

Цербино. Да мы тут очутились в каком-то страшном краю.

Нестор. Этого я не могу сказать, моим глазам этот вид представляется целиком приятным, здесь твердо знаешь, где ты есть.

Цербино. О да, нечего сказать.

Нестор. Я побывал в таком месте, которое хотели выдать за Сад Поэзии, так это и десятой доли не выглядело верно, как здесь.

Входит некий Поэт.

Цербино. Что это за человек там, который так внимательно за всем наблюдает?

Нестор. Он вполне добросовестно обзорекает песок.

Цербино. Возможно, что он что-то потерянное разыскивает. Господин, вы что-то потеряли?

Поэт. Ах, добрый день, достопочтенные друзья, вы пришли совсем неожиданно, я работаю над одним стихотворением, и тут очень хорошо, когда немного мешают.

Цербино. Как это?

Поэт. Ах, потому что иначе, в противном случае, познание и совесть вопреки лучшему решению могут совсем легко впасть в неестественность. Видите ли, я очень остерегаюсь и знаю мою природу, но все же это мне иначе противостоит, прежде чем я защищусь, бац! Впечатление, которое, могли бы сказать, граничит близко с поэтическим.

Нестор. Это человек! Это человек! Дружище, дорогой, дайте себя обнять, вы покорили мое сердце.

Поэт. Хотел бы я так думать. Видите ли, ради того я и размышляю об этом песке, этих камешках, из которых я некоторые хотел бы взять с собой, с такой точностью, дабы описать их в полном соответствии с природой; и затем читатель сможет, прогуливаясь под вольным Божьим небосводом с моим стихотворением в руках, сам сравнить это подражание с оригиналом с образцом.

Нестор. Справедливо. Как часто досаждают, когда идут следом, ищут великолепную вещь, которой описание находят в таких многих высокопарных стихах.

Поэт. Я также всегда благодарен, что для нашей человеческой души на самом деле есть такой край, как здешний, приятнейший; многого не видят, но эта пара маленьких диких цветков, которые тут так с трудом растут, замечают и ценят так искренне, и это как раз тот способ, как я люблю цветы.

Нестор. О, служитель граций и муз! Как ты говоришь с моей душой? Да, я ощущаю это сердцебиение, как далеко эта страна, прекрасная, вдали лежит от Сада Поэзии.

Поэт. Так это же моя дорогая Родина.

Нестор. О, почему я не родился тут?

Поэт. Спуститесь теперь еще ниже.

Нестор. Вы думаете, что я здесь отыщу мою пропажу?

Поэт. Без всякого сомнения, о, здесь хранят такие нравы. Здесь все так чисто, так очаровательно устроено и представлено, так каждый из нашей сферы влияния (круга деятельности) деятелен и счастлив, ах! Дорогой мой! Они только должны читать, как много об этом написано. Награждают таланты, защищают настоящее искусство, везде и всюду не найдете вы подобных полных вкуса реп, как те, что выросли в нашем краю.

Нестор. В самом деле?

Поэт. Человек идет всё ввысь, он приобретает и сберегает, сочиняет и размышляет, — заметьте это слово! — наши поэты ничего не сочиняют без того, чтоб не поразмышлять, — именно этим они отличаются от древних поэтов... Смотрите: там идет чумазый крестьянин, но благодарение Богу, его одежда не обшита галунами.

Цербино. Нет.

Поэт. Это называется природой, где мы теперь находимся. Только должен я еще набрать полные карманы гальки, мои дети ими охотно играют.

Цербино. Но это будет тяжело нести.

Поэт. Я знаю, но бывает поэзии все по вкусу. Куда вы, собственно, путь держите?

Цербино. Мы ищем хороший вкус.

Поэт. Я мог бы в этом помочь; ведь если вы, как я, несомненно, надеюсь, не любите натянутое и неестественное, то вы его получите от меня из первых рук. Ради разнообразия же могли бы вы посетить нашу резиденцию, где вам не будет недостатка в том, чего вы жаждете.

Нестор. Далеко ли отсюда это место?

Поэт. Как раз и нет, только дорога глубокая, в то время как она не длинная.

Нестор. Как так?

Поэт. Видите ли из-за милейшей, мягкой песчаной почвы, дорога тут вокруг неудовлетворительная, позволить вступить на ее поверхность, как будто с силой глубоко ноги затягивает, это указывает почва на известное

гостеприимство, доказывает *vis centripeta*¹ и также предотвращает, чтобы не слишком поспешно проходили мимо этого прелестного пейзажа.

Цербино. Эти края вокруг красивы?

Поэт. На удивление. Когда вы четверть мили дальше вниз пройдете, то найдете один особенный куст, который так романтичен и замечателен, что я не могу достаточно о нем сказать. Чего хотите вы? Если эта пыль не чрезмерна, остается он все лето зеленым. О, если вы там мимо пройдете, вы не сможете достаточно насладиться великолепным видом.

Цербино. Что же еще смотреть, кроме этого полужеленого куста?

Поэт. Великий Боже, вам этого еще недостаточно? О, тогда вы ненасытны и не годитесь для здешней поэзии и образа жизни.

Нестор. Говорите со мной, высокочтимый, я создание, которого боги больше удостоили дара мягкости.

Поэт. Так доберетесь вы до резиденции. Везде (пусть, однако, мой патриотизм не зайдет слишком далеко), вы во всем встретите картину, нарисованную моей поэзией от поэтов, философов, ученых, деловых людей, в хорошем тоне, в общении, всех высоких от снисходительных, до низших из обычных людей. Философы, посвятившие себя миру, просвещение, книги песен, проповеди, романы, все, все дышит прекрасным чувством гуманизма и терпимости; все подогнано по размеру, все знают меру, сердце ваше будет смеяться, когда вы совершенство этой человечности узнаете.

Нестор. Покорнейше вас благодарю, всемилостивый поэт. Теперь поспешим, мой Принц.

Они уходят.

Поле

Геликан.

Геликан. Так скажу я тебе, о мир, слова прощания, в дремучем лесу хочу я скрыться, где никто никогда не услышит о моих страданиях. Ни желания, ни чувства не потянут меня больше назад, в моей груди все давно погребено, что составляло мою иллюзию о будущем. Уходите робко с моего пути, цветущие цветы, не обращайтесь на меня бедного свои взгляды, одиночество, темные зеленые тени, пустынная местность под стеной скал должны в будущем стать моей родиной. Ни весна, ни осень не посетят уединения там.

Лесной отшельник из леса.

Лесной отшельник. Озарил светом в глубине леса милая ранняя заря, солнце из красных ворот манит меня наружу из моего одино-

¹ Центростремительная сила (*лат.*).

чества. Я вижу: волнуются вдали стада прилежного крестьянина, который плугом пашет, мне отныне не нравится одиночество, ведь деревьев и скал недостаточно сердцу. К людям тянет жаждущее сознание меня властно туда против моей воли.

Геликан. Я снова пришел к тебе, святой отец, однако лучше, набожнее, чем в последний раз; моя грудь насытилась, тише стучит утомленное сердце, единственное ощущение, которое от всех желаний осталось, только могила. Поэтому хочу я скрыться в лесной тени, этот источник в скале увеличить своими слезами, воспоминания должны питать меня болью, пока меня благосклонная судьба не истребит.

Лесной отшельник. Я был, с тех пор как тебя увидел, доброжелателен к тебе, невидимая сила привлекла меня к тебе. Я не постигаю, что так меня к тебе притягивает, твой образ мне ежечасно в сознании предстает: потому прими совет от моей старости, беги от одиночества и будь человеком. Как прекрасно: действовать, чтобы немедленно стать другим, этот поток увидеть, с его тысячью волн, это усилие, как награду разделить, и, пресыщенному жизнью, навстречу смерти бежать. Все же здесь протекает время однообразно, тебе не задашь никакой работы, чтобы только день был окончен, в ленивом самосозерцании проходят часы, и тем не менее не исцеляются сердечные раны, ты думаешь часто, что ты исцелен, и смеешься над забытой болью, одно слово, и ах! Ты чувствуешь, как дух разделяется, глубокий разрыв уже в старом сердце, потому оставайся сильным, иди послушно обратно в мир, юность цветет счастьем на любом месте.

Геликан. Можешь ты меня, уважаемый старик, так холодно оттолкнуть? Нет, возьми меня в свои товарищи по несчастью.

Лесной отшельник. Я так стар, хочу бежать к людям, среди них я хочу мою боль исцелить; потому хочешь ты мне и моей любви доверять, так иди со мной к каждой тихой долине, мы там страну и нашу дружбу построим.

Геликан. Я последую за тобой, о, отец, охотно, с радостью, для меня, где я ни пройду, пустит корни новое страдание. *(Они уходят)*.

Другая местность

Цербино в бешенстве, Нестор.

Цербино. Все напрасно! Все бесполезно.

Нестор. Во имя Бога, успокойтесь, пусть это будет благо, также это состояние пройдет.

Цербино. Никоим образом, никоим образом; я потерял, я не нашел никакого вкуса, я не нашел ничего, и мое временное благополучие навсегда прошло.

Нестор. Но почему вы отчаялись? Дайте себе удовлетвориться только уже на этот раз.

Цербино. Я не могу, это противно моему складу ума, так спокойно созерцать испорченность века.

Нестор. Мы, наверное, вкус давно нашли, и ничего об этом не знаем.

Цербино. Глупое утешение! Безумная надежда! Сдерживалось бы тогда так мое безумие, как оно в настоящее время это делает?

Нестор. Но оно сильно изменилось.

Цербино. О да, это сильно изменилось, и мое решение тоже уже принято. Я попытаюсь умереть.

Нестор. Об этом много было сказано, ибо искусство — нелегкое дело.

Цербино. Да, я хочу умереть, ведь если я тебе должен откровенно свое мнение представить, то мне мое дальнейшее существование уже наскучило.

Нестор. Возьмите пример с моей большой души, как я пытаюсь приспособиться во всех неприятностях.

Цербино. О, горе мне! Горе мне несчастному, что я родился! О зачем позволено мне когда-либо страстно желать, чтобы свет этих дней увидеть! Вкус! Вкус! Куда ты скрылся, что ты от меня на всех путях ускользаешь? Где я всегда могу тебя найти, нигде нет тебя; я думал иногда, здесь я тебя обрсту, так это всегда был обманчивый образ. — Теперь я хочу тоже внезапно выровнять дорогу, чтобы мир удивился. Я внимательно перелистаю все сцены этой пьесы, она должна прерваться и разорваться, так чтобы я или в этом настоящем спектакле встретил хороший вкус, или хотя бы мне и весь спектакль так уничтожить, чтобы уж ни одной сцены больше не осталось. Поэтому, мой дорогой Нестор, помоги руками, мы должны оба через все слова и виды речи до первого хора или пролога пробиться, чтобы так наше утомительное существование прекратить, и это сочинение, которое нам причинило зло, как отбросы, развеять по ветру.

Нестор. Что вы хотите начать?

Цербино. Одну неслыханную работу.

Нестор. И что должно из этого выйти?

Цербино. Вещь без названия.

Нестор. Теперь ведь, эти руки, эти ладони свежи для этого, поворачивайте эту машину со всей силы обратно, и всегда в обратную сторону, так достигнем мы, наверное, своей конечной цели.

Они вращают со всем напряжением.

(Изнутри) Что же это такое? Пьеса же идет назад.

Возвращается к предыдущему Поле, Геликан и Лесной отшельник выходит удивленный наружу.

Цербино. Сильнее! Сильнее! Смотри, одну сцену уже проли- стали назад.

Нестор. Я думаю, эту пьесу можно переводить вперед и назад, как хорошие часы, без всякого ущерба для нее.

Лесной отшельник. Парни, что же вы делаете?

Нестор. Пустяки, мы нас и вас всех губим.

Геликан. Но мы же хотим еще жить.

Нестор. С него мало спроса, если главный персонаж мечтает умереть.

Лесной отшельник. Мы рвемся на части, я должен по памяти все мои прежние речи снова говорить.

Геликан. Мне предстоит не иначе как желать могилы снова, хотя я уже давно оставил позади эту мысль. Эти парни крутят все сильнее, Лила снова придет с новой силой в мои фантазии.

Цербино. Переместитесь назад, дорогие друзья, чтобы мы эту безумную поэму окончательно победили.

Лесной отшельник. Слуга покорный. Геликан, можем ли мы с другой стороны крутануть, чтобы им это все же не удалось?

Геликан. Очень хорошо, но так мы останемся на месте и не пойдем ни вперед, ни назад.

Лесной отшельник. Это было бы то же, что удерживать время, о чем часто мечтают человеческие дети.

Цербино. Назад! Назад! Смотрите, я отыграл снова хороший кусок.

Возвращаемся снова в вольную пустыню, вдали виднеется вереск, Поэт снова ходит задумчиво вокруг.

Геликан. Это позор, вместе того чтобы пьеса только спокойно шла к концу, должен зритель уже по второму кругу слушать и смотреть, что ему уже первый раз было противно.

Лесной отшельник. Зовите на помощь! Помогите! Помогите!

Геликан. Помогите! Помогите! Помогите!

Оба (*во весь голос*). Помогите! Помогите!

Выходит Постановщик.

Постановщик. Кто из моих персонажей нуждается в моей помощи?

Геликан. Мы злополучные поэтические создания, эти оба прозаических главных персонажа помешались, и крутят теперь со всей силы эту пьесу назад.

Постановщик. Мой дорогой Цербино, как вы до этого дошли? Этого я в вас никогда бы не искал, к этому вы вовсе не были способны.

Цербино. Я не могу помочь себе иначе, ведь мне жизнь надоела. Крути, дорогой Нестор, все усердно раскручивай.

Постановщик. С таким я еще не сталкивался. Мне такой спектакль с моим героем должен принести успех!

Геликанус. Он так и остался дурнем.

Постановщик. Помогите! Помогите! Все сюда.

Читатель, Наборщик, Критик входят вооруженные копьями.

Постановщик. Сюда, друзья мои, видите совсем новый спектакль, этот герой моей трагедии распоясался, он думает, что вся пьеса должна вернуться в небытие.

Все. Так не пойдет, так не должно быть.

Наборщик. Это невозможно, ведь первые листы уже отпечатаны.

Критик. Хватайте этого сумасшедшего смелее, господин Составитель, чтобы он снова не вернулся к своим старым грехам.

Постановщик. Ах, Боже мой, я очень боюсь за глупых людей.

Критик. Как бы затем не пришлось вам начинать представление с начала.

Постановщик. Я не уверен, что до этого дойдет, сейчас он совсем распоясался.

Критик. Так и будет, если не принять во внимание пословицу: лучше сначала подумать, чем потом жаловаться.

Постановщик. Помогите же мне, дорогие друзья, так я хочу осмелиться и его схватить.

Цербино. Назад! Кто приблизится ко мне, это будет стоить ему жизни.

Постановщик. Теперь вы сами слышали...

Читатель. Вы слишком нерешительны, господин Постановщик, я приручу это чудовище, я приближусь к нему. Вы должны вести себя так, чтобы люди узнали после, что произошло, иначе это было бы хуже...

Цербино. Ты ведь понял вышесказанное?

Читатель. Вы не должны на такое решаться. Подумать только, когда это всё началось!

Критик. Предоставь себя, предоставь себя своей судьбе!

Постановщик. Окружите его со всех сторон, — господин Наборщик, господин Геликан, благоговейный Лесной отшельник, подходите все ближе. О несчастье! Если этот герой огреет Постановщика по голове!

Цербино. Назад! Нестор, посторонись!

Читатель. Господин Нестор, господин Нестор, я до сих пор постоянно прислушивался к вашему мнению, зачем вы играете со мной теперь злую шутку?

Цербино. Чего вы хотите, Критик? Вам до того нравится этот спектакль, что вы меня против моей воли хотите в нем удержать?

Критик. Ни в коем случае, я думаю это сумасбродство надлежит наказать, но тогда вы не должны подавать столь дурного примера.

Цербино. Да это же не первый раз, что персонаж против Постановщика восстает.

Критик. Но это все же никогда так сильно к слову не приходилось, этот повод был бы вовсе вопиющим.

Цербино. Но я не хочу, я не хочу. С дороги! (*Он выпрыгнул вперед, схватил Постановщика и швырнул его на землю, после чего убежал*).

Постановщик. Ах я несчастный Постановщик! Дорогой господин Наборщик, догоните его скорее.

Наборщик убегает.

Постановщик. Господин Критик, не дайте ему сбежать, и если он только будет в наших руках, так вы ему припомните в вашей газете этот удар.

Критик. Можете не беспокоиться, он должен непременно это прочувствовать.

Уходит.

Постановщик (*с земли*). Господин Читатель, вы мне не сочувствуете?

Читатель. Я должен увидеть, где этот герой останется.

Постановщик. Помогите же мне и выслушайте небольшое замечание, которое я к этому положению должен дать.

Читатель. У меня нет времени, я должен последовать за героем, эти неистовствующие обыкновенно очень интересны.

Быстро уходит.

Постановщик (*встает*). Ах, мой дорогой Лесной отшельник, не могли бы вы мне в утешение сказать несколько стихотворных строчек?

Лесной отшельник. Вы лучше знаете, откуда идут мои стихи, и если вы сами хромы, я не смею ни слога выговорить.

Постановщик. Все это несчастье сделал нам один-единственный парень.

Изнутри. Здесь он! — Эдесь! — Держите его!

Постановщик. О, когда бы его эти смелые люди поборили!

Цербино и Нестор возвращаются.

Цербино. Не хотите меня из пьесы отпустить, то я по меньшей мере Постановщику дам такую пощечину, что он всю жизнь меня будет помнить.

Постановщик. Я достаточно о тебе подумал, но поэтому ты не думай, что я должен тебя бояться. Подойди! Сюда! Я распознал в тебе подлую бродячую собаку.

Цербино. Иди! Если у тебя есть сердце? (*Они борются, Цербино падает в конце концов на землю*.)

Постановщик. Победа! Победа! Господин Читатель, господин Наборщик, здесь у нас сверхъестественный злодей, который против спектакля устроил заговор. Принесите веревку! Живо! Будешь теперь послушным?

Цербино. Я вижу, что совершенно такова моя судьба. *(Его уводят прочь.)*

Постановщик. С Богом, господа! Слава Богу, что это еще так кончилось. Сейчас также должно это все скоро кончиться, прежде чем он второй раз позволит себе такую выходку, ведь отчаяние часто творит чудеса.

Уходит.

Критик. Если бы я в этой сцене не помог, она бы не пришла в порядок.

Уходит.

Читатель. Вот так мы должны Постановщику в каждой его работе помогать.

Уходит.

Лесной отшельник. Идем, Геликан, нам нужно еще раз неторопливо взвесить наше решение.

Они уходят.

Пустыня

Поликомикус около своей пещеры ходит взад-вперед.

Поликомикус. Слишком поздно, чтобы повернуть обратно. Весь мой прежний лоск, мои таланты, мой почет у уважаемых горожан, все прошло, как не бывало. Так было бы проще, если бы старое благополучие вернулось ко мне, новый свет вошел бы в мою душу, но все улетучилось, как сон. Я вскоре пришел к мысли, что для своего блеска снова восстановлю старую дружбу, и мог бы искать примирения с Сатаной.

Иеремия входит.

Иеремия. Ваш покорнейший слуга.

Поликомикус. Живешь ты, плутишка, все еще на свете?

Иеремия. Я начал сейчас впервые жить, с вашего доброго позволения, и думаю еще дальше пробиваться.

Поликомикус. Так? Ты найдешь меня даже на краю света.

Иеремия. Это очень даже легко может быть, ведь мои таланты в полном расцвете, ваши в ослаблении, мир мыслит лучше, и что самое превосходное, я сейчас на службе у Сатаны.

Поликомикус. Эй! Эй! Это, однако, мой день разобрать тебя по косточкам.

Иеремия. Моя новая служба нравится мне чрезмерно, хотя у меня очень много дел.

Поликомикус. Чем же ты так занят?

Иеремия. Много чем; рецензирую, разъясняю, раздаю советы, дискредитирую, искажаю вещи, и выставяю в ложном свете...

Поликомикус. Ты поистине мои лучшие занятия у меня прямо изо рта отбираешь.

Иеремия. Только это было наполовину серьезно, наполовину дурачество, что вас к тому побуждало...

Поликомикус. Неслыханная дерзость!

Иеремия. Я делаю то же самое, но только из притворства и потребностей времени. Сейчас мы делаем особенный журнал с медными гравюрами, так что я едва могу полчаса выкроить, мою прежнюю пустыню снова посетить и с вами эту дискуссию вести.

Поликомикус. Покорный слуга. Я тебе кое-что по старой дружбе доверю: мои дела сейчас идут скверно.

Иеремия. Возможно ли это?

Поликомикус. Известное дело, я тебе даю в этом честное слово; почет, познания, предубеждение ко мне, все в буквальном смысле черт побрал. Я вижу отныне, что не могу без его помощи и защиты обойтись.

Иеремия. Он все еще говорит о вас, и неизменно с известным уважением.

Поликомикус. Иеремия, я хочу что-то сказать тебе. Видишь, здесь мои новейшие сочинения, что я тебе передам, если ты былое единодушие между нами можешь восстановить.

Иеремия. Я приложу все мои усилия, я всегда был уверен, что вы оба просто созданы друг для друга.

Поликомикус. Так обними же меня. *(Они обнимаются.)* Забудем старую неприязнь.

Иеремия. Все преходящее забывается и проходит.

Поликомикус. Итак, господин Иеремия, рассчитываю впредь на ваше милостивое расположение.

Иеремия. С Богом, мой дорогой. Предоставьте все мне, чтобы я все сделал, что только в моих силах.

Они уходят.

Королевский Двор

Готлиб, Королева.

Готлиб. Утешься, дорогая супруга, я знаю по своим прежним наблюдениям, что это время такого рода, что оно пройдет.

Королева. Мы нашего сына больше не увидим.

Готлиб. Мы должны подождать прежде чем такое говорить.

Королева. Потом будет поздно.

Готлиб. Между тем и не очень рано. Но радостное предчувствие говорит мне наоборот, что мы его скоро своими глазами увидим снова.

Королева. Ах, мне бы долю такого счастья!

Готлиб. Однако радуйся лучше, вместо того, чтобы жаловаться, прекрасному благосостоянию нашей страны; взгляни кругом, как процветают науки, торговля процветает, как образованна молодежь. Новоприбывший учитель огромную службу сослужил в нашем государстве.

Королева. Ах, мой сын! Мой сын!

Готлиб. Тише, говорю я, относительно того, что не относится к прочему, можно вытереть себе бороду, и смириться душой.

Королева. Мы своего единственного сына вынуждены принести в жертву наукам и искусствам.

Готлиб. Будь спокойна, ведь все это придет затем к нам в дом.

Королева. Все придет в дом, кроме моего сына...

Готлиб. О мне наскучили эти жалобы.

Входят старый Король и Гансвурст

Готлиб. Смотри, сюда идут эти ребяташки, сделают тебе по своему непониманию маленькое развлечение. Я восхищен мудростью providения в том смысле, что она такие создания в свет выпускает, чтобы мы постоянно менялись, вспоминая свои высокие дарования, и могли радоваться. Как ваши дела, Ваше Величество?

Старый Король. Мое самочувствие благодаря Себастиану все лучше.

Готлиб. Видишь, дитя мое, это такая известная удивительная степень душевной угрюмости, этот Главный учитель об этом тоже написал исключительную заслуживающую прочтения статью, в которой это явление разъясняет к всеобщему удовольствию.

Гансвурст. Совершенно верно, Ваше Величество, это не что иное, как психологическое сцепление, отголосок в душе, смешение уровней, и, кроме того, тайная игра воображения и тому подобное.

Готлиб. Да, да, моя возлюбленная супруга, это на самом деле чертовское состояние; человек иногда верит, человек может быть просто помешанным, — но все это не имеет отношения к нашему времени, когда все так причудливо переплетено, все этому служит, все способствует науке и психологии (мне хочется снять шляпу, когда я произношу это слово), так что нужно быть — Боже упаси! — очень осторожным, а то какого-нибудь человека ни за что, ни про что назовут дураком.

Королева. Так поощряет это также терпимость?

Готлиб. Не иначе, моя голубка.

Королева. Ну, мне это любо, ведь все в мире могу я переносить, кроме нетерпимости.

Готлиб. Совершенно верно, я мог бы также огнем и мечом туда бить, когда бы я такую нетерпимость как будто только заметил. О, никаких величайших друзей для меня нет, если мне так прямо многие и прямо что способные к терпению в руки идут, все виды единоверцев, мечтателей, язычники и турки, фокусники, люди, которые сгруппировались вокруг искусства конной езды, заклинатели и другие, которые верят в религию или искусство, поэты: все на свете, только ради всего святого не посягайте на эту реальность, ведь тут мое терпение лопнет. Так знай ты, как последний чужак тотчас будет выдворен из страны, который будет веселиться над моим парадом охраны, да эта шельма могла бы еще и что-то похуже схлопотать.

Гансвурст. Он мог попросить пощады, потому что нужно держиваться от подобных поползновений перед лицом такого впечатляющего примера.

Готлиб. Я в этом также достаточно раскаиваюсь, что я этого не делаю. Ну, возможно, вернется он при удобном случае один раз в страну.

Гансвурст. Тогда было бы не все потеряно.

Готлиб. Но, Советник, вы же сами сейчас ужасный фантазер, как вы до этого дошли?

Гансвурст. Бог знает, мой господин, со мной это случилось, как насморк.

Готлиб. Но вы делаете безобразное опровержение, волосы встанут дыбом, когда это читаешь.

Гансвурст. Надо признать, основательно и подробно это всегда составлено.

Готлиб. Но вы все же до сего времени были сносны и понятливы, отчего же вы так внезапно свихнулись?

Гансвурст. Возможно, должен этот старик так носиться с собой.

Готлиб. О, не берите в голову, и с тем сами себе ваши глупости не прощайте; вы фантаст, исправляйтесь.

Гансвурст. Мой государь, я все читаю, что против меня пишут, большего я не могу сделать.

Готлиб. Ну, это правда, тогда будьте уже на пути к исправлению.

Королева. Возможно, вам необходимо отдохнуть некоторое время.

Конюх, Леандр, Курио входят.

Конюх. Советник, где же вы? Нам очень нехватает глупости.

Гансвурст. Мой дорогой, вы что-то ее быстро поглотили, я думал, что такой терпкой пищи еще надолго хватит.

Конюх. Нельзя поверить, как они поглощаются, и у читателей неиссякаемый аппетит.

Гансвурст. К счастью, я написал кое-что новое.

Старый Король. Советник, вы меня вообще всегда бросаете на произвол судьбы.

Гансвурст. Каждый человек, мой государь, имеет ко мне странное влечение, я вообще очень популярен.

Старый Король. О, как обновляется мое состояние, с каждым днем становятся выше волны, я чувствую, мыслю, мечтаю не как вы, скука меня разрушит, если вскоре ты, Себастиан, не появишься, и слезами радости мы в голос не заплачем.

Конюх. Ваше Величество, это невозможно, я уже пару раз по этому поводу усердствовал.

Леандр. Это напрасное желание.

Старый Король. Все же это возможно! Поможет твое усердие; я стану скоро против тебя усердствовать, затем что по какой-то причине ты против меня усердствуешь, и тогда ты впервые почувствуешь удар моей руки.

Готлиб. Хватит! Хватит! Господин отец! Он находится под моей непосредственной защитой. Для этого есть распоряжение в моей стране.

Старый Король. Что этот червь нам делает долгое время? Ибо стало быть откровенно думать разрешено, так я думаю о нем, что он — собака.

Готлиб. Нет, так далеко свобода мысли идти не должна. Он впал в детство, господин Учитель, вы должны ему подобное уже простить.

Гансвурст. Этот сударь покинет ваш двор, Себастиан через какое-то время появится, чтоб с вами в голос плакать слезами радости.

Конюх, Леандр. Это возможно.

Старый Король, Гансвурст. Это возможно.

Конюх. Вы заблуждаетесь!

Старый Король. Вы проказник!

Готлиб. Никакой дуэли, никакого поединка, если я могу просить, чтобы бежали навстречу мораль и просвещение.

Фон Гинценфельд входит.

Фон Гинценфельд. Мой государь, я должен вам очень пожаловаться.

Готлиб. Жалуйтесь.

Фон Гинценфельд. В этом новом просветительском сочинении некоторые слишком хватили через край; не упустили ни одной возможности направить против меня колкость.

Готлиб. Как так?

Конюх. Милостивый государь, я могу присягнуть в противоположном.

Фон Гинценфельд. Только в последнем выпуске большая статья об электричестве котов, да Советник недавно осмелился тоже, наполнил мне флягу.

Конюх. Котам посвящена только натур-историческая статья.

Готлиб. Но этого все же не должно быть, все надо соизмерять, и персональной сатире я потакать не собираюсь. Смотрите, вся поэзия, вся наука должна нас укрощать, делать нас человечными, — но черт побери злые сердца, склоняющие к сатире против личностей, против уважаемых всеми людей.

Конюх. Этого нужно впредь непременно избегать.

Готлиб. Никак надо мной издеваются! Никакой человек в конечном итоге не надежен.

Селинус входит, подпрыгивая.

Селинус. О, радость! Радость!

Прыгает.

Готлиб. Что случилось?

Селинус. Не выразить словами счастья!

Прыгает.

Готлиб. По какой причине ты так скачешь?

Селинус. Мой долг! Моя любовь к родине!

Прыгает еще сильнее.

Готлиб. Ты рехнулся?

Селинус (*всем весом прыгает*). Солнечное сияние счастья вернулось, — из тьмы я только что увидел, — и там увидел я нашего всемилостивого Кронпринца входящим!

Готлиб. Это правда?

Королева. Это возможно?

Фон Гинценфельд. Тысяча чертей!

Королева. Мы выйдем ему навстречу.

Готлиб. Он уже идет.

Фон Гинценфельд. Я его уже слышу.

Селинус. Мой государь, для приобретения новых туфель, которые я самоотверженно разорвал...

Готлиб. Вот мой кошелек.

Цербино и Нестор входят.

Королева. Ах! Да они здесь!

Готлиб. Обними меня, сын мой.

Цербино. О мой отец, моя нежная мать! (*Обнимаются*).

Фон Гинценфельд. О радость! Мои глаза полны влаги, я забыл свой платок.

Уходит.

Леандр. О счастье! О блаженство! Как я должен беречься, не разразиться от эмоций высокопарными гиперболами.

Фон Гинценфельд возвращается.

Фон Гинценфельд. Теперь я могу надлежащим образом порадоваться. Лейтесь, лейтесь, мои слезы радости.

Готлиб. Ты здоров? Нашел ли ты вкус?

Цербино. Ах нет!

Готлиб. Как? И ты явился назад со старым безумием перед мое лицо?

Нестор. С вашей уверенностью, милостивый господин, мы в целом вылечились так изрядно, чувствуется, как только последняя аппретура¹, которую мы здесь без вкуса получили.

Готлиб. Да?

Цербино. Мы вернулись поумневшими, мы по ходу дела избавились от тысячи предубеждений, восприняли новые идеи, себя самих и человечество лучше узнали, в сумме мы стали полностью превосходными.

Готлиб. Когда бы только вы не стали еретиком или фанатиком.

Конюх. Я вас в таком случае, с вашего позволения, проэкзаменирую.

Цербино. Кто это?

Готлиб. Главный управляющий школами, мягчайший и превосходнейший человек.

Нестор. Да это же наша собака!

Цербино. Вот bestia! Почему же ты от нас убежал?

Готлиб. Что?

Конюх. Я изумлен!

Готлиб. Вы вернулись более глупыми, чем уезжали, вот каковы плоды путешествия!

Фон Гинценфельд. Но вы должны были в самом деле служить собакой?

Старый Король. Я именно то же говорил.

Готлиб. Моя радость превращается в скорбь и сердечное сокрушение.

Леандр. Позвольте ли мне внести предложение?

Готлиб. Ради Бога, предлагайте, что вы хотите, ведь мое отцовское горе не позволяет никакого разумного размышления.

Леандр. Мне кажется, по ним обоим достаточно видно, что они излишне образованны, и это богатство в будущем еще сослужит им разнообразную службу; только они еще так полны по-видимому поездкой и собственным превосходством, что они презирают все туземное, это в них слишком много чувства собственного достоинства, как будто при *sans comparaison*² с юными студентами; этот излишний дух высокомерия должен испариться, и они станут после этого превосходными гражданами; мой

¹ Отделка (*фр.*).

² По сравнению с другими, определенно (*фр.*).

скромный совет был бы таков, надо обоих поместить в глубокую тюрьму и оставить их на некоторое время поститься на воде и хлебе до тех пор, пока они исправятся, также можно было бы Нестору, не затрагивая слишком близко его честь, ежедневно давать по несколько ударов.

Готлиб. Это предложение прекрасно, нельзя придумать лучше. Вы хотите, злодеи, обойтись без вкуса, и выдаете полезных, привлекательных людей за собак.

Цербино и Нестора уводит стража.

Леандр. Приблизительно через месяц можно создать комиссию, чтобы этих бедных грешников проэкзаменовать, пришли ли они в себя, и по их самочувствию могли бы они тогда, возможно, выйти на свободу.

Готлиб. Пусть так будет, и только больше об этом не говорите. Идем, моя супруга, наша радость безобразно пересолена.

Уходит вместе со свитой.

Старый Король. Конюх, тебе будет лучше, если твоя персона теперь со двора вообще исчезнет.

Конюх. Как?

Старый Король. О, я очень хорошо тебя знаю, как хорошо ты умешь притворяться.

Гансвурст. Лучше оставьте это, государь, вы же видели пример, как наказан подобный предосудительный образ мыслей.

Конюх. Я удаляюсь, моя обязанность не позволяет мне много времени проводить в праздной болтовне.

Уходит.

Старый Король. Он кажется все же по крайней мере деятельным.

Гансвурст. Сверх меры.

Старый Король. Не поступил ли я с ним несправедливо, что не выказал ему никакого уважения?

Гансвурст. Лучше уважайте его, а не то как бы вы не почувствовали угрызения совести.

Старый Король. Это удобнее людям. Только, что другому мы тем причиняем несправедливость, которого мы его в сердце высоко почитаем, если мы такого не презираем. Один конфуз с этой гуманностью.

Гансвурст. Он вам претит, так не делайте так много несправедливости.

Старый Король. Он мне действительно отвратителен.

Гансвурст. Ну так чувствуйте к нему отвращение, и на этом точка.

Старый Король. Я тоже этого хочу, но прибавьте мысленно к его высокомерию его холопскую сущность, которую он воспринял от собаки. Какое же низменное понимание разумности он распространит!

Слышатся звуки фанфар.

Гансвурст. Что это?

Старый Король. Некий знатный чужестранец, должно быть, прибыл.

Натанаэль фон Малсинки входит со свитой.

Натанаэль. Добрый день, друг мой, государь.

Старый Король. Кого видят мои старые глаза?

Натанаэль. Не узнаете вы своего старого друга, который однажды захотел стать вашим зятем, принца Натанаэля фон Малсинки? Великий Готлиб сделал по этому случаю драгоценный подарок, который я очень желал получить.

Старый Король. Возможно ли это? — Советник, только посмотри на него...

Гансвурст. Я это и делаю.

Старый Король. Не находишь ли ты в нем ничего особенного?

Гансвурст. Ничего, кроме того, что он имеет немного чужеземный вид.

Старый Король. Посмотри на него, это же любезный Себастиан.

Гансвурст. Он действительно имеет с ним сходство.

Старый Король. Точно такой.

Натанаэль. В самом деле, у меня есть и другое имя — Себастиан.

Старый Король. О какая радость! Дай прижать тебя к сердцу, о ты, мой возлюбленный, так долго ожидаемый, так сердечно желаемый, так чудесно появившийся Себастиан. Но только должен ты также меня уже не покидать.

Натанаэль. Ни за что, ведь я все свои земли продал, чтобы впредь в покое и без забот жить и чтобы этим основательно исполнить, я избрал твое общество.

Старый Король. Так хотим мы удовольствий, но, чтобы все было гармонично, должен ты прежде всего сделать одолжение и впасть в детство.

Натанаэль. Как это?

Старый Король. Я имею в виду потерять разум. До тех пор, как я не приобрел этот дар, был я в высшей степени несчастным созданием, но с тех пор, как я впал в детство, я чувствую себя удивительно хорошо.

Натанаэль. Для тебя я охотно впаду в детство.

Старый Король. Так будем мы оба вместе с Советником одно тело и одна душа. Он когда-нибудь откажется от того, чтобы стать разумным.

Натанаэль. Ладно! Я сброшу с себя весь разум и буду жить с тобой счастливо.

Гансвурст. Государь, теперь мы могли бы точно этого господина Себастиана сравнить с тем другим, который у нас из свинца.

Старый Король. Нет, мой друг, оставь, могли бы мы неожиданно сделать беспокойство, теперь он у меня, я хочу, чтобы никто на него не смотрел; в противоположность, дорогой Советник, возьми его тотчас и швырни в огонь, чтобы он расплавился, и скелета от него бы не осталось, так после того никакое сравнение не будет возможным.

Гансвурст уходит.

Натанаэль. Что это значит?

Старый Король. Если ты хочешь впасть в детство, ты не должен ничему подобному удивляться. *(Они уходят, держась за руки).*

Поле

Дорус. Лила.

Лила.

И я должна поверить? Это правда?
Вы не ошиблись? Видели его? С ним говорили?

Дорус. Успокойся, дочка, он возвращается.

Лила.

И это его милое лицо,
И ясный взгляд, улыбка,
Весеннее зимой бывает солнце?
О, почему он не в моих объятьях?
Насколько далеко он? Ах! Не может
Того же он почувствовать, что я.

Дорус.

Сдержи еще немного нетерпенье.

Клеон входит вместе с Геликаном.

Лила. Это он! слава Богу!

Клеон. Лила! Лила! *(Они обнимаются).*

Геликан.

Я должен находиться в стороне
От этого спектакля, неверна
Всегда была мне радость.

Дорус.

Так небеса на землю опустились,
Как молния, пришло блаженство
В земное человеческое сердце.
Влюбленные после большой разлуки
Вновь встретились.

Клеон.

На этом самом месте
Я вырастить хочу куст розы. Лила,
Моя ты роза, Лилия; здесь праздник
Мы будем ежегодно отмечать
Воспоминаний сладких и надежды.

Лила.

Здесь с нами будут говорить растенья,
Напомнят розы поцелуй весенний.
И если ты рассердишься, разлюбишь,
Я приведу тебя на это место.
Очаровательно кивать нам будут розы,
Кусты слова любви нашепчут.
Примирился мы снова в поцелуе.

Клеон.

Не может наступить такое время,
Которому в свидетели цветы
Ты призываешь. Твой Клеон тебя
Как прежде любит! И любовь свою
Мы сохраним навечно, будем в ней
Растить цветы, и окроплять росой
Любви, чтоб листья вечно зеленели.
И сами будем мы гореть, как розы,
Неувядаемы, в сиянье вечном красок,
Благоуханны. И ничто в грядущем
Не сможет крепко сросшихся корней
Из мягкой почвы вырвать. Времена
Нас не узнают, мимо проходя,
В любви своей замкнемся, и они
Нас никогда друг с другом не разлучат.

Лила.

Вернулось все же солнечных лучей
Сияние, и прилетели птички
Ко мне, и видят слезы на лице,
Поют: любовь не выстужена,
Нет же! О нет!
Всегда весенним будет солнце!

Дорус.

Пришла мне песня старая на ум,
Которую не раз, когда был молод,
Слышал я, и уж с давних пор
Меня она волнует, и теперь
Спою ее я снова:

Снова бы я стал молодым,
Пестрый мир пройти бы хотел,
Всякий мой побег приносил бы
Чудную картину в мой ум.
Куда? Куда?
Свободу я выиграл уже.

Я здоров! И предо мной лежит
город, а за мной — лес с ручьем.
Я бреду в веселый тот край,
У меня никаких нет забот;
Но ах! Но ах!
Откуда вдруг раскаянье во мне?

Что ты хочешь, лес, от меня?
И чего ты хочешь, цветок?
Разве я уже вам знаком?
Вы так милы, доверчивы, но
Вы для меня чужая страна,
Я не могу друзьями вас назвать.

Но с тобой мы будем друзья,
Помнить будем вечно тебя.
Давние знакомцы с тобой,
Лишь тебя целуем листвою.
Целуй! Целуй!
Ты за нами должен пойти.

Тоска влечет тебя на свободу,
Тесно ей сидеть в твоей груди,
Ты не думал, как нежен май,
Он манит тебя здесь бродить,
И мы навечно
С тобою будем братья и друзья.

Так я затем свободу искал,
Чтоб рыцарем твоим бедным стать,
Мне лучше было сразу сбежать,
Вернуться в старый сумрак дома.
Так роща в цветах
Уже моей владеет душой.

Что ты хочешь, сладких красок обман,
И о чем поешь ты мне, птичья песнь?

Это пение и краски волшебны,
ощущаю я раскаянье несмело,
как долго, как долго
я носил в себе этот звук восторга.

И выходит из укрытия дух,
Кажет мне он свой честный лик,
из скалы идет, из лесу вон,
поднимается к дневному свету он!
А нет, так я,
Я снова побегу в сумрак дома!

Как можешь ты покинуть хотеть
Друга и вернуться во мрак?
Мы не можем оторваться от цветов,
И показать тебе земной свой взгляд,
Счастье твое
Тебе откроет радостный лик.

Мы все, мы все один дух,
Нас не разделить, не разобщить,
Каждый видит в нас разный вид,
И тебе понравится это, и меня узнаешь тогда.
Вверху, вверху,
Каждый туда идет своим путем.

Что увидит глаз в сиянии там,
Конечно же, прекрасные цветы,
Мог бы ты стать духом цветка,
И сладким показался бы мне?
Любовно-сладким?
Я охотно отдам тебе свою свободу.

Одна девушка у тебя и верна,
Незнакомая тебя любовь завлекла,
Знаешь, стала я любви прекрасным цветком,
Моим именем теперь назван он.
Я заменю тебе всю красоту мира.

Геликан. О ложь, подобной которой еще никто не выдумал, любовь завлекает нас вначале обманом, как мерцание это в темноте гаснет, нищий этот мечтает о сокровище, и бедный пробуждается от своего скудного положения, никто не сравнится с тем, кто верит в любовь.

Клеон. О Лила, что я только постиг, не пройдет упоение этого блаженства; я не могу еще прийти в себя, все еще топчутся образы из прошедших дней, та радость, которая струится из твоих очей.

Лила. Так надолго мог ты меня оставить?

Клеон. Однако зато наследство всецело наше, за которым я прежде всего отправился в поездку, и мои предшествующие хлопоты устроили нам несколько недель отдыха и целую жизнь без забот. Как я заблудился потом на обратном пути, попал в такой точно край, и не нашел никого, кто мне правильно объяснил бы дорогу, не могу я тебе рассказать.

Лила. Однако теперь ты не должен никогда меня покидать.

Геликан. Я зато вечно покинут.

Дорус. Ни один человек, который живет, совсем не покинут.

Клеон. Я тебе тоже должен об одном прекрасном приключении рассказать, последнем из всех, которое меня еще смутило, то единственное, что меня смутило. Как я, заблудившись, искал дорогу в лесу, меня вывел случай, меня вывело счастье, с той стороны прозрачного ручейка. Я стоял и оглядывал еще старые буки, которые отражались в прозрачной глади, ту скалу, которая наклонилась как крыша, и ленивые сверху ели, и некоторые кусты, они за годы сплелись друг с другом. Там почудилось мне, услышал я одинокий напев, милого нежного женского голоса, я бросился туда, думая, что тебя услышал, если еще никакой другой звук никогда так нежно меня не трогал; вот я дошел до ручья, однако мои поиски певца не увенчались успехом. Неужели могла петь нимфа? Так думал я тихо про себя и боялся неосторожно ногу поставить, в кустах пошелестеть; однако должно быть, не с небес, такие жалобные звуки из груди доносились. Воодушевление пронзило все мое сознание, высочайшее удивительное, ведь я забыл себя самого, я боялся, что Диану мог я отыскать, которая еще песню красоте Эндимиона пела, возможно, вообще Афродиту, которая не может забыть сияние молодости Адониса, так глубоко меня этот звук растревожил. Между тем заметил я вдали, сначала отразился портрет разлива, затем тот образ, который жаловался, приговаривая и плача, и прекрасная показалась, волна заблестела, и радостно принялись от нее танцевать, деревья зеленее, небо синее, и цветы, которые склонились на берегу, хотели бы погрузиться в сияние этого образа. То девушка была с распущенными волосами, лишь наполовину одетая, только что искупавшаяся, в милом смущении находилась, как от себя самой покраснела, этот взгляд на себя обратив, все формы прекрасны в совершенстве, благородный образ, она меня не видела, и я стоял так поражен в созерцании, что я забыл дышать и думать. Ноги еще омывали волны, и бурлило, радостно струясь, течение вокруг, и отсвечивали блестящие ноги и бедра, такие нежные и белые, что зеленой казался берег, прозрачнее поток и светлее сиял. Однако почему ты плачешь, Лила, моя хорошая?

Лила. Как я должна страдать от недостатка красоты, как ты меня, недостойный, не можешь любить, это принуждает слезы литься из слабых глаз.

Клеон. Оставь, сладкая любовь моя, всю ревность, прости, что я это видение тебе пересказал. Я утешу эту прекрасную печаль, она была смущена, внезапно там меня обнаружив, она пришла со мной, и ищет, как я, одно милое сердце, с которым долго была в разлуке, и которым она в лучшие времена заболела.

Геликан. Так, однако, больно еще и другим, кроме меня? Однако, маленькое утешение тому, кто жалок.

Клеон. Она до сих пор меня сопровождала, и ждет, возможно, не прозвучит ли ее имя.

Дорус. Что ее удерживает, чтобы самой показаться?

Клеон. Возможно, что она здесь найдет жестокое сердце, которое ее за страдания не простит.

Геликан. Как же зовут эту прекрасную путешественницу?

Клеон. Если я не ошибаюсь, ее имя было Клеора.

Клеора входит.

Геликан. О небо! Боже мой: возможно ли такое чудо?

Клеора. Я искала тебя, — хочешь ты меня теперь оттолкнуть?

Геликан. Ты искала меня? Хорошая моя! Ты меня простила? Я оттолкну тебя? Ты сжалилась надо мной? Я не знаю, что я говорю, какие слезы, или печаль, или радость, устремится из моих глаз горячий жар, знаешь ты меня, Клеора?

Клеора. О можешь ты мне тяжкую вину простить? Я по всему свету искала тебя, отсутствующего уже умоляла я тебя о прощении, о пусть присутствующий меня простит.

Геликан. Так это не сон? Так, верно, осталась иллюзия? Эти скалы, деревья стоят? Если я только снова вернусь в сознание, я буду самым счастливым на всей земле.

Клеора. Так мы теперь от всего сердца помирились?

Геликан. Бог удостоил нас прекраснейшего.

Клеора. Как ты меня в то время в диком отчаянии оставил, так нашел меня как обрученную невесту, — со слезами я тебя желала вернуть, ведь моя глупость привела тебя к этой последней попытке.

Геликан. И где мое счастье с тех пор ближе всего лежало, видел я только черную беду передо мной лежащую!

Клеора. Теперь я не желаю, ты не ошибся бы, ведь люблю мне то, что я ради тебя перенесла.

Дорус. Входите все в мою маленькую хижину, и уже там задумав дальше поболтаем, как все это чудесно случилось, Бог бережет жизнь влюбленных. (*Уходят.*)

Тюрьма

Цербино, Нестор. (Оба в глубоком размышлении.)

Нестор *(после долгой паузы)*. Это столетие к сатире вовсе не благосклонно.

Цербино. Как это?

Нестор. Вообще очень разумно, никакой удивительной глупости.

Цербино. Мы сидим тут уже четыре недели, только потому, что все люди стали распрекрасными и разумными.

Нестор. Она нас, верно, исправят в конце концов, раз они оставили нас так долго здесь сидеть.

Цербино. Я утратил прежнюю смелость, кроме того, от отчаяния я снова пришел к мысли прокрутить назад пьесу, — но мы к тому же здесь взаперти.

Нестор. И эти побои, которые мне отсчитывают, — это подавляет все мысли о свободе.

Цербино. Время для меня тут тянется так долго, что я на десять лет повзрослел.

Нестор. Это сделано, чтобы наши опыт и знания хорошо осели и упали в почву.

Цербино. Мы были высокомерны, не отрицаю этого.

Конюх, Леандр, Гинц фон Гинценфельд входят.

Нестор. Слава Богу, что мы снова видим людей.

Цербино. Это праздник.

Фон Гинценфельд. Мой Принц, мы как комиссия спустились на заседание, проведать ваше умственное здоровье, пригодны ли вы теперь оба к гражданской жизни или нет.

Цербино. Проэкзаменуйте нас.

Конюх. Прежде всего, кто я такой?

Цербино. Достопочтенный человек.

Нестор. Благодетель человечества.

Конюх. Ну, первый ответ совершенно удовлетворительный.

Фон Гинценфельд. Меня радует, что вы вернулись к умеренности.

Цербино. Мы увидели свои прежние ошибки.

Конюх. Чувствуете ли вы в себе стремление нести человечеству счастье?

Цербино. Моим первым делом должно стать верное изложение в книге моего для себя самого накопленного опыта.

Нестор. И я озабочусь изданием своих путевых заметок, совершенно серьезно.

Конюх *(аплодирует)*. Bravo!

Леандр. Наказание возымело хорошее действие.

Цербино. Я хочу, чтобы мой господин отец подыскал место, чтобы я мог воплотить в жизнь свое стремление к деятельности.

Фон Гинценфельд. Точно так, я стар, вы займете мое место.

Цербино. Если только мы не будем нуждаться на такой высокопоставленной должности в необходимых познаниях.

Фон Гинценфельд. Так я вами буду руководить.

Нестор. Если я, Господин главный управляющий школами, буду здоров, и под вашим управлением и руководством облекусь в какую-нибудь должность в школьном и просветительском деле, я посчитаю себя чрезвычайно счастливым.

Конюх. Приложим для вас все усилия, вы кажетесь мне прекрасно сложившимся исследователем.

Леандр. Как вы относитесь к поэзии?

Цербино. Что она одна глупость.

Нестор. Что я в будущем же всегда буду писать.

Леандр. Господа члены комиссии, я думаю, мы выпустим их снова на свободу.

Фон Гинценфельд. Я против этого ничего не имею.

Конюх. Я нахожу, что их разум в полном порядке.

Фон Гинценфельд. Таким образом вы можете идти, дорогие господа, теперь ваше благоразумие не представляет больше опасности для города. *(Они уходят.)*

Площадка перед домиком Доруса

Клеон, Лила, Клеора, Лесной отшельник, Геликан.

Лесной отшельник.

Нет нужды поздравлять вас с вашим счастьем,
Теперь в награду смело у судьбы
Просите все. Теперь я совершенно
Стал одинок, и рядом ни души,
Которая о старом человеке
Хотела бы заботиться. Настолько
Теперь погружены в свою вы радость,
Что грустных мыслей думать не хотите.

Геликан.

О нет, милейший старец, мысли эти
Оставь, ведь через счастье наше сердце
Впервые к состраданию открылось.
Кто погружен в страданья, как в темницу,
Кому взаимно не ответит сердце

Чужое, тот лишь поглощен
Тем, что ему себя же не хватает.
Он в оскуденье горестном своем
Самодостаточен. Но не хватает мне
Отца, и ты моим отцом
Стать должен. И Клеора тоже
Родителей когда-то потеряла,
Поэтому на радость нам останься,
И с нами раздели, что мы имеем.

Лесной отшельник

Как это предложение прекрасно,
Я принимаю оба приглашенья:
Однажды у меня уже был сын.
Ровесники вы с ним, и вероятно,
Что на твоей изображен картинке
Его портрет. И на тебя похож
Своей он добродетелью: война,
Которая ко всем была нещадной,
Украла у меня в один момент
Супругу и единственного сына.

Геликан.

И никакого известия с тех пор не пришло?

Лесной отшельник.

Разыскивал я, устали не зная,
Но ничего не смог я обнаружить,
Кто в страшной суматохе был защитник
Для женщины и малого ребенка?
Я в поле был тогда у одного
Почтенного простолюдина
Из нашего местечка, что в осаду
Попало, и забрал свою жену.
И в место безопасное отправил,
Сопровождая по дороге в город.
Враждебный рыцарь по пути меня
Пленил, однако с милым сыном
Успела ускользнуть моя жена,
Чтобы потом, не выдержав разлуки,
Уйти навеки. А спустя два года
Я был освобожден, чтоб плакать
Всю жизнь по этой дорогой утрате.

Геликан. Ты хорошо знаешь эту картинку, милый отец?

Лесной отшельник. Моя собственная.

Геликан.

О, значит, я твой сын,
Долго был потерян, а теперь
Нашелся. Подсказало это мне
движение сердца. Этот незнакомец
к тебе меня привел.

Лесной отшельник.

Не может, не может быть, такая радость
была бы слишком велика на склоне дней.

Геликан.

Вы не умрете, позаботится о вас
Ребенок ваш, и старость сделает моложе.

Лесной отшельник.

Однако, расскажи, тебе я верю,
Как это статься так могло?

Геликан.

Вот этот благородный образ
Мать завещала мне на смертном ложе,
Мне шел уж пятый год; она так долго
Искала вас в чужом краю, но тщетно.
И умерла, и ничего на память
не сохранилось от нее, но добрый
тот человек, что взял меня к себе
как сына, и, любя, дал воспитанье,
и обучал всему, что только знал он,
И только вырос я, он этот образ
Мне подарил. С тех пор весь свет
Я исходил, но мне никто, однако,
Не мог сказать, где благородный Морган,
И я уж было в смерть его поверил.

Лесной отшельник.

Ушел я в дальний лес,
В веригах тело,
Залил слезами горе, и молитвам
Я полностью предался. Но теперь
Позволю снова радости проснуться,
Я обниму тебя, пусть улетает
Мой сон, который дух мой долго
Пугал ужасно. Я спасен, ведь снова
Ты у меня есть.

Дорус входит.

Геликан. Друг, я обрел отца.
Лесной отшельник. Ко мне вернулся мой любимый сын.
Дорус.

Сегодня радость, происходят чудеса:
И многое еще у нас случилось,
О чем никто, конечно, не слышал,
Вот только я из города вернулся,
Там зло творится, шум и крик повсюду,
О новости новейшей разговоры,
Построили большой помост, чтоб видеть,
Как Поликомикус мириться с Сатаной
Намерен, и как будет Готлиб
Короновать как Принца сына. Сам он
Воссядет на великолепный трон свой,
Вокруг него — трибуны для народа,
Позвали вольных каменщиков тоже,
Тех, впавших в детство, основавших ложу,
И всех соперников позвали их. Там Гансвурст
Как мастер кафедры предстанет пред народом.
Мы вниз должны бежать сейчас, скорее,
Чтобы успеть занять себе местечко.

Они быстро уходят

Огромный круг, Готлиб на троне, весь его двор в сборе, весь народ как зрители вокруг на подмостках, также входят поэты.

Под звуки барабанов и труб входит Поликомикус, с другой стороны Сатана с Иеремией в должности оруженосца. Длинная пауза. Сатана и Поликомикус обнимаются. Громкие аплодисменты с трибун.

Сатана. Я тебя прощаю.

Поликомикус. Я снова стал стариком.

Сатана. Ну, тогда к тебе должно вернуться старое влияние.

Поликомикус. Конюх, Леандр, Гинц, все честные снова будут на меня равняться.

Один из народа. О, всё человечество воплотилось в Поликомикусе! Примириться даже с Сатаной!

Народ. Bravo! Bravo! Теперь образование может пойти быстрыми шагами. *(Аплодируют.)*

Поэты. Мы тоже хотим в будущем послужить на общее благо.
Все *(с энтузиазмом)*. Bravo! Bravo!

Падает занавес.

Охотник выходит в роли Эпилога с поклонами.

Кто был Прологом, стал вдруг Эпилогом.
Перевернулось в мире все так чудно:
Могу я сочинить вам под конец
Еще чего-нибудь, коль моя песня
Не надоела. Но какой конец
Считать вполне законченным возможно?

Мрачнее и светлее мимо нас
Несется мир. А мы бредем всё дальше,
Мрачнее и светлее станет скоро,
И как нам быть, увы, не знаю я;
Небесная поэзия нас учит
Тому, как быть. Но у тебя она
Не спросит ничего и отвернется
От света, продолжая просто жить,
Жить все мрачнее, иногда светлее.
Она не замечает, что все мрачно,
Божественною силою искусства
Она нам улыбается порой
Из светлой дикости, и ненависть
становится любовью светлой.

Зачем томиться?
Толку — тосковать?
Все слезы,
Ах! Думаешь,
Как далеко до дали,
Где мнишь —
Прекрасны звезды.

Непонятой, однако, остается,
Вмещающая скудный смысл,
Звезда ли она, цветок, высокая любовь ли.
Теперь охота, друзья мои,
Подходит к завершенью.
Все миновало, что еще недавно
Вас забавляло. Мы теперь назад,
К охоте, поворачиваем! Ночь!
Такая темная! Вы уже с собой
Добычу свою взяли? Так вставайте,
Ищите зеленеющей долины,

Пронизанного звуком рога леса,
Что пестрой стаей птиц
Пропет насквозь. Почаще находите
Его, ведь он уж вам знаком.
Ну вот, никто уж не придет.
И стал чужим охотник,
Вот он мчится, словно выстрел,
И не приносит никому отрады;
И вообще, такой охотник должен
Лишь в комнате охотиться своей.

Живое сердце, свежий ум,
Вот польза в чем.
Своя чашу радостно бежать.
Уходит ночь,
Все на охоту! На охоту!
Когда смеется розовое утро.
Лесная песня и звуки рога.

Уходит.

Эпилог (*выходит в последний раз и говорит*).

В скором времени будут для разнообразия идти: «Хюго и Хегеса», немецкая народная комедия в различных видах.

МИР НАИЗНАНКУ

Историческая пьеса в пяти действиях

Симфония

Andante Ddur

Захотелось однажды развлечься, и уже не важно было, в каком жанре это совершить, важнее было истинно развлечься. Невозможно постоянно быть серьезными, невозможно постоянно быть веселыми. Нужно взять в толк в обоих случаях, что именно хотим мы делать, — именно так легче всего сохранить истину, чтобы и веселость оставалась в сохранности.

Piano

Вероятно снова услышим моралистические рассуждения в Симфонии? Почему сегодня все так должно начинаться, и почему я все равно не позволю всем инструментам исполнять какие попало звуки? *Volti Subito* (переверните немедленно!)

Crescendo

Потому что на все свое время, и потому что слушателю не все равно, что он вынужден сидеть в пустом удивлении. Трудно играть с листа, но почти так же трудно услышать исполнение с листа способом экспромта. Больше прислушиваешься, на кого-то снизойдет в упоении поэтическое вдохновение, если только большим литаврам дать зазвенеть, это и трубам позволит изнутри закричать.

Fortissimo

И так шум и сумятица боя восстанут, которых ни одно человеческое ухо слышать не в состоянии, чтобы — как ураганы в дубовых рощах, как гром в горах, как непонятные водопады бушуют, это легко сделать, если у композиторов будет в распоряжении большой оркестр.

Adagio

И поистине! Я придираюсь, начиная осуждать ту же ошибку. Таким образом, это происходит от бедности человеческого духа, тем более в музыке, где неизвестно, кто Кох, а кто Кёльнер. О! Я сконфужен! О! Чтобы я что-нибудь подобное когда-либо встречал!

Tempo primo

Однако теперь нельзя больше ничего переделывать, и, пожалуй, оценивающему слушателю это доставит удовольствие, а это и есть цель всей нашей канифоли. Кто думает иначе, тот не музыкант, и так я теперь прекрасен в этой части, из которой я исхожу, возвращаясь к ней.

Violino Primo Solo

Это сущая глупость, что симфония пишется без всяких нот, можно также цитату привести, если постараться. Наши книги, в целом, хоть сколько-то

отличаются друг от друга? Большинство наших симфоний немногим более одной несчастной части, которая всегда приходит на мысль и не позволяет себя вытеснить другим мыслям. Ах, дорогие люди (я имею в виду моих слушателей), которые все чаще в мире отдаляются друг от друга, как вы полагаете, ради чего делаетесь вы справедливее, снисходительнее, и не всё вылетает у вас из головы, если вы встречаетесь в пьесе с парадоксальным моментом?

Pizzicato с аккомпанементом виолончели

Парадоксальные моменты, впрочем, понятливым людям кажутся таковыми намного реже, чем думают некоторые люди. Понятливые же люди еще более редки...

Все инструменты вместе

Вне всякого сомнения, среди зрителей и слушателей не должно быть больше ни слова об этом, и вокруг этого так радуется театр, например, оттого, что ему предстоит играть перед такой сияющей или сиятельной публикой. Мы надеемся, что всё должно пройти хорошо, и что никто не потеряет терпения; в таком случае будем все вместе спасены от зла.

Forte

Теперь примем, пожалуй, надлежащие положения. Больше зрителей уже не придет. Внимание! Вы же все-таки должны войти в наше положение. Внимание! Внимание! Слушайте! Слушайте! Сюда! Сюда!!!

Занавес поднимается; театр предстает перед театральными подмостками

Выходит Эпilog

Эпilog. Ну, мои дорогие, как вам наш спектакль? Немного порадовались, между тем вы привыкли к восприятию, и был это, однако, из всех приемов самый достойный. Нельзя все дни быть новым, и, если только возможно, чтобы не все дни были превосходными, ведь должны мы сами перенестись туда. Если все дни будут превосходными, будем мы хуже знать обыденность, и, вероятно, сострадание будет в почете, и будет превосходно. Вы не должны, впрочем, больше удивляться, что еще не видели целиком пьесу, потому что надеетесь, однако, что вы достаточно образованны, чтобы понять, что перед вами происходит невесть что. Кто будет всех учить, что им должно быть по вкусу! Поистине, приговор большинства будет еще короче, чем письмо Лакедемона. Вы еще надеетесь и предпринимаете попытку судить, ведь вы не видели нашу комедию целиком, чтобы знать, что она собой представляет. Ваше сознание доверяет имени сочинителя, если он знаменит, и суждению хороших друзей, вас ведет обыкновенный проводник.

Но наступает время, чтобы я уступил. За кулисами царит великая путаница, и лучше всего я уйду, чтобы и меня не увлек поток. Адью.

ПЕРВЫЙ АКТ

Скарамуз. Поэт.

Скарамуз. Нет, господин Поэт, говорите, что хотите, разговаривайте, о чем можете, думайте и меняйте, насколько у вас есть возможность, так как я твердо решил не слушать, не думать, а на своих желаниях настаивать, и точка!

Поэт. Дорогой Скарамуз...

Скарамуз. Я не слышу. Как видите, господин Поэт, я и уши закрыл.

Поэт. Но пьеса...

Скарамуз. Что пьеса! Я тоже своего рода пьеса, и я тоже имею права, кстати говоря. Или вы думаете, что у меня нет желаний? Ваши поэты думают, что господа актеры будут постоянно принуждены делать то, что вы им прикажете? О, господин, времена иногда таковы, что меняются внезапно.

Поэт. Но зрители...

Скарамуз. Следовательно, потому что в мире существует зритель, то я должен быть несчастен? Ах, какая ужасная судьба!

Поэт. Посмотри только, все люди смотрят на нас.

Скарамуз. Тем лучше.

Поэт. Но они могут из-за нас сделаться безумными.

Скарамуз. Такая встреча для них — не новость.

Поэт. Друг, вы должны меня внимательно выслушать.

Скарамуз. Если я должен, ладно. Я здесь, ну говорите что-нибудь как понимающий человек, если вы можете.

Он садится на пол.

Поэт. Многоуважаемый господин Скарамуз, вы тот самый, кто в здешнем театре заангажирован, несомненно, для определенного амплуа, которое, кратко выражаясь, есть Скарамуччо (Арлекин). Также никогда не следует отрицать, что вам предоставляется в этой сфере такая изрядная широта, и нет человека в мире более благосклонного, чем я. И я справедливо даю проявиться вашим талантам. Но дорогой мой, в силу того, что вы никогда еще не участвовали в трагическом представлении, вы еще не в состоянии представлять благородный характер.

Скарамуз. Это я не в состоянии? Моя душа так благородна, что вы никогда не сможете этого описать. Если делается так (как в наше время делается), что какие-нибудь благородного происхождения люди или господа требуют благородные роли, так я требую вслед за этим, чтобы весь мир, от мала до велика, меня в благородстве превзошел бы.

Сидящий слева, один из зрителей. О, господин Скарамуз, что еще с него взять...

Скарамуз. Как так? Эй, как это? Я должен признать, что удивлен таким бесстыдством.

Сидящий слева, один из зрителей. Нет, мой господин, это не повод для вас удивляться. Я здесь за свои деньги, господин Скарамуз, и потому я здесь думаю, что мне хочется.

Скарамуз. Свобода мысли — ваша неотъемлемо, но эти разговоры для вас запрещены.

Сидящий слева, один из зрителей. Если вы смеете так говорить, то мне тоже становится позволительно.

Скарамуз. И как же вы поступаете, неужели благородно?

Сидящий слева, один из зрителей. Я оплатил позавчера долги моего распутного племянника.

Скарамуз. И я вчера отослал суфлера, и сам в это время дочитал всю сцену.

Сидящий слева, один из зрителей. Я на прошлой неделе был за столом в хорошем расположении духа и пожертвовал целый талер на милостыню.

Скарамуз. Я поссорился позавчера с портным, который пообещал мне и не сдержал слова.

Сидящий слева, один из зрителей. Восемь дней назад я принес одного пьяного человека домой.

Скарамуз. Этот пьяный был мой господин, но я выпью за здоровье нашего монарха.

Сидящий слева, один из зрителей. Я признаю себя побежденным.

Скарамуз. И за это вы теперь так неблагодарны, и приходите, и хотите умалить мое благородство?

Сидящий слева, один из зрителей. Я прошу прощения, господин Скарамуз.

Врывается Пьеро.

Поэт. Что ты хочешь, Пьеро?

Пьеро. Что я хочу? Я не хочу сегодня играть, совсем не хочу.

Поэт. Но почему?

Пьеро. Почему? Потому, наконец, что тоже однажды проговорюсь зрителю, что я когда-то давно был комедиантом.

Входит Вагнер, директор.

Поэт. Хорошо, что вы пришли, господин Директор, здесь все в большой путанице.

Вагнер. Каким образом?

Поэт. Пьеро не хочет сегодня играть, но хочет быть зрителем, и господин Скарамуз хочет в моей пьесе играть вообще не кого иного, как Аполлона.

Скарамуз. И по праву, господин Директор, я дураков уже довольно долго играю, так что теперь хочу перевоплотиться однажды в умного.

Вагнер. Вы очень строги, господин Поэт, вы должны все-таки бедным людям дать немного больше свободы, можно немного посмотреть сквозь пальцы.

Поэт. Но как быть с пьесой?

Вагнер. Ведь когда-то это случается. Посмотрите, я думаю так: стоило ли зрителям платить, чтобы случилось такое.

Пьеро. Пока, господин Поэт! Я присоединяюсь к достопочтенной публике. Как же мне хочется над сценой совершить большой прыжок со скалы Леукас, чтобы посмотреть, прыгну ли я, и будет ли меня лечить кто-то из дураков-зрителей.

Любил я раньше жизнь благополучную,
Теперь начну жизнь новую. И вот
Я приготовился к разумному прыжку,
Сердцебиение иное ощущаю.
Меня не могут испугать отныне сцены,
И никакой суфлер меня вернуть обратно
Не сможет.
Нет, хочу я испытать
Блаженство в зале двигаться.
Встречайте
Теперь меня, идущего туда,
Волненьем диким полного.
Театр, встречай меня,
Летящим вниз
К прекраснейшей победе.

Он прыгает в партер!

О небо! Где я?
Все еще дышу?
О чудо! Я стою
Внизу? И там мерцанье.
Меня вам видно, боги!
Толпою окружен;
возвысился я гордо!
Кого благодарить за эту жизнь?
Прекраснейшую жизнь?

Зрители. Господин Пьеро переименован в зрителя. Зритель Пьеро, добро пожаловать! Будь с нами, великий человек!

Пьеро. Вы думаете обо мне, вы благородные? Вы приняли меня в братья? О, моя благодарность бесконечна, пока моя грудь дышит.

Грюнхельм. Прекрасно! Прекрасно! Как по мне, великолепно! Но, если больше нечего говорить, так я могу для разнообразия охотно поучаствовать в игре, что будет приятно моей душе.

Сижу я, только сижу, только заикаюсь

Однако, этак действовать нельзя,
Ошибочный мне выпал жребий. Я
Так чувствую, но вынужден шутить.

Он поднимается на сцену.

Итак, господин Скарамуз, предоставьте мне только добровольно вашу комическую роль, и можете тогда, как было сказано, поменяться на Аполлона.

Скарамуз. Я стою за послушание, если я вам могу услужить всем моим своеобразием, то распорядитесь.

Грюнхельм. Очень хорошо, очень хорошо, только прошу покорно.

Поэт. Но что же будет с моим превосходным спектаклем?

Пьеро (*из зрительного зала*). Господа, поддержите заявление Скарамуза. Я уверяю вас, я клянусь вам, из него выйдет прекрасный Аполлон.

Зритель. Скарамуз должен играть Аполлона, и именно в соответствии с нашим требованием.

Поэт. Ну, хорошо, я умываю руки, связаны ли они у меня; публика может сама нести за все ответственность.

Публика. Мы несем ответственность.

Поэт. Я в величайшем бедствии, — ах, правда, таково призвание нашего искусства, — становится всецело неразумным и пародийным, и увы, затем падают нравы все ниже. Этот приговор, вынесенный Марсию, также по нам ударяет. Я знаю, что не позволю себе скорби. Господин Грюнхельм, вы принимаете на себя также и все представление?

Грюнхельм. Конечно, господин Поэт, и я хочу стать всем известным человеком.

Поэт. С чего хотите вы теперь начинать?

Грюнхельм. Мой господин, я так долго служу человеком, который занимается тем, что разрешает развлекаться, я имею в виду, что я служу зрителем. Поэтому я знаю точно, что такое удовольствие. Люди здесь хотят именно развлекаться, что, в сущности, единственная причина, почему они сидят так тихо и спокойно.

Поэт. Хорошо, но как вы хотите это делать?

Грюнхельм. Видите ли, зритель приходит, конечно, чаще всего по доброй воле, что я хорошо знаю, как и вы, кто охраняет искусство от того, что эта добрая воля с собой привносит, я имею в виду именно то, что поддерживает это добродушие.

Поэт. Ну конечно, но именно средства...

Грюнхельм. Ну, это же моя забота, господин Поэт, поэтому вы не заботьтесь ни о чем. (*Поёт.*) «Ведь я же птицелов...» и т.д.

Зрители. Bravo! Bravo!

Грюнхельм. Ну? Видите, мой господин, это только одно из моих средств. Или вы плохо развлекаетесь, господа?

Зрители. Отлично, всё чрезвычайно превосходно.

Грюнхельм. Есть у вас тоска по чему-то рассудительному?

Зрители. Нет, нет, но после этого мы хотим немного отдохнуть.

Грюнхельм. Только терпение, не может же все смешаться в одну кучу. Вы, может быть, заметили отсутствие, стало быть, настоящего Аполлона?

Зрители. Нет,нисколько.

Грюнхельм. Теперь, господин Поэт, что вы, стало быть, ничего не имеете против дражайшего Скарамуза?

Поэт. Более ничего, я сдаюсь.

Уходит.

Зрители. Мы хотим снова негромкую шутку.

Скарамуз. Береги нас Бог от такого греха. Чем был бы я для Аполлона, если бы я страдал или соглашался? Нет, господа, изобилие серьезных вещей, вещи для размышления, — понимание их приходит с упражнением в них.

Некий курьер входит.

Скарамуз. Что случилось?

Курьер. О, всемогущий Бог, чем дальше заходят твои шутки, тем больше ты разбиваешь лиру, тебе Гомер много человеческих имен надавал, которые я наскоро, в спешке, назвать не могу. Я пришел тебе сказать, что твой враг, который, кроме того, назван прыгающим Аполло (почему вы в обидной неопытности проживаете дни земного бытия), теперь, мой повелитель, скрылся и пасет, как говорится, на этот срок поголовье овец короля Адмета. Там упражняется он в легких пастушеских песнях и приручает, как нам мифология докладывает, диких медведей, львов, пантер, тигров, и какая еще там к нему живность идет. И делает это небесной властью гармонии, которую он извлекает серебряной игрой струн.

Скарамуз. Он может там оставаться, и применять себя в идиллии, чтобы он сам только никогда внутрь границ этих театров не мог проникнуть. Иначе он поплатится головой за подобное кощунство. Сверх того, можете еще приказ о его аресте в газете тиснуть.

Курьер. Твоя воля будет исполнена.

Удаляется.

Сидящий слева, один из зрителей. Так, вероятно, это будет трагедия?

Пьеро. Нет, господа, мы артисты даем руку на отсечение, что никто из нас не умрет, следовательно, никоим образом, что бы там ни задумал автор.

Сидящий слева, один из зрителей. Это еще лучше, так как я очень нежная натура.

Пьеро. К черту, господин, среди нас тоже нет стали и железа. Я имею честь вас уверить, что я необычайно тонко ощущаю, пошел вон, черт, существо недоделанное!

Сидящий слева, один из зрителей. Я всегда говорю, что зачем мы тогда, пожалуй, должны быть людьми?

Пьеро. И даже зрители?

Сидящий слева, один из зрителей. Яйцо, конечно, содержит в себе много вещей; так зритель — как большое звание, высокое, какого только можно удостоиться.

Пьеро. Конечно, разве мы не больше значим, чем все князья и императоры, которых нам только представляют на сцене?

Сидящий слева, один из зрителей. Но затем мы и должны стремиться себя хорошо воспитывать.

Пьеро. Высокомерие нужно как-то умерять.

Скарамуз. Но погодная стихия! Где останется тогда к черту мой Парнас?

Грюнхельм. Тоже верно, я пришлю вам сей же час.

Уходит.

Вагеман. Ну, всё в порядке. Пока, господин Скарамуз.

Скарамуз. Ваш преданный слуга, передавайте, пожалуйста, мой покорнейший поклон фрау супруге.

Директор уходит. 4 статиста принесли Парнас.

Скарамуз. Здесь поставьте, — так — немного оттуда ближе сюда, так как я должен лучше слышать суфлера (*он встает и садится.*) Очень хорошо тут сидеть. Сколько вносит дохода мне, однако, гора? Кто знает, и может мне об этом сказать? Казначей пусть войдет.

Входит Казначей.

Скарамуз. Сколько мне приносит дохода эта гора ежегодно?

Казначей. Под вашим ведением единственным доходом был Кастаньский источник.

Скарамуз. Что это был за источник? Только минеральный источник? Углекислый или серный? Стал бы он много давать? Почему продают флягу воды?

Казначей. Он стал бы редким доходом, и это был бы важный подарок. Почти никто не хочет находить эту воду хорошей, к вашему сведению, бывший Аполлон это охотно делал.

Скарамуз. И больше ничего? Нет ли хутора у горы или луговой охраны? Что у меня есть из скота, из гусей, куры и тому подобное?

Казначей. Обо всем этом я не знаю.

Скарамуз. О, так я должен улучшить необходимый мне земельный участок. К черту вашего Аполлона, когда такой нищий доход от места. И еще никаких десятин?

Казначей. Религия не позволяет нам подобных обязанностей.

Скарамуз. Так я хочу спешно обратиться в нее, и охранять принятую веру, ведь без нее в жизни ничего не получается. Ведь может быть мы уже ничего не должны за гору?

Казначей. Нет, ваше величество.

Скарамуз. Ну, это хорошо. Так вы должны, Казначей, поднять стоимость сейчас же, кредитор вносит первый залог. Стоит ли Парнас в горячей кассе?

Казначей. О да.

Скарамуз. Так мы обезопасим себя от несчастья. Один пивоваренный завод и одна пекарня должны быть у подножия горы.

Казначей. Все верно.

Скарамуз. Общие пастбища оставить, с Пегасом и остальным скотом, который мне принадлежит, будем ввозить корма для конюшни.

Казначей. Все верно.

Скарамуз. Вы будете об этом в книгах читать, это уже решенная прибыль. Зрители все еще оплачивают комедии?

Казначей. Да, ваше превосходительство.

Скарамуз. Я издаю строгий запрет, что все свободные билеты должны прекратиться.

Казначей. Это ведь вовсе новая организация, мой король, об этом Греция не знала.

Скарамуз. Что Греция! Мы живем сейчас, слава Богу, в лучшие времена. Кстати, хорошо, что я об этом подумал. Ты говорил мне ранее о Кастанльском источнике, из этой вещи должны быть сделаны Лечебные воды.

Казначей. Как это можно?

Скарамуз. Возможность — моя забота, достаточно, что я многих больных буду лечить, слабых душой и телом, и это пусть мне приносит много денег.

Казначей. Ваш предшественник не знал ни одного сорта монет.

Скарамуз. Он был сумасшедший и человек невежественный, из мифологических времен. Сейчас же Просвещение на дворе, и я правлю. Пусть ко мне придут музы.

Казначей уходит. Девять муз входят и кланяются.

Скарамуз (с легким наклоном головы). Рад с уважаемыми мамзелями познакомиться. Надеюсь, мы хорошо уживемся. Вы живете теперь

у меня на Парнасе внаём, если вы хотите снимать его, вы должны меня за квартал об этом известить... Как же зовут вас, мое прекрасное дитя?

Мельпомена. Я — Мельпомена.

Скарамуз. Вы выглядите так печально.

Мельпомена. Ах, господин Аполлон, я из одного хорошего дома. Мой отец был надворным советником, и один дворянин позволил мне получить несравненное воспитание! Ах! Как я была счастлива в доме моих добрых родителей и как старалась я быть доброй нежной дочерью! У меня еще есть возлюбленный, но он покинул меня из гордости, так как он получил дворянское звание, и мои родители умерли вскоре от печали. Один добрый человек, наш домашний врач, назвался, правда, моим возлюбленным, но он был очень беден для того, чтобы жениться на мне, и так я теперь из отчаяния пошла в музы; и разве я не имею теперь права быть несчастной?

Скарамуз. Очень хорошо, дитя мое, но я хочу по-отечески о вас позаботиться.

Сидящий слева (*ко всем остальным*). Ну смотрите же, Бог хочет, чтобы мы здесь уже слезы проливали.

Остальные. Ах, кум, так сохраните же себя до пятого акта.

Скарамуз. А кто вы, прекрасное дитя?

Талия. Спасибо, мой господин, мое церковное имя Талия, я долго служила у уважаемых родителей этой доброй персоны, и теперь хочу не потерять ничего от вас, но я даже среди муз им повинуюсь.

Скарамуз. Жди последнего акта, так как твою верность невозможно оставить незнагражденной. Где мой конюх?

Приходит Конюх.

Скарамуз. Пегаса мне, я хочу совершить прогулку.

(Конюх ушел, и вернулся немедленно с оседланным ослом)

Скарамуз. Помогите мне.

Влезает на Пегаса.

Конюх. В какой словесной манере хотите вашу милость потешить?

Скарамуз. О, сумасшедший, я хочу простой здравой прозой скакать. Ты думаешь, я позволю себе Алкеевым стихом толочь, или все в Прокловом шею ломать? Нет, я люблю разум и порядок.

Конюх. Ваш предшественник летал по воздуху.

Скарамуз. Не говорите мне больше об этом парне, который тут всем должен быть знаком. Настоящий Ганс-дурак, настоящий эксцентричный осел... По воздуху летать! Нет, в воздухе не за что держаться, я предпочитаю землю. Прощайте, друзья мои, я хочу теперь маленький труд о пользе мещанских трагедий проехать, и тотчас вернуться сюда.

Он уезжает.

Падает занавес.

Сидящий слева. Это было еще только вступление.
Пьеро. Первый акт необходим для понимания.
Остальные (*к Сидящему слева*). В пьесе много морали.
Сидящий слева. Безусловно, я уловил, стало лучше.
Пьеро. Музыка!

Оркестр

Adagio
As Moll

Мы все поспешно удалились! Как в этой бренности удержаться! С чем ты, жизнь людей, сравнима? С тенью? С облаком? Ах! Оба надежны, как это легкое дыхание, которое нас теперь одушевляет и в ближайшее мгновение исчезнет. Так наполняется теперь льстивый тон музыки воздухом, и каждая волна воздуха дрожит от радости, и однако может только палец прервать ее, как искажены все эти красноречивые духи, так падает вместе с ними это блестящее здание пьесы, и ничего подобного ни кристалл, ни искрящиеся радуги не создадут снова, они теперь двигаются так величественно вверх и вниз. Когда бы не было все так преходяще, в чем же находили бы мы тогда причину для жалоб?

Смех умолкает, события пьесы движутся к концу, занавес падает наконец в последний раз, зрители идут домой. Когда-нибудь придут они еще, не теперь, они уходят, никто не может сказать, куда; никто не может их спросить, ни один не вступит в ужасную, страшную пустыню, в которую когда-нибудь мог бы снова войти. Ах ты, слабая, легко ломающаяся человеческая жизнь! Я хочу тебя осмыслить в произведении искусства, что меня радует и что заставляет заканчивать, чтобы получилось произведение искусства и меня могло порадовать. Тогда буду я всегда доволен, что я от простой радости и от тяготящей меланхолии равно далеко удален. О, только бы теперь все радости со мной остались до того, пока сам я буду существовать, чтобы они не напрасно искали вздохи и слезы.

ВТОРОЙ АКТ

Первая сцена

Вольное поле

Аполлон со своим стадом.

Аполлон.

Весело мне тихий край смеется,
Бог его охотно принимает
И ласкает. Здесь я рано слышу
Жаворонка радостное пенье,
Из кустов, густой листвою покрытых,
Он взлетает вместе с соловьями,
Чтоб веселой переключкой звуков
Позабавить мир. Перекликаться
Любит он с ручья теченьем тихим,
Мелодично сквозь скалу несущим
Свои воды под плющом тяжелым.
Он в кудрях моих теперь порхает,
Словно бы играющая Веста,
И любезный дух уединенья
Сладкими крылами помавает
Надо мной. Труба речных потоков
Звуками чуть слышными воркует,
дуб бушует, голосом серьезным
говорит, и молодой лесок
слушает внимательно и держит
неподвижно трепетные листья.
Пастуха б найти сейчас, чтоб мудро
Он помог сложить мне эту песню,
Небольшую, и по-деревенски,
Как поют, гуляя, пастухи.
Тот блажен, кто маленькое стадо
В тишине ведет, под деревьями
Темными, подальше от людей.
Где живет он — там бывают Боги,
С ним сидят за трапезою скудной,
Солнце держит для него весенней
И приятной всякую погоду,
Он не знает мук живых, на крыльях
Черных что вокруг людей роятся часто,
Чтоб народ скорбел по всей долине,
От долины до холма и дальше.

Здесь заря вечерняя бывает
Только светом ласковым рассветным.
И звучит, звучит до самой смерти
Маленькая флейта пастуха.

Входят Мопса и Филис.

Мопса.

Пастух любезный, ласково звучит
И привлекает нас из леса песня
Твоя в долину вольную.

Филис.

И я еще доселе
Не слышала, чтоб был так сладок голос.

Аполлон.

Вы певца
Могли ль не вдохновить?
Смелей из уст
Лети, напев. Ваш образ
Лишь делает таким певуче-сладким
Звук каждый в этой моей песне.

Филис.

А хочешь, мы будем петь те игровые песни,
Каким ты нас вчера тут научил?

Аполлон.

Так начинайте.

Филис.

Почему так грудь моя томится,
Бог не хочет больше на меня
Обращать теперь свое вниманье?

Мопса.

Ах, так сладки слезы и терпки.
Ах, чудесная моя тоска...

Аполлон.

Ах, любовь, любовь все одолеет,
когда сердце нежное найдет.

Филис.

Ах, что нам любовь? Что нам тоска?

Мопса.

Вечные зачем нам эти слезы?

Аполлон.

Часто поднимается во взгляде
И провозглашает счастье им,
Ах, любовь.

Все вместе.

Не удивляйся боли,
Что в груди с блаженством ощущаешь,
Взгляд твой весь окутанный слезами,
Ведь в прекрасной этой боли сердце
Наше только учится любить.

Входят Ауликус и Миртл.

Ауликус. Вы опять запели свой пошлый напев? Пастух, вы переманили всех наших девушек, и для вас это плохо кончится.

Миртл. Сплошь напев, и звуки, и напев наполняют сейчас наши поля, это трудно выдержать. Пастушки не разговаривают ни о чем, кроме как о песнях и любви, любви и песнях, песнях и любви и так далее. Я от себя скажу, что это глупо.

Ауликус. Радоваться глупо, это вообще не вопрос.

Филис. Но что вы нам тогда прикажете делать?

Миртл. Вы говорите, что в нас влюблены, и теперь мы вам очень многое прикажем.

Старик Дамон входит.

Дамон. Ну да, вот стоите вы тут как дураки, и волк радуется в вашем стаде.

Миртл. Волк? Ну действительно, парню должно быть виднее, что это волк, он должен хорошую шерсть оставить. Идемте!

Они уходят.

Вторая сцена

Улица

Грюнхельм. Это трудно, видите ли, долгое время разыгрывать радость, а роль Аполлона дальше еще легче. Право, господин Скарамюз это хорошо знал, и потому он был так падок на это. Мы не можем сложить дважды два без того, чтобы не пришла опасность, обсчитался — и иная материя уже видна вдали, вроде остроумная, а вблизи только абсолютная глупость. Тем временем, кто еще не видел канарейки, может быть, сможет

принять ее за воробья. И как только можно пробовать эти вещи, так их пробуют почти всегда. А вот идет муза.

Талия входит.

Грюнхельм. Моя прекрасная Лизетта...

Талия. Господин Грюнхельм!

Грюнхельм. Или, может, вы любите, когда вас Коломбиной зовут...

Талия. Это мне теперь все равно, ведь имя есть имя. Вы, вероятно, в состоянии любить, господин Грюнхельм?

Грюнхельм. О, почему нет? Ваша прекрасная физиономия уже давно приводит меня в восторг.

Талия. Ах, если б мы теперь перво-наперво поженились!

Грюнхельм. Отлично, мое сокровище, этого я желаю денно и ночью.

Талия. Мы любим друг друга верно и сердечно.

Грюнхельм. В этом я, конечно, присягаю.

Сидящий слева. Наступит ли гроза в пьесе?

Пьеро. Если мы потребуем, затем вам удобно, конечно.

Другой. Кум же, мы хотим, чтобы нам подарили грозу.

Грюнхельм. Господа мои, гроза очень хорошая вещь, но она не подходит тут для нашей пьесы.

Сидящий слева. Ах, что там, подходит! Должна подходить и вынуждена подойти.

Пьеро. Должно все гнуться или ломаться, мы хотим грозу.

Грюнхельм. Так иди же, моя дорогая, и оставайся под крышей и ящиком, здесь эта жестокая публика требует ливневой погоды.

Талия. Под крышу и ящик нам будет легче попасть, я буду так проворна и захвачу колпак.

Уходит.

Грюнхельм. О, боги, слушайте мою мольбу, успокойте сердце хрупкой гордячки, которая, может быть, не осмелится холодно взглянуть на мое горе. Да, это последнее я хочу посметь. Хочу еще немного к ней идти, кратко ей пожаловаться, и в мои старые дни наконец спокойствие узрят.

Уходит.

Третья сцена

Лес, гроза.

Скарамуз на осле.

Скарамуз. Откуда, к черту, взялась гроза, об этом нет ни слова в моей роли. Что это за глупость! И я, и мой осел будем к концу вовсе

мокрыми. Этого у меня нет... Машинист! Машинист! Так он же к черту с этим ливнем! (*зрелит и сверкает*) Слушайте, к черту машиниста! Как можешь ты стоять внизу, гром и молнии разбрасывать! Он мне за это дорого должен заплатить. Я говорю, задержи гром.

Машинист выходит.

Машинист. Господин Скарамуз, я не могу этого, ведь так должно быть.

Скарамуз. Должно быть? Но я говорю, должно быть совсем не так! Кто это приказал тут?

Машинист. Публика так захотела.

Скарамуз. Это так, мои господа?

Зритель. Да, мы так приказали.

Скарамуз. Но, мои дорогие, я буду мокрым.

Сидящий слева. Мы хотим и подобным страданием позабавиться, ведь Лукреций сказал, как известно: *suave mari magno etc*¹.

Скарамуз. Лукреций это мне сказал ради шутки... Господа, довольно вам слушать грозу.

Зритель. Нет, пусть остается.

Скарамуз. В таком нежном спектакле...

Зритель. Пусть будет что-то ужасное.

Скарамуз. Должен теперь еще Бог от ярости стихии страдать?.. О, вы, неблагодарные зрители! Я вам зачем Аполлона прогнал, я вас зачем от поэзии избавил, чтобы вы мне теперь оплатили так обидно?

Машинист уезжает вместе с грозой.

Скарамуз. Я страдаю от вашей ярости, но я хочу вам, конечно, напомнить. Когда у меня от дождя осел здесь испортится, то вам придется искать нового. Что вы только знаете, мои господа, это Пегас, он неоднократно выгравирован медью был, и теперь должен так под дождем стоять, и на него даже плащ не надели... О, моя голова рассыплется!

Машинист. Господин Скарамуз, я уверен скоро будет конец.

Скарамуз. В сущности, он все-таки мне ровня, и людская любовь позволяет мне принять в нем участие... Я тебя укурю своим плащом, укутаю тебя в мой разум и философию, которых тебе совсем недостает... Когда я верно все обдумал, так дождь не бывает иным, он всегда мокрый.

Сидящий слева. Скоро вы вернетесь к началу, господин Скарамуз?

Скарамуз. Зачем, многоуважаемый?

Сидящий слева. Эта сцена особенно захватила меня, это все для меня немного возвышенно.

Скарамуз. Да, это не что иное, мой дорогой, выйдет у нас и нечто иное возвышающее.

¹ Прекрасно великое море... (*лат.*).

Сидящий слева. Вернитесь же лучше к началу, добрый человек, так как, если я так раззадорен, то вы скоро в тени будете стоять.

Скарамуз. Позволь мне вначале с этим ученым фиванцем поговорить... Ты чего затих?

Машинист. Гром и молнии делаю, также передвигаю я львов и волков, осел ведь тоже мое изобретение; кто-то в нем может узнать себя...

Скарамуз. Так ты из того сословия, из которого плохой актер хорошего осла делает? И это называете вы машинерией, что делается само по себе!.. Как возникает гром?

Машинист. У меня тут мелкая канифоль, которую я сдуваю на огонь, так получается молния, сверху катают железный шар, и раздается гром.

Скарамуз. Хорошо; слушайте меня... господа, которые тут внизу, я стою над вами, чтобы вам только всем здоровыми дойти до дома, но далее я за вас не отвечаю.

Он остается верхом на осле и уезжает.

Машинист. Не прекратить ли ливень?

Пьеро. О да, теперь нужно вернуть что-то домашнее.

Машинист. Закажите мне, я живу здесь недалеко в большом угловом доме, где некоторый спрос на меня есть. Я отлично понимаю, как располагать фейерверки и со вкусом устроить иллюминацию.

(Уходит.)

Сидящий слева. Это была так называемая большая сцена.

Другой. Да, кум, здесь царит уже невозможное более английское воодушевление. Вы будете читать английских писателей.

Сидящий слева. Радости-то, я еще в юности даже болел английской болезнью.

Четвертая сцена

Комната в трактире

Трактирщик. Важные гости завернули сегодня ко мне, и если это так случилось, я буду в конце вывеску снова перевешивать... Были же хорошие времена, тут не было ни одной пьесы, в которой не было бы трактира с трактирщиком. Я знавал времена, когда в ста пьесах у меня в этой комнате прекраснейшие разработки собирались. Сколько было переодетых князей, которые здесь героев изнуряли, сколько — министров, или мало-мальски богатых графов, которые из тех, кого я подстерегаю. Даже во всех пьесах, которые с английского переведены были, мог я заслужить свой талер... Но как все изменилось! Когда сегодня чужестранный богатый человек, который путешествует, пришел, так расквартировался он ори-

гинально, у родственников, и впервые в пятом акте дал себя узнать. Хотя подобное служит, чтобы удержать зрителя в необыкновенном любопытстве, но всех нас оставляет в дураках.

Анна входит.

Анна. Вы говорите так досадливо, отец?

Трактирщик. Да, дитя мое, и мое положение очень невеселое.

Анна. Желаете кем-то более знатным быть?

Трактирщик. Нет, не это, но злит меня неопишимо то, что мое сословие не пользуется хоть минимальным спросом.

Анна. Вы увидите, что со временем вернется прошлое внимание.

Трактирщик. Нет, любимая дочь, ведь теперь наступили плохие времена. О, почему я не стал надворным советником!.. Если так пойдет дальше, я сделаюсь тюремщиком, так как пленные входят в отечественные и рыцарские пьесы, иногда также в бюргерские трагедии... Но мой сын не должен стать ни кем иным, как тюремщиком.

Анна. Печалитесь вы, любимый отец, и идет за вами по пятам меланхолия... Знаете вы еще, как прежде все происшествия солдатами обставлялись? Времена эти сегодня также проходят. Сейчас каждая пьеса представлена гусарской или другой офицерской отделкой, но, в сущности, вся она проходит через ваши руки... И как же было все в ранние времена, когда мало был трактир в театре представлен, особенно в Афинах, где улицы или свободные площади?

Трактирщик. Это было и в язычестве, дитя мое, но мы ссейчас, слава Богу, христиане... Что делать, я работаю еще и поэтом, и чтобы поэтическое искусство не вытеснило пьесы надворных советников, где сцена в трактире играется.

Анна. Делай так, дорогой отец, а я буду играть любовные сцены.

Трактирщик. Тихо!.. Едет настоящая повозка!.. Даже экстренная почта! Великие небеса, откуда же должен был прийти этот невежественный человек, чтобы он ко мне заехал?

Чужестранец входит.

Чужестранец. Доброе утро, господин Трактирщик.

Трактирщик. Ваш покорный слуга, милостивый господин... Кто вы такой, что инкогнито путешествуете и ко мне заехали? Вы знаете, еще со старой школы, не так ли, как человек старого закала, легко с английского переводит?

Чужестранец. Я не милостивый господин, и не путешествую инкогнито... Могу я на эти день и ночь здесь остановиться?

Трактирщик. Весь мой дом в вашем распоряжении... Но по правде, не хотите ли вы здесь в округе ни одной семьи внезапно осчастливить? Или вдруг жениться? Или сестру найти?

Чужестранец. Нет, мой друг.

Трактирщик. Вы путешествуете, стало быть, просто один, как обычный путешественник?

Чужестранец. Да.

Трактирщик. Здесь вы не найдете одобрения.

Чужестранец. Я уверен, этот парень бешеный.

Ямщик входит.

Ямщик. Вот ваш чемодан, милостивый господин.

Чужестранец. А вот твои чаевые.

Ямщик. О, этого мало... Я по горам вниз так прекрасно съехал...

Чужестранец. Ну вот...

Ямщик. Большое спасибо.

Уходит.

Чужестранец. Чего еще я снова найду?.. О как все мои воспоминания о любимой родине ворошатся! Как я смогу взглянуть на нее, когда она предстанет предо мной? Если прошлое со всеми радостями и печалью передо мной проходит. О, ты, бедный человек! Что называешь ты прошлым? Разве тебе не дано настоящее? Между прежним временем и будущим завис твой маленький взгляд, и все радости быстро проходят мимо и не может ничто проникнуть в твое сердце.

Трактирщик. Могу ли я спросить, подозреваю я, что это из старой забытой пьесы, которую неизвестный автор как что-то новое выдавал?

Чужестранец. Что?

Трактирщик. Вы очень преуспели! Вы должны же иметь хоть немного денег или в этом старье вам нужно притвориться бедным?

Чужестранец. Вы очень любопытны, господин трактирщик.

Трактирщик. Это я по должности, мой господин, так можете вы спросить в любой момент. Старик должен быть старым, Телеф должен как нищий выглядеть, раб должен соответственно своему положению говорить. Вы могли бы по «Поэтическому искусству» справиться, я и то, будучи трактирщиком, его осилил.

Чужестранец. Благодарю вас за чудесный бред; такого уважаемого раритета я до сих пор не видывал... У вас есть новые газеты?

Трактирщик. Здесь помещено одно странное объявление о розыске.

Чужестранец (*читает*).

Объявление о розыске

«Сбежал из-под стражи один из бродяг, который выдает себя за Аполлона. Особые приметы: кудрявые волосы, юношеский вид и много поет, еще по воздуху летает. Говорят, что он в пастухи нанимается; Местных властей просим выдать его, так как этот преступник очень опасен. Некоторое вознаграждение возместим».

Трактирщик. Озорника уже выследили.

Чужестранец. Я его хорошо знал, и я часто говорил, что он зашел слишком далеко, что он совсем никаких не хочет учить серьезных наук. Это от беллетристики, пользы человечеству не доставляющей...
Неизвестно, что он натворил?

Трактирщик. Он отказался подчиниться, фантазию ввел, трагедии писал, и в этом отношении судьбу и богов ругал, нравственные тенденции совершенно бросил, в общем, он всему культурному миру нанес большое оскорбление.

Чужестранец. Надо его примерно наказать.

Трактирщик. Им бы самим его схватить, так будет он знать.

Чужестранец. Отведите меня в мою комнату.

Они уходят.

Пятая сцена

На Парнасе

Пекарь и Пивовар.

Пекарь. Теперь мы можем впервые сказать, что у нас в стране настоящий Парнас.

Пивовар. И напиток, что сегодня произведен, настоящий, всё иное — пойло, как та старинная Ипокрена.

Пекарь. Я могу охотно за вас выпить, чтобы это узнать. Но тотчас же это ударит в голову, и она пойдет кругом.

Пивовар. Меня не печалит голова, мне интересно только, где находится рот.

Пекарь. Но какие милovidные домики там внизу под горой?

Пивовар. О, вид, конечно, почти превосходный.

Пекарь. И наш милостивый Аполло...

Пивовар. Подобного ему не найти.

Пекарь. Сегодня ваш день рождения.

Пивовар. Нет, завтра, дорогой друг. Переверните только календарь.

Пекарь. Это верно, я запутался.

Пивовар. Пусть мои гости заходят.

Входит много гостей.

1-й гость. Кум, я воодушевлен, ваш напиток, как адское пламя.

2-й гость. Потом упал, потом упал, — ла, ла, — да, как упал...

1-й гость. Он сам упал, и снова пришел, потом он упал, ведь у него не случилось дырки в голове.

3-й гость. Отнесите пьяного, — так, — пьянствовать домой.

4-й гость. Пойдем, я вот из себя, видишь, будто бы я говорю, что я хочу, как к примеру, так как вы меня теперь видели, не сойти мне с этого

места, я не знаю пьющих меньше, чем моя персона. Так много об этом, но ни слова более, ведь мы имеем обыкновение говорить только напрасные речи, и так даже великий Навуходоносор не гнушался ходить на четвереньках, ну так почему мы должны стесняться? Так воспитанно только я всегда говорю.

1-й гость. Все верно, и ты воспитан как невежа.

4-й гость. Что? Я как с тобой выпил за схожесть и дружбу и человеческое значение, так стало быть твое понимание нигде, и такое оскорбление тебе оставить без ответа, чтобы ты на свою дурную голову приют искал!

Пивовар. Дорогие люди, будьте дружны, раз уж вы пиво из одной бочки пили, вы должны еще справедливо придерживаться единых убеждений.

4-й гость. Ни коим образом не хочу такое оскорбление спускать, особенно когда я из вышел из кабака.

3-й гость. Охотно могу я стерпеть сравнение с ослом.

2-й гость. Сверх того ничего больше, так это и с пивоваром, который ищет, как хмель сэкономить.

1-й гость. На мое неавторитетное мнение, мы должны ему хорошенько приплатить.

4-й гость. Пусть за то, что он пока пивовар.

2-й гость. Как долго терзает он бедный ячмень, не пускает из него пиву делаться.

3-й гость. Я забылся, хорошо, что вы меня в настоящее время вернули. Он не должен остаться в живых.

1-й гость. Будет сделано зло, если мы оставим пивовара жить...

Они нападают на него.

Пивовар. Защитите патент на пивоварение!.. Спасите от администрации!

Скарамуз въезжает на осле.

Скарамуз. Что вы делаете здесь, люди?.. К черту администрацию, соблюдайте мир!.. Эй! Стража!

Стража входит.

Скарамуз. Разнимите людей... Что же случилось?

Пекарь. Мой король, я спокойно наблюдал со стороны и могу лучше обо всем судить. Пивовар всему виной, а в поэтическом вдохновении гости стали искать ссоры.

Скарамуз. Он должен пиво варить не таким крепким, иначе станут мои подданные петь ему дифирамбы, а этого не должно быть... Идите домой, дорогие люди, и успокойтесь, из подобной ссоры ничего ведь хорошего не выйдет.

4-й гость. Почему нет? Я спрашиваю, почему?

Скарамуз. Чтобы меня ваша речь не побудила вверить вас главному стражу, там ваше вдохновение скоро рассеется.

Гости уходят.

Скарамуз. Музы должны прибыть.

Он поднимается на Парнас и садится.

Пивовар. Я теперь должен идти домой.

Пекарь. Я тоже, ведь я должен свои печи разжечь.

Они идут вглубь Парнаса.

Приходят музы.

Скарамуз. Все ли вы собрались? Нужно провести проверку, чтобы ни одна муза не ускользнула незамеченной, так как процветанию знаний от их сияния ничто не должно мешать... Теперь пойте мне песню.

Музы (*поют*). Наш все милостивейший монарх на своем осле прибыл собственной персоной и расположился прямо на вершине Парнаса, где бы он ни отдыхал, держит в своих руках царский скипетр и поэтому счастливо правит страной. Ему обязан верноподданный нового пивоваренного завода, он назначил нам похвального пекаря, и государство обещает получить подходящее устройство благодаря его мудрости для всех. Бессмертия ему в любви его подчиненных, в восхищении изумленного потомства. Искусства и науки стоят под его непосредственной защитой, пусть он долго живет и осчастлививляет свою страну еще сто лет своим достойнейшим правлением...

Входит Чужестранец.

Чужестранец. Я из далеких стран пришел, тем счастливее увидеть Ваше Величество лицом к лицу.

Скарамуз. Ведь это всегда стоит труда (и никогда, собственно, такого со мной не случилось, я тоже заметил) предпринять достойное путешествие.

Чужестранец. Вы делаете эпоху мировой истории.

Скарамуз. О да, это еще не самое мое большое искусство... Обо мне пишут, собственно, что я способствовал расцвету науки, ведь я первый, кто Парнас возделал.

Чужестранец. В самом деле?

Скарамуз. И с какими предрассудками я при этом должен был бороться! Я и пивовара здесь себе подчинил. О, мой друг, вы бы не могли во всем чужестранном мире такого увидеть. Каково ваше ремесло?

Чужестранец. Врач.

Скарамуз. Таким образом, можете быть полезны? Я очень люблю полезных людей, почему бы и нет? Они полезны, и польза от них, собственно, очень полезна, следовательно, заставляет меня мой разум к этому очень глубоко уважительно отнестись.

Чужестранец. Но что я вижу?

Скарамуз. Да, да, пекарня тоже на Парнасе уместна.

Чужестранец. Должен я моим глазам верить?

Скарамуз. Уж кто угодно этому удивился бы.

Чужестранец. Не мою ли любимую Каролину я вижу?

Мельпомена бросается вперед.

Мельпомена. О Фридрих! Ты снова здесь?.. Где ты, горе мое, так долго пропадал?

Чужестранец. О какая неожиданная встреча.

Мельпомена. Ты нашел меня музой, но мое сердце все еще верно тебе.

Чужестранец. О, моя супруга, мой дядя умер, богатое наследство мне оставил, я имею достаточно, чтобы обеспечить нас двоих, даже более, чем мы оба нуждаемся, если ты меня только все еще любишь.

Мельпомена. О, и ты можешь еще сомневаться?.. Я хочу только к тебе.

Скарамуз (*протестуя*). Стоп! Стоп! Что это тут у меня? Нет, мои друзья, так не пойдет! Компания муз не должна раскомплектовываться. А что, если мы захотим добавить в нашу пьесу трагические сцены, а Мельпомена из пьесы хочет выйти вон, замуж? Это никоим образом не годится.

Мельпомена. Жестокая судьба!

Чужестранец. Тиранический Бог!

Скарамуз. И то, и другое. Я задаю свои правила игры, когда говорю: этого не должно быть. И кроме того, я сам так вдвойне с половинкой больше влюблен в Мельпомену и, пожалуй, со временем мы поженимся. Так что вы тут чужой парень, оставьте свои бессмысленные притязания, ведь вы легко можете лишиться головы.

Уходит.

Чужестранец. Так я должен тебя оставить?

Мельпомена. Так я могу уйти?

Музы с Талией входят.

Грюнхельм. Не теряйте мужества, мой чужестранный господин Влюбленный, это все еще нужно организовать, если у нас разум находится в правильном месте.

Чужестранец. Но как?

Талия. Пойдемте же, мы должны это хорошенько обсудить. Я предлагаю вам мою помощь и мою мудрость.

Грюнхельм. Bravo, Лизетта! Конечно же, у нас все получится.

Она уходит.

Пьеро. Я, однако, Скарамуза в жизни никогда не считал тираном.

Сидящий слева. Дорогой друг, видите ли, это все дело Французской революции, которая сунулась к нам, которая совратила людей.

Пьеро. Но куда же смотрят князи и господа в это время?

Сидящий слева. Со временем наступит лучший порядок. Никто не хочет начинать, чтобы его не назвали могильщиком.

Пьеро. Верно, имеется в каждом деле свой гвоздь.

Другой. Кто хочет попасть по гвоздю, тот скорее гнет шляпку. Так-то вот!

Шестая сцена

Лес

Аполлон, много диких зверей.

Лев. Я вам бесконечно благодарен, господин пастух, вы вашим превосходным искусством так долго меня приручали, что вам это удалось, вы заронили в меня немного образования.

Аполлон. Я рад, если я вам смог принести пользу.

Леопард. Я тоже воспитан и чувствую в себе тягу к искусству, равно как и к хорошему обществу.

Дуб. Я ощущаю себя сейчас тоже вполне человечески, так много помогла мне ваша музыка.

Тигр. Когда бы мы теперь имели пансион, не хотел бы я более заниматься охотой.

Аполлон. Идите теперь к людям, там вас облагородят. Вполне возможно, что к вам там отнесутся благосклонно.

Звери уходят.

Входят Ауликус и Миртл.

Ауликус. Господин пастух, вы уже искоренили столь многие пороки, не хотите ли и за нас взяться?

Аполлон. Могу поспособствовать.

Миртл. Долго ли длится эта операция? Ведь у меня не так много лишнего времени.

Аполлон. После того, как ваши сердца окрепнут.

Ауликус. Ну, вечно только это, мы должны, однако, немного приблизиться к культуре. Меня ведь не смутит никакими носорогами.

Аполлон. Ну так идите и слушайте мои песни.

Они уходят.

Падает занавес.

Пьеро. Хотел бы я послушать эти песни.

Сидящий слева. Они нас полностью размягчили.

Пьеро. Ну это же как раз хорошо; я принял как хороший щипок, который помог мне выйти из затруднительного положения.

Музыка

Alegro

Как теперь всё освежается и оживает в спектакле! О, какой стала наша фантазия, опьяненная радостью, когда всё новые образы возникают и старые в старом виде не повторяются. Часто не позволено нашему духу познать ликующую радость, и возликуют небеса, тогда опутан он в песне будет всеми цветами, и эта вялая повседневная жизнь его еще долго не сможет отыскать.

Как золотая искра часто фейерверк неожиданно зажигается и затем вертится, все колеса пылают, и все звезды в его кругах искрятся, это горение по доброй воле все линии пробегает и гонит движение всё в цветном пламени, чтобы упоенные глаза поразились, любовались и водоворотом меняющего краски пламени, и с восхищением подумали: как это радостно. Здесь танцуют звезды, там бьет ключом водопад и зажигает сыплющие искрами Солнца.

Ах! Что это было, если это прошло? Или если ты посмотрел глазами художника? Пусть магический огонь горит, как ему нравится. Он чудесной вышивкой разгорится во всех своих чертах на темном фоне ночи. А яркий дневной свет с его трезвым взглядом, представил бы его краски, разложенные по цветам спектра, и нарушил бы магию узора.

Разве вы знаете, чего вы хотите, когда вы во всех вещах ищите связность? Если золотое вино в стакане мерцает и добрый дух оттуда в вас вселяется, если ваша жизнь и душа ощущаются с удвоенной силой, и все шлюзы вашего сознания открыты, из-за этого может выплескиваться сдерживаемое восхищение, когда оно достигает последней глубины, в которую еще никакой тон не проник, звуча, и когда все в одной мелодии соединяются и в воздухе родственный дух зажигает невидимые танцы, — что вы теперь думаете, и что вы теперь могли бы систематизировать? Вы наслаждаетесь и это высшая гармоническая путаница.

Ну так оставьте все сомнения. Смотрите, занавес шевелится нетерпеливо. Я умолкаю, разговору других людей в легкоподвижном воздухе место уступая.

ТРЕТИЙ АКТ

Первая сцена

Поле

Аполлон. Поэт.

Поэт.

Должен я теперь спасать в поле чистом
У тебя, чтоб песню сочинить
Мог я благородно и спокойно.
Нужно мне присесть с тобою рядом
На траву зеленую, чтоб после
Долгого молчания смогла бы
Прозвучать моя золотая лира.

Аполлон.

Как себя, мой друг, ты ощущаешь?
Мой вернейший, лучший друг, они,
Кажется, теперь тебя изгнали?

Поэт.

Не изгнан я, но все же знаю,
Не выйдет ничего, ведь этот дикий
Строптивый люд твою разрушил
Должность в пьесе, и теперь уже не нужно
Ничего писать мне вдохновенно,
От меня они теперь ни строчки
Больше не услышат. Твой огонь
У меня течет, как кровь, по венам,
С губ моих высокие слетают
Звуки, и звенящая струится
Из всех слов моих божественность, и я
Просвещать пытаюсь их, но только
Все они стоят, в меня вперившись,
В общем, я у них как сумасшедший.

Аполлон.

Друг мой, хочешь моему служенью
Посвятить себя, так должен ты
Им прощать все недоразуменья,
Ежели кому-то непонятно,

Что великий говорит певец.
Надо быть для глухих ясным светом,
Что горит так явственно во мраке.
Пламя, что зажечь для них ты хочешь,
Должен ты найти уже в их пепле,
И взглянешь: ах, большинство уже
Возгорелось, ведь когда-то прежде
Знали они эти свет и пламя.
Удивляюсь только я, что дразнит
Ясное тебя уж настроенье,
И что недовольство возбудил я
У тебя. Нет, должен ты
Жалким быть, понравиться однажды
В день какой-то всем. Тогда вернешься
В это поле и споешь мне песни,
Те свои, великие, что полны
Высшей справедливости.

Поэт.

Я гордым
Возвращаюсь в город, пристыженным,
Так меня момент сей успокоил.

Аполлон.

Друг мой, в этой жизни так должно быть,
Что часы так пасмурны, как осень,
Для людей же так, конечно, лучше.
Это притупляет их отвагу
Лишнюю. Смотри, Поэт, я тут
Бог сам по себе, но и служу
Для врагов объектом я насмешек.
За грехи свои наказан я,
И сейчас смиряюсь с тем охотно.

Они уходят.

Вторая сцена

Парнас

Скарамуз сверху. Слуги вокруг. Народ внизу. Музы.

Скарамуз. Есть сегодня новости?

Грюнхельм. Ровно никаких, кроме того, что несколько студентов из университета пришли, которые лелеют надежду на экзамены, чтобы послужить пользе государства.

Скарамуз. Пусть они подойдут.

Лев, Тигр и другие дикие звери пододвигаются.

Скарамуз. Этот студент, однако, довольно живое существо.

Грюнхельм. Это происходит от свободного образа жизни, и они не знают забот, эти сыны муз.

Скарамуз. Сыновья муз?.. Что же я тут, по-вашему, должен выслушивать эту распутную челядь, рожденную музами?

Грюнхельм. О, милостивый Аполлон, это только обычный оборот речи, с чем ни музы, ни студенты и близко не родня, точно так же, как кладбище кладбищенским домом называют, или дом, где происходят допросы, называют местопребыванием справедливости, или солдат называют защитниками Отечества, и обыкновенно поэтически называют Родину Отечеством, ведь наша речь имеет чрезвычайно много синонимов.

Скарамуз. Об этом должна заботиться грамматика, чтобы чужестранцы знали порядок... Господа хотят, стало быть, приносить пользу?

Волк. Да, мой князь, мы чувствуем бесконечное, страстное желание получать хорошую зарплату.

Скарамуз. Ну, это похвально, надеюсь, вы скоро станете полезными гражданами... Идите и пусть ваши длинные волосы немного подрежут, и после этого вы должны тотчас же экзаменоваться.

Студенты уходят.

Скарамуз. Знают ли ваши люди, что сегодня у меня день рождения?

Грюнхельм. Да, мой князь, и я тоже разрешил уже поэтому поставить пушки.

Скарамуз. Ну, так пусть они выстрелят в мою честь.

Залп из пушек.

Скарамуз. Необычайно охотно слушаю я речь пушек, это такой связный, понятный доклад и при этом, собственно, не слышно слов... Музы, вы вооружились к празднованию моего дня рождения?

Мельпомена

О да, Аполлон, и в твою честь хотим мы дать маленькое представление, которое мы разучили.

Скарамуз. Ну, у меня есть такое право. Я хочу отдохнуть сегодня вечером от своих дел.

Они уходят.

Третья сцена

Поле. Вдали дворец.

Адмет. Альцеста.

Адмет.

Принуждены мы странствовать теперь,
Оставить Родину и все свои богатства,
Дворец отца, сады мои, увы,
Я так теперь жестоко обворован,
Как я и знать не мог ни сном, ни духом!
Должны пройти мы сквозь чужие беды,
И милая супруга чтоб со мной
Страдала рядом, принося страданиям
Моим хотя б немного облегченья.

Альцеста.

Должна последовать за господином
Супруга грустная, ведь я к тебе пришла
Не только радость разделить, но и все беды.
Я жалобы с тобою возношу. Проходят тучи,
И затем мы вместе с тобой смеемся в радости.

Адмет.

Как прелестна заря вечерняя, осиявшая башню,
Все зубцы пурпурной зарей зажжены,
Увенчался дворец великолепной радугой,
И светится он в темноте так ясно.
Пчелы жужжат теперь о Родине,
Соловей все громче заводит свои песни,
И ах! Бедные мы, не нашли себе отдыха,
Но должны мы бороться, с горем бороться,
Прочь убегать скачками быстрыми,
О злобное счастье, коварное и фальшивое
Нас отдает врагу, как добычу.

Входит Аполлон.

Аполлон. Вышел ты так поздно гулять, мой князь?

Адмет. Есть, из-за чего выйти на прогулку. Ты плохо разбираешься в человековедении, мой друг. Выглядим ли мы людьми, которые собрались на прогулку?

Аполлон. Ну, что случилось с вами?

Адмет. Нас продали, бедные беженцы мы, наше имущество и имение нам не оставили; жалкие эмигранты мы.

Аполлон. Как же это так быстро произошло?

Адмет. Ты еще спрашиваешь? С тех пор, как я твоим гнусным пастухом назван, мне ничего, кроме несчастья, не встретить. Кто знает, что со злости я с тобой сделаю. Отлучен я теперь от княжества, и должен постигать все новые ремесла. Могучий Аполлон меня продал, он хочет быть на своей земле князем, и ради этого я вынужден уступить.

Альцеста. Ты мерзавец, пришел к нам как бродяга, и мы довели тебе тогда свои стада. Теперь это твоя благодарность?

Аполлон. Но какая же вина на мне?

Альцеста. Должен же быть грех, и мне кажется более правдоподобным, что он лежит на тебе, ведь, кроме тебя, мне не на кого подумать.

Аполлон. Клянусь вам...

Адмет. Только не клянись, ты клятвопреступник, лжец, неблагодарный, коварный, злодей, чудовище! Ты тот, для кого все гнусные имена придуманы, ты тот, кого вообще нельзя называть иначе, чем ругательным именем.

Аполлон. Как вы можете говорить обо мне так много гнусного?

Адмет. Ты видишь, однако, что знаем. Ты высокомерный! Только счастье для меня снести твою брань, не отвечая на нее ни единым словом, а ты при этом хочешь не страдать? И для тебя это тем более счастье? О, друг мой, так пусть же тебя обурсвают высокомерные мысли, ведь я должен тебе сказать, что счастье — это что-то поразительно высокое, оно владеет всем миром, потому что чем-нибудь же оно должно владеть, это вид божественности, которая даже богами управляет. И эта добрая вещь уже несомненно потускнела. Одним словом, это общеизвестный абстрактный уровень, который в основном полностью не управляет собой; знание, которое удивительно граничит с судьбой, обе важнейшие границы-соседи, и если у судьбы иногда есть хорошее счастье, она благоразумно возвеличивается, или когда счастье иногда встречает судьбу, добро вознаграждается, как это более привычно выразить, видите ли, они идут в таком случае рука об руку. Вам не нужно их смешивать со случаем, так как это ничего не значит, и с его существованием далеко не каждый соглашается... Видишь ли, это мои религиозные основания, и я благодаря им держу удар.

Аполлон. Ваша страсть говорит в вас, и поэтому вы несправедливы ко мне.

Адмет. Нет, друг мой, философия говорит во мне, и вы не должны вовсе упрекать меня, ведь я это не переносу.

Аполлон. Живите благополучно, мы лучше поговорим в другой раз, ведь сейчас вы говорить не расположены.

Уходит.

Адмет.

Не расположены? Что обо мне он знает?
Боюсь, теперь найдется злой мальчишка,

Сатирик, в биографии моей
Смешает данные... Да что это такое:
Не расположены?.. Эй, да еще я в свой жизни
К такому не был склонен... Ну, скажи мне,
Печальная супруга, почему
Ему не раскрыл я тут же череп?

Альцеста

Он так умен был, что поспешно скрылся,
затем низвергнут был твоей рукою.
Теперь же ты скорбишь о том, супруг мой,
Укоры совести так мучают тебя
И надрывают понапрасну сердце,
Но вновь после зимы придет весна,
Все трудности пройдут,
Всем это хорошо уже известно.

Адмет

Ах, милая супруга, я хочу
Комфорта, но что только я не делал,
Чтоб разума послушаться. Но мы
Должны беду свою терпеть и стойко
Ее нести, и без того у нас
Долгов так много. Озаряет счастье
Меня своим великолепным даром,
Ведь у меня есть ты, моя супруга
Любимая. Восходим по ступеням
Мы на престол, взываем к горожанам,
К их добродетели, и бесполезно снова
Я вижу свет их. Этот свет в семейном
Меняется спектакле, и паденье
Свое могли бы мы считать успехом,
Подутомившись несколько носить
Сей скипетр и тяжелую корону.

Они уходят.

Сидящий слева. О великое человечество!

Пьеро. Извините, люди... такие есть места в этой пьесе... прямо такие необыкновенные.

Другой. Какие сейчас возвышенные мысли проповедуются!.. Да, это звучит иначе, чем было прежде.

Сидящий слева. В сущности, дела Аполлона плохи.

Пьеро. У него самая жалкая роль в пьесе.

Вахтель, один из зрителей. Это можно завтра еще раз увидеть, я и детей бы с собой привел.

Сидящий слева. Если князя такую пьесу о бюргерской добродетели принимают близко к сердцу!

Пьеро. Тогда они все должны были бы уйти в отставку.

Вахтель, один из зрителей. Почему нужно их в отставку? Им только стоит сказать государству: «Будь республикой!» И этого уже довольно, так и будет.

Сидящий слева. Ну, это не мудрено, пожалуй.

Другой. Такую республику, в сущности, может учредить каждый.

Четвертая сцена

Город. Большая иллюминация.

Именная процессия Скарамуза зажигает все огни.

Зрители. Bravo! Bravo!

Вахтель. Сейчас Грюнхельму хорошо, кто посвящен в театр, тот вблизи может все правильно разглядеть.

Сидящий слева. Если бы это было не ради сенсации, я бы поднялся и выше, в самом деле.

Машина въезжает и из дверцы автомобиля кричат: О как прекрасно!

Скарамуз на своем осле. Свита.

Скарамуз. Что это? От чьего имени это тут?

Грюнхельм. От вашего, мой князь.

Скарамуз. Пусть ко мне подойдет машинист, который устроил эту потеху.

Машинист входит.

Машинист. Я Вашего Величества недостойный слуга.

Скарамуз. Я вижу, он способен на большее, чем грома и молнии, это мне нравится, он очень изобретателен. Делай так и дальше, производи без ошибок великий блеск.

Уходит.

Вахтель. Тоже верно, все это только ради нас, я бы сам до этого не дошел.

Сидящий слева. На то и поэт в мире существует, чтобы он приносил нам всевозможную радость.

Пивовар и Пекарь входят.

Пивовар. Смотри, кум, вот это иллюминация!

Пекарь. Да, несколько иной ее трудно представить.

Пивовар. Почему нет?

Пекарь. Э, человек, это же сплошь лампы, а где лампы, там и до иллюминации недалеко.

Пивовар. Можете вы в этом поклясться?

Пекарь. Клясться теперь нехорошо, но все люди говорят, что это так.

Пивовар. Да, когда все доверяют тому, что эти люди говорят, они попадают впросак.

Пекарь. Это все верно, но, может, это все еще иллюминация светится.

Старая женщина с фонарем.

Женщина. Дорогие люди, я уже обрыскала весь город, не можете ли вы мне сказать, где фейерверк.

Пекарь. Э, тут же он висит.

Женщина. Ах, я это уже давно вижу... Но это хорошо, это прекрасно.

Пивовар. Это же не фейерверк.

Пекарь. Смотри, это как посмотреть, можно назвать по-разному.

Женщина. Итак, еще неизвестно, была ли я права?

Пекарь. Черт возьми, нет, это же оно и есть.

Женщина. Но я должна все же увериться, еще я не успокоилась в душе.

Пивовар. Смотрите, сюда идет большой маскарад.

Процессия рыцарей каждый с маской в руке. Несколько масок изображают рыцарей, другие — мавров, кто-то среди них — смерть, в процессии также есть несколько чертей.

Женщина. Господи, это прекрасно.

Пивовар. Великолепно, и сколько философии заложено внутри, глубокого смысла.

Женщина. И сатана среди них был.

Пекарь. К чести всех наших князей.

Входят гости.

Гости. Живо! Живо!.. Это я называю веселым вечером!

Другие. Такого веселья мы давно не знали.

Другие. И долго еще не узнаем.

4-й гость. Глупо при этом все устроено, день рождения, день, в который человек обыкновенно рождается, бывает в году только однажды.

1-й гость. Однажды? Глупый черт... У тебя есть хоть какое-то знание в голове? В каждом столетии оно бывает только один раз.

4-й гость. Только раз в столетие? Ну вы и шутите, господа! И каждое столетие само приходит в сто лет только однажды. Не так ли, Каспар?

2-й гость. Да, это было высчитано, поэтому называются столетием.

4-й гость. Откуда только взялось шестнадцатое столетие?

2-й гость. Дурак, это было исключением, в честь вестфальского мира.

3-й гость. Мой день рождения выпадает как раз три раза на год.

Все. Но идем! Идем! Мы хотим продолжения, мы тоже должны насладиться маскарадом.

Пятая сцена

Зал с театральной сценой

Грюнхельм. Чужестранец.

Чужестранец. Но ты веришь, что это удастся?

Грюнхельм. Я дал вам слово чести. Действуйте дальше, отбросив напрасные сомнения.

Чужестранец. Но будет ли он этим тронут?

Грюнхельм. Он должен.

Чужестранец. Моя надежда основывается прежде всего на одном очень ненадежном основании.

Грюнхельм. Основание достаточно надежно, если вы только его обеспечите.

Чужестранец. Я полностью полагаюсь на тебя.

Талия входит.

Талия. Ну, мой друг, все ли устроено вами для комедии?

Грюнхельм. Я к этому готов, но первый влюбленный еще сомневается.

Талия. Это неверно, вы видели, что все очень красиво происходило.

Чужестранец. Я трепещу.

Талия. Это делает развитие таким интересным.

Грюнхельм. Зрители уже идут

Они идут.

Скарамуз со своими придворными. Трубы.

Скарамуз. Садитесь каждый по своему сословному положению. Я же, таким образом, сяду среди знатнейших...

Они садятся, занавес театра раскрывается, и показывается сад.

Грюнхельм *(в роли Пролога)*.

Пролог

Откуда поэзии взять столь отважные образы стран
Далеких, куда нас заводят лишь темные грёзы,

Чтоб там фимиам воскурить и цветов там набрать,
И имя твое возвеличить? Безмолвна сама по себе
Ведь всякая истина, выдумка бледная меркнет,
И хор Данаид уже бочку наполнил собою,
Скорее Танталу достанется яблоко, стукнув
Его по башке, и Сизиф вкатит камень на гору.
Так ладится крепкий союз человеческих духа с желаньем,
Чтоб пел он тебе похвалу во всю мощь своих связей.
Пегас в высочайшем купается неба эфире,
Неся на спине твою славу, и сам Геркулес,
Поверь мне на слово, что оба от тяжести хромы,
Но прочь не уйдут, и Геракл упадет на колени,
В знак верности мне и словам моим ныне хвалебным.
И он не уступит Атланту в таланте и силе,
И если сюда девять муз соберутся все вместе,
Чтоб петь похвалу тебе хором своим поэтичным,
То станешь ты богом всех муз, а они тебе служат,
И так в благодарность тебе развивают они
Искусство поэзии — первое их украшеньё.
Поэтому ищем мы в красноречивом молчанье,
Как лучше тебе показать, что тебя почитаем,
Молчание наше тебя возвеличит так громко,
И вплоть до захода луны, до зари, до рассвета.
Лишь лебедь поет, умирая, а мы поем тихо,
Ведь каждый из нас тебя лучше и краше прославить желает,
Поэтому в сердце ты наше смотри, а не в рот нам,
Тогда ты увидишь, сколь ревностно любим тебя мы.

Поклонившись, уходит.

Скарамуз. Это было хорошо. Давно меня так целесообразно не восхваляли... Кто это сделал?

Придворный поэт. Ваше величество, я только от имени всех ваших верных подданных высказался.

Скарамуз. Так думают обо мне все мои подданные?

Придворный поэт. Кто думает иначе, тот государственный изменник.

Скарамуз. Ну, это правда. Вот вам деньги, поступайте и впредь так. Все великое, что я совершаю, особенно принимайте во внимание. Чтобы я с каждым днем был все превосходнее. Я говорю вам, не выпускайте меня из виду, ибо за мной очень много надо наблюдать.

Придворный поэт. Если ваше величество позволит, я этого не упущу.

Уходит.

Отец входит в молодым человеком (это Чужестранец).

Отец. Мой дорогой юноша, я принял тебя, как ты знаешь, как своего сына, ведь твои бедные родители еще в твоём детстве умерли, я тебя воспитал, дал тебе подготовку во всех искусствах и науках, теперь ты должен красиво отблагодарить меня; ну, скажи мне, таким образом, почему ты уже столько времени так печален?

Молодой человек. Это не всегда в нашей власти, достопочтенный.

Скарамуз. Кто этот молодой человек? Он кажется мне таким знакомым.

Казначей. Это чужестранный доктор, который вчера приходил.

Скарамуз. И который играл уже сегодня здесь, в городской комедии? Ему идет роль пронырливого человека, такому с хорошей практикой всегда везет.

Отец. Будь сегодня немного более веселым, смотри, как моя дочь и другие родственники держатся. Ты знаешь, что сегодня мой день рождения, тогда мог бы я иметь исключительно веселый вид.

Скарамуз. У людей сегодня тоже день рождения? Как удивительно это совпало.

Казначей. Вероятно, только трогательная и остроумная игра, мой князь, ведь то, что теперь представлялось, не действительно, это только пьеса.

Скарамуз. Это правда, что я все забыл.

Сидящий слева. Люди, подумайте только, как чудесно! Мы здесь зрители, и там тоже сидят зрители.

Пьеро. Это всегда так переиначивает пьесу.

Молодой человек. Да, я хочу в этот прекрасный день быть радостным, вы не должны видеть никаких грустных лиц.

Отец. Моя дочь говорила, что вы мне хотите маленькую пьесу поставить. Ты ведь тоже там имеешь роль?

Молодой человек. О, да. *(Вздыхает.)*

Отец. Почему же ты вздыхаешь? Ты мне только что хвалился, что ты хочешь выглядеть радостным. Чего тебе недостает? Откройся мне, и я обещаю тебе помочь, если это мне только возможно.

Молодой человек. Ах, мой отец!

Отец. Говори.

Молодой человек. Я не могу.

Отец. Ты должен доверять мне. Я должен оставить тебя, ко мне пришли мои гости.

Он уходит.

Пьеро. Каким спектаклем нужно теперь интересоваться? Преприим или тем, что теперь идет?

Сидящий слева. Проклятый каверзный вопрос. Лучше всего интересоваться одним днем или вообще не интересоваться.

Молодой человек. Нет, я не могу открыть ему свою любовь. Он мне никогда свою дочь не отдаст, я беден, и отказ не мог бы я пережить... О Эмилия! И все же должно это теперь же разрешиться! Теперь же! О, как я трепещу, чем окончится этот день! Может быть, ошибся я уже в эту ночь, в пустынной глуши, может быть, завтра мне больше не жить. Ах! Смерть, могила, они — единственное место упокоения несчастной любви.

Мельпомена входит как Эмилия.

Эмилия. Я тебя нахожу в слезах?

Молодой человек. А как иначе, дорогая Эмилия? Меня спросил твой отец.

Эмилия. Ну?

Молодой человек. Он был, как всегда, очень добр ко мне, признание в моей любви уже парило на моих устах, но рассудительность помешала мне все же поступить так неосторожно.

Эмилия. Я думаю, что ты его своей маленькой пьесой должны поразить и растрогать, и таким путем мы придем к тому, что он нас признает. Сегодня день рождения, а он против нашей любви, но в этот день он будет не так сердиться, как в другие дни. Он чувствует же, как мы хотим его умилостивить.

Молодой человек. О, милая Эмилия, это меня мучит. Наш проект, я конечно могу это так назвать, наша засада, не осквернит ли эти дни? Мы хотим ему спектаклем радость доставить, и мы используем этот спектакль для того, чтобы в нем представить и нашу ситуацию. Прямо до сегодняшнего дня мы искали самое важное в своих поступках, и мне нужен как раз этот день, чтобы сделаться счастливым.

Эмилия. У меня один-единственный дар — воспринимать все серьезно, и как раз потому воспринимать неправильно. Да если ты только из неприкрытой корысти поступаешь, то было бы твое возражение обоснованно, но он не любит меня. Сверх того, он нам еще не дает повода поверить, что он нашу любовь, если он о ней знает, не одобрил бы. Итак, кончай сомневаться и предавайся уверенности с радостным настоящим.

Молодой человек. О, Эмилия, как завидую я тебе в этом мужском мужестве.

Эмилия. Если это мужество, то стыдись, что у тебя его нет.

Талия как Лизетта.

Талия. Чужеземцы уже пришли, ваш господин отец очень долго почтительно раскланивался с ними.

Эмилия. Кто же это?

Талия. Вероятно, вот эта толстая женщина, ваша крестная, это такая женщина, которая все презирает, что не так толсто и богато, как она

сама. Затем граф Штернгейм, который через каждое третье слово останавливается, чтобы вспомнить о связности, чтобы тем определенно придать связности, этот всех своих слуг и даже всех шутов взял с собой; затем барон Фуксгейм, который больше кашляет, чем говорит, и больше говорит, чем думает. Остальных я не знаю, они кажутся, однако, не особенно значительными.

Эмилия. Так мы теперь пойдем устраивать наш театр... Идемте. Молодой человек. Я следую с трепетом.

Оба уходят.

Отец, граф Штернгейм. Барон Фуксгейм. Толстая фрау.

Многие гости. Слуги и Грюнхельм в качестве дурака, входят.

Отец. Вас еще раз приглашаю от всего сердца, и в вашу честь с этим сердечным приглашением предлагаю все лучшее, что я могу вам дать.

Фуксгейм. Почтеннейший... пожалуйста... знаем... пожалуйста...

Толстая фрау. Нам ваша любезность уже с давних времен известна, и у вас тут, известно, будет еще больший успех.

Штернгейм. Хорошие плоды кажется здесь произрастают... Прекрасная цветная капуста... всеми любимые абрикосы... но какого дурака я, однако, с собой взял... к вам такие еще не попадали.

Шут. Это я вас взял с собой, господин граф, и в этом я могу пригнать.

Штернгейм. Ну, не хороша ли эта ослиная голова?.. Он говорит мне всегда великолепные грубости.

Шут. И этот граф говорит мне прекрасные истины, ведь он не говорит мне ничего, и это истина, что он ничто и что он не умеет говорить.

Штернгейм. Грубости, беспорядочный разум... но хорошие способности.

Фуксгейм (*смеется*). Хорошие способности в одном дураке... да-да... зато его способностей предостаточно.

Шут. Знаете ли вы, что значит совершенный дурак?

Штернгейм. Для этого я и держу тебя дурака, чтобы я мог это знать.

Шут. Вкусы различны, я предпочитаю держать графа.

Штернгейм. Он может себе позволять все, потому что он всего только шут.

Фуксгейм. Я должен был тоже такого завести. Где взять лучший сорт?

Штернгейм. Год на год не приходится, иногда это обычное уродство... Хотел из собственного добра как национальный продукт их выращивать... но не вырастают... климат, может, не годится.

Фуксгейм. Если иногда своим разумом пресытишься, то такой дурак может быть настоящим лакомством.

Штернгейм. Этого я унаследовал, и я не знаю, где его родина.

Фуксгейм. У него никакого метрического свидетельства?

Штернгейм. Дураков вообще не крестят.

Фуксгейм. Но к какой церкви тогда их отнести?

Штернгейм. Они довольны тем, что ходят в заблуждении.

Фуксгейм. Вы должны его наставлять.

Штернгейм. Овчинка выделки не стоит, вот если бы вышел из него разумный человек.

Фуксгейм. Вы, пожалуй, не продадите его?

Штернгейм. Ни в коем случае, я хочу его и в могилу взять.

Шут. Эй, слуга покорный! Это совершенно ужасный оборот речи, чтобы им выражать любовь.

Отец. Но, господа и милостивые дамы, не угодно ли вам пройти в мой дом?

Они уходят.

Лизетта. Кто вы, собственно, друг мой?

Шут. Рад услужить, шут.

Лизетта. Это значит, некий мужчина. Но это я уже знаю, а я спросила только о вашем собственном положении.

Шут. Я остаюсь, увы, во всех состояниях шутлом, как часто вы меня ни переворачивайте, как хорошо поджаренную можжевелевую птицу.

Лизетта. Больше ничего не находите вы для себя неудобным?

Шут. Этого достаточно, мое прекрасное дитя, и более чем достаточно. О можно всю жизнь учиться, чтобы дойти до известного совершенства.

Лизетта. Это же зло для вашей милой персоны.

Шут. Я был уже с рождения шутлом, кроме того бы моя бессмертная душа не знала рассуждений, пресмыкаясь в этом смертном теле, держась такой же тарабарской жизни.

Лизетта. Вы выражаетесь очень приятно.

Шут. Я слова всегда просеиваю сквозь зубы и затем выбрасываю их смело и безразлично, как игральные кости. Вы верите мне, это редко удается человеку, выбросив все шестерки, он может только рассудительно или безрассудно играть.

Лизетта. Вы говорите разумнее, чем ваш господин.

Шут. И вы нравитесь мне больше, чем ваша повелительница.

Лизетта. Я верю, вы можете узнать себя еще лучше.

Шут. Я верю, я научил бы вас любить.

Лизетта. Вы уже на лучшем пути.

Шут. И все же я только начинаю, я еще только становлюсь большим дураком, о если бы вы меня в моем великом неистовстве видеть могли, вы были бы восхищены.

Лизетта. Я могла бы на это отважиться.

Шут. Что вы думаете, например, о поклонении?

Лизетта. Кому вы хотите поклоняться?

Шут. Вам, моя богиня.

Лизетта. О, мой господин, для богини я все-таки немного несовершенна.

Шут. Напротив, всеславная, более чем хороша, известно в наши времена почти никого презреннее, чем богини.

Лизетта. Как это происходит?

Шут. Это должны вы у мудрых людей спросить, я не должен секреты выдавать: мудрец и безумцы, безумная мудрость и мудрое безумие находятся в женской комнате, с великим трудом обустроенной, так как с тех пор она ценится не более, чем пустой орех.

Лизетта. Вы, значит, возможно, любите меня?

Шут. О, это небесное «возможно» оставляет мне еще некоторую надежду, что вы еще не вовсе до безумия в меня влюблены...

Лизетта. А если бы была?

Шут. То я бы, увидев, заметил, в восторге у ваших ног умер бы.

Лизетта. Против этого хочу возразить.

Шут. Какую жертву вы прикажете, следовательно, чтобы я принес вам в знак моей искренней любви?

Лизетта. Женитесь на мне.

Шут. Жениться!.. Я не знаю, или я верно не расслышал... жениться, говорите вы?

Лизетта. Именно это слово, если я еще в своем уме.

Шут. Вы хотите, следовательно, супруга из меня сделать?.. это ужасно!

Лизетта. Как же так?

Шут. Так как вы меня потом в род шутов посвятите, это против моего теперешнего положения — просто светоч ума.

Лизетта. Идите за мной.

Шут. Я ваш.

Лизетта. Я ловлю вас на слове.

Уходит.

Скарамуз. Шуточное ли это дело?

Казначей. Важнее всего, что они старались, и надо оценить их результат.

Скарамуз. Это пьеса для подданных?

Казначей. Всенепременно.

Скарамуз. Это ведь не такая важная контрабанда, особенно местного завода.

Зал с маленьким частным театром.

Отец и гости.

Отец. Занимайте места, для нас здесь поставили маленький спектакль, и я думаю, что занавес скоро должен подняться.

Флейты. Занавес театра поднимается, предстает прекрасный сад.

Пастух и пастушка.

Пастух. Ты никогда не хочешь меня слышать?

Пастушка. Нет, ты хочешь мое сердце очаровать.

Пастух. Нет, я хочу тебя любить научить.

Пастушка. Любовь — это глупость, клянусь.

Пастух. О, любовь — это влечение, эти значения, эти одежды, с нежным стыдом сердце добывают. Ах, верь, я клянусь, если я тебя очарую, так накажет Бог в мстительном споре того, кто преступит клятву.

Пастушка. Я слушаю урок и клянусь, я давно люблю, сердце в груди страшно колотится, ты не знаешь меня. Каждой звездой в голубоватой дали при мерцающем свете я люблю тебя, пастух, с тех пор как увидела. Пусть придет месть на мою голову и накажет меня Бог, если эта клятва неправильная.

Вместе. В весеннем блеске сияют лес и река, и любовь светится и сверкает и управляет одушевлением всей природы.

Уходят.

Штернгейм. Это было кратко, но хорошо... мне нравится.

Фуксгейм. Не много и не мало, это мой девиз.

Мельпомена, или Эмилия, входит в образе Лауры.

Лаура. По пестрой изгороди из роз порхает бабочка, веселое пение жаворонка будит уже царицу дня. Всегда бодрствуют мои заботы, не знает покоя это верное сердце и каждое красное утро находит меня в скорби. Ах! Когда же я покой обрету, рано или поздно? Хотите ли вы меня от мучений освободить? Слышит ли Бог мою мольбу? Я вижу Фернандо бледным от моих слез, и, о, как тоскует теперь мое разбитое сердце, мои любящие боязливые глаза его находят... О, почему любовь всегда болезненна и стеснительна, что родители не могут посмотреть на нее глазами любви? Как? Было всегда так? И должно быть? Настигает не только меня и его эта суровая судьба? Ах жизнь, как была бы ты прелестно красива, если бы ты не протягивала нашим слишком нежным рукам розы с тысячью колючек: если с уверенностью можно сойти вниз по тропе, убедись, расцвело ли поле навстречу, живые источники и прохладные тени под миртами... Все-таки проверить с заботой, куда ставить ногу, хотя дорога в начале привлеклива; вероятно, ведет нас она к крутому, отдаленному утесу? Идет ли любовь всегда с нами? Так говорим мы и сомневаемся, и забываем

в сомнении само милое присутствие которым — ах! — так мимолетно спешим насладиться.

Чужестранец, или Молодой человек входит в роли Фернандо.

Фернандо. Ты уже с утра в саду, моя любовь.

Лаура. Я мою любовь здесь ожидаю.

Фернандо. О, ты стыдишься веселой зари.

Лаура. И самого тебя, Фернандо, любимый друг.

Фернандо. Я так и не задремал всю ночь, заботы сидят со старой головой на моей кровати и держат постоянно меня бодрствующим: тут я сижу боязливо, мшу мутному будущему, от которого ни маленького солнечного сияния нет. Что было бы дальше, пустынная темнота со всеми ее страхами, без любви, не пришла оттуда и сама надежда. Это вечно ленивое будущее, без воодушевления гонит это жалкое время. Утром чувствую слабость в глазах, вот странствует мой дух к клумбам и ищет печаль у пестрых детей весны; когда радуга была, мой дух странствовал через дальние поля, надо мной твое сладкое имя простерло защиту: висел на нем хор легких ангелов, которые все распевали звуки эолова колокола, о вечной любви и о поцелуях говорили, что дальше закружились в ветре и сделались кругом быстро движущимся в легких гармоничных звуках, которыми только любовь и Лаура ликуют, вопреки звездам. Вот было однажды, как когда ты меня самого призывала, эта мелодия онемела и я проснулся.

Лаура. И для моего привета и поцелуя проснулся.

Фернандо. И бледно, и больно теперь мое сонное сознание.

Лаура. Фернандо! Любишь ли ты меня своим верным сердцем?

Фернандо. О, могу ли я тебя без верности любить? О, Лаура, верным быть — не заслуга, так как любовь и верность вместе только одно, и никогда не бывает иной любви.

Лаура. Ах, знал бы только мой отец твое сердце!

Фернандо. Он, конечно, знает и пренебрегает мной.

Лаура. О, богатство! Ты идешь из глубочайшего ада, который бедная земля еще беднее делает, ты мучаешь последнее прекрасное счастье, равенство, которым связаны все люди дружные и отцы детей.

Фернандо (*падая на колени*). О, Лаура, если только ты меня любишь, то хочу быть счастливым и жить, и не бороться за иное счастье. В тебе — всё небо.

Клаудио, Отец входит.

Клаудио. Как, злодей?

Лаура. О мой отец!

Клаудио. Уходи неблагодарный!

Отец. О, дитя, кончай эту комедию, отец тут слишком свиреп, я даю вам полное мое согласие.

Скарамуз. Я тоже, так как меня охватил голод.
Эмилия (*кланяясь в ноги отцу*). Ваше благословение теперь, мой отец.

Фернандо. Нет, Эмилия, туда.

Кланяется Скарамузу.

Скарамуз. Как? Что? Что же это?

Мельпомена. Ваше согласие, мой Аполлон, дайте мне свободу, я не могу больше быть музой.

Скарамуз. Итак, для этого и была разыграна комедия?

Чужестранец. Да, Ваше величество.

Скарамуз. Ну, так как вы меня теперь растрогали, и пока я в лучшем настроении, то можете вы пожениться. Это же всегда такая обычная вещь, что Мельпомена оставляет навсегда театр, поэтому мы, таким образом, не будем более видеть трупы; но она выходит замуж за доктора. Я не знаю, что хуже.

Талия. Господин король, я тоже хочу замуж.

Скарамуз. Как так?

Талия. Здесь есть один так называемый шут, в обычной жизни зовущийся Грюнхельмом.

Грюнхельм. Да, Ваше Величество, мне свободное состояние надоело.

Скарамуз. Ну ради Бога; но так весь спектакль летит к черту... Берите друг друга и мучайтесь после по справедливости.

Все уходят.

Занавес падает.

Конец третьего акта.

Великая путаница среди зрителей, одни плачут, другие смеются, иные чихают от смущения.

Пьеро. По божьей милости кто подержит мне голову, или кто наложит мне железный обруч, чтобы она не разорвалась?

Сидящий слева, один из зрителей. Не выдержать, это верно. Смотрите люди, мы сидим здесь как зрители и смотрим пьесу; в той пьесе сидят зрители и смотрят пьесу, и в этой третьей пьесе таким тройным превращением актеров снова сыграна пьеса.

Вахтель. Ничего не хочу сказать, но только спокойно думаю, что я бы спасся бегством из моего теперешнего зрительского состояния и в конце стихотворной комедии стал бы актером. Чем дальше от зрителей, тем лучше.

Другой. Теперь думают люди, как же это возможно, чтобы мы снова актерами в какой-то пьесе были и видели бы теперь ее изнутри. При

таких обстоятельствах были бы мы только первой пьесой. Так нас видит, возможно, Ангел, и от такого видения мог бы он подумать, что мы сошли с ума.

Вахтель. Почему нет? Из таких ангелов, которые так часто общались с людьми, сделались мы, возможно, людьми.

Сидящий слева, один из зрителей. Особенно такими поэтами, которые подобную вещь пишут.

Музыка

Рондо

Как же сказал тот крестьянин, что он сливы должен есть с супом? Да: тут нет никакого разумения.

Как часто философ удивляется, так часто он не может осмыслить одной вещи (и так бывает по большей части потому, что она не укладывается в его систему, ведь в другом контексте такая вещь не кажется ему чужеродной, и даже, возможно, была бы ему эта мысль совершенно естественной), вот он так и восклицает: тут нет никакого разумения!

Само же разумение, если бы оно хотело дойти до основания, исследовать свою собственную суть, и за собой понаблюдать, и понаблюдав, сказать: тут нет никакого разумения.

Не правда ли, гораздо лучше отказаться от всяких размышлений? Так многие делают, сами того не зная. Так вот, кто разумно презирает разум, тот лишь и разумен. И тут никто не скажет: тут нет никакого разумения.

Многие стихи — сошедшая с ума проза, многая проза — сведенные подагрой стихи; то, что находится между поэзией и прозой, не лучше, — о, музыка! Куда ты стремишься? Не правда ли, ты признаешь, что в тебе тоже нет никакого разумения?

К чему должны быть эти мысли? Для чего нужна подобная музыка? К чему такие исторические пьесы? Для чего в конце концов весь этот мир? Но для чего тогда и такие вопросы? В них нет никакого разумения.

От мухи до слона все существует по своему произволу, включая человека. Так не то ли и с мыслями, которые появляются раньше, чем их применение? Не так ли и с удовольствиями, увлечениями и увеселениями и со всем перевернутым с ног на голову миром? Выверните же его еще раз, так выверните, чтобы он стал правильным, и тогда вы не скажете: тут нет никакого разумения.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Сцена первая Зал суда

Скарамуз. Советники.

Скарамуз. Господа, вы всё еще убеждены, что я мою страну сделал счастливой?

Советник. Совершенно, Ваше Величество, не может быть иначе.

Скарамуз. Ну, это я люблю. Мы должны неустанно продолжать свое дело, нравы страны переделывать. Все прежние варвары должны быть вырваны с корнем, от них не должно остаться ни кости.

Советники. Конечно, нужно не только высокие бурьяны выполоть, но также те, которые такие маленькие, что едва видны, чтобы не осталось на семена.

Скарамуз. Таково и мое желание. Улучшатели и культиваторы народа всё же идут такими изрядными темпами... Сейчас пусть выступят тяжущиеся стороны.

Писатель и читатель выступают вперед.

Скарамуз. Чего вы хотите?

Читатель. Господин король, я имею большие и основательные жалобы на человека, который называется персоной, сдающей книги в печать, и я тот, кто их после этого должен читать. Я нахожу естественным, что я могу ему сказать: видите, сударь, так-то и так-то должны вы книги делать, тогда они мне при чтении понравятся. А он этого не хочет делать.

Скарамуз. Но, парень, почему же нет?

Писатель. Ваше Величество, соблагovolите только подумать, что это человек, не имеющий вкуса, и что он от меня требует плохие книги. Я не могу потакать этим его желаниям.

Скарамуз. Но почему нет, ведь это же ему, наконец, читать твое сочинение? Ты должен, таким образом, иметь вкус, который он от тебя требует. Я вижу, ты слишком своенравный тип, иди вон и исправляйся...

Писатель уходит.

Читатель. Благодарю за хорошее решение.

Скарамуз. Но ваша глупость вовсе не нуждается в чтении, тогда не придется всякий раз торговаться.

Читатель. Нет, милостивейший государь, этого я бросить не могу, скорее раньше брошу курить. Чтение — моё единственное удовольствие и образовывает меня, и просвещает.

Скарамуз. Всё ли вы понимаете из того, что читаете?

Читатель. Чаще всего, да, а если я однажды теряю нить повествования, то всегда надеюсь, что божественная благодать направит меня на верную дорогу.

Скарамуз. Поступайте так и дальше, чтобы вы имели хорошие убеждения. (*Читатель уходит*). Вы видели когда-либо еще такой расцвет наук?

Советник. Ни разу.

Входят Ауликус и Миртл.

Скарамуз. С чем вы пришли? Говорите!

Ауликус. Мой князь, мы пастухи, так сказать просто-напросто называемые пастухами, или пастухи в отдаленнейшем смысле этого слова, потому что мы держим также несколько коров.

Скарамуз. Это ваша жалоба?

Ауликус. Ни в коей мере, были бы мы слишком правильными архи-халтурщиками, если бы мы об этом пожаловаться хотели. Нет, наоборот, хочет небо, мы имели больше оснований для жалоб.

Скарамуз. Ближе к делу.

Миртл. Кум, позволь мне продолжить, иначе вынужден князь стоять тут, как дурак. Поймите меня, господин князь, и если вы этому человеку до утра говорить позволите, то он так к делу и не подойдет. Это мой кум, и еще хороший человек, но это должны ему самому враги в гробу говорить, чтобы он пасть держал закрытой с начала дороги. Это у него наследственный порок.

Скарамуз. Что вы хотите, люди? Я теряю терпение.

Миртл. Нисколько, господин князь, ведь мы тоже теряемся, и это завело бы в тупик. Знаете ли вы, господин князь, что такое ножницы?

Скарамуз. Глупый вопрос! Как можно этого не знать?

Миртл. Ну, так вот, мы уже почти выиграли этот процесс. Овец указали бы нам стричь, и это хорошо и похвально, так как для этого они и созданы. Так было до сих пор и выполнялось добросовестно, но теперь вещи переворачиваются, так как овцы против нас взбунтовались.

Скарамуз. Как это?

Миртл. Это так далеко зашло, что они требуют, чтобы мы тоже для разнообразия однажды позволили себя постричь.

Скарамуз. Какие они имеют основания?

Миртл. Они постоянно вызывают адвоката, который подчиняется им и их права защищает.

Скарамуз. Пусть он войдет.

Входит Грюнхельм.

Скарамуз. Да это же Грюнхельм! Ты ли тут утверждаешь, что пастухи должны позволить овцам их побрить?

Грюнхельм. Конечно, светлейший Аполлон.

Скарамуз. На каком основании?

Грюнхельм. Во-первых, делают они это так часто со своими овцами, и ради развлечения однажды может стать наоборот. Они упо-

требляют от этих овец так много благ, что то, что требуют бедные животные сейчас от этих жестокосердных пастухов, это же только незначительный «безвозмездный дар»; поистине я не хочу позволить себе из-за такой мелочи убивать, и стричь, и халтурить. Они же тоже, во-вторых, после этого намного лучше увидели бы, что значит стричься, они стали бы благодаря этому к овцам сострадательны и благодарны. Я лишь хочу их к добродетели привести.

Скарамуз. Ты прав. Пастухи, ваш процесс проигран, идите и подчиняйтесь желанию ваших подчиненных. (*пастухи уходят*). Они будут для всеобщего блага острижены, эти негодяи, и еще жалуются!

Грюнхельм. Этот эгоизм, господин Аполлон, очень тяжело из людей выводить.

Они уходят.

Вторая сцена

Комната

Рабе, его супруга, мальчик Вильгельм.

Супруга (*играет с маленькой девочкой*). Взгляни, дорогой мой, Аделаида уже учится играть.

Рабе. О, как я горд как отец, сколько во мне пробуждается нежности, когда я наблюдаю успехи моих достопочтенных детей.

Супруга. Ты прав, называя их достопочтенными, ведь я тоже уважаю их, даже молюсь на них.

Вильгельм. Дорогой отец, но зачем же нужно читать по слогам?

Рабе. Послушай только, дорогая супруга, какие философские вопросы задает наше милое дитя! Подойди ко мне, мой мальчик, дай я тебя расцелую... О, дитя мое, ты обязательно станешь гением. Если ты сейчас задумываешься о том, полезно ли читать по слогам, то что же будет, когда ты достигнешь тридцатилетнего возраста?

Супруга. Он слишком умен для своего возраста. Только бы он не переутомился.

Рабе. Иди, дитя, поиграй во что-нибудь. Ты очень много потрудился сегодня. Ты слышишь? Ты не должен перенапрягаться, чтобы не заболеть.

Супруга. Иначе не останешься таким красивым, как теперь, а станешь ужасным.

Рабе. Я должен этого мальчика отдать в новомодную школу, как бы мне ни было трудно с ним расстаться. Недавно я там был на экзаменах у детей, дорогая Элиза, и там дети так странно мяучили и мычали (ведь там не читают по слогам) полукашляя, полукашляя и клопоча. Я был в восхище-

нии. Как жаль, что мне уже нельзя начать все сначала и с такой прекрасной методикой овладеть наукой чтения!

Вильгельм. Поиграй со мной, отец! Вот карты, построй мне из них домик.

Рабе. Я очень занят, сын мой.

Вильгельм. Но ты должен.

Рабе. Возьмись за ум, дитя мое, у меня совсем нет времени. Это дело неотложное.

Вильгельм. Но я этого хочу.

Рабе. Сын мой, если бы я не был так занят, то тогда поиграл бы с тобой. И ты мог бы меня упрекнуть. Но в данном случае...

Супруга. Так поиграй с ним, ты же видишь, он плачет.

Рабе. Ну так пошли, Вильгельм, не плачь. В сущности, работа может еще какое-то время подождать. Но только будь хорошим мальчиком, ты же видишь, что я это сделал ради твоего желанья.

Супруга. Я же оставляю домашнее хозяйство, чтобы заниматься образованием Аделаиды.

Рабе. Ты уже читала новое наставление для матерей, Элиза?

Супруга. Нет, мой дорогой.

Рабе. Прочти его непременно, в этой книге много поучительных наблюдений, — например, что служанка не должна ни брать ребенка на руки, ни разговаривать с ним.

Супруга. Я этого никогда не допускала. Меня всегда трясло, когда наша Катарина, в общем неплохая персона, только бросала взгляд на нашего небесного ребенка. Да, уже один взгляд может осквернить нашего ангела.

Вильгельм. Если ты строишь дом, отец, то ты должен думать о нем, а не говорить о других вещах.

Супруга. Премилый малыш, — смотри, Аделаида, так подбирают вверх. Это называется «бросать», дитя мое.

Рабе. Как со времен правления нынешнего Аполлона улучшились нравы! Как плохо мы были воспитаны, Элиза.

Супруга. Ну да, так грубо и варварски; мы должны были почитать своих родителей! Но скажи, что это был за ужасный человек, который вчера нашему нежному Вильгельму подарил игрушечного Гансвурста?

Рабе. Какой ужас! Какие идеалы может пробудить в возвышенной душе такая готическая рожа? Но я этому куму Бразебарту отомстил, и он с подобным больше не придет. Я ему вместо этого прямо у краснодеревщика заказал маленького бельведерского Аполлона, чтобы милые возвышенные образы, божественные физиономии были у него в игре, чтобы он приобщался к возвышенному искусству таким образом.

Супруга. Впечатление от этой варварской игрушки было таким сильным, что я всю ночь видела во сне отвратительного Гансвурста. Под конец ты сам в него превратился, мой Зельмар, и я проснулась от ужаса.

Рабе. Если б можно было изолировать хороших детей от человеческой толпы, то это меньше мешало бы сохранению их святости. Подумай, — в то воскресенье я услышал, как наш Вильгельм в беседке напевал себе песенку: «Ах, мой милый Августин»!

Супруга. Ужасно, о ужасно, в высочайшей степени ужасно!

Рабе. Раз у него есть потребность в искусстве, то я для него из Софокла обработал одну из песен Хора о Судьбе, переложил ее на мелодию «Цвети, моя фиалка», и пусть он ее штудирует; а не сможет забыть о милome Августине, то на эту мелодию я ему переложу одну из элегий Маттисона о лунном сиянии, чтобы стереть влияние этой песенки.

Супруга. В изданиях для детей произошли революционные изменения.

Рабе. О, наши дети вырастут божественными людьми!

Супруга. Без сомнения, их портреты выгравировут на меди.

Рабе. Мы не нарадуемся на них... Долгого правления нашему Аполлону!

Супруга. Идем с ними в сад, чтобы они были восприимчивы к природе и улыбались очаровательности роз.

Уходят.

Третья сцена

Другая комната

Мельпомена, Чужестранец.

Чужестранец. Дорогая жена, сколько времени мы уже женаты?

Мельпомена. Четыре недели.

Чужестранец. Не больше ли?

Мельпомена. Тебе показалось это время таким долгим?

Чужестранец. Это не важно; но я думаю, что дольше.

Мельпомена. Могу ли я по этому поводу не плакать?

Чужестранец. Ты только и делаешь, что плачешь; мы постоянно ссоримся и за четыре недели отпраздновали уже не менее тридцати примирений.

Мельпомена. Ты так огорчаешь меня, ты легкомысленный человек, тебе доставляют удовольствие мои слезы.

Чужестранец. О прекрати же!

Мельпомена. И ты к моему горю равнодушен.

Чужестранец. Черт бы побрал Аполлона? Зачем он не оставил тебя в театре?

Мельпомена. Было бы лучше, если бы я вовсе с тобой не встретилась.

Чужестранец. И зачем я сюда приехал?

Входят Грюнхельм и Талия.

Грюнхельм. Вот мы и собрались к вам в гости, друзья.

Талия. Как дела, дорогая Мельпомена?

Мельпомена. О, мой муж...

Грюнхельм. Ну, доктор, как дела?

Чужестранец. О, моя жена...

Талия. Вы всегда в разладе, это никуда не годится. В вашем доме царит атмосфера мещанской драмы, а я терпеть ее не могу.

Мельпомена. Это можно изменить?

Талия. Вы должны ладить друг с другом. Ты должна уступать, Мельпомена.

Мельпомена. Лучше умереть.

Талия. Но это невозможно, уже хотя бы потому, что пьеса должна иметь счастливый конец. Почему же я счастливо живу со своим мужем?

Мельпомена. Потому что ты дуручка.

Грюнхельм. Слуга покорный! Значит, никакого труда не составляло жить со мной хорошо?

Мельпомена. Да едва ли это трудно.

Чужестранец. Ну, жена, вот тебе моя рука, давай помиримся. Эта сцена не должна закончиться слишком трагически.

Мельпомена. Ты значит, признаешь, что был не прав?

Чужестранец. Ни в коем случае!

Мельпомена. Ну вот видишь, Талия.

Талия. Таким образом вы никогда не договоритесь. Тот сейчас не прав, кто не протянет руку дружбы; тот прав, кто первым простит все другому.

Супруги обнимаются.

Чужестранец. О, как я тебя снова люблю! Мое сердце бьется только ради тебя!

Мельпомена. Взаимно.

Чужестранец. Я не представляю, как я мог так заблуждаться.

Мельпомена. И я не представляю, любимый.

Чужестранец. В сущности, мы оба были не правы.

Мельпомена. И я того же мнения.

Чужестранец. Пусть же этот день примирения будет днем радости... Оставайтесь с нами, друзья, и помогите устроить настоящий праздник любви.

Четвертая сцена

Море

Военный корабль плывет мимо на всех парусах.

Адмирал Панталон на верхней палубе с солдатами.

Панталон. Мои дорогие солдаты, сегодня должен быть объявлен морской бой, так как ветер нам сопутствует. Мы не можем больше медлить, потому что у нас провиант на исходе.

Солдат. Будет ли это жестокий морской бой?

Панталон. Мы сражаемся до последнего человека. И только надумайте дезертировать!

Солдат. От этого пусть нас Бог уберезет.

Панталон. Чужой адмирал не сможет удержать город, но так как его флот очень ослаблен, он вынужден будет отказаться, и поэтому мы поедем с триумфом домой.

Солдат. Если только никто из нас до этого не погибнет!

Панталон. Теперь уже можно смотреть на это сквозь пальцы, каждый пятый как раз останется, так как это не касается остальных.

Солдат. Но если это случится, он же понесет убыток.

Панталон. Говори смелее, хоть ты и жалкий солдат.

Они едут мимо. Остальной флот следует за ними.

Другой военный корабль приближается. Адмирал Арлекин. Солдаты.

Солдат. Должны ли сегодня баталию объявить?

Арлекин. Если вы имеете в виду это, люди, и так этого хотите, то так тому и быть, и всегда лучше сегодня, чем завтра.

Солдат. Наши ружья уже заряжены.

Арлекин. Это правильные ребята, и в бою не потеряют мужество! Думаю, что если умирать однажды, то на море не нужно платить за гроб.

Солдат. Всё хорошо, я хочу первым добраться до неприятеля.

Арлекин. Весь флот в сборе?

Солдаты с других кораблей. Да, господин Адмирал!

Арлекин. Теперь стройтесь в боевом порядке. Марш! Лево! Так! Мы должны у врага в ветре выиграть, мы должны не лениться, все зависит лишь от нашей расторопности.

Панталон подходит со своим флотом.

Панталон. Смотрите, это же вражеский флот. Теперь мне это любо, не будем сидеть сложа руки. Стреляйте же смело по матросам, дорогие мои люди, раз они так высоко на мачты вскарабкались.

Арлекин. К наступлению!

Началась перестрелка, пушки гремят, много шума, корабли друг в друга попадают, пару раз, в море плывут красные солдаты.

Панталон. Какая горячая битва.

Арлекин. А теперь мы возьмем адмиральский корабль на абордаж.

Он поднимается со своими солдатами на борт к Панталону.

Панталон. Что это?.. Эй, к дьяволу, это не считается! Это не считается!.. Это против всех военных правил!.. Арлекин, это не считается! Это не считается?

Арлекин. Почему это не должно считаться? Я теперь войну выиграл.

Панталон. Это было новшество, это против всех уговоров.

Арлекин. Э, да что, на войне считаются все преимущества.

Панталон. Нет, господин шут, этого я ни в коем случае не допущу. Я буду придерживаться старых правил.

Они борются, Панталон падает в воду: «Помогите! Помогите!»

Арлекин. Теперь мы одержали славнейшую победу.

Директор Вагеман входит, как Нептун, из глубины моря

Вагеман. Кто на моей сцене-арене поднял такой вой?

Панталон. Это же я в воду упал, господин Вагеман, и проиграл морское сражение.

Вагеман. Плынешь тут и всё полно солдат. Парни, становитесь на ноги, что же вы плаваете?

Солдаты становятся правильно и идут на берег.

Панталон. Не поможете ли вы мне, господин Директор?

Вагеман. Иди, не бойся, в мой экипаж, мы позже высушим твоё платье.

Панталон. Это была жестокая морская прогулка.

Едет на берег.

Арлекин. Мы можем теперь тоже выходить, ведь триумф наш.

Панталон. Господин Нептун! Я в пылу битвы потерял мою дорогую адмиральскую шапку, как это могло быть?

Нептун. Я съезжу на дно моря, чтобы её отыскать.

Спускается вниз.

Арлекин. Солдаты, станьте на берегу.

Они становятся на берегу.

Панталон. Два из моих кораблей на дне, все убытки очевидны.

Нептун (*из моря*). Вот твоё фуражка, Панталон, уделяй ей впредь больше внимания. Вы вообще песенный сброд, разбросано теперь вокруг так много театральных реквизитов. Кто в итоге в большем убытке, чем я?

Панталон. При баталии не надо так заострять на всё внимание.

Скарамуз со свитой.

Скарамуз. Я давно не делал такой приятной прогулки... Что это тут?

Казначей. Море, мой князь.

Скарамуз. Море?.. Смотри-ка, у меня в стране есть море, и я не знал ничего об этом... А кто вы?

Арлекин. Ваш вернейший подданный, адмирал Арлекин, который так как раз сразил большого вражеского адмирала Панталона.

Скарамуз. Я совсем ничего о вас не знаю. Итак, мой флот победу одержал?

Арлекин. Конечно.

Скарамуз. Но парни, зачем вы не говорите мне об этом ничего, что происходит в моем государстве?

Казначей. Было бы вредно, если Ваше Величество за всем хотело уследить.

Скарамуз. Всё верно! И ты же, следовательно, мой враг?

Панталон. Рад стараться, мой князь.

Скарамуз. Какому князю ты служишь?

Панталон. Ваше Величество, я его имя забыл, да и не существенно это. Каждый человек имеет врага, и так точно у вас. Но мы уже побеждены, и покой в вашем государстве восстановлен.

Скарамуз. Что это за парень в море?

Солдат. Это морской бог, Нептун.

Нептун. Господин Скарамуз, вы забываетесь, должен я вам сказать. Ваше высокомерие переходит все границы. Вы больше меня не узнаете, Вагеманна, вашего директора?

Скарамуз. Я вообще туманно припоминаю такие имена.

Нептун. Я вам приказываю, господин.

Скарамуз. Мне приказывать?

Нептун. Ну, вам только завершить последний акт, и там посмотрим, я не могу теперь нарушать ход пьесы, но в состоянии дать вам отставку после нее.

Скарамуз. Мне отставку? Князю отставку? Только послушайте, люди, какие революционные взгляды имеет эта русалка. Господин Нептун, или как вас там зовут, я обещаю вам, что вы вообще ни до какого последнего акта не доживете.

Нептун. Мы еще поговорим.

Уходит вниз.

Скарамуз. Где этот парень остался?

Казначей. Он погрузился.

Скарамуз. Как это?

Казначей. С помощью машинерии.

Скарамуз. Этот парень, машинист, во всех делах на свете они виноваты, мне сегодня уже несказанное страдание причинил... Машинист сюда!

Машинист выходит из моря.

Машинист. Что случилось, господин Скарамуз?

Скарамуз. Ты же позволяешь людям погружаться, как я слышал?

Машинист. О да, Государь, если этого требует пьеса.

Скарамуз. Только и слышу разговор о некоей пьесе. Ты ведь мне такого удовольствия не доставил, чтобы я погрузился.

Машинист. Это тоже не записано в вашей роли.

Скарамуз. Да? Но какая-то гроза полагалась, которая мне была в тягость и крайне неприятна?.. Теперь я хочу один раз погрузиться.

Машинист. Потрудитесь только ко мне в море войти.

Скарамуз. В море? Да разве я себя так не ценю, чтоб мог позволить себя утопить... Море никак не друг человеку.

Машинист. Я даю вам слово, что вы будете погружены с большой осторожностью.

Скарамуз. Но я хочу лучше здесь на суше погрузиться.

Машинист. Государь, там никаких ловушек нет.

Казначей. Делайте это там, в море, это действительно не опасно.

Скарамуз. Ну, под вашу ответственность, люди. Если я умру и будет у вас республика, так вы будете в большом убытке.

Идет в море и погружается, остальные уходят.

Сидящий слева, один из зрителей. Да, морская битва — это, однако, нечто ужасное.

Другой. Раньше не были уверены, пока не увидят своими глазами.

Стражник. Римляне тоже имели охоту к таким большим пьесам.

Пьеро. Что мне не нравится, так это то, что в таких сценах всегда много воды должно быть.

Другой. До сих пор еще не преодолена поэтическая трудность в изображении морской битвы без воды.

Пьеро. Это было бы, однако, настоящим искусством.

Другой. Местами пьеса изменена, и во многом ей не хватает единства.

Пятая сцена

Поле

Аполлон. Адмет. Альцеста.

Аполлон. Но почему вы держитесь с такой малодушной покорностью?

Адмет. Что я могу сделать?.. Вся моя душа возмущается этим, но он очень могущественный.

Альцеста. Необходимость учит нас, близко иметь дело с обстоятельствами, которые мы еще не один раз дальше будем терпеть.

Аполлон. Возьмитесь снова за ваши княжеские убеждения, объедините всю вашу власть и окажите открытое сопротивление. Верьте мне, ничто так не укрепляет, как вера в свои силы.

Адмет. Ты говоришь хорошо, пастух, кто тебя так научил?

Аполлон. Нуждается ли это в научении? Вы очень кроткие, доверьтесь себе, думаю, что вы знаете и можете, если только захотите. Идите, и мы увидимся после.

Адмет и Альтиеста уходят.

Ауликус и Миртл.

Аполлон. Чего вам недостает? Вы выглядите такими раздосадованными.

Ауликус. К черту всю вашу культуру, она нам плохую услугу оказала.

Аполлон. Как так?

Ауликус. Только посмотри на нас. Наши прекрасные бороды полностью обрезаны, нас больше нет, какими мы были. И это по приказу нашего князя и наших овец совершилось.

Аполлон. Почему вы это допустили?

Миртл. Да, в нашем прежнем диком состоянии мы бы этого терпеть не стали. Все это проклятое образование, которым вы нас соблазнили. Оно свело нас совершенно с ума, и это оказалось для разума пороком и привело к таким глупым вещам.

Аполлон. Вы должны были сопротивляться.

Миртл. Никто не хочет быть первым, так как опасается убытков: постригут, а ты скривишь рот, терпишь и думаешь, что опасность скоро пройдет...

Мопса и Филис входят.

Аполлон. Пастухи и пастушки, я должен вас теперь оставить, мы увидимся вскоре.

Мопса. Разве вы не женитесь ни на одной из нас?

Аполлон. Я не должен, судьба и боги против.

Мопса. Вы дурак... Теперь, Миртл, придется вам отдать предпочтение, вы сформированы и острижены, и вы теперь нравитесь мне больше.

Ауликус. А ты, Филис?

Филис. Чем теперь, если моя сестра мне пример подает, то хочу я тоже с тобой порадоваться.

Пастухи уходят.

Аполлон (*один*).

Не справедливо ли я поступаю с теми,
Кто малодушен? Что влечет меня сюда,
Чтобы я сам опасности избегнул?
Живем в позоре мы, когда позор
С уверенностью браком сочетался,
Как может смысл перевернутый найти
Уверенность в таком покое жалком?
Мы избегаем собственных идей,
Когда они советуют нам гнеть
Не покоряться. Больше не хочу я

Покой такой отныне почитать.
Пусть хорошо живет все его стадо
И тихие поля его, а я
Пойду отважно прямо на опасность,
Хочу своим я прежним княжеством владеть,
Когда же нет — пасть жертвой благородной.

Уходит.

Сцена шестая

Одинокая скала в море. Ночь.

Зельман, Моряк-солдат один стоит на вершине скалы.

Моряк.

Как страшно царит в глубине столь пустынное море,
И темное в звуках волны одиночество слышно,
Их ветер качает; но я почему тут остался
Один после битвы, когда все другие спаслись?
И жду я на этой скале уже долгое время,
Не смогут ли снова глаза обнаружить корабль,
Который с утеса меня одинокого снимет.
О, светлое звездное небо, ты часто страдаешь
Мое уже видело, слышало просьбы мои.
Позволь же теперь наконец, чтобы час тот настал,
Когда вдруг прибудет спасенье.
А дикое море так глухо и неумолимо,
Оно не пошлет мне на помощь
Ни лодки рыбацкой, ни судна,
Ни даже доски или жерди, приливом носимой,
И ни одного человека, кто спас бы меня.
Ах, кто никогда не встречался с таким ощущеньем,
Кого не бросали ни разу друзья, кто с волненьем
Живет без друзей, окруженный живыми людьми,
Тому я завидую. Редко проносятся чайки
С зловещими криками мимо. И жесткая тьма
Вокруг простирается, звезд отраженья в приливе
Мерцает неясно, и скоро начнет мне волна
Вещать человеческим голосом и издеваться,
Что я одинок и страдаю; и скоро увидит мой взор
В дали этой серой страны, как бы в тучах стоящей,
Мираж вижу я, будто берег порос деревьями,
и слышу, как будто шумит в отдалении лес,
И звук топора, и порой я тогда забываю,

Что эта скала мне отныне отчизна моя.
Солнце восходит
С каким наслаждением каждое утро
Встречаю рассвет: как величествен моря прилив,
Который пурпурные волны несет
Из разных источников, и золотое сиянье
Искристо из бездны глубокой разбрызгал вокруг.
И волны с морской глубины шлют хвалебные песни.
Орел от гнезда пролетает над морем
Шлет солнцу приветы.
Но что ж человек лишь в страданиях вечно вопит?
Пред ликом могучего солнца, лучей золотых
Он думает лишь о себе. Как такое возможно?
Ребячества робость гони! Но что там?
Мираж ли? Корабль ли вдали на волнах?
Сюда! О заметьте мой белый платок,
Который на утреннем ветре прохладном трепещет!

Он делает знаки.

О, лодку опускают!.. Она уже так близко,
Идет сюда... Уже могу на ней
людей я различить... Добро пожаловать!
Какую радость в сердце я ощущаю!

Лодка с матросами гребет к берегу.

1 - й матрос. Смотри, как парень к вершине скалы прилип.

2 - й матрос. До сего дня нам еще никогда не удавалось поймать такую птицу.

1 - й матрос. Спускайся вниз, человек!

Моряк (*сползая вниз*).

О радость! Радость!
После долгого страданья,
Я снова вижу ненаглядных братьев,
Людей, родных по духу и по крови!

2 - й матрос. Только слушай, он действительно поёт.

1 - й матрос. Он здесь в одиночестве хорошо должен был успокаивать себя пением.

Моряк в лодке.

О люди, я хотел бы в целой книге
Свой опыт одинокий изложить.
За этой книгою читатель каждый должен
Потратить время и узнать, какую
Я выстрадал на той скале нужду,
Что я от одиночества терпел,
И как меня нашли в итоге люди.

1-й матрос. Вероятно, очень одиноко наверху?
Моряк

Друзья. Вы не поверите, когда
Вам рассказать, как тосковал я тут
Без общества хорошего!
Наедине с собой лишь черт
Разумным может быть.
Живу я, как в деревне, без новостей.
Уж я не говорю о маскарадах, балах.
Единственной моей поддержкой были волны,
Ведь вы слышали звук жалобы моей.
Что скажете? В такой дали далекой
не ощущаю помощи суфлера,
и все же должен монолог большой читать.

1-й матрос. Ну, вы всё же теперь спасены, мы можем, таким образом, уехать. (*Уезжают.*)

Сидящий слева, один из зрителей. Такой Робинзон всегда очень несчастная личность.

Другой. Я еще никогда так над страхом одиночества не задумывался.

Седьмая сцена

Корчма

Хозяин. Анна.

Трактирщик. Об нашем Чужестранце мы ничего более не слышали, однако.

Анна. Это был очень неинтересный человек.

Трактирщик. Ни разу при этом не знаком с простыми драматическими приемами, удивлялся всему. Это по-настоящему хорошо, что он никакой не государь или подобный ему, ведь он не изучал искусства поэзии, он бы в известной мере выпал из своей роли.

Анна. Ваша роль тоже оттуда, отец?

Трактирщик. Собственно, нет, так как роль хозяев там нечасто исполняют, и им говорят, как они должны себя вести; но я из всех моих опытов некий вид теории составил, так что меня всё же нелегко сбить с толку.

Анна. Как вам это удастся?

Трактирщик. Важнейшее, на что я смотрю, это, чтобы я не был неестественным. Это важная вещь, дитя моё, все остальные даются заранее. Я должен также избегать всякой напыщенности, всех поэтических выражений, я не имею права говорить очень разумно.

Анна. Таким образом, в этом дело? Я же никогда не знала...

Трактирщик. Да, да, кто может идти против своего определения? Это теперь, во-первых, так принято; это мне стоит таких малых усилий, чтобы устроиться надлежащим образом, и, кроме того, иногда раздаётся упрек, что из меня выглядывает Автор. Это было со мной несколько раз, как с Мидасом, который свои длинные уши совсем не мог скрыть... Видишь, сейчас я являю собой очень яркий пример выпадения из характера... Как может некий хозяин такой ученый и шуточный намек на Мидаса сделать! За исключением того, когда заранее подготовлено и мотивировано, вроде того, что этот Хозяин получил превосходное воспитание, он читал даже древних, и только странный случай привел его сюда... С Мидасом та же история, это из меня выглянул Автор. Окаянная ошибка, в которую я все время впадаю.

Анна. Но должен, пожалуй, поэт на это пойти, и его мудрость или его остроумие с ослиными ушами сравнить? Я думаю все же, что вы это сами выдумали.

Трактирщик. Все же это маловероятно, а такого быть не должно.

Директор Вагеман входит.

Вагеман. Эй, слуга, вы меня узнаете?

Трактирщик. Когда-либо разве я не узнал бы своего уважаемого господина Директора? Полностью преданнейший вам слуга. Чем же может мой плохонький дом услужить вам?

Вагеман. Есть один диковинный случай, который меня к вам привел, но я должен знать, что я могу положиться на вашу молчаливость.

Трактирщик. Полностью, драгоценнейший господин Директор.

Вагеман. Вы знаете, что наш Скарамуз присвоил себе роль Аполлона, и что он под этим именем командует этой страной.

Трактирщик. О да.

Вагеман. Ну хорошо. Я смотрел на это дело спокойно, так как мне, в сущности, все равно, кто будет назван Аполлоном. Я ставлю пьесу, которая несет в себе эпоху, поэтому я особенно и не заботился. Я хочу таким образом в том же духе и продолжать, но только господин Скарамуз делает это невозможным. Он стал так высокомерен, грубо меня встречает, полностью забыл о моем и вашем существовании. Притом, боюсь я еще, что у этого парня в голове есть идея не дать пьесе завершиться, чтобы он всегда оставался у власти, и я не мог бы его наказать. Из всех этих причин и родился громадный замысел.

Трактирщик. Я внимаю с жадностью.

Вагеман. Очень много знатных персон, которых эта шельма обидела, вместе собрались, затеяли против него заговор, чтобы его с оружием в руках с трона сбросить. Я один из них, и мы избрали ваш дом для собрания заговорщиков, господин Трактирщик, так как мы с вами всегда были хорошими друзьями.

Трактирщик. О какое счастье! Какое бесконечное счастье! Господин Директор, всей моей жизни не хватит, чтоб выразить вам мою благодарность. Это мне более ценно, чем если бы вы мне еженедельно два талера прибавки давали. О, Анна, дочь моя! Радуйся же вместе со своим отцом! Мой дом, эта комната здесь — сборный пункт заговорщиков!.. Но скоро ведь они придут?.. Нет, я ни о чем подобном еще ни в одной пьесе не слыхал!.. И господин Директор в том числе. Следовательно, это стало известно мужам важным и почетным, никаких обыкновенных бедняков-заговорщиков... Нет, об этом еще ни в одной пьесе не слышали! Чтобы на постоялом дворе! Этого нет, собственно, даже в «Абеллино», хотя чего там только не происходит... О, господин Директор, позвольте вас обнять.

Вагеман. Умерьте ваш восторг, дорогой друг, чтобы наше дело не стало до времени разглашенным.

Поэт. Никого еще нет?

Вагеман. Нет, господин Поэт.

Поэт. Должны царь Адмет с его царицей сейчас прийти.

Трактирщик. Какие высокие персоны сегодня под моей крышей.

Поэт. Будет ужаснейший мятеж. Скарамуз пусть крепче держится за свой трон.

Адмет и Альцеста.

Адмет. Это мы, господа, я надеюсь, я тоже получу обратно мою корону, которую забрал у меня узурпатор.

Альцеста. Пастухи еще не здесь?

Поэт. Еще никого.

Ауликус и Миртл.

Ауликус. Теперь мы, я думаю, станем изрядно хорошими солдатами.

Миртл. Я хочу ему злую шутку напомнить и, конечно, храбро буду драться.

Ауликус. Да, да, он должен ощутить однажды, каково быть подданными.

Миртл. Видишь, там тянется огромная армия. Теперь я впервые буду воевать с настоящей смелостью.

Трактирщик. Достопочтенные господа, но это будет ужасная, кровавая война.

Поэт. Конечно, и я надеюсь, что наше правое дело победит.

Писатель и Аполлон.

Писатель. Я привел пастухов, которые нас всех подстрекали.

Аполлон. Здесь же встретил я всё наше общество. Ну, мои друзья, есть ли у вас мужество начать наше предприятие?

Все. Да.

Трактирщик. О теперь будет заговор! Теперь будет заговор! Как торжественно это делается!

Аполлон. Нет никаких клятв. Между такими благородными мужами не должно стоять никаких сомнений. Кто себя к предприятию чувствует недостаточно готовым, тот пусть теперь поспешит домой... Но таких нет среди нас... И потому хочу я вам сейчас напомнить... (*срывает маскировочную одежду*) — Я Аполлон!

Все. Аполлон?

Аполлон. Никто иной. Не пугайтесь, друзья мои, моей божественности, ведь в основе я все же только глупец, как, собственно, и все вы, боги все же только боги, как бы далеко они ни заходили, им все мало.

Трактирщик. Бог в моем доме! Какое счастье!

Аполлон. Перестаньте удивляться, дорогие друзья, да я почитаемый, всемирно известный Аполлон.

Ауликус (*к Миртл*). Крестьянский болван! Не снять ли тебе лучше шляпу?

Миртл. Так ведь сразу не сообразишь.

Аполлон. Нет, покройтесь, дорогие друзья. Это правильно, я нечто большее, однако вы сейчас мои друзья, в помощи которых я нуждаюсь. Я муж, к которому даже рецензенты относятся с уважением, я покровитель всех магистров, меня часто высекают в камне, и лучше всего это вышло в так называемом бельведерском Аполлоне; мне Оперный театр и дом комедии посвящены, их всех не могу и пересчитать; меня часто изображают на медных гравюрах в поэтическом альманахе; я, короче, настоящий чертов парень. Однако, это ни о чем не говорит, я знаю, что мы не можем все быть богами, должны быть и другие создания, и потому теперь мы без дальнейших церемоний перейдем к делу.

Все. Да здравствует величественный Аполлон!

Все уходят.

Занавес падает.

Музыка

Менуэт с вариациями

Уже так много менуэтов написано, что довольно нелегко найти новую тему. Несите же, спокойные звуки, побольше ясности и порядка, побольше разумного смысла в эту пьесу, уже почти завершенную; такой конец, пожалуй, будет лучшим... Но могли бы спросить, не было бы целесообразнее, если бы подобная вещь вообще не была написана? Ведь высшее, чего достигли, это то, заморочили людям голову.

Ну вот, хорошая путаница все же более мила, чем плохой порядок.

Вариация 1

Это новое есть один из менуэтов, как для всех разумных только лишний предлог. В настоящем новомодном менуэте совершенно легко попадают

в такт. Или этот спектакль мог быть написан вообще без разделения на такты?.. Но ради чего вообще весь этот беспорядок!.. Война и мир, серьезность и шутка? Ничто не закончено, никакая идея не доведена до конца. К чему все муки, ведь нам так и не удалось развлечься?

Ну так вот, так мы уже замучены, что, возможно, это лучший вид развлечения, который мы еще не пережили.

Вариация 2

Кто после этого вознамерился сделать неслыханное, может легко впасть в нелепость и в первоначальное основание разума, так как нигде нет предостерегающих знаков. В заблуждении принимали за новое и странное даже ребячество; из-за поиска эксцентричного оно стало безвкусным; горе Поэту, который в этой сфере парит!..

Но не может все в действительности так происходить? Английских комедийных поэтов часто уведомляли, что они глупые характеры изображают остроумными, но этим разрешили выступать без шутки и понимания, которые в пьесе для шутки и остроумия даны; немного другое, как известно, утверждают о немецких комедиографах. Им не удаются дураки, но им удаются благородные умники, которые, как замечают, превращаются у них в бесподобных дураков, и таким образом, может немецкий комедийный поэт, несомненно, помериться силами с английским.

Ну вот, благородный читатель, дураков тебе не избежать, поэт не может сдерживаться; откуда я делаю вывод, что выгоднее быть читателем, чем поэтом.

Вариация 3

Всё совершенное всегда еще ново, старое тоже может быть таким, оно долго сохраняется, поскольку не очень изнашивается...

Но читающий мир, аудитория, доколе ты еще будешь находиться в состоянии непонимания! Какой черт так обыкновенно устроил, что ты очень умной себя ощущаешь, не становясь умной на самом деле! Можешь ли ты уловить хоть однажды смысл этой темы с нашими вариациями?

Ну так вот, мы уже сыграли ее, мы складываем смычки и идем домой.

ПЯТЫЙ АКТ

Парнас

Скарамуз размышляет

Скарамуз. Правительство теперь в лучшем составе. Не нужно более разума, чем у меня, и я думаю, еще занижаю свои способности. Скромность — моя превосходнейшая ошибка, которую я со временем должен совсем изжить... Иногда я обманываю сам себя, когда обдумываю свое величие, тогда мог бы я придворному поэту позволить написать обо мне книгу диалогов; но придворный поэт пишет недостаточно возвышенно.

Грюнхельм входит.

Грюнхельм. Мой князь, мне нехватает духу.

Скарамуз. Это плохо.

Грюнхельм. Жестокую, страшную весть я принес.

Скарамуз. Говори, адъютант, я начинаю дрожать.

Грюнхельм. Конечно, дрожите, милостивый государь, ваша дрожь весьма уместна.

Скарамуз. Ну, так говори наконец, мне становится страшно и еще не знаю, что мне чувствовать.

Грюнхельм. Полный мятеж подготовлен.

Скарамуз. Мятеж?.. Что ты хочешь этим сказать?

Грюнхельм. Ах, а у меня тут жена и дети, так что я не могу сбежать.

Скарамуз. Злодей!

Грюнхельм. Мятеж в пути, таким я еще его никогда не видел, он уже перерастает в большую пьесу, и огонь все более разгорается, он очень хорошо подготовлен, так как имеются превосходные дрожжи, принимаемые внутрь.

Скарамуз. Что за дрожжи? Ты внес путаницу в присутствие духа. Что за дрожжи?

Грюнхельм. Ну, так вот эти парни, названные, которым мы позволили иметь ножницы; это чудовище стало теперь мятежом, и буйствует, что есть силы.

Скарамуз. Ну, и кто его сдержит?

Грюнхельм. О вы не должны так прямо понимать посланицы... О святые небеса! Где мы только будем, находясь в осаде, добывать провиант?

Скарамуз. Я хочу на Парнасе построить крепость, когда я только впервые узнаю, что происходит.

Грюнхельм. Аполлон хочет отобрать ваше имущество, Адмет стоит с ним, они взяли большой эскадрон людей с собой, и он теперь должен пойти на бедных, невинных.

Скарамуз. Ты меня называешь бедным, невинным?

Грюнхельм. Я имею в виду себя, увы.

Скарамуз. Мы должны, таким образом, снаряжаться к войне. Сюда, люди! Генерал! Министр! Война! Огонь! Огонь!

Генерал и министр собираются. Солдаты с барабанами и флагами.

Пекарь и пивовар пришли. Страж.

Скарамуз. Теперь слышна только чистая тревога. Да, да, какая радость для князя. Ваши люди тоже смелы?

Генерал. Без сомнения, князь.

Скарамуз. Ну, ну, я только спросил. Кто захочет иметь смелость в такие грустные, полные отчаяния времена? И подумай только, на мне сверх того бедные, невинные люди.

Пивовар. Господин князь, есть небольшой пожар?

Скарамуз. Дурья башка! Мятаж вспыхнул!

Пивовар. На какой улице?

Пекарь. Можно ли с ним покончить?

Скарамуз. О дорогие подданные, не будьте как рогатый скот, потому я прошу убедительно. Вооружайтесь, так как враг уже близко. Всю силу выдвинем вперед... Люди, что вы делаете?

Грюнхельм. Бегство невозможно?

Министр. Никак нет

Скарамуз. Нет, никак нет. Нельзя ли мне быстро возвести укрепление?

Генерал. Невозможно, и здесь ведь нет никаких материалов.

Скарамуз. Скажи-ка — не должен ли враг испугаться спектакля с чертями?

Генерал. Едва ли.

Скарамуз. Черт, я уже боюсь! Должно быть это уже проклятый враг; и должен был мне прямо самый дурной враг на шею свалиться!

Арлекин входит.

Арлекин. Мой князь, на море мы получили большое преимущество.

Скарамуз. Это же прекрасно.

Арлекин. Враг не имеет никакого флота. С этой стороны у нас, таким образом, безопасно.

Скарамуз. Прекрасное утешение! О, только возьми с собой храбрый экипаж! Вооружите все своих людей! Это на меня так внезапно свалилось, что я едва осознаю себя. Пивовар, все твои гости должны фехтовать. Ах, какое кровопролитие будет! Спокойное управление — это большой подарок. Не Машинист ли в этом виноват?

Машинист. Нет, мой князь, так как я служу на вашей стороне. Только не отчаивайтесь вообще, так как мы численностью превосходим

врагов в несколько раз. Я гром и молнии устрою, и кто ступит на этот люк, должен будет немедленно погрузиться.

Скарамуз. Это прекрасно. Мы должны всем мнениям разрешить высказаться. Если война минует нас, это будет для нас большой радостью. Ну, идите, идите, нам надо предпринять все меры.

Они уходят.

Пивовар и пекарь остаются.

Пивовар. Мы должны теперь тоже надеть военную одежду.

Пекарь. Не всем будет хорошо. Но кто-то же должен следить тем временем за булками?

Пивовар. Мы намерены дюжину булок взять с собой в поле, так как это же хорошо.

Пекарь. Как верно ты это понимаешь. Я хотел бы, чтобы к чёрту провалилась эта война!

Пивовар. Но я же должен посмотреть, что там мои гости, и им доложить прекрасную новость.

Уходит.

Пекарь. Во-первых, это стремление мне противно; во-вторых, порох изобрел Сатана; в-третьих, это идет от Скарамуза, к которому у меня никакого патриотизма нет; в-четвертых, война не моё ремесло; в-пятых, благо от такого удовольствия не придет; в-шестых, мой подмастерье женится на моей жене после моей смерти; в-седьмых, стоит виселица для дезертиров, о не найдется почвы и свода, никакого конца, если всё дурное в войнах люди захотят подсчитать.

Пивовар (*идет с гостями*). Ни одна собака не хочет стать на ноги, легли все по углам и спят.

4-й гость. Просыпайтесь! От сна просыпайтесь! Посреди угла человека разбудили, который все дни свои деньги здесь проедал! Нет, это очень грубо.

1-й гость. Что случилось?

2-й гость. Он было хотел играть в кегли.

Пивовар. Люди, у нас война, у нас кровопролитие, бунт распространяется.

Пекарь. Теперь уже это не просто мятеж.

Пивовар. Он мог бы, собственно, быть и простым.

Пекарь. Это должно быть наказано. Подождите меня тут немного.

Пивовар и Пекарь уходят.

4-й гость. Просыпайтесь! До чего дожились в наши дни! Никогда в мире не было таких событий, чтобы людей от сна ради них пробуждали! Никаким умершим царям и курфюрстам такого не выпало пережить, а мы преуспели в этом! Только этого я не переносу.

3-й гость. Кум, у нас скоро масленица?

4-й гость. Сначала будет религиозная война, разве вы не слышали?

3-й гость. Таким образом, к черту свободу совести?

4-й гость. Тотальное лунное затмение стало модным. Всё к чертям, когда я больше не могу свободно думать.

1-й гость. Кто хочет запретить нам?

4-й гость. Это тебе хорошо известно, когда религия происходит из свободной воли.

2-й гость. Но Антихрист же уже в пути?

4-й гость. Разумеется. Теперь должна терпеть наша совесть. Бедные звери едва немного перевели дух; за невинных зверей мы должны только еще больше пострадать.

Пивовар и Пекарь входят вооруженные.

Пекарь. Ну, вперед, Пивовар, если у тебя есть сердце.

Пивовар. О, у меня есть заветное желание убить тебя.

Они фехтуют.

4-й гость. Смотрите, здесь начинается уже нетерпимость, это теперь быстро распространится.

Скарамуз входит.

Скарамуз. Вот черт! Здесь же уже частный бунт!

Пивовар. Стоп! Я ранен.

Скарамуз. С чем же вы не согласны?

Пивовар. Мы, собственно, не знаем, господин князь, мы тоже не нуждаемся, слава Богу, ни в каких причинах сверх того, что мы просто несогласны.

Скарамуз. Договоритесь. И ваш народ пусть тоже вооружается, вы же мои родные подданные.

1-й гость. Что должны мы теперь отстаивать?

Скарамуз. Дураки, война.

4-й гость. Против ли турок служить должны?

Скарамуз. Против врагов.

4-й гость. Ноги меня не держат, и это скверный признак.

Скарамуз. Подготовьтесь, подготовьтесь, у меня еще больше дел, чем у вас.

Уходит.

4-й гость. Идите, люди, и перечитайте 10 заповедей, или 7 просьб, без этого нельзя вступить в войну.

Уходит.

Пивовар. Мы оба могли бы теперь остаться в своем обмундировании.

Оба уходят.

Грюнхельм, Талия.

Талия. И ты хочешь свою жену, своего несовершеннолетнего ребенка оставить?

Грюнхельм. Да, любимая жена, теперь не иначе я должен поступить. Или ты бы хотела, чтобы я пошел на войну?

Талия. Ни одно из двух, но ты должен остаться со мной.

Грюнхельм. Но это невозможно.

Талия. Ну так попытай счастья в войне.

Грюнхельм. Женщина, это еще менее возможно.

Талия. Ты хочешь, таким образом, покинуть свою родину и меня? О ты жестокосердный! За что я тебя так любила? Зачем я тебе так верна была? Может быть, мне удалось бы стать возлюбленной самого государя, если бы на дороге к этому наш брак не стоял?

Грюнхельм. Тише, любимая жена, дни государя уже может быть сочтены.

Талия (*на коленях*). Ты меня еще ни разу не видел плачущей, видишь теперь, как я к твоим ногам со слезами припадаю. Разреши сдержать тебя моими умоляющими просьбами! Мое слово очень слабо, о, так пусть слово твоего ребенка превысит силу моего слова. Вспомни веселые часы, которые мы проводили вместе. Должно все это теперь полностью исчезнуть?

Грюнхельм. Никак, любимая жена, не тронут я, хочу сбежать. И таков я, как сказал, уже по своей природе.

Талия. Ну так не хочу я расточать больше слов. Ты трусливый тигр! Так иди же, я найду других мужчин, которые ко мне будут более внимательны.

Уходит в дом.

Грюнхельм. Ну я должен потерять ее, я полюбил ее всей душой, впервые так любил! (*В партер*.) Да, господа, я так далеко зашел здесь, что решил для себя — покидаю театр, так как для войны я вообще ничего не делаю. Прошло уже порядочно времени, с тех пор как я здесь валандаюсь, и теперь стою я перед тем самым местом, с которого намеревался слезть. Удивительно! Наша жизнь такой круг проходит, которому наступает конец, не успеем мы оглянуться.

Уважаемая публика! Смотрите, я теперь к самоубийству пришел, я считаю, что я должен оставить сцену. Я не верил, что мое назначение должно привести меня сюда. Кто помнил бы тогда меня с веселой иллюминацией, до того как я в комедии дурака сыграл? Не только это мне собственно досадно, но также этот превосходный образ дурака, который теперь со мной исчезнет.

Темная страна! Как там на той стороне поживают суфлер и лампы? И все же, как мог я быть под вами, блаженные тени? Вы все же знаете всех ваших дураков и с миром домой отпускаете, так же, как всегда.

Кстати, дураки! Что удерживает вас? Люди очень удерживают и не верят этому. Теперь первое, на краю могилы обзираю я все мои глупости, — и это полное осознание их — есть лишь моя последняя глупость! — кто знает наперед, как часто его шутки окажутся несостоятельными, как часто проделка, которая ему нравится, не понравится никому другому, — о кто бы мог это предвидеть, тот никогда бы не начал такую скучную игру.

С рождения я был уже законченный дурак, так как, кроме того, я с рождения непонятлив, иначе мне было бы легче и естественнее поумнеть. В детстве был я дурак, и это не требовало доказательств. Теперь я влез в науку глупости, и стал бы законченным дураком, так как я стал бы тщеславным и держал бы себя за великого человека. Теперь стал я скандалистом, который ссоры затевал, и всегда выходило плохо. Затем поправил я свое положение, став осторожным дураком, некое положение, которое я сейчас второй раз переживаю, и это дает мне возможность, ту малую возможность, размышления, и сочинил эту прозаическую песню бедных грешников.

Все же, что я вкратце сделал, я перепрыгнул через лампы, и остался жив. Этого было недостаточно, я женился. Влюбленность покинула меня, супружеская глупость пришла ко мне! Ну, стал я отцом, здесь не было у меня заработка!

Это только краткое олицетворение полученной мной науки... И вот, мои достопочтенные, — это приблизительно последнее слово, которое я могу сказать, скоро здесь меня не станет, — я хочу доставить себе еще одно удовольствие, спрыгнуть, — но важнее мне то, что я не стану от этого более жалким, — таким образом, отправляюсь, как говорят, к вам, чтобы оттуда в покое увидеть падение Скарамуза... Сейчас прыгаю я! Головой вниз!

Прыгает в партер.

Сидящий слева, один из зрителей. Это была поразительно трогательная сцена... Но кто же тут так воет?

Другой. Господин Страж так сильно рыдает.

Стражник. Не-ет, не-е-кое такое — самоубийство, не-е могу видеть!

Армия Скарамуза, рядом: Казначей, Конюх, Ворон, Чужестранец, Машинист, Арлекин, Читатель.

Скарамуз едет в полном снаряжении на осле.

Скарамуз. Враг совсем близко... Только не бойтесь его, дорогие люди, — он же всегда только враг... Где мой адъютант?

Арлекин. Он должен был сам себя убить.

Грюнхельм. Да, я с своей душой сижу здесь в Элизиуме, и не боюсь теперь больше ничего.

Скарамуз. Ах, завидую ему, дорогие друзья. Он избавлен от волнений этой жизни. Он счастлив.

*Барабаны. Армия Аполлона, это: Адмет, Альцеста, Миртл, Ауликус,
Писатель, Трактирщик, Поэт, Директор.*

Скарамуз. Это жестокие враги, — все сюда, и бейте в барабаны!
Этого мы не должны допустить.

Аполлон, перелетающий по небу на Пегасе.

Скарамуз. Смотрите, что этот парень за проделку устроил! Это
вызвал, вестимо, проклятый Машинист.

Машинист. К моей чести, не я, мой князь.

Скарамуз. Ну, люди, держитесь храбро, так как это главное, всё
другое не много значит... Я не могу держать длинных речей, это вы знаете
уже, надо надеяться, кроме того, не хочу откладывать... Но должны музы
петь нам военную песню:

Родина! Родина!
Чтоб только никто не удрал!
Вы же знаете шомпол...

Родина! Родина!
Бодро в врага воткнуть,
Шомпол...

О Родина! О Родина!
За тебя только воюем мы:
Ты — это шомпол!

Получены знаки к наступлению, ужасная битва, все уходят драться.

Шум в поле. Машинист и Поэт дерутся вдвоем.

Поэт. Сдавайся, ты, жалкий Машинист, который работает для
убогих.

Машинист. Сдавайся Поэт, который так нагло требует, чтобы
люди радовались поэзии.

Поэт. Да, это я, и они должны.

Машинист. И они должны декорации задерживать.

Идут фехтовать.

Аполлон со свитой.

Аполлон. Бодро! Мои друзья, победа склоняется уже в нашу
сторону (*уходит*).

Пивовар (*входит*). Я уже имею пару ран, которые мне не по
вкусу. Скарамуз являет настоящее чудо храбрости, осла под ним убили,
жестокосердный враг, но это не трогает его, он продолжает сражаться на
ногах.

Скарамуз бежит.

Скарамуз. Лошадь! Лошадь! Всю Англию за лошадь!

Пивовар. Почему Англию?

Скарамуз. Это же только гипербола, осёл, которую я произвел, увлекшись.

Уходит.

Пивовар. Я должен всё же посмотреть, чем закончится битва.

Отступление. Армия Скарамуза обращается в бегство, одни преследуют других бегущих. Скарамуз идет беспокойный.

Скарамуз. Господа, битва проиграна, — тут более не осталось мне надежды, — я снят, окаянный Аполлон занял моё место... Вся моя армия рассеяна... мне жалко самого себя, дорогой зритель, пошли мне поддержку!

Сидящий слева, один из зрителей. Но почему мы должны просто так стоять и хладнокровно созерцать страдание великого человека?

Пьеро. Мы негодяи, если мы допустим, чтобы его свергли.

Другой. Ни в коем случае не должно так идти дальше.

Зритель. Нет! Нет! Уже гроза собирается, и теперь нельзя позволить его государству разрушиться.

Аполлон идет со своей свитой

Аполлон. Победа теперь наша, друзья, еще поймать Скарамуза, и тогда я устрою государство заново.

Зритель. Ни за что не должно так идти дальше.

Они все вылезают из театра наверх.

Аполлон. Что же случилось?

Зритель. Он наш друг, мы хотим за него драться до последней капли крови. Начинай битву сначала, мы хотим посмотреть, кто одержит победу.

Аполлон. Ха, ха, ха! Дорогие господа, вы совсем забываетесь.

Вся армия Аполлона смеется.

Сидящий слева, один из зрителей. Это не так смешно, мы защищаем его княжество, он добродетелен и хорошо правит, мы хотим быть его верными подданными.

Аполлон. Но господа, вы забываетесь в своем энтузиазме. Мы все только актеры, и ничего, кроме игры, нет... И с тем можно было бы пьесу завершить.

Вагеман. Господин Скарамуз, вы очень храбро держались.

Сидящий слева, один из зрителей. Господин Директор, Вы в пьесе обронили слово, что хотите уволить Скарамуза, этого тоже не должно быть.

Вагеман. Я был бы глупец, если бы я это сделал, ведь он своим падением на такую высоту поднялся, что вы за него хотите умереть.

Сидящий слева, один из зрителей. Да, кровь и жизнь за Скарамуза!

Все. Тело и жизнь за Скарамуза!

Занавес падает.

Выходит Пролог.

Пролог. Вы увидите здесь пьесу, мои многоуважаемые, которую немного удивительно посмотреть, но которая придется вам по душе. Это хорошо, когда мы можем забыть разнообразные бедствия этой большой земли, и для этого послужит, может быть, все следующее.

Вам не нравится эта пьеса, так это зависит от плохого автора, все извинения же напрасны, и я также не хочу его извинять. Когда вы таким образом долгое время ждете, так желаю я вам от всего сердца только еще больше удовольствия от спектакля...

Однако я вижу так как раз, здесь нет Зрителя, который мог бы услышать этот такой необходимый пролог.

Зритель. Мы сидим за гардиной, господин Пролог, возле господина Скарамуза.

Пролог. Так я тоже к нему пойду. Я откланиваюсь.

Он кланяется почтительно пустым скамьям и уходит.

Грюнхельм. Ну этот весь Пролог мне точно знаком, и всё же он меня совсем не обнаружил, и всё же я здесь единственный человек! Это очень удивительно, и служит философским поискам... Но я делаю лучше и иду домой, и расскажу моей обыкновенной жене о моих удивительных происшествиях с этой и с той стороны сцены, так как связь с Талией была только комедийным браком.

АВТОР

Рождественский шванк

Автор (*в своем кабинете*).

Как скованны мои суставы!
Едва могу я веки приподнять,
И вообще такую скверной жизнью
Я удовлетвориться не могу.
Меня все вечно дразнят, и никто
Сочувствовать ни разу не пытался,
Напрасно я поэзией старался
Добиться хоть какой-то похвалы.
Мол, пусть они придут,
Тогда похвалят.
Но это все теперь в упрек мне ставят,
А я крутился так, крутился этак,
Как сумасшедший, мудрым был при этом.
И потому придурок... Где ж весна?
Как далеко от стен моих она!
Уж солнышко крышами струится,
Сочувственно сияет мне в светлицу.
Ни капли радости нет больше у меня,
Не прогуляться мне в сиянье милом дня,
Вместо свободной радостной природы
Я корректуру свою править должен.
Ошибок в ней не счесть и должен я
Ее поправить, как весь мир вокруг себя.
На талер я взираю сверху вниз,
Важней ошибки общие творения,
И я ворчу, и ненавижу их,
Могу совсем перепечатать лист,
Выходит у меня халтурная работа,
И чувствую себя я дураком.
Зачем прошла ты, радостная юность,
Когда деревья и цветы со мной
Еще играли, небо и земля
Сочувствовали мне, и принимали
Как равного себе? Сейчас под прессом
Сижу и допускаю в свет
Издание плохое, и веду
Переговоры к ярмарке.
Все дальше с каждым днем иду назад,

Забыл и думать об увеселеньях,
Ни о народном празднике, ни даже
О радостной попойке, наконец.
Я о душе забочусь в выходные.
А захочу я в лес стопы направить,
Настигнут вдруг меня воспоминанья,
И все заботы сразу тут как тут,
Они мне не подарят наслажденья,
И пусть развлекаются другие, чтоб они
Забыли на часок о прозе жизни,
А я, конечно, вынужден скучать,
И не спешит ко мне прийти надежда,
И никаких барьеров, украшений,
Я должен это вытерпеть, как есть...

Стучат.

Войдите!

Чужестранец входит.

Чужестранец.

Простите, что так нагло заявился,
прочел я много ваших сочинений,
подумал я, что мне не помешало б
воочию увидеть человека, что их писал.
Смотрю на вас усердно,
Я нахожусь сейчас в командировке,
В полмили сделал крюк, чтоб посетить вас.

Автор.

Я вам очень обязан.

Чужестранец.

Вы, однако, не очень заняты?

Автор.

Я никогда не занят, но занят постоянно.

Чужестранец.

Тут речь о «Женской комнате» идет,
Непревзойденно сыграла Натали,
Что никогда не чувствует любви,
Но чувствует ее всегда. Я очень много
Об этой книге думал, ужасался,
Порою плакал, а порой смеялся.
Такое превосходное творенье,
Что превзойдет любые сочиненья.

Автор.

Вы, кажется, так преданны искусству
поэзии.

Чужестранец.

Да в нем вся жизнь моя,
Могу сказать, ценю в нем честность я.

Автор.

Вы правы, честностью не злоупотребляя,
Ценить ее должны, иначе вас она
изгонит.

Чужестранец.

Ах, милейший!
Еще так много есть всего на свете,
что надобно ценить и узнавать,
мы ежедневно пополняем знания,
все лучшее навеки забывая,
со временем ты в ногу не попал —
глядишь, и сразу всюду опоздал.

Автор.

Быстрее проявляешь беспокойство,
Порой теряя целые часы,
Назад захочешь стрелки отвести,
Повторная работа — труд героический,
Пером бы новым с ходу овладеть,
Коль старые уже совсем безвольны.

Чужестранец.

Как это справедливо. Я себе
Могу отметить это ваше слово,
Чтоб вас упомянуть, когда мой труд готовый
Я буду издавать?

Автор.

За честь приму,
А лучше, если вовсе умолчите
Об этом.

Чужестранец.

Но тогда так мало ценно
Становится все это сочиненье.
А вам же — исключительный почет.
А что у вас там нынче под пером?

Автор.

Под ним сейчас я сам.

Чужестранец.

Однако то,
Иль просто шутку вашу означает,
Иль значит, что я вам сейчас мешаю.

Автор.

Второе больше. Но моя манера
Так современна: если вы хотите
Особенности знать моей работы,
Возможно, вам уже известно что-то,
Читали «Поэтический журнал».

Чужестранец.

Эге! Да это же великолепно!
А поэтический? Так это
Поэзия как будто там и сям,
А целое совсем непоэтично
Везде и всюду, знаем мы отлично.
Давно уже выходит сей журнал,
В названии — одно противоречье.

Автор.

Но призван снисходить журнал, конечно,
До каждого, хоть всех не охватить.

Чужестранец.

Охотно я и сам бы это делал.
Один желает герцогство Шале,
Другому центр подавай. А ты, поэт, при этом
Не допусти ошибки в интересах.

Автор.

Если бы только знали, что интереснее.

Чужестранец.

Так интересней всем сопоставленье,
Что там и сям в комедий представленье,
Как тот или другой играет роль,
Что ради шутки взяли из Парижа,
Из Лондона.

Автор.

Неопытен я в том.

Чужестранец.

Так вы должны с другими общаться,
Знать о корреспонденции и связях,
Карикатурах и шпионах, даже
о новшествах из Вены и Берлина,
и прочих позаботиться картинах
подобных развлечений.

Автор.

Только я
Совсем на свете нового не вижу.

Чужестранец.

Так и не надо. Кто так неуклюже
Берется за подобное? Тут только
Поговорить об этом нужно, снизойти
До доверительного разговора.
Картинки те, что рисовал Гилрей,
Кто называть смешными принуждает?
Конечно, тот, кто их нам объясняет.

Автор.

Мне это, сударь, не дано,
Жизнь проводить так беспокойно.

Чужестранец.

Да, да, я верю, отказались вы, и есть едва
Гилрей один для большинства,
Тут только доля удовлетворенья,
А вы хотите в целом наслажденья?
Мечты и рифмы ваши меж цветами,
Деревьями, и неизвестно где,
Идут, стоят иль падают, ни слога,
Ни ритма нет. И все это кудряво,
И красочно, разорванно, — наряд
Из барахла разнообразного, и это
Одно уже вас делает поэтом?

Автор.

Ваше усердие направьте на пародирование.

Чужестранец.

Вы постепенно стать должны энтузиастом,
Должны вы знаки времени читать,
С их бесполезной гордостью,
Сверхмудростью и ненавистью к смелым.
Самим им жить и жить!
Тот издает журнал и критикует,
Другой же фантазирует при этом,
А третий увлекается всем этим
И делает сатиру. Хорошо.
Но вот никто не обратил вниманья
И не подумал о материальном,
Чтоб благо для себя арендовать.
Другие труд его стремятся преуменьшить.
Но это большинству читателей решать.

Автор.

Я рад, что патриот такой
Заботится о чести для Отчизны.

Чужестранец.

Прекрасно! Видите, как хорошо остаток
Чувств нежных сохранить в себе,
Другие прожигают жизнь, однако,
Не поступайте, друг мой, так, как все.

Автор.

Вы же тоже составитель.

Чужестранец.

Никто сегодня это не читает,
Ведь тоже пишете вы. Так заведено,
Поэзия нужна теперь для кухни
Иль в основном для винных погребов.

Автор.

На что же направлены ваши усилия?

Чужестранец.

Распространяю истины я свет,
Однако начал это тихо-тихо,
Я очень расположен к гуманизму,
Способствую всеобщему единству,
Любви. На оппонентов не смотрю,
Так, будто бы они свинью убили,
Поэтому хоть слышен им мой писк,
но редко обратит хотя б один вниманье.
Найдете скоро вы в национальной
газете избранных трудов моих собранье.
Я там подробно объясняю всё.
Ищите там меня с другими вместе,
Которые Германии на благо
Стараются и добрые дела
Творят. Тот, кто составил «Час отдыха»,
Любезность сделал сотням
И тысячам, и нас еще потомки
Объединят, и сделают нам славу
В веках. Я очень рад знакомству.
Откланиваюсь. Должен я идти
Еще с визитом к некоторым людям. —

Уходит.

Автор.

Как говорят: не позволяй себе сердиться,
И глупым шуткам лучше просто смейся,
Однако иногда в сустав так стрельнет,
Как будто меж собой они дерутся
Кнутом и палкой. Эта миловидность

И нежность, словно это добрый ангел.
А как на свет взглянешь — крыло обычной птицы.
Себя они дурачат. Никогда не чувствуют поэзии,
И им стихи чужие непонятны.
Для них сложить написанное в стих —
Как по стране чудесной прогуляться?
Мнишь мастеров тут превзойти, чьи звуки
Не раз уже звучали у других?
Как можешь только сам себя дурачить?
Век золотой вернуть обратно хочешь?
А как же, если бы груди твоей упрямой
Открытой быть пришлось, как радости, — тоске?
Какой бы гений прилетел к тебе
Открыть доселе темную темницу?
Дверь заперта, и холодно внутри,
Не проникает к бедняку сиянье солнца,
Сидит он в темной хижине своей,
Внимая, как вдали, повизгивая, кто-то
Любимую мелодию его фальшивит беззаботно.
Посмотришь раз в апатии вокруг,
И удивишься, мир в своих размерах
Огромных не понравится тебе.
Ключ от темницы кажется потерян,
никто не знает точно, в час какой
родится и придет к тебе герой
и выведет тебя из камеры для пыток,
И снова заживешь в веселье и тоске.
Не думает, не чувствует, не знает,
Ему скорее нужен солнца свет,
И все побеждены его желанья,
Он не доволен и не огорчен.
И что нужды во всех вещах и мыслях,
Которые он дерзко презирал?
Со всем искусством, — во какое слово! —
Не выманишь собаку с печи прочь.
Имел бы крылья — полетел бы в небо,
Крылатого Пегаса оседлал бы,
Чтобы с радостью по кругу небосвод
Объездить, наблюдая солнце, месяц, звезды,
А не томиться здесь в дыму, в чаду! —
Стучатся снова в дверь мою.
Войдите!

Муза входит, улыбаясь.

Автор.

О небо! Я погиб, увидев тебя,
О милое, любимое лицо,
Я снова вижу свет твоих очей?
Не верю в это, недостойный раб,
Что ты свой путь направила ко мне.

Муза.

Как я могла тебя найти не в настроенье,
Что твои мысли так могло сковать?

Автор.

Стыжусь я этих новых наслаждений,
Тебя увидел вновь в великом восхищенье,
Твои глаза улыбкой греют сердце,
И вновь весна в нем поселилась.
Я чувствую, как надо мною духи
Земли и неба невесомо реют,
Я с радостью стремлюсь к ним,
Время вспять, и древность вновь
Со мной соединилась, и снова взор
Я свой направил к солнцу
И на себе сосредоточил мысли.

Муза.

Твои капризы, как у малого ребенка,
Не можешь в одиночестве побыть,
Поэтому тебя скорей утешить
Спешила я, чтоб в страхе не погиб ты.

Автор.

Ты так добра со мною и любезна.

Муза.

И ты любезен будь и добр к себе,
И помни, каждый ближе всех себе.

Автор.

Тебе я был всегда покорен,
Все мои мысли, сердце, кровь
С отвагой истинной тебе лишь служат вечно,
Мысль о тебе — поддержка для меня,
И потому мне ненавистен мир.
Меня неясные стесняют тени,
В которые одета современность,
Прошедшего и будущего радость
Играет прямо в сердце у меня,
Я чувствую, что смеха и отваги
Еще изрядны у меня запасы,

Всегда гротескным образам я рад,
Которые копируют меня по одному
Руки твоей велению.

Муза.

Ну иди, друг мой, твой пульс снова в порядке.

Автор.

В глазах у меня возникают другие глаза,
Во внутреннем ухе как будто бы няни слова,
Все слышит она за меня, и теперь у меня
Внутри все в порядке, потерянным выгляжу я.

Муза.

Однако негоже глупцом становиться тебе,
На глупость чужую смотри и учись на ошибках чужих.

Автор.

Однако есть кто-то, в душе ненавидящий все,
Что только обыденно, но в злополучнейший час
Вдруг что-то меняется, он начинает любить
Все то, что ругал.

Муза.

Поддерживай радости дух и к себе будь любезен,
Почувствуй, как входит добро в твою жизнь,
Почувствуй, как люди жить в мире должны,
Гляди веселей, будь добрей и в поэзии смело
Дерзай, и застолью будь рад, пей вино,
И будешь по жизни тогда мудрецом.

Автор.

Но ты сама меня всегда бросаешь,
Так пусть же наша дружба не угаснет.

Муза.

О ты глупец, меня ли ты не знаешь?
Ты думаешь ко мне привязан образ?
Взгляни, вокруг долина зеленеет,
Послушай, как вокруг щебечут птицы,
И как туман тебя окутал сладкий,
Вот роща, поле, вот река течет,
О вечной жизни в берег бьет волнами,
Дыханье ветра понизу идет
И освежает дуновеньем травы,
Листву. Глянь на высокий небосвод.
Почувствуй вечность синевы его,
И в твоём сердце отражение ее.
Учеником моим ты оставайся,
Мой образ и любовь всегда с тобой.

Автор.

Так ты не хочешь портить отношений?
Кому легко себя порой понять,
Твоей любви себя служенью посвящая,
Цветущей в твоём сердце иногда?

Муза.

Того, кто меня носит в своём сердце,
Ношу я также в сердце у себя,
Он должен верить мне все желанья,
Я мужество в ответ ему пошлю,
Любое опрокину загражденье,
Чтоб в страхе разбежались от него
Страдания. Я рада помириться с ним, шутя.

Автор.

А я хотел бы больше не злословить,
И вспоминать мою с твоей сестёр.

Муза.

Ты проповедуй наше лишь служенье,
Не падай духом, будет вся земля
От этого намного веселее,
Услышь во всякий час мое ты слово,
Вокруг себя смотри, его услышишь
И там, и тут, на всяких языках,
На всех наречиях: звучит во всех пространствах
Жизнь новая, и камни, даже скалы,
Услышишь и как пропасти звучат.
Для праздника, для времени цветенья
Все пробуждается, неясные мечты
сбегают, и стараются долина
и лес в весеннее убранство нарядиться.

Автор.

Пока ты здесь, себя я ощущаю,
Благодарю за столь большое дело,
Однако, как начну святую пьесу,
Так кажется мне это все ничтожным,
Где крики радости — молчанье гробовое,
И после сам не весел, не здоров я.
Меня обескураживает это,
В смиренье должен тотчас я подняться
И звуки духов избегая слушать,
Внимать народным воплям, громким бурям.

Муза.

Ты юн еще, довольствуешься внешним,
Внимаешь лишь божественным глаголам,

Земным делам себя ты посвяти,
Глух будь ко всяким крикам из толпы,
Тот, кто однажды внял звучанью сфер,
Не может трогаться земной неразберихой.

Автор.

В твоём сиянье я всегда юнец,
К рассвету все покрыто полумраком.
Стремился я создать спектакль веселый,
Но вышли у меня болезнь с досадой.
Я вижу, как во мне танцуют маски.
Вполне веселый шуточный спектакль.
Однако, чтобы ощутить и все продумать,
Мне мужества как можно больше нужно,
Но дураки меня тревожат часто,
Внося в мою работу промедленье.
Вот и сейчас постой пока за ширмой,
Уже сюда спешит один из них.

Муза прячется.

Актер входит.

Актер.

Мне нравится, что вы остались дома,
Ведь кое-что сказать мне нужно вам.
Слыхали, что к тому же вышла пьеса?

Автор.

Вам кажется, что в ней не все в порядке?

Актер.

И очень даже; назову одно лишь,
Что мне по меньшей мере не по нраву —
Не правда ли, что я герой заглавный?

Автор.

Коль вам приятней называть героем
Тот персонаж, он будет тем доволен.

Актер.

Да это что! Но вы должны поставить
Трагедию, что в ней всегда герои
Вперед рвались, выскакивали прямо
Вперед, — ну, понимаете меня вы,
Так здорово и сильно, — лишь хочу я
Сказать, что оправдает эта пьеса
Себя и от нее успех вам будет.

Автор.

Хотел бы я, чтоб было в ней движенье,
А не характеров безумных хоровод,

Чтоб любознательность напрасно в напряженье
Не находилась, шла бы к высшим интересам,
Моею целью было жизни дать картину
Большой, запутанной, во всей ее красе.

Актер.

Вот будь бы роль моя с такою целью!
А так-то что, и не пошли бы вы!
Ведь целое все зиждется на этом,
Как будто из партера раздается: клип-клап!
И в руки, в ноги проникает подобный звук.
По этому решают о поэте, хорош он или плох,
И если вы руководитесь этим,
То сочините вы спектакль для ног.

Автор.

У вас же своя собственная теория.

Актер.

Любезнейший, нам практики не нужно,
Хоть изрисуйте идеалами смешными,
Фантазией залейте свою пьесу,
Действительность же если познается,
То должен быть совсем другой исход.

Автор.

Но так что же действительность?

Актер.

Она действительна и на театр влияет
И в наши дни. Однако жизнь гротескнее,
В искусстве еще царят энтузиазм с любовью. —
Героям вашим широты воззрений недостает,
А это не к лицу актерам.

Автор.

Я тут ни при чем,
Герой к тому не более способен.

Актер.

Короче, измените так его, чтоб он вписался
В это представление, когда равнодушны вы к
успеху,
Иначе этот век стыдиться должен вас.

Автор.

Но ведь тогда исчезнет смысл спектакля.

Актер.

Что вы имеете в виду тогда под смыслом?
Вы знаете, что нет его, и пьеса,

Как говорят, сама — отдельный смысл.
Для вашей пьесы было б это счастьем,
Но остается эта вещь всего лишь пьесой.
При этом точно знать должны актеры,
Что им играть, иначе нет спектакля,
Мы никогда его не представляем в целом,
А лишь частями. Что же нам играть?
Хотел бы зритель за свои же деньги
Порядочное что-то получить, прочувствовать.
И мы бы с цельным смыслом к нему пришли,
И стал бы он стучать, ногами топтать.

Автор.

Так я писал для мира, на искусство
Актера не бросая взгляд.

Актер.

Вы в полном заблуждении живете,
Мир современный — это только деньги.
Чем больше денег, тем и мира больше,
А мир — не что иное, как слова,
Высказыванья ложные и вещи,
Иные так считают. Не хотите
Исправиться, так я и толковать
Героя вашего для публики не буду.

Уходит.

Муза.

Ты трудности сам делаешь себе,
С глупцами споришь? Что они тебе?

Автор.

Я поступаю так лишь для того,
Что в мир нести служение твое.

Муза.

Так будь во всем особенным поэтом,
Народ далек от святости моей.

Автор.

Конечно, мой поступок опрометчив,
Но я писал для большинства людей.

Муза.

Что значит большинство! О большинство!
Мильоны их влачатся в нищете,
И вот в конце концов придет поэт
Их просветить, но не увидит никого.

Входит Рецензент.

Рецензент.

Я книгу возвращаю, было мне
Читать ее противно.

Автор.

Благодарю за вашу прямоту.

Рецензент.

Любезный, как мне жаль,
Сказал бы я, как это подобает,
Иносказательно, как ныне говорят,
Но ваши сочинения так плохи,
Что вам об этом трудно говорить.
Однако можно было в всё исправить,
Когда бы вы пошли другим путем,
Не вопреки: ведь вы, по сути, сами
Жизнь усложняете себе.

Автор.

Не можете ли вы мне немного объяснить?

Рецензент.

Тут никакие не спасут усилья,
Эксцентрику вы ищите, мой друг,
И все желанья ваши неразумны,
И сочиненья смысла лишены.
Засим вы только можете спокойно
На предостережения махнуть,
Что надо стать другим вам человеком.
Прощайте, долг свой выполнил я этим.

Уходит.

Муза.

А это что за глупое создание?

Автор.

Он страж всех поэтических натур,
Он очень проникается искусством,
И к дарованью каждому с вниманьем
Относится. Следит, кто этот круг
Поэзией своею пополняет,
Попытки сочинять воспринимает
За тщетные, все у него глупцы
Художники, поэты. Близко к сердцу
Он принимает горести при этом,
И может очернить или обелить.
Обычно он зовется рецензентом.

Муза.

Все это только дань известной моде.

Автор.

Твоим жрецом себя он называет,
И мнит, имея просвещения зерно,
Пройдя пророков школу, что теперь
Построить может мукомольню рецензента.
Должна была бы разорваться и загнуться
Такая мукомольня от того
Большого, сильного, что вынужденно мелет,
И говорит, что мелкое не может
Уже она осилить жерновами.
В то время, как всё мелкое зерно
Она скорей должна хватать и трогать.
Как попадет ей в жернова знаток,
Который быть не хочет измельченным,
Она тогда его бранит без меры,
Выносит приговор ему суровый:
Творенье неудачное природы, чудовище,
И вовсе ненормальный,
Никто, мол, не захватит эту мелочь.

Муза.

Да, механизм неплохо разработан,
Но кем бы были инструменты эти
Осмеяны?

Автор.

Так скоро этот смех забудут люди,
Боятся, до того все озверели,
Ирония усилия не стоит, сатира тоже
Часто слишком тоща.
Хотите посмеяться вы с природой,
О правдолюбии хотите слово вставить,
Так не должно смешное быть смешным лишь,
Но нужно назидательность добавить.
Ведь только рецензенту и смешно
Любое сочинение и смыслы,
Сам над собой не может посмеяться
На свете ни единый человек.

Муза.

Так мог бы затесаться среди них
Аристофан.

Автор.

Ах, что ты, дорогая,
Они его ведь разорвут на части,
Ведь он же оскорбляет их обычай.

Муза.

А что под этим подразумевают?

Автор.

Ах это! То, что был он глупым
Созданием, прочесть ты можешь в книгах.
О том как раз, чего у него нет. За что же
Людей так мучит совесть. Ведь вдоль и поперек
Они все знают, только одного
Найти не могут. Видят в каждой шутке
Лишь отражение, как в зеркале своей
Души презренной. И забавы каждой
Пугаются. Кричат об этом: «Тьфу!
Как это неприлично! Слишком резко!»
Не ловят в шутке шутки, только пошлость,
А потому ни связи, ни единства
Не видят. С давних пор, как шутка
Пришла в упадок, став краеугольным камнем,
Но тут предупрежден сегодня каждый,
Что близко подходить к нему не надо.
Немногие отважатся в колодец
Сей заглянуть. Что значит: мог бы ты
Очиститься в воде его и равно
Впасть в шутку, и невольно потеряться
На дне его, и жизнь прожить с глупцами.
Бегите же, как можете, от шутки!
Вот истинный сегодня их обычай.

Муза.

Мне кажется, ты сильно приукрасил,
Возможно, кто-то есть, и этот кто-то
В шутливой форме пишет.

Автор.

Есть всегда
Такая легкомысленная птица,
Без исключения не бывает правил,
И требуют они, чтоб осуждались
скудные люди в каждую эпоху.
Они изображают недостатки:
Корысть и зависть, в общем, все пороки,
Их обличают. И такие есть поэты,

Кто дальше их идет и точно то же
В поэзию привносит, только шире,
Ища поэзию возвысить этим средством,
Правителей поддеть издалека,
Иносказательно ругать самих их
И все их учрежденья и всегда
Держаться под защитой при этом.
Для публики все это наслажденье
Великое, и люди это все
Рассматривают как весьма смешное.

Муза.

По всей стране такие люди есть.
Веселостью своею зажигают.

Автор.

На раскаленном мы сидим песке!

Муза.

Ну так прощай и бодрый сей настрой
Поддерживай, и будет постоянно
Все хорошо во всяком твоём деле.

Муза уходит.

Автор.

О как хотел бы я еще продлить
Мгновение, чтоб на меня смотрела
Она так долго. Ею я насквозь
Утешен был. Она ушла теперь
Обратно, и вернуться могут страхи,
Тревожусь я, как внутрь себя взгляну,
Около дома образы меня
Гнетут дрожащие и нет в них утешенья,
И ровно ничего они не значат,
Безжизненно блуждают. И весь мир
Таким пустым сейчас я ощущаю.

Старик входит.

Старик.

Юный автор здесь живет?
Дважды я стучался в дверь,
Но ответа никакого, как обычно,
Мол, войдите! Потому вошел без спроса.

Автор.

Я рассеян был, простите,
В голове моей брожение.

Старик.

И конечно новых планов
Много в вашей голове?

Автор.

Я точно не знаю, было и то, и это...

Старик.

Так вот, я должен вам сказать
про «то и это». Очень я разгневан.
Мы постоянно правоты хотим,
И правильные средства выбираем,
Ведь если уж наука о прекрасном
Должна сформироваться, значит, нужно
Нам на дороге ровной оставаться,
А не от случая до случая бродить.
Должна дорога та надежной быть,
Однако нужно и писать понятно,
И план обдумывать со всех сторон,
Потом благословение небес
Получите впоследствии, чтоб люди
Читали вас, любили, понимали,
И нужно так и впредь тренироваться,
Расти при этом выше, выше, выше,
И наконец дойти до самой высшей
Ступени.

Автор.

Приблизительно и я
О том же думал. И выходит так,
Когда они повесят одного,
От прочих благодарности не будет,
Поскольку высоты такой еще
Он не достиг.

Старик.

Я думаю, мой друг,
В литературе нужно пережить лечение,
Перенести какой-то злой урок,
И только после этого в здоровье
Уверен будешь. Юность выждать нужно,
Затем глазами новыми взглянуть,
Обратно возвращаться к прошлым мыслям,
К шагам тем первым, робким. В середине
Останется прекрасное. С годами,
Однако, большинство так поступает.

Но чаще — дело опыта. А ты
Достаточно ли опыта имеешь?

Автор.

Да иногда все видят то, что видят.

Старик.

Э, черт! Зачем же мир и все
Дела зачем прекрасные, себя
Вы тратите на публику, которая охотно
Подскажет вам, где есть у вас ошибки.

Автор.

Есть у меня свой мир, который я
Искал так долго, но теперь, однако,
Мне кажется, меня он избегает.

Старик.

И где же вы его изобразите?
Чем будете его вы украшать?

Автор.

Я подчинить его внутри себя хотел бы.

Старик.

Тогда должны вы внутри себя уж избегать его.
Сказать по чести я вам должен буду,
Что подчинил внутри я лишь желудок,
Еще фантазию гения немного.

Автор.

Простите, не хотел вас беспокоить.

Старик.

Однако эти вещи не должны
вводить нас в заблуждение, нам нужно
сметь сдержаться и огонь свой дикий
им передать, и в них его разбрызгать.
Я видел тех, кто поздно сожалел,
Потом нуждался в куче трепанаций,
Никто из них и думать не хотел,
Как подобает.

Автор.

Разве постоянно
Вы держитесь в приличия границах?

Старик.

Ха, я не променяю, слава Богу,
Иначе думающего, чем я,
Воспоминанья революционного,
На всякую бессмыслицу. Случалось

- Автор. Так сотни раз, и неизменно
Держусь я так прекрасно в стороне.
- Автор. Но были бы вы все же недовольны
Фантазией?
- Старик. Вначале был немного,
Со временем же также я пришел
В согласие и с ней, и вся она
Давление ощутила тут сполна.
- Автор. Но это все против ее природы.
- Старик. Созданиям этим верите же вы?
- Автор. Она впервые в вере утвердила
Меня, ведь, как она сказала,
Она себя в себе лишь осмысляет.
- Старик. Душа моя, вы позволяете себе
Немного обольщаться, что искусство
Так выражается. Но я же говорю
О жизненной фантазии, поскольку
Себя я строю сам, должна во мне
Присутствовать фантазия, однако
Подобной не найти, и, так сказать,
Есть только удовольствие, не это
Обдумывать нам надо, а ее
Суть настоящую, которая, известно,
Бессмыслица, еще зовут ее
Фантазией для времяпрепровождения.
- Автор. Что же, что же делает поэт?
- Старик. Коль должен я сказать вам свое мнение,
(внимание свое вы напрягите),
Так в наши дни такое было б время,
Когда все презирали бы сектантов,
Так это же грозило и поэтам.
Однако вы — весьма плохие слуги
Фантазии, и лучше б возводили
Вы фабрики: ах, Боже мой, работы
Тут явно непочатый еще край,

И рук рабочих вечно нехватает.
Я, правда, сам поэтом был, и был
Читаем в свое время, и писал
Я то, что по душе мне было, но
При этом ненавижу всех поэтов,
Есть в мире много самых разных дел,
Не признаю я болтовню и праздность,
Кто хочет только отдыхать и созерцать,
Тот должен мир совсем немного понимать,
Что родине нужна наша забота,
Не время вещи глупые писать.

Автор.

Действительно вы, все же, очень строги
Тесните очень вы поэтов. Вы о мире
Сказали, только где его найти?
Исследовать его и я охотно мог бы.

Старик.

Мир надобно иметь, и мир найти,
Иначе это все — одно тщеславье,
И также нужно шутку понимать,
В которой шутки прочие лежат.
И вообще сегодня составляет
Диковинное во всем мире зло
Все то, что лишь во мне объединенным
Находят, то, что есть хорошего
И дельного, и то, что правильно и чисто.
А другие слепы все люди, ничего не видят.

Автор.

На удивление, однако, это.

Старик.

Мы многому не можем верить,
И шепчут мои лучшие друзья
Друг другу на ухо, чтобы потом об этом
Кричали в уши нам, и сам я к дуракам
Обычно отношусь: однако
Для этого совсем еще нет слога,
Чтобы сказать о том, как они сами
Подумать только могут, и желают
Мне славу предоставить, но меня
Не унижает это ни на волос.
Еще раз, что сказать о мире можно,
Так то лишь, что само себя ломает
Пропавшее сегодняшнее время,

В которое над лучшими людьми
Сегодня издеваются, и это
Есть целый бизнес. Неизменна лишь торговля
И перемены тоже неизменны.
И лучшие ведь головы тут гибнут,
А шельмы-то на их гробах танцуют.
Короче, дорогой мой, если б не был
Я тут, то пустота б осталась
на моем месте вопиющая.

Автор.

Еще
Мне не встречался человек, который
так мало бы стеснялся в выраженьи
всех своих мыслей.

Старик.

Также очень редко
Подобное ты встретишь выраженье
В поступках, чтобы так
Один в себе миры все совместить мог.
Я это объявил, и я всегда
Об этом объявляю, но у всех
Так тяжелы, наверное, прегрешенья,
Что мне никто не верит, и уже
Меня никто не слушает, так сильно
Мой рот при этом поучает их,
Никто в образование мое не хочет верить,
И думают, что гроздья винограда
Так высоко, что не могу достать.
Так и плыву я все же в наводненье
И рядом смерть стоит и угрожает.
Я что-то наверху хочу оставить,
В богослуженье каждом написать,
Но нет подмоги мне, чтоб я дерзнул,
И с каждой мессой я о государстве,
к несчастью, все больше забывал.

Автор.

Как выстоять, коль вы теперь умрете?

Старик.

Погибнуть, несомненно, должен мир,
Я говорю все это искренно и честно,
Могу я эти вещи прояснить,
Затем что никогда вещам плохим
Никто и впредь противиться не будет,

Так мстит нам небо, пожирая землю
С людьми, мышами, и затем все вместе
Выбрасывает.

Автор.

Но теперь ведь никаких
Нет ваших мнений, и они выходят
Особенными потому, а людям
Недостает сейчас объединенья.

Старик.

Вот это, уважаемый, та точка,
Вокруг которой тяжело творить добро,
И от которой критик отказался,
И от которой умолкают те,
Кто прежде пел. Теперь пришли другие
Формально времена, и больше значить
Хотели б вещи, от других людей
Производимые. Великие еще в цене,
Меня и прочих знатоков в виду имею.
С тех перевернулось все, искусство
Уж боле не в цене. И только Лессинг,
Когда б вернуться мог, то он бы людям
Мог показать, как глупы они были,
И как меня им надо было почитать.

Лессинг проходит через крышу в облаке.

Автор.

Ой! Дом мой разломился пополам,
И ремонтировать его я должен буду.

Старик.

Великий Лессинг, о великий наш герой,
что помешать тебе могло бы перейти
с той стороны на нашу?

Автор.

Опасаясь,
После великого такого человека
Расходов понести могу не меньше.

Лессинг.

Я вниз пришел сквозь облака, ведь вы
Мне слишком тут противоречить стали,
оставьте имя доброе мое
в покое, не был никогда
кляукой я для хромых, ослов
я не обуздывал.

Старик.

А вот и возражаю!
Как будто сами верите тому,
Вы честь свою хотите отстоять.

Лессинг.

Но к главному относится лишь главное,
А вы, кто в нем не сомневается, не верит,
Ни сами не задумались об этом,
Ни все другие то не понимают,
Что так постыдно обошлись с моим
Вы именем, и это поднимает
Во мне еще мой гнев, в блаженстве лучшем
Занозу причиняет мне. Когда
Не можете вы биться, лучше мир
Удерживайте. В глупости своей
Вы неустанны будете, но это
Лишь битва с зеркалом, известная давно,
Когда мое цитируется имя
При каждой чепухе. И никакой
Не утверждаете глупейшей вы идеи,
Ребячества такого, будь оно
Ничтожно все еще, и тут всегда найдется
Неповоротливость, что шустро закричит:
«Прям так и думал Лессинг!»
Только вы не думающий, нет, вы никогда
Не станете уж думающим. Вы
Так думаете, что теперь я мертв
И все могу простить, и не могу
Стремиться больше, отрицать: и пусть
Тогда я появлюсь как ваше знамя,
Клич боевой для ярости толпы,
И пусть приносят жертвы мне. О вы,
Вы варварские скифы! Так чему же
Должна служить, чтоб не был я
Святым тут сумасшедшим, мысль моя
Великая? Все это в моей жизни
Уж было, и в стремленьях моих смелых,
Что споры вызывали, и в моем
Высоком рвении в конце стези земной,
Чтоб вам, капралам, должен был служить
Я провокацией? Вы все, которые себя не сознаете
Мельчайшими, в которых целюсь я
Стрелой моею, что себя не могут поймать

И наказать, и как должны
Себя вы сами были ненавидеть, как я,
О вас все помыслы свои
Могу простосердечно и глубинно
Высказывать, вы только мне скажите:
Что ж в вашем скрыто вопле?
Ну-ка вы, скажите это прямо и свободно!

Старик.

Ах, Боже, Боже, я совсем растерян,
Что прогневить тебя только могло?
С земли я тут тебя неплохо вижу.
Пришел ты из блаженства, чтоб браниться?
Но это некрасиво!

Лессинг.

В небе учат
Сначала хорошенько рассердиться,
Ведь первое внизу тут было дело —
Любовь, и эти пошлые созвездья,
Небесный гнев становится нередко
Так скоро тусклым. Держит нас земное
В своих границах, отмирают часто
Божественные мысли на земле.

Старик.

Ах, как же, друг? Я думал лишь свобода
Там наверху дарована нам будет.

Лессинг.

Свобода, о которой представленья
Совсем ты не имеешь и не знаешь:
В ком никакого нет бессмертного огня,
Кто здесь не возвышался до любви,
Тот будет на войне здесь, в вечной ссылке.

Старик.

А как же отпущение грехов,
Которое обещано нам всем
В Небесном Царствии?

Лессинг.

Всем, кроме тех, кому
Обещано в Писании, и тех,
Кто согрешил против Святого Духа,
Кто вас без отдыха и платы оставлял,
За труд всей вашей жизни. Проследит
За вами Бог и все увидит

Он недостатки ваши, и слугою
Вы будете затем у Сатаны.

Старик.

В обоих вы не верите, однако,
и все это как истину берете,
все остальное в нас покрыто тьмою,
и думается, с нами заодно ты был бы.

Лессинг.

Пожалуй, ваша искаженная печать
кумиру каждому лишь служит отпечатком,
Примером новым — ложное ученье,
И каждый путь — путь ложный; а тебе
Того лишь в день и нужно, от природы
Ты только лишь пока чернорабочий,
Не человек, христианин или язычник,
Тебя на радость всем должны в упадок,
В уныние большое приводить.
Безмолвие в тебе лишь остается,
И не проснется никогда. Примером
Плохим для человечества ты служишь.

Старик.

Послушай, не преследуй нас сейчас,
Тебя никто не превозносит сильно,
Прекрасное доказываешь ты
Подробно людям в превосходности своей
Драматургии.

Лессинг.

Это то, что обо мне
Вы знаете, все остальное остается скрыто.
Но тайная и скрытая есть прихоть
Во мне — красу поэзии любить,
Однако, не хотите вы позволить
Мне наслаждаться ею. Я был гласом
В пустыне вопиющего, однако
Никто на мой призыв не обернулся,
И каждый шел себе своей дорогой,
Хотел я, как и многие, тогда
Поэзию восславить. Знал я, скоро
Должна будет она воспламениться,
И я крестил водой и пониманьем
Единственное существо — спектакль.
Другой тут величайший возник
после меня, назначен был служить

Священником он музе, и крестил он
огнем и духом, как и все творенья
и вся его поэзия покажут,
он среди нас в божественности жил,
Однако кто узнал его одежды,
Лучшие, честные? Вы
Остались все с ожесточенным сердцем,
В сознание слабоумном, не смогли
Добыть ни утешенья, ни спасенья, и ни ума,
Ни здравого рассудка.
Ну так и оставайтесь же глупцами,
И дальше свое время проводите
Вы так же, как сейчас, но только будьте
Порядочными вы людьми при этом,
Но только отвяжитесь от меня!

Облако поднимается и исчезает вместе с Лессингом.

Автор.

Ну, тысяча чертей! Какой могучий
И вообще престранный господин!

Старик.

Любил преувеличить он, однако,
Не прав во многом. Это видно сразу
По многому, написанному им.
Но был он превосходным человеком,
Хоть часто им овладевала грубость,
И не хотел друзей своих он лучших
При жизни очень часто узнавать.
Не жаловал порой и знаменитых.
И многие из нас тут заплатились,
Но мы приходим к милости всегда.
Меня же раздражает только,
Что он меня тут сильно опозорил,
Легко ввел в заблуждение большое
Такого молодого человека.
Не верьте, друг мой, ни одному слову,
И его иметь в виду не буду,
Ведь он уже назад ушел внезапно,
И крыша вся опять ровна, чиста.
Его явленье нам могло и показаться,
Я думаю, то был сплошной обман,
И обо всем, что тут сейчас случилось,
Молчать мы будем, впрочем, у меня

Довольно будет духа, чтоб увидеть
Что несколько ослеплено мое сознание,
Что не в себе я, ведь в иные дни,
Когда здоров я, никакие духи,
Ни их подобия не смеют приближаться
Ко мне и близко, я всегда на дверь
Указываю им суровым взглядом.

Уходит.

Автор.

Похоже, у меня забавный день,
В который многое еще переживу я,
Как будто время смутное пришло
Поразмышлять над редким порождением.

Входит Слуга.

Господин, снаружи чужестранец,
И говорит, что он охотно с вами
поговорил бы.

Автор.

Так скажи ему,
что дома нет меня, а впрочем, это снова шум.

Слуга выходит.

Ну, хорошо, быть может, чужестранец,
Ко мне, ко всем приходит в дом, узнать,
Что думаем мы, и с собой привносит
иллюзию особенную, будто
принес для вас подарок, чтоб время
с ним потеряли вы и чтоб узнали
шесть видов скуки.

Слуга снова входит.

Слуга.

Этот господин
сказал, что ни за что уйти не может,
Он ваш большой поклонник, разрешенья
Он просит, чтобы вы к нему
Благоволили и к себе его позвали
В хорошем ли, в плохом ли настроенье.
Он мило проскакал.

Автор.

Какого ж сорта
сей человек?

Слуга.

Немного переменчив,
платок красивый у него на платье,
не производит впечатление человека
несправедливого.

Автор.

Ну так скажи ему,
Мол, милости прошу его войти я.

Слуга уходит, входит Поклонник.

Поклонник.

Ах, дорогой мой господин,
Я в этом так своеобразен,
Что я немного любопытен,
Предрасположено мое сознание
К тому еще от юности, уже
Я мальчиком на разные спектакли
Уж убегал, которые на сцене
Могли идти. Пожалуйста, скажите,
Когда я только вам сейчас мешаю,
Я тотчас честь откланяться имею,
Послушно вас покину. Только вы
Того передо мною не скрывайте.

Автор.

Зря не должны свое мы тратить время,
И как бы мы порой ни жили долго,
Не можем мы не чувствовать его,
Но с совершенным вечности приходом
Мы времени получим еще больше.

Поклонник.

Я рад тому, что я с вами познакомился,
И я б охотно продолжал знакомство,
Как восхищен я вашими твореньями,
Как будто в юность снова я вернулся!

Автор.

Вы также их должны переложить;
Ведь вовсе вы еще не так стары.

Поклонник.

Имел в виду я Штернбальда, охотно
Я сам пишу подобное, а также
Свободно зарифмованные песни,
Они всегда в моей душе звучат,
Наверное, успешно, ведь я также
Даль со звездой зарифмовал однажды.

Автор.

Ведь видите вы вещи изнутри,
Поэтому вам это и не трудно.

Поклонник.

Но остается все же у меня
Поэзия такой пустой, что я
Свой чувствую талант несовершенным.

Автор.

Но все придет, когда тренироваться
Вы будете и доброе любить.

Поклонник.

Я чувствую, что я своим талантом
Еще бы мог великое создать,
Только боюсь, что это не случится
Сегодня или завтра.

Автор.

Но всегда,
Конечно, лучше что-то с этим сделать,
И будете великий человек,
Терпение не всем в поэзии дано,
И долго к своей цели мы стремимся.

Поклонник.

К религии мы умысел направим,
И над всем миром можем посмеяться,
И этот смех религией назвать,
К тому ж природа связана любовью
Божественной, и есть цветы такие,
Чудесные внутри, и вместе все
В поэзии слилось, и ей гордится.

Автор.

Я вас не понимаю, господин.

Поклонник.

Но разве вы не занимались
Религией? Я думал, что она
Поистине любовь-цветок. Природа
Всегда естественна, и тоже фигурально
Я говорю, ах, Боже мой! Что роза —
Прекрасное дитя, напоминает
Мне эту благородную Люцинду.

Автор.

Вы, кажется, не поняли ее.

Поклонник.

Искусство у меня такое, этим
Себя я тешу, каждый человек

Имеет свой талант, я в том уверен!
И нравственность.

Автор.

Однако если будет
Вам время все начать сначала,
То к вам придет удача.

Поклонник.

Так первое, чем я хотел заняться,
О чем я думал, книги те читая,
Что я не должен был остановиться,
Обряд религиозный совершая,
И что сижу на этом, как на троне
Грохочущем.

Автор.

Однако если только
все сделают такое же открытие?

Поклонник.

Конечно, обстоятельство плохое
Из этого бы вышло, потому
Что больше ничего оригинальней
Не выдумали.

Автор.

Вас вознаградить
должно тогда другое, по стране
тогда, возможно, бы распространилось
ученье новое какое-то уже,
и вы могли бы познакомиться с новейшим,
и продвигать религию свою
вместо другой.

Поклонник.

Прекрасно в ней обжился,
Нашел, что мило в целом звучит
Все это, и еще к тому же
Возмущены все, как в обычном
Бывает заговоре, в сердцевине сердца
Все это ощущают, но еще
Здесь нет ни слова о каком-то исправление.

Автор.

Не говорите так, придет однажды случай,
Услышат эти вещи повсеместно.
В печати они вышли бы смешными.

Поклонник.

Но выставлять интимнейшие чувства
Наружу мы всегда должны, и часто

Они нам не хотят уступки делать,
Колеблются, и часто свои мысли
Отсутствуют, и речь прямо от корня
Хватать нас вынуждают, и вещать
Из этого интимнейшего, это
Сломаться может или же согнуться,
Такое часто должен был я делать,
Касательно отличных представлений.

Автор.

Прогресса семимильные шаги
Предпринимает мир, и вы, конечно, тоже
Возьмете скоростные сапоги,
Не избежав при этом все того же,
Что часто люди так бегут вперед,
Обманутые, все вперед, прогресса ради,
И лишь потом домой идут в досаде.

Поклонник.

Итак, затем бы кончить мне образование,
Однако, я надеюсь, вы для нас
Напишете еще прилежней. И,
Сознаться должен, вам я подражаю,
И тут с собой принес искусных песен
Немного, сто тринадцать общим счетом.

Автор.

Прошу покорно, вы, пожалуйста, простите,
Вас выслушать я просто не смогу.

Поклонник.

Один, другой мой стих, и будете, однако,
Удивлены вы, как поэзия моя цветник искусства
Настоящий явит, она меня сама и вдохновляет,
И потому у вас учился б я весьма охотно.

Он читает:

Тихо, тихо,
Как волна,
В море
Вырос цветок,
На краю
Кроткий обруч,
И сверкает он
В мерцании,
Сладкие звуки,
Ах, как прекрасно!

Приди и увенчай
Мое желание,
Ведь твой страх
Так далек
Как звезда,
Милый взгляд,
Все мое счастье,
Сплетение огня,
Друг с другом,
Что они плывут,
Ах прекрасное время,
Далеко! Далеко!

Автор.

Я должен буду вас просить
Всегда воздержаннее быть,
Ведь головокруженье у меня
От образов обилия такого,
Которые у вас и там и тут
Непринужденно так себе растут.

Поклонник.

Не правда ли, они идут так прямо
В подборочку, один через другой?
Мы видим, как прозрачный свет блуждает.

Автор.

Необычайно нежный обитает,
там гений, и одно к другому
они подходят, как кулак подходит глазу —
и в этом случае огни и искры скачут,
тем гуще, чем чувствительней удар.
А у кого-то пропадают слух и зренье,
но он не допускается тогда
перед лицом явиться бытия.
То, что никак не связано с другом,
искусство постигать должно.

Поклонник.

Все верно, и как раз тому у вас
Я научился, и мои усилия
Еще результативней удались.
Теперь второе я стихотворенье прочту вам,
Чтобы третье упредить.

Он читает:

Качаются, качаются,
Мои мысли,
Звучит флейта,
Утренняя заря?
Нет, пролетели
Часы!
Назад вернуть
Должны мне позволить,
Что я потерял
Когда я родился.

Автор.

Прошу вас, извините, я устал,
У вас лишь ахинея в голове.

Поклонник.

Хотите о религии послушать?

Автор.

Ах нет, я весь больной и изможденный,
Я чувствую себя, как будто умер
Уже и жизнью сыт по горло.

Поклонник.

Эй, эй, это была бы большая
Для нас потеря! Это же всецело
в груди у вас?

Автор.

Нет, нет, я умер в моих песнях,
Они меня убили, и совсем
Мне опротивели, они мне корм ужасный,
Такой, что не владею уж собой.

Поклонник.

Они вам отвращение внушают
к религии? Доверите вы мне
другой какой-то тон, я вам прочту,
что в шутку в манере вашей написал однажды.

Автор.

Ах нет, потерянный я человек,
И с мыслями я не могу собраться,
Я должен вас просить меня оставить.

Поклонник.

Ну, ну, я завтра снова к вам приду
И вам прочту еще немного песен.

Рано, рано,
Эй смотри,

Через лес,
Громкий шум,
Птичьи голоса,
Они перемигиваются,
Словно мерцающий свет
Сквозь кустарник,
И дуб
Виден оттуда,
Как же это возможно.

Однако должен я идти, ведь если я еще останусь
Свое прощанье я до культа доведу.

Кланяется и уходит.

Автор.

И это плата за усилия мои,
За факелы, которые зажечь,
надеялись мы. Для чего, чтоб нам
подобного расцвета вдруг достичь?
О как теперь уменьшиться должны
Надежды ваши, если б это право
Исследовать хотели, и могли
Дойти до сердцевины, до ядра,
И отдали б охотно свою жизнь
Божественному, с истинным стремленьем
Потерянные эти духи искали б оживить
Мир этот замерший, а так они на ветер
Слова бросают, и потом же ими
Так хорошо ведь злоупотребляют.
Что ж ты стремишься, друг мой благородный,
Народу страсть к Люцинде объявить?
Они бегут оттуда, и тебя никто
Из них не знает, окрик твой бессилен:
«Болван, не трогай, это ведь горит!»
Усилья все, все честные круги, уверены,
Что лучше без усилий тут обходиться,
Думают они, что лучше и без честной
Борьбы, и неподвижно, как титаны,
Стоят, и знают, что ни брови,
Ни щеки им помочь не могут,
Чтоб справиться тут с гением.

Некий Светский человек входит.

Светский человек .

Я пришел к вам с дружеским доверием,
Мне сказали, что вы много сочиняете,
И своими книгами хотите
Этот мир вы переделать, но ведь нужно
С обстоятельствами разными считаться,
И учиться самому, коль скоро
Научить хотите вы других,
Но другие, кажется, ведут
Жизнь отшельников и целиком они
Преданы мышлению отвлеченному.

Автор .

Ни за что я братья не могу,
Ничего я не хочу, и только
Это служит, чтоб не промахнуться,
Люди лишь себя и ближних мучат,
Только вот чему это поможет,
Дикий камень укротить лишь только,
Но уже прошло Орфея время
Люди могут высмеять такое.

Светский человек .

И по праву, дорогой мой друг,
Кажется, они не знают мира,
Все бичами б им хотелось щелкать,
И трубить, как в юности, бы в трубы,
Постепенно же должны прозреть все люди
Все увидеть, и придет то время,
Мы одержим полную победу.

Автор .

Лучше б мне ничтожеством полнейшим
Оказаться, выпала мне жизнь
Очень неприятная, однако.

Светский человек .

Эй, зачем же! Это вам не к чести,
Смерть всегда приходит в свой черед,
Также должен человек трудиться
и творить и деятельным быть,
и не возвращаться каждый раз
к старому пути, ведь это слишком
пагубной бы было медициной.

Автор .

Я во всем сейчас разочарован,
И никто меня не понимает,

Без предубеждения никто
Прогуляться по стихам не может,
Мы теперь боимся всяких слов,
Каждый шаг дается все труднее.

Светский человек.

Это происходит потому,
Что узнать вы мира не хотите,
Применить возможности приличной
К самому себе, ведь сами вы
Ограничили себя так узко,
Что должны бы были непременно
В заблужденье словом всех вводить.

Автор.

Заблуждение! Правильное слово!
Где же места нет для заблуждений?

Светский человек.

Например, придерживаясь если
Целого, и, как уж говорилось,
Мир исследуя, себя со всех сторон
Ищут во всех знаниях и мыслях
Выразить, распространить везде:
В новой ли истории, политике,
Может быть, в статистике, и это
Тяжесть непомерная, которая
Миру задает движенье времени,
Камень тот точильный, что однажды
Выточил его изобретатель.

Автор.

Если старый мир сравню я с новым,
Новый будет мне неинтересен.

Светский человек.

Это то, где снова вы ошиблись,
Потому что интерес вы сбили с толку,
Не хотели чистых интересов,
Вы на поэтическом всегда
На одном повернуты, однако
Это долго длиться так не может,
Ведь затем в тупик заходят люди.

Автор.

Ах как жаль! Я все еще в стесненье,
И, куда идти, не вижу цели,
Только смелости набрался я.

Светский человек.

Эй, дружище, все должно сложиться,
Правильный ваш ум свою победу
Скоро окончательно одержит,
Нужно с этим временем совпасть,
И тогда не может быть иначе,
Это вас, конечно, осчастливит,
Сделает однажды очень сильным,
Хоть и в три погибели согнет,
Верьте мне, таков сегодня мир,
Правильное в нем соотношение
Держится особенно сейчас.
Между прочим, стоит лишь поймать,
Чтобы наполнять потом карманы,
И с прохожим каждым торговаться,
Милостыню вовремя давать,
Принуждать умеренно себя
К этому, и знать никто не должен,
Что все это значит, и тогда
Снова всеми четырьмя держись
Лапами, играя на гобое,
На тромбоне, чтобы круг людей
Удивлялся. Только без коварства
Никогда не торжествуй, кнутом
Ударяя в этот круг, ведь кто
Штурмовать стремится эти вещи,
Столько хороши, бывает, в наши дни
Терпит недостаток. Потому
Сдерживайтесь, если недовольны,
Или недовольство уберите,
И поверьте только мне на слово,
Многие исполнятся желанья.
Коль хвалить все свежее, так можно
Это же хвалить потом и снова,
Поколений узами, конечно,
Вы объединяйтесь. И когда,
Кто-то призывает всех к смирению,
То его с тысячекратным рвением
Хвалят, каждый думает, что этот
Человек, однако их умнее,
И в итоге выйдешь ты всегда
Победителем. Так на тебя посмотрят,
Будто ты какой-то небожитель,

Пламенно горит со всех сторон
У тебя работа, стар и млад
Именем твоим себя зовут.
Этот мир таков, однако вы
Станете великим, возмутится
Этому весь грубый матерьял,
И когда вдобавок вы при этом
Вышли сатирическим поэтом,
Будет все пюре возмущено,
Закричит: читать его стихов
Не хотим, раз власть его была
От земли. Поверьте мне тогда,
Не шучу я, к сердцу мой совет
Вы примите, что лишь тот хорош,
Кто старался быть разнообразным,
Быть приличным образом всезнайкой,
И к тому ж — любезным гуманистом,
Ведь сейчас во всех календарях
Пишут о гуманности. Клянусь вам
Я своей душой, что в нашем мире
Этого всегда достанет вам.

Уходит.

Автор.

Так все хотят меня ограбить люди?
А я еще и верить должен миру?
И гению, который подражанья
Достоин? Вы набросились на все
То, что создал я, перевернули
Кверху дном и объявили глупым,
На лету ко мне заходят люди,
Мне кричат: таким вот быть ты должен!
Я не знаю, как сойти мне с места,
Как расшевелиться, для себя
Мир сей уяснить; я не могу
Из такого множества ни части
Взять. И на меня наводят скуку
Сотни дел, я неуклюж и беззащитен,
Я односторонен очень, старомоден
Еще больше. Что это идет
С грохотом глухим сюда, тяжелой
Поступью по лестнице влачится?
Вот уж он не кротко вниз идет,

И дрожат все стекла, он ботинки,
Кажется, подбитые железом,
Носит, и когда он в дверь войдет,
Вылетят стена и весь косяк.
Что тогда хозяин о моих
Скажет визитерах? Вот стучит
Страшное чудовище. Входите!

Стародум входит.

Стародум.

Добрый день, молодой человек.

Автор.

Боже мой, кем этот господин
Мог бы быть? С такую бородою
Длинной белой, с шапочкой такую
Вида очень странного, и так
Удивительно подвешен колокольчик,
Мелодичным отзываясь звоном
На движенье каждое его.
С этим длинным посохом изрядным,
И в широком поясе кинжалом?

Стародум.

Не узнаешь меня, маленький негодяй?

Автор.

За всю свою жизнь не видел такого лица.

Стародум.

Немного ж благодарности тебе
Я выкажу, так слушай, слава Богу,
Я старый франк, тот старомодный человек,
Которого не можете в покое
Оставить вы, особенно когда
Хорошее вы что-то сотворили,
Увидев ближнего в нужде, и после к Богу
Усердно вы взываете; когда
Родителей своих ребенок любит,
Послушны сыновья и добродетель
Не покидает дочерей сердца.
Тогда кричит задиристо народ
Устами злыми: «Эй, смотрите, люди,
Как старомодны там они!» Однако кто
Блудниц усердно любит посещать,
Кем опозорен, друг стоит на рынке,
Над кирхою глумится кто и кто

Не уважает божеского слова,
Предпочитая нарушать все то,
Что более всего запрещено,
Кто жадничает, деньги наскребают,
Ростовщиком становится, вот тот —
Он парень новомодный, и в итоге,
Отчаявшись, он смертию умрет,
Усердно следуя сей новомодной моде.

Автор.

Но как ты это сделал одолжение
Прежде всего визит мне нанести?

Стародум.

Ведь был всегда ко мне ты благосклонным,
Меня не зная, был всегда мне предан,
Старонемецкой жизни благородной
Любитель ты. И это привело
Меня к тебе. Ведь ты не новомоден,
Не современен, любишь ты природу,
В поэзии приветствуешь ты силу
И полноту, и любишь в шутке то,
Что мимолетно, дико. Ненавидишь
Ты ложь во всяком проявлении её.
И поклоняешься всему, что славным,
Здоровым кажется тебе.
Издалека услышал я проклятья
В твой адрес. Это и сподвигло
Меня твой дом сейчас же посетить.

Автор.

Ты оказал мне, в самом деле, много чести,
Когда б я только был в хорошем настроенье,
Но я сейчас расстроен и почти
Измучен, мне общаться будет трудно.

Стародум.

Ах, что, расстроен! Это глупое сужденье,
Не хочешь лучше говорить — молчи!
Пытаться навести порядок в мире —
И не управить настроением своим?
Кто приказал тебе быть только в настроенье?
Должно быть это чем-то новомодным.
Опять живот свисает у тебя,
И снова сел за стол ты полный,
И корчишь людям кислое лицо,
Ну, так не будь ленив к своим гримасам,

Захочет льстивый сей народ тебе
Прикрикнуть дико, так подумай сразу:
Да разрази их молния и гром!

Автор.

Так думать непристойно.

Стародум.

Только все же
Так думают и даже говорят
В одно мгновение, когда нам чья-то глупость
Становится помехой на пути, дерзит,
Себе позволив слишком много.

Автор.

Для этого благовоспитанны ведь мы.

Стародум.

Попридержи язык, ведь это лживо.

Автор.

Вы так грубы, резки, и я прошу вас,
Однако, не кидайтесь на меня.
У вас нет обходительного тона
И эта грубость стала мне невыносима,
Ведь нужно быть спокойнее, милее,
А вовсе не кричать тут, как медведь.

Стародум.

Я так общаюсь, такова моя манера,
Свою пошире разеваю пасть,
Когда речитативом ты унылым
Бормочешь лишь себе под нос слова.

Автор.

Не приближайтесь только к моей чести,
Иначе должен я вас попросить
За дверь, не доставляет удовольствий
Мне этот крик. Ведь вас сейчас впервые
Увидел я, и потому прошу
Продолжим разговор наш, только тише.
Ведь у меня своих полно причуд.

Стародум.

От глупости твоей лишь происходят
Причуды эти. Нос держи по ветру!
Когда все видят, как какой-то немец
На свою обувь смотрит, трогает, скорбя
В большом несчастье? Честную ты кровь
Имей и подлецом не будь, и в общем смело
Смотри перед собой, ногами двигай,

Маши руками; как пивная бочка
Не стой, как будто бы движенье —
Есть в твоей жизни только исключенье,
А все прогулки на природе
Чужды твоей подлой природе.
Ведь солнце светит для тебя,
И ты взгляни ему навстречу,
И звезды наблюдают нас,
И ты последуй их примеру,
И хорошенько пораскинь
Умом своим, что ты и все иное —
На самом деле только разные цветки,
Что выросли на высоченном стебле
Одном, и все растущее потом
Должно в божественное лоно возвратиться.
Ты все же чересчур угрюм теперь,
Напичкан разными заботами земными
Так в книгу добрую свой нос уткни,
Чтоб стать тебе и умным, и здоровым.
Нам это наш немецкий человек
Однажды показал поэмою своею
О Фаусте. Там многое понять
Еще ты сможешь, что столетья до тебя
Не знали, испытываешь ты отраду
Во всех возможных смыслах, заглянуть
Ты сможешь в глубину явлений всех,
Испить вина божественного жизни,
Почувствовать себя, как будто только
Домой вернулся, где из всех цветов
Тысячекратно пенье раздаётся
Весенних соловьев,
Твою терзая душу бесконечно,
Итак, тобой уже раскрыта книга эта,
И многие небесные часы
Сей книгой наслаждаешься уж ты.
Так дам тебе еще я, кроме Гёте,
Ту книгу, что составил Якоб Бёме,
«Аврора, или Утренняя заря».
Писатель это был великий,
Немецкий, наш, писал он о пророках,
Которых та Аврора и бранила,
И тех, которые с мирами
Общались и из уст святых,

Неоскверненных миру объявили
Божественную глубину ученья.
Он от тебя уныние отводит,
И каждым словом развлечет,
В великолепии, в блеске все представит,
Он сам сплетает нимб с тщеславной славой.
Ну, говори, чего тебе еще
В подлунном этом мире не хватает.
С досадой что ворчишь и что бормочешь ты?

Автор.

Принять не могут правильных значений
Слова, мне не хватает еще сотен
вещей. Неловок я и неумел.
Не мир и не страна интересуют.
Меня. Я к своим умыслам пристрастен
И светским людям я неинтересен,
И в жизни часто не могу так верно
Держать я речи и давать ответы,
И ничего в душе моей пока
Не задержалось из наук хороших,
Поставил мало я душе ограничений,
Она же вечно мыслит, размышляет:
Вот то, ради чего себя я мучу.

Стародум.

Дурна привычка — нос совать повсюду,
И любопытствовать, что там, в чужих карманах,
И ничего меж тем не знать, не понимать
Ни в малом, ни в большом, и не уметь
Все вещи называть их именами.
Пусть это неприлично и порой
совсем не подобает — в голову себе
весь универсум поместить, — но тут
Всяк при своем останется, однако.
Ты видишь дерево с ветвями,
Цветы, растения, — они все часть
Большого целого. Однако каждый
Из них блистает в собственной красе.
В чужом нам больше нечего блуждать,
Тут отвращения мне всего не передать,
Найди себе полифонию звуков,
Природу хочешь ли в одно смешать,
Тогда вновь должен хаос возвратиться.
Благодаря ему творенье родилось,

И сила каждая теряется тут в целом,
И только целое единственно тут есть:
Был сформирован человек из всех частей,
Внутри него все обитают духи,
И потому он господин природы,
Однако у него внутри есть тембр,
Который все сознание его
Пронизывает глубоко, и только
Когда он слышит этот тон, то все
Внутри бунтует у него, все духи
восстанут в памяти, и вечности лучи
утонут в сумерках, и устремится вниз он
к корням древнейшим и уловит свет
серебряный, свет брэнной своей жизни:
и так во всей у каждого природе
своя есть подпись, свой особый знак.
С любовью побуждает тебя это
Постичь, что большинство в самом себе
Порою ненавидит, отвергает.
Ты дай пространство духу своему,
Создай для самого себя пространство.
И мужеству не позволяй тебя
Вовеки покидать, и лишь захочешь,
Увидишь все, поэзия небес,
Которую ты хочешь, в сладком свете
Духовном воссияет для тебя.

Автор.

Когда опять почувствую себя
Таким потерянным я снова, и любовь
Я эту выберу, за это не сочтут
Меня глупцом? Ведь знать вещей подобных
Им не дано. Они увлечены
И далеко от сих вещей отдалены,
И даже более, когда они на это
Насмотрятся, то лишь сидят, зевая.
Какие силы может им придать
Все это, если даже автора они,
Какого ни возьми, не замечают?
Показывает это лишь, что люди
Охотно б стать разумными могли.

Стародум.

Но точно ль это ты возьмешь, горячим,
Холодным, или теплым? Ведь не могут

Они из головы чесать свой разум,
Ни из ушей вытаскивать? Они
Воспринимают твои чувства верно,
И об одном тебе заботиться не будут.
Ты вместо ревности стань лучшим,
Стань достойным служителем ты музыки,
И полюбишь мерцание и блеск. Они тебя
Могли бы порицать, хвалить. В итоге
Добро восторжествует.

Автор.

Я хочу
Теперь усесться и без церемоний
Развлечься, свою старую работу
Найти, и времена уж не ругать.

Стародум.

Всего полезней это для тебя,
Порадоваться этому хочу я,
Когда полезное ты можешь принести,
Великое, и важное, и доброе.
Согрей в любви ты прежней свое сердце,
И прежние стремления в себе
Ты разбуди, и если это время
Не нравится тебе, с благоговеньем
Иди к руинам древним, что на скалах
Высоких обдуваются ветрами,
Они печальный вид тебе покажут,
Расскажут о деяниях былого, о рыцарях,
Лесную посети хоть раз часовню,
Где пред тобой история святая
Предстанет, и религии престол,
Той древней католической, украшен,
Ее распространенье триумфально
в миру, и смерть счастливая венчает
всех мучеников. И свобода крепнет
Немецкая, по всей Европе ярко
Она распространилась. Это все
Хвалить ты можешь смело. И в любой
Провозглашать манере можешь то,
Что поднимает дух и будит в венах кровь.
Ты не бродил еще по тем полям,
И не переживал единственных следов
Своей истории? Вниманье обратить
На все немецкое ты хочешь.

Так познай немецкую ты мощь и силу,
Оставь всю эту болтовню и вопли
Для итальянцев-чужаков или французов
Проклятых. Крепким будь, как подобает
Быть немцу, прославляющему край свой,
И родину, и благородство прежних
Времен который знает. Безупречны
Великие те люди были. Делай
То, что давно хотел ты. Что ты должен
Уже давно по моему приказу.
В живых картинах выразить попробуй
То время одичавшее, что было
Последним для германского народа,
Войну тридцатилетнюю, что край наш
Опустошила дорогой, любимый,
И силы изнурила. И представь
Ты все в разнообразнейших спектаклях:
Так мог бы современникам оставить
Ты памятник и память по себе.

Автор.

Твои слова свет древний пробудили,
Особенное то души стремленье;
И верно сохраню то предложенье,
Оставлю страх, оставлю я сомненья,
Ты только мог бы мне напоминать
О том в дальнейшем и любовь свою
Мне подарить.

Стародум.

Ты от меня всегда
Хотел бы только требовать, и я
Твои желания тебе предоставляю,
Хотел меня увидеть ты воочью,
Теперь же должен обо мне ты говорить.
Но я тебя издалека, однако,
Капризным мальчиком так часто слышу
И плачущим, и вечно рецензентов
И критиков ругающим, тоскою
Измученным, покорностью, абсурдом,
Вот так я рассказал об этом в общем.
Затем других друзей ты можешь встретить,
Дразнить и злить тебя, и в грязь валить
Они, конечно, будут. И тогда
Ищи ты в просвещении защиту,

Спасение ищи там, занимайся,
Как современный червь, лишь этим.
И на лучших с презреньем посмотри,
И с дураками и трусами лежи себе в грязи.
Очень тяжело топя уходит.

Автор.

Ужасное проклятье произнес он,
Ну прямо наказание. Ведь вовсе
Не груб этот старик? Он полагает,
В конце концов, что может форма рыбы
Той отвратительной быть выраженьем
Для остроумия. Но опиши я это
Хоть самым скромным образом — и сразу
Покинет мой порядочный читатель
Меня. Огонь в печи горит так ясно
И с треском, будто хочет он из печи
На волю выпрыгнуть: и будто даже мне
Почудился и голос, и как будто
Печь растворяется в каком-то песнопенье.
И там, где еще музыка с поэзией
Назад тому секунду еще были,
Мир предстает запутанным уже.
До основания печка сотряслась,
И прыгает, и топится, о Боже,
И чад со смрадом комнату наполнил
и «Женской комнатой» тут стало все внутри.

Ложная слава выходит из печи.

Автор.

Но кто же ты, чудесная картина?
Скажи, чего ты хочешь от меня,
Меня преследует во всех тут смыслах чад,
Уйти бы мог, и не могу уйти я.

Ложная слава.

Я — слава та, которой полон мир,
И мною все прельщаются герои,
Награда всех трудов я, и живу
Там, где горит огонь, и я горю там,
Поэтому я чистой выхожу
Из пламени и свой венец тебе
Протягиваю, чтобы разделил ты
Мое благословение теперь.

Автор.

Но, с позволения сказать, из лавров
Сухих твой состоит венец.

Ложная слава.

Дурак,
Через огонь пройдя, не может свежим
Остаться лист лавровый.

Автор.

Но тогда
Как можешь быть ты славой?
Ведь она, я думаю, живет в светлом сиянье,
Тогда или обратно в дым и чад,
Тебе не испугать ничем меня.

Ложная слава.

Я, несомненно, ненавижу свет,
Ведь на свету, увы, я вся видна,
Не слишком привлекательна была бы
Я там, и потому в чаду мне лучше оставаться:
То, что дымом зовешь ты раздраженно, —
Запах мой, по коему меня и знают люди,
Притягивает он ко мне довольно многих.
Нет времени на шутки, я всегда
Так деятельна, тут и там достойных
Людей короновать. И только без венца
Остался моего лишь ты.

Автор.

Он же пепла полон.

Ложная слава.

Так голову не наполняю я, а лишь карман.
Иметь ты должен деньги, раз хочешь
что-то значить непременно.
А злато очень ценится всегда.
И как бы там тебя ни поносили
И не бранили, полный-то карман
Ругать никто не станет. согласишься
Пойти ко мне на службу, — ни стыда,
Ни гнева в адрес твой уже не будет,
Святыням верить никаким не надо,
И еще меньше перекручивать себя
Благоговейно. Изобилие отныне
Божественный твой голос, и тогда
Чем ты глупее смешиваешь краски,
Тем больше масса почитателей твоя,

И станешь верно ты вплотную
К большой толпе, и никакого гнева
Не будешь ты бояться. Посмотри,
Как нынче мир любезен, и в блаженной
Он бедности стоит, и не хватает
Вам всем чего-то лучшего с востока
До запада, от севера до юга.
Кто радуется людей хоть заурядно,
Творения того переведут
Для всех народов. Ведь никто поэта
Еще не ублажал так, и ему
Так не хватает разума людского.
От Одера окраин его слава
Идет до Средиземноморья.
Ирландцы прибегают и британцы,
английским стать тебя поэтом просят
смирненно, и богатство королева
доподлинно всем обещает гениям,
и говорит: ты нашим стань Шекспиром,
тебя мы видим нашим Коцебу,
Шекспира знаменитого ты лучше,
Самим ты станешь Коцебу для нас.

Автор.

Конечно, это все не так уж плохо,
Коль дашь мне все, что обещаешь на словах.

Ложная слава.

Ты должен, если повезет тебе,
Все предрассудки дымом задушить.

Автор.

Если только меня этот дым не задушит.

Ложная слава.

Дым этот должен стать твоей стихией,
Затем пойдешь ты сам по всей земле,
Известным и великим Гансом Дымом,
И выдержишь различные сраженья,
В которых все сражаются за дым,
Меж тем, вот так проводят жизнь и боги.

Автор.

Что слышу я, как будто сверху песня,
Светла она, доносится ко мне
Сквозь сферу светлую? И звуки отзываются
Из леса, птиц исполненного, и
Они идут как сладкий запах вниз,

Колеблются и смотрят на меня,
Все нарастая и во всех своих
Преодоления смыслах опьяняющих,
Сказать бы мог, что это вдохновение.
И крыша сверху вдруг раскрылась вся,
Сегодня должен этот дом погибнуть
Поистине, расходятся уж доски,
Прекрасный света луч сквозь них
Проник сюда, и образы могучие
Спускаются все ниже, и от них
Прекрасное уже идет звучание,
И с мыслями собраться не могу,
Где всех гостей принять теперь смогу?

Истинная слава парит в воздухе, поддерживаемая гениями.

Автор.

Прекрасный образ, я повержен на колени,
Молюсь тебе в почтительном молчании,
И сердце поднимается в груди,
Я никогда еще не видел этого
Величества, какое мне в своем
Сиянии сейчас ты показала.
Тебя я славлю и охотно мог бы
Тебе принадлежать, и тот другой,
Весь трепеща, исчез и скрылся образ,
Твоим сияньем полным ослепленный.

Слава

Не то, что дураки тебя так громко
благословляют, и не, что мир, тщеславный,
тебя так уважает, и не то, что ты
льстецов у ног своих увидишь, и хвалу их
на всех известных слышишь языках,
не плата с золотом доказывают славу,
и твое сердце этому тебя
уж научило. Лишь во внутреннем твоя
скрывается действительная слава,
святилище стремления и целей твоих.

Они б тебя хотели вдруг возвысить,
известным сделать, выпала б тебе
такая заурядная судьба,
что мир бы твое имя не желал
и называть, и каждый бы дурак

воображал себе, что больше он и выше
тебя. И только в сердце пламя
горело б у тебя, и лишь молитва
да сохранит тебя, и расцветет
внутри, на сердце золотой цветок,
неведомым живешь ты в высшей славе.

Автор.

Сегодняшних часов я не забуду,
Пустили корни глубоко внутри
И процветут во мне немедленно они,
И не забудусь я в высокомерье,
Ведь я же вечно для тебя хочу
Огонь искусства разжигать святого,
И образов чужих тут не должно
Уже возникнуть у меня и сбить
Меня с пути. Чудесные высоты
Я вижу для себя, к которым шаг
Свой твердый я направлю, и пусть мир
Вокруг меня вращается. Что делать,
Если толпа теперь за мной пойдет,
Мы яростью ее сей путь осилим вместе,
От сладостного света отделяясь.
И не утихнут бури вечные. Усмешка
Утонет скоро дерзкая в молчанье,
И ночь под черный заберет покров
Ее. Должна уж скоро показаться
Прекрасная заря, и облаков
Уже почти узоры растворились,
И темнота должна склониться вниз.
И попрошу затем еще не много:
Не принимайте удовольствие всерьез.

**АНТИ-ФАУСТ,
ИЛИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГЛУПОГО ЧЕРТА**
Комедия в пяти актах с прологом и эпилогом
Фрагмент

Пролог

(любителям шуток, наверное, лучше пропустить)¹

Преисподняя

*Меркурий представляется как перевозчик душ,
которые сидят у него внутри*

Некоторые тени. Не можете ли вы идти потише, мсье?

Другие. Милейший господин в крылатой шапочке, куда вы нас несете?

Одна тень. Кажется, он спит или вовсе пьян!

Другая тень. Как большинство почталыонов! Еще один недостаток немецкой Конституции!

Первая тень. И как это можно терпеть! Дико, грязно, капуста впрсмешку со свеклой, и обе сгнили!

Вторая тень. Все превратилось одно в другое и уплотнилось, и вода рядом! Таким образом мы вынуждены в башмаках и носках быть в плотном и жидком!

Третья душа. Сочинения, которые снова пропадают во Вселенных; соображения, которые не имеют ни покрытия, ни подставки!

Другие. О горе нам! Когда мы уже успокоимся!

Все (*между собой*).

Деверь вставай! Деверь бодрый!

Кому все время спать охота!

Глянь, мы сходим тут с дороги;

Дико тут вокруг и пёстро,

Громко крикнули безумцы!

Когда мы злы,

И ты нас доставляешь неохотно,

Все проиграешь чаевые беззаботно!

Меркурий (*пробуждается, зевает и говорит*).

¹ Намек на произведение «Записная книжка для друзей шутки и сатиры» (Thaschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire) Фалька. Образ Меркурия и некоторые отдельные персонажи относятся к «Немецкому Меркурию» (Deutschem Merkur) Виланда, основанному в 1773 году, с 1790 года издающегося под названием «Новый немецкий Меркурий» (Neuer deutscher Merkur). Неизвестный составитель был Боттигер (Böttiger), отсюда песня Боттигера в конце Пролога.

Чей это крик? Что за неистовство во мне?
Что там за парни, кто перечить смеет?
Как тривиальны вы! И как себя ведете!
Как вы дошли до этого несчастья,
Что все тенями стали в одночасье?
Того ли в жизни вам не доставало,
Что мучились вы в теле, и теперь
Стать душами хотите? Я не знаю,
Как быть мне! Где ж я буду сам?
Где преисподняя, та, древняя, теперь?
Не лает Цербер своей злою пастью,
Не вижу адского ни одного судьи.
Да, стало современным это царство!
Тантала нет, Сизифа, Данаид,
И колеса здесь нету Иксиона,
Излюбленного зрелища для многих!
Здесь пролегло пустынное пространство,
Вскружится голова — преодолеть
Участок сей, забыться лучше в Лете,
Ее водой упиться, и долой
Следы могущества Всевышнего! Теперь
Вещает человек, что во Вселенной
Такой нет моды, чтоб на ад она
Распространиться не могла! Но это
Проклятие, должно быть; мне занято
Скорее рассмотреть сей новый вид!
Эге! Харон! Харон! Ба! Я, пожалуй, славен?
Когда Вселенная меняется, то должен
Медведь к ней старый как-то применяться.
К тому же переправы через Стикс
Тут нет. Кто эти новшества устроил
Для дьявола? Они так негативны.
Ни к черту больше этот мир не годен!

Аристофан (*выходит и вытирает пот*).

Проклятая жара! Всегда одно и то же!
Так говорят, однако, те, кто скукой недоволен!
Огонь, как нам известно, это лучший
Из элементов. Но когда так долго
Огонь, огонь и лишь один огонь,
Одним из отвратительных открытий
Огонь бы я назвал. Все время кверху
Несчастный пламень изгибается, что силы,
Мечтая свой направить путь к верхнему миру,

В то время как при общем росте цен
Так мало древесины для горенья;
И вниз обратно гнет его судьба,
Усердно обращая на несчастных,
На тех, кто вел безнравственную жизнь,
Им посылая всякие проклятья,
Огнем их жжет и не жалеет дров.

Меркурий.

Ба! Дружище! Не это ли
Аристофан, тот старый, гнусный,
Который нас, богов, при жизни мучил,
Перемывал нам кости? Ты таким
Брюзжащим выглядишь и очень недовольным.
Как поживаешь, парень?

Аристофан.

Для моего же блага, всемерно образованный народ,
Что наслажденья ищет в шутках непристойных,
Которые для их же удовольствий выдумывал я,
Ты сам отчасти знаешь все, Меркурий, —
Они со мною поступили подло,
В ад поместили, прямо в жар и пламя,
Измучен, опозорен я, унижен
Гораздо ниже сукиного сына,
Кого одни шельмуют, а другие
Воруют у него, и записали
Едва не ниже тысячи распутных,
И должен им еще я исправляться!

Меркурий.

Кто же с тобой это все сделал?

Аристофан.

Вот это-то как раз и непонятно!
Явились новые какие-то тут боги,
Когда банкротами всех старых объявили,
И неспособными оплачивать кредиты.
Преглупые, святые существа,
И чистые, и ничего от старых
В них нет, ты понимаешь ли;
Смешно мне наблюдать,
Да и зачем тут нужно наблюдатье!
Молва о них идет по всему миру,
Как будто все они бессмертны! И теперь
Распространилась вера широко,
Размашисто в благоговении, в молитве,

В нытье и визгах, чтобы от того
Скорее брат наш получил чесотку.
Ах! Что меня всего скорее убивает
В моем несчастном наказании, так это
Отсутствие какой-либо надежды,
Я лишь могу кричать, взывать и плакать.

Меркурий.

Я сделаюсь как новый Прометей!¹

Аристофан.

Ну да — чего не скажут ради рифмы!

Меркурий.

Так я и говорю, не старый — новый,
И я писать хочу теперь, как новый
Аристофан.

Аристофан.

А кто же он такой,
Аристофан-то новый? И что только
С ним станется, когда я здесь сижу
И вынужденно обливаюсь потом?
Прежде всего, а в чем его работа,
Родившийся в эпоху благочестья,
Он на меня, как на пустое место,
Не смотрит ли?

Меркурий.

Все это эвфемизм.
Они так педантичны с именами.
Тобой метафорически прозвали
Из Веймара такого драматурга,
Как Фальк.

Аристофан.

Ага! Больные парни,
что вынуждены злиться на Вселенную,
которая здорова и прочна, пряма, стройна,
А желчи свои поиски слепые сатирой называют.
Да они давно глупы и с каждым днем все хуже
становятся?

Меркурий.

Эй! Эй! Какая ревность!
Можно мне поклясться, что ты —
Честь партии и клики, и он мог бы
тебе удар, однако, нанести.

¹ В «Записных книжках» Фалька за 1801. С. 167.

Аристофан

Что может это наглое создание против меня задумать?
Да хоть раз оно на уровень по хитрости достало
До Ганса Сакса честного? Да пошлых англичан
Он обирал и сам же не считал, что правильное это ремесло,
И если так везло ему, как вору, то не по той причине ли, что он
Всегда лишь ловит вшей?¹ Короче, неприличную мы эту
Дискуссию зачем сейчас ведем?

Меркурий.

Так вы не против неприличного?

Аристофан.

О, ты мне удовольствие доставь,
Не становись глупцом! Не вынуждай тебя
к ним причислять. И не берись судить,
а лучше объясни мне, как тебя я нашел тут.

Меркурий.

Если я тебе сказать об этом должен, сам не знаю,
Как я сюда пришел. Как будто пробудился
От сна глубокого, меня влекло, и я задумался,
Потягивался, шапку свою надел, взял в руки кадуцей,
За двери вышел. Мимо проходили тут парни,
Мне они нахально вручили свои души,
И за мной толпой бежали, и кричали громко,
Я для успокоения хотел их
Тотчас же в Преисподнюю снести.
Я шел своим обычным шагом, и
Нашел здесь все так странно измененным;
Так мы и встретились, и состоялась наша
Забава.

Аристофан.

Эти души что ли?

Меркурий.

Как говорите вы!

Аристофан.

Они, как паутина,
Один другого плесневей, грибнее,
И выглядят как брошенная утварь
Домашняя, уж старая. Хватило б
сообществу мужей ученых-
естествоиспытателей работы
их чистить и сортировать. А этот,

¹ «Лаузнада. Героическая поэма в пяти песнях, перевод с английского Петера Пиндара» в «Записных книжках» Фалька за 1801. С. 1.

Аристофан твой новый,
Тоже с ними?

Меркурий.

Не знаю! Но зачем так плохо
О нем ты говоришь? Это серьезность
Твоя или особая пикантность?

Аристофан.

Тебя не узнаю совсем я, плут
Божественный, интриг изобретатель,
Коварное ты вечно замышляешь!
Со мною как ты обошелся, с высочайшим
Презрением. Ты часом к вере новой
Не обратился? Будь самим собою,
Улучшишься, но отработал ты
То нечестивое когда-то поведенье?
Не стал ли ты из плута только Фальком,
Обманщиком?

Меркурий.

Кто нос совал в нектар,
И пил однажды амброзию, дитя мое,
Тот жизнь уже всю знает, и живет
Такой лишь в вечности, и не бывает
Червям он пищей. Он имеет панцирь
От радости, несет обиду в сердце,
Не чувствует он жалости, и чем
В себя уходит глубже он, тем больше
В себе он обнаруживает радость,
Любовь к поступкам злым. Мы боги
Все таковы; поэтому, безумный,
Меня ты уважай, и тотчас шапку
Сними.

Аристофан.

Вот эти речи,
каких недоставало мне так долго,
вот эта прошлогодняя вода
и пища старая!

Меркурий.

Когда я вопрошаю,
Ты отвечай. Совсем уж заскучал
И стал проклятием для болтунов
И слишком умных. Что мне
За дело до разборок в внешнем мире?
Мирская ваша суета, ваши уловки,
Мошенничество ваше, и бренчанье,

И музицирование, с церковных кафедр
Потоки красноречия, — они
Не по моей все больше части! Мне известны
Все функции, и потому, как я,
Усовершенствоваться может каждый,
Вот почему я перевозчиком служу
Для душ.

Аристофан.

И это, верно, мифологическая пьеска,
И впервые ее могли бы Шлегели представить;
Начнут, чтоб не наделать много шума, помягче.

Меркурий.

Но вы видали эти тени! Как они
Буквально понимают это слово,
Не ведают, что греческие тени
Еще в своих находятся телах,
Нет ничего у этих бестий, иль вернее,
У этих бестинят, в их потрохах
Пустых, кроме тоски презренной
По отдыху; при этом светят в них
Сквозь ребуху прозрачную порывы
К подвижности, нитью и улучшенью!

Аристофан.

К тому это ведет, что они станут
Так хорошо воспитаны, так мило,
Побой презирают, никогда
Не знают, изобилие какое идей,
Какая ощущений мощь сокрыта
В стихе дозревшем белом, спелом;
Вечно они с собою носятся к тому же,
И не гальванизировали в жизни.
Теперь должны вступить они туда,
Где неземное все, и там тащиться
К проклятью ли, к блаженству, —
Не знают, не узнают, и чего
манерами хорошими добьются.
Что эти невесомые младенцы
Начать должны здесь? Посмотри,
Как все они носы наверх задрали,
Выведывают что-то о своем
Существованье прежнем!

Первая тень.

Показалось,
Немного здесь культурою запахло!

Вторая тень.

Едва ли то была библиотека
Для чтения!

Третья тень.

Здесь нужно
Музей построить! Я отлично знаю,
Как это сделать; только нам придется
Здесь пару поместить шкафов; а там читатель,
коль таковой окажется, пусть сядет.

Четвертая тень.

Наверное, тут можно, как в Париже
И Лондоне, последние известья
Из будущего получать, с карикатурой,
С картинками приклеенными. Ах,
Помещено всегда в них много шуток;
И если этот остроумный человек немного
Расшевелит нас, будем очень рады.
Впервые сможем ощутить мы это
По-настоящему!

Первая тень.

И только те, кому
Чутье дано тончайшее!

Большинство.

Меркурий,
Будьте любезны, выньте нас отсюда,
Войдите же вы в наше положенье,
И проявите к нам вы состраданье,
Доставьте нас уже в конечный пункт.

Меркурий. Вы только послушайте!

Аристофан. Знает ли кто из вас Фалька?

Первая тень. Великий гений! Семи пядей во лбу и першеголял
Аристофана!¹

Меркурий.

Ну как тебе, любезный? Корчишь рожу?
Ты корчишься от колик?

Аристофан.

Нет и нет!
О нет; я это чувствую! Проклятье!
Приходит наказание мое!
Теперь огонь сей адский, все замечания
И проповеди все, чтоб я покаялся
Мне были сладкой пищей

¹ Так отрекомендовал Фалька Виланд.

В сравнении с тем испытанием, что вся
Душа моя и тело пережили сейчас.
Ах, пощади меня, дух мщенья,
Ну что мучаешь меня и рвешь на части?

Меркурий.

Не вижу ничего я, ты же гредишь!

Аристофан.

Невидимые силы надо мною!
Ну, говоря по правде, современность,
Конечно, далеко ушла; как мне
Гуманно было во всем теле,
Как сморщенно, сконфуженно, уютно,
Чудовищно! О, где осталась ясность,
Терпимость и гетеродоксия, в желудок
Которые прийти должны без зова?..
Ах, да, теперь я это знаю!
О, как нечеловечна, и безбожна,
И нечестива эта месть, теперь я
Причины мук своих великих знаю.

Меркурий.

Могу сказать на это — ты объелся;
Прими слабительное, и тебя отпустит.

Аристофан.

Не то, но очень я внутри разгневан!
И зреет покаянье в том, что сделал.
Вот видишь, в самом деле надо было
Обосновать питомник новый для сатиры,
Древесный. Я слышал от новичков,
Что тут недавно прибыли, об этом.
Тут парень был, о ком мы говорили,
Который начал новшества вводить,
И ускорять ход пьесы, Лукиана
С Горацием хотел он изучить,
Им подражать, и даже упростить,
И начал так комедии мои
Прочитывать, а я сию спокойно
В своем проклятом пламени! Вот так,
Как ты сказал! И понимай меня буквально,
Иль лучше, чтобы шкуру у тебя
Похитили, а после называли
Ее Аристофаном! Но не это
Меня так раздражает. Вдруг случилось

От одного мне человека предложение,
Который когда-то набожным был,
И молился, пел, печатался исправно,
От Бога многими дарами наделен,
Что было сделано ему же во спасенье,
И вот внезапно он переменялся,
Как пиво, что от духоты скисает,
И оттого сомнительный вдруг вкус
Он получил — а как, нельзя сказать
Доподлинно, — короче от него,
От этого французского жаркого,
Сырого, непрожаренного блюда,
Которое еще внутри имеет
Начинку христианскую, пришло
Мне предложение стать в самом деле Фальком,
И этим облегчить свое проклятье.
Так, говорит он, я приближусь к цели.
Однако, что за цель! Нет, я отверг его,
И с этих пор, как слышал я, поклялся
Сей человек припомнить мне при жизни
Своей отказ мой. И по старой дружбе,
И из любви, конечно, христианской
Ему уступку сделали большую,
Чтобы меня так жалко ощипать.

Ангел или курьер *(входит с речью)*.

Ты перенес уже все муки ада,
Теперь от этих пламенных оков
Освобожден ты будешь. Боль утихла,
Уже сиянье радостное близко,
Уверенно иди на вечный отдых.
Из-за твоих провинностей столько тяжких
Тебе пришлось довольно больно, бедный.
Теперь пришла надежда, утешенье,
И помощь!

Аристофан.

Но скажите мне, курьер,
Что это было и зачем меня
В конце так хорошенько пощипали?

Ангел.

Теперь, когда дни радости настали,
Могу тебе сказать. Тот человек,
Кого упоминал ты изначально,

Тебя великолепно перевел¹,
И худшее, что только унижало
Тебя, высмеивало только,
Он так преувеличил, что тебя
И вовсе уничтожил, на весь мир
Он громко обвинил тебя в разврате,
Нахально объявил, что грешник ты.

Аристофан.

О этот! Этот! — ну, адью, Меркурий,
Свободную страну теперь я вижу!
Но ах! Что за страна! (*Уходит с курьером.*)

Меркурий.

Они его
Довольно скоро поместят обратно;
Но дальше мне идти, однако, надо;
Меня таким же образом примерно
За промедленье могут наказать!

Тени. Меркурий! Меркурий!

Меркурий. Чего кричат малютки?

Тени. О нас еще не позаботились!

Меркурий.

Какое до меня вам дело? Идите к черту!
Он защитник ваш новейший
И друг ваш. Но что вижу я? Лежит
Большая бочка, и кругом так много тины,
Харона нет, сюда мы первыми пришли!

Бочар появляется из бочки.

Бочар.

Кто будете такой, мой господин?
Я только что лег отдохнуть и видел
Сон странный про Меркурия и прочих
Вещах, но я теперь проснулся.
Ты только погляди, мой друг! Гермеса
Я вижу атрибут, такой же странный,
Как старые рисунки; он довольно
Хорош для маскарада! Если вы
Побеспокоили меня, то будем вас
Встречать мы по костюму. Что внутри вас?

Меркурий.

Тени!

¹ Виланд, «Новый немецкий Меркурий», 1794, II, 350; III, 3, и «Аттический музей» (Attisches Museum), II, 1 и далее.

Бочар.

Разве
Нет переносчика для душ? Войдите
в мое вы положение, это мне
простительно, ведь это основное
занятие мое.

Меркурий.

Охотно
прощаю вас, что не в моих привычках.
Мир сильно изменился. (*Уходит.*)

Бочар.

Друзья мои, со мной идите, души,
Ведь новый я Меркурий!
Все вовнутрь, в одну большую тень!

Он залезает в бочку и поет песню бочара.

Бочар, бочар, бум, бум, бум,
Который охотно принимает, что он уже так
глуп.
Придите, отчаявшиеся,
Обвиненные,
Направьтесь ко мне! И дик, дек, дак,
Выходите в печать;
В дрянь, драк, друк, дрянь, драк, друк!

Первый акт

Ад

Сатана (*глубоко задумавшись, расхаживает взад и вперед*).

Я за собой не замечал такого,
Так яростно во мне растет и гнев,
И раздраженье, начинаю я
Все это государство ненавидеть за гнев свой.
Внутренне ругаюсь, ведь вынужден я к этому,
Ведь целыми я днями только вижу
Развал всё больший; целое уже
Дешевле стоит, чем пустой орех.
Не помогают ни увещеванья, ни разговоры,
Ни дела. Друг друга сами
Старые силы потопили, меч затуплен,
Не колет больше жало. Я едва
Узнать могу и пламя, что так дерзко

Горело прежде, и былую ярость,
Которая в своем великом гневе
Вселенную когда-то изнуряла,
Так что все черти плавали в блаженстве,
Ад весело приумножался, и горело
Искристо золотое в огня сиянье ярком.
То старик был, который Брута поучал.
Вот так бы ремесло свое знал каждый,
И верность долгу, так бы его сердце
Наполнилось и мужеством и злобой,
Чтоб всеми силами он чуял боязливых.
Придет еще высокая работа,
Чтоб только небо сильно не сердилось.
Сегодняшние черти — жалкий сыр,
И глупыми не думают рогами,
Весь адский дух из них поиспарился,
Заплесневел, и это государство
Не стоит трех гнилых, прокисших груш.
Я должен констатировать, оно
Еще живет и тысячами тысяч
Кишит прислуги, паразитов тех,
Которые, сплетаясь, грызутся
Между собой. Что крику тут и шуму!
Ужасный вдруг устраивают вой,
И думают всем этим отличиться.
Увы, однако, это все пустое.
Кроме того, ведь было к людям уваженье,
Ведь дьявол, Сатана когда-то были
Такими именами, от которых
Когда-то бед уж натерпелись люди.
Вот ада семя благородное растет,
Из соблазненных, тех, кто отдал душу
Когда-то дьяволу, но прежде это были
Приличные юнцы, но опустились.
И мимо них прошла когда-то юность,
И это государство закоснеет,
Окаменеет и заглохнут лавы
Те пламенные. К этому все знаки,
Я думаю, уже наступит скоро
Тот гнусный час, в который должен нам
Явиться день новейший. А сейчас
Вселенная живет в союзе с адом,
Как только это нас совсем разрушит,

То нанесет глубокую нам рану!
Сейчас уже не действены соблазны,
Ведь преданна Вселенная союзу,
И даже больше, чем нам это нужно.
Она имеет адские размеры,
Поэтому она так сгущена,
Что выглядит огромною, но в целом
Не более она, чем до того
Могла казаться; потому и наше
Сообщество вполне разделено.
Все разбрелись и дела никакого
Решать не в силах, скоро гениальность
Себя и вовсе может подавить.
На очаге своем готовит каждый
Себе отдельно, все слабее наши силы,
Почти уже исчерпано и масло,
Которое питает нас, и дух
Наш адский сморщился, как будто
Он умирать уже совсем собрался.

*Черти собираются, Мефистофель, Глухарь, Упрямец, Гений Глупости,
Желчный и другие.*

Мефистофель.

Из-под бровей глядишь ты так сердито,
Случилось что-то доброе, святое?

Глухарь.

Могу я почесать тебе за ухом,
Что в голове твоей засело тебя мучить?

Упрямец.

Для удовольствия, как кошка, помяучу,
Шутливый танец с прибаутками устрою.

Желчный.

Всех задавлю своим тут богохульством,
Так, что покинет логово свое твоя сердитость.

Сатана.

Жалчайшие придворные, заткнитесь,
Вы выше скачете, чем пламя
Той ярости, что у меня внутри!
Из скорлупы сей выводок пробился,
Я вижу, вот стоят вокруг они,
Чудовища угрюмые, я слышу
Их голоса, они сейчас резки,
Хотя обычно были так любимы.

Никто так моему не дорог сердцу
Сейчас. Вы сморщенные, жалкие,
Вы глупыши, которые, как басню,
Могущество мне древнее являют.

Так слушайте же, звери, размышляйте!
Куда должна вести в итоге мерзость?
Ад с ангелами должен ведь бороться.
Не может больше это государство
Собою управлять. Рассудок свой,
Все силы, шутки можете повесить
На гвоздь, между собой смешались черти,
Сама себя перехитрила глупость,
Сама себя столкнула пропасть в пропасть!

Лишь глубиною это выйдет пропасть.
Стремятся в глубину нас затолкать,
И силы разбудить, что спят внутри нас,
Вот это нас и сделает чертями!
Сейчас же глубина так мелководна,
И черти при последнем издыханье,
Теперь у нас нет выбора иного,
И пошлыми, как этот мир, мы станем.
Так, дьявола же ради, образумьтесь,
Глядите, ведь нельзя, чтоб долго
Такое продолжалось! Повсеместно
Сегодня глупость задает свой тон.
Нельзя позволить своему обвалу
Продолжиться, никто и не позволит.
И я предвижу, что в конечном счете
Вселенная продолжит непреклонно
Свои заборы строить, чтоб с младых
Уже ногтей все были милосердны.

Тогда адью, все наше государство,
И дьявол, и огонь, затем сама
Погаснет тьма, и небо, и земля,
И ад таким же образом погаснет,
И старого не будет дома смерти.
Обдумайте же, бестии, такую
Вы выходку проклятую, от лени
Своей вы отучитесь, не жалейте
О мелочных теперь своих заботах,
Начните свои старые занятия!

Упрямец.

Не так уж это плохо, господин наш,
Ведь я уже вошел примерно в возраст,
Когда дела такие совершают,
Имел различных много испытаний,
Но думать я не мог, что день настанет
Такой. У вас сейчас причуды
Такие априорные, идеи, идеализм,
Возьмитесь же за ум, одумайтесь,
Тогда и будет видно вам заблуждение ваше.

Сатана.

Ты отродье, которое я произвел так глупо,
Заткнись и больше глупыми речами не раздражай меня!

Упрямец (*в сторону*). Он экзальтирован и в самом деле чуть ли не софист.

Глухарь.

Ах, дорогой, иди уже к себе; помилосердствуй!
Кто вскакивает так! Кто же так сердится!
Какой тут гуманизм! Один лишь лозунг,
Красивое словцо, уже давно изобретенное.
Тут процитирован наш старый добрый дьявол!
Как негуманно, уничтожить нас хотят!
Живите сами, и другим жить дайте,
И вспомните теперь о вечном духе;
Прокказники суть только все иные.

Сатана.

О, злоба, злоба! Глупость страшная! Мое
Должно от ужаса тут разорваться сердце!
Не вспоминайте больше старых тех времен,
Ни о былой серьезной чертовщине,
Все только куча ветоши, и все
Лишь мусор стало то, что прежде было!

Желчный.

Верно!
Побогохульствуй славно, и уж это польза!
То время, ах какое было время! Проклятое!
И эти знаки ваши! Вселенная ведь хочет думать!¹
Наш господин хватил тут через край,
Так юноши лишь могут поступать!
Несчастное какое это время! Вселенная кипит,
И вся она так экзальтирована, и шумит,
Упрянца никто не слушает.

¹ Намек на «Сатиры на время» Фалька. (Примеч. немецкого издателя)

Упрямец.

Но все равно ты, Желчный, мой лучший друг.

Желчный.

Да друг, и — о, я не могу ни слова
От бешенства и дружбы молвить — вот
Тебе моя рука! И, дорогой мой,
Прими теперь мой братский поцелуй,
Вселенная свидетелем путь будет! Мы так глупы.

Обнимаются.

Мефистофель.

Ты только на парней взгляни, могучий повелитель!
И гнев умерь свой, ты же знаешь, что в итоге
По собственной вине погибнет наше государство.
Распространенью радуемся мы того,
Что постепенно нам внимает
Вселенная, и землю отдает на откуп нам;
Но вот забыли мы, что в глубине
Должны ослабевать из-за того
Все силы духа. Это происходит,
И к этому привыкнуть должен ты.

Сатана.

Само собой приходит это, что
Могу поделаться я? Сопротивленья нету
И внешний мир становится таким же,
Как преисподняя, и весь он только адский,
Поэтому и наша власть владенья расширила свои.
Как только злато с пылью золотом перестает сражаться,
Так что больше не чувствуешь ты соержанья, веса,
То самый ад становится скелетом, у каждого имеется все то,
На что ни у кого нет права.

Много маленьких дьяволов входят с книжками в руках;

Простофиля скачет среди них.

Один молодой черт. Папа! Папа! Простофиля не оставил нам
никакого удовольствия!

Сатана. Чего вы хотите, неугомонные озорники? Оставьте меня
в покое, я уже достаточно раздражен!

Глухарь. Оставьте его, дорогие дети; папа сегодня не в добром
настроении. Не раздражайте его еще больше.

Мефистофель. Чем же вы заняты, дети?

Глухарь. Я, господин Министр, с вашего доброго позволения
учредил маленькую библиотеку хороших и нужных сочинений, чтобы
молодые парни придали себе образования и гуманности.

Мефистофель. Это возможно?

Глухарь. Я и Упрямец употребляем много трудов и размышлений на это, пока это не осуществится.

Упрямец. А тут вот Простофиля, самый юный, любопытный черт, который не дает детям учиться в труде и покое!

Простофиля. Они читают неправильные вещи, они не истинной высоты.

Глухарь. Эй, малыш, они достаточно хорошо читают, но он чрезмерно раздражается. Тут есть такие, кто превосходно читает «Письма способствующие гуманности» («Briefen zur Beförderung der Humanität»), и страницу за страницей переворачивают совершенно добровольно; но из ребенка ничего не получится, если Он, Гений, все листы разрывает, пачкает страницы, рисует на листах ослиные уши и тому подобное озорство, что также более бессердечно, чем по-свински выходит!

Желчный. Добавляете ли вы к этому, коллеги, также мою критику, чтобы парни должным образом усваивали то, что они читают?

Упрямец. Есть совершенно обыкновенный круг, понимающий меня, устоявшийся, в котором ваши превосходные журналы всегда ходят по кругу, и обратно, и еще раз по кругу, от первого к последнему, что выглядит мило.

Сатана (*выходя из себя*). В жизни я что-то подобное видел! Что? Вы и теперь еще читаете? Что у тебя в руках, продувная бестия?

Младший чертенок (*подает Сатане титульный лист*). «Жизнь Фауста» Клингера, из которой я охотно выучу, как быть подающим надежды чертом.

Другой чертенок. Я читаю сейчас в утренние часы «Фауст на Востоке» («Faust der Morgenländer»)¹.

Третий чертенок. Речь идет о нашем старом Фаусте, который там внутри сидит и приятно обжигает; у нас в библиотеке для чтения более пятнадцати книг об этом.

Четвертый чертенок. Только, кажется, это слишком притянуто за уши.

Сатана. И поэтому вы хотите учиться: быть чертями?

Все. Да!

Сатана. Только посмотри, Мефистофель, стыд и срам нам от них!

Мефистофель (*отбирает у одного чертенка книгу и дает ему оплеуху*). Глупый юнец, как ты можешь осмеливаться читать эту книгу?

Глухарь. Зачем ты его ударил? Или, может быть, это непристойно и неприлично? Это его до такой степени развратило, что нам нужно вслед за этим очистительное опровержение.

Мефистофель. Иди, дурак! Это тот Фауст, тот самый, в котором меня изобразили, чего вы, сброд, не понимаете!

¹ Тоже Клингера.

Сатана. Положи обратно эту книгу! Эти вшивые парни как будто бы не глупцы, читают о дьяволе правдивую поэму! Вот, они хотят подражать ей, и, кроме того, это прежде всего плачевно.

Простофиля. Хорошая книга, о Мефистофеле, который так верно представлен! В ней внутри сказано так много! Жаль, что остался только фрагмент!

Глухарь. Этого было бы достаточно, только как-то слишком гениально. Он совсем не имеет никакого смысла для серьезных.

Упрямец. Он имеет прекрасные задатки для глупости, но он выбирает противоположный путь, окольный путь; несомненно, однажды он придет к цели, но я боюсь, я боюсь, что он себе самому делает свое образование очень кислым.

Простофиля. Вы стары и еще мыслите категориями прежнего времени, поэтому не улавливаете никакого смысла в высоком новом времени, которое сейчас подхватило ваши начинания, для того чтобы стать более гениальным для новой поэзии и новейшей религии.

Все (*выкрикивают*). Религии!

Простофиля. Да, да, не притворяйтесь так, не мычите так напряженно! Это не может и не должно быть иначе. Ах и особенно прекрасная католическая религия! Это...

Мефистофель. Но правда с этого распространится еще дальше, как только когда-либо с абaddonического Абaddonны! Подобный дьявол мне до сих пор еще на глаза не попадался.

Простофиля. Поэтому я более всего люблю как раз святую Геновеву, ведь там это представлено нежнее всего, правдивее всего и чище всего. О, это так мило, так изяшно!

Упрямец. Тут ты идешь своим широким ложным путем! И самое худшее, на него у нашего брата совсем нет никакого влияния, потому что он считает себя таким умным и знатным.

Простофиля. Этого автора я особенно изучал, и я думаю, что он меня в новое время совершенно размочить должен. Также Люцинда понравилась мне. Тут еще изысканная книга Людвига Тика, в которой Вселенная поет и разговаривает, вплоть до стола и стула¹ совершенно в новом роде.

Глухарь (*хватает книгу*). «Принц Цербино», продолжение «Кота в сапогах». Ага, этот! Эй, этого не должно быть ни в какой библиотеке для чтения! Как эта контрабанда попала в твои руки?

Простофиля. Я сам так отдался его творениям, что стал по своей воле подчеркивать голубым карандашом самые замечательные места. Только взгляните сюда, дорогой папа, ты тоже выведен в «Цербино», но немного иначе изображен, чем тебя обычно набрасывают; раздраженный, скучный и совсем немного наивный. В соответствии с этим я мощно образуюсь и стану поэтому умнее, чем ты сам.

¹ Выдержка из позорной рецензии на «Цербино» в «Новой всеобщей немецкой библиотеке» (Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek), 1800, LV, 146.

Сатана (*читает книгу*). Испытывал ли кто нечто подобное? Обо мне самом сделали они так, что мне уже смешно! Они чертят меня (как же должен я выразиться?) заслужившим лавры из страшных локонов! Ай да дьявол, они меня трактуют романтически и навязали мне свою мистическую речь!

Как глубоко ты, Сатана, вошел в их жизнь!
И надо ли уже нам на бумаге
Тебя растиражировать? Куда,
Куда должно вести все это злодеянье,
Так нагло совершенное одним
Тем главарем мерзавцев? И сидят,
Вместо того, чтоб важничать и прямо
Заважничать-таки, и лихо цитировать
должны себя все действующие лица,
и именем моим меня срамить.
Пишу я против этого одно:
Все это ложь и выдумка! Однако
От этого мне радости не много.
Чему свидетельство пословица, гласит
Она, мол, насквозь лживый!
И издеваются они, чтобы другие
Смеялись над всем этим. Что ж поделать
С спектаклем этим? Ах, увы, увы!
Я только не могу найти покоя.
И пусть же он тогда наказан будет
За все грехи свои!

Мефистофель (*про себя*).

Ох, не могу
Себя я побороть, и дольше глупость слушать;
Хочу совсем порвать все связи с Сатаной.

Пробирается к выходу.

Упрямец. Вы хотите быть праведным, господин главный черт?

Сатана. Да, праведным, праведным, как бы то ни было!

Упрямец. Подождите немного; я уже догадался. Да, это действие искусства, правильным образом отомстить, без того чтобы просчитаться. Как это — да — и так это правильно! Я хочу спрятаться в Берлине за спиной моего тезки: прекрасный, старый человек, и довольно расплывчатый к тому же, который должен — как же это называется? — представить критика или антикиовца против этого Тика, как будто Тик-война, где он его опровергает, в чудесной «Немецкой Библиотеке» («Deutschen Bibliothek»). Он должен его упрекнуть за «Кота в сапогах» (чем я и вдохновлен, ведь я имею в его тело выход и вход) и утверждать, что составитель много о себе возом-

нил, этот Кот — шекспировский¹. Не правда ли, это хорошо? Это должно его разозлить, и он будет пристыжен.

Сатана. Это очень глупо, до этого ему нет никакого дела.

Упрямец. Скверно! Так, значит, должен берлинский ученый и дальше двигаться, и делать свои рецензии, нечто многословное, искажать вещи, забавлять, до тех пор вокруг горы ходить с глупостью, пока не узнают, это простодушие, ложь или шутка.

Сатана. Я тебе говорю, это не произведет впечатления!

Упрямец. Никакого? Нельзя же, чтобы к автору невозможно было подступить, Желчный?

Желчный. Я все усилия приложу, чтобы он от лжи и мерзости разозлился, я господину Зольтау закажу вестник², который содержит нечто похожее.

Простофиля. Мой покровитель тоже против этого воюет, он такое перетряхивает.

Упрямец. Мне пришла одна мысль! У меня же в Веймаре сидит Фальк с его шутками, который может найти им применение в одной книжечке, и верхом на своем коте в медной гравюре вырежет.

Сатана. Он слишком банальный, эта чудесная голова. Это делу не поможет!

Упрямец. Вот я его! Прекрасно, я размещу в «Йенской литературной газете» один пространный и порядочно хвалебный отрывок (скажем отрывок) из этого самого «Цербино»!³

Сатана. Это нечто! Это его немного испугает. А лучше всего я, к тому же, сделаю; я попробую ему, чтобы он сам почувствовал облегчение, составить книжку для друзей шутки и сатиры, чтобы, если это вообще возможно, даже в ней были медные гравюры. Его авторитет в самом деле упадет, как только он напишет для друзей шутки и сатиры⁴, таким образом я отомщу ему за преступление против меня.

Желчный. Он вас, может быть, снова там проституирует?⁵ Совсе не так важно разыграть его этим! Не говорите же о нем так много; он вообще не достоин слова! По разным основаниям, я говорю вам, нужно отнестись к нему с пренебрежением, нужно объединиться, иначе они много вообразят о себе еще после подобного преследования! Хочу я написать толстую книгу против Вселенной, против этой клики! Но — писк! Нет слова, как если бы в мире не было слов! Никаких замечаний об этом!

Упрямец (*обращаясь к Сатане*). Этот старик простодушен.

¹ В извещении о «Народных сказках» Петера Леберехта, 1798, XXXVIII, 439, этот упрек не нашелся.

² Против перевода «Дона Кихота» Людвиг Тика в «Йенской литературной газете» (*Jenaeer Literaturzeitung*), 1800, интеллектуальный листок № 179.

³ «Йенская литературная газета», 1800, № 320, 321.

⁴ См. раздел Комментарий.

⁵ То есть будет использовать там ваш образ. (Примечание переводчика).

Сатана. Да? Ты действительно так считаешь? Аккуратны же парни, которых я держу у себя на службе!

Глухарь. Что бы ты с вниманием прочитал, сын мой?

Совсем юный чертенок. Дьявола, каким он должен быть.

Глухарь. Твоя фантазия не сильно напряжена, дорогое дитя; во всех этих книгах одни преувеличения, потому что составитель не знает реального мира. Вот у тебя есть шиллинг, за который ты купишь книгу, какая тебе нужна, под названием «Дьявол, каким он должен быть», и снова приведешь себя в порядок, иначе станешь ты непригодным и ненужным обывателем.

Маленький чертенок идет к старьевщику и покупает.

Простофиля (*кланяясь Сатане*).

Об одолжении прошу, не откажите

Мне в нем, мой вездесущий повелитель.

Сатана. Короче объяви, что тебе полезного сказать.

Простофиля.

Ты с давних пор тут жалуешься нам,
С тобой скорбит все наше государство,
Что больше здесь внизу ни одного
Нет духа твердого, который мог бы
Вниманья стоить и снискал бы славы,
Надземных обольстить бы мог, обман
Сплошной бы сеял и искусство обольщенья.
Вся преисподняя становится банкротом,
За двести лет не поднимался ни один,
чтобы свой талант там испытать.
Так мне позволь разок наверх
Сходить, на краткое мгновенье,
Чтоб нашу честь вселенскую я мог
Восстановить, и все мы будем рады.

Сатана.

И ты хотел бы снова роль исполнить,
Ту, старую, которую сыграл,
И с превеликой честью, Мефистофель?
Исполнить снова? Книжный червь,
Поэт наполовину и младенец?

Простофиля.

Лишь это подкрепляет мое сердце, наукою,
Познаниями меня обогащает. То лишь мелочь
Мне представлялось раньше — взять всю землю,
Как есть она в своем обычном виде,
И в год один ее всю совратить,

Чтобы души, те, которые рождаются
Приходят на нее, еще недавно живые,
Умножали пламя зеленое, в оттенках красных, желтых,
Звучал бы только шелест оживленный
Тогда по преисподней, ведь сейчас
Лишь в торф и уголь переходят духи,
Лежат лениво около печей,
Никчемные, ленивые, ведь больше
Нет проклиняющих.

Сатана.

Ну, я тебе даю
Такое разрешение, чтобы выйти;
Однако, ты так хвастался, и даже
Так издевался надо мной, и пасквиль
Хвалил, что напечатан на меня,
Что, если чести новой службой не добудешь,
То тяжелейше ты наказан будешь.

Простофиля.

Коль не доставлю преисподней блеск и славу,
Охотно покорюсь любому наказанью.

КАЙЗЕР ОКТАВИАН

Комедия в двух частях

Пролог

Звуки труб. Толпа воинов пробирается сквозь лес.

Хор. Встань, храбрая дружина, и следуй за звуками трубы! Нас ведут отсюда неудержимо трубы, строй знамен пламенеет впереди, эхо в лесу — сладостная весна, — сердце ведет нас вперед в лесу.

Рыцарь. Как вольно вздымается грудь, как радостно бьется сердце, когда они чувствуют себя под броней! Солнце сияет золотом, вперед, где ты, враг? Ты слышишь звуки ликования? Ты видишь радостные полчища, которые идут против тебя, которые, шествуя в блеске, скоро настигнут тебя, беглеца, в лесу.

Проходит мимо.

Вереница пастухов и пастушек, танцующих и поющих, с флейтами и свирелями.

Пастухи. Майский праздник начался, майское дерево оделось зеленью, украсилось листочками. Как вздыхают все мальчишки: о, пусть явится Май, чтобы мы золотые дары могли бы получить обратно! Приди вновь, сияние солнца! Снова хлыньте, ручьи, на зеленые лужайки, снова запойте, птицы, в лесу.

Пастушки. Смотрите, он пришел, золотистый бычок, Май, все дышит теплом, лед исчез, пажити помолодели. Он всё нам возвратил, уже звучат весенние песни, прохладные ручейки журчат, сбегая с холма, птички обмениваются тысячами мелодий, золотистые цветы распускаются в лесу.

Объединенный хор. Зима убегает, как тень, покидая землю, теперь цветет зеленый росток, теперь видно на лугах, в прохладной тени лесов, как летают птицы, как дикие животные гоняются друг за другом и спариваются в порыве любви. Здравствуй, прелестный Май! Любовь — твоя забава, когда я чувствую весну и мое чувство любви обновляется, пусть храм любви воздвигнется в лесу.

Поэт (*выходит*). Страстно томится мое сердце, влекомое в свежий зеленый лес, вновь выросшая трава напоена ручьем, цветы любят себя в прозрачных волнах. Свод небес сияет, как голубой кристалл, стремясь с любовью снизойти к цветущей земле, солнце показывает себя, чтобы мир подумал, что оно, целуя, вскормило грудью цветы, растения сияют, волны смеются, бодрые животные движутся прыжками, птица поет о том, как листва зажглась изумрудом. Когда звери, воды, цветы, поля пробуждаются, пусть и человек возвышает свой голос, пусть поэт возвещает миру небесную радость.

Хор (с одной стороны, с трубами, как бы издалека). Сердце ведет нас вперед в лесу.

Хор (с другой стороны, с флейтами, вдалеке). Пусть храм любви воздвигнется в лесу.

Поэт. Лес живет своими чудесными наречиями, флейты поют, звуки труб громко ободряют хлопочущих пташек, звучит приветствие и весне, и мужеству. Там развеваются флаги доблести, в сверкающей меди движется масса воинов, здесь пастушеский хор распевает песнь любви, и флейты, рожки и лес звучат как одно целое. Там льется благоухание деревьев и распустившихся цветов, лес полыхает изумрудным пламенем, и духи играют среди ветвей, здесь поэзия блаженствует в покое, поэт берет свою золотую лиру, чтобы воспеть солнце, волнующее его сердце. Послушай эхо в долине внизу — внизу! И ветви деревьев наверху — наверху! Прежнее время проникает в мою душу — душу, ощути блаженные часы — часы, в моем сердце; побеждают меня — ланиты и сладостные уста, грудь, локоны — локоны, чувство, пробуждающее томление — почувствуй!

Влюбленный (*входит*). Здесь ручей, зеленеющие кусты, где однажды, в свежести прекрасного утра, ах, там, где с моей полной блаженства рукой соединилась в рукопожатии рука самая волнующая, — Пастушка выказала мне свою милость. Все вожелания, все сны, были отныне утолены, желания были исполнены, радостно шумели зеленые деревья. Я отправляюсь искать следы бывшего, всё говорит мне о счастье, то время возвращается ко мне, могло ли оно так быстро исчезнуть? Ах, что за сладостные часы, когда наши взгляды узнавали друг друга, наши сердца легко воспламенялись, и поцелуй встречал поцелуй. Каждая весна говорит мне снова, как я блажен был однажды, поэтому я не могу наслаждаться весной, и мои глаза опускаются долу. Приходит осень — я становлюсь уверенным, приходит зима — я смотрю, как сияет многообразная красота целого, и единственная забывается. Но когда распускаются цветы, когда поет соловей, это снова берет надо мной верх, я искупаю тяжкое прегрешение. Лейтесь, лейтесь, верные слезы, сердце, умирай в глубоком изнеможении, глаза, лучше бы вас охватил мрак, жизнь, уходи прочь в томлении.

Паломница (*входит*). Что было сегодня, исчезнет завтра, не зная отдыха, часы жизни сменяют друг друга, Фортуна изменчиво пробегает по миру, и не знает где, не знает, когда она достанется кому-нибудь, она играет со скипетрами, величием и коронами, слепо вторгается туда, где только живут люди, ее сопровождают Несчастье и Горе, Слезы и Смех, составляя ее штат придворных, ей мало горя, кто обьят скорбью, а кто в выигрыше, она появляется и убегает, торопясь дальше, как ветер. Всегда бродя и не находя покоя, она уходит прочь, не зная куда, блуждание и изменчивость — ее смысл. Она делает всё только вслепую. Она сеет с громким смехом, не замечая всходов, несущих слезы, и скорбь, пусть запоздалую, она с радостью различает за горделивым счастьем. Я вижу это на всех зем-

ных путях, и, оставляя лживый мир, и ненавидя деву-фортуна, я отправляюсь в странствие к моему приюту.

Поэт. По равнине неба тянутся розовые облака, озаренные лучами вечернего солнца, видно сейчас, как они сияют светлым огнем, и как они образуют диковинные картины: так часто герои и их подвиги цветут, рождаясь из золотой скорлупы времени, и, украсив мир наилучшим образом, они улетают, как облака, и с ними недолгие восторги. Что этот летучий блеск мог бы означать, картины, преследующие друг друга, сияющие образы, движущиеся столь пугающей поступью, может, выявляя, высказать лишь Поэт. Образы сменяют друг друга, как и времена, они для вас загадка, вы можете лишь вопрошать их, и остается навечно в созданной поэтом песне то, что природа создает и обращает в дым. В них пребывает только одна извечная воля — сменять одно рождение на другое, из хаоса воля извлекает смутную форму, пробуждает звук среди мертвого молчания, источник жизни нарушает древнюю тишину, чтобы подниматься и ниспадать в образах, только фантазия показывает в своей вечной ткани, как обновленная жизнь цветет вопреки смерти.

Рыцарь (*возвращается*). Враги бежали, мужественные воины возвращаются без потерь, с неповрежденными шлемами в свое отечество. Уже приходит вечер, живительный теплый воздух струится сквозь листву, на латах и щите блещет сияние, небо искрится, как красное вино, которое, завлекая, плещется в золотой чаше, и его блеск сочетается с его багрянцем.

Пастушка (*входит*). Праздник кончился, уже вдали мерцают прелестные звезды наступающего вечера. Сейчас флейта звучит еще нежнее в прелестном сиянии гаснущего заката. И все начинают петь обольстительными звуками, чтобы этими песнями привлечь красавиц. Мне они позволяют пройти, никто не преследует до опушки, покинутая и одинокая, я должна бежать в лес. Я еще дитя, и мне можно потому осмелиться жалобу моего страдания излить ночному ветру. Пройдет немного вёсен, и меня назовут красивой; при звуках флейты я унесусь в танце, тогда на мне будет венок, и нежная рука будет мне дана и соединится с моей, чтобы красоваться в блеске.

Странник (*входит*). Здесь я сложу мою тяжелую поклажу, которая делает путь слишком утомительным. Я уже повидал достаточно стран и хочу, как следует, насладиться воспоминаниями. Ничто не может превзойти этого удовольствия. Как я рад старым друзьям, родным, жене и детям, да и соседям, — и всё им рассказать. Самая большая радость всегда приходит в конце.

Входит Второй Странник.

Далеко отсюда ведет меня страстное желание увидеть чудесную страну: никто не может доверять самому себе или воображать себя мудрецом; это требует большого искусства, человек должен многое изведать, и часто он лишь спустя годы видит, что все было сплошным обманом. Поэтому я хочу

вдаль, я встречу много счастья, но порой и обрушится град ударов. Завтра обычно следует за сегодня. Каждый что-нибудь замышляет, ничто на земле не достается даром, поэтому я не буду рассматривать как препятствие то, что послужит моему образованию.

Рыцарь. Счастлив тот, кто под развевающимися вымпелами ведет свой корабль по равнине моря, он видит вокруг себя пространства, похожие на зеркало, и его сердце освобождается от бледного ужаса, он направляет судно к холмам своей родины, его бег безобманно направляет магнитная игла, звезды на небосводе ведут его, ветры и волны покорно ему служат.

Первый Странник. Что же вынес я из всего моего странствия, когда я знаю теперь то, чего раньше не знал. И для чего теперь время для меня еще продолжается? Когда дорога лежала у моих ног, я думал, что предстоит нечто значительное, теперь же, когда я наконец возвратился, мне думается, что все это не достойно того, чтобы вести о нем речь.

Второй Странник. Полные чудес горы ждут меня и водопады, и бесчисленные родники, сверкая, бьют в украшенных цветами садах. Деревья шумят, дикие серны взбираются на головокружительные обрывы, утро приветливо озаряет город, горы, башни и крепостные зубцы. Многое еще произойдет, много упоительного и много прекрасного, много раздоров, которые я сумею примирить, в моей жизни случится много радостного.

Входит Пономарь.

Пономарь. Теперь я должен дальний путь свершать, туда и обратно. Это мне совершенно некстати, и мои ноги за это поплатятся. И всё происходит по-глупому, потому что наши часы идут неправильно, и один час всегда продолжается на них три часа, крыша протекает, деревня вечно не желает нести расходы, так что наши часы совсем приходят в негодность, проржавел механизм и колесики. Все от этого приходят в замешательство и поднимают крик. Один кричит: сейчас двенадцать часов, другой клянется, что уже три. Всему механизму не хватает частей, все разладилось, и нет никого, кто бы этого не замечал. Каждый проходящий на исповедь вдруг начинает грубить. И нельзя вовремя заняться с детьми, часам нельзя пробить положенное число раз, чтобы придать всему надлежащий ход. Порядок похоронен, все ввергнуто в анархию, и все, вплоть до приходских учеников живут, как скот в чистом поле. А когда на короткий срок случается так, что часы в порядке, тогда каждый в округе знает, как ему быть и что делать.

Первый Странник. Это точно, ничто в целом мире не сравнится с точными часами. Почему же? Нужно знать каждый час, сколько раз пробили часы. Тогда можно кушать не слишком рано и не слишком поздно, и в положенное время ложиться в постель, никогда не предаваться занятиям сверх меры, и, поскольку жизнь состоит из времени, человек должен постоянно смотреть, который час идет сейчас в окружающем мире.

Второй Странник. Ах! Этот заглушенный перезвон, который, распространяясь от церковного здания, может так много значить для кого-

нибудь, — нет ничего на земле дороже для меня! Величавый бой колоколов, в тишине полуночи, заставляет шевелиться все ужасы, когда я не смыкаю глаз. Как бы я хотел вовсе не иметь часов, и в моих дальних странствиях я хочу всесторонне разузнать, где именно висят колокола.

Поэт. У меня в ушах звучит старая песня, она медлит, не спешит уйти отсюда, я чувствую, как мой разум околдовывается, и в чудном блеске вся картина встает передо мной. Возникают животные, земли и моря, сверкающие замки, величественные крепостные стены, мальчик собирается сразиться с великаном, двое детей заблудились в лесу. Неистовствуют дикие толпы язычников, горя желанием сокрушить христианство, но Любовь смеется над Силой — прекрасный женский образ с золотистыми волосами, глаза как чистейшие бриллианты, отважное сердце принесено в жертву Вере. Но смотри, кто так дико мчитя сквозь лес? Охотница, преследующая добычу? Богиня войны, воспламененная гневом, которая преследует врага своей побеждающей мощью? Или Любовь, покинувшая обиталище на небесах, и удостоившая посещением нашу землю, дабы ее чтили как богиню? Я никогда прежде не видал такого царственного лика, мое сердце содрогается в ликующем восторге, волшебное очарование окружает это чудо из чудес, столь божественное в своем величии, и столь приветливое и кроткое. Приблизься к нам, о царственность в женском облике, я чувствую, что избавляюсь от всякой скорби, едва лишь ты сочтешь меня достойным получить твой взгляд.

Первый Странник. Мне все время кажется, что мы попали в заповедные угодья, и егеря скачет, чтобы нас оштрафовать. Во время моих странствий я настолько набрался опыта, что разумно оберегаю себя от всяческого вреда. Я отправляюсь домой.

Уходит.

Второй Странник. Я пробыл здесь слишком долго, а время уходит так быстро, ни на часок не помедлит, созерцание пугает меня. Почему я должен чего-то ждать здесь? Эти люди угрожают мне неприятностями. А тут еще их число всё растет, право, сойдешь с ума.

Уходит.

Пономарь. Я задаю вопрос: может ли всё это улучшить ход моих часов? Если это не так, я поищу какого-нибудь мастера, который приведет все в порядок. Уж слишком все это замутило нам головы.

Уходит.

Поэт. Постой! О, чудесный образ! Кто же ты, едущая на столь прекрасном, царственном иноходце? Султан из перьев колышется на ветру, белая грудь еще прекраснее под голубым покрывалом, уста смеются, в очах нет улыбки, на ланитах — готовый трон для Любви! Мне сдается, я тебя знаю, пусть ты и чужеземка, ведь я никогда не видел такого чудного величия, такой прелести и такого нездешнего наряда.

Эпическая Поэма (*на коне*). И ты останавливаешь моего скакуна за узду посреди моей бешеной гоньбы? Я хочу сказать тебе сейчас без колебаний, кто я такая. Меня называют только одним именем, когда речь заходит обо мне, — Романс. Я мчусь по всему миру, неся радость, разбрасывая веселье, куда бы я ни попала, хочу назвать моих родителей: Храм — так зовут моего благородного отца, а моя мать — Любовь, которая сделала Храм своим супругом. Меня воспитали оба, горя страстной надеждой, и я выросла на груди моей матери, покоясь в ее объятиях. Когда расцвело новое учение, заалели Христовы хоругви, Христовы воины понесли знамя креста, и пали языческие боги, Венус, полная печали, бежала в сумрачные дебри леса, и, исполнившись коварства, укрыла тело в покаянные одежды. Подобно святой паломнице, она совершенно преобразилась, и так нашла отшельника, который отправился с нею по скалистым кручам. Венус радовалась своему обману, пока благочестивый муж распался, чувствуя в душе похотливые мечты. И вот спустя девять месяцев она родила любовь с блеском Святыни. Но Венус была заключена в скалистой расселине, дабы не измыслила никакого обмана и не извратила Любовь; он сам ее воспитал, и сам вскормил сладостной манной небесной. И она процвела, как сад неземной красоты. И затем сочеталась браком с Храмом, он столь сладостен, она столь нежна. Ибо он спрашивал: на ком я должен жениться? Все девы, коих я видел, все дамы, коих я знаю, суть пленницы суеты. Отъединенного от грешного мира, меня должны подкреплять брань во имя Божье и Христос в Духе; если же я выберу себе супругу, которая домогается земных утех, она презрит мой невозмутимый дух и мое рвение к Богу. Тогда было ему явлено очарование, он узрел красоту моей матери: что это — новое небо на земле? Вскричал он и обрел ее благосклонность. И они вступили в мир: Любовь словно лучи солнца, Храм словно кроткое сияние луны, они озаряли доли. Новая Любовь и новая жизнь создавали для людей новый язык, Храм всегда был в окружении любовного горения, Храм был идеей Любви. Это покоряло самые черствые сердца, и все шли ко Кресту; «Пусть вечно, вечно живет Любовь!» — восклицал отец, полный внутреннего пыла. «Пусть вечно процветает Храм!» — восклицала мать, слагая гимн, и благочестивые люди вторили выражению обоих желаний — аминь!

Поэт. Сойди же с коня! Ты ведь утомлена своей скачкой? Теперь, когда я тебя наконец увидел, в мою душу снизошел мир. Моя тоска всегда была о тебе, прекрасная дочь высшей Любви, благородное дитя кроткого Храма, ты снизошла так неожиданно. Твои родители пребывают в одиночестве, или же у них много друзей?

Эпическая Поэма. Я желаю сойти с коня, поиграть на этой нежной травке, скоро появится моя свита: Отвага, Весельчак, Храм и Любовь. Первые два, кого я назвала, суть наши верные слуги; как верная служанка, Отвага придана моему отцу. Он один не в состоянии с горячностью орудовать мечом, ибо ему по праву подобает владычествовать лишь

крестом и масличной ветвью. Отвага предоставляет ему себя в наивернейшем служении, величаво выступает прислужница, и сражаться за него — в этом ее краса. Любовь почувствовала, как молитва, страстные мольбы, священный жар облегчили ее в ревностном служении и покорности, в то время как ее сердце столь часто бывало тронuto, и она сказала: где мне найти верного и всецело преданного мне слугу? Дабы я ощутила жизнь поистине свободной, а землю — украшенной. Тогда прибежал вприпрыжку Весельчак, и сказал: я чувствую, как мое сердце пылает, побежденное красотой, я хочу всегда следовать за тобою. Существует ли любовь без веселья, можно ли быть веселым без любви? Любая вода неплодородна, но из воды могут подниматься цветы. Так и Весельчак состоит в услужении у Матери, Отцу же прислуживает Смелость, я, дитя, еду впереди, за мною следуют Отвага, Храм, Весельчак и Любовь.

Входят Храм и Любовь.

Храм. Ах ты, злое, дикое дитя, скажи, куда ты подевалось?

Эпическая Поэма. Я скачу вперед сквозь зеленые леса, по прекрасным долинам — повсюду.

Любовь. Ты убегаешь от нас, возлюбленная дочь? Неужели ты так охотно расстаешься с нами?

Эпическая Поэма. Как мы можем быть разделены, чья сила могла бы оторвать меня от вас? Мое сердце всегда в вас; если же кажется, что я охотно убегаю прочь, это потому, что я замечаю, как вы оба через все долины стремитесь мне вослед. Он — с честным Крестом и прекрасным ликом Христа, и голубка в его сердце, это — Вера, величественная и благоклонная. Разве у него не истинно отцовский взгляд? Разве не чувствуешь к нему преданности? Смотри, ведь в этой торжественной улыбке человек поистине может успокоить томящий его жар. Она — истинная Мария, снизошедшая на землю, привлекающая все сердца, это мать моя — Любовь. В руке она несет два цветка, Розу и Лилию, которые с искренней страстью всегда цветут вместе. Роза улыбается, полная желаний, движимая радостью, Лилия исполнена божественной воли, ничем не ослепляя глаз. Моя мать взирает на оба цветка с жаром в очах. Станет ли упоительным красный цвет — она посмотрит на сестру Розы, станет ли говорить белоснежное благочестие, нежно увеселяя, нежно ввергая в грусть, — она бросит жаркий взгляд на Розу, и ее взор снова улыбнется. Ее сердце всецело сказывается в ее глазах, вся как из чистого золота, она нисходит долу, тот, кто на нее взирает, не может быть в печали, ибо взгляд ее исполнен любви. То, чем полно весеннее солнце, что не может выразить никакое слово, что желают нежные цветы, к чему служат все краски, — возвещают миру эти очи, и льющаяся из очей золотая песня. Разве ты не замечаешь, что она несет во взоре весну, цветы, солнце и слово? И звучит эта речь в каждом движении прекрасного тела, каждая складка одеяния ниспадает золотом до пят.

Храм. Да, я таков, как ты описываешь. Вы, люди, истинно ли знаете Веру? Я уже долго царю здесь, на земле. Смотрите ли вы прежними глазами? Страстные мольбы летели, как стрела, пущенная из лука, дабы показать мне, как желало каждое сердце соиздать себя с моей помощью. Не из земли, не из временного приходила к нам истиннейшая Вера, цветы, золото и сам человек — возвращены прахом. Там, по ту сторону, для всего, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь, слышишь, видишь, там расстилаются луга твоего отечества, которые ты лишь ненадолго оставил.

Паломница. Ах, какая радость, что ты явилась, блаженнейшая из жен, я со своим паломническим посохом приближаюсь к тебе, полна священного трепета. Ты не отвергнешь моей руки? Ты моя несокрушимая стена, долго я напрасно искала тебя, и вот теперь умерли мои страх и печаль.

Любовь. Есть еще те, кто верит в меня, и отдаются мне в служение, словно смиренные жрецы, о, Жизнь, навеки посвященная мне Жизнь? Прежде были все подвиги, все отважные героические битвы, вся борьба, все поединки, разносящиеся по ветру звуки всех песен, вдохновленные только мной, движимые только моим духом, все сады стояли в цвету, все пути были украшены Любовью. Не было никого, кто не знал бы меня, смиренно посвящая себя священному ревнованию, внутренний пыл сверкал во всех глазах, исходя из источника света, — из сердец.

Влюбленный. Когда звучит царственный голос, может ли кто-нибудь устоять? Кто трусливо отступит, когда Любовь вздымает свои знамена? Если ты хочешь назваться моим капитаном, я охотно поступлю в твоё войско.

Храм. Если ты веруешь и лишен сомнений, ты сейчас узиришь свое счастье.

Любовь. Та, которую ты так долго искал, стоит здесь. Приветствуй ее дружеским словом.

Влюбленный. О небо! Она, драгоценнейшая, здесь? Паломница, желаешь ли узнать меня?

Паломница. О, как я могу отречься от тебя? Разве не ты называешься моим возлюбленным?

Оба. Итак, мы были так близко друг от друга, а считали, что мы так далеки, но не было меж нами никаких далей, а только лишь самое близкое соседство. Не могут ни пространство, ни время разделить тех, кто познал друг друга в Вере и Любви.

Храм. Но где же доблестная дева? Отвага, появись издали!

Любовь. Весельчак, иди ко мне, и попроворней! Зачем ты прячешься?

Входят Отвага и Весельчак.

Весельчак. Смотри, вот и твой самый верный слуга.

Отвага. Я здесь по твоему зову.

Весельчак. Я бежал сюда со всей поспешностью.

Отвага. Мы задержались на вершине холма.

Эпическая Поэма. Та дева в броне и блестящий шлем на темных локонах, рядом с ней идет лев, и вздымается ее прекрасная грудь, — ее называют — Отвага. Нет достаточных похвал для ее красоты, которая так устрашающе сияет в бесстрашных глазах. Щит и панцирь, и дубовую ветвь носит она, и золотое оружие у пояса, и всё, что скажет отец, она исполняет, ободренная его похвалой. Этот же, кто кажется мальчиком, родился давным-давно, но всё никак не стареет. Молодость всегда к услугам Весельчака. Этот молодец скачет вокруг Любви, и радуется ее благосклонности, все на нем светится ликованием, начиная от головы и до самых подошв. Тот, кого он коснется, выздоравливает, и ободренный, встречает смертельную опасность, его не победит никакая сила, он презирает несчастье и смерть. Там, где он остановится, цветет весна, он смеется — и цветы распускаются, печаль, горе и жалобные стоны умирают для того, кто стал его избранником, он знает старые прекрасные сказки, он сам словно соткан из чистейших фантазий и рожден из света.

Любовь. Почему ты отдалился от меня, слуга, ты, который восхваляешь преданность?

Храм. Служанка, держись бок о бок со мной, не оставляй меня.

Любовь. Она всегда должна тебя сопровождать, уж точно может показаться, что ты скорее предашься веселью без супруги, чем без нее, той, которая, должно быть, воцарилась в твоём сердце, я завидую ее венцу, ты всегда больше, чем меня, наделяешь ее своим доверием.

Храм. Как должен был бы задеть меня твой упрек, но ты сама вечно кокетничаешь с этим молодчиком, точно со своим сыночком, но если ты и не будешь им обманута, то, перебесившись, в конце концов поймешь, что тебе ударила в голову дурь; как бы ты однажды не позабыла, вот чего я боюсь, что мы все-таки небожители.

Эпическая Поэма. Я дика в сравнении с Храмом и Любовью, вспыльчива и груба; но все же я связываю их воедино, я — единство этих вершин. Пусть никто не гневается на другого, ты из-за этого юнца, а ты, мать, из-за этой девицы, вы должны жить в согласии. Любовь никогда не должна уступать сомнению, Храм должен быть выше подозрений, я — ваше дитя, будьте же едины, слуга, служанка, отец, и ты, вершина сущего.

Отвага. Эй ты там, ты как будто воин? Носишь панцирь вместе с шлемом?

Рыцарь. Я всегда был полон радости всем сердцем служить тебе, мне неизвестна радость больше, нежели медный звук боевых труб, щит, сверкающий на солнце, как зеркало, и враг вдали на зеленеющей равнине.

Отвага. Муж будет всегда воспет, и тебе воздадут честь.

Рыцарь. Я ничему не придаю значения, только слава занимает все мои мысли.

Весельчак. Эй ты, в легкой пастушеской одежде, не хочешь ли подойти ко мне поближе? Подойди и скажи, кто ты такая, чтобы я мог видеть твои глаза.

Пастушка. Ты мне всегда нравился, и мне сдается, что я тебя знаю, и думается, что мы могли бы в будущем еще ближе друг к другу поиграть. Мои товарищи пришли на зеленые луга, и называли меня невинной малышкой, потому что я еще не умею целоваться.

Весельчак. Невинная малышка, ты мне нравишься, я хотел бы всегда жить с тобой, как ты — девочка, так и я — мальчуган, мы оба одинаково дети.

Пастушка. Мы весело могли бы вдвоем собирать сказки, отпустить шутки.

Весельчак. Прекрасно было бы вместе гулять по зеленеющим полям.

Пастушка. И кто увидит водяные лилии, должен сорвать их для другого.

Рыцарь. Прелестная девочка, нежное дитя, я теперь должен тебе сказать: если ты не пожелаешь назвать меня своим милым, ты поистине разобьешь мне сердце.

Пастушка. Ты очень нравишься мне, это действительно так! Щит и латы, вместе с мечом, и шлем с его султаном, золото ничто для меня в сравнении с этим. Пожелаешь ли ты назвать меня возлюбленной, когда я совсем еще ребенок?

Рыцарь. Что может соединиться лучшим образом, чем мужество с невинностью, Весельчак?

Эпическая Поэма. Ты, кажется, глубоко задумался, ибо твое сердце ничего не говорит тебе?

Поэт. Кто может чувствовать, кто восхищен, и может произнести пылающее слово? Когда твой взгляд веселит мое сердце, я более не нахожусь на земле. То, что я желаю, что я ищу, что мне никто не может дать, все изобилие, вся красота, вся прелесть, выются, играя, вокруг тебя — я это вижу. Когда ты улыбаешься, душа рвется прочь из своей темницы, чтобы заковаться в этих устах, словно в красных оковах, вспылать вместе с улыбкой и воспарить в золотой свободе, а вместе с тихим вздохом вновь водвориться в царственном застенке. Могла бы ты меня убаюкать? Хотела бы меня не отвергнуть? О, тогда бы я смог с переполненной душой потонуть в радости. Ты — Любовь, ты — Храм, Ты — Отвага, ты — Весельчак, когда я чувствую твой взгляд, я всё могу легко понять. Каждый имеет то, что желает, и что выбирает по сердцу, яви себя ко мне благосклонной, и мне нечего будет более требовать у счастья.

Эпическая Поэма. Если ты будешь служить, если останешься преданным, я одушевлею тебя мужеством, оставайся верен, и когда другие отвергнут меня. Однажды я тебя озарила, теперь оставайся мне привер-

жен, и тогда твое сердце очистится перед тобой, станет проницаемым, как серебро для взгляда. Следуй за теми, кто мне издавна служил, возлюби и их всей душой, тот, кто желает быть жрецом, не должен никогда забывать святилища. Сияющая лунным блеском волшебная ночь, держащая разум в плену, полный чудес мир сказаний, восстань в прежней красоте!

Музыка

*Под звуки труб вновь выходят воины, с противоположной стороны — пастухи. В середине стоят Храм и Любовь, со стороны Храма — Отвага, между ними возлюбленный и паломница, около Любви — Весельчак, между ними — рыцарь и пастушка, на переднем плане —
Поэт и Эпическая Поэма.*

Хор воинов. Над горами, над деревьями мерцает золотой свет луны, сквозь чащу леса пробивается его сияние, и пробуждаются хрупкие сновидения. Духи медленно блуждают в изумрудной тьме в лесу.

Хор пастухов. День укрылся среди теней, лунный свет нам вещает, что грёза и действительность сочетаются браком, что вновь появились духи, покинувшие землю, распрощавшиеся с земным, и когда горит, сияя, луна, они мирно бродят в лесу.

Любовь. Любовь позволяет себя искать и находить, и никогда ни учиться, ни учить. Тот, кто хочет возжечь пламя и не причинить себе вреда, должен очиститься от грехов. Всё спит, пока он бодрствует, когда улыбается звезда любви, и золотые очи взирают на него, и он видит, упоенный восхищением, сияющую лунным блеском волшебную ночь.

Отвага. Но он никогда не должен ведать испуга, когда тучи несутся вослед друг другу, и тьма скрывает звезды, и луна едва осмеливается пролить робкое мерцание. Вечен шатер любви, озаренный собственным светом, но лишь мужество способно разрушить то, чем пользуется ослабляющий страх, держащий разум в плену.

Весельчак. Не найдет любви тот, кому досталась в удел печальная серьезность, быстротечно златое время, и оно всегда избегает того, кто опутан тоскливыми заботами. Кто держит на груди змею, тому предстоит уйти в тень. Все то, что воспевали поэты, знает бедняк, — он уловил этот полный чудес мир сказаний.

Храм. Сердце, процветшее в вере, сразу ощутит золотое сияние, и силу, которая нежно вбирает его в себя, дабы дать возможность обрести себя и свое, пылая прекраснейшим пламенем. Жертва возложена на огонь и воскуряется к небу, Любовь тебя приняла, и, тлея на алтаре, восстань в прежней красоте!

Общий хор. Сияющая лунным блеском волшебная ночь, держащая разум в плену, полный чудес мир сказаний, восстань в прежней красоте!

Дворец

Входит Эпическая Поэма.

Эпическая Поэма. В Римской империи властвует император, великий и могущественный, его имя Октавианус, блеском и роскошью украшен его двор. Смотри, стражи с копьями выходят оттуда, блистает трон, в анфиладе залов сверкает богатство, мощь и монаршая гордость. Вот император с супругой, они уже приближаются, разговаривая, она зовется Фелицитас, и он, любя, избрал ее себе. Мне дозволено иногда выступать вместо рассказывающего хора, многие чудеса лучше могут быть рассказаны в поющем поэтическом слове. Представление начинается в тишине, нам послужит чуткий слух, фантазии, зачаровывая, вступают в пестрые двери сна. Не попадите под власть иллюзий: они улетят отсюда прочь, негодую, едва лишь утреннее солнце, засияв, бросит свой первый луч.

Уходит.

Октавианус, Фелицитас.

Фелицитас. О мой супруг, как ни умею я чтить твое молчание, но, право, оно должно печалить верную жену. Ты говоришь, что никакое бедствие, которое могло бы постигнуть твою империю, никакая угроза, которая приходит извне, никакие внутренние раздоры, никакой враг, таящийся по соседству, не могут заставить трепетать ни твой Рим, ни тебя. Что же тогда похищает сладостный сон ночи, и веселый блеск дня, и покой их обоих? Что бы это ни было — ты ведь умалчиваешь об этом, о, любимый, ты любишь меня уже давно, и клянешься, что ни одна печаль не должна отягощать души; я столь очевидно не повинна в том беспокойстве, которое тебя мучает, услышь же мою мольбу: скажи мне, что могло так тебя огорчить?

Октавианус. Ты знаешь, драгоценнейшая, что мы не сами даруем себе эту жизнь; но органы, в которых духи то скорее, то ленивее движутся вверх и вниз в человеческой крови, и производят то грусть, то веселье в сердце, и из сердца, из его таинственных глубин доставляют их в глаза и отдают взгляду. Ничто из того, что я могу высказать, не беспокоит меня, это — глубокая скорбь души, тайное предупреждение, налагаемое несчастьем, которое будущее таит в своих недрах. Тот, кто мудр и знает о своей болезни, обращается к врачу и пользуется себя целебными травами, пьет лечебные микстуры, которые могли бы изгнать врага из той крепости, где обитает наша жизнь, и вернуть королеве Жизнерадостности ее бывшее владычество и ее трон, с высоты которого она повелевает всеми этими духами, как своими смиренными подданными. Но если мы сами не можем себя познать и войти в доверие к собственным внутренностям, чего же тогда ждать от посторонних, какой помощи и какого совета? Поэтому

оставь меня, милая жена, с моей скорбью, она незаметно подкралась ко мне, так же она и развется.

Фелицитас. Ты сам говоришь, что тебя тяготит некая скорбь. Тогда это уже большее, чем воображение или предупреждение, большее, нежели пустая химера. И если это — некая реальная вещь, имеющая причину и начало, то я — самый близкий тебе человек в этом мире, который эту скорбь разделит. Как это я оказалась для тебя посторонней? Раньше мне нужно было никаких просьб, моей любви не приходилось брать приступом твое ожесточившееся сердце, замкнувшееся и воздвигнувшее редуты против меня, враждебное натиску моей нежности. Тогда твое сердце пребывало в твоих царственных устах, и твой ответ следовал до вопроса, а ныне о горе! О чем я должна допытываться! Чем провинилось твое доверие, когда это я им злоупотребила, что ты запер его на засов в темнице и поставил к нему стража — тираническую подозрительность? Ты не болен, и не удручен заботой, и возраст ничуть не омрачает твои мысли своим бременем, — я готова подумать, что я стала единственным твоим врагом, в то время как другая поселилась в твоём сердце.

Октавианус. Не нападай с этой стороны! Ибо ты и ко мне, и к другим, и к самой себе выказываешь величайшую несправедливость, к чему эти вечные подозрения? Неужели мир не должен царить в моем доме?

Фелицитас. Не гневайся. Ты мое первое и последнее счастье. Я знаю даже время этого счастья — нынче ровно семь лет, как ты стал моим женихом. Ты еще вспоминаешь тот день? Рыцарские странствия идут чередой, и вот, иноземный рыцарь, ты въезжаешь на двор моего отца, князя Ломбардии, ты видишь меня, ты влюбляешься в меня, ты побеждаешь на турнире, получаешь награду из моих рук, наши взгляды встречаются, и мои взгляды воспламенились от твоих. И неразрываемая нить незримо и крепко соединила обоих, связав наши сердца, которые вздыхали тем тяжелее, что мы были так далеко друг от друга. О, знаю только я, как мои ночные мольбы, мое дневное желание боролись с судьбой, и хотели победить ее, быть твоею, тебя назвать моим, — вот что было для меня небом. Тогда были выплаканы тысячи слез, мой отец не должен быть знать о наших желаниях, и твои родители были против, ибо я была не из королевского дома. Ты увез меня — мой отец умер от горя, твой же с трудом смирился с неизбежностью, наконец, был отпразднован свадебный пир, и исполнилось всё, что мы желали...

Октавианус. Умолкни, перестань устремлять взор в прошедшее, можем ли мы знать, чего хочет судьба? Как дети, мы надоедаем небу, мы неугомонны и просим, чуть ли не угрожаем. Проклинаем себя, а ведь оно знает, что для нас лучше, и наконец дает из сострадания просимое, и — смотри, стоят избалованные детки, никогда ничем довольные, и неспособные стать такими.

Фелицитас. Я охотно вспоминаю прошлое, почему же оно так скоро исчезло?

Октавианус. Как быстротечно время! И как оно тягуче, когда настоящее томит нас, как медлит оно уйти и дать место чему-нибудь другому.

Фелицитас. Ты добр ко мне, ты для меня всегда один и тот же.

Октавианус. Так же, как и ты для меня, и я для тебя остаюсь таким.

Фелицитас. О, тогда судьба мне улыбается, тогда я вопреки всему, что могла бы сказать Злоба, тогда я, Фелицитас, счастлива, как мое имя, тогда я — твоя невеста, тогда и отец мой — не мертв, тогда ни один упрек не возмутит моего спокойствия. Чего тогда остается мне еще желать? Уже семь лет мы возносим к небу мольбы о даровании нам детей, но мое тело остается без благословения, мы принесли многочисленные обеты, мы, наконец, пожелали отправиться в Иерусалим, дабы узреть святой Гроб Воскреснувшего и поцеловать следы его благословенных ног; одно предчувствие этого уже могло бы облегчить нашу скорбь. Мы были паломниками еще только в мыслях, а уже Божье благословение зримо снизошло на меня, пара близнецов, прелестных мальчиков, была мне наградой после мучительных родов, и вот теперь — с того самого дня, у меня нет никого, кто разделил бы со мной эту радость, я одинока в своем счастье более, чем прежде.

Октавианус. Дорогая супруга, я знаю — милость неба...

Фелицитас. Ты плачешь? О боже! Любимый супруг, ты мне дорог, как жизнь, как оба моих сына...

Октавианус. Оставь меня, сейчас, именно сейчас — я больше не могу...

Фелицитас уходит.

Октавианус (*один*). Сердце хочет выскочить из моей груди. Где же я? Я не могу справиться с собой, я все еще люблю и должен смертельно ненавидеть, моя грудь слишком слаба, чтобы это выдержать. Ее взгляды впиваются в меня, как стрелы! Я хочу — но у меня не осталось воли, я кину взгляд вокруг — и вижу, что я покинут, трон более не приносит мне никакой радости, куда мне деваться? Умереть? Или же — что мне всего любезнее — безжалостно убить? Но убивающий или сам мертвый — я не спасусь от этого неотвязного чувства, я могу обагрить руки в крови, в одной только крови — в ее крови, но не спасусь! И над разверстой могилой гонится за нами ревность!

Фелицитас с обоими детьми, придворные дамы.

Фелицитас. Смотри: вот малыши, вот драгоценный залог нашей близости, нежные цветы, один подобен розе, другой — лилии, и они скоро увянут, и плача, скроются обратно во тьму, если любовь не распахнет над ними чистый небосвод, если глаза матери, взор отца не просияют над ними, посмотри же на них, когда ты таков, они — всего лишь бедные сироты.

Октавианус (*целует детей*). Они — мои дети, и я — их отец! Они хотят улыбаться, хотят видеть солнце, их взгляды проникают в меня, проникают мне в душу.

Фелицитас. Их сердца чувствуют твою любовь. Отец, об этом говорят их глаза, поскольку их уста еще не могут говорить; их крошечные тельца — это твой отпечаток, твое подобие, и оно обращено к тебе и жаждет найти приветственный отзвук в твоём сердце.

Октавианус. Фелицитас! Моя дорогая супруга! Ты снова мне как невеста — поцелуй же меня.

Фелицитас. Как прекрасно вознаграждены все мои черные недели, все скорби и горести! Мое сердце прыгает от радости и веселья; как только могли мы хоть раз не понять друг друга?

Октавианус. Нет, никогда! Только, видишь ли, эти младенцы, непривычные к такому месту, к открытому воздуху, требуют, чтобы их отнесли обратно в тихие покои.

Фелицитас. Всего самого доброго, мой возлюбленный жених, я положу их снова в их колыбельки.

Октавианус (*один*). Этого не может быть! Я знаю, что моя мать постоянно ненавидит бедную женщину и сама ненавидима ею; кто же будет на стороне жены, если не я? Кому же она доверится, если не мне? Кто же будет моим небом, если не она? Я хочу победить то, что сейчас стискивает мне сердце своими когтями. Прочь, безумное наваждение! Я пробудился от сна.

Адраст, Никанор, Бирен и свита входят.

Никанор. Приветствую моего повелителя! Охотничья свита собрана, охотники горят воодушевлением, и все готово.

Бирен. Я приготовил для Его Величества новую охотничью песенку, и сейчас ее спою, если мне подыграют.

Адраст. Вы в радостном настроении, мой император, и поскольку это обрадовало бы каждого вашего верноподданного, то тем более это радует вашего слугу.

Октавианус. Да, я в таком настроении, и это идет от сердца, и посему нам угодно отпустить и вас, и охотников, ибо настроение, само по себе радостное, не нуждается ни в шуме, ни в суете, ни в веселых песнях. Оставьте меня сейчас, я предпочитаю побыть в одиночестве.

Уходит.

Никанор. Итак, все приготовления были напрасны. Что могло вызвать такую внезапную перемену?

Бирен. Император в последние семь недель так же переменчив, как погода в апреле. Можно чуть ли не подумать, что он сделался беременным, настолько многообразны и причудливы его прихоти. То он в саду, то в своей библиотеке, то в лесу, то он все бросает и сидит, задумавшись, в своем

уголке. Стать отцом — это, наверное, удивительная вещь, потому что она изменяет людей настолько, что их и не узнаешь, такими основательными, важными, умничающими и рассудительными становится большинство из них; а наш император собрал в себе все настроения, какие только могут быть у отца; он и раньше-то был в некотором смысле философом, а теперь становится кем-то вроде дурачка.

Адраст. Укороти свой язык! Ты слишком хорошо знаешь мягкий нрав нашего милостивого императора, а то бы ты не посмел отпускать такие дерзости в его адрес.

Бирен. Ого, господин государственный советник! Так это, значит, выйдет мне боком? Я полагаю, что могу отвечать за свои слова, раз они не подразумевают ничего дурного. Каждому разрешено говорить то, что он хочет.

Адраст. Двор превратится в сборище балаболок, если твоему языку не будет дан укорот. Ступай к дворцовым шутам.

Бирен. Значит, сидеть на месте и не произносить ни слова — вот истинная мудрость, не правда ли? Вот чего ваша милость хочет? Это доступно всем — чтобы прослыть мудрым, нужно, когда молчание становится невыносимым, сказать что-нибудь очень простое. Это целое искусство — говорить — гм! — соблюдая приличия: откашливаться, выпячивать грудь вперед, так что подбородок, шея и живот втягиваются. А теперь внимание! Далее ничего не следует, кроме: гм! и затем: «да, да, так уж устроен мир», после чего исполняющий обязанности оратора снова садится на свое место; и это имеет столь же мало последствий, как и какой-нибудь мятеж черни.

Адраст. Никанор, вы идете со мной?

Бирен. И я скажу еще раз, и буду повторять, не переставая: это чудо с рождением близнецов я не могу себе уяснить. Наш холодный, рассудительный император произвел на свет двух прекрасных, крепких, здоровых детей, после того как он семь лет напрасно прибегал ко всей астрономии и астрологии, дабы родить хотя бы одного. И с этим я удаляюсь, ибо очень хорошо понимаю, отчего нахмурились ваши лбы; но если кто-нибудь скажет мне, что в моих речах есть нечто неподобающее, я готов держать перед ним ответ.

Уходит.

Никанор. Как только этот человек смеет так дерзить повсюду?

Адраст. Мне знакома эгида, которая его ограждает: это мать нашего императора, на которую этот бледнолицый пошляк имеет неограниченное влияние.

Никанор. Однако мы должны хранить молчание, ибо наш император слишком добродетелен для того, чтобы самому сразиться со злом.

Адраст. Император слишком рано сделался тем, что он есть, и его таланты, возвращенные словно в знойной оранжерее, скоро достигли такого

цветения, что превзойти эту степень для них уже невозможно, и он — но давайте лучше думать о том, что он есть и чем мог бы быть, нежели говорить во всеуслышание, что именно мы о нем думаем, здесь достаточно ушей, и никто не чувствует себя настолько уверенно, чтобы не считаться со всякой случайностью.

Никанор. Меня часто возмущает, что этот юнец ведет себя как господин со всеми нами. Он пришел к нам как обычный музыкантишка, который должен был выпрашивать на хлеб; и вот он принят императрицей-матерью, и расславлен как некое чудо...

А драст. Так всегда случается с подобными бродягами, которым всегда оказывается предпочтение перед порядочными людьми. Но пока еще не вечер. Всего доброго, друг мой.

Никанор. Желая вам всяческого благополучия.

Уходят.

Покои императора, в них повсюду в беспорядке валяются разбросанные книги.

Октавианус (*один*). Искусство ничего не желает знать о тревожащем меня вопросе! Хотя мне говорят светила и гороскоп, что я не тот мужчина, который рожден для того, чтобы найти счастье в женщине; мое созвездие холодно и полно покоя, все страсти во мне умеряются, где дело касается постоянства, терпения, кропотливого труда, и даже смелости и силы, и самой мудрости, там звезды ко мне благосклонны; но Венера мне противится, и ледяной Сатурн покарал меня холодными лучами; едва я впервые увидел свет. И поэтому все сомнительно. Лучше было бы для меня, если бы я жил с толпой глупцов, которых никогда не огорчает ни действие, ни сделанное. Все признаки говорят мне, что они уже устроили засаду, эти злорадные духи, кобольды, которые свою злобную радость находят в причинении вреда. И может быть, уже недалек тот злой час, который внезапно обрушится на меня и похитит. Я хочу сопротивляться, хочу остаться самим собой. Кто-то идет сюда. Кто там настолько бесстыден, что вламывается в мою обитель покоя? Неужели и сюда должна вторгаться шумная озабоченность с языком попрошайки?

Входит императрица-мать.

Октавианус. Это вы, мама?

Императрица. Как? Уже зашло так далеко? Ты мне смеешь запрещать вход сюда? Твоя мать — твой враг? Вот так мой сын за мою любовь, за мою заботу, которая заставляет меня забывать мой возраст и позволяет чувствовать себя молодой в твоей молодости, вот так — встречает меня как попрошайку! Разве я от тебя такое заслужила? Значит, пока я жива, ты будешь от меня отдаляться и меня забывать? И платить гнусной неблагодарностью?

Октавианус. Дорогая мама, я благодарен вам за вашу любовь, хотя она мне, кроме радости, доставляет и боль, но сегодня оставьте для меня этот прекрасный день, которым моя душа наслаждается впервые после столь долгого времени. Вы видите, насколько я занят; расчеты требуют усердия, внимательности; силы небес борются друг с другом, светила восходят и заходят, нигде нет ленивого покоя, остановки...

Императрица. Нигде! Кроме как в тебе самом, в твоём собственном сердце, в тебе, в том, кого ты сам любишь принижать, кому радостно сделаться посмешищем для всего света, чья мудрость хочет чваниться посреди позора, чтобы показать, как он завяз по уши. Таким ли хотела я видеть моего сына, который был моей гордостью? О, если бы я умерла! Пережить такое вдесятеро горше смерти. Тот не умер, кто кончил жизнь со славой; тот мертв ещё при жизни, чей лоб заклеим позором, и ты мертв, и никогда не жил, и насмешки будут всегда звучать над твоей могилой, глумец!

Октавианус. Чего вы хотите, мама? Я вас не понимаю. И потому я бы скорее предпочёл лишиться вашей близости, ибо я глупо, почти болезненно страшусь этого яда, который я глотаю, я преклоняю к вам свой слух, — наказываю себя, я открываю вам сердце — и потом себя проклинаю! О ад! Неужели ты не нашёл другого места, где поселиться, кроме моего сердца!

Императрица. Что же ты бесишься? Что ты бранишь себя и меня? Ты мужчина или нет? Это ли та смелость, которая тебе присуща, та мудрость, которую люди прежде восхваляли в тебе? Что тебя мучает, если рассудок говорит тебе, что происходящее не стоит твоих страданий? И раз уж ты это перенес, тебе подобает со всей силой защитить себя и занести карающую руку. И мудрость (если только она когда-нибудь тебя удостаивала своим присутствием) должна тебя научить, что необходимо сделать так, чтобы ты бестрепетно смотрел, как падает твой удар.

Октавианус. Что мне делать? В моих внутренностях вздыбливается Мегера и яростно алчет убийства и пламени; о да, я слышу шипенье змеиных голов, — все свершилось; после чего я вижу раскаяние, скрежет зубов и пронзительные рыдания, вы хотите одного — чтобы моя жизнь погибла.

Императрица. Где же та мягкость, где то терпение, которые ты так часто в себе восхвалял?

Октавианус. Я должен убить хладнокровно, как палач, и смеяться при этом? Свою жену?

Императрица. После своего деяния она уже не может быть ею, она сама себя отлучила от твоего ложа, своими постыдными, мерзкими делами, осквернением своей чистоты, которые глубоко бесчестят и обычную женщину, императрицу же обрекают адскому пламени.

Октавианус. Этого не может быть, это не так, ее взгляд полон целомудрия, ее речи невинны, она слишком любит меня, и грех на ее любовь отвечать ядом презрения.

Императрица. Тщеславный, слабоумный дурачок! Неужели женские чары смогли так тебя потрясти? Да, ты заслуживаешь, чтобы сопливая девчонка обманывала тебя напропалую и глумилась над тобой. Она невинна, потому что она сама так говорит? Ты веришь, потому что она клянется лживыми клятвами? Она любит, потому что она сюсюкает перед тобой, и ты любишь ее и слишком охотно ей веришь? А после она уходит и в объятиях любовника смеется над твоей слабостью, твоей любовью, твоим доверием.

Октавианус. Да, переубеждайте меня, перетягивайте меня к себе, пусть будет так! Я хочу последние, последние образы того, что было прежде, всего, что я чувствовал, того, чем она была для меня, вырвать из своего сердца.

Императрица. Твои глаза должны тебя переубедить. Да, милый сын, ты не должен так пугаться, только страстное желание помочь твоему счастью, защитить твою честь навязали мне эту отвратительную роль, которую я, к несчастью, доигрываю до конца.

Октавианус. Что же такое этот мир, что же такое люди, после того, как она так чудовищно смогла обманывать меня?

Императрица. Если бы у вас только были глаза! Неужели я бы не смогла предостеречь тебя с самого начала? Я была против, я просила, я умоляла, но меня не слушали, рыцарские странствия закончились, и ты был ослеплен в уме. Она держалась, как первая красotka, завлекала каждого мужчину, который к ней приближался, сама вела себя не по-женски, ездилa верхом с тобой на охоту в ослепительно ярком наряде, танцевала и резвилась, как безумная, — и все это совершенно невинно! Развратнице мало твоего сердца, чистой любви, похоть зовет ее к случке; ты целых семь лет напрасно ждал ребенка; глядь, Фелицитас, в ненасытном стремлении к греху, обнаруживает себя, и, вызывая гнев небес, рождает двойню. Да, кто не слеп, и не ослепляет сам себя, тот видит всё, как есть, и ни в чем не сомневается.

Октавианус. Вы говорите, я должен сам... — тогда пойдете, тот, кто карает, должен видеть все своими глазами.

Уходят.

Дворец

Бирен, Диана, Клорис.

Диана. С вами никак не расстанешься.

Клорис. Вы самый болтливый шалунишка в этой вселенной. Пустите нас, мы должны идти к императрице.

Бирен. Послушайте меня еще чуть-чуть, и я вам докажу, что ваш прямой долг — любить меня и остаться со мной в эту ночь.

Клорис. Мы зажимаем уши.

Бирен. Ну, тогда ступайте к императрице и передайте ей наилучший привет от меня.

Диана. Она вам тоже нравится?

Бирен. Мне нравятся все девицы и все дамы, но императрица больше всех, и — впрочем, я знаю то, что я знаю.

Клорис. И что же вы знаете?

Бирен. Что вы обе не принадлежите к тем, кто мне не нравится. Давайте и дальше будем все время вместе.

Диана. Поглядите, каков бесстыдник!

Бирен. Что видит глаз, того желает сердце, и молодой повеса может в своих надеждах заноситься так высоко, как только позволяет его воображение.

Клорис. Смотрите берегитесь, как бы вам не упасть.

Бирен. Императрица молода, прекрасна, я не стар и не уродлив, я предан ей, она благосклонна ко мне, мне часто случается петь перед ней, она называет мой голос прелестным, она говорит, что я пою выразительно, — и более вам не следует ничего знать, завистливые болтуны. А теперь, Диана, подари-ка мне поцелуйчик, и ты, Клорис.

Клорис. Прочь! Злой болтунишка!

Диана. С тех пор как вы появились при дворе, у всех одни огорчения.

Входит старая императрица.

Где ваша молодая повелительница, милые детки?

Клорис. Она в своей опочивальне, она уложила малышей в кроватку и убаюкала их сладкой песенкой, затем она послала за нами, поэтому мы должны уйти, дети спят, при ней только одна сиделка, ибо ей хочется побыть одной.

Императрица. Наверное, вы ей нужны, ступайте и узнайте, в чем дело.

Клорис и Диана уходят.

Бирен. О, моя повелительница, как долго вы не посылали мне ни одного благосклонного взгляда, для меня прошла целая вечность с тех пор, как я последний раз пел для вас, услаждал вас звуками, — вы лишили меня своей верности.

Императрица. Меня терзают и мучают бесчисленные заботы, вот почему я не расположена слушать песни.

Бирен. Если вы лишите меня вашей благодетельной защиты, я вновь паду в пыль — зависть старого дурачья только и ждет намека в вашем взгляде, чтобы обрушиться на мой талант и затоптать его ногами.

Ты, ты одна и твое величие — залог моей безопасности. Что так мучает тебя?

Императрица. Ты еще молод, наслаждайся радостными днями, а печаль и бледную скорбь предоставь в удел старости. И раз я люблю тебя вечно — пусть твой сияющий взгляд никогда не омрачает облако тоски. Послушай, сынок...

Бирен. О, явленная благодать! О, небесный образ! О, если бы я мог здесь пасть пред тобой на колени и рыдать, и, простершись ниц, внимать твоему голосу; о, если б ты могла видеть, что у меня на сердце, о, если бы ты могла выслушать мои речи, как я возношу тебе похвалу, как я восхваляю тебя, друг мой, как я боготворю тебя...

Императрица. Тише! Я знаю, ты не можешь быть неблагодарным, но я пока еще не заслужила твоей благодарности, ты не должен в избытке нежных чувств преждевременно оплачивать то, что еще требует исполнения, — такое может притупить и самые действенные намерения. Милое дитя, твоя душа цветет так празднично, переполненная любовью, а я еще ничего для тебя не сделала, я не исполнила данные мной обеты, — создать твое счастье здесь. Чего же ты хочешь, какую жертву желаешь ты принести, когда мои слова остаются только словами?

Бирен. Вы ничего не сделали? Как? Разве я не живу? Разве я не прыгаю, как полный сил жеребенок, под солнышком ваших милостей? Разве зависть и злоба не бросают на меня косые взгляды со всех сторон? О, государыня. Нет, я не могу так говорить! Но уже счастье во всей полноте дарит меня улыбкой, полной надежды.

Императрица. Но тот, кого Фортуна так увенчала, должен быть достоин своего прекрасного венца.

Бирен. Что я могу, что я должен сделать?

Императрица. Не робеть, и за названную цену совершить кое-что, требующее отваги.

Бирен. О, назови мне это, и пусть Опасность встретит меня с копной змеей на голове, пусть мне противодействует сама Смерть, пусть свирепая Буря порвет якорные цепи, пусть Гром ворчит с утробными раскатами и грозно призывает меня повернуть вспять, пусть сама Молния с шипеньем вонзится в землю и обрушит расколотый Дуб на мою голову, стоит мне лишь встретить взгляд ваших очей, — и я не буду трепетать ни перед громом, ни перед молнией, ни перед смертью.

Императрица. Это славная речь, это — благородные слова, отважная кровь может повидать мир, такой храбрец обрящет славу повсюду, кто так чтит себя, того все должны чтить, и женская любовь, и сладостная благосклонность становятся венцом пылкой жизни юноши, в его глазах, взгляде и фигуре есть чары, которые незримо даровало ему некое божество, это — всемогущие, прочнейшие цепи, которыми он всех женщин, оковав, увлекает, нежные цветы, деликатный подарок, веселое словцо, которое про-

износит таящаяся мудрость, волшебство обаяния и нрава — вот что влечет женщин ко греху, и они сами этого не осознают. Так и вы избраны судьбою, и Фелицитас может родить только от вас.

Бирен. Так это теперь несомненно?

Императрица. Вы только должны, как подобает мужчине, верить в себя; часто благоприятный случай не желает себя обнаруживать и впадает в робость при малейшем раздумье, женщина всегда хочет, чтоб о ее благосклонности догадывались, она хочет выиграть партию, жертвуя фигуры, она стремится сохранить за собой право на жалобы, и она должна идти к цели, используя коварство, сладкоречие и силу — сама не сознавая того. И так она лжет самой себе, чтобы тем вернее обмануть того, кого она, любя, приближает. Затем приходит привычка, и в сладостном лукавстве она наконец забывает об обмане — от столь долгих уроков, воспоминаний, ревностного усердия в обманывании себя. Затем впервые следует признание, и эти губы, уже давно покрытые поцелуями, признаются впервые, что они получали эти поцелуи, и когда слова, для любящего сокровища оправленные в золото, сулят слуху еще более прекрасные поцелуи — что бедные губы им больше не завидуют. Очаровательный обман, ложь, сопротивление, притворный стыд, борющийся со стыдом истинным — всё это всегда было и есть порождения Любви. Фелицитас к тому же императрица, одна мысль об этом грозит ей большей опасностью, нежели другим грозило бы само деяние, она не может держать себя так, чтобы она сама могла назвать это слабостью, а тем паче — другие, ибо каждое такое признание для нее — осуждение и смерть. Но все же я знаю то, что я знаю...

Бирен. О, позвольте мне услышать — откуда, не из ее ли собственных уст?

Императрица. Для вас очень много значит, поверьте моему слову, что она любит вас одного, и желает вскорости крепко упрекнуть вас в том, что вы сами себе не сумеете простить.

Бирен. Я словно опьянен, я чувствую себя на небесах, будто луна-тик, очнувшийся на кровле башни и видящий над собою звезды! О золотое счастье, кто мог тебя предвидеть? Как смел я надеяться, что обрету такое сокровище?

Императрица. Идите в мои покои, потому что там мы обсудим наши планы немного шире.

Бирен. Вы моя путеводная звезда, мой оракул, вы вмешаетесь — и все, что должно сбыться, сбывается, меня не страшит ничей трон, ничья угроза, пока вы остаётесь на моей стороне и стараетесь для меня.

Уходит.

Императрица. Как же месть всегда находит подручных, которые охотно предоставляют себя в ее распоряжение! Он думает, что я уничтожу собственного сына, чтобы только подарить его ослепительным счастьем! Как доверчиво пошел он по дороге, ведущей к пропасти, и его ослеплен-

ный ум не замечает этой бездны. Эта ужасная любовь между ней, чужеземкой, и Октавианусом — она должна вдруг прекратиться, скоро ее встретят насмешки и издевательства, она не замечает окровавленный бич, который уже взвивается, угрожая, над ее головой. Тогда мой сын станет опять моим, как он был, он ведь ослеплен, а она похитила у меня мое сердце и душу.

Уходит.

Спальня царствующей императрицы

Фелицитас, Гризельда.

Фелицитас. Ну, моя милая Гризельда, ступай и ты отдохнуть.

Гризельда. Вы не хотите, чтобы я была здесь с вами, не смыкая глаз?

Фелицитас. Иди приляг, в твоём возрасте соснуть никогда не помешает. Малыши уgomонились, и я охотно посижу с ними этой ночью. Мне просто страшно смотреть, как ты измучилась ради меня.

Гризельда. Мне вовсе не составляет никакого труда, милостивая госпожа...

Фелицитас. Я приказываю тебе — ступай, утром мы снова будем вместе.

Гризельда уходит.

Фелицитас. Как сладко спят дети! Как прелестно они втягивают носиками воздух, и безмятежно покоятся в нежных снах, огражденные ангельским крылом! О, мальчики мои, возлюбленные дети, вы еще ничего не знаете о мире, вам знакома только мать, которая вас питает; жизнь пробивается в вас ключом, и ее поток прибывает, благодатный сон дает вам расти и крепнуть. Боже! Как я счастлива! Но нет, счастье никогда не дается смертному неомраченному, он должен почувствовать, что живет на земле, и чернота земли примешивается к сиянию солнца, и печаль затемняет для нас любое ликование. Так свеча горит золотым пламенем на фитиле, который заставляет ее чадить. Снизойди на меня, тихий радостный покой, и пусть звезда упадет ко мне с неба, это будет для меня как знак возвращенной милости. Достаточно ли ярко светит лампа, чтобы в ее мерцании я могла прочесть до конца начатую сказку? (*Берет книгу.*) Да, любовь — сердцевина всякого творчества, всего, что выдуманно искусством! Она — то, чего желают все люди! Ко мне возвращается все, что было в юности — как я однажды с ним, на охоте, совершенно забыла обо всем, мы слезли с коней, среди леса, где росли высокие красные цветы, журчал ручей, и шелестели верхушки леса, там у него вырвалось первое слово любви, там пронзил меня его первый поцелуй, там звучали, перебивая друг друга, наши признания, мы прислушивались, но лес шумел, мы ничего не слышали, и вскочили, когда кусты вдруг зашевелились. Я тогда слишком подда-

лась любви, слишком быстро отдалась ему, его любовному натиску. А чего мужчина не добился тяжкими трудами, того он и не ценит. Лампа горит слишком слабо и тускло, книга утомила меня, одолевает сонливость, мысли путаются, — не знаю, можно ли мне поспать, — ну да ведь я проснусь, едва малыши пошевелиятся. Ну и чудесно, какая тихая ночь...

Засыпает.

Старая императрица тихонько открывает дверь и выпускает Бирена.

Императрица. Она там спит на своем ложе, все условия — и ночь, и любовь, на вашей стороне. Теперь рассчитывайте на себя.

Удаляется.

Бирен. Где я? Как я сюда попал? Какая планета владычествует сейчас на небосклоне? Венера ли, возженная любовью, выходит, сияя, из морских волн? И Купидоны выплывают вместе с нею? Так ты не обманула меня, богиня? Так страшно мне в этой, да, в этой спальне с ней наедине при тусклом огоньке свечи! Могу ли я положиться на собственный разум? Нет ли здесь лстящего самообмана? Мне позволено видеть ее в такой чарующей близости, о которой могла прежде лишь тосковать моя страсть! О прекраснейшая, о прелестнейшая из женщин, ты хочешь ныне увенчать мои желания, ты осчастливишь мою юность своим сладостным телом, ты хочешь быть не владычицей, но возлюбленной! И, однако, я не смею ее коснуться. Как обольстительно она покоится, как тянет слиться с нею! Эта картина могла бы соблазнить святого, не говоря уж о юной, свежей крови, но в моей душе нет стремления ее будить, я чувствую трепет желания, но и смелые помыслы мои скованы страхом. Круглая рука вздымается над головою, и, дыша, вздымается и опадает прекрасная грудь. О, пусть никакое покрывало не скроет от меня этих прелестей, чтобы мои глаза могли изучать их, не переставая! О, лишь бы эти свежие уста позволили мне поцеловать их сладкую дремоту, дабы я узрел сияние этих очей, дабы она, пробудившись, не отвергла меня с презрением! Она вовсе не спит, и хочет, — я осмелюсь так подумать, — уловить миг моего великого счастья и блаженства. Я вижу, как ее грудь вздымается навстречу мне, как она сама порывается сорвать с себя покрывало, во сне дерзость не может обвинить саму себя, — но ведь она хочет запастись для любви высшей добротой, и ее светлые очи устыдили бы меня, — и вот крылья моей решимости бессильно повисают. Кто был когда-либо так же счастлив! Я приближаюсь к тебе, чистейшее из созданий, я более не могу противиться этому стремлению... О горе! Что случилось? Неужели я слышу шаги? Кто-то дерзко направляется прямо сюда.

Входят император Октавианус и старая императрица.

Императрица. Теперь ты видишь ее и его, решай же сам, лгала я тебе все время или говорила правду. Как? Ты молчишь?

Фелицитас (*во сне*). О мои ненаглядные малыши! Кто защитит вас от свирепых львов? (*Просыпается*.) О боже! О Боже тресвятый! Что я вижу? Или я еще сплю? Неужели эта застывшая статуя с обнаженным мечом — мой супруг? Дети, вы еще живы? Что с тобою, муж мой? Что нужно здесь этому молодцу? А, это вы, императрица?! Теперь я разгадала почти всё.

Октавианус. Почти?! Изменница!

Фелицитас. О, выслушай же меня!

Императрица. Ты опять хочешь прибегнуть к словам? Хочешь отолгаться своим складненьким язычком?

Октавианус. Молчать! Ни слова! Ни вздоха! Эй, стража! (*Входит стража*.) Бросить ее, вместе с ее гнусным отродьем, этими ублюдками, в самое глубокое подземелье!

Фелицитас. Так ты меня не слушаешь, и мне не позволено ничего тебе сказать? Прощай же, ты разбил мое бедное сердце. О, мои детки, плачьте же, плачьте, счастье не светит нам более на этой земле.

Стража уводит ее.

Бирен (*бросаясь на колени*). О, мой повелитель!

Октавианус. Возможно ли, взбесившийся щенок, тебе выдержать взгляд василиска?

Бирен. Я хотел, мой обожаемый монарх...

Октавианус. Ах ты, мерзопакостный!

Бирен. Я пришел сюда в поисках счастья...

Октавианус. Молчи!

Бирен. Выслушайте же меня...

Императрица. Ты что, позволишь ему говорить?

Октавианус пронзает его мечом.

Октавианус. Получи же свою награду! — О, мать моя, я ныне глух и бесчувственен, слеп и лишился мыслей. Куда мне скрыться? Пойдем отсюда.

Уходят.

Дворец

Адраст, Никанор.

Адраст. Я все еще в оцепенении от страха и изумления. Неужели зло победило окончательно?

Никанор. Я как во сне, я как разбуженный, которому слепящее солнце ударило в глаза, я ищу, за что бы ухватиться, и убедить себя, что это не сон.

Входит Диана.

Диана. Господа, мои достойнейшие господа, вы слышали, что произошло? Не оставьте же без помощи мою благородную госпожу, защитите ее от позора!

Адраст. Мы стоим здесь ошеломленные, как будто бы молния вонзилась в землю у самых наших ног.

Входит Клорис.

Клорис. Помогите! Спасите! О, какая ужасная пора!

Никанор. Что делать? Гнев императора сокрушительен, обстоятельства говорят против нее, и у нее нет друга, который осмелился бы позаботиться о ней.

Клорис. Но остается ваш честный нрав, в вас может она найти последнюю защиту.

Адраст. Ревность императора слишком слепа для того, чтобы выслушать совет умерить себя.

Никанор. Старая императрица долго добивалась этого, и вот она победила, а дело молодой пропало.

Входит Пасквин.

Пасквин. Эй, вы, какие замечательные события! Потрясающие новости! Наш певец, господин Бирен, вздернут на очень высокую виселицу, сам император его только что заколол, а теперь он повешен проветриваться на свежем воздухе.

Никанор. Помолчал бы ты со своими выкрутасами.

Пасквин. Никаких выкрутасов, мои высокочтимейшие господа, а только одна чистая правда. Он в самом деле там повешен, как задушенная курица, весь город может его видеть смотреться в него, как в зеркало.

Адраст. Прочь, мерзкий шут, сейчас не время вести такие речи. Берегись гнева Его Величества!

Пасквин. Это почему? Я не делаю ничего дурного. Теперь, когда я видел перед собой такой пример, я как следует поостерегусь спать с императрицей. Они устроили ему хорошенькую баню, вот он теперь и просыпается на ветерке. А ведь правда, это совсем уж непозволительно — сделать сразу двух детей! Вот если бы он ограничился одним, они, быть может, и посмотрели бы на это сквозь пальцы. Похвально, что такому бесстыдству хоть время от времени пытаются противодействовать; а то, если бы оно распространилось, никому бы не было спасения от заторного потомства!

Входит Октавианус.

Октавианус. О подозренья, пусть бы вы не стали зреньем! О глупые глаза, неужели вы не могли ослепнуть? О, неужели я не мог найти смерть раньше того дня? Тогда бы я исцелился от смертельного недуга. Теперь же я отмечен между тысячами и должен умереть для радости, утешения и надежды. Я возношу жалобы воздуху и морю, пустоте ветра:

видели ли вы более несчастное существо? Но ни утешение, ни совет, ни помощь, — одна лишь месть может разбудить и ужаснуть мое сердце. Ее кровь должна искупить ее преступление передо мной. Так долго бушует во мне этот зловещий змей, я вижу, как он непрестанно ослабляет белые клыки, слышу, как его голос насмехается надо мной.

Пасквин. Любовь сгоняет румянец со щек, и вздохи, страдание и слезы составляют ее свиту, тот, кто принес себя в жертву обманщице, попал в наихудшую западню на свете. О желаниях — так говорят по праву — приходится часто жалеть, вот, возжелал ведь тот певец, которого нынче все видят, к его позору, качающимся на виселице. Когда другие умирают только одной смертью, да и то из-за этого имеют кучу переживаний, то он (чем злее чеснок, тем лучше пробирает), сначала был заколот, а затем подвешен в воздухе, и вот имеет две смерти, и ни одной могилы. Он был здоровый лоб, а по лбу получил — и умер.

Октавианус. Все вы здесь? Ступайте, мои почтенные советники, я последую за вами в зал собраний. Пусть будет воля божья, чтобы мы вместе нашли наилучшую причину вынести решение. Ступайте же!

Все они уходят.

Пасквин. Вам *этой* причины недостаточно? Возможно ли, чтобы собрание советников нашло что-нибудь лучшее?

Октавианус. О горе мне! Ибо мое счастье было только ничтожный сон, лишь тень, пустая мечта, которую мы забываем, едва опомнимся; и мы тщетно пытаемся его приковать к себе, столь мимолетное, что я не могу и выразить. Я был счастлив *тогда*. Ты плачешь, мой милый мальчик? Да, вот в чем причина столь неисчислимых слез.

Пасквин. Конечно, в этом причина этих слез, и еще многих, даже лучших слез, которые я только могу пролить. Но прежде всего они повесили того, кто сострепал это изделие, воздав ему за все его хлопоты, — так что его видно и ветрам, и бурям, и всем птицам небесным; но я боюсь, что его дрянная работа не вызовет особого уважения, так что ее объявят запрещенным товаром, а его самого назовут портачом и халтурщиком; вот для того вы и собрали ваш Совет, чтобы все им разъяснить, что вы — рогоносец и видели это своими собственными глазами и посему думаете, что невозможно было бы найти другую подходящую причину, дабы создать высокочтимый Совет. Ступайте, а я мог бы над этим плакать, так долго, пока имел бы глаза, чтобы проливать слезы, и сердце, чтобы над этим охать, и мозги, чтобы над этим размышлять.

Октавианус уходит.

Пасквин. Однако кажется, что мозги нынче совсем вышли из моды. Император и в самом деле стыдится наказать шута за вольные речи. Он, конечно, может великодушно сказать: пусть его, для этого он здесь, он ведь шут; но он не должен ни на мгновение быть пристыженным, сам пре-

вращаться в шута и незаконно отбивать у меня мой хлеб. То есть сейчас одно, а там дальше его раскаяние замучает, или совесть, или что-нибудь подобное, и он примется играть новую роль из дурацкого репертуара. Блажен, кто знает свое ремесло! Но он не замечает, что у него под короной растут длинные уши, он принимает их за рога, и ходит со склоненной головой, чтоб ими не задеть за что-нибудь, он избегает бывать на воздухе, чтобы не повредить себе, и вот его мысли от него убегают, и он созвал Совет, чтобы ему обстоятельно изложить положение дел. Я тоже пойду, посмотрю, допустят ли они меня.

Уходит.

Совет в полном составе

Октавианус, старая императрица, Адраст, Никанор, другие советники.

Октавианус. Теперь скажите, по своему усмотрению, ибо вы знаете (ужасно было для меня рассказывать вам об этом) все, что случилось, чему я сам был свидетелем, вы знаете ее преступление, ее деяние, определите же наказание, которое ей подобает.

Адраст. Ваше монаршее Величество, я уже часто сиживал, как сейчас, перед вами в этом судейском кресле, но никогда мне так не щемило сердце. Моя голова седа, я много испытал и много перенес, и, как ни один человек, могу сказать, что знаю жизнь и умею ходить по трудным дорогам. Я был мужчиной, когда ты был мальчиком, ты охотно слушал меня, и моей отрадой было видеть, как твоя мудрость, твоя отвага, твоя слава реют на крыльях над всеми племенами, которые ныне знают и науки, и истинные обычаи; твое первенство, твой блеск, твоя слава и твои деяния становились моими детьми, моими внуками, и, глядясь в это зеркало, я часто забывал сам себя. так я радостно шел навстречу своему смертному часу, ты же остаешься здесь, — и сила, блеск и величие, и вечная слава, и счастье, и мощь твоей державы, и — прежде всего — истинная, святая любовь остаются здесь как твои домашние друзья. Но сегодня — о, как больно мне об этом говорить! — В первый раз я испытываю боль оттого, что должен быть судьей пред твоими очами; я вижу, что твой свет погас, твое счастье улетело, и ты сам дал уловить себя заблуждению, которое тебя глубоко и по-настоящему опутало. Там, где была твоя любовь, — теперь ад, где пышно цвел сад — ныне буря опустошила цветущие поляны. И я сам безутешен, вместе с тобой я потерял все свое достояние. Поэтому, Октавианус, если в пору твоей юности мой совет и мое мнение для тебя кое-что значили, если ты согласен, что мудрость возрастает с годами, если, будучи зрелым мужем, ты можешь поверить мне в том, насколько твое разумение сейчас превосходит то, что может дать опыт юноши, если ты пребываешь в убеждении. Что только лишь любовь говорит моими устами, только забота о твоём счастье движет моим языком, тогда выслушай мой совет, и я тогда

спокойно умру. О мой монарх, я не смею даже сказать тебе, насколько каждая вещь не похожа на то, чем она кажется. Порок часто рядится в одеяние добродетели, алчность часто притворяется богатством, а недалекость выставляет себя как мудрость. И только самый неопытный, никогда не сталкивавшийся с обманом усматривает в постной мине добродетель, сокровища среди убогих и разум среди глупцов. Нас должно вести к правильному решению понимание того, что часто то, что выглядит пороком, по сути им не является, и нам надлежит (ведь мы хотим называться справедливыми, и не быть ославленными перед Богом за дикую жесткость, за то, что мы бесчестим и гоним добродетель, которую должны стремиться защищать) — нам надлежит, говорю я, всякую видимость рассмотреть изнутри, всякое обстоятельство испытать, взвесить, подвергнуть исследованию, иначе каждый подданный, коленопреклоненно ищущий справедливости у твоего трона, мог бы по праву перед Богом назвать тебя тираном; тем паче самое близкое тебе существо, которое было половиной твоего сердца, ведь в этом сердце был внутренний дух, была опора, была Любовь. Позволь мне сказать — ты с чересчур неслыханной быстротой подверг казни того, кто был убийцей твоей чести. Ты не допросил и твою императрицу, дабы она могла сказать в свою защиту, ты обвинил ее и сам сделался судьей, мы — судьи, но нам лишь остается произнести смертный приговор, по твоему слову. Ей также не было позволено, согласно обычаю, иметь срок, определенный обвинением, в который один рыцарь вышел бы против нее, другой же выехал, чтобы ее жизнь и честь защищать мощною рукой и оружием, дабы Господь сам вынес приговор, и исход поединка показал бы, на чьей стороне правда, а чьи наветы лживы.

Октавианус. Вы уже знаете (и я это повторю), что здесь нет места ни для сомнения, ни для расследования. Благодарю тебя за любовь ко мне, которую ты явил, и за предложение о пощаде. Но слишком уж очевидны и ее вина, и моя беда. О, если бы я мог позволить себе какое-нибудь сомнение, пусть наималейшее, я захотел бы его исследовать вдоль и поперек, чтобы ее невиновность и мое прежнее счастье с муками, усилиями, страхом и ночными бдениями вновь извлечь из этой пустынной бездны. Но я *знаю*, я *чувствую*, я думаю об этом постоянно и мне угодно искать прибежища только в этой мысли, изничтожать себя в этой мысли, продолжать жизнь только в этой мысли, которая меня убивает, — что ее вина несомненна, что она не осмелилась произнести ни слова, а он, этот дьяволенок, онемел и весь обмер в сознании своего злодеяния, его немота, его смертельный испуг и были его признанием.

Никанор. Мой августейший повелитель, вы хорошо понимаете, когда мы вам перечим, в этом наиважнейшем деле, которое касается ни более, ни менее, как жизни вашей супруги, что только преданность вам, государь, делает нас столь смелыми, а посему обдумайте как следует то, что вам сказал Адраст, и, если будет дозволено, я к этому прибавлю:

мы все знаем нашу повелительницу как образец добродетели, вы сами не видели ее другою еще совсем недавно; и, что доселе самый строгий судья или же клеветник с ядовитым языком могли бы осмелиться приписать ее добродетели, — были только ничтожные, крошечные пятнышки, по которым нельзя судить о стоящих за ними искренних, радостных чувствах. А именно — веселый нрав, страсть к танцам и резвым забавам, к музыке, пению, пестрая свита шутов и философов, яркие наряды, живое сердце, которое легко радовалось, и то, что она любила ездить верхом, и сопровождала тебя на охоту в мужской одежде, и редко, скорее никогда не предавалась задумчивости и нахмуренному унынию. Ее умение дарить любовь и благосклонность вы и сами считали добродетелью, вы ценили в ней благородство нрава, устремленного к высшему и не ведающего низкого страха; тогда как мелкие душонки пугливо избегают проявлять себя, чувствуя, как близко от них бродит Порок, посреди многоцветной роскоши она стояла с царственным достоинством и смотрела на глупость, на мудрость — на всю сущность мира как на свою излюбленную свиту, которая достойно возвышает ее собственный блеск. Так она сияла, и ее красота пробуждала радость в глазах всех ее верноподанных, но ваш царственный взор был самым верным зеркалом ее достоинств, — пока подозрение, и клевета, и злые демоны не нашли свободный и беспрепятственный вход в сердце. И после этого вы гневаетесь. И в гневе усмотрели то, что предполагали увидеть, и, не выслушав, изрекли приговор. Вспомните о прежней любви и сделайте то, что она требует; дайте свободно пройти расследованию, дайте возможность держать ответ. Вдруг это дело содержит в себе не то, что кажется? Я, конечно, не могу рассказать, как все могло получиться; но я предполагаю, что все это устроили враги, желающие причинить вред Фелицитас.

Императрица. Кто были эти враги? Вы бесстыдны в своих речах и совершенно забываете об осторожности, которая требуется от вас в присутствии императора. Только что вы красноречиво говорили, как каждый, от простонародья до знати, любит ее и почитает, молится на ее красоту! Как она колдовски умеет притягивать к себе сердца! Но ваш льстивый язык не смог меня ужалить, я видела ее такой, какой она была, и всегда говорила императору, чтобы он не верил этой змее. Остерегался ее укуса, я всегда была начеку, и видела, как тайное бесчестие грозит уязвить монаршее ложе, и обесчестить его самого, образ Божий, наместника Божьего, и его любовь смешать со стыдом. Он мой сын, я люблю его и чту его, и потому я против вас всех, глупцы и безмозглые болтуны, и нападаю на вас. Мы сами оба, император и я, свидетельствуем о ее позоре, ее неверности, ее смертном прегрешении, что же это у вас за такие колебания, болтовня, тяга к какому-то расследованию? По правде сказать, это называется — защищать порок, оскорблять величество, и вы в союзе с нашими злейшими врагами. Не найдется ли здесь такой наглец, кто скажет, что это я ее оклеветала, и мои слова, и мое свидетельство лживы? Ну, пусть он выйдет с жалобой,

и мы устроим разбирательство, должно ли правосудие обрушиться на его или же мою голову. А ты, сын мой? Не опасаясь ли ты такого позора для достоинства твоей родной матери?

Октавианус. Я чувствую, как раскаленное сердце пылает в груди, я могу лишь терпеть, не в силах ничего ни сказать, ни сделать. Я должен носить внутри готовый родиться плод, если он выйдет наружу, я познаю свое несчастье. Я чувствую тоску и не умею ее назвать, мое измученное, кровоточащее сердце не желает больше биться, я чувствую это, и не знаю, на что мне жаловаться, словно я желаю разлучить мою душу с телом. Неужели любовь — только жизнь тела? Прощание с ней тяжело, и осиротевшее сердце кровоточит в непреходящей тоске. О боже, никакое небо не может дать мне покоя, снедаемый страхом, душевной мукой, горечью и гневом я могу прибегать лишь к освежительному напитку слёз.

Уходит.

Императрица. Он не в ладах со своим собственным духом, так угнетает его несчастье, страдание истощило его жизненные силы, поэтому он и удаляется в загадочном молчании, так пусть же это великое дело будет довершено нами, и будет снова явлена его добродетель; сейчас удалитесь, я вас созову, и мы завтра вынесем окончательный приговор.

Уходят.

Темница

Фелицитас, Диана, Клорис.

Фелицитас. Не плачьте, девушки. Почему вам хочется плакать?

Диана. Ах, благой господь на небесах! Как покойно спят дети, не ведая о том, что скоро их ожидает. Они жалобно плакали всю ночь, теперь наконец успокоились. Ах, милые малыши! Смотри, один улыбается, другой тянет ручонки. Им снится мать и ангелы.

Клорис. Как можете вы так радоваться вашим милым деткам, когда вы знаете...

Фелицитас. Что они сегодня должны умереть, ты это хочешь сказать, Клорис? Тогда они будут вместе с матерью и ангелами, тогда уже никакая боль, никакое страдание не потревожат их среди небесного блаженства. Там нет друзей, которые в несчастье отворачиваются, когда они должны помочь, там нет врагов, желающих им зла, там источник вечной любви всегда открыт, и ответная любовь воспламеняет сердце.

Диана. О боже! Как вы должны переносить этот день несчастья! Могут ли я припомнить день, когда вы невестой прибыли к нам сюда?

Фелицитас. Оставьте эти воспоминания, милое дитя. Все обстоит так, как должно быть. Земное счастье — лишь видимость, и ничем другим

быть не может. Я слишком прилепилась к этим земным утехам, но теперь меня пробудили ото сна. Прикосновение немного грубо, но оно к лучшему. Я должна была проснуться.

Клорис. Вы сейчас пребываете в умиротворенности, а нам тем труднее переносить эту боль, чем более мы созерцаем вашу высокую добродетель, и чем ближе становится час разлуки. Умереть такой молодой — и такой невинной!

Фелицитас. Тебе было бы легче, если бы я была виновна? А если бы я, невинная, прожила бы еще много лет, все равно — не есть ли смерть исход всякой жизни, и никакое время не было бы более подходящим для меня, чем нынешнее, чтобы умереть, ибо Господь простит мне за нынешнее мучение все прежние мои грехи. Могло случиться, что в будущем легкомыслие, сумасбродство, суетные помыслы склонили бы меня ко злу, так что лучше, если я сейчас умру невинной. К чему мне еще дни и месяцы горя и скорби? Моя жизнь умерла, когда в моем Единственном я вдруг увидела Ужас, когда Любовь вдруг взглянула на меня взглядом василиска, этот железный взгляд я никогда не смогу забыть. Идемте же, мои малыши, — едва родившись, вы найдете могилу в объятиях матери; я прижму вас к своей груди и мы взойдем на костер. Когда взовьется пламя, я поцелую ваши губки, ваши глазки, не плачьте — я осушу ваши слезки, и вечное милосердие возьмет нас в свое пречистое небесное блаженство. Я говорю это без притворства — я радуюсь смерти, позор, преследующий меня, — лишь краткое заблуждение, правда выйдет на свет; меня лишь беспокоит, что обо мне скажут эти бедные люди, когда я, преобразившись, взгляну сюда с высоты?

Клорис. Что так всегда злые люди противостоят добрым, и небо попустительствует их злобной ярости.

Фелицитас. Вчера старая императрица приходила ко мне в темницу, в такой ярости, как я ее еще никогда не видела, так изображают призраки, или же фурий. Я видела в ней мое несчастье лицом к лицу, видела злого духа, который преследует меня, такую бледную, изможденную, длинную и тощую, глаза сверкают, а узкие губы стиснуты от зависти и злобы. Она хотела задушить моих деток у меня на руках, но я почувствовала в себе достаточно сил, чтобы защититься от этого чудовища. Пусть смерть — их жребий, но не от ее руки. И если можно продлить на несколько часов их бедную жизнь, я отстою для себя эти несколько часов материнского блаженства. Я знаю, откуда у нее эта ярость, эта зависть ко мне, она всегда была против меня, всегда источала яд, лишь только я появилась здесь с моим супругом. Она уже подыскала ему было жену, которую могла бы подчинить себе. Моя молодость и неосмотрительность (я еще не знала тогда, как она может руководить Октавианусом) были причиной того, что я резко с ней спорила, желая быть супругой и императрицей. Старая няня Гризельда, выкормившая еще Октавиануса, рассказала мне о старой императрице и ее

легкомыслии, о ее распутной жизни в молодости, о ее похождениях и многочисленных любовниках, о том, как старый император, пылая ревностью, ругал ее на чем свет стоит перед своим Советом. Я была горяча, и однажды во время ссоры, то, что мне недавно наговорили, выскочило у меня в разговоре — в присутствии императора. И я увидела, как она поклялась мне навредить. У меня не было оружия против коварства, и вот ей удалось ввергнуть меня в бездну.

Диана. Здесь один человек, он хочет вас видеть.

Фелицитас. Я лишилась всяких признаков монаршего величия, я не могу ответить — нет; дабы ущемить меня. Сюда позволено входить любому подданному, всякому глупцу и злорадствующему холопу; все они могут войти в мою печальную тюрьму.

Входит Аполлотор.

Аполлотор. Дражайшая повелительница...

Фелицитас. Не насмехайтесь над бедной неповинной женщиной. Этот титул более мне не принадлежит. Пусть для вашего злорадства достаточно будет одного моего вида.

Аполлотор. Вы ошибаетесь во мне, благородная госпожа. Я бедный человек, преданный вам с давних пор, я тот, кого ваша сострадательность и милосердие выкупили из пиратского плена. Я оплакивал день и ночь вашу судьбу, которую предвидел заранее, но не мог ничего изменить.

Фелицитас. Кто ты такой?

Аполлотор. При моем рождении звезды располагались благоприятно, поэтому мне посчастливилось посвятить себя высшей науке: мне дано судьбой в многообразных знаках великой книги природы прочитывать будущее. Мне уже давно достался ваш гороскоп — сочетание звезд сулит счастье, это доказывает и ваша красота, и высокая добродетель, здравый ум и благородные качества души. Но вам суждены как будто и счастье, и долгая жизнь, — и всего одна звездочка остается для меня непонятной. Посему не откажите мне в просьбе и дайте посмотреть ваши ладони, — смогу ли я прочесть что-нибудь в их знаках.

Фелицитас. Что вы можете там прочесть?

Аполлотор. Всё — ваше счастье и несчастья. Вам суждена долгая жизнь и счастливая старость, и радость, которую принесут вам ваши дети; и только один час черного несчастья, против которого вы должны бороться, — если вы его переживете, вы победили.

Фелицитас. Не призывай меня твоими суетными предсказаниями, пустыми призраками твоего искусства сойти с того пути, которым я иду с таким мужеством.

Входит священник.

Священник. Мир Господень да пребудет с вами и с прочими. Простите мне, повелительница, этот печальный приход, стоивший мне

вздохов и тяжких рыданий. Я пришел позвать вас. Готова ли ваша душа расстаться с этим миром?

Фелицитас. Да, святой отец.

Священник. Да придет к вам желание таинством исповеди снять последний груз с души, воспринять сладостные дары Христовы, получить отпущение ваших грехов. Идемте же со мной. Вам остается малый срок.

Широкая площадь в предместье города

Толпа народа. Адраст и Никанор среди прочих.

Адраст. Что вы так напираете? Назад, люди!

Никанор. Не хватает места для прохода, весь город высыпал на улицу, чтобы видеть это печальное зрелище. О любопытство, как ты увлекло даже престарелых, хромых, больных и расслабленных, и не оставляло их, пока они не выползли за свои пороги, чтобы стать зрителями этой самой прискорбной из трагедий! А ну назад, безмозглые людишки! Эй, калека, что ты так бесстыдно рвешься вперед?

Хромой. О добрый господин, позвольте мне, бедному человеку, стоять здесь, сиятельная госпожа была нашей милосерднейшей благодетельницей, она жалела нищету, она относилась к нам, как святая. Я хочу только разок взглянуть на нее на ее последнем страшном пути. Ведь даже слепые и немощные старики вылезли сейчас вперед, чтобы еще раз ее приветствовать.

Адраст. Пусть они стоят здесь. Кто сейчас может удержаться от слез?

Никанор. Когда ее не станет, мы лишь тогда поймем, что потеряли.

Адраст. Октавианус более слеп, чем этот нищий, который там стоит и ищет солнце пустыми глазницами. Он потерял сам себя, он не принял ни одной нашей просьбы, он слушает только свою фурию, которая науськивает его на самые отвратительные убийства.

Никанор. Я эту ночь усердствовал в молитве, и все божье представил Богу.

Адраст. Она идет. Смотри, христианин, она идет сюда, как невинная овечка, поддерживаемая плачущими фрейлинами.

Никанор. Посторонитесь, люди!

Все. Посторонитесь, дорогу!

*Фелицитас входит, опираясь на Диану и Клорис,
священник сопровождает ее.*

Адраст. Смотри, как нищие тянутся к ней.

Никанор. Как вдруг стало тихо, слышны только рыдание и тяжкие скорбные вздохи.

Фелицитас (*обращаясь к нищим*). Вы еще раз собрались около меня, до сих пор мне было строго запрещено видиться с вами, часы моей жизни истекли, пусть вам в будущем живется благополучно, вам счастье и судьба нанесли глубокие раны, меня оплакали бесчисленные скорби умирания, я сейчас не могу вас одаривать милостыней, возьмите эти украшения, как подарок на память.

(Затем фрейлинам.)

Не плачьте, не плачьте обо мне, подруги, час настал, мы должны расстаться. Уже давно мой дух стремиться прочь отсюда, сейчас моему телу предстоит последнее страдание, затем я должна обрести вечный покой. Прощайте, вспоминайте меня с любовью, вы обе, вы остаетесь, будьте же набожны и добры, и мы увидимся вновь в лучших краях.

Священник. Ныне с твоей главы упадет земной венец, он становится бранным воспоминанием, и его сияние и светлый блеск были подобны холодному камню. В награду же ты обретаешь венец небесный, который возвысится над любым глумлением, Господь принял в царствие свое чистую деву, пред взорами всех он избрал ее себе, дабы она имела жизнь в Его величии. Двое младенцев, еще не видевших мира, возносятся вместе с нею, просветленные, к свету. Они только пришли, и уже спешат отсюда. Блажен, кто скоро возвращается туда, откуда мы все родом! Легко тогда суд, и да свершится Божья воля.

Фелицитас. О!

Падает без чувств.

Клорис. Что с вами?

Адраст. Что случилось?

Священник. Она упала в обморок, потому что вдруг посмотрела вверх и увидела огромный костер, который уже зажжен.

Никанор. Я глупец, — хотя дети должны умереть вместе с ней, я все-таки должен был уберечь их от ушибов при этом ее падении.

Диана. Она приходит в себя.

Фелицитас. Где я? Что со мной было? Ах, как я одинока, в этой гуще людей, среди чужих! Я не нахожу того, кого ищут мои глаза, а там этот устрашающий, жуткий огонь, который тянет ко мне свои красные языки! Я хочу еще раз его увидеть и сказать ему: «Прощай!» — и сказать, что я прощаю ему и всем моим врагам. Нет, я не могу, не могу умереть, пока его не увижу.

Адраст. Назад! Подайтесь назад! Император идет!

Никанор. Дорогу, эй, дорогу! Прочь!

Входит Октавианус.

Октавианус. Как, ты еще жива, Фелицитас, к Нашей скорби? Почему вы медлите привести приговор в исполнение? Палачи стоят в стороне, словно объятые страхом, по всему полю одни сплошные рыдания, вой

и плач женщин, старцев и детей, тучи небесные гремят громом, осуждая Наше тиранство и несправедливость. А посему — признайся во всеуслышание в содеянном и после умри.

Фелицитас. О мой супруг — нет, не супруг, — мой повелитель! Нет, не повелитель, ибо повелителю подобает быть милосердным, и его я могла бы умолять, могла бы искать у него снисхождения, — так как же мне назвать тебя, Октавианус? Ты прежде был мне супруг, мой повелитель, мой император, теперь ты — огонь, который в гневе меня истребляет; ужели тебе так нужна моя бедная жизнь? Или супруга несчастья слишком долго была с тобой? О, пусть Бог будет моим свидетелем, Бог-Отец и Бог-Сын вместе, и Божественный Свет, если я и знаю, что в чем-либо грешна, — то, что я тебя слишком пылко любила, и то, что ты был для меня всем — и храмом, и алтарем, — это забывалось, когда я отдавалась твоей любви, грешница забывала о святом причастии, едва лишь она могла ощутить твои губы, и если я видела тебя во время святой мессы, — для меня было блаженством в твоих объятиях заново проживать жизнь, полную Любви. Вот так я здесь исповедала мужу все грехи, с разверстым, израненным сердцем, и прощение пролито как освежающий бальзам. Но более я не чувствую себя виновной, и ты прости меня, за то, что я слишком глубоко тебя любила, что слишком поспешно, слишком сильно распахивала душу, и я за то прошу тебе мою смерть.

Октавианус отворачивается.

Фелицитас. Не отворачивай от меня своего лица, даже в этот последний горестный час, ведь я это лицо больше никогда не увижу. Глаза, вы ли — те светочи, что сияли мне прежде? Теперь только огонь рдеет в вас тем отблеском. О уста, эти губы, две прекрасные сестры, вы забыли все сладостные поцелуи, нежные слова, слетавшие с вас таким прелестным шепотом, что воздух едва-едва колебался? Ужель все эти нежные духи мертвы, и лишь приказ умереть может выйти из ваших румяных недр? (*Бросается на колени.*) Мой Октавианус, я даже в самой смерти, даже умирая, не в силах расстаться с тобой, мое сердце хочет выскочить из груди, — ты не чувствуешь в своей груди хотя бы слабое эхо моего страдания? Да, ты склоняешь голову, твой взор хочет смягчиться. Возлюбленные очи, погасите этот огонь, который грозит сжечь меня и детей, ни в чем не повинных. Ах, то, что ты стоишь передо мной, — это было моим желанием, и теперь я не одинока; какое еще пожелание могут теперь произнести мои дерзкие уста? Протяни мне руку, такую дорогую для меня руку. Да, я чувствую то же биение, ту жизнь, ту теплоту, которые в крови у каждого значат одно — любовь. Смотри, мои слезы падают на этот перстень, и этот алмаз разве не блестит, как слеза? Я, обручаясь, надеваю его на палец, — ты даешь мне этот кровавый рубин. Тогда, — ах, чтобы мы не смогли вынести столь великого счастья, — тогда, в лесу, разгоряченный охотой, среди сладост-

ного шелеста деревьев, где волны ручейка, догоняя, лобзали друг друга, где земля и небо, и свежая зелень, обнявшись, как мы, застыли в одном созвучии, тогда, — иль тебе неведомо, как ты меня умолял, как трогательно упрасивал, так что я плакала? Ты умрешь, — так ты клялся, — если я не буду к тебе благосклонна, я любила тебя, ты был мой, я была твоею. Я не знала никаких задних мыслей, никакого недоверия. Мы боялись родителей, и ты в упоении поклялся самой священной из клятв отважно защищать мою плоть и мою жизнь, со всей мощью, не щадя своей плоти, жизни, крови и души. Ах нет, это было не так, ты просто спал, а сейчас проснулся. Однажды, когда я всего несколько недель была твоей женой, и мы не так давно вернулись домой из нашего путешествия, меня ночью напугал тяжкий сон, я видела бушующее пламя, и какие-то неизвестные люди угрожали мне, я должна была умереть и притом мучительнейшей смертью, я громко кричала, ты разбудил меня, и как восхитительно было после смертной муки снова найти любовь в твоих объятиях. Сейчас ты проснулся иначе, наводя ужас, от твоей любви, от твоих объятий я должна свергнуть себя в огненную гибель. О нет, ты не можешь это сделать, ты не хочешь это сделать, заблуждение обьяло тебя, — это же я, и я умоляю тебя, твоя Фелицитас, твоя жена, позволь мне жить, поверь мне еще раз, сошли меня, изгони в пустыню, но не дай умереть сейчас! О, моя сладостная жизнь! Хочешь ли ты меня умертвить, могу ли я в это поверить?

Октавианус. Пустите меня отсюда! Куда мне бежать?

Поспешно уходит.

Фелицитас. Он не видит меня, он не слышит мои мольбы.

Адраст. Что с ним произошло?

Уходит.

Священник. Наш монарх выглядит очень расстроенным.

Клорис. О дай Боже, чтобы твои слова дошли до его сердца.

Диана. Огонь погас, среди зноя вдруг полился бурный и освежающий дождь. Это счастливое предзнаменование!

Клорис. Народ громко шумит вокруг костра, они радуются, что дождь погасил огонь.

Адраст возвращается.

Никанор. Что с тобой, друг?

Адраст. Я до сих пор никогда не видел, чтобы, подобно потокам, сокрушающим плотины и дома, лились слезы из стесненной груди. Так сидит там император, являя собой образ статуи, из глаз которой бьют два обильных ключа. Он не в себе — он ударяет себя в грудь, рыдает и хочет извести себя в этой скорби. Кажется, что все страдания, неделями, месяцами копившиеся в нём, теперь выходят слезами и уносят с собой его жизнь.

Фелицитас. Он так плачет обо мне? И хочет разорвать мне сердце.

Адраст. Среди громких рыданий, которыми прерывалось каждое его слово, он приказал мне передать вам, благородная госпожа, что он никоим образом не жаждет вашей смерти, и что вы можете взять коня, некоторую сумму денег, охрану, и удалиться в чашу лесов.

Клорис. Хвала Господу!

Диана. О радость!

Священник. Ну, теперь мы повеселимся!

Адраст. Я таким никогда не видел ни одного человека, его жизнь словно расколота, и сквозь разлом хлещет наружу волнующийся и нескончаемый поток. Я сейчас возвращаюсь к нему. Он все еще любит вас, он предпочитает от вас отдалиться, и это будет лучше для безопасности и спокойствия вас обоих, ибо подозрения могут вновь пробудиться в его сердце. Прощайте, олицетворение женского благородства, и благо, и счастье, и ангел Господень да пребудут с вами.

Уходит.

Фелицитас. Он тронут, и все же он хочет меня изгнать.

Никанор. Позвольте мне, дорогая госпожа, быть тем человеком, который сопроводит вас до границы.

Фелицитас. Мне хорошо известна благородная верность, которую ты всегда хранил ко мне в твоем сердце. Прощайте, девицы, я ныне отправляюсь далеко. Куда? Об этом знают лишь светила моей судьбы. Разделите между собой то, что я оставляю, и думайте обо мне так, чтобы вам не было нужды поминать лихом бедную женщину, которая едва лишь родилась на свет, а судьба уже заготовила ей свои козни. Вспоминайте меня в мои лучшие дни, я поистине грешна, но вы можете сказать, что я неповинна в том, что на меня возводят.

Клорис. О, благородная госпожа!

Диана. О, прекрасное, великое сердце!

Клорис. Кто сможет пережить такую боль?

Входит Пасквин.

Пасквин. Костер потушен дождем, и народ разбежался по щелям, чтобы не попортить свои наряды, и наш император сильнее, чем тучи, пролил дождь из своих глаз, и этот дождь потушил его гнев, и наша императрица прощена. Но все-таки, признаться по правде, что-то странное происходит в нашем мире. Сначала император не встает с колен, почти все семь лет, велит во всех церквах молиться за себя, посещает святые места, советуется со всеми докторами в стране, как бы ему обзавестись ребеночком. И вот он получает сразу двух; и тут же они должны, вместе с их мамой, быть брошены в пламя. Затем он наконец прощает ей то, что она родила на свет этих деток, но отправляет ее в какую-то лесную дыру, кишашую

разбойниками и дикими зверями, и там они пусть живут себе, как могут. И кроме всего прочего, прекрасные дрова в костре так намокли, что какого-нибудь следующего бедного грешника, приговоренного к сожжению, теперь тоже придется помиловать.

Уходит.

Деревня

Крестьяне и крестьянки, пришедшие на свадьбу.

Приходской священник. Куда запропастился жених?

Пономарь. Он за тем столом, что там наверху, разговаривает с каким-то паломником.

Крестьянин. Пусть свернет себе шею всякий, кто приходит на наш пир, чтоб нам мешать!

Священник. Чтоб я больше подобного не слышал, он идет из святого града Иерусалима.

Крестьянин. Может быть, этот молодец собирается всё здесь вынюхивать и наставлять нас благочестивыми речами? Только это всё не для свадьбы!

Священник. Ты в самом деле злобствуешь, как бес, хмель тебе ударил в голову.

Крестьянин. Господин священник, это — злой поклёп, и не будь вы служителем Христовым...

Пономарь. Видите ли, любезный господин землепашец, люди порой произносят такие слова просто в шутку, да и кто примет такое близко к сердцу?

Священник. Да, нам всем сегодня весело, и случается, с языка само собой что-нибудь сорвется.

Крестьянин. Пусть будет так, но давайте избегать слов, позорных для нас и нашей чести. Пусть каждый придерживает язык, не то дойдет до ссоры, а там и до драки.

Священник. Вот это по-христиански, так говорит тот, кто мудр, хорош и трезв. За ваше здоровье и за перемены к лучшему!

Крестьянин. Дайте мне самый большой жбан, и я заткнусь окончательно. За ваше здоровье — вот мой ответ! За ваше благополучие, господин священник, ура!

Священник. Окажите мне честь и позвольте пожелать вам того же.

Входят Хорнвилла и паломник Клеменс.

Клеменс. Вы оставляете невесту одну слишком надолго.

Хорнвилла. Когда я вступаю в беседу, я должен позабыть о питье, еде и сне, ну, и о свадьбе тоже.

Клеменс. Вы забавный малый.

Хорнвилла. Самая большая радость для меня — валять дурака, устраивать выходки, отпускать соленые шуточки, когда мне это предлагают, все самое лучшее становится для меня пресным.

Клеменс. Но другие гости сердятся на это.

Хорнвилла. Видите ли, они простые люди и ни за что не хотят отвечать, священник и пономарь сидят весь день, не сходя с места, и наливаются без разбора хорошим и дрянным вином, отдают ему такую же дань, как и остальные, не собираясь ни за что отчитываться. Вы же — человек, достигший зрелости, это видно всем по вашему разговору, такие люди мне приятны, я всегда их охотно привечаю, вы умеете скоротать мое время, усладить его занимательной беседой, вы рассказываете мне о Гробе Господнем, о знаменитых чудотворных образах, вдобавок вы держите в памяти забавные истории, занимательные шуточки, вы человек достойный и вместе с тем наполовину шут; вот вы смеетесь и тут же смотрите серьезно, у вас из-за плеча всегда выглядывает чертенок, и потому вы для меня лучший товарищ. Невеста и так от меня никуда не денется, будет со мною и ночью и днем, так что я с вами хочу побольше побеседовать.

Клеменс. Но я не могу долго жить здесь в своё удовольствие, мне нужно будет скоро садиться на корабль, судно уже стоит у берега, на нем для меня приготовлено место, среди прочих честных паломников, которые приготовились к отплытию обратно в итальянские земли, хорошо зная Рим и Тоскану, я отправлюсь затем через Ломбардию прямо в Париж, где я живу с женою и детьми.

Хорнвилла. Почему же вам взбрело в голову скакать из страны в страну, как обезьяна? Что вам понадобилось делать в Святой земле? Почему вы не остались спокойно сидеть на своей заднице, спать под боком у жены, утирать носы детям, командовать слугами, следить за порядком в хлеву? Закалывали бы зимою свиней, ели свежую колбасу, пили прохладное вино! Зачем вам нужно было все бросить?

Клеменс. Разве наш Спаситель не родился в Палестине, разве на тамошних полях еще не виднеются следы Чуда? Представьте: вы живете по соседству с ними, а там — горы Ливана, с их святителями, с их монастырями, и вы можете легко посетить каждую из святынь.

Хорнвилла. Я посвящу свою жизнь не этому, это годится только для попов, ленивых лежебок, а сейчас к тому же у меня молодая жена, и времени на такое вовсе не найдется.

Клеменс. Но есть такие, которые думают о высшем, которые обращаются мыслями к небу, они хотят вести богоугодную жизнь и устремляться к вечному благу, как колючки оставляют красные пятна, так и грех пятнает каждого из нас, и паломничьи посох и сума служат для того, чтобы смыть эти пятна.

Хорнвилла. Какой гордец! А разве у вас не такой взгляд, как у того, кто запятнан грехом, с вашей вытянутой физиономией и жидкой

бороденкой? Я не верю, что вы до сих пор соврали хоть что-нибудь путное, выменяли что-нибудь стоящее в плутовской сделке, что вы никого не изнасиловали, что вы, как говорится, нигде воды не замутили, под строгим и должным присмотром может вырасти худенькое и тихое дитя, а уличный мальчишка носится там и сям, как слепой или сумасшедший.

Клеменс. О, дорогой мальчик, должен вам сказать, что в молодости я был буйным парнем, изведал многое, словно среди карнавала. Что вы мне можете предложить, — я говорю о пороках, сквернословии, блуде, — чего бы вам не удалось отыскать во мне? И половины тех отвратительных дел в справедливой войне, ради победы христианского воинства, как все знают, не совершает мужественный воин, так что даже и в лучших своих свершениях он не сможет оправдаться перед Богом. Вы совершаете подвиг, вы совершаете нечто великое, но вы — люди, и остаетесь по эту сторону горы. Давайте лучше прекратим эти речи и поговорим о чем-нибудь другом, ведь благочестивый человек никогда не должен разглашать свои грехи, невольно воздавая им похвалу. Вы обзавелись молодой женой; я редко встречал подобную ей раньше; она статная, стройная и веселая, на вашем месте я бы чувствовал себя не лучшим образом; вы, признаться, несколько уродливы, на лбу глубокие морщины, вы горбаты, да к тому же косите; и если вы когда-нибудь нащупаете у себя на голове очень заметные рога, никому не покажется чудом, что она, воздавая вам должные супружеские ласки, за вашей спиной шутила шутки с другим.

Хорнвилла. От этой угрозы есть одно средство: крепкая, длинная, суковатая дубина, и, пока это снадобье найдется в лесу, до тех пор я буду уверен в своей жене. Неужто я должен жаловаться и мучить себя, если я могу действовать кулаками? Для супружества нужна палка, как для чернильницы — промокательный песок, как для жаркого — запеченные сливы, как для здоровой пятерни — большой палец. В супружестве, как вы знаете, на первом месте должен быть некий инструмент; но на втором месте у меня дубинка, или жердь; а может быть, я сделаю и ременную плетку, — тут дело вовсе не в том, как это будет называться.

Клеменс. Но я в вас, с головы до пят, не могу найти ни капельки привлекательности, но ведь пламя любви должно разгореться, как же иначе полюбить друг друга?

Хорнвилла. Вы искусный говорун, но плохой шахматный игрок; значит, высокий рост, взгляд, стройные ноги — то, что ослепляет женщин и пробуждает в них любовную страсть? Если я немного хром, если мои глаза косят, если моя спина сгорблена, так ведь у мужчины есть другие качества, которые ему, клянусь, гораздо нужнее, чем стройные ноги, прямой стан и взгляд, чарующий любовью, эти качества привлекают самых черствых, и женщины умеют их вынюхивать, ни одна женщина, — я убежден, — не ищет вслепую, и ни один мужчина не сумеет провести ее на мякине. И часто вы видите, что смазливая мордочка не привлекает внимания жен-

щин, и часто терпит неудачу тот молодец, которого превозносят больше всех мужчин; а вот уroda, недалекого и с несносным характером женщины любят всей душой.

Входит лодочник.

Лодочник. Не желаете ли сесть в лодку? Похоже, устанавливается попутный ветер.

Клеменс. Прощайте, я еще раз говорю вам спасибо, за приют, доброе угощение и хорошую выпивку. Хотелось бы одного — иметь случай вас отблагодарить.

Хорнвилла. Примите мое почтение, но Париж я, скорей всего, не увижу никогда. Аливус, подойди, поцелуй гостя на прощанье.

Входит Аливус — невеста.

Клеменс. Живите счастливо, дай вам Бог здоровья и веселья, а в скором времени — и прибавленья.

Хорнвилла. Посмотрим, как получится.

Клеменс. Это получается легко, когда люди любят друг друга.

Идет за лодочником.

Хорнвилла. Подойди, Аливус, и сядь вот здесь, я теперь буду, голубка моя, только с тобой.

Священник. Куда хочет отправиться этот благочестивый человек?

Хорнвилла. Он думает сейчас направиться в Италию, славный муж, мудрый и разумный, он совершает это путешествие ради добродетели, он много пережил и много перенес.

Священник. И он уже в порядочных летах.

Хорнвилла. Пусть музыка заиграет снова, давайте снова завертимся в пляске, веселитесь, люди, а то станет слишком поздно и придется лечь спать.

В лесу

Мальхус, Понтинус.

Мальхус. Где Роберт?

Понтинус. Он ушел на ту сторону вслед за нашими товарищами, они там вроде кое-что почуяли.

Мальхус. Опять у них ничего не выйдет; в теперешнее время дела для настоящих мужчин идут все хуже и хуже.

Понтинус. Ни одна душа не проезжает больше через этот лес; уже восемь недель у нас не было никакой работы.

Входит Роберт.

Роберт. Что вы здесь торчите и гоняете лодыря? Пошли за мной. Абрахам видел по ту сторону горы проезжающего — это точно!

Мальхус. Наконец хоть один!

Роберт. Да, теперь самое время, у меня нет больше ни гроша за пазухой; получается, что у нас, рыцарей удачи, самая невеселая жизнь в мире. Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, с отчаянья снова станешь честным человеком.

Понтинус. Это было бы уж слишком.

Роберт. Не зевайте. Ваше снаряжение в порядке? Готовы ли ваши чётки, чтоб прочесть молитву, если дьявол кого-нибудь сюда принесет?

Мальхус. Мы всегда, как настоящие парни, готовы на любые дела.

Уходят.

Фелицитас. Никанор.

Никанор. Я исполнил свой долг провожатого — вот он, лес, до этой опушки мне выпало быть с вами. Прощайте, я по-прежнему называю вас повелительницей, мое сердце обливается кровью, когда я должен расставаться с вами, и пусть отныне вашим провожатым будет Отец наш небесный.

Фелицитас. Так вы должны идти? Вы должны бросить здесь меня и моих бедных малышей? И вы не можете довести меня до безопасных населенных мест, до какого-нибудь города, который, без сомнения, отсюда очень далеко?

Никанор. Моя воля крепко связана присягой, я был бы клятвопреступником перед моим императором и перед Богом, если бы не захотел возвратиться с этого рубежа.

Фелицитас. Вы стары, — старость делает нас боязливыми, и я вам охотно прощаю, — но когда я думаю о молодых рыцарях, которые много раз побеждали в турнирах, принимали награду из моих рук, восхваляли мою красоту, во всеуслышание объявляли, что совершат любой подвиг ради моей чести, — ведь никто из них не осмелился произнести хотя бы словечко.

Никанор. Им всем закрыло рты свидетельство, произнесенное императором.

Фелицитас. Помоги мне сесть на коня, мне с моими детьми; прощай же, возвращайся благополучно в город, с пятью рыцарями, взятыми для моего сопровождения; до сих пор с нами не случилось никакого несчастья; но вы уезжаете, и появляется опасность. Передай привет от меня императору, скажи ему, что я всегда буду ему верна, буду любить его до самой смерти, и что когда-нибудь он узнает, как меня оклеветали.

Уходит.

Альберт, двое слуг.

1-й слуга. Кони, господин рыцарь, накормлены. Вам угодно сесть в седло?

Альберт. Плохая дорога — ни одного постоянного двора, куда можно было бы завернуть и дать себе отдых. И лошадям, и людям это не пойдет на пользу. Признаться, меня страшит езда в таком диком лесу. Моя жена дома тоже станет беспокоиться.

2-й слуга. Я вознесу Богу хвалу, когда эта чащоба останется позади. Пустыня, заросшие тропы, рев диких зверей — все это наполняет сердце ужасом и поднимает волосы дыбом!

Альберт. Но мы должны пересечь этот лес. Поезжайте оба немного впереди меня, так мы лучше сумеем осматриваться вокруг.

1-й слуга. И то правда, так вам будет чуть поспокойнее, господин рыцарь.

Уходят.

Фелицитас (*с детьми*). Я отпустила коня пастись без узды, здесь прекрасное место, поросшее зеленым клевером, везде рассыпаны золотистые цветы, и среди затишья слышно легкое журчанье родничка. Здесь я положу я вас, мои детки, среди цветов, я улыбаюсь им, они смеются в ответ, их румяные ротки и блестящие глазки светятся в траве, сами как прекраснейшие из цветов. Дайте я вас еще раз поцелую, прелестные птенчики, поспите немного, а потом я вас снова покормлю грудью. Боже мой, как всё здесь красиво, мне кажется, я никогда прежде не видела такого чудесного уголка, прозрачные воды и зеленая лужайка, очаровательный пригорок и лазурь неба, перешептывание цветов и одиночество, — все это охватывает мое сердце умиротворением. Как прекрасен Божий мир! — мне часто мечталось, часто хотелось в юности, — вот так найти уединенное местечко в лесу, и там, в совершенном безлюдье, даже без друзей, почувствовать сполна, что такое одиночество, видеть дикие скалы так, как я вижу их сейчас. Как чудесно, что мне довелось попасть сюда! Куда бежите вы, прелестные, быстротечные воды? Вы как будто спешите передать восточку чьему-то опьяненному любовью слуху, который поджидает ваше журчанье, чтобы приветствовать мелодичный бег ваших кругами расходящихся волн. Мои дети со мной, — и вот, я счастлива в несчастье. Какое сладостное веяние весны исходит от этого дерева, под которым я нашла приют, от его цветущих ветвей! Мотыльки порхают на солнце, и некий блаженный дух нисходит на меня в этих ароматах, принося желанный покой.

Засыпает.

Сон спускается с дерева.

Сон. Я спускаюсь с верхушки дерева, я мальчик, мое имя — Сон, я живу там, наверху, среди цветов, а запахи — моя сладкая могила. Где расплываются их нежные волны, там и стоит мой дом. Пчелы знают, жужжа в весенних лучах, где можно найти мое дыхание. Там, где человек по-настоящему страдает, и чувствует себя пропавшим, негодует на судьбу, на

самого себя, на всей земле не может получить доброго совета, там появляюсь я на своем кораблике, подплываю нежно и неслышно; он увидит мои светлые кудри, потреплет их и мирно уснет. Эту несчастную, глубоко обиженную, с детьми на руках, я бы так охотно сам защитил, но увы! У меня так мало сил. Я не могу охранять ничем более, кроме как шевеля листья, волны, ветерки, так, чтобы они все восклицали одно сладостное: ах! И они стараются изо всех сил выполнить мой нежный приказ, пока чудный сумрак не устает прокрадываться в душу. Как со всех сторон встает очарование, как льются мелодии, проникая в сердце чудесными звуками! Я хочу поцеловать их глазки, вот сновидения толпятся на краю этого источника, и каждая его волна, приукрашивая, отражает лик Любви. Как мать, так и дети видят сон об одном и том же: на них тень от вечерних облаков, а они видят радостный водопад. Матери любят во сне то, что, проснувшись, не могут узнать, ибо только лишь в сладостной дрёме завязываются так тихо узы любви. Но что вдруг гонит меня? Что за чудовище меня преследует? Я желал добра, но нет! Несчастные, вам не удалось поспать!

Взбирается на верхушку дерева.

Входит Этическая Поэма.

Когда мать спала на травке около прохладного ручейка, и сладостные шорохи пробегали среди лесных цветов, из зарослей вдруг вышла громадная обезьяна, неизвестно как попавшая сюда, она сразу увидела мать и детей под деревом, ей до того приглянулся один из малышей, так прелестно спавших, что у нее разыгралось желание, и она похитила этого ребенка. Она проворно ухватила его, бежала вместе с ним вглубь леса, пока не очутилась в густых зарослях кустов, на зеленой полянке. Там обезьяна присела, захотела увидеть ребенка голеньким, и, развернув пеленки, осторожно опустила на землю. Когда это ей удалось, и дитя, обнаженное, лежало перед ней, она села рядом с ребенком, вытянув губы, оскалила перед ним зубы, думая, что улыбается, как мать, и что мальчик должен улыбнуться в ответ. Но он начал громко кричать, так что было слышно по всему лесу. Женщина покоилась в нежной дремоте, когда через лес проходила львица, и, увидев второго ребенка, также ухватила его в свою пасть. И лишь только львица это сделала, как императрица пробудилась и пришла в себя от глубокого сна. И увидела собственными глазами, как огромный и сильный зверь ухватил дитя своею пастью и умчался с ним в один прыжок. И, подумав, что другой близнец уже раньше был растерзан, горестно возопила: «О, злая судьба, что ты со мной сотворила? Мне открылось то, что лишь теперь начинаются мои мучения!» Дав Господу клятву всеми силами души, что она по крайней мере отомстит львице, несчастная императрица разнуздывает коня, вскакивает на него и мчится вослед за львицей так быстро, как только может скакать ее конь, но не может ее догнать, ибо львица со своею ношей сразу исчезает из ее глаз в чаще леса, и, оказавшись в густых зарос-

лях колючих кустов, она поневоле прекращает преследование. Но львица вскоре раскаялась в том, что натворила ее шаловливость, ибо из поднебесья ей прямо на загривок упал камнем когтистый гриф. Как молния, пал он с неба, подхватил львицу вместе с ребенком и понес их в воздухе. Львица не могла пошевелиться, ей пришлось терпеть жестокую боль, а гриф, не уставая, махал крылами, летел над морем и над сушей, его гигантские крылья простирались над горами, лесами, утесами, долинами, пока он не долетел до острова, лежавшего в отдаленнейшем море. Остров был уединенным и диким, необитаемым и голым, одни сплошные скалы, окруженные водой. Здесь гриф начал снижаться, направляя вниз взмахи крыл, ибо здесь было его жилище. Он грубо сбросил из когтей львицу. Она же в яростном гневе так набросилась на грифа, что своими зубами напрочь перекусила ему лапу. Пал гриф на землю, как только боль скрутила его, он защищался, как только мог, нанося жестокие удары и крыльями, и когтями, и своим страшным крючковатым клювом, но ничего не смог добиться, — львица его, столь неистового, сумела успокоить. Он уже больше не двигался, его, несчастного, всего изломало. Львица решила им пообедать, ну, а ребенку это все не причинило вреда. Когда львица насытилась, она легла, вытянувшись рядом с ребенком, точно он был ее львенок в ее пещере. И дитя, искавшее молока, у львицы, лежавшей так близко, сосало, как из материнской груди, и чудесным образом насытилось. Когда львица накормила мальчика, она выкопала острыми могучими когтями логово в скалистой почве, укрылась от солнца и взяла мальчика к себе. Дала ему свои сосцы, потом соорудила ему ложе из своей собственной гривы, она была голодна и съела часть туши грифа, которая валялась тут же. Как же теперь будет убиваться мать в заброшенном, диком лесу, где ее воплям будут отвечать только деревья и скалы? Однако пьеса идет дальше, и я, Романс, сейчас ухожу, наберитесь как следует терпения и дайте духам свободу действовать, как они хотят. Эти сцены следовали без всякого порядка, но вот властная рука вмешивается, и все то, что выглядит разделенным, на глазах у всех связывается воедино.

Уходит.

Двое слуг.

1-й слуга. Мы здесь торчим уже порядочно, а он все никак не идет.

2-й слуга. Не знаю, где он запропастился. По мне, было бы лучше повернуть назад.

1-й слуга. Вот он!

2-й слуга. Что у него в руках?

Входит Альберт с ребенком на руках.

1-й слуга. Мы тут из-за вас очень переволновались, господин рыцарь, а тут вы являетесь и приносите голенького младенчика.

Альберт. Посмотрите-ка, это чудесный мальчик, поистине самый прекрасный из всех, кого я видел в своей жизни, он похож на розу. Я его возьму для моей хозяйки, и мы окружим его заботой и воспитаем по-христиански.

1-й слуга. Как же вы наткнулись на этого мальчика в таком диком лесу?

Альберт. Это случилось чудом. Я ехал вскачь за вами и во все глаза смотрел по сторонам, опасаясь диких зверей и разбойников. И вот я заметил, что в траве что-то шевелится. Подъехал ближе и вижу, что это сидящая обезьяна, скалящая зубы перед голеньким ребенком. Она скалится и итак, и эдак, думая, что улыбается, поднимет то одну лапу, то другую и гладит ребенка по лицу, а тот закатывается в плаче, не желая видеть морду обезьяны. Когда я увидел, как эта тварь обходится с ребенком, я тут же подумал, что должен его от нее избавить, мигом, не слезая с коня, подъехал ближе и крикнул, что есть силы: «Эй, госпожа обезьяна! А ну, оставь ребенка, что ты задумала с ним сделать?» Едва обезьяна меня увидела, она тут же оставила ребенка, свирепо набросилась на меня, и, почти стацив с коня, вырвала порядочный кусок моей одежды. Тогда я подумал: позволено ли обезьяне, пусть и столь громадной, шутить со мной такие шутки? Вытаскиваю меч и наношу такой удар, что отсекаю ей правую руку у плеча. Когда моя обезьяна увидела, что лишилась правой руки, она подскочила, точно взбесившись, вверх на десять футов, между тем как мой конь взбрыкнул так неистово, что у меня помутилось в голове; к счастью, он попал обезьяне по ляжкам, так что она упала. Я сразу вскочил, быстро отрубил обезьяне голову, поднял ребенка и завернул его в мой плащ, обрадовался его красоте, сел на коня и поехал к вам, — вот так все и произошло.

1-й слуга. Чудо из чудес! Хорошо, что вам пришлось иметь дело с одной обезьяной, а не с разбойниками и душегубами.

2-й слуга. Чу! В лесу кто-то свистит.

Альберт. Если начинают говорить о волке, он обычно оказывается рядом. Не теряйте головы!

Роберт, Мальхус, Понтинус, Абрахам, другие разбойники.

Роберт. Эй! Вы там! Кто вы такие?

Альберт. А вы кто такие, что смеее приставать к нам с подобными расспросами?

Роберт. Это мы тебе сейчас объясним, чижик. Сыпь сюда все деньги, которые у тебя есть, а не то спрашиваешься с жизнью.

Альберт. Кончена ли моя жизнь, знает только Господь. Денег у меня при себе нет, во всяком случае, чтобы давать их разным плутам.

Мальхус. Заткни ему глотку, Роберт.

Роберт. Ну-ка, давай сюда этого ребеночка, шельма, такого хорошенького, ты его наверняка похитил у какого-нибудь простофили.

Альберт. Нет, злодей, помолчи, и я вам всем расскажу, как отбил этого ребенка у обезьяны.

Мальхус. Ну, так мы отобьем его во второй раз.

Альберт. Ах вы, бесчестный сброд, ах вы, изменники! Я выйду против вас всех с оружием! На помощь, мои верные слуги, рубите их во имя Божье, чтобы только клочья летели!

Бьются на мечах.

1-й слуга. Прекратим это, господин, они слишком сильны.

Альберт. Как это проходимцы могут быть сильны! Рубите их, пока с ними не будет покончено!

Роберт. Ах ты, злодей! Смотрите, люди, как он разрубил голову нашему Мальхусу! Отнимите у него дитя, подобные молодчики крадут детей у князей, чтобы потом взять большой выкуп! Откуда еще он мог заиметь такое красивое дитя!

Альберт. Молчи, отродье! Я в честном сражении отбил его у обезьяны. Эй, слуги, от вас никакого толку, прикройте меня со спины, сильнее бейте, сильнее! Нет, с этими негодьями мне не справиться. Лежи, дитя, пусть Бог будет с тобою, я тебя не могу больше защищать.

Уходит со слугами.

Понтинус. Они вскочили на коней, стервецы. Догонять их?

Роберт. Пусть убираются к чертям. Главное, ребенок — наш.

Понтинус. Мы потеряли Мальхуса, отличного парня, к тому же и я ранен.

Роберт. Когда-нибудь мы все там будем. Что станем делать с ребенком? Он чудесный мальчуган.

Понтинус. Надо его разыграть в кости, кому выпадет лучший бросок, тому он и достанется. Три. Мне всегда не везет, а тут еще эта рана.

Абрахам. У меня ничего.

Один из разбойников. Двенадцать. Дальше.

Роберт. Всего шесть. Он мой. Но что мне делать с этим ребенком? Пойду-ка я на берег моря, там встречу какого-нибудь торговца, который покупает все товары, там, может быть, я сбуду этого малыша за хорошую цену. Вы, все прочие, делайте каждый свое дело.

Все уходят.

Сон. Как она печалится, бедняжка, потерявшая детей, исходившая все леса, она желает, чтобы они никогда не рождались. Думавший сделать всё, как лучше, и всё погубивший, я теперь мог бы кое-что придумать, чтобы ей помочь, чтоб ее утешить. Разве дикие твари — обезьяны, львы, должны приходиться за детьми? Она желает теперь умереть вместе с возлюбленным потомством. Я слышу вдалеке звук, — я спрячусь, — я не могу спуститься, и буду, как эхо, откликаться словами.

Прячется в скалах.

Входит Фелицитас.

Фелицитас. Я вижу, как мой конь пасется на лужайке. — (Эхо.) — *Жалко!* Что у меня осталось из того, что было прежде? — *Надежды!* Скажите, ветры, что же будет впереди? — *Найди!* Ах, как чудесно разносятся отзвуки в лесах, напоенных ароматами: жалей, надейся и, наконец, найди! Мне с милым сыном больше повидаться не придется. — *Найдется!* Свирепый лев его унес, схватив. — *Он жив!* Могу я верить, что исчезнет горе? — *В море.* Как прелестно утешает меня этот пустой отголосок; могу ли я надеяться? Неужели он остался в живых? И в море я найду конец своим бедам? Нет, эта скорбь никогда не пройдет! — *Вперед!* Что мне делать, что, скажи! — *Держись!* Коварный Сон меня завлѣк! — *Рок!* Он растерзал мое прелестное счастье. *Вперед! Держись!* — повторяет отзвук, скажи, бессильное Эхо, как мне преодолеть Рок? Да, вероломство предательского Сна отняло у меня все, что я имела, другим людям он дает убаюкать себя мечтами, а во мне его обман убил любовь и счастье. Злодейство воспользовалось мигом моей дремоты и ослепило обманом моего супруга, он возненавидел меня; но у моего сердца еще сосали грудь частички моего сердца. Но пришел Сон, одурманил мои чувства, я видела дитя, которое улыбалось моим детям, золотые кудри ниспадали с его головы, но, когда я очнулась от злого оцепенения, я увидела чудовище, похитившее моего ребенка, льва, с желтой гривой, прыжками умчавшегося оттуда. — (Эхо.) *Всѣ поправит чудо.* Нет, этот чудесный голос меня не привяжет к себе, я иду, чтобы найти моих детей или смерть.

Уходит.

Роберт с ребенком на руках. Понтинус, Абрахам.

Абрахам. Получается, что тот пожилой рыцарь говорил правду, потому что мы нашли в лесу мертвую обезьяну, у которой он и отнял ребенка.

Роберт. Так вы не идете на берег?

Понтинус. Вон там приближается лодка с людьми, ее спустили с корабля.

Роберт. Мне уже давно надоело таскать этого ребенка, я к такому не привык. Да, эти люди высаживаются на берег. Быть может, удастся вернуть выгодное дельце.

Абрахам. Эти младенцы — всегда сомнительный товар, на него нет устоявшейся цены, потому что они слишком маленькие. Вот если бы он был подростком, и кое-что умел, он был бы хорошей добычей.

Роберт. Ты всегда крепок задним умом. Вот если бы он был, да если бы был! Заткни свою пасть и печалься о своем.

Входят купцы и паломники, среди них Клеменс.

Клеменс. Хвала Господу, что я вновь чувствую под собой твердую землю! У меня в голове все кружится, от качки и волнения — туда-

сюда, туда-сюда, день и ночь, ночь и день! Нет, жизнь на корабле — это не по мне.

1-й купец. Мы, господин Клеменс, привыкли к подобным вещам более, чем можно сказать по нашему виду.

Клеменс. Ваше дело всегда при вас, мои дорогие господа, торговец всегда должен ездить повсюду, и морем, и посуху. Я же имею в виду то, что я никогда больше не совершу паломничества.

2-й купец. Вы и одним достаточно успокоили вашу совесть.

3-й купец. Я сегодня не вижу на берегу никого, кто бы вынес что-нибудь на продажу.

Роберт. Почтенные купцы, взгляните на этого чудесного ребеночка. Подходит ли он для того, чтобы его купить?

1-й купец. Покажите-ка его. Да, прелестный мальчик, благородного сложения, по своему виду он должен быть не из бедной семьи. Я боюсь только, по правде сказать, что вы, как это часто бывает, похитили его из дома какого-нибудь уважаемого человека.

Роберт. Нет, мой почтенный господин, мы получили его из рук одного рыцаря, который в глухом лесу убил дикую обезьяну.

1-й торговец. Ребенок хорош. Сколько вы за него просите?

Роберт. Вы наверняка еще не видели более очаровательного малыша, и поэтому четырнадцать крон не будет слишком большой ценой.

1-й купец. Позвольте, это неразумно, подумайте, каких трудов и расходов станет его вырастить, ведь ребенок требует еще столь долгого ухода. Первая сделка — всегда наилучшая, положим десять крон и на этом сойдемся.

Роберт. Господин мой, даже если бы я украл этого ребенка, это была бы не цена. Пожалейте хотя бы мои силы, ведь мне пришлось тащить его в такую даль.

Клеменс. Что только не случается в пути! Подумать только, дитя, прекрасное, как солнышко, нашли в лесу! Такие глазки, и личико, что у каждого сердце в груди засмеется! Я во всю свою жизнь не видел подобного ротика, и глазки, как звездочки на небе. Эй, всеобщее дитяtko, ты не с неба свалилось? Слушай, проказник, может, ты новорожденный ангелочек? Улыбаешься, мошенник? Улыбайся, тебе повезло, ты это прекрасно знаешь. У меня самого один такой сорванец дома, у моей жены. Из вас получится прекрасная парочка, неразлучная в играх. Скажите мне, друг мой, без лишних слов, вас устроит тринадцать крон? Этот малыш завладел моим сердцем.

Роберт. По рукам! Давайте деньги.

Клеменс платит.

Держите. С Богом!

Роберт. Пусть с вами будет удача. Счастливо возвратиться домой!

Уходит вместе с Понтинусом и Абрахамом.

1-й купец. Эге, господин Клеменс, видно, правду говорят, что вы богаты и щедры. Это должен быть великолепный товар, такого маленького размера и за такую высокую цену.

2-й купец. Удобство, господин Бальгазар, никогда не стоит слишком дорого. Господин Клеменс хочет уберечь себя от труда самому обзавестись ребенком, вот и покупает себе одного за наличные деньги и преподносит своей жене.

Клеменс. Смейтесь, смейтесь, почтенные господа. Я сумел вырвать это прекраснейшее в подлунном мире дитя из рук дикарей, и я обращаю ваше внимание на то, что, учитывая, насколько он прелестен, сумма была слишком мала.

1-й купец. Еще вопрос, согласится ли с этим ваша жена.

2-й купец. Ей придется утешиться, ибо то, что человек не может иметь даром, он должен покупать. Ну, прощайте, нам пора обратно на корабль.

3-й купец. Счастливого плавания.

Купцы уходят.

Клеменс. Дорогой господин, помогите мне завернуть ребенка в пеленки, потому что я не могу нести его дальше совершенно голенького.

1-й паломник. Готово, господин Клеменс, он запеленут, теперь несите его вот так, поддерживая головку, это лучший способ.

Клеменс. Большое спасибо! Нам, случайно, не по пути?

1-й паломник. Нет, я отсюда иду вверх, в Рим.

2-й паломник. А я вниз, в Неаполь. Прощайте.

Клеменс. Благодарю вас, и желаю вам благополучно вернуться домой.

Паломники уходят.

Клеменс (*один*). Я поистине старый дурак, совершенно не знаю, что делать с ребенком, и вот теперь он мой, и я должен с ним таскаться. Да, он выглядит таким прелестным, таким милым, дай я поцелую тебя, мальчуган! Давай поближе, я хочу вытереть твой носик. Вот так. А головка выпирает из пеленок, как тугое яблочко. Как теперь люди будут смотреть на меня? Ну, да что за беда? Нет, как они будут ко мне обращаться? Однако мне в пути придется тяжело, младенец пухленький и тяжелый, я уже чувствую, как жаба давит мне сердце, а ведь я об этом не просил! Но какими глазами посмотрит моя жена, и мой маленький Клавдиус! О, он так же хорош, как и этот. Да, это будет прекрасная пара, когда они будут играть вместе, как ангелочки. А все-таки у Клавдиуса нет таких глазенок. Клянусь преисподней, они светят передо мной, как две звезды! О счастливое дитя, тебя наверняка полюбит каждый! Я воспитаю тебя благочестивым христианином, если Богу будет угодно призвать Клавдиуса к себе, этот мальчик унаследует мой дом, двор и все остальное, а других детей у меня уже не будет. Да, сер-

дечко мое, ты будешь моим сыном, а я стану для тебя любящим отцом. Ведь ты потерял отца и мать? Ты — мой сын, мое сокровище. Мне нужно идти дальше. Да, путь будет нелегким, он тяжел. Но ведь ничего в этом мире не достается человеку без труда.

Уходит.

Фелицитас (*входит*).

Вот и море. Как оно безбрежно! Небо дымится брызгами клубящихся волн, тучи пробегают над бескрайней далекой гладью. Здесь я впервые ощущаю всё одиночество моей беды. Подойдет ли кто-нибудь ко мне, чтобы помочь, чтобы дать совет? Как мчалась я через леса, затем брела пешком, ведя в поводу утомленного коня, плача и стелая, и рвала на себе волосы! Я могла лишь наказывать себя — и не более. Я слышу голоса. Идут люди, и я вижу корабль. Милосердное небо, только бы это были христиане!

Капитан корабля, Адам, паломники.

Капитан. Поднимается ветер, это нам благоприятствует, мы не должны упускать время.

Адам. Чем скорее мы отсюда отплывем, тем лучше.

Фелицитас. Я вижу людей в паломническом одеянии, они, должно быть, христиане.

Адам. Что это за женщина идет к нам сюда, с жестами отчаяния?

Фелицитас. О милые люди, если вы верите в Бога, в его единого Сына и Богоматерь, сжальтесь надо мной. Я несчастная женщина, заблудившаяся в этих местах. Согбенная горем, брошенная всеми, изгнанная в пустыню, — и всё это выпало мне на долю без всякой моей вины, это так же верно, как то, что на небе есть Бог. О, помогите мне и не указывайте мне, чтобы я шла прочь, у меня не осталось другого счастья, другого блага, как эта моя бедная жизнь, которую я не хочу кончать, объятая отчаянием, вдали от людей, губя мою душу вместе с телом. Возьмите меня на свой корабль и увезите отсюда на отдаленный берег, где я в слезах и стенаниях, предавшись святой молитве, отдам Богу душу.

Капитан. Плывите с нами, мы же не дикие язычники, не тратьте понапрасну мольбы, садитесь на корабль и всё, что мы можем, будет сделано.

Фелицитас. Куда вы направляетесь под этим парусом?

Адам. В Палестину, чтобы увидеть Гроб Господень и посетить святые места.

Фелицитас. Я с радостью слышу эти слова и считаю их добрым предзнаменованием. Уже долгие годы туда были устремлены мои желания и обеты, и, может быть, небо наказало меня за то, что я так и не нашла времени снарядиться в паломничество. Но и тебя, капитан, я не забуду, я щедро оплачу твою службу золотом.

Капитан. Идемте же, милостивая госпожа.

Фелицитас. Будьте только так добры и приведите моего коня, который стоит там под деревом, вместе со мной на корабль, — он еще мне сослужит службу в предстоящем путешествии.

Капитан. Об этом позаботятся слуги.

Все уходят.

Поле

Антонелла. Как же можно вынести эту разнесчастную жизнь, которую приходится вести каждой девушке? Сначала молодые повесы всеми хитростями стараются уловить в свои сети; потом они добиваются, чего они хотят, и, вместо того чтобы честно делить с нами любовь, бросают нас самым неблагодарным образом и делают вид, что нас знать не знают. Мой ребенок умер, и поэтому этот молодец обо мне совершенно не заботится. Ему нужно было только удовольствие, чтоб валяться со мной часто и подолгу, а я — я была, увы, так слаба, вот за это и страдаю теперь.

Клеменс (*с ребенком*). Эх, вот это и называется — трудная дорога, время тянется для меня так медленно, а впереди еще дальний путь, вот горе! Прежде чем мои глаза увидят Париж, нужно еще пройти через эту Ломбардию. Я верно служил этому дитятке, а всё потому, что я старый дурак; я мог бы его столько раз оставить где-нибудь в чужой стране и избавиться от этого тяжелого бремени; и я уж столько раз собирался это сделать, но ни разу не исполнил задуманного; и так я умножил свое покаяние.

Антонелла. С кем это бранится старичок? Он тащится мимо с маленьким ребенком на руках.

Клеменс. Я должен умыть ребенка, привести в порядок, — это же всё естественно, к тому же он кричит, он хочет пить, — потом я похромаю с ним дальше через всю страну.

Антонелла. Эй, чей это такой прекрасный малыш?

Клеменс. Я купил его за кошель полновесных денег, и теперь несу в свою далекую страну, хоть мне и невыносимо тяжело. А кто вы такая, молодая хозяйка?

Антонелла. Ах, мой любезный странник, судьба ко мне была враждебна, и со всей своею силой ввергла меня в злое бедствие, ведь у меня умер мой ребеночек. Если бы я могла быть у вас кормилицей, мои дни наполнились бы счастьем.

Клеменс. А что сказал бы на это ваш муж?

Антонелла. Я должна вам во всем сознаться — один негодяй заманил меня в ловушку, а теперь не хочет меня и знать, от этого несчастья у меня начало пропадать молоко, и болела грудь, и вот мой ребеночек, радость моя, недавно помер.

Клеменс. Послушай, молодка, если только я буду знать, что ты не привержена греху и не впадешь снова в распутство (это было бы мне слишком не по нраву), я охотно возьму тебя кормилицей, дабы ты питала это дитя.

Антонелла. Во всю мою жизнь мне больше не придет в голову то, от чего я получила острастку. Тот, кто обжегся, будет всегда бояться огня.

Клеменс. Тогда мне не будет жалко денег, которые я потрачу на ее содержание, пусть она купит себе ослика, и не нужно будет всю дорогу бежать, вот другого ребенка я уже не смогу купить, и это огорчает и удручает меня.

Уходят.

Появляется Эпическая Поэма.

Счастлив тот, кто витает на крыльях своих фантазий. В своем высоком полете он обзрывает земли, воды, простор эфира и небо. Перед ним открыто царство недр, где растут золотые и рудные жилы, где рождаются алмазы и рубины и неслышно растут в своей оболочке. Видит он также, как духи сердца, собираясь на совет на утренней и вечерней заре мерцают своими прелестными ликами. Фантазия бросает свой якорь в золотых морях, где ей вздумается, и над изумрудными волнами встают покрытые цветами берега страны чудес. Никогда она не даст покоя тому, кто последовал за нею на волшебной привязи; она прибывает изнутри, показывая всю силу верховодящей власти; словно из правод вечный порыв сотворил все свои миры; ее корень — то пламя, которое блистает во всех ее детях, и этот свет — высшее цветение, среди людей ее имя — любовь, когда всё за ней устремляется, спешит, охваченное страстным желанием. Земля всегда жаждет в любовном порыве подняться к Солнцу, но огонь удерживает ее внизу, пойманную в самой себе. Тогда, томимая любовной жаждой, она испивает чистейшие воды, и они становятся слезами Матери-Земли, струящимися по ее щекам. И она дает распускаться цветам, зеленеть роскошной траве, горы, леса, поля напиваются допьяна блеском любви и ее упоением. Человеческая грудь томится жаждой, душа вырывается наружу, и в глубинах страсти незаметно вызревает творческий порыв. Тогда пламя охватывает любовь, и она не может покинуть свои пределы, и тогда глубочайшие умы творят Знание и Искусство. И тогда величественнее всего, вольнее всего разливаются кристальные потоки, которые то в рифмах, то в мелодиях побуждают звучать поэтическое одушевление. Снова перед нами слезы матери, у которой исчезли дети, и жизнь сладостной любви вокруг нее обратилась в камень. Но там можно видеть сердце, которому помогает весь мир, и дух любви, распевая, простер над ним свои крылья. И пастух, когда услышал эти звуки вдалеке на цветущем склоне, встрепенувшись сердцем, хотел откликнуться, но издал лишь бормотанье. Так я чувствую, так я мыслю, что

тот, кому слова остались непонятны, думает, что я всего лишь дикарка, имя которой — Романс, Эпическая Поэма. Императрица отплывет в море, пересекая волны, и ее корабль попадает к тому острову, где лежит ее плененное дитя, где его вскармливает львица, убившая грифона, но вы лучше послушайте ее самое, ибо она уже приближается.

Фелицитас, Капитан корабля.

Фелицитас. Я глубоко благодарна вам за то, что вы не домогаетесь узнать подробности моего несчастья.

Капитан. Будьте покойны, милостивая госпожа, я знаю, как начинает кровоточить рана, когда нескромное любопытство к ней прикасается.

Фелицитас. Где паломники и где господин Адам?

Капитан. Они ушли и исследуют остров, ибо видите ли, господин Адам — то, что называется ученый человек, и он использует свое паломничество для того, чтобы, если ему среди камней, растений, зверей, людей, стран, рек, городов вдруг встретится нечто достойное внимания или единственное в своем роде, — это увидеть и удержать в своей памяти. Говорят, что он позже хочет всё это записать на вечную память о своем путешествии, поэтому нет у него ни покоя, ни отдыха, и всюду, где бы корабль ни пристал хоть на час, он готов исследовать все вокруг.

Адам и паломники бегут.

Капитан. Что с вами, люди? Вы такие бледные, так дрожите? Придите в себя, а то вы пыхтите, как медведи, что вам надо? Ну, теперь оглядитесь и опомнитесь.

Адам. Мы в безопасности? Мы точно спаслись? Никакое чудовище за нами не гонится?

Фелицитас. Что так напугало вас?

Адам. Боже мой, — нет, вы такого никогда не видели и никогда не слышали.

Паломники. Мы пересекали остров...

Адам. Позвольте мне рассказать. Пересекая остров и осматривая каждый камень и каждое растение, мы вдруг услышали что-то похожее на детский лепет.

Паломники. И, когда мы подошли ближе...

Адам. Подошли ближе — это была львица, которая лежала в своем логове, с глазами, горящими как карбункулы, краснеющими, как кровь, и сверкающими, как огонь, и меж ее когтей лежал младенец, и играл с нею. Младенец был прелестен и мил, как ангелочек.

Паломники. Вы представляете наше удивление?

Адам. Да, мы не могли вдоволь насмотреться на изумительное зрелище и позабыли, как страшен в гневе лев; вдруг этот зверь увидел нас, тотчас оставил младенца и прыгнул в нашу сторону; теперь вы можете вообразить, как мы бежали — сколько было мочи; но, кажется, она не стала

нас преследовать, оставшись возле младенца. Бедное дитя! Ему суждено погибнуть, если Бог не защитит его. Проголодается ли львица или нападет на нее ярость — она в мгновение ока растерзает нежную плоть.

Фелицитас (*бросается на колени*). О Боже! О милосердный Боже! Благодарю Тебя! Теперь я снова могу радоваться, ибо Ты сохранил для меня одного из моих детей.

Капитан. Что с вами, милостивая госпожа?

Фелицитас. Отведите меня туда, сейчас же, где вы его нашли, это мое дитя, столь чудесно спасенное, я — мать, столь чудесно добравшаяся до этого уединенного морского пристанища, преодолев чащобы и скалы. О, отведите же меня туда!

Адам. Никто из нас не пойдет опять на то место.

Паломники. Благодарение Богу, что мы добежали сюда. Подумайте, что лев — свирепый зверь, хищный и беспощадный. Вы разве хотите сами так опрометчиво подвергнуться опасности? Подумайте, — не лучше ли, если уж это суждено, чтобы погиб один, нежели вы вдвоем? Ведь вы погибнете, как только подойдете ближе; и подумайте, — если Богу будет угодно спасти младенца, он отыщет пути, о которых никто из нас и не подумает.

Фелицитас. О, покажите мне только место, где он лежит, что за сердце носила бы я в моей материнской груди, если бы оно не содрогнулось? Разве это — не мое желание, увидеть его снова, мое любимое дитя, разве это — не мои рыдания, что его от меня оторвали? Я могу коснуться его этими самыми руками — и как? Я останусь здесь?

Паломники. Веруйте чистым сердцем, и если вы хотите вернуться, то останьтесь здесь.

Фелицитас. Вы сделаны из камня, вас родили скалы, вы не из рода человеческого, вам чуждо сострадание, хорошо, я иду одна, а вы можете или ждать меня здесь, или отплыть, если пожелаете, меня это не заботит, я умру вместе с моим ребенком.

Капитан. Высокородная госпожа, мы охотно хотели бы вас подождать, но мы думаем, что это — безумная авантюра, в которой вы гораздо ближе к смерти, чем к жизни. Ввергнуть себя в когти львице? С таким же успехом можно было бы прыгнуть в морские волны, когда свирепствует буря, когда низвергаются молнии. С таким же успехом можно было взойти на костер. Раз вы на это отважились, пусть Бог пребудет с вами. Но сначала пойдите к священнику, который там есть у нас, получите отпущение грехов и благословение, затем вы можете умереть, подготовившись к этому.

Фелицитас. Ты дал мне добрый совет, пусть будет так, как ты говоришь.

Адам. И, раз уж вы на это решились, мы охотно дадим вам описание этого места, но все-таки безопаснее остаться здесь.

Все уходят.

И вот женщина идет, полная веры и упования, к священнику, вознося мольбы в сердце. И вот, она поистине чувствует, как благословение проливается на нее с небес живительной росой; она уже не считает себя несчастнейшей из женщин, само ее несчастье кажется ей приносящим радость, священник молит Бога, чтобы она получила помощь, и она берет в руки распятие. И вот она идет одна; все прочие остались на месте, объятые страхом и безмолвным трепетом; ее горящий радостью взор легко и быстро находит приметы указанного пути, все ее помыслы устремлены к ее ребенку — ее прекраснейшей отраде, и скоро она оказывается у пещеры, входит внутрь, ведомая зовом сердца, и видит своего малыша, играющего с львицей. И, хотя вид этого свирепого зверя испугал ее до глубины души, когда львица посмотрела на нее взглядом, мечущим молнии и наводящим ужас, — все-таки мужество быстро вернулось к ней. «Я уповаю на Божий образ, и твои угрозы напрасны, перед Ним я заклинаю тебя, — так она сказала в полный голос, — верни мне мое дитя, ибо оно рождено мной и должно быть со мной, а не среди зверей. Я заклинаю тебя этими честными ранами, которые нам, грешным, принесли спасение и благодать, которые, исторгая мученическую кровь, благословенно зияли, отверзая нам врата Царствия Небесного, через которые мы вновь обрели Рай и разбили стремления Ада; Отцом, Сыном и Святым Духом заклинаю тебя, лев, без боязни, — отпусти мое дитя». Так она говорит, голосом, проникающим до глубин сердца, в молитвенно сложенных руках держит распятие, и вскоре львица становится тихой и покорной, она бессильно прижимается брюхом к земле, женщина уже не боится, что та ее убьет, она наклоняется, полная страстного нетерпения, подхватывает свое дитя, прижимает его к груди, и выбегает из пещеры, едва сознавая происходящее. Она покрывает жаркими поцелуями его ротик и глазки, слезы льют ручьем, но ее сердце ликует, жизнь снова открыла ей свои дали, ее дитя кажется ей прелестнее, чем когда-либо, меж тем как львица не отходит от нее и, не замечаемая ею, следует за ней, кротко и пристойно, повернув к ребенку свою громадную голову, как бы непрестанно желая быть при нем. Она подходит к тому берегу, который недавно покинула, паломники ждут ее в лодке, они видят львицу, тут же отчаливают от берега, страх смерти заставляет их трепетать и беднеть от ужаса. «Заберите меня, — молит императрица, — с этого острова!». «Нет, — отвечают они, — корабль и самые прибрежные пески окрасятся кровью, — лев не пощадит нас, мы погибнем». «Вы сможете подойти ко мне без всякой опасности! — восклицает она. — Я буду, Бог даст, вам в том порукой». И вот они сажают ее с ее ребенком в лодку. Затем лодка высаживает их на корабль, и все любовались на прекрасное дитя, как вдруг поднялся громкий крик, ибо львица плыла к кораблю. Они быстро поставили парус и хотели уплыть от нее, но она неутомимо следовала за ними, желая догнать

корабль и ребенка. Наконец, ей это удается, она выпрыгивает из воды, вцепляется когтями в доски обшивки, повисает крепко, затем перескакивает через борт, и все корабельщики в смнении разбегаются. Им кажется, что теперь-то наверняка пришла их смерть, «Госпожа, — говорят они, — вы нам принесли погибель, свирепая львица растерзает здесь нас всех, будет лучше, если вы погибнете вместо нас. Мы бросим вас в море». «Ах, друзья мои, — говорит она, — это было бы жестоко, неужели вы хотите причинить мне злую смерть после столь великой радости? Поверьте, львица не причинит вам никакого вреда». И львица вправду ведет себя так, как сказала женщина, она ходит повсюду, как послушная собачка, никого на корабле не тревожит, и, оказываясь рядом с императрицей, поднимает голову к ребенку, смотрит на него, и затем ложится около ног императрицы, тихо и послушно, не смея выйти из ее воли. Императрицу все окружили почетом, и каждый старался ей угодить, и благородная путешественница плыла со своим малышом по тихой глади моря, при прекрасной погоде. Так они беспрепятственно прибыли в Азию и остановились на отдых в одном селении. Царственная мать, ребенок и львица не разлучались. Я подошла к концу, теперь пусть вступают они сами.

Уходит.

Входят Фелицитас с ребенком, капитан корабля, Адам, паломники.

Фелицитас. О милосердный Боже, Ты не оставляешь своими заботами меня, несчастную женщину; Твое милосердие предало забвению мою изнеженность и мои грехи, которым я без счета предавалась; через Твою помощь я вновь обрела мое дитя; и Лилия теперь согрета на моей груди. Кто может быть так слеп, чтобы не видеть Твоего всемогущества? Ты спас меня чудесным образом на неизведанных путях, и я с благоговейным страхом познаю Твою благость.

Капитан корабля. Теперь я прощаюсь с вами, благородная госпожа, и желаю вам в дальнейшем счастья и блага, дабы они в скором времени разогнали над вами темные тучи, и ясное солнце вновь засияло бы для вас. Вы заплатили мне больше, чем я заслужил, вы щедро наделили подарками всех на корабле, по вашей и щедрости и деликатности всякий может видеть, что вы не из простого народа. Прощайте же!

Фелицитас. Ты возвращаешься на свой корабль?

Капитан. Да, вскоре. Я останусь здесь на стоянке, пока вновь не соберутся паломники, отправляющиеся обратно в Европу. Еще раз приношу вам мою благодарность, у вас всё должно пойти хорошо, ибо вы столь благочестивы.

Фелицитас. Уже известен человек, который будет сопровождать нас в пути?

Адам. Да, мне сказали, что он вот-вот придет.

Фелицитас. Ну, вот я и очутилась на Востоке; я вижу там, сквозь дымку, высокие горы.

Адам. Благородная госпожа, это Ливанские горы, это они так грозно чернеют пред нами. Я полон радости, что нахожусь в этой стране, где я так давно желал побывать. Но, милостивая госпожа, я убежден, что в моем путешествии мне не выпало на долю ничего более примечательного, чем встреча с вами, вашим малышом и этой львицей. Это — правда, что в натуре животных присутствует нечто чудесное, некая удивительная симпатия к роду человеческому; недаром рассказывают о Ромуле и Реме, основателях Римской державы, что они были вскормлены волчицей; известна удивительная история одного римского раба, по имени Андрокл, и его льва; Урсус, брат Валентина, был выращен медведицей; есть и другие занимательные истории, но, мне кажется, ваша львица — это нечто самое удивительнейшее. И самое непостижимое — как могла львица с вашим ребенком оказаться на этом острове, который со всех сторон омывает море.

Фелицитас. Проводник все еще не пришел?

Адам. А вот и он! Проводник!

Входит Хорнвилла.

Хорнвилла. Ну, ну, не надо кричать так громко! Всему свое время. Мне ведь надо было еще одеться.

Фелицитас. Вы тот, кто должен идти с нами?

Хорнвилла. Я не знаю никого другого, к кому я должен был бы обратиться в случае, если я вам не подхожу.

Фелицитас. Ну нет, добрый человек, мы наняли вас.

Адам. У этого парня примечательная физиономия. Право, он несколько напоминает носорога.

Хорнвилла. Эй! Аливус! Иди сюда!

Входит Аливус.

Хорнвилла. Смотри за гусями и свиньями, пока меня не будет. Слышала?

Аливус. Да.

Хорнвилла. Ну, почему ты не можешь ответить, как подобает? Давно палка по твоей спине не гуляла? Содержи дом в порядке; если будут гости, помни о своей репутации, прислуживай им, как положено, и не распускай сопли, если они тебе чем-нибудь не понравятся. Я должен провести этих людей через горы. Ну, теперь попрощаемся, поцелуй меня, — вот так, и не ворчи, а то...

Аливус уходит.

Адам. Это ваша жена?

Хорнвилла. Да. Вам нужно в Иерусалим?

Адам. Не иначе.

Хорнвилла. Сейчас какой-то необычайный наплыв паломников. Эта женщина с ребенком тоже?

Адам. Да, и она отправится вот на этом прекрасном коне, который там привязан.

Хорнвилла. И эта большая кошка тоже последует с вами к Гробу Господнему?

Адам. Это никакая не кошка, друг мой, это чудесная львица.

Хорнвилла. Ну, все идет одно к другому. Порядки-то везде дурацкие, и вот вам паломничество всех тварей, которые нуждаются в милости Божьей. Мы здесь собрали все создания, изгнанные из рая, не хватает только Адама.

Адам. Меня зовут Адам.

Хорнвилла. Ах, вот как? Тогда идемте, а то близится вечер.

Уходят.

У стен Парижа

Людвиг, Антон.

Людвиг. Слышали новость, господин Антон?

Антон. Надеюсь, хорошую?

Людвиг. Ваш кум, Клеменс, который живет в Сен-Жермене, на луговой стороне, богатый меняла, возвратился домой. Он еще на мосту и сейчас будет здесь.

Антон. Ну, тогда я должен идти и сказать его жене, она, должно быть, обрадуется, что этот старый дурак вернулся.

Людвиг. Да, и он возвращается прямо как цыган: сам шествует себе степенно с паломническим посохом, позади него женщина верхом на осле, и с кругленьким упитанным младенчиком. И где он только их заимел! Вся процессия выглядит так, как живописцы или комедианты представляют бегство в Египет, только женщина не такая хорошенькая.

Антон. Мне надо бежать.

Уходят.

Входят Клеменс, Антонелла на осле, с ребенком.

Клеменс. Хвала Господу! Я вижу башни моего родного города! Все мое нутро переворачивается от радости. Я благодарю вас, мой дорогой сосед, что вы были так добры, проделав этот далекий путь мне навстречу. Я, если будет на то Божья воля, как-нибудь сумею вам отплатить. Ну как, ослик, сильно устал? В этом последнем путешествии тебе пришлось изрядно пошагать, но теперь ты можешь отдохнуть, мой ослик. Да, только пошевели ушами, и тебе предоставится уютный хлев. Слезай, Антонелла, отдохнем немного под этим деревом, — а вон там и мой дом, неказистый, но уютный и вместительный; теперь, если получится, можно будет и новый построить. Ах, боже ты мой, они уже идут.

Сюзанна. Постой здесь немного, Клавдичка. Не упади. (*Обнимает Клеменса*). Ах, дорогой мой муженёк! Ты счастлив, что снова вернулся в Париж?

Клеменс. Да, моя дорогая жена, моя лучшая в мире Сюзанна. Смотри, у меня все та же слабость, что и в прежние годы — мои глаза всегда на мокром месте. (*Всхлипывает*). Ты здорова? А Кла-... Кла-... Клавдичка тоже?

Сюзанна. Все здоровы, любимый мой Клеменс. Клавдичка, подойди. Смотри, он уже умеет ходить, хотя его еще немного заносит. Иди сюда, Клавдичка, это твой папа, твой отец, он что-то привез для тебя.

Клеменс. Да, Клавдичка, мой любимый сыночек, — итальянский изюм и фиги. Дай-ка мне как следует тебя поцеловать. У него хороший аппетит? Ему это нравится?

Сюзанна. Он иногда ест с большим разбором. Если ему нравится, он хочет прямо-таки об этом сказать, но вот это заставляет его морщиться.

Клеменс. Странно, ведь он уже большой. О, не сердитесь, дорогие друзья, господин Людвиг и глубокоуважаемый Антон, я, может быть, показался вам невежливым, но я был настолько обрадован...

Людвиг. Говорите только друг с другом, мы, все прочие, пока поболтаем о чем-нибудь между собой, у нас есть время.

Клеменс. Он действительно похож на меня, мой Клаудиус. Хочешь когда-нибудь тоже совершить паломничество? Грудная жаба вертит головой и смеется; но ты у меня будешь настоящим паломником, будешь совершать паломничество за кубком и мягкой булочкой, правда ведь? А может, предпочтешь отправиться в паломничество за яблоками? А ты, Сюзанна, выглядишь совсем помолодевшей. В хозяйстве всё идет благополучно? Ничего не случилось?

Сюзанна. Все течет по старому руслу, так, как только можно пожелать.

Клеменс. Тогда я могу только превыше моих возможностей вознести хвалу Господу на небесах. Да, это был долгий путь, моя Сюзанна, но я могу рассказать тебе о море, о диких чащобах, о горах! Нельзя и представить себе, как чудесно создан мир, пока не увидишь его своими глазами.

Сюзанна. Представляю, представляю, дорогой муженек. Ты выглядишь необычайно бодрым. Покаяние укрепило тебя, у тебя прибавилось сил.

Клеменс. Ну нет, от этой ходьбы, от этого зноя позвольте мне пару дней отдохнуть. Тогда мои ноги станут такими же легкими, как обычно. Как наши фрукты, уродились в этом году?

Сюзанна. Сливы были на удивление, но вот вино в этом году не удалось.

Клеменс. На это жалуются по всей Италии, в Тоскане и Романье, и в Калабрии, Сицилии, на Кипре обстоит не лучше. Знаешь, жена, я проповедовал виноград, который был размером с куриное яйцо.

Сюзанна. Я тебе верю.

Клеменс. А вот турки не пьют вина, и арабы тоже, у них на этот счет предрассудок, и их закон запрещает им это. Клавдичка, подойди сюда, я еще принес тебе венецианского Петрушку. Посмотри, дитя мое. Надо отдать этим итальянцам должное, в этом искусстве они достигли вершин. У него здесь между ног прикрепляются такие нити, и, если за них потянуть, то весь этот парень начинает кривляться и корчить гримасы. Смотри, да не плачь ты, не плачь, птенчик мой, это же только Петрушка, и он желает тебе добра. Да, ребенок у меня чувствительный, он начинает реветь, как только видит этого паяца. Да, об одной вещи я совершенно позабыл. Клавдичка, я тебе еще кое-что принес, что тебя обязательно обрадует. Товарища, который будет с тобой играть. Да, милая жена, посмотри-ка сюда, и у тебя глаза станут круглыми от удивления. Смотри, — ведь это называется ребенок, — так ведь? — да, ты просто-таки в изумлении.

Сюзанна. Да, писанный красавчик, нет, я просто не знаю, что сказать, но он выглядит как дитя благородных кровей. Это же мальчик? Но где ты его взял?

Клеменс. Ну, отгадай. Да, милая Сюзанна, я рассчитывал на твою доброту. Так устроен человек: я ходил в паломничество, чтобы замолить свои грехи, и не успел и оглянуться, как совершил новый. Да, да смейся! Ты должна хорошо воспитать этого мальчика; была бы на то Божья воля, я бы и его мать привел с собой, но увы! Она далеко, она была наверняка красивее, чем вон та, его кормилица.

Сюзанна. Милый Клеменс, перестань сейчас же говорить эти непристойности.

Входят Кай и Беата.

Кай. Дайте пожать вашу руку, кум Клеменс! И подобающий случаю поцелуй! Здорово, что вы снова здесь!

Клеменс. Храни вас Бог! Нет, это невозможно! Этот человек еще больше растолстел!

Кай. Мне, куманек, хватает здоровья, еда меня услаждает и идет мне на пользу. Что больше всего хочет человек в этом мире? Хорошего аппетита, хорошего пищеварения и здорового сна! Это моя невеста, Беата, Вы ее хорошо знаете.

Клеменс. Как я могу не знать? Я знаю ее с пеленок. Приветствую вас тысячу раз, красавица. Но куманек, куманек, вам уже пятьдесят, а она красивая девица, а вы так толсты...

Кай. Не беспокойтесь.

Клеменс. Но в Париже столько молодых господ...

Кай. Пусть ни один ко мне не приближается, не то я без всяких церемоний и невзирая на знатность огрею его по башке.

Клеменс. Ну, а как вообще ваши дела? Как идет торговля?

Кай. Помогай Боже, с каждым годом хуже. Мы, мясники, должны продавать мясо, а это и не получается, со свиньями еще туда-сюда, а вот быки стали такой же редкостью, как святые; вы должны были слышать о чуме скота в Нормандии; это нанесло нам такой удар, что мы все разорены.

Клеменс. На Востоке тоже была страшная чума, но, конечно, только среди турок.

Кай. Этот Восток — презабавная штука. Там тоже есть мясные лавки и гильдии мясников.

Клеменс. Всё, как у нас, только они все носят на голове чалму, а мы — шляпы.

Кай. И все подмастерья и мастера у них — настоящие турки?

Клеменс. В турецких землях — конечно, да.

Кай. Я бы умер со смеху, если бы мне попался один такой молодец. Но что это ты такое принес с собой? Батюшки мои, это же мальчик, настоящий молочный поросенок! Черт поberi! Что это значит, кум Клеменс?

Клеменс. Давайте войдем, вот мой дом, входите все, друзья мои, и вы, Людвиг, и вы, почтенный Антон. Моя жена приготовит нам угощение, и тогда я вам со всей охотой расскажу тысячу происшествий и десять тысяч чудес. Еще раз приглашаю вас всех. О, жена, я вернулся!

Все уходят.

У стен Иерусалима

Фелицитас, Адам.

Фелицитас. Вот это и есть Иерусалим?

Адам. Да, милостивая госпожа, теперь мы на месте.

Фелицитас. Приветствую тебя, святой град, обитель чудес, с каким благоговением я ступлю на твои улицы! Каждый камень — святыня, свидетель чудес и странствий Сына Божьего, и страшно мне свою ступню поставить в то же место! Мне хочется рыдать, когда я вспомню, как Он здесь принял мучение на Голгофе, и Никодим Его святое тело предал погребению, и вы, чудесные следы Его ног, и поныне запечатленные на скале, дабы явить потомству место Его последнего скитания; как трогательно, что я вас все, святыни, смогу посетить! Я желала этого уже давно, и вот я здесь. Идемте скорей, — ведь только немногие часы отделяют нас от священных стен.

Уходят.

Дворец

Октавианус, Адраст, Никанор, Пасквин.

Адраст. Нашу драгоценную жизнь постоянно гложет печаль, мой повелитель, не давайте простора этому яду.

Никанор. Вы рискуете иным благом, столь же драгоценным, как и первое, когда вы печалитесь о первом столь безмерно, день и ночь напролет.

Октавианус. Оставьте меня, не говорите мне ничего, такая скорбь мне подобает, тому хорошо говорить, кто ничего не потерял. Как чувствует себя моя мать?

Адраст. Великий повелитель, вы знаете, что уже три месяца, как на нее напала немота, в это можно поверить, ибо она не произносит ни слова, она сидит, бледная как тень, в своей опочивальне, занавесив окна, или же блуждает с распущенными седыми волосами, которые свешиваются ей на спину, она не слышит нас, когда мы зовем ее по имени, она смотрит в пустое пространство, как будто окруженная видениями и призраками, однажды, услышав музыку, она заплакала.

Октавианус. Кто это приближается к нам? Это она сама!

Старая императрица входит.

Адраст. Меня ужасают ее горящие глаза.

Никанор. Она тащится через весь зал, она держит палец на губах, со значительным видом, словно с усмешкой; она нагибается; кажется, что она размышляет.

Октавианус. Что с вами, мама?

Адраст. Никакого ответа; кажется, что она и не слышала, что он спросил.

Никанор. Теперь она смотрит вверх; она расчесывает пальцами свои длинные седые волосы и сама себе усмехается.

Октавианус. Как видно, она уже никогда вновь не придет в себя.

Императрица. Вы смотрите на меня таким острым испытующим взглядом!

Октавианус. Она говорит!

Адраст. О чудо!!!

Никанор. Она не потеряла дар речи?

Императрица. Сейчас дар речи ко мне возвратился, — может быть, в последний раз; я здесь кажусь всем чудовищем, и безмозглые дураки, которые говорят обо мне, как о сумасшедшей, стали свидетелями необъяснимого чуда. Мой собственный сын отвернулся от меня и спокойно сносит мой позор, — о, если бы мне не родиться! Вы отослали отсюда прочь вашу императрицу с обоими ее детьми, предназначив ее в пищу диким зверям; так глубоко смог завлечь вас в пучину заблуждения ваш

ослепленный разум. И ни один не отважился рассказать во всеуслышание правду. И ты, мой сын, мог без сожаления ее лишиться. Небеса должны отомстить за злодеяние, и для тебя, безбоязненно совершившего с ней такое, совесть сделается вечно гложущим червем. И ты все еще думаешь, что ты любил эту несчастную женщину, которую вы, опьяненные гневом и безумием, ввергли в пропасть бедствия? Теперь свет жизни погас для нее, и она возносит свои жалобы тому мстителю, которому содеянное нами не покажется незначительным. Ее дети станут ее предстателями, ее лик просияет в небесах, ее улыбка опустошит смертоносный колчан. Но что же я говорю о тебе? Не я ли сама была тем, что разожгло этот чудовищный огонь и пробудило Божье возмездие? Так пусть же тебе, Октавианус, будет возглашено, что она невинна, та, которую ты осудил, что она не погрешила против тебя ни единым помыслом. Что все это было измышлено мною из ненависти, из ядовитой и желчью напитанной зависти, я привязала к себе того паренька обещаниями и грезами о Золотом веке и любовью, которую он питал к императрице; мои похвалы завели его наконец так далеко, что он решился выкинуть мальчишескую штуку; я тайно впустила его в опочивальню, затем пошла сообщить об этом тебе, как я и надеялась, твоя месть совершилась; ты сразил его, не выслушав ни слова, так немощен стал твой дух, объятый гневом. Ты позволил мне так одурачить тебя, что сразу осудил ее на костер, не выслушав свидетелей с той и другой стороны. В моей груди пылает ныне свирепое пламя, мое сердце ложится, объятая ужасом, на горящие поленья, огонь бьется о мою грудь. Как новый феникс, я взмахну могучим опереньем, и, как грифон, взвьюсь в небесную лазурь, я улечу и никогда не вернусь обратно, на той равнине, где красуются звезды, я поднимусь сквозь воздух в высшую сферу Солнца; и там злословие умолкнет, подавленное моим блеском. Прощайте же навек.

Уходит.

Адраст. Вы ничего не говорите, Ваше Величество...

Никанор. Мы сами потрясены...

Октавианус. Моя бесценная супруга! Фелицитас! Моя жена! Она меня не слышит. Она слышит, как режут львы, дикое зверье громко воеет, она страшится их свирепости, она ищет укрытия в пещере, а меня не слышит!

Входит Клорис.

Клорис. Преславный повелитель, я должна вам сообщить весть, и сомневалась, сказать ли вам...

Октавианус. Что еще случилось? Говори, большего несчастья уже быть не может.

Клорис. Императрица поднялась на кровлю дворца, как она часто имела обыкновение делать, она там пристально смотрела на солнце, а затем широко шагнула вперед и бросилась с раската кровли. Она уже мертва.

Октавианус. Ее сердце ее осудило.

Никанор. Мы все время говорили о невинности императрицы. И не были выслушаны.

Октавианус. Этого еще не хватало! Еще одно слово, — нет, клянусь Богом, — еще один звук в таком духе, — и я вонжу меч вам в грудь!

Уходит.

Адраст. Пойдемте, он сам себя не сознаёт.

Никанор. Торопливая опрометчивость всегда ведет к такому исходу.

Уходят.

Пасквин. Наша старая императрица придумала новый и сокращенный способ полететь! Хорош грифон! Этот способ можно по праву назвать «поднять руку», — до осязаемости просто! Нужно будет только как следует схватить ее саму, чтобы отнести в фамильную усыпальницу. А Фелицитас и оба наследных принца съедены дикими зверями, а наш император настолько же хорош, насколько полоумен. Все это, к сожалению, у нас при дворе.

Уходит.

Храм

Два священника.

1-й священник. Как покойны, как безмолвны, ныне сводчатые залы, под покровом сумрака только напрасно залетевшие слова звучат в сладкой тишине.

2-й священник. Завтра будет великий праздник, Святого Тела Христова, Бог обновит христианский союз, мы сегодня украшаем алтарь, чтобы завтра все прихожане обрели здесь любовь и ликование, нашли здесь всё подготовленным для избавления от бремени грехов.

Входят Иоахим и Евфрасия.

1-й священник. Сюда идут старый рыцарь и его супруга, которые не провели ни одного дня, не посетив Гроб Господень.

2-й священник. И не пропустили ни одного повечерия, ни одной мессы, и сейчас эта благочестивая пара исполнена благоговения.

Иоахим. Высокочтимые господа, только что мы под открытым небом, на улице, увидели нечто, что показалось нам необыкновенным. Женщина, на рослом жеребце, на руках у нее прелестный ребенок, оба в богатых украшениях, у женщины благородные манеры, а позади могучий лев, который следует за ними, ласкаясь, как комнатная собачка, весь народ был объят изумлением, уступал ей путь, и она точно распространяла вокруг себя чудо, и я не знаю, должен ли я сказать, какую веру, какой призыв для

народа к священной войне, какую любовь или какую отвагу являли взору дитя на руках и лев позади.

Евфрасия. А ее благородный лик, сиявший благожелательством, выразивший серьезность и скорбь, и все же полный кротости, — этот вид чудесно тронул мое сердце. Вот она идет сюда, — с ребенком и со львом.

Входит Фелицитас с ребенком и львицей.

Фелицитас. Наконец утолено мое пылкое желание, я преклоняю колена перед священнейшим из алтарей. Я исполняюсь присутствием Господа, я чувствую в моем духе сонм ангелов. О Сын Господень! Соболаговоли милостиво принять то, что я Тебе приношу — бедное осиротевшее дитя, полное желанья принять таинство крещения. (*Поднимается с колен*). Высокочтимые господа, я прибыла из далекой страны, и мое сердце, и бессловесный дух ребенка жаждут, чтобы он стал христианином и частичкой Церкви Господней. У меня здесь нет близких, и потому могу ли я просить вашего друга, чтобы он стал приемником?

Иоахим. Позвольте мне, благородная госпожа, сказать словечко: ваше естество, ваше благочестие тронули меня, берите же меня, как близкого, в крестные родители, как и мою супругу — ее я привел сюда, и она будет сердечно рада, сослужить святую службу вашему ребенку и вам.

Фелицитас. Какая радость для несчастной, что на чужбине над нею сжалились благородные сердца, которых она не сыскала в своем отечестве. Большое спасибо, мой любезный господин не можете ли вы сказать мне также, (ибо вы кажетесь столь добры), где в этом святом граде я могла бы найти пристанище?

Иоахим. Окажите честь моему дому, он открыт для вас.

Евфрасия. Мы сочтем это за благословение, мы скромные люди, но у нас для вас хватит и почета, и услужения, и любви.

Фелицитас. Мне неловко принимать ваши предложения, ибо ваше дружеское расположение, которое вы мне выказываете, не должно причинять вам ущерба, я охотно возмещу вам стоимость моего проживания. Благородные господа, теперь перейдем к священнодействию. Львица спасла жизнь этому ребенку, посему пусть имя ему будет — Лев.

1-й священник. Присоединитесь, приемники, и, прежде чем ночь придет сюда, все будет завершено.

Все уходят.

Входит Эпическая Поэма и произносит заключительную речь:

Вот так это свершилось, и все страдания смягчились, и скоро новая жизнь возникнет из прежней. Время не останавливается: годы идут, годы мелькают, наберитесь терпения и слушайте дальнейший рассказ о Флоренсе и Марсебилль.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВЫЙ АКТ

Комната

Клеменс, Сюзанна.

Сюзанна. Что с тобой происходит в эти дни, мой дорогой Клеменс? Я никак не возьму этого в толк и не узнаю тебя. Ты не такой веселый и разговорчивый, как обычно, ты ходишь, повесив голову, ночью спишь беспокойно, никакая еда тебе не нравится, и я могу готовить, что мне вздувается. Это могло бы навести на мысль, что ты собираешься объявить себя банкротом, если бы я не знала так хорошо твои дела; никаких сумм ты не терял, потому что ты очень аккуратно обращаешься с деньгами. Ты и не болен, потому что для своего возраста ты выглядишь даже очень неплохо; но что-то есть в глубинах твоего сердца, что мучает тебя и гложет; и ты должен об этом мне сказать, мой дорогой муженек, я не оставлю тебя в покое, пока всё не узнаю. Почему ты отмалчиваешься и всё утаиваешь? Ведь у тебя не может произойти ничего особенного!

Клеменс. Ты думаешь? Это вы, женщины, так все понимаете.

Сюзанна. Давай подумаем вместе, муженек! Один ум — хорошо, а два — лучше, и, может быть, я смогу подать тебе добрый совет.

Клеменс. Тогда подумай одной лишь своей головой, и ты узнаешь, почему я такой задумчивый, почему не могу заниматься делами, почему мне днем не до еды, а ночью не до сна. Подумай!

Сюзанна. Гм, — может быть, — да нет же, этого не может быть, ты всегда только смеешься над этим, — они снова озабочены твоим благополучием в связи с Флоренсом и намекают, что отнюдь не похвально, что ты в Святой земле был занят тем, что произвел на свет незаконнорожденного?

Клеменс. Глупости!

Сюзанна. А может быть, эти сомневающиеся думают, что некий черт принес тебе твое богатство?

Клеменс. Я слишком разумен и слишком много повидал, к тому же слишком учен, чтобы обращать внимание на такие бредни.

Сюзанна. А может, тебе кто-нибудь вбил в голову, что наш новый дом недостаточно хорошо и красиво построен?

Клеменс. Ты думаешь, что такое можно вбить мне в голову? Да разве я не сам составлял план и наброски, два года размышлял над этим, советовался с искуснейшим архитектором, чтобы чужестранцы и гости издали приезжали и любовались на мой дом! Да, вот что ты можешь извлечь из всех твоих размышлений! Ничего, кроме одной только грязной болтовни о безвкусном доме, чертях и незаконнорожденных детях.

Сюзанна. Ну, так позволь твоим глубоко запрятанным мыслям выйти на свет.

Клеменс. Раскрой глаза!!! Что ты видишь в нашем доме? Кто сюда каждый день входит и выходит? Кто сидит с нами за одним столом? Кто разговаривает с нами?

Сюзанна. Наши дети.

Клеменс. Да, наши дети. Наконец-то мы добрались до нужного места. Ты видишь, как они едят, спят, растут, хорошеют; и тебе никогда не приходит в голову, что вырастет из этих сорванцов?

Сюзанна. Я все время думаю, что Господь о них позаботится.

Клеменс. Видишь, — вот это и есть предмет моих размышлений день и ночь, — что получится из этих детей. Недостаточно, чтобы мы их вырастили, нужно еще укрепить их дух, обеспечить им верный кусок хлеба. Я должен сознаться, что мой Клаудиус доставляет мне столько радости, сколько любой отец может только для себя пожелать. Он умеет читать, писать и считать, как лучший учитель в этом городе. Кажется, у него несомненный талант, потому что в школе он всегда был первым; и, между нами, он уже в состоянии давать мне советы. Я в мыслях вижу его менялой, он с этим справится.

Сюзанна. Мальчик будет очень обрадован, когда услышит об этом. Ну, а Флоренс?

Клеменс. Да, его судьба тоже решена. С этим мальчуганом что-то странное. Ничего выдающегося из него в жизни не выйдет: все, требующее изысканного ума, основательности, глубоких мыслей — это не его область; он не может заняться ничем, что требует большего, нежели посредственных способностей, и, если он и хочет при случае показать себя, то все только портит. Честолюбия, которое могло бы его подхлестнуть, у него нет, — словом, купец из него не получится. Но смотри, как он вырос; он годом моложе Клаудиуса, а уже на две головы выше, так что Клавдичка выглядит рядом с ним хилым коротышкой; у Флоренса спина, ляжки и икры таких размеров, какие только можно представить. Часто по утрам, когда я его вижу, мне кажется, что он растет прямо на глазах, так что я не могу представить, что же из этого получится, если он и вправду решил стать великаном. У него не было никаких детских болезней, он не утруждает себя размышлениями, — короче, он прямо-таки сотворен для каждодневного тяжелого труда. Я его собираюсь отдать в учение куме Беате, что ныне овдовела, он сделается мясником и со временем сможет стать кузнецом своего счастья. Я поговорю об этом с Гумпрехтом, который после смерти ее мужа Кая ведет ее хозяйство.

Сюзанна. Я только вот думаю, Клеменс...

Клеменс. Я выскажусь, тогда и говори, что ты думаешь. Видишь ли, это не больше и не меньше как отцовский долг, — позаботиться о том, чтобы мой законный сын Клаудиус занял более высокое положение, чтобы

я предоставил ему большие возможности, чем найденышу, которого я взял к себе из милосердия, у которого нет отца, как у этого Флоренса, вот потому я так распорядился и думаю, что это весьма разумно. Теперь ты знаешь всё: скажи, что ты думаешь или думала раньше.

Сюзанна. Я думаю, не должны ли мы попытаться найти родителей Флоренса.

Клеменс. Кто знает, где их искать! Дело известное — какая-нибудь молодежь, которая ни о чем не задумывается, забывает обо всем в порыве страсти, не думает ни о каком ребенке, а теперь из страха побоится себя выдать. Пойди, позови детей!

Сюзанна уходит.

Клеменс (*один*). Да, вот хлопоты! И все же дети — благословение, потому что у человека нет на земле более любимого предмета для хлопот.

Сюзанна входит с Клеменсом и Флоренсом.

Клеменс. Вот и вы. Послушайте, мои милые дети, стой прямо, Клаудиус, ты уже не маленький, смотри, — вот так, ноги чуть расставлены, именно так! Слушайте, мои дорогие дети! Как положено отцу, я заботился о вас до этого дня и буду делать это до дня моей кончины. Флоренс, ты должен снимать шляпу каждый раз, когда с тобой говорит твой старый отец. Итак, вы теперь входите в тот возраст, когда человек выбирает себе занятие на всю жизнь. В жизни наступает время, когда человек чувствует себя к чему-то расположенным, он может располагать собой, чтобы занять положение, а тот, кто ни к чему не расположен, положительно ничего не стоит, ибо положение и предрасположенность — одно и то же.

Клаудиус. Мой дорогой отец, мне двадцать лет, Вы так много потратили на меня и моих учителей, не жалели ни родительских наставлений, ни любви, уже давно я хотел вас попросить отправить меня из дому куда-нибудь учиться, но мать всегда начинала плакать; теперь же я счастлив, слушая вашу речь, ибо давно уже я вырос из детских башмаков.

Клеменс. Поздравляю, сын, поистине золотые слова! Я обдумал все это, принял во внимание твой талант, посоветовался со старыми друзьями, и скажу тебе, что ты рожден быть менялой. Послушайте, милые дети, вам очень повезло, что ваш отец еще жив; у меня так не вышло, я был совсем молодым пареньком и лишился родителей, я получил причитающуюся долю наследства, и дурные люди помогли мне ее растратить; у меня не было никакого знания жизни, все брали у меня взаймы, и никто не отдавал. Один отрицает долг, другой просит отсрочки, одному я послал напоминание, так он, не дав мне и подумать, вместо того, чтобы со мной рассчитаться, всё припрятал. Началась война, я пошел в новобранцы, испытал судьбу, вернулся благополучно, и стал думать, где бы мне осесть. Париж мне очень понравился, я к тому времени сумел-таки припрятать часть наследства,

купил поле, виноградник, занялся торговлей, начал с малого, понемногу перешел к большому. Я ощутил вкус удачи, только не нравилось мне жить одному; я увидел вашу будущую мать, красивую девушку, да еще с приданым, короче, сумел ей понравиться больше других, и мы стали мужем и женой. У нас появились дети, затем я отправился в паломничество, посмотреть Иерусалим и много иных земель, о которых я часто рассказываю по вечерам, потом я построил этот прекрасный огромный дом, в котором мы теперь живем. Смотрите, дети, я хочу рассказать вам обо всем этом для примера, как человек должен учиться тому, как сгодиться на что-нибудь в этом мире, как он должен стремиться получить для себя что-нибудь, вы должны иметь перед глазами образец этого. Ну, Флоренс, теперь ты послушай умные слова! Не правда ли, сынок, считать деньги, — не твое занятие? Это очень тяжело, — знать, сколько существует валют, какая между ними разница, каковы их запасы в звонкой монете, а каковы в слитках, и каков сейчас курс, — всю эту запутанную материю постоянно и целиком держать в голове? Правда ведь?

Флоренс. За свою жизнь я бы мог немало обо всем этом узнать.

Клеменс. Поверь мне, это — очень запутанное, тонкое дело, которое уложится не во всякую голову. Послушай! Что ты скажешь о том, чтоб сделаться мясником? Не смейся, сын мой, это хорошее дело, и, если ты присмотришься к своей фигуре, своему росту и сложению, то станет ясно, что в этом твое призвание. Твоя спина столь крепка, что ты можешь на загорбке, не сгибая коленок, таскать туши свиней и бычков, и вешать их на крюки. Я видел, как ты, вооружившись топором, разрубал, не моргнув глазом, мослы громадного быка, так что те только хрустели. А потом делается колбаса, и тебе кое-что перепадает; ты сохраняешь для себя лучшие кусочки и запиваешь их вином. А то, что остается на бойне, ты можешь пожарить. Правда, из тебя получится великолепный парень? Посмотри на мясников, на их слуг, служанок, на хозяек и хозяев, — как они румяны, кровь с молоком, как они откормлены, какая могучая у них плоть. Ты знаешь, как толст был мой куманек Кай? И его вдова — кругла, как пирожок, туда ты отправишься, сынок, в ученье; не смейся над тем, что тебя будет учить женщина, — нет, Гумпрехт приучит тебя к делу. Но постой! Кто знает, как что получится, — ты очень смазлив, хозяйка еще не стара, — многие парни находили свое счастье у вдовушек, и приобретали опыт супружества — не только дела. Вот что я еще хочу сказать, сын мой Флоренс, — к этому делу я еще присоединил пару быков, откормленных и тучных, — они весят столько, сколько ее муж, — возьми их с собой, ступай к этим скрягам, скажи, что пришел учиться, поруби быков на кусочки, начни торговать, ну, и будь во всем хватким.

Флоренс. Мне это подходит, я забираю быков. Мама, до свиданья! Отец, всего доброго! Сейчас канун праздника, я иду туда.

Уходит.

Клаудиус. Я уже порядком все рассчитал, сейчас я еще разок все тщательно прикину, отец.

Уходит.

Клеменс. Ну, вот теперь у меня на сердце легко и свободно. Какая простая и честная душа этот Флоренс. Никакой гордыни и никакого притворства. Пойдем, мы должны навестить нашего соседа, господина Людвига.

Уходят.

Беата. Гумпрехт.

Гумпрехт. Вы не желаете слушать, что я вам говорю?

Беата. То, о чем ты думаешь, ясно, как день, — ты хочешь здесь стать хозяином и кормиться за мой счет.

Гумпрехт. Выслушайте меня хотя бы по необходимости, — как я вас люблю, как я вас баюкал в свое время.

Беата. Так обманывали многих вдов.

Гумпрехт. Я добр с вами, я готов поклясться святым Дени, что уважаю только вас одну, что одна любовь совершает то, что вы приписываете моей жадности, я честно и преданно веду ваше хозяйство, я слежу, чтобы ни в чем не было недостатка, я еще не стар, хотя вы еще молоды.

Беата. Это просто неслыханно, с меня хватит! Разве это не зло, когда мужики выстраиваются в очередь к одной вдове, говоря про любовь? Мне кажется, лучше жить одной, как сейчас, чем снова залезать в хомут. Если ты всерьез думаешь, что я без тебя не смогу, я буду лучше сама вести хозяйство.

Уходит.

Гумпрехт (*один*). Я хорошо знаю, отчего толстуха так бесится и злобствует. Кум Клеменс должен стать ее свекром, ведь его дылда сынок кажется ей настоящим ангелочком. Сыночек вырос быстро, как мухомор; старый скряга хочет его просватать за госпожу Беату, потому что знает, что у нее водятся деньги; ну, да я его обведу вокруг пальца.

Входят Кристоф и Петер.

Гумпрехт. Что вам здесь нужно? Провели закупку?

Кристоф. Посмотрите сами на этих барашков во дворе, таких упитанных, жирненьких, что сердце радуется.

Гумпрехт. А что за сумятица была там с быками?

Петер. Какой-то молодой парень их привязал и смотрел на нас, когда мы стояли во дворе.

Гумпрехт. Деньги вы уже заплатили?

Кристоф. Торговля прошла успешно, только старик говорит, что он должен еще поговорить с вами, Гумпрехт, и затем обмыть с вами эту сделку.

Гумпрехт. Ступайте отсюда и отгоните их всех в стойло, возьмите киноварь, пометьте всех на загровке.

Слуги уходят. Входит Флоренс.

Флоренс. Это вы — Гумпрехт? Скажите!

Гумпрехт. Что нужно?

Флоренс. Мой отец посылает меня вместе с быками, вы должны их забить.

Гумпрехт. Кажется, вы собираетесь стать мясником?

Флоренс. Да, мой отец считает, что на бойнях всегда достаточно мяса, да к тому же красное вино, которое никогда не забывают выпить по случаю, — всё это мне очень подходит.

Гумпрехт. Я думаю, великорослый болван, что ты пришел, только для того, чтобы глумиться над нашим ремеслом. Ступай, откуда пришел, вместе с быками, и не доводи до того, чтоб тебя побили.

Флоренс. Я могу уйти, но быки хороши, подумайте хорошенько, Гумпрехт, что вы делаете, я не боюсь, и, если дойдет до драки, вы из этой свалки выйдете побежденным.

Уходит.

Гумпрехт. Он больше не вернется, когда его один раз прогнали, а коли не так, я повторю, что сказал.

Уходит.

Улица

Рихард с соколом, Антон.

Рихард. Я возвращаюсь с охоты и очень устал, повтори еще раз свою просьбу ко мне.

Антон. Я, милостивый господин, требую своего, я могу сам исчислить долги, сумма достигла ровно такого предела, я могу на этом примириться.

Рихард. Так вы, богатые горожане, всегда жалуетесь, и всегда имеете деньги, и еще запас нужды, которую возлагаете на других.

Входит Вальтер.

Ваша лошадь была в запале, я ее немного прогулял в тени, чтобы бедное животное не слишком переохладилось.

Антон. Обещайте мне вернуть до ближайшей конской ярмарки, только тогда уж эта сумма будет мне крайне нужна.

Рихард. Хорошо, пусть будет так, только не приставайте ко мне на улице с напоминаниями; это привлекает внимание людей.

Антон уходит.

Вальтер. Когда я крепко привязал вашу лошадь в тени, из-за угла вышел молодой парень с парой быков, могучих и упитанных; они испугались лошади и скакнули в разные стороны; они взмахивали рогами, бодались и творили всякое бесчинство; мне стало не по себе, но этот парень схватил их за головы и одного огрел страшным ударом по спине, другого же так угостил веревкой, что оба сделались смиренными, как овечки.

Входит Флоренс.

Вальтер. Вот этот молодец — а ведь по нему не скажешь.

Флоренс. Нет, забивать скот — не мое ремесло. Эти быки — совершенно неразумные твари. Покажите-ка, что у этого господина в руке? За всю свою жизнь я не видал подобной птицы. Простите, благородный господин, что я слишком дерзок, не могли бы вы мне сказать, как называется эта птица?

Рихард. Это называется сокол, мой мальчик, сокол-перепелятник.

Флоренс. Ого! Посмотрите-ка! Я уже давно мечтал увидеть подобную игру оперения. Какой прекрасный и благородный у него вид! И какие колокольчики на лапах, они ведь так чудесно звенят в полете?

Рихард. Да, его можно слышать, когда он пролетает высоко в небе.

Флоренс. Он сидит здесь в своем колпачке, точь-в-точь так, как мне описывали. Вы не продадите эту птицу?

Рихард. Если когда-нибудь доведется.

Флоренс. Уступите ее мне!

Рихард. Ступай домой, парень, заberi своих быков — это твое ремесло.

Флоренс. О, нет, благородный господин, отдайте мне этого чудного сокола, скажите только, что вы за него хотите.

Рихард. Обоих быков.

Флоренс. Здорово, берите их, только сразу же их отколотите, одного я уже как следует приласкал, и мне кажется, он это помнит, потому что стоит спокойно.

Рихард. Бери перчатку и сокола вместе с нею. Значит, я сделался погонщиком быков? Идем, мой Вальтер, гони их прямо к моему дому.

Уходит вместе с Вальтером.

Флоренс. Вот это была сделка! Вот это птица! Как обрадуется ей мой отец! У меня есть сокол! Ну-ка, сними свою шапочку, затворник, — ух, ты! Какой у него умный взгляд! Вот это да! Я самый счастливый человек, мне удалась самая лучшая из сделок!

Уходит.

В доме

Клеменс, Сюзанна.

Клеменс. Господин Людвиг — прекрасный человек, я всегда ухожу от него с чувством душевного удовлетворения.

Сюзанна. Он всегда может рассказать такое множество новостей!

Входит Флоренс с соколом.

Флоренс. Отец! Смотрите, вот он!

Клеменс. Откуда ты явился, скороход? Быки уже зарезаны?

Флоренс. Ну нет! Это занятие не по мне. Я пришел на бойню, а они там напустились на меня с бранью, грозили даже побоями, так что я ушел.

Клеменс. А куда ты подевал моих быков?

Флоренс. Посмотри же, отец, на эту птицу! Прекрасный благородный сокол, который может взмыть в поднебесье и принести оттуда цаплю! Он взлетает так высоко, что ни один глаз его не увидит, поэтому у него колокольчики на лапах, и они звенят во время его полета.

Клеменс. А быки?!!

Флоренс. Я их отдал тому господину за эту птицу. Только посмотрите! Когда я держу эту птицу вот так на руке, меня можно принять за дворянина.

Клеменс. Мальчик, ты свихнулся? Ты спятил? О, мои прекрасные быки! Дурень! Желторотый дурень! Вот что выходит, когда поручишь что-нибудь такому барану! Во всем Париже я больше не сыщу таких быков, с такой огромной головой, таких круторогих, с такими подгрудками! Слушай, торопыга, возвращай мне этих быков обратно!

Флоренс. Но ведь за них мы получили эту птицу.

Клеменс. На что мне эта птица, паршивец! Я не охотник, это не моя должность — заниматься охотой и травлей! Я еще не лишился разума.

Флоренс. Не правда ли, он так красив? Но где же я стану держать эту гордую птицу? В моей комнате ему будет лучше всего, никто его там не обидит. И как это он еще не смог пленить сердце моего отца? Смотрите, мама! Это сокол, и не просто сокол, а перепелятник.

Клеменс. Дурень безмозглый, не знаю, что делать — плакать или смеяться. Что толку, что я здесь дошел до белого каления и ругаюсь на чем свет стоит, он даже не слушает. Иди, будешь содержать своего сокола и есть отныне только то, что он тебе поймает. Тогда скоро ты поймешь, какую прекрасную покупку ты сделал.

Флоренс уходит.

Сюзанна. Ты сердисься, муженек?

Клеменс. Когда я начинаю свыкаться с потерей, мне начинает это казаться смешным. Скажу только, что из мальчика ничего не выйдет,

голова у него явно не на месте. Я думаю, что поручу ему на какое-то время носить за Клаудиусом мешок с деньгами, а там для него найдется занятие.

Сюзанна. Это ты хорошо придумал, а то Клаудиус вспотеет под этой тяжестью, потом попадет на сквозняк и простудится. А Флоренсу вреда от этого не будет.

Оба уходят.

Деревня

Хорнвилла, Аливус.

Аливус. Всегда ворчание, всегда ругань, я больше этого не выдержу, пропади всё пропадом! Я убегу в пустыню, а ты оставайся один, свинья! Всегда заявляется домой пьяным и устраивает шум и буйство, ни днем, ни ночью нет покоя, одни притеснения и побои.

Хорнвилла. Все это так и должно быть, замужество и означает замученничество, сейчас мне совсем и полностью хорошо, поэтому твои оскорбления сойдут тебе с рук, но завтра, когда я приду в себя, я отколочу тебя за это.

Аливус. Ты никогда не бываешь спокоен, вечно буянишь, о том, чтобы спокойно поговорить с женой, нет и помина, чего ты хочешь? Что ты задумал? Опомнись, дурень! Что значит это буйство, ругань, бешенство?

Хорнвилла. Тебе не удастся натянуть мне нос, я вижу всё, как оно есть, моя честь втоптана в грязь, ты, несмотря на все побои, так что ты и пошевелиться порой не можешь, несмотря все предосторожности и надзор, сделала-таки меня рогносоцем.

Аливус. Это неправда, я люблю тебя, и, на свою беду, слишком крепко.

Хорнвилла. Как так получается, скажи, дуралей, что у нас до сих пор нет детей, нет наследников? Мой род угаснет вместе со мной.

Аливус. Бедный род, его очень жалко.

Хорнвилла. Даже побочного потомства после меня не будет! А ведь я мог бы иметь радость отцовства, но теперь у меня только куча горестей. Это так или нет? Говори правду!

Аливус. С меня довольно, я уйду в дом.

Входит солдат.

Солдат. Вы хозяин этого кабачка?

Хорнвилла. Да, дружище, по крайней мере, я так думаю.

Солдат. Будет проводиться набор рекрутов, турки начинают бесчинствовать, я хожу здесь и ищу людей, которые могли сгодиться на войне.

Хорнвилла. Мне что, идти с вами?

Солдат. У вас неподходящий вид, Вы только испортите наши ряды, вы не годитесь даже в маркитанты.

Хорнвилла. А я и не стремлюсь на поле чести.

Солдат. Я хочу тут у вас произвести небольшое опустошение, Ваша жена уже ушла?

Хорнвилла. Она что, нужна вам для того, чтобы поступить на вашу службу?

Солдат. Я хочу у вас переночевать, ваша жена мне давно уже знакома, вы — просто болван, а она — разумная женщина, и смотрите, обещаю вам, что если вы вздумаете поднимать шум, я возьму вас за шиворот, и отобью вам все печенки.

Уходит.

Хорнвилла. Я не боюсь ни черта, ни дьявола, но сейчас мое мужество меня покинуло, солдаты никогда не понимают шуток, на это нужно смотреть сквозь пальцы, и я с давних пор не имел никаких дел с войной и с оружием; эти вещи всегда приходят внезапно и наносят вам колющие и рубящие удары; в наших внутренностях столько всего: легкие, печень, сердце и желудок, и все это занято своей работой, а тут можно легко потерять жизнь. Меч может рубить прямо или наискосок, но всегда на что-нибудь наткнется. Кто это там идет так осторожно, с жалобами, мольбами и рыданиями?

Входит монах.

Монах. О, защитите, во имя милосердия Господня! Если вы причисляете себя к христианству и исполняете его заветы.

Хорнвилла. Кто вы такой с вашим хныканьем?

Монах. Кто же теперь не восплачет? В горах рыщут язычники и творят монахам многие мерзости, все отшельники ищут спасения в бегстве, Ливан полон бряцанием оружия, никто из людей Божьих не знает, куда бежать, обитатели полны страхом и отчаянием, о, брат мой, предоставьте мне ночлег, позвольте мне войти в ваш дом и найти приют на ложе в холод и бурю.

Хорнвилла. Входи, христианская душа, там, внутри, есть тот, который нас всех защитит: отважный воин, не знающий страха, он сидит там с моей женой.

Оба уходят.

Париж

Король Дагоберт, епископ Арнульф, Пепин.

Дагоберт. Нет, благородный майордом, не порицайте меня за то, что мое единственное помышление, моя ночная страсть и мое дневное желание призывают меня к тому, чтобы этот здание, собор святого Дионисия, всячески украсить. Стены уже сооружены, дело теперь за роспи-

сями, святым благолепием, и нам также надлежит как следует обставить освящение.

Пепин. Как я могу порицать ваш благочестивый замысел, вашу благородную волю, которые вы посвящаете Богу? Одно только дает повод задуматься, — что вы принесли уже столько даров Церкви, вы опустошили казну, и, если враги вдруг заполонят страну, какую защиту вы им противопоставите?

Арнульф. Всемогущество Господа, который всегда охранит своих. Кто, малочисленный, может в этом усомниться? Благословенный мир царит в стране. И, если появятся враги, не серебром и золотом, но железом и стойкостью мы им противостанем.

Пепин. Вы человек Церкви, святой епископ, поэтому война вам кажется таким же легким делом, как чтение мессы.

Арнульф. Вы позволяете политике и расчету господствовать там, где, слава Богу, в этом нет необходимости. Миновали времена дикого насилия, когда ценилось убийство, и война влекла собой войну, народ, распаленный яростью, нападал на другой народ, вместе с Лотарем раздор сошел в могилу. При Дагоберте мы видим цветущий мир, еще в молодости он чувствовал склонность к тому, чтобы поддерживать и защищать Церковь, при нем страна обрела подлинное благословение.

Дагоберт. Не препирайтесь, мои бесценные друзья! Никакой разлад не должен разделять меня и вас, довольно было пролито крови, ныне согласие проливает свой кроткий свет, насладимся же благодатным миром, война не должна более входить в наши дома, небо возвращает себе великодушные дарения, и согласие укрепляет благодарные умы. Я сам в молодые годы испытал на себе раздоры, ненависть, страх, всяческие беды, недоверие, преследования, ужасы войны, тогда, во времена прискорбных несчастий, когда мой собственный отец преследовал меня с полчищами врагов, о, какое глубокое раскаяние вызывало у меня то, что мне принесло мое легкомыслие в дни распутной юности, а ему — приключившиеся с ним бедствия. Ты знаешь, Пепин, как я нашел убежище в часовне святого Дионисия, ты пришел от короля с вооруженным отрядом, я преклонил колени на освященном месте, и оно сохранило меня от всякой опасности, там мои подслеповатые глаза стали ясно видеть, воины отступили, и я в безопасности остался в часовне до утра. Тогда мне подумалось обо всех словах, всех поучениях, которые мне постоянно говорил Арнульф; мне довелось слышать его самого. Когда он проповедовал о жизни святых; я был тронут, и поклялся самому себе, что отныне устремлюсь помыслими к высшему благу; мое сердце и мой ум, доселе покрытые пеленой утех этого мира, пробудились. Меня окружала глубочайшая тишина ночи, вечные звезды мерцали в небесах, и глубины моего сердца были объаты пламенем устремленности в те дали, так время прошло в молитвах, в моей душе воссияли новые светила, и сладкий сон окутал тьмой мой взор, а мой дух

наполнил ослепительным сиянием. Три мужа величаво предстали передо мной, в их взгляде светилось величие божественности, на моих глазах проступили благоговейные слезы, настолько восхитило меня это созерцание. Длинная белая борода украшала одного из них, другие шли позади, в его сиянии, и он сказал: я — Дионисий, он — Элевтерий, а тот — Рустикус. Когда я услышал проповедь святого Павла, я воодушевился Святым Духом, с них тоже спала пелена, они возлюбили Слово Божие, наши сердца воспылали благочестием, нам был дан Крест, и, вместе с товарищами моего грядущего мученичества, я вверил себя волнам Закатного моря. Нами двигало желание осчастливить Галлию Словом, Париж воспринял Евангелие, Христос захотел придать нам силу, и многие обратились к истинной вере, пристало ли нам страшиться мрака язычников? Они схватили нас, все мы приняли муки, счастливы своею кровью свидетельствовать истину, о которой не должен умалчивать ни один верующий. Одна благочестивая женщина упокоила нас в могиле, наше погребение было рядом с ее хижиной, она пролила потоки слез, моля за нас по христианскому обычаю, пока нам не была построена эта часовня. Когда счастье вернется к тебе, исполни нашу просьбу, — не дай, чтобы мы, ваши учителя, оказались позабыты, воздвигни нам прекрасный храм на твоей земле. Нет, — воскликнул я, — святой посланец Божий, пусть никакого счастья мне не будет, пока я не исполню то, что в моих силах! Вас преследовали, власть давила вас, однако с тех пор взяла свое начало истинная вера. Ныне же подобает зреть вас в величии и блеске, и пусть богатство и роскошь даруют свое злато и самоцветные камни, дабы вас прославить. Пусть воздвигнется величавый собор, где будут красоваться росписи и распятия, представляющие жизнь Христа и святых, пусть резные гроздья свисают со сводов, музыка пробуждает душу, чтобы под звуки органа и кимвалов она воспламенялась благоговением и сердечно устремлялась к алтарю. Вот такой обет я принес перед святыми, наутро я примирился с Лотарем, отец послал за своим сыном, и моя жизнь неожиданно повернулась к лучшему, вскоре он совершил паломничество, после чего я был возведен на его престол, и можно было бы создать новое царство и новую славу, но мне достаточно того, чтобы почтить святых. Пусть моей славой, моей мощью и моим царством будет та любовь, которую я питаю к Богу в своем сердце, и пусть самое прекрасное и роскошное будет употреблено, дабы явить Ему воочию нашу любовь, исчезла навсегда прежняя ночь язычества, наступил радостный день для христиан, все сокровища, цветущие ныне на земле, должны быть принесены, дабы отдать долг благочестию.

Входит Элигиус.

Элигиус. Мой король, в храме воздвигнуто распятие, оно обратит на себя взоры всех верующих, его роскошному убранству удивится весь мир, оно запечатлеет для будущих поколений твою любовь к Церкви сво-

ими жемчугами, рубинами и изумрудами, то же, что осталось от камней, золота и алмазов, я отослал обратно в твою казну.

Дагоберт. Я все время беспокоюсь, как бы тебе не доставил мучения весь твой труд, который ты к этому приложил.

Элигиус. Меня радует, что я сделал богоугодное дело, я доволен, что довел его до конца.

Дагоберт. Ваши мысли полны благочестия и духовного порыва, за это вам будет дарована лучшая награда.

Элигиус. Так поспешим же в храм и там порадуемся вместе завершенному произведению.

Аллея среди деревьев

Рихард (*один*). Какая же чудовищная давка там, на ярмарке, от массы людей и коней! А какие там жеребцы!

Входят Клаудиус и Гумпрехт.

Клаудиус. Боже правый! Разве вы не понимаете, что нельзя так нахально толкать людей?

Гумпрехт. У меня нет времени осматриваться и искать дорогу, чтобы разминуться с каждым встречным дурнем, потрудитесь-ка заранее посмотреть сами.

Уходит.

Клаудиус. Эти мясники — ужасные грубияны, и, когда проходит ярмарка скота, они думают, что весь мир создан для их быков.

Рихард. Вот и вы, а я хочу у вас обменять деньги, я собираюсь сегодня отдать некую сумму.

Клаудиус. Я как раз получаю деньги, идите за мной, мой благородный господин, я сейчас подготовлю мой меняльный стол.

Рихард. Только у меня нет времени ждать долго.

Входят Рудольф и Эмрих.

Рудольф. Поверьте мне, это самый отъявленный мошенник, из тех, кто приходит к нам сюда с лошадьми.

Эмрих. Он умеет их сбывать с рук, умеет расхваливать, умеет пускать пыль в глаза, можно делать всё, что угодно, можно быть обманутым, когда он об этом узнаёт, он валится со смеху.

Входит Вольфхарт.

Вольфхарт. Ну, мои милостивые государи, значит, это жеребец вам не подходит? Смотрите, клянусь спасением души, этот конь достоин носить короля, — сильный, стройные бедра, точеная головка, грива — волосок к волоску, шея сухая, грудь широкая, вдобавок приучен скакать и прыгать, горяч и резов, хоть сейчас на турнир, годится и красоваться под седлом, и побеждать в бегах.

Рудольф. Цена ваша немножко безбожная.

Вольфхарт. Он встал мне почти во столько, сколько я прошу.

Рудольф. Проведите-ка его перед нами еще раз.

Вольфхарт. С превеликой охотой; идемте, чтобы посмотреть его как следует.

Уходят.

Входит Бертран.

Бертран. Тысяча чертей! Там показывают прекрасного коня! Я такого никогда еще не видел на ярмарке. Сколько просит за него продавец?

Вольфхарт возвращается.

Танцуй, танцуй, вороной, — как он фыркает, как бьет копытом, что вытворяет!

Бертран. Сколько вы просите за этого вороного?

Вольфхарт. Ваша милость, Бог меня накажет, если я попрошу меньше четырехсот, я бы и своему брату не продал дешевле.

Бертран. Вы сошли с ума. Он у вас стоит около трехсот, и то эта цена слишком велика.

Вольфхарт. Нет, господин мой, это не подойдет, корм для коней слишком дорог.

Входит Флоренс с мешком денег.

Флоренс. Сегодня жарко и невыносимая толчея. Эта ярмарка доводит всех до безумия. Какой чудесный конь! Идет так гордо рысью, и скачет так, что мое сердце скачет в такт. Счастлив тот, кто может выезжать верхом на коне, перескакивать через ямы, высоко над землей чувствовать под собою гордую рысь, слышать сопенье и фыркание! Как он наполовину отбрыкивается, наполовину играет с блестящими удилами! Был бы он моим! Ах, он стоит большую, очень большую сумму, он по карману только рыцарю или графу. Смотри, он встает на дыбы! Мне кажется, лучше бы я ездил на нем, это выглядит благороднее. Что толку, все время считать деньги, обменивать их и потом снова менять, о, если бы смог купить себе такого коня!

Бертран. Триста пятьдесят, и это последнее слово.

Вольфхарт. Не могу, благородный господин, я сам переплатил.

Бертран. Вы опомнитесь, когда я буду далеко.

Уходит.

Вольфхарт. Покупателей много, да что-то все не хороши, у молодежи никогда нет денег.

Флоренс. Это самый прекрасный конь, которого я видел в своей жизни, и мне удивительно что эти господа не оценили его по достоинству.

Вольфхарт. Тут есть одно препятствие.

Флоренс. Сколько стоит это благородное создание?

Вольфхарт. Он у меня стоит достаточно много, — четыреста фунтов.

Флоренс. Четыреста?

Вольфхарт. Да, и ни дукатом меньше.

Флоренс. И не больше? Что такое четыреста фунтов? Господин мой, меня удивляет, что вы такого прекрасного коня выставляете так дешево, — так не годится, вот здесь, в этом мешке, точно отсчитанные пятьсот фунтов, вы не рассердитесь на меня, если я столь малую сумму предложу вам и попрошу вас уступить мне за нее этого благородного скакуна?

Вольфхарт. Да, молодой господин, это меня устраивает!

Флоренс. Пойдемте вместе со мною внутрь церкви, там тихо, там я вам отсчитаю деньги.

Уходят.

Входят Рудольф и Эммрих.

Рудольф. Такого коня я не торговал ни разу в жизни.

Эммрих. Он уже далеко. Он не стоит таких денег.

Рудольф. Не всякая тварь столь редкостна, и никто бы не отказался иметь такого коня.

Эммрих. Купите в другой раз, эта ярмарка проводится часто.

Уходят.

Вольфхарт (*возвращается с мешком денег*). Вот это да! Что только не случается в жизни! Я едва могу удержаться от хохота. Он дал мне сотней больше, чем я просил, и еще умолял, чтобы я не сердился. У парня с головой определенно не в порядке, а может, он пьян или украл эти деньги. Мне-то что, я ухожу, пусть он раскаивается, если ему вздумается вернуться за деньгами.

Уходит.

Комната

Клеменс, Людвиг.

Клеменс. Пейте, куманек, выпейте еще чарочку!

Людвиг. Я, право, выпил бы с удовольствием, но не могу, кроме того, такой обильный завтрак перебьет мне обед.

Клеменс. Да, мы стареем, мы все больше стареем. Нет уж той бодрости, что была раньше. Вот уж и мне тоже надо быть осторожнее с выпивкой. А как мы умели повеселиться в свое время! Помните?

Людвиг. Еще бы! До конца дней не забуду.

Клеменс. Сколько песен мы успевали перепеть за ночь, сколько хорошеньких девиц перелопатить и сколько просадить денег!

Людвиг. Ах, куманек! Молодость прошла!

Клеменс. Да, это правда; но нам остаются воспоминания. Ах, если бы Вам еще довелось совершить паломничество!

Людвиг. У вас еще есть книга о Палестине и восточных землях, написанная на пергаменте неким Адамом?

Клеменс. Когда наступит зима, мы ее снова почитаем вместе. Она читается легко, хотя наверняка не все в ней правда. Однако эта забавная манера, эти истории, которые он передает, житейская философия, рассказы о животных, чудесных источниках, все, что относится к христианству, все сюжеты нравятся читателю, пусть даже он и не верит.

Людвиг. И кто бы мог подумать, что вы мне из того путешествия приведете ту ломбардку, которая кормила в пути Вашего малыша. Да, милая Антонелла, упокой Господь ее на небесах. Мы жили с ней в мире и согласии, душа в душу, особенно когда она выучилась говорить на нашем языке.

Входит Антон.

Антон. Здесь у вас холодно.

Клеменс. Это летняя, неотапливаемая комната.

Антон. Это правда, что ваш новый дом красив и уютен, и расположен прекрасно, — рядом луга.

Клеменс. Здесь все продумано.

Антон. Как раз, когда я собирался к вам идти, мне повстречался на улице жеребец, скачущий во весь опор, могучий, как гора, вороной, цвета ночи, — гарцует, красуется, фыркает. И едет на нем, — угадайте-ка, кто?

Клеменс. Понятия не имею.

Антон. Флоренс, Ваш младший сын.

Клеменс. Флоренс?! Какого дьявола, — он что, с ума сошел?

Антон. Сначала я не хотел поверить своим глазам; я уже сказал, что лошадь — просто черный дьявол; я шарахнулся назад, все люди были в смятении, а он пускал ее и рысью, и галопом, и в карьер, и заставлял делать прыжки, и сидел в седле, как влитой. Перед ним перебегал улицу какой-то ребенок, все думали, что попадет под копыта, но парень остановил лошадь, и она стала как вкопанная.

Клеменс. Вот пострел! Как же он оказался на этой лошади?

Антон. Потом он поскакал в сторону лугов, делая все, что ему вздумается, я никогда еще не видел такой скачки, у добрых людей при виде такого голова шла кругом, тише! Что там за цоканье? Это наверняка он!

Клеменс. Боже упаси! Что это за ужасный зверь, он один займет у меня весь двор! Откуда он у парня вдруг появился?

Людвиг. Он поглаживает его, обтирает с него пот, и привязывает его, как ни в чем не бывало.

Входит Флоренс.

Флоренс. Отец, теперь нам нужно лошадиное стойло.

Клеменс. Сын, что ты делаешь со мной своими дурацкими выходками?

Флоренс. Вот это конь! Вот это называется — езда! Вот это совсем другая жизнь, чем пачкать руки, пересчитывая пфенниги, таскать мешки и думать о суммах. Я весь пылаю! Что скажет мама!

Клеменс. Осёл не слышит! Как ты наткнулся на этого коня?

Флоренс. Просто чудом, я и сам не верю, когда рассказываю. А, добрый день, господин Антон. Видели его бег? Ваш покорный слуга, господин Людвиг. Его зовут Вороной, потому что у него такая масть. Здесь на лугах я смогу свободно разезжать на нем.

Клеменс. Откуда он? Я теряю терпение, это плохо для тебя кончится.

Флоренс. Он должен быть доволен, отец! Я беспокоился, что продавец возвратится и потребует его обратно, так выгодно мне удалось его купить! Я пришел на ярмарку, там он был под седлом, и я сразу спросил, сколько стоит такой конь. Мне сказали — четыреста фунтов.

Клеменс. Проклятье!

Флоренс. Право, же это слишком мало. Я спросил у продавца, не хочет ли он за такую лошадь несчастные пятьсот фунтов...

Клеменс. И?!

Флоренс. Да, — ответил он! И сделка состоялась! Кто выиграл, как не я?! Я сажусь в седло, скачу, прыгаю вместе с ним, — а тот должен волочить за собой тяжеленный мешок!

Клеменс. Меня хватит удар.

Людвиг. Куманек, пойдем-ка отсюда.

Антон. Пропустим по чарочке, это нам не помешает.

Флоренс. Отец, так вы что же, не думаете, что я сделал удачную покупку? А что же тогда человек должен делать с этим презренным металлом? Я так думаю, что, если деньги не приносят ни радости, ни веселья, то они ни к чему, — а этот конь полон жизни, полон силы, и у него такие умные, прекрасные, огромные, дикие, косящие, полные отваги глаза! Прямо бери его и поезжай сейчас на войну.

Клеменс. Ах ты, негодяй! Лежебока! Может ли так быть, может ли так случиться, чтобы на свет родился такой болван! Я больше не выдержу! Моей жизни на это не хватит!

Вскакивает и вцепляется Флоренсу в волосы.

Сейчас я тебе, дармоед, влеплю хорошенько по твоей глупой физиономии!

Флоренс. Что вы делаете, отец, что такое случилось?!

Клеменс. Спроси, спроси еще, когда мои глаза готовы выскочить от горя, от мучений, от ярости! Такие деньги! О, хоть бы одна дубинка была под рукой!

Флоренс. Что, лошадь чем-то нехороша?

Клеменс. Ты еще порассуждай, ублюдок, мошенник, сатана! Ты у меня почувствуешь, великовозрастный олух, что силы у меня еще есть! О, горе мне! Я больше не выдержу! Силы небесные, помогите мне!

Валит Флоренса наземь и дубасит его.

Входит Сюзанна.

Сюзанна. Что здесь происходит?

Людвиг. Вы пришли вовремя.

Флоренс. Бейте меня, отец, хоть все время не переставая, я — ваш сын, но только оставьте мне коня, он стоит всех побоев и еще тысячу фунтов впридачу.

Клеменс. Я больше не могу, этот пёс загонит меня в могилу, он отнимает здоровье у отца с матерью, он у меня просто в печенках сидит, хоть бы я его тогда утопил! Да, жена, утопил этого мерзавца, который принес мне несчастье, а теперь нас обоих доведет до нищенской суммы.

Сюзанна. Ты совершенно вне себя. Что же случилось?

Клеменс. Вот что я должен переносить из-за этого осла! Это правда, что медведя за всю жизнь не научишь ни уму, ни разуму, ни человеческим привычкам. Смотри, он и не слушает, шельма, дурацкие сделки, обезьяньи выходки, — вот его забава, когда он слышит, как слепые поют песни о героях былых времен, тут наш дурачок весь словно загорается и сам на себя не похож, глаза у него округляются, как у быка под ножом, когда он слышит о драконах, великанах, битвах, как рыцари посвящали свою жизнь чести; может, ты так хочешь добывать свой хлеб? Да только отрезать его тебе будут не щедро. Смотри, паяц, вон лежит кусок окорока, поешь, ты ведь только и умеешь лопать.

Флоренс садится за стол и ест.

Но что остается делать, это тот случай, когда говорят: шутки в сторону! И как будто бы мой странствующий рыцарь дома не получал никаких добрых наставлений, никаких внушений, никаких просьб, никаких наказаний, от которых я сам уставал, а ему было хоть бы что; — чтение и письмо — ничего ему не давалось, хотя с ним и читали, и писали, и пытались выбить дурь из головы. Так иди же, выпрашивай песнями свой хлеб! Сидит, жрёт, и всё ему нипочем, и в ус не дует. Сейчас я опять возьму дубину и как следует отхожу этого болвана.

Сюзанна. Нет, муженек, успокойся! Что за время такое! Сегодня весь день одни скандалы.

Клеменс. Есть из-за чего переживать и о чем ругаться, или я должен благодарить негодника, что он выкинул ни за что мои пятьсот фунтов? И теперь я их, как ни крути, недосчитаюсь?

Сюзанна. Как же ты, Флоренс, так всё напутал?

Клеменс. Покупайте мне теперь в дом быка за эту лошадь!

Входит Клаудиус.

Клаудиус. Я удивляюсь, почему отец не посылает моего брата в меняльную контору, — а этот верзила сидит здесь и спокойно кушает, — ну и ну, должен вам сказать! Ко мне там приходит один клиент за другим, требуют денег, я сижу на солнышке, жду неизвестно чего, люди отходят к другим менялам, а мой братец Флоренс сидит и уписывает окорок.

Клеменс. Ах, сынок, я почти что помешался, настолько этот мерзавец вывел меня из равновесия.

Клаудиус. Иисус милосердный! Что это у нас на дворе? Лошадь, громадная, как носорог!

Клеменс. Вот она-то и досталась нам за эти деньги, такая же громадная и толстая, как и вон этот, который ест перед нами, — теперь мы должны кормить и эту лошадь, да так, чтоб ей пришлось по нраву, потому что хозяин умеет только ездить.

Клаудиус. Клянусь Господом, она плотоядно смотрит на меня, я к ней не притронусь, она съест меня целиком, у нее шея такая широченная! Сейчас как раз время обеда, я пойду, потому что и мне захотелось есть.

Уходит.

Флоренс. Я хочу один ухаживать за этим конем, он меня знает, и я его хорошо понимаю, я могу его седлать, взнуздывать, чистить скребницей, я хочу сам задавать ему сено и овёс.

Уходит.

Клеменс. Вы можете понять, кумовья, как быть с этим парнем?

Сюзанна. Мой дорогой муженек, ты его сильно избил и тем причинил больше страданий себе, чем ему, мы не знаем, что происходит, поэтому прости ему эту выходку и смирись, ибо кто знает, — вдруг он сын благородных родителей, потому что выбирает себе изысканные занятия, думает все время о верховой езде, фехтовании и войне, дай ему это право. Вдруг, Бог устроит так, что это дитя в один прекрасный день устроит наше счастье.

Антон. Скажу вам, хозяин, что он сидит на коне, как только можно пожелать настоящему рыцарю.

Людвиг. С ним происходит что-то непонятное.

Клеменс. Я совершенно обессилен и разбит. Вы, кумовья, не хотите пройти к столу?

Сюзанна. Доставьте нам такое удовольствие, кушанье уже готово.

Антон и Людвиг. Премного благодарны. Приятного всем аппетита.

Все уходят.

Флоренс (*один*). Так сильно он меня не колотил ни разу в жизни. Но я все стерплю ради этого коня. Он крепко-таки выдрал меня за волосы,

я так и не знаю, — в чем моя вина? Это лучший конь из всех, которые там были, я дал бы за него две тысячи гульденов, мой отец, конечно, не наездник, поэтому зовет меня странно — лежебокой. Теперь я буду ухаживать за тобою, мой конь, мы будем друзьями, я буду засыпать тебе лучший корм, ездить на тебе на реку, купать тебя в речной струе, ты будешь смотреть на меня твоим отважным взглядом, и я приму за тебя любое страдание. О, будь сейчас война, взвейся сейчас знамена, и мы с тобой ворвались бы в гущу врагов!

Уходит.

Дворец

Султан Вавилона на троне, Адмирал, Аламфатим, другие короли, воины, рабы.

Султан. Мрак и туман должны быть прогнаны с лика Земли, тьма презренного служения Христу. Алая заря взойдет во славе, расцветет цветок истинной веры, огонь запылает на горизонте, указуя путь к славе Магомета, Азии и нас самих. Европа со всеми ее народами будет разгромлена, я поражу ее мощь в самое сердце! Франция, средоточие этого растленного учения, станет нынче мишенью для моих луков, и, когда я насмерть поражу эту страну, народы закатных стран будут повержены. Огню, ярости, которая снедает меня, дай простор, вырвись наружу, невзирая ни на что, моя старая злоба, — ибо моя алчба ищет поживы, вперед, вассалы! Идем на Францию! Да, пусть Дагоберт увидит свою гибель, моя нога крепко придавит ему затылок, как лев вонзает когти в свою добычу, так что кровь брызжет ему на гриву и каплет с губ; так и я пребуду всегда верен Магомету, моему божеству, мое сердце никогда не престанет истово служить ему, и никогда не погаснет этот огонь, возжегшийся во мне, который можно залить лишь потоками крови. Вы, народы Азии, вы, князья Востока, вассалы и верно-подданные, от Ганга до Нила вы все откликнулись на мой строгий приказ, посланный с надлежащими предупреждениями; Халдея, Персия и Аравия, вы удостоены чести сражаться под моими знаменами; Грузия, Черкесия, и вы, мавры, — вы все давали мне клятву верности.

Аламфатим. Мой великий брат, султан Вавилона! Панцири, щиты, луки, кони — всё снаряжено, отомсти за оскорбление твоего достойного трона, и, если ты так жаждешь крови христиан, топчи их тысячами, без счета, твоих насмешников, срази их, ведущих себя так дерзко! Будь Богом, который низвергает других богов, отомсти им сталью твоего меча!

Адмирал. Мой великий брат, султан Вавилона! Флот стоит наготове в гавани, прилив настороже, ветер затаил дыхание, ожидая, когда твоя высочайшая воля прикажет ему дуть в полную силу, чтобы осуществить твое желание, наполнив паруса, вот уже и флаги на мачтах стремятся прочь от берега, и якорь не хочет покоиться на песке.

Султан. Что хочет возвестить мне король Аравии? Ответь на мой вопрос, мой Лидамас!

Лидамас. Пусть все счастье небес озарит твои дни и покроет их новым сиянием! Кто мне подскажет, где найти слова, дабы должным образом возвестить тебе твоё счастье, твой чудный удел, твою славу, за умножение и расширение пределов которой бьются, не жалея себя, самые отдалённые племена. Да, сам Магомет выровнял твои пути, твои самые величайшие замыслы должны исполниться, пусть реют твои знамена, приносящие победу! Их целует слава и смерть в порывах ветра, все, что желали твои великие предки, пусть предстанет воочию перед твоим тронem, несчастные более не смогут влачить существование, ибо ты приказал истребить всех христиан. Мы с изумлением услышали о рассказанном нам чуде, — правит нивами Кавказа некий великан, которого не в силах победить ни один из тех героев, что носят щит и шлем. Они падают пред ним, как колосья в бурю. Его имя — Голибра, перед ним трепещут народы. Он смиренно преклоняет перед тобой свою гордую выю, его гордость ныне, — не отвергай ее с презрением, — в том, что он, как твой слуга, идет в рядах твоего войска, что он, как твой друг, воюет на твоей стороне, и, если ты его примешь, он тебя никогда не покинет. Его верность будет при тебе всегда неразлучно, он своею рукой сразит Дагоберта, и принесет его наглую башку на острие своего меча. Этот смельчак так силен, высок и толст, как я никогда в жизни не видел, никто не сможет противостоять этой жуткой образине, ни даже приблизиться к нему, точно он сделан из меди. Ты хочешь, чтобы этот сын гор служил тебе? Тогда прими его, как друга.

Султан. Пусть войдет, мне очень приятно его видеть, и пусть садится рядом со мной.

Голибра, великан, входит.

Султан. Я еще никогда не видел столь устрашающей внешности, приветствую тебя, дитя великих дел!

Аламфатим. Какая голова, какие ручищи! Да, такой силе должны будут уступить все христиане.

Адмирал. Если он в гневе пустит в ход кулаки, полягут тысячи самых яростных.

Султан. Еще раз приветствую тебя! Садись на это место.

Голибра. Позволь мне остаться стоять перед тобой. Как море и земля, скалы и глубокие пропасти, ревущие потоки, дико бушующее пламя, дымятся, пылают, сливаясь воедино, горы стонут, им отзываются бездны, как вспыхивает сила слепящего огня, и развеивает города в раскаленный пепел, и дворец, и храм в сладострастии огня обращаются в золу в порывах горящего ветра, — так я могу назвать только одно, что устрашает, что бушует более всех землетрясений и ураганов, что могущественнее прилива,

что сжигает сильнее пламени, — гнев героя, прокладывающий себе дорогу, чтобы трепещущий мир узнал своего господина, чтобы земля и море, объятые страхом, склонились перед его окровавленными знаменами.

Входит Арлангес.

Султан. Что, Арлангес, король персов, имеешь ты мне передать как посланец?

Арлангес. Благородный господин, чей полный величия венец хранят Азия и Магомет, я являюсь с просьбой и мольбою, чтобы ты удержал свой гнев, враги пусть трепещут перед тобой, тех же, кто любезен тебе, ты пощадишь. Сюда, полная любви, идет со своими фрейлинами Марсебилль, твоя дочь, умоляя отцовское сердце, простираясь ниц перед троном. Она узнала о твоём выступлении в поход, и ее благородный дух, о Высочайший, ныне ликует, ибо этот военный поход для нее величайший праздник, да и не хочет она, чтобы ты остался без нее. Да, она следует за барабанным боем, и звук труб, возвещающий войну, звучит для ее слуха, как песнь любви. Покою, ничегонеделанью, цветам, аромату садов, светлым ручьям, хору соловьев, взлетающим фонтанам, — всему она охотно говорит: «прощай!», пока ты не возвратишься с победой. Она приближается, умоляя, в своих изысканных украшениях, роскошна, как утренняя заря, когда она, облаченная в пурпур, приносит нам день с заоблачных высот. Все леса и луга ликуют, птицы самозабвенно распевают, и воздух и земля тонут в шафранно-золотом пылании. И кайма рассветных красок несет на себе зачарованные облака. Так идет сюда Марсебилль, твоя возлюбленная дочь, и Роксана и Леалия неразлучны с нею. Чей язык может высказать, как счастливо мое дыхание возвещать, что она идет сюда, в возвышенном сиянии. Ее светлые волосы витают, расплетенные и игриво распушенные, над ее плечами в воздухе, колышутся и взвиваются, и ее глаза, точно в сетях, живут средь сплетения локонов. Нет, не волосы, не локоны, — волшебное сплетение золота, которое некий влюбленный бог переплавил в украшение для ее головы. В тени, — нет, в блеске этого золотого шатра таятся светочи ее глаз, точно два восхитительных солнца, под узкими бровями, слегка расставленными и нежно изогнутыми, можно назвать ее взгляды стрелами, а брови — луками, ибо еще никогда столь сладостные молнии ни одни глаза не метали, и никогда такие взгляды не вылетали из такого колчана. Ее глаза подобятся повелителю, отдающему приказания подданным, и прекрасное тело ловит приказ, все подобное сладостной музыке, звучащей в полную силу; и ее движения — как отзвук речи, звучащей в ее глазах, в ее взглядах. Так идет к тебе прекраснейшая. В руке она несет охотничье копьё, как часто она делала, сопровождая тебя в лес и красуясь на гордом иноходце. Там она бесстрашно встречала тигров, встречала львов, в том панцире, украшенном камнями — рубинами, изумрудами, алмазами, который на ней сейчас. И еще она несет щит, тот, огромный, который защищал ее, когда

нападал лев, самый могучий из тех, кого рождает знойная пустыня. Так она идет, и кто решится своевольно встать на ее пути! И когда она поднимает и склоняет голову, и улыбка слетает с пунцовых губ, все залы, колонны, откосы входов искрятся; и каждый, встретивший ее взор, немеет от испуга и ликования.

Марсебилль входит с Роксаной, Леалией и остальными фрейлинами.

Марсебилль. Отец мой, не оставляй меня сидеть в саду, засаженном розами и лилиями, где горлицы воркуют в увитых зеленью беседках, не там, где сверкают пики и мечи, где герои, воспламенясь и прикрывшись щитом, заслуживают твою улыбку, пролив потоки крови, туда я пойду с тобой и с твоими храбрецами, Магомет и его могущество сохранят меня. Ты хочешь, чтобы я думала о замужестве. Сад настоящих невест — там, где они собирают урожай голов, стоны умирающих мне звучат как песня. Прочь, розы, цветочки, роскошества! Прочь, песенки! Я на того посмотрю благосклонно, кто поднесет мне голову Дагоберта.

Голибра. На острие моего меча я принесу ее, еще дымящуюся, преклонив колена перед тобой, как сейчас, изуродованная, бескровная, она будет знаком моей блистательной, великой победы, только тобой, богиня, — никем я не хочу быть побежденным, — ты светило этой войны, мужество сверкает в твоих очах, ты воспламеняешь все сердца к тому, чтобы презреть опасность.

Марсебилль. Я беру тебя в паладины моей любви, и в супруги, если ты исполнишь обещанное тобою сейчас. Испробуй отвагу твоей руки на этой христианской собаке, и Магомет будет отомщен.

Голибра. Как я могу не сдержать своего слова перед тобой, любимой мною, когда я никогда не нарушал и данное врагу? Я обтрясу их головы и они попадают в твой подол, и прежде всех — голова Дагоберта.

Султан. Следуй за нами, возлюбленная дочь моя, Марсебилль. Ты, как никто, воспламенила ярость этого героя. Итак, выступайте в поход, — такова моя воля, флот пусть также отплывает к берегам Италии, все короли, слуги, рабы пусть исполнят свой долг вассалов, и тот получит наибольший почет и наибольшую награду, и займет место у моего трона, кто сам сумеет забраться выше всех по лестнице доблести. Порасторопнее, мои слуги, приведите ко мне моего неукротимого коня, отважного Понтифира, в пути пусть нас ведет Магомет, ибо он есть наш бог и господин, его золотой идол пусть украшает корабль, ибо служат ему и земля, и море, во имя его, — вперед, вперед, на войну!

Все. Мы с тобой пойдем на смерть, на сечу, к победе!

ВТОРОЙ АКТ

Дворец

Король Дагоберт, Пепин, Арнульф.

Пепин. То, что вы считали невозможным, произошло, Великий Султан Вавилона, соединившись с тридцатью королями, хочет идти на Францию, и вы уже можете видеть войско язычников в немногих часах пути от вашей столицы, нам негде искать помощи, мы слишком слабы даже для того, чтобы оборонять крепостные стены, где найти совет и утешение, когда нависла такая гроза?

Дагоберт. Не могут мужественные правители тесного христианства склонять голову перед бедствием. Когда наша Франция громко зовет о помощи, Англия не струсит, и Испания не побежит, и Рим охотно предоставит нам воинов, и, коли мы сами воспламенимся мужеством, Святой Дионисий встанет на нашу защиту, обрушит убийственные молнии на врагов своей обители.

Арнульф. Ни один христианин, ни один благочестивый монарх не должен отчаиваться, — победа не всегда достается числом, рука Господня может поражать незримо, как полосу, Он часто развеивает вражьи рати, что Ему броня, щиты, кони, мечи, колесницы? Пусть звучат гимны, псалмы, молитвенные песнопения, и наша вселюбящая Матерь узрится в ниспослании победы нам и гибели супостатам.

Входит посланец.

Посланец. Граф Арманд прибудет сюда немного дней спустя, и с ним множество храбрых воинов, мужественных сердец из Прованса, никогда не ведающих страха, а сердце их воинства — граф Арманд скачет впереди.

Дагоберт. Вот благородное прикрытие для королевской столицы.

Входит второй посланец.

Второй посланец. Гордые воины испанцев уже выступили в поход, они перешли снега Пиренеев, их ведет испанский король, могучий Родрик, которого разгневало нашествие этих орд.

Дагоберт. Он будет мне хорошей подмогой.

Входит третий посланец.

Третий посланец. Противные ветры удерживали меня, не то бы я раньше, могущественный король, принес тебе весть из Англии. Мои слова дойдут к тебе почти одновременно с войском, которое ведет Эдвард, храбрейший из бойцов.

Дагоберт. Тучи расходятся, и небо яснеет.

Входит четвертый посланец.

Четвертый посланец. Мой великий повелитель и христианнейший монарх, как я ни спешил, мне пришлось задержаться, ибо я искал окольных путей из Рима, могучий флот султана пристал к берегу, они штурмовали Венецию, опустошили город и окрестности, мне пришлось спастись. Однако же император Октавианус поручил возвестить, что он следует сюда с огромной силой.

Дагоберт. Теперь мы готовы к защите.

Четвертый посланец. Но нужно собрать все силы и всё мужество, ибо еще никогда столь яростный дракон, долго томившийся и оголодавший на крепкой цепи, не приходил и не набрасывался на бедных христиан; ибо разбой и пожарища, избивание мужчин, женщин, детей, отмечают его путь; как охотник следит кровавый след волка, так и этот путь ужаса можно проследить по крови, воплям о спасении, и стонам; тридцать королей объединились с султаном, — все жаждут крови и уничтожения религии. А за ними следует король-великан, ставший вассалом султана, — самый дикий из всех, и всех превосходящий ростом и телесною силой. Он дал клятву своей адской невесте, сверкая решимостью во взоре, что принесет твою голову на острие меча, твой монастырь посвятит служению Магомета, но сначала предаст пламени твой Париж.

Дагоберт. Все мы в руке Божьей.

Пепин. Я хочу собрать предводителей и воинов и осмотреть укрепления. Пусть каждый делает свое дело.

Уходит.

Арнульф. Пусть твое сердце, король, не охватывает бессильный ужас, тебя не выдаст твоим врагам Та, в которую ты веруешь, как в божественнейшую из жён.

Уходят.

Дагоберт. Все труждающиеся ищут в Ней убежища. Идите и собирайте свои воинства. *(Посланцы уходят.)*

Король *(один)*. Святой Дионисий, муж святой и возлюбленный, я вознамерился отстроить твою обитель и украсить ее с великой пышностью, милосердный, ты видишь мои слезы, я лью их, ибо не могу исполнить обета. Не гневайся, ибо я сейчас вверяюсь тебе, укрепи своими молитвами мой меч, дабы не допустить язычников к твоим мощам. Коль так случится, то возьми и кровь, и жизнь мою, не допусти лишь пропасть этим приношениям любви; я хочу пожертвовать тебе царство, корону и свое сердце, выслушай только слова души моей: тебе на сохранение, дабы злые язычники не смогли ему повредить, великий покровитель, я вручаю этот собор, дар моей любви и сердечного пыла.

Уходит.

Иерусалим

Фелицитас, Евфрасия.

Евфрасия. Моя жизнь уже клонится к закату, спутник моей жизни, дарованный мне, Иоахим, мой благородный супруг, предал свой дух Господу, и мне открывая путь. Все думы, все стремления обращаются к тем краям, и я чувствую, как в нежном пожаре истает мое сердце, непрестанно нащупывая тот путь. К той весне, тем цветам и аромату вечных лилий, той горячей радости жизни, которую нам даровали руки ангелов, преподнесли ее среди веселья. Чу! Звонят святые колокола, они призывают в часовню, где с молитвенных сидений несутся звуки псалмов, распеваемых Христовыми невестами, святыми монахинями. Господь снова дарует силу, и я снова отправляюсь созерцать Его следы на скалах и среди полей, и, полна благочестивой радости, я сойду в мою смиренную могилу.

Уходит.

Фелицитас. О, безмолвно хранящий верность в любви! Та не сомневается в возлюбленном, кто знает, что ее, погруженную в страдания, он встретит с радостной любовью, даже если ее сердце отзывается в нём скорбью.

Радостные клики и звуки музыки снаружи.

Что за оглушительный шум, что за необузданная радость так неистово гремят, будоража небо? Я вижу моего сына — мое утешение, отраду очей моих; это для него, для него звучит эта военная музыка, он вернулся в одеянии триумфатора, окруженный бесчисленными толпами народа. Мой сын, мой храбрый Лев! Все горести с моей души он снял своим благородным подвигом.

Входит Лев, львица следует за ним.

Лев. Возлюбленная мать, приветствую тебя от всего сердца.

Фелицитас. Мне приятно, что ты возвращаешься, храня мою любовь. Война окончена?

Лев. Положимся на волю неба и сохраним бдительность.

Фелицитас. Ты вернулся ко мне без единой раны?

Лев. Я победитель, и я невредим; мы отомстили язычникам за все обиды, которые они чинили паломникам, причинив горе стольким святым людям; маленькая дружина, бывшая со мною, крепко билась за Бога и Божью церковь, никто не помышлял о бегстве, каждый помнил в своем сердце о страданиях, понесенных за нас Христом, кровь из ран обагрила доблестью многие груди, многие из тех, кто отправился с нами, не вернулись, но мы ликуем оттого, что одержали победу, сам король язычников попал к нам в плен. И этот зверь, лишенный разума, эта львица, показала свой пыл в этой битве, она была всецело мне предана, — недаром она вскормила меня

своей грудью, — и она кидалась в схватку с оглушительным рыком, так, что многие простились с жизнью, ее увидев. Теперь она возвратилась, увидев в моих глазах, к кому я ее хотел отослать в кипении битвы.

Фелицитас. Возлюбленное дитя, как звучат твои речи, они превращают мою скорбь в горячую радость; но, как ни украшены твои годы славой, я все же невольно вижу, как проходит молодость, которой надо бы увенчать тебя прелестным венком; ты же полон меланхолии, вскормленной тайным страданием, ты возвратился ко мне с такою славой, и всё же сненаемый потаенной скорбью.

Лев. О мать, то, что другие рыцари называют молодостью и детством, осталось для меня неведомым. Я не хотел знать ни игр, ни шуток, я отвергал шалости и смех, и теперь я полон желания отдаться иному наслаждению; в моем сердце бушует сладостный пожар, благоговения и любви, пламя которого закатывается в море смирения и светит сквозь слезный поток скорби. К чему-то подобному с детства устремлялось мое сердце, когда я думал о Церкви, мессе, священниках, я не менее твоего желал возносить хвалу Господу, и, когда эта страсть глубже проникала в меня, мое сердце, мой разум, мой дух воспаряли ввысь, так, что мое существо до самых глубин вдруг озарялось сокровенной радостью, и всего меня подчиняла своей власти высшая Любовь. С тысячей вздохов, — ах! со сладостными сетованиями я, как пилигрим, отправлялся к следам, говорящим нам здесь, в Святой земле, о Том, кто принял муки ради своего творения. Там, проливая слезы, я мог вопрошать камни и скалы, я, полон восхищения, целовал блаженные поля, по которым Он бродил с верными учениками, где Он был дитя среди своих детей. Когда я думал о том, как глумились над Ним неверующие, как бесчестили они Святую Богоматерь, эту праведную Деву, которая пожелала принести его нам, я не мог удержаться от пылающей злобы, и мне хотелось думать только о мече и копье, во главе бесстрашного христианского воинства воздать им кровью за их издевательства над божеством, истребив все полчища язычников. И потому я взял оружие, дал посвятить себя в рыцари, я хотел служить только Ему и Его церкви, любовь и веселье не радовали меня, меня осиял невечерний свет, сияющие глазки, улыбки, прелестные личики, — я не избегал их, ибо мог их не бояться, — разве они что-нибудь могли сказать сердцу? Ах, теперь все изменилось, во мне нет прежнего! Во время последнего похода я заехал в чащу девственного леса, в зеленой глуши струился ручеек, я шел по его течению, отыскивая дорогу, когда вдруг услышал сладостное пение, я тихонько двинулся вперед по узкой тропке, и вот — я стою на зеленой поляне, где среди цветов текут лазурные струи. Там, в задумчивости, стояла дева, смотрела на поляну, на волны у своих ног; тогда я почувствовал, какую власть имеет красота, когда увидел ее стан, безукоризненные члены, было так, словно вокруг нее все дебри озарились улыбкой, только ее пению отзывались небо и земля, и древние пророчества словно предсказывали ее появление

в этот час. Белоснежный лоб, окруженный светлыми локонами, синие очи, полные серьезной и прелестной кротости, ланиты, и рот, нежно тронутый печалью, так очаровывали, что и дикая пантера, и лев склонились бы перед нею, — я же безропотно провел бы целый год недвижно стоя перед этой картиной, в которой отразились все мои желания, которая окрыляла все мои помыслы. Безмолвно размышляя, она держала цветок лилии в белоснежной руке, склонив прекрасную головку, цветок, казалось мне, томился под ее взглядом, она улыбалась, как человек, молча размышляющий и порицающий свои размышления с легким презрением; нет, не с презрением, — это часто лишь видимость, на святых ликах улыбка не задерживается подолгу, и остается то, что было бы улыбкой. На сердце у меня цвели весна и май, сладостное изнеможение томило все мое существо, слезы, звуки и мечты текли и желали сплестись воедино с этим образом, ручей мне пел, пели цветы и плывущие облака, ее близость увела меня далеко от самого себя, — ах, как внезапно очнулся я от этого сна, — моя единственная оказалась язычницей. Она идет навстречу мне, там, где цветут лилии, в зелени лесов мне чудится ее прекрасный облик, волны поют о ней, на всех путях меня встречает она, выходя из дремучей чащобы; она вторгается во все мои помыслы, она преследует меня, — да, эти страдания, возникшие из цветов, эта гибель из ее очей держат меня в плену.

Входит рыцарь..

Рыцарь. Великий Балдуин, король Святой земли и Иерусалима, соизволит возвестить, что недостойно королевской длани оскудевать хоть раз в даянии должного. Он уже давно оценил вас по достоинству, ни вы не замедлите пролить за него свою кровь, ни он не замедлит с вознаграждением. Посему он призывает вас обоих предстать пред его троном.

Фелицитас. Мы знаем, что он благороден, мы чувствуем его милостивую заботу о своих.

Лев. У того, что мы делаем, весьма отдаленная цель. И рука Господня направляет полет наших стрел. Он дает приют нашей скорби в прохладной тени, которую Ему угодно нам ниспослать. Но последуем серьезному призыву нашего повелителя и отправимся к золотому подножию трона.

Уходят.

Дворец

Балдуин, рыцари.

Балдуин. Он защитил крепкою защитой нашу державу и ее рубежи, паломники теперь свершают свой путь безопасно, святые места более не оскверняются, и всем этим я обязан этому юноше, еще почти маль-

чику, который творит чудеса на войне, его происхождения никто не знает, он вместе с матерью пришел к нам из чужих стран.

Лев, Фелицитас входят, львица следует за ними.

Лев. Ты вызвал нас сюда, благородный повелитель!

Балдуин. Вот наконец, и ты, необыкновенный юноша! Из какого ты рода, какая судьба привела твою мать сюда, в Святой град? Ничего не утаивай, если ты меня любишь, для меня истинное наслаждение узнать сполна все твои достоинства и наградить их, не так, как ты заслуживаешь, и не так, как я желаю, но так, как я могу. Что это значит, когда этот зверь служит тебе, как послушная собачка и из твоего взгляда воспламеняется яростью к врагу? Говори ты, благородная госпожа, если ты мне предана.

Фелицитас. Перед твоим тронem я преклоняю колени и принимаю милость, побуждающую меня говорить. Ах, к тебе обращается покинутая изгнанница, которая без супруга, без родины, с одним лишь сыном — единственным, что осталось у нее от всех надежд, много лет назад спаслась бегством в эту страну и нашла приют у четы благочестивых стариков. Знай же, что я — Фелицитас, несчастная супруга Октавиануса, римского императора, который отверг меня, разожженный ревностью и пустым подозрением, ослепленный ядовитой клеветой. Львица похитила его у меня в темном лесу, когда я спала, спустя многие дни я чудом нашла его снова в пещере, где эта львица вскормила его, я взяла свое драгоценное дитя, и с тех пор она неотступно следует за нами, оберегает его и меня и служит ему, отводя от него опасность в сражении. От этого зверя и дано ему имя — Лев, ибо она сохранила его, когда я его потеряла, выкормила его, защитила и верно послужила ему. По твоей милости мой сын стал рыцарем и предводителем твоего войска. Если мои несчастья тронули твое сердце, позволь, чтобы мы, в достойном сопровождении и под твоею защитой могли бы отправиться назад в Европу, — ведь столько лет прошло, гнев моего супруга должен был смягчиться, и он сполна изведal, что только ложь бросила тень на мою жизнь.

Балдуин. Встань, прославленная владычица, твое место рядом со мной, и твоему благородному сыну позволено это, ибо я произвожу его в герцоги; вам я даю моих лучших рыцарей в свиту и десять тысяч воинов; и мои наилучшие напутствия. Если вы, герцог, захотите вернуться в этот город, то пусть мой трон после меня будет вашим, — вместе с вами он унаследует защиту и безопасность Гроба Господня и всей благословенной страны.

Лев. Чем нам отблагодарить за столь великую милость?

Фелицитас. Благословенны пред всеми те короли, у которых с их саном сродни их душа, в мгновение ока они устраивают так, что счастливые поколения долгие годы блаженствуют, преисполненные благодарности.

Лев. Если вы дадите нам свое милостивое разрешение, мы отправимся на корабле, но не в Рим, а во Францию, к благочестивому королю

Дагоберту, там сможет мой августейший отец узнать о нас; там я покажу, справедливо или нет я считался верным рыцарем на твоей службе.

Б ал д у и н . Благословение небес да пребудет с вами.

Все уходят.

Сен-Жермен, лужайка, лагерь, шатры, барабаны и военная музыка

Клеменс, Флоренс, Клаудиус.

Клеменс. Здесь гром литавр и рев труб, спектакль с рожками и барабанами, из-за этого не слышишь собственных слов. И как это наша кухня, наш дом и лужок претерпели такие превращения? Лагерь, палатки, солдаты и кони мельтешат тут и там, нельзя больше выйти со двора, — как раз столкнешься с каким-нибудь бородатым верзилой. Наша мать уже не высовывает носа наружу, до того она боится криков и ругани.

Флоренс. Отец, мой конь покажет, достоин ли он тех денег, когда я поскачу на нем против турок!

Клаудиус. Тебя убьют вместе с конем!

Клеменс. Да, да! Как они заполонили всю страну, всех убивая, — да, глупый мальчик, это — не шутка, война — это нечто большее. Дети, посмотрите, что это за люди, которые выступают под развевающимся знаменем?

Флоренс. Это — англичане, они прибыли из-за моря, их ведет король Эдвард. Султан стоит в семи милях от Парижа, там его лагерь. Я могу видеть султана!

Клеменс. Боже упаси! Это неистовый воин, его оружие из золота и украшено самоцветами, он восседает на коне, который белее снега и на голову выше прочих жеребцов; у этого коня на лбу острейший рог, твердый, как дамасская сталь; этим рогом он многих пронзил насмерть; снизу же он убран золотом. Этот турок сидит, задрав свою огромную голову с дикими глазницами; его белоснежная борода спускается до седельной луки, и тот, на кого упадет его взгляд, должен принять смерть. Что там за музыка такая? Прекрасный марш. Кто эти люди в зеленом, с развевающимися перьями, с блестящими алебардами?

Флоренс. Это — храбрецы из Прованса, прославленные рыцари и пехотинцы, Арманд, отважный юный граф — их предводитель.

Клеменс. Если нехристи могут оттуда увидеть эти скопища, все это бурление толп, эту пехоту и рыцарей, этих ругающихся маркитантов, — они должны в сей же миг убраться восвояси.

Флоренс. Король-великан не побежит, он еще больше ростом, нежели султан, он возвышается над всеми, как пастух, стоящий перед своим стадом овец. Он хочет принести голову нашего короля своей невесте в подарок! Как счастлив будет тот, кто однажды нанесет ему удар!

Клаудиус. А вон потянулись испанские войска, все в синем, с такою гордой посадкой, с таким красивым оружием.

Клеменс. Да, да! Они ведь происходят от древних готов.

Клаудиус. Ах, что только не рассказывают про Марсебилль! Это, отец, такая красивая девушка, какой нет больше на земле, и притом, яростная и дикая; ее волосы, похожие на золото, из которого чеканят дукаты высшей пробы, вьются кольцами по ее плечам; ее щеки румяны, а губки — как спелые вишни; она наряжена сплошь в золото и драгоценности, ее платье стоит целого государства! Отец, вот бы она сидела здесь у нас в нашей чистой горнице, на пуховой кровати!

Флоренс. Да, простой парень должен пробежать сотню миль, чтобы увидеть Марсебилль. У меня вот что не выходит из головы: ведь ее сопровождают триста молодых фрейлин, таких красивых, роскошно одетых, горделиво восседающих на своих конях! Право, эти турки не так уж дурны, раз у них самые прекрасные на свете женщины! Отец, смотри, отец! Во всем огненно-красном, ослепляя роскошью, скачут римляне, благороднейшее и храбрейшее племя, прославленный во всем мире император Октавианус ведет их, — какой прекрасный муж! Какие войска! Какие благородные рыцари! Ах, если бы я только мог находиться там, среди них!

Клеменс. Ну, ну, только не безумствуй, послушай моего совета. Уйдем-ка быстро в дом, сюда идут наши монархи, а ты хоть глуп, однако ж не слабоумен, того и гляди встрянешь прямо в их речи.

Уходят в дом.

Король Дагоберт ведет за руку императора Октавиануса.

Как я вам благодарен за быструю помощь, вы привели к городу самое большое войско.

Октавианус. Однако я прибыл слишком поздно, вся местность уже окружена полчищами язычников.

Дагоберт. Главное их войско уже стоит у Даммартена, другое расположилось лагерем на Монмартре, на холме, где принял муку святой Дионисий, мое сердце полно досады и скорби, что они смогут дерзко осквернить это место. Но пойдите туда, мой благородный повелитель, там разбит для вас шатер, если только вы не захотите вместе со мной отдохнуть в городе.

Октавианус. Позвольте мне сегодня провести день и ночь вместе с моими войсками.

Дагоберт. Как мне радостно видеть близ себя императорский лик, драгоценнейший и желаннейший, но вы не разделяете моей радости, ваш взор погружен в печаль и тайную меланхолию, я и весь христианский мир уповаем на вас, мы победим, это я знаю несомненно, и благодарить за это следует вас, — будьте уверены.

Октавианус. Как приятно мне видеть, что снова возвращается к вам блеск юности, — той юности, что некогда была и у меня. Но не только нынешнее несчастье, не только это бедствие угнетает меня, — вся моя жизнь, жизнь всех людей кажется мне тяжелым сном, с тех пор как я сердце этой жизни — любовь, любовь, которая есть суть каждого бытия, — погубил вместе со своей молодостью. Мой благородный король, вы, должно быть, не раз уже слышали о моей злой доле, я был баловнем судьбы, но мое счастье кончилось с рождением детей. Когда исполнилось все то, о чем я мечтал, все желания, это свершилось во всем блеске, когда я уже начал терять надежду. И вот я стал пресыщенным, тщеславным и капризным, во мне пробудилась тысяча страстей, уже никакое свершение не могло меня удовлетворить, и исполнение моих желаний не значило для меня ничего, ибо в моих желаниях ничего не содержалось. Я отбросил прочь, погубил то, что было ближе всего моему сердцу; я стал находить удовольствие в потере, в чувстве утраты чего-либо; и, как родители, долго баловавшие своих детей, пытаются затем преувеличенной суровостью, наконец, жестокостью исправить тех, кого они сами перед тем старались испортить, — так и со мной мои судьбы совершили то, что я остался без наследников и без детей, которые любили бы меня. Но почему же я не жалуюсь на самого себя? Я сам был виновником своей судьбы.

Входит Бертран.

Бертран. Мой король, сюда идут повелители народов, которых они привели вам на помощь, но через лагерь едет с поля одно турецкое страшилище, чтобы передать вызов на поединок, он едет на тощей заморенной кляче, которую вместо шпор подгоняет ударами кнута, сам он горбат и уродлив, косит на оба глаза, груб, как мужик, и требует нашего короля Дагоберта.

Дагоберт. Впусти его.

Бертран уходит.

*Входят Эдвард, король Англии, Родрик, король Испании,
Арманд, граф Прованса.*

Дагоберт. Приветствую вас, мои благородные властители, Эдвард, король Англии, Родрик, властитель Испании, Арманд, граф Прованса, — ради славы Христовой вы облеклись сей блистательною броней. Принесите кубок, из всех прекраснейший, приготовленный для вас полный вина, сюда, к шатру; меж тем мы должны принять посольство, отправленное к нам турками, здесь, в нашем шатре.

Входит Хорнвилла.

Хорнвилла. Не видно, не слышно, не чувствуется никакого дерьма, которое навело бы на мысль, где торчит сейчас король Дагоберт.

Дагоберт. Успокойся, недоделанный посол, он — тот, кто сейчас повернулся к тебе лицом.

Хорнвилла. Ваше войско стоит сейчас вокруг, разинув рты, будто я — диковинная заморская лошадь. Но, раз уж я стою перед королем Франции, выслушайте от меня пару слов. Мой благочестивый король, перед тобой я преклоняю колени, ибо это только лишь один раз будет приемлемо и в моде, но все турки до единого ожесточились против тебя и жаждут твоей близкой смерти, ждать уж недолго, и вот уже твое бедное тело лежит, разорванное на кусочки, да еще и бесформенные; и хоть мы подадим тебе хлебушка, все-таки думай о своем завещании. Тебя пожирают смерть, голод, воронье, коршуны, чума. Ибо здесь стоят, шумя, как морской прибой, несметные полчища, немереные и нечитанные, сто тысяч и еще раз сто тысяч, сияющие оружием ярче солнца, воспламененные, воодушевленные, готовые бежать за твоей головой, готовые размолоть в муку твои кости и мозг, и поднести тебя султану Вавилона, так что, истинно, — ты уже в клюве у воронья. Поверь мне, мой драгоценнейший, это неизбежно, конные полки уже поклялись в этом, а потому не мучь свое воинство, пощади мужиков и благородных, ибо души всех твоих подданных населяют свои тела только как временные съемщики; а лишь только этому сброду велят убраться в вечность, ему придется очистить квартал со всеми пожитками. Но прежде всего меня направила сюда Марсебилль, дочь султана, — она поклялась в том, что ее душа и ее желание не найдут покоя, пока она не поднимет твою голову за уши; и, чтобы это ее желание поскорее исполнилось, родили на свет некоего великана, громадного, как дом, сильного и дикого, как носорог, яростного и непобедимого никаким ударом. Там он стоит, ожидая твоего рыцаря, кто отважится на поединке, с копьем и мечом, бесстрашной душой вынести бурю схватки. Однако он требует, настаивает, просит, чтобы место поединка было безопасным, чтобы только один, и не больше, из героев, хвастающих сейчас здесь, сразился с ним. Так что, дворяне и князья, не падайте духом, там ждет поле чести, все покрытое цветами, смелей, горячая молодежь! Ты, охотно устремляющаяся навстречу опасности! Но я еще знаю трусливое отродье, умеющее только ныть и пылающее страстью только к вину и шлюхам, ну, кто отважен, — тот идет скорей на битву, только пусть не бежит сломя голову обратно тот, кто решил уклониться от встречи с великаном-женихом.

Дагоберт. Довольно безумных и дерзких слов, я обещаю тебе, что дикарь может быть уверен, что на положенном месте будет только один, в шлеме и со щитом. Сейчас живее отправляйся назад через ворота крепости, и передай всё это той чудовищной образине. Когда небо дарует нам победу и счастье, я тебя повешу за эту дерзость. *(Хорнвилла уходит)*. Боже мой, это же гнусная, наглая насмешка, которую я не должен никоим образом терпеть, объявить войну насмешнику требует моя горячая кровь, призывает меня мое мужество, я ударю на него или никогда не сяду на трон моих отцов.

Эдвард. Пусть никто не скажет о людях английской страны, что они побоялись сразиться с великаном, я отправляюсь, посмотрю, каков он на вид, и он заплатит жизнью, коль в мире есть еще отвага.

Родрик. Как сокол встряхивает оперенье и звенят его бубенчики, он своим смелым взмахом взмывает ввысь и оттуда обрушивается на добычу, и снова, без колпачка на глазах, взлетает высоко и вперяет неподвижный взор в солнце, — так и я должен налететь на него и победить его дикую ярость, и страх навсегда кончится.

Арманд. Кому ведомы мужество и благочестие, проникающие глубоко в душу, тот пылает гневом; и, играя с опасностью, кровью и смертью, он не даст никакому врагу похитить у него свою усладу; и, пусть ему тысячу раз грозят, он идет, полон отваги, и побеждает верой.

Октавианус. Кто больше не живет, от кого должно удалиться всё то, что привязывает нас к вере, любви и надежде, тот никогда не поддастся ни боязни, ни страху, и никогда испуг не сгонит краску с его щек. Так как никакая утрата его более не затронет, весь мир для лишённого счастья открывается, словно с вершины горного хребта; и он выходит невредим из любой битвы, которую уготовила ему судьба. Когда мужественный должен испугаться, тот, который еще находит жизнь, любовь, надежду, веру, отчаявшемуся самые дикие силы будут угрожать без всякой для себя пользы. Нет, всякий страх у него уже исчез.

Дагоберт. Однако давайте, господа, мудро поразмыслим, не будем уходить отсюда в необдуманном порыве, ибо наше благо есть благо всех и наша жизнь посвящена нашим народам и странам.

Входят Бертран и Рихард.

Рихард. Обдумайте это, это немаловажно.

Бертран. Друг мой, всякая вещь опасна, и мы, французы, — всего лишь трусливые девки, и нас должны ценить не больше, чем гнилые груши, раз мы сносим своеволие нахалов и не учим их мечом и кулаком. Мой могучий король, повелитель без страха и упрека, можешь ли ты исполнить мою просьбу? Позволь мне сейчас же отправиться отсюда в поле и сразиться с великаном.

Дагоберт. Мой юный друг, всё ли вы обдумали? Это дело нешуточное и не должно начинаться вдруг. Великан сильнее, чем целое войско, если он вас победит, пострадаете вы и наша честь.

Бертран. Мой король, дай моей просьбе исполниться, это мое желание днем и сон ночью.

Дагоберт. Пусть будет так, и пусть с тобой будет удача, ступай, принеси нам голову чудовища. *(Бертран уходит)*. Теперь, благородные друзья, каждому надо идти, нести службу на отведенном для него посту.

Король Эдвард, король Родрик и граф Арманд уходят.

Дагоберт. Вы остаетесь на этом месте и довольствуетесь тем, что защищаете город, со всех сторон окруженный врагами.

Октавианус. Скажите мне, мой король, чей это дом, перед которым мы здесь стоим? Он слишком мал для дома рыцаря, но слишком просторен для дома обычного горожанина, и расположен он в приятном месте.

Дагоберт. Его построил какой-то горожанин несколько лет назад.

Октавианус. Как благословенна эта невеликость, этот повторяющийся круговорот жизней, далекий и от грандиозных падений, и от великолепного счастья. В кругу своих детей, с честно нажитым добром и бодрым духом легче идти навстречу смерти. Мой король, не пойти ли нам осмотреть лагерь?

Дагоберт. Я очень боюсь за нашего молодого рыцаря.

Уходят.

Клеменс, Хорнвилла.

Хорнвилла. Мне сильно сдается, что я вас знаю. Ваше имя, случайно, не Клеменс?

Клеменс. Господин Клеменс, — так говорят вежливые люди. Однако вы не... — о, сколько лет, сколько зим! Несмотря на этот тюрбан у вас на ушах, я готов поклясться, что вы — тот самый человек, тот жених, с кем я встречался на пути из Иерусалима.

Хорнвилла. Истинная правда. Нам тогда было очень весело.

Клеменс. Какими судьбами вы очутились здесь? Вы — турок, и пришли вместе с язычниками?

Хорнвилла. Да, друг мой, я дал себя обрезать, процедура была мучительной, но иначе мне бы отрезали голову.

Клеменс. Значит, вы, как это называется, — ренегат.

Хорнвилла. А что мне было делать? У каждого в голове свои понятия. Один мечтает сойти в могилу, дав себя замучить во славу христианства. Другой готов сложить голову во имя Магомета. Но то, чему учат и те, и другие, мне никогда не обременяло мозги. Для меня все это — детские шалости.

Клеменс. Почешите-ка себе как следует в затылке, если, когда наступит завтрашний день, вы не будете знать ответа. Вы, похоже, никогда не ходили в школу и не умеете ни читать, ни молиться.

Хорнвилла. Говорю вам, — чтение, песнопения, молитвы и всякие прочие причуды — для меня только лишь выходки шутов.

Клеменс. Вы — вылитый турок, это предначертано вам судьбой, христианская вера — для вас ничто. Впрочем, зайдите ко мне и выпейте кружку прохладного винца. Да, чего только не бывает в этом мире, мне и во сне не могло присниться, что я буду угощать у себя дома знакомого мне турецкого посла.

Уходят в дом.

Лагерь Марсебилль

Марсебилль, Роксана, Леалия, фрейлины.

Слышно пение.

1-й голос. Любовь, чего же ты хочешь, можешь ты сказать об этом?

2-й голос. Ах, почему ты должен меня спрашивать об этом?

Роксана. Когда взгляд загорается, когда сердце бьется в предчувствии, когда уста не находят слов и молчание начинает говорить о том, что нужно спросить, ах, в такие прекрасные дни, когда стыд соединяется с решимостью, любовь, чего же ты хочешь, можешь ты сказать об этом?

Леалия. Пробуждаются сладкие слезы, которые осмеливаются, выступив на глазах, приучить себя к свету дня и украсить собой взгляд. Любовь, любовь, к чему робеть, можешь ли ты ответить, куда ведет это желание? Ах, почему ты должен меня спрашивать об этом?

Входит Хорнвилла

Хорнвилла. Я не поленюсь, принцесса, возвестить о том, что вы мне поручили сделать. Король Дагоберт был очень зол, они все схватились за мечи, один молокосос, юный увалень, надувшись спесью, тут же вскочил на своего коня и поскакал сразиться с великаном. Дело, впрочем, не затянулось, великан наехал на него грудью, свистнул зычным посвистом, сгрел этого молодца в охапку, стащил его с лошади, бросил его на спину, прищемил ему голову, — так, что бедняга взвыл, все его косточки и броня затрещали, вопли несчастного дурачка были слышны по всему полю, все ротозей на стенах, уже предвкушавшие его победу, полюбовались вдоволь на это дело. Великан уже несет его сюда, забросив себе на плечи, точь-в-точь как мельник куль с мукой.

Входит Голибра, вносит на спине Бертрана и сваливает его в один из углов.

Голибра. Полежи-ка здесь и поостынь, с такими, как ты, у меня мало возни. Впредь, малыш, будь умнее.

Бертран. Богоматерь святая! Как больно! Что вы, великаны, за люди!

Голибра. Это, невеста, первая дичь, скоро принесу добычу получше.

Бертран. Благочестивый король Дагоберт, если бы сегодня последовал за тобой и остался себе смиреннько в Париже, как же мне было хорошо дома!

Голибра. Поскули еще, зайчишка, слабак, малявка! Это, принцесса, для вас подарок, делайте с ним все, что вам будет угодно, повесьте

его, бросьте его в пламя. Но, невеста моя, прекраснейшая, хочешь ли ты наградить тем, от чего ты до сих пор уклонялась, и о чем я всегда мечтал, — поцелуем твоих уст? Дай мне его, прежде чем я отправлюсь на битву.

Марсебилль. Когда ты так же принесешь сюда Дагоберта, один поцелуй тебя непременно обрадует.

Голимбра. Если он отважится выйти, он будет твой, как и этот. Прощай, я уйду назад, показаться перед городскими воротами.

(Уходит.)

Марсебилль. Несчастный, и ты посмел сразиться с этим королем, который может забрать в пригоршню десять таких, как ты?

Бертран. Прекраснейшая, будь ты богиня или человеческое существо — твоя красота повергает меня в трепет, и робость не дает мне говорить. Знай я все наперед, как сейчас, я бы уберегся от нынешнего раскаяния, мне стало жаль нашего короля, меня разгневала горделивая угроза твоего исполина-возлюбленного, и я возомнил, что острие моего меча исправит то, что он нам причинил. Но исход нашей битвы был совсем не таким, как я думал. Как, ты смеешься? И так прелестно, как солнышко, когда оно показывается в начале марта после долгой зимы, когда поля покрываются первой травкой. Нет, ты не бесчеловечна, и твой разум не полон чудовищ, ты жалишься над моей юностью, даже если не дашь мне свободу.

Марсебилль. Ступай к моим фрейлинам, подкрепи свои силы вином, приходи в себя после такого испуга, после мы продолжим разговор.

1-й голос. Любовь, чего же ты хочешь, можешь ты сказать об этом?

2-й голос. Ах, почему ты должен меня спрашивать об этом?

Комната

Сюзанна, Клаудиус.

Клаудиус. Торговля нынче процветает.

Сюзанна. И к тому же монастырь не достроен, король, говорят, этим сильно озабочен.

Входят Клеменс и Флоренс.

Клеменс. Мы были в городе, повсюду, куда ни помотришь, одно горе.

Флоренс. И король, и император сильно опечалены. Это надрывает мне сердце. Что с ними?

Клеменс. Как тут не опечалишься, когда эти собаки, эти дикие турки подступили так близко и грозятся все сжечь вокруг Парижа и отсечь голову нашему доброму королю? Среди них есть храбрейший рыцарь, громадный неотесанный мужлан, король-великан, жуткий мерзавец, который всех — королей, графов, князей, баронов, рыцарей, дворян — вызывает

на единоборство перед городскими воротами, да только нет такого дурака, чтобы выехать к нему. Нынче наш король хотел с ним биться; нет, вскричал римский император Октавианус, ваше благо заключает в себе благо всей страны, позвольте мне сделать это, я его не боюсь! Нет, — возразил в ответ король, — ваше величие слишком велико для этого языческого пройдохи. И все они спорят и размышляют, графы и рыцари, и многие, у кого хвастливая глотка, должны бы утрудить себя и постоять за честь. Но никто и не почешется, никто и не пикнет, и это им даже нельзя поставить в вину. Вот почему они так печальны, разговаривают с грустью, так что каждому станет жалко видеть таких больших господ в таком плачевном положении. Один молодой рыцарь оказался столь отважным, что напугал этим всех остальных; он кричал: эй, подайте сапоги, шпоры, доспехи! Он выехал за стены, да только ему не посчастливилось: великан взял его за горло, и, слушай только! — Откусил ему голову по самые плечи.

Флоренс. Отец, всё это враньё, он его отнес в подарок своей прекрасной невесте. Мне сдается, что там, где ее фрейлины, ему бояться нечего: он полюбуется ими вблизи.

Клеменс. Конечно, ты всегда все лучше знаешь! Великаны — почти всегда людоеды, так уж заведено в их племени, и об этом должен поразмыслить всякий, кто решится иметь с ними дело. А уж этот зверь — людоед, несомненно, он разгрызает панцири, как пустые орехи.

Сюзанна. Что за жизнь такая! Помилуй нас, Господи!

Флоренс. Отец мой, давайте хоть раз поговорим разумно: вам не больно видеть, как страдает наш благородный король? Не шевелится ли у вас в душе негодование, гнев, ненависть к врагу?

Клеменс. Да, мальчик мой, у меня все это уже в печенках сидит, и желчь разливается, когда я слышу бахвальство этих дикарей.

Флоренс. Раз так, тогда позвольте мне сейчас же выехать за ворота, дайте мне старое вооружение, которое есть у вас, конь при мне — тот, кого я купил так дорого, он должен теперь оправдать свою цену в сражении с великаном; мне же это принесет славу. Я хочу освободить короля от тяжкой скорби и отомстить за унижение французов.

Клеменс. Так вот оно, твое разумное слово? Да, желторотый сопляк, видно, ты так и останешься законченным дураком. Послушал бы кто! Тебе сражаться с великаном! Это ведь не жареный индюк, не пирог с перцем, мой милый недоумок! И как только Бог смог так обделить разумом беднягу! Можно было бы посмеяться над этим, если бы это не было так скверно для нас! Ведь есть же многие храбрые рыцари, встречавшие смерть лицом к лицу во многих сечах, узнавшие язычников не по рассказам и байкам; и ни один не осмеливается на такое безрассудство — напасть на великана. Ты уже сделался болваном, а скоро совсем свихнешься.

Флоренс. Не сердитесь, это — не внезапная блажь, это не дает мне покоя, лишает меня сна, я могу думать только о сражениях, моя кровь

призывает меня ответить ударом на удар, мое воображение рисует мне столько схваток и сеч, и только их я жажду. Я не знаю, как можете вы, все остальные, так жить; я так не смогу, а если и смогу — буду страдать душой. Лишь в той игре со смертью я найду свое счастье. Я хочу победить или же погибнуть, я не могу жить без лат, меча и шлема, это — мое ремесло, этим наполнено мое сердце, это движет мною, я хочу быть только солдатом и солдатом вступить в жизнь. Прощайте же, отец, мать и брат, счастливо оставаться. Вы не хотите мне помочь, — тогда я пойду, как я есть, с одною палкой, на великана. Я не упущу такой случай, клянусь Богом и святым Дионисием! И если я погибну, лишен оружия, вы сами будете причиной моей смерти!

Клеменс. Куда ты, дылда? Остановись! Не груби мне, я это запрещаю! Безмозглый! Вернись! Пусть будет по-твоему. Значит, я должен исполнить его прихоть? Ну и детки нынче! Принеси сюда, Сюзанна, эти старые ржавые доспехи и оружие! Притащи сюда всё железо! Стоит попробовать, ведь он еще пожалеет, он раскается!

Сюзанна. Ах, милый Флоренс, послушайся!

Уходит.

Флоренс. Милый отец, я знаю, что великан падет от моей руки, тут уж будьте покойны, думайте лучше о почестях, которые ждут вас, когда короли и князья будут говорить о вас, будут благодарить вас за то, что вы меня вырастили, и, когда я стану славным рыцарем, и ваше имя будет упоминать каждый; тогда они все скажут: а, старина Клеменс! Это славный человек! — Я хотел бы с ним познакомиться! — Скажет сам император. Вас всюду приглашают, и каждый вам приносит благодарность.

Клеменс. Ну, дурачок, тогда попытай свое счастье! Это надолго у всех останется в памяти.

Сюзанна приносит оружие и латы.

Клеменс. Вот и это старое железо, все покрытое плесенью, все попорченное, — панцирь и поножи никуда не годятся, потому что уж тридцать лет, дорогой Флоренс, оно ржавело в углу. Я сложил его там, когда пришел с войны, и оно спокойно лежало в нашем старом чулане для железа. Вот шлем. Сюзанна, подай тряпку! Он весь в паутине, и мыши забежали в него и выбегали обратно, так что о блеске не может быть и речи. Мыши внутри шлема, — это аллегория мира. — ну-ка, надень его, — он тебе впору. У тебя прекрасный вид в этом ржавом шлеме.

Сюзанна. Ты что, серьезно? Ты его не отговариваешь?

Клеменс. Он болтал так долго, что ему поверили. Вот латы. Меня удивляет, что ремень еще хорош, — вот так долго служит кожа. Вот меч, — черт побери! Он не вынимается! Клаудиус, держи ножны! Я потяну за рукоятку. Он сидит крепко, будто его приковали, и не пошевелится! Кто бы подумал, что ржавчина так крепко держит! Тяни сильнее, Клавдик! Раз, два, три — пошло!

Они тянут, меч выскакивает из ножен, оба падают на спину.

Клаудиус. Господи Иисусе!

Клеменс. Боже сохрани! И надо мне было упасть!

Флоренс (*смеясь*). Видно, что меч вам непривычен, вы далеки от войны и от поля брани.

Клаудиус. Он еще смеется! У меня все ребра болят!

Клеменс. Да уж, я человек миролюбивый. Вот это меч! Только он мог быть поострее. Дай только сюда ножны, а то он слишком грязен, если ты его просто повесишь на бок, он будет похож на ножны, — до того он черен.

Флоренс. Еще бы копье, и я буду полностью вооружен.

Клеменс. Душераздирающее зрелище! Постой, дай-ка я почищу копье, куры из него сделали насест, ведь этой публике безразлично, копье ли это или просто палка, только и думают, как бы всё загадить. О, сын мой! Что скажут люди, когда тебя увидят! Ты выглядишь прямо как нечистый дух!

Флоренс. Мама, прощай! Вернусь с победой!

Сюзанна (*с плачем*). Ах, ненаглядный сынок мой, ты погибаешь от путаницы в мозгах, — все это плод чтения этих рыцарских романов и поэм, ах, сынок, эти слезы уьбют меня!

Флоренс. Отец, прощай!

Клеменс. Нет, я провожу тебя до самых ворот. Клаудиус, сын мой, идем со мной.

Уходят.

На верху городских валов

Множество людей, среди них граф Арманд, Рихард, Людвиг, Антон, Монах, Гумпрехт, солдаты различных наций.

1-й солдат. Отсюда видно далеко в поле.

2-й солдат. Там стоит великан и стучит в ворота.

Гумпрехт. Вы видели благородного рыцаря, который сейчас должен покончить с нашим супостатом?

Рихард. Он скачет сюда по городской улице, его броня ослепительно сверкает, едва лишь великан его увидит, — испугается, сам вид рыцаря обратит его в бегство.

Монах. При чрезвычайных обстоятельствах человек в некотором роде сходит с ума, и вот одно из тех созданий, что приклеились со своим оружием к городской стене, выходит на поле битвы.

Антон. Куманек, смотри, там не Клеменс?

Людвиг. Вне сомнения, — и с ним Клаудиус.

Антон. А кто же тогда сидит на лошади?

Людвиг. Бог знает, откуда они выкопали это чучело.

1-й солдат. Это страшилище, несомненно, влюбилось. Оно хочет завоевать дочь султана.

Рихард. Кто знает, не один ли это из рыцарей круглого стола былых времен, из свиты Артура, — наверное, бесстрашный Тристан, или сам Парцифаль, — тогда он точно всех повергнет.

Гумпрехт. Готов поклясться, что это — Зигфрид в рогоматом шлеме или же сам Дитрих Бернский, — ясно, что ему больше нигде не нашлось дела.

Солдаты (*смеются*). Да! Хорошо бы его почистить песочком!

2-й солдат. Великан найдет достаточно песка, чтобы почистить его шлем, — даже больше, чем требуется.

Входят Клеменс и Клаудиус.

Антон. Ворота открываются!

Людвиг. Кум Клеменс, скажи, кто этот рыцарь Нечистого Образа?

Клеменс. Это мой сын, мой сын Флоренс, он побьет великана, великан прославит моего сына.

Людвиг. Куманек, он же совсем спятил.

Антон. Разумные люди встречаются все реже, вот и этот человек прожил почти шестьдесят, и на тебе! Что же тут поделаешь!

Гумпрехт. Как это могло взбрести на ум этому олуху! Идти на великана! Тебе это, конечно, очень не по вкусу?

Клеменс. Они пошли навстречу! Смотрите! Великан, словно с презрением, поворачивает лошадь и не хочет сражаться! Флоренс мчится на него, — о, Господи, какой удар! — ага, ты приходишь в себя, мой великанчик, ты немного изумлен, — я должен поместиться в шаге от бруствера, иначе я плохо вижу.

Садится на краю вала.

Арманд. Да, это был удар настоящего рыцаря! Конь великана споткнулся, сам он потерял стремя, поразительно, как этот парень ловко поворачивает! Я никогда не видел на турнирах лучшей езды.

Клеменс. Смотрите! Смотрите! Как хлещет языческая кровь! Благослови тебя Господь, возлюбленный Флоренс, чтобы тебе удалось с ним покончить ради нас и всего христианства!

Гумпрехт. Ух ты! Теперь великан ему здорово закатил! Он его хватает, он хочет его поймать!

Клеменс. Назад, Флоренс! Назад! Он тоже отступает! Эй ты, грубое чудовище, выпускаешь когти? Теперь вправо! Вправо! Дай ему своей рукой! Так, чтобы он почувствовал! Вот так бьет рука! Так течет кровь! Вот это сын у меня! На помощь! Люди! Помогите! Я слишком наклонился вперед и лечу в ров! Прямо в лапы язычникам! На помощь! На помощь!

Гумпрехт. Старый клоун! У него шея лопнет от крика!

Помогает ему влезть обратно.

Клеменс. Огромное спасибо, друг мой! Ах, вы — мой дружище Гумпрехт? Я вам после дам на выпивку. Друзья мои, да, я хотел вам сказать, — это мой сын, которого я сам принес сюда из-за моря! О, будь благоволит тот час и все мои тогдашние мучения! Ну, как там? Как идет битва? Да, я был очень перепуган, я барахтался, вроде за что-то зацепился, — вдруг бац! — и я лежу внизу. Держись, мой сын!

Клаудиус. Вы так побледнели, папенька!

Клеменс. Ничего, мне нужно только остерегаться. Руби его другой рукой, со всего размаха, это ему понравится, он не будет своими когтями вредить королю и святой Церкви! Вот так! Он сбил с него шлем. Он зазвенел, не хуже, чем у заправского кузнеца. Мне страшно, когда я так смотрю вниз.

Рихард. Теперь великан схватил его за щит.

Клеменс. Щит пока остается у него. Он подбрасывает его вверх, — люди, пригнитесь! Вдруг он долетит до нас, почему бы нет?

Арманд. Я удивляюсь, как ловок молодой рыцарь, великан выбил его из седла ударом сбоку. Он позволил стремянам упасть, а сам тут же снова вскочил в седло, крепко и прямо.

Клеменс. Не зевай, не зевай, Флоренс! А то проиграешь! Вот сейчас мой юнец рубанул его в плечо, — кровь хлынула, как из бочки, — точно забивают быка. Назад! Назад! О горе! Горе! Конь упал вместе со всадником! Держись на ногах, держись, ради Бога!

Арманд. О Боже, сохрани нашего юного героя, он стал защитником всего христианства.

Монах. Господи, смилуйся над этим храбрым юношей, сохрани его за мужество и благородство.

Арманд. Великан наносит ужасающий удар, — рыцарь падает, — нет, он уклоняется от удара.

Клеменс. Смотрите, как великана обуяла ярость, он подпрыгивает вверх на локоть в собственной крови, он бросается на Флоренса, о всемогущее небо! Чудовище рвется вперед и падает, — Господи помилуй, оно так бьется, что я и здесь чувствую во внутренностях толчки, словно от сильного землетрясения, — теперь вперед! Замахивайся! Руби! Да, хорошая работа! Ему не сносить головы, — вперед, руби! Наконец, вот оно! Какая могучая скотина обезглавлена! Он садится в седло. Да, это мой сын! Смотрите, какая огромная голова свисает с его седла! Размером с годовалого барана! Вот таковы великаны!

Арманд. Я хочу встретить юного героя.

Уходит.

Солдаты. Сюда! Скорей сюда! Молодчина!

Уходят.

Гумпрехт. Он отдает в воротах голову великана и уезжает прочь через открытые ворота.

Клеменс. Уезжает?! А как же я — я не встречу его, не обниму, не раздавлю в объятиях, не зацелую, не задушю любовью? Так и пойду домой, не промочив горла?

Все. Победа, победа! Пойдемте все на улицы громко петь, танцевать и веселиться!

Все уходят.

ТРЕТИЙ АКТ

Лагерь Марсебилль

Марсебилль, Роксана, Леалия.

Марсебилль. Как приходят и уходят тени, и солнце блистает попеременно, и нива в упоении ликует, но, пересеченный тенями, блеск постепенно уходит, и остается трезвая зелень. Так и мое сердце, и душа — скорая радость и тихая печаль сменяют друг друга в сердечных глубинах, блуждая и не зная покоя. Радость ли это? Печаль ли это? Нет, — это сладкое изнеможение, как прохлада в лесной тени, как цветы на лугу, когда они в блестящем убранстве отражаются в неверной зыби ручья, — как с лесистых холмов сбегает текучая влага и невидимо пронизывает заросли хрустальными, крылатыми струями. Смотрите! Как красуется весна, как играют потеплевшие ветерки, шевелят волнующиеся цветы, как дерево склоняет благоуханные ветви, и мотылек, и пчела купают свои крылышки в море блеска, и на лугу подрастают будущие венки, и голубые ручейки спешат, спешат, словно в танце маленьких волн. И лесная чаща нежно шумит, изумрудные листья движутся друг другу навстречу для объятий, звучат и шепчутся поцелуи, громко возвещают утехи голоса птиц в лесу, и зеленые заросли оглашаются пением соловья, чтобы это страстное шелканье повторяло кругом эхо. Разве цветы — это не звезды, утонувшие в изумрудной траве? Разве они не заманивают очарованный взгляд своим ярким пожаром? Все так близко — и так далеко. Разве я не могу принести себе счастье, прижав к груди весну? И рассказать ей, что я чувствую, чтобы она остудила эту страсть или же прервала эту цепь очарований. О, любимые мои подруги, — этот свод лазурных небес вобрал в себя мою душу! Зачем мне выдумывать иное утешение? Никогда я не могла победить свое сердце, то, что далеко от меня, я не знаю, и не могу воспылать к нему любовью. Песнями своими прогоните эти грёзы, которые дурманят меня и хотят увести от себя самой.

Роксана (*поет*). Блаженна, блаженна будь, Персия, Персия, страна чудес Востока! Прекрасные нивы, священные чащи, блеск полноводных рек, бескрайняя гладь моря, воздух, дышащий любовью, ручьи, испо-

линские горы, земля, где рождаются песни! Но более всего — вы, сады! Приветствую вас, беседки, где я хотела бы бродить, когда вы станете пурпурными от роз! Роза, любимый девичий цветок! Роза, рождающаяся здесь! Ах, живая кровь любви покрывает поля, когда вы густо цветете большими кустами, и колыхаетесь вместе с бутонами на знойном ветру, теряющемся в горении красок, омывающем их своей дуновением и сладко шепчущем; нет, ничто не рождается столь прекрасным, из того, что возвращает земля, из того, на что смотрит с высоты солнце, как колеблющаяся на зеленом стебле алая, любимая моя роза. Роза, любимый девичий цветок, цветок любви, сладостная роза! Когда я держу тебя в руках, избранницу моей любви, и смотрю на твои листочки и твой красный лабиринт, и вопрошаю о том, как ты родилась в мир и о смысле этого, я одурманена и пьяна твоим очарованием и пророчествую, цветок любви, девичий цветок, цветок розы, сладостной розы. Не напрасно ты сперва набухаешь, свернутая в твоём бутоне, так дремлет и девическая грудь, пока любовь не заставит ее вздыматься, и твой красный цвет, сладостно набухший, прорывается наружу. И как сорванные украдкой поцелуи, вы алеете на изогнутых ветвях. Но пылают незримо ветры, вобравшие ваш аромат, вы все сильнее грезите о любви, наполняетесь воздухом. И свет, благоволящий к вам, целует вас все непристойнее. И вы отбрасываете стыд, и ваш цветущий побег получает всю силу священного эфира, его стрелу, отливающую золотом. Можешь ли ты увянуть от любви, девичий цветок, сладостная роза? Когда сама богиня любви, Венус, жила на земле и в первый раз, странствуя, ступила на зеленящийся луг, еще дева, не знающая супруга, выйдя из родительской пучины моря, когда над детородными волнами забрезжил встающий рассвет, и она встала, сама себя сознавая, сама себя постигнув, свою красоту, свою прелесть, Венус должна была сама восхвалять, и небо осветилось ярче, когда она подняла взор, и земля зазеленела изумрудней, и запели журчащие ручьи, позолоченные ее отблеском, и горлинки томно заворковали, и соловей засвистал громче, вырвалась и разнеслась его песня и покрыла своими созвучиями лес, и просторы полей, и распускающиеся деревья. Тогда тебя еще не было, цветок любви, моя сладостная роза. Из леса вышел юноша, и, как пленительное пламя, летели его пылающие взгляды, словно зажигая все вокруг, взгляд обоих стал единым, любовь, пока еще одинокая и не знающая любви, сделалась робкой и радостной, и неуверенно ощутила свое рождение. И юноша подступил к деве, и они склонились в объятия друг друга, и невинность учила их поцелуям, и приводило к сладостной ярости то, как они пылали и изнемогали, едва познав любовное желание. И в упорствовании и уступках освобождало себя небывало чудесное волшебство, любовь сливалась с любовью, и само поле превращалось от этого экстаза, от этих поцелуев и неги, в знак памяти, преподнесенный в дар. От девственной крови трепетало поле, полное сладострастия, и шелестели, пускали побеги, стремительно набухали бутонами, и расцветали, смеясь и

целуясь, покрытые той кровью красные цветы по всей поляне, все пышнее и пышнее. И богиня посвятила розу в служение любви. Так ты родилась, девичий цветок, цветок любви, цветок розы, сладостная роза.

Марсебилль. О, шалунья, ты прекрасно спела нам об этом цветке, да, служит во славу любви та, с которой я охотно беседую, любимая сладостная роза, и она окрашивается кровью, когда раскрывается навстречу любовной решимости, упоению и экстазу, и раскрывается тайна шипа, охраняющего добродетель.

Леалия (*поет*). Стань моею песней, белая, святая, нежная Лилия любви, когда я тебя целую своими устами, ты знаешь, сколь сильна тайная любовь. Никто не сможет порицать розу, чья сладостная кровь проникает в нашу кровь и наполняет ее страстью, и зажигает сверкающим пламенем сердце, но тот, кому близка голубая даль эфира и сияние небес, и смиренная мощь прибоя, любит и тебя, прелестная лилия. Среди скал, среди чаш, в самой уединенной долине, где слышен только священный шелест, где духи в журчащих ручейках ведут беседы с деревьями и эхом перекликаются друг с другом, счастливо жили двое влюбленных, блаженны в своей любви, бежав из суетного мира, они нашли здесь покой, и душа их пребывала среди цветов, деревьев, гор и благословенной тишины. Однажды, когда после долгих лобзаний, они покоились в объятиях друг друга, и взгляды их вели между собой страстную и блаженную игру, он смотрел в ее глаза, она заглядывала в глубины его сердца, и, словно из чистых родников духа, у обоих в ясных глазах проступили две громадные слезы, трепетно удерживаемые. Что же значат, сказал он со вздохом, эти чувства, эта любовь и эти полные грусти слезы, которым благоговейно удваиваются в твоих глазах? Нет, я не хочу их прятать, я охотно их тебе показываю, и эти слезы не должны выбегать из глаз и стекать по щекам. Она сказала: покрыто тайной, что должна значить эта влага, которая желает излиться из сердца вместе с молитвой, но наши руки слабы, и она снова ниспадает во тьму, и бессильные слезы сбегают вниз по нашим щекам. Но, — пропел он в ответ, — есть земля и воды, и ветер, и свет, и светила, — чтобы раскрыть эту тайну: как страсть блистает золотом, изнеможение мерцает серебром. Пусть же наши слезы станут памятным даром! Так из вод потопа возникла тайна мироздания. Сладостные духи, придите в движение, дабы излилась сущность этих слез, и тогда засияет новое золото, — сладостней, нежнее, кротче. И духи, бывшие поблизости, игравшие с цветами в ручье, услышали эту мольбу, слезы пролились, цветы опали, слезы впитались в землю, и вдруг стали видны две лилии, упоенные восторгом тайной любви. Нежные, серебристо-белые, драгоценные, как и ты, моя лилия любви.

Марсебилль. Да, есть прекрасная печаль, которая, пробудившись во тьме сердца, ищет оружия, а находит слезы. Многие любят, многие мечтают, а любовь должна посылать сердцу только лишь дуновение своих страданий; все краски должны исчезнуть, когда золотое пламя свечи прольет свой свет. Теперь я знаю, почему ты всегда забавляешься с этим

цветком, и твои глаза как зачарованные всматриваются в его белоснежный блеск.

Леалия. Да, этот цветок всегда был для меня сладостным животворящим источником, и я упивалась волной, исходящей из его ободряющего прохладного мерцания, но для меня — как волшебство, когда, в глубоком забытье, я представляю, я воображаю, как он через это созерцание принесет мне день, в котором будут взгляды, слова, и — ах! — завлекающие взоры! Когда я, в одиночестве, как-то раз в лесной чаще держала лилию в руках, рядом был лев, — он кротко склонялся предо мной, чуждый ярости, и вскоре исчез, и я его больше не могла найти.

Уходит.

Марсебилль. Любезная подруга, давай наберем цветов, и после сплетем венки, из красных и синих полевых цветов, и других — золотистых, пока не вернулся король, которого я должна наградить, я так дрожу от предстоящего поцелуя, что, право, лучше бы отказаться. Собери цветов не слишком мало, и не плети, моя роза, слишком крохотный веночек, — впрочем, он все равно не будет к лицу на огромной башке короля.

Роксана. Маленькие цветочки, маленькие детки, вас отнимают у земли, отрывают от матери, чтобы вы скорей увяли на голове, которая и не похвалит этот благосклонный дар. Моя повелительница, кто там приближается на вороном коне?

Марсебилль. Это один из врагов, кажется, француз. Но какой отвратительный, замызганный, и вся броня покрыта ржавчиной!

Роксана. Не говори так, он только немного прокоптился. Он должен был поторопиться завоевать твою красоту, поэтому не нашел времени почистить и привести в порядок свой щит и шлем. Чья грудь его вскормила? Наверное, он пришел из ада и будет строить нам козни.

Марсебилль. Оставь эти вольные шуточки, девочка моя, точно ты считаешь, что я к нему неравнодушна! Он спешивается, привязывает коня, идет, кажется, как раз сюда.

Роксана. Повелительница, это — мой возлюбленный. Он приехал за мной. О, он достоин любви с головы и до пят. Если он меня поцелует, я испугаюсь, он чернее любой головешки.

Входит Флоренс.

Флоренс (*про себя*). Да, это она, и я не вернусь к тем воротам, пока она не даст мне поцелуй, — я знаю, что она лучше всех меня похвалит.

Марсебилль. Кто вы такой, что столь дерзко позволили себе до такой степени забыться?

Флоренс. Я выбрал этот путь, чтобы сказать вам словечко наедине.

Марсебилль. Скажите его и убирайтесь, иначе можете считать себя без головы!

Уходят.

Роксана. Ого, что я вижу! Небо! Что это?! Он вскочил на коня, поднял к себе принцессу и пустился в бегство! Как она рыдает, простирает руки, — на помощь, на помощь! О, наглец! Дерзкий похититель! Или Магомет от нас отвернулся? На помощь! На помощь! Вы что, все оглохли?!

Входит Арлангес.

Арлангес. Зачем ты зовешь, любовь моя, что тебе нужно, возлюбленная дочь?

Роксана. Отец, бери рыцарей и слуг и пускайся в погоню за тем гяуром, этот изверг прискакал сюда, схватил принцессу, вскочил на коня и вот сейчас несется прочь быстрее птицы.

Арлангес. Вперед, люди! Вперед, рыцари! Наша принцесса похищена!

Уходит.

Роксана. Видел ли кто прежде столь неслыханную дерзость?!

Входит Адмирал.

Адмирал. Это правда? Или ложь?!

Роксана. Вон туда мчится ее похититель.

Адмирал. Магомет! Как я жажду мести! Щит, шлем, латы, коня и оружие! Я хочу вернуть ее, и презренного разбойника свергнуть в пасть смерти!

Уходит.

Бертран (*из шатра*). Эта суматоха мне на руку. Прощай, девический венок, и вспоминай иногда по-дружески умирающего от любви к тебе.

Уходит.

Роксана. Какая сумятица! Пленник сумел быстренько вскочить на лошадь, наши воины устремились на этого дьявола, который всем им угрожает. Марсебилль возвращается! Никакой пощады ему, смерть без промедления!

Входит Марсебилль.

Роксана. Он убит? Он ранен?

Марсебилль. Пошла прочь! (*Роксана уходит*) О горе! Зачем я родилась? Что я делаю, думаю, говорю? Что со мной произошло? А великан, как он сказал, лежит мертвый на земле.

Входит Арлангес.

Арлангес. О, принцесса, стремительный на коне, как орудовал мечом этот дьявол! Сам адмирал, брат султана, лежит среди убитых. Хорошо, что он отпустил вас, и ускакал прочь один, — ведь на него напало так много наших, вот и пришлось ему бежать, не то он увез бы вас в город, этого он и добивался. Всадники выезжают из ворот. Поторопимся в главный лагерь верхом на наших конях.

Уходят.

Сен-Жермен, лужайка

Лагерь, шатры, бурлящая толпа солдат и народа

*Король Дагоберт, король Эдвард, император Октавианус,
король Родрик, граф Арманд.*

Дагоберт. Радость смешала рыцарей и народ. Мы дышим свободнее, наш страх улегся, но в этой полной радости таится глубокий стыд для старых воинов, что зеленый юнец сразил чудовище, грозившее всем нам. Какой благородный дух, какое пылкое мужество, какое самообладание, какое стремление к подвигу соединились в этом неизвестном юноше! И, коль он ради нас встретил опасность грудью, мы осыпем его щедротами с головы до ног, король благодарит не так, как подданный, в тени тех милостей, что несут его слова, будут благоденствовать и далекие потомки.

Арманд. Уже после того он с небольшим отрядом, выйдя отсюда, напал на ближний лагерь, захватил его и опустошил, язычники бежали к султану, есть и пленные, тот уродливый посланец, который вас злословил, среди них.

Дагоберт. Привести его пред мои очи.

Арманд. Этот страхолюдный турок уже идет.

Входит Хорнвилла.

Хорнвилла. Вот и я, мой суровый господин!

Дагоберт. Видишь, все произошло, как я сказал, ты очутился в моих руках.

Хорнвилла. Но я не знаю за собой вины, Ваше Величество.

Дагоберт. Ну, какого наказания ты для себя ожидаешь за твои дерзкие и грубые речи? Разве я не могу тебя за них повесить?

Хорнвилла. Прямо-таки повесить! Да, бывает, что дело доходит до угроз; но между словом и делом всегда проходит время, и человек часто меняет в одно мгновение то, что до этого решил. Так должно быть и с тобой, мой король; христианский монарх не может так по-турецки за пару сказанных слов закрыть мне рот навсегда.

Дагоберт. Как можешь ты, турок, рассуждать о христианстве?

Хорнвилла. Ах, видите ли, вы думаете обо мне слишком хорошо, называя меня турком; я просто вольнодумец и атеист, до сего момента не обременявшей себя никакой верой. Умри! — сказали мне как-то турецкие собаки, или признай Магомета! Я признал. И вот я — турок, новенький, с иголки. И вот они обрядили меня в это одеяние и послали сюда с вызывающими речами. Поэтому, Ваше Величество, сейчас я готов изменить веру. Мой разум чист, как белый лист бумаги, и готов принять в свое пустое пространство подходящее учение. С меня можно собрать урожай увещаний и покаяний, пошлите мне только на шею какого-нибудь монаха. Из

такого дерьма, каков я нынче, часто получают лучшие из благочестивых христиан. Кто знает, с чего начинали свою карьеру многие святые?

Дагоберт. Отведите его в тюрьму и крепко стерегите.

Хорнвилла уходит.

Входят Клеменс и Флоренс.

Клеменс. Я привел его, я привел моего сына, — стань на колени, Флоренс, осторожнее, стань на колени, — Ваше Величество, смотрите, это мой собственный сын, грязный и замаранный, в крови и в пыли, сразил своей рукою великана, чья голова лежит на рыночной площади на высоком помосте и сияет, как полная луна. Я ваш покорный слуга, князя и господя, всеподданнейше прошу извинения, что я не могу соблюдать по всей форме этикет и правила обращения, порядок титулов и прочие вещи, мое ремесло не позволяло мне вступать в конфузии, — я хотел сказать — в коллизии, — с принцами. Сюзанна! Сюзанна! Ты жива еще после такой радости? С вашего позволения, господя!

Уходит в свой дом.

Дагоберт. Флоренс, ты сослужил сегодня нам и нашему королевству небывалую службу. Мы благодарим тебя, оставайся столь же храбр и будь всегда близко к нам и у нас на глазах.

Клеменс возвращается из дома.

Клеменс. Все хорошо, там сидит моя старушка, его мать, и, плача, умоляет Ваше Величество...

Арманд. Такая радость свела его с ума. Успокойтесь же немного, добрый человек!

Клеменс. Разве кто-нибудь хотел здесь говорить не ко времени!

Дагоберт. Будь отныне одним из моих ближайших слуг; и, дабы не упрекнуть себя в том, что мы посылаем тебя навстречу опасности нагого, без оружия и без лат, — мы возводим тебя в рыцари. Ступай сейчас домой, там ты найдешь облачение, соответствующее твоему званию; после этого возвращайся.

Флоренс. Как мне благодарить моего короля за такую милость? Не принимайте мое заикание, мою остолбенелость за проявление скудного мужицкого ума, который ничего не понимает! Как милостиво в своих речах и взглядах вы осыпаете меня целым миром счастья!

Октавианус. Мой благородный юноша, хотел бы я сказать — сынок! Обними меня. Ты так мне дорог, что, только прижав тебя к сердцу и прикоснувшись к тебе губами, я смогу сказать, как я тебя уважаю.

Флоренс. Мой царственный господин, эта радость, весь этот день, присутствие владык, любовь, которую вы, император, ко мне выказываете, так высоко захлестывают все в моем сердце волны радости, что эта влага ищет показаться на глазах. О, мой император, я был ничем, пока вы не

почтили меня столь высоко, и вы, мой король, — что я могу еще совершить для вас? Вы, благородные повелители, будьте свидетелями счастья, но не позора, ибо, если я покажусь вам неотесанным молокососом, я скроюсь с ваших глаз.

Уходит домой.

Октавианус. Меня чудесно взволновало присутствие этого прелестного юноши, ибо с ним все счастье и вся скорбь моей жизни вдруг ранили меня отточенной вновь стрелой.

Дагоберт. Благородный дух действует так таинственно, как может еще действовать только красота. То, что свершают и мыслят герои — раздробляется в женщине и проявляется только в ее теле. Но прелестные ужимки всегда действуют неотразимо на наше зрение; они проявляют себя во всех линиях и не ищут ничего, кроме новых очарований. Так же происходит, когда нежная душа оказывается с нами рядом; мы чувствуем волшебство, которое оковывает нас, мы не знаем, что сказать, и что это такое, ум точно опутан сетями влюбленности. Ты можешь, Клеменс, гордиться таким бесценным сыном.

Клеменс. Да, Ваше Величество говорит истину, — бесценным сыном, он обошелся мне дорого, — сначала куча денег, затем присмотр, кормилица, осёл, многое другое, затем пара откормленных быков, и снова куча золота. Одни огорчения, с позволения сказать. Я понимаю так, что Ваше Величество хочет посвятить его в рыцари. Это будут опять расходы, снова одни расходы! К тому же проклятая дороговизна военного времени! Боже праведный! Я думал, что со временем он станет менялой, но так не получается; ну, пусть как пожелают Господь Бог и Ваше Величество. Все господа смеются надо мной. Но я думаю, что говорю хорошо и разумно. Но, как видно, речь часто отличается от замысла, едва лишь главные и придаточные предложения начинают двигаться согласно, вдруг попадешь в скобки, — бац! И все искусство речи обращается в дерьмо.

Эдвард. У вас это получилось так замечательно, старина, как будто вы брали уроки красноречия.

Клеменс. С большими господами нехорошо есть вишни — так гласит поговорка, — но говорить с ними еще хуже, уж лучше я буду есть с ними всякие фрукты, а говорим мы, бургеры, всегда через пень-колоду.

Входит Флоренс в одежде дворянина.

Клеменс. Кто это? Это ты? Нет, это не ты? Мне от этого прямо неловко на душе. Такой галантный красавчик, совсем не узнать, мне просто неудобно будет обращаться к тебе на «ты».

Флоренс. Я снова преклоняю колена перед моим королем.

Клеменс. Садись рядом со мной на эту скамью.

Флоренс. Позвольте мне сесть вон на то место, ибо оно мне подобает, там я смогу спрятать свое смущенное лицо, созерцать траву у ваших ног и смиренно думать о своем ничтожестве.

Дагоберт. Принесите мне знаки рыцарского достоинства!

Входят герольды; на подушках они несут шлем, щит, латы, меч, цепь и шпоры.

Дагоберт. Прими посвятельный удар этим мечом и встань, отныне как рыцарь, во имя Божье, как враг зла, защитник утесняемых, покровитель невинных. (*Звук труб.*) Возлагаю этот шлем на твою голову, и мне радостно, что столь благородному юноше я могу вручить этот меч и с ним мою дружбу.

Арманд. Я облакаю твою грудь этими благородными латами, они из стали — пусть такой же будет твоя преданность королю, и украшены позолотой — пусть так же блистает твой ум. Устремленный ко благу и бегущий любого порока, ты не сможешь заржаветь, как это чистое золото.

Эдвард. Возьми этот прекрасный щит, и стой всегда с ним на защите правого дела. Только ради правого дела поднимай этот щит, и он будет непробиваем, будет крепче скалы.

Родрик. Препоясываю тебя этим мечом, обнажай его в защиту Бога, и святой Церкви, и твоего короля, в защиту притесняемой невинности, и помни, кто тебе вручил его с любовью.

Октавианус. Последний по счету, но не последний в любви к тебе. Я возлагаю на тебя рыцарские регалии. Смотри, святой Михаил распростер крылья на твоих латах и взмахивает мечом, когда ты ходишь и дышишь; он предостерегает твое благородное сердце: будь осмотрителен в мужественных помыслах, как он, сражайся во имя Божье и трепещи, когда замыслишь или пожелаешь сделать то, что безбожно, неблагородно и нечестиво. Тогда твое сердце станет падшим ангелом, которого он пронзил своим копьем. (*В сторону.*) Какие слова сорвались с моих уст, против своего желания я произнес их.

Флоренс. Благословенный день, наконец он мне явился! Как часто я думал о нем, желал его, воображал его! Но ни одна мечта не передавала его великолепия! Мне дозволено поднять глаза, я могу сбросить с себя прежнюю жалкую жизнь, как одежду, отныне моя обязанность — думать о рыцарских деяниях и совершать их, это ремесло для меня — как игра причудливых мечтаний, она зачаровывает меня и волнует мое дерзкое сердце. Святой Михаил и святой Дионисий — свидетели, и на рукоять этого священного меча я возлагаю мои пальцы с клятвой, — что за Спасителя, за моего короля, за справедливость, за угнетенную невинность, за гонимых сирот, за мою любовь и всех дам, во имя Божье я обнажу этот меч.

Клеменс. Однако, господа мои, все забыли про одну вещь! Шпоры! Милостиво позвольте мне самому тоже воздать моему сыну подобающую честь! Господин герольд, с Вашего позволения, — вот так, теперь, Флоренс, у тебя есть все, чего ты желал, и ты в нежном возрасте уже готов сломать себе шею. Где тут правая шпора, а где левая? Да, я тридцать лет

не носил никаких шпор, тут все позабудешь, — ах, вот так! Нет же, черт побери все это дело! Я необдуманно взвалил на себя такой труд, теперь срамлюсь перед монархами, — да, ты еще раскаешься, подумай, сынок! Когда Клаудиус будет сидеть за конторкой менялы, иметь надежный, спокойный хлеб, — ты будешь в чистом поле лежать с полусотней тяжелых ран, будешь голодать, а не то — тебя возьмут в плен, свяжут, закуют в железные цепи, — уже приладилось, господин герольд, спасибо за совет, — вот теперь ты снаряжен с ног до головы!

Флоренс. Спасибо вам, отец, да благословит вас Бог.

Дагоберт. Короли, князья, братья мои, давайте пойдём к нашим войскам и посмотрим каждого! Флоренс, завтра ты будешь на обеде за моим столом, сходи и представься управляющему казной, будешь получать содержание, соответствующее твоему званию.

Уходит с прочими монархами, кроме Октавиануса.

Флоренс. Всеподданнейше благодарю моего повелителя. Мой Бертран! (*Входит Бертран*) Я обязан тебе благодарностью, дружище, когда я хотел с налета похитить принцессу, и мне угрожали сабли, стрелы, копья, ты бросился мне на помощь, ты спас мою жизнь, ты не убежал, хотя мог это сделать, ты проявил себя как друг и как брат, давай так же заодно всегда встречать опасности и битвы.

Бертран. Я буду связан с тобой в счастье и несчастье, прощай же, пусть хранит тебя звезда, которая уже так прекрасно озарила твою юность.

Уходит.

Октавианус. Оставь нас одних, добрый старик! (*Клеменс уходит.*) Ты уверен, сынок, что человек, который только что вышел, — твой отец?

Флоренс. Мой благородный повелитель, я думаю, что — нет! Я слышал от него и от прочих, в частых, но всегда обрывочных, разговорах, что он меня принес сюда из чужой страны, откуда-то из-за моря; и, если это так, — а мне остается в это верить, — то, разумеется, я никогда не видел ни отца, ни матери, и я о них ничего не знаю.

Октавианус. Прощай же, достойный зависти юноша, которому все звезды улыбаются с любовью.

Уходит.

Флоренс (*один*). О, с каким сладостным восторгом смотрю на вас, вечерние звезды, как играют ваши огни, и мерцая, дают мне знак далекими лучами, и мрачнее сгущаются вечерние тени, и я в одиночестве глубже ощущаю свое счастье, течение своей жизни, и меня манят открывающиеся дали, где я сумею добыть полюбившееся мне сокровище. Наконец я добыл тебя, меч, вас, латы, и тебя, шлем. Иначе не сбудется прекраснейший из моих снов, сейчас я дерзко отважился, любимая, схватить тебя рукой,

горячей от неостывшей крови, и больше никакие трусливые сомнения не мешают мне, ты, вправду, будешь моею, с первыми лучами зари я выезжаю, чтобы найти тебя снова. Я еще чувствую в поцелуях пылкий огонь, пробегающий по всем жилкам, вижу румянец свежих уст, манящую прелестную игру блестящих глаз, лилейную белизну груди; неужели это не вернется ко мне? Пусть любовь умертвит меня, если все это исчезло! О утро! Приблизь часы этого дня! Она представляла мне летящей на коне, трепещущей то ли от радости, то ли от сомнений, сбросившей одежды, отбросившей их нежной ножкой, уста, ланиты, очи — всё было вблизи ослепительным, сначала колеблясь перед поцелуем, затем обвив меня руками, она своим ответом доставила мне наслаждение и скорбь. Да, вот эта счастливая рука касалась ее груди, ласкала ее, и с тех пор не прекращается трепет в этих пальцах и в моей крови, и он требует, чтобы я отдал свою жизнь любовному пылу, чтобы я еще раз почувствовал, как бьется ее сердце, и сказал поцелуями, как я ее люблю. Мои губы все еще полны восторга и опьянения, шепот все еще наполняет слух, я слышу только эти звуки, я вижу только роскошную красу ее локонов, в которых, как в сети, запутывались мои руки, словно края золотистых волн, они обвивались вокруг моей груди, наполнявшейся небесным блаженством. О прекраснейшее солнце! Верни мне упоение этих уст, этих очей, я стремлюсь умчаться отсюда, а должен делить одиночество ночных теней.

Уходит.

Лагерь султана. Ночь

Султан, Аламфатим, свита.

Султан. Поставьте моего золотого идола, моего возлюбленного Магомета, сюда в шатер, поближе ко мне, чтобы он был у меня перед глазами. Он командует на этой войне, он направляет нас в этом походе, пусть он станет свидетелем нашего собрания, слышит каждое слово, и видит, как я его почитаю.

Аламфатим. Благородный брат, этот надзор придаст нам новое усердие. Горы и леса, просторы полей и реки, плоды земные и приплод скота, изобилие созревших лоз, — всякое творение природы исходит от него, движется его силой, она — основа всего сущего.

Султан. Истину говоришь ты, Аламфатим, и я люблю своего Магомета, после него я люблю свою дочь, Марсебилль, — не презрение, но истинная любовь подобает и моему скакуну, который переплывает пучину соленого моря; он — рыба в воде, а на суше летит стремительнее птицы. Слушайте хорошенько мое повеление: чтобы этому коню не было никакого вреда, пусть он, один из всех коней, живет на воле, в укромном месте, подобно аравийскому Фениксу. Знайте, что предком этого коня, по имени Понтифер, был могучий единорог; отсюда и его сила и статность.

Входит Лидамас.

Лидамас. Господин мой, сейчас в этот лагерь прибежало множество наших мужчин и женщин.

Султан. Они стояли слишком близко к неприятельскому городу, и увидели для себя опасность, когда те, должно быть, решились на вылазку.

Входит Арлангес.

Арлангес. Великий повелитель...

Султан. Будьте покойны — я даю клятву Магомету, который, весь из золота, стоит здесь, в моем шатре, я отомщу за всё, — Дагоберт умрет, и все франки вместе с ним, так что не поддавайтесь беспокойству.

Арлангес. Повелитель, ты, кажется, еще не знаешь, какое несчастье, какое зло, какое потрясение случилось со всеми нами. Король-великан, бывший тебе вместо сына, твой друг и лучшая опора наших надежд, лежит мертвый перед воротами Парижа, его голова посажена на кол ради глумления, твоя возлюбленная дочь Марсебилль, пока все караулы отдыхали, уверенные, что великан защитит всех, была похищена, — мы бросились в погоню, смогли ее отбить, — но многие из наших друзей, и твой брат, наш великий адмирал, полегли в сражении; наш лагерь был опустошен, многие уведены в плен, так что мы, трепеща, чуть ли не опасаемся, что христианский Бог могущественнее Магомета.

Султан падает на землю, его поднимают.

Султан. Ты слышишь это, Магомет?! Или ты заснул?! Меня распалает гнев! Меня терзает ярость и лишает меня силы! Я больше не могу! Погоди, Дагоберт! За свое высокомерие ты заплатишь мне дорогой ценой! Но как этот сброд, это проклятое отребье посмело нарушить обещание, данное королем, что Голибра будет сражаться только с одним противником? Целой тысячей одолели они его, трусы!

Арлангес. Нет! Услышь, господин, о редкостном чуде! Это совершил один воин — злой дух, так мы все думаем, ибо ни один человек не может сражаться столь ржавым, сколь страховидным и нелепым оружием, и при этом быть столь сильным и непобедимым. Это страшилище убило нашего великана на поединке, и оно же осмелилось в одиночку похитить, сидя на коне, нашу принцессу. Он сразил своей рукой тридцать человек, и среди них твоего брата, славу Азии, он был и здесь, и там, и повсюду, нанося всем удары и всех встречая грудью, и поражая всадников своим ржавым, нечищеным оружием.

Султан. Злодей! У меня язык не поворачивается от изумления! Не хватает еще, чтобы он силой похитил у меня моего Понтифера и отнял у меня моего золотого Магомета. Я клянусь, что сожгу его дотла и пепел брошу в море, если он окажется у меня в руках!

Адамфатим. Идемте, мои непобедимые братья! Сейчас глубокая ночь, отдохнем до утра, мы все делим друг с другом одну заботу, и я даю

клятву Магомету, что отомщу за это злодеяние и поражу его копьем, будь он хоть вдесятеро сильней!

Уходят.

Шатер Марсебилль

Марсебилль на подушках, Роксана, Леалия.

Леалия. Моя госпожа, ночь скоро уйдет, и ты радостно встретишь утро. Ты до сих пор в горести не смыкала глаз, попроси же боже-ство сна, чтобы оно утишило твои заботы, чтобы ты смогла наутро отпра-виться к твоему отцу, как всегда, бодрым и смелым шагом. Пусть развеется твой страх, ведь от горестных раздумий может поблекнуть нежное сияние красоты.

Марсебилль. Ах, подруги, ах, любимые! Нет, я не знаю, в чем моя беда, и сон предательски убегает из глаз той, кто погружена в печаль. Меня не перестает преследовать страх, с тех пор когда он приблизился, лелея коварный замысел, бросил меня через спину коня, и ничто — ни мои простертые руки, ни мои слезы, ни мои мольбы, — не могли смягчить его свирепый дух, и он нес меня почти до вражеского города. Но теперь все это позади. Смотрите, как мерцают золотые звездочки; эту ночь с ее глубокими тенями я люблю больше, чем утреннее солнце, ибо сейчас я могу спокойно погрузиться в созерцание и думать о моем несчастье и о моем блаженстве, о моем позоре, так огорчающем меня, и о блаженстве, что я благополучно спаслась от того черного заржавленного всадника. Смотрите, как тиха эта ночь, сладостные звуки соловьиного пения раздаются повсюду, наполнен-ные красотой, облака медленно проплывают в вышине, мерцает зарницами отдаленная гроза и приближается к нам, неужели я увижу его снова, того черного заржавленного всадника? Как веют нежные ветерки, и багровые зарницы озаряют колеблющимся светом леса, и в этом свете вздрагивают ночные поля, и в просветы дальних туч мерцает, затмеваясь, маленькая звездочка, и мне кажется, что я вновь вижу издалека этого заржавленного рыцаря. Только бы исполнилось мое желание, и он бы заплатил мне тыся-чекратно за все мучения. Я чувствую невыносимую боль, словно сердце мое было ранено копьем, когда я наблюдала издали, как бился с моим дядей этот черный, заржавленный рыцарь. Теперь оставьте меня одну, я хочу спать и попытаюсь предаться сладостной дремоте, скоро мне станет лучше.

Фрейлины уходят.

Марсебилль. О сон! Ты, который слетаешь со светлых обла-ков и со звезд и луны низводишь на землю дремоту и сонные грезы, и то упоение, которое живет на диске Луны, о, сон, раскачивающийся в шуме листвы, награждающий пастушек, дай моим глазам смежиться, а моему

сердцу расцвести сладкими грезами. О сон, возлюбленное дитя! Ты разглаживаешь нежными руками морщины чела и лица, среди ручейков, между стенами цветущих роз, в зеленой чаще леса, вглубь которой пробивается рассеянный блеск солнца, где цветы одурманены собственным ароматом, там твое обиталище, но не здесь, не под пологом этого шатра; эти свечи будят в сердце только новые страдания. О, сон! Светлый ангел! Многих ты тяжко обидел в горе, в нужде, в изгнании, в одиночестве, многих обидел своей неумолимой резвостью, наиграв на струнах твоей арфы, отчего сердце и ум погружаются в оцепенелое созерцание, и размышляют, что бы это могло значить; да, всем улыбались твои звездные очи, и только томление этой любви ты хочешь презирать. Но почему хочу я отдаться дремоте? Многоцветные грезы, в которых звучат напевы, могут вызвать в моей душе образ того, кто наполнил собой мою жизнь, но как могу соткаться сны, если в них нет сплетения пламенных поцелуев? Я хочу позвать подругу и набраться решимости сказать ей, что дает мне мужество и ввергает в отчаяние. Возлюбленная Леалия, подойди сюда!

Входит Леалия.

Леалия. Я думала, ты уже нашла покой.

Марсебилль. Покой? Нет, милая подруга, я предпочла бы лишиться его, беседуя с тобой.

Леалия. Как необыкновенно сверкают твои глаза, ты не заболела от того испуга?

Марсебилль. Да, моя милая, смертельно больна, и жизнь мне также в первый раз подарил этот испуг. Выслушай меня сполна, и пусть я услышу от тебя речь подруги: ты знаешь, — только охота, лес, скалы были моей утехой, — прокладывать на коне дорогу сквозь лесные заросли, поражать льва стальным копьем, носить на груди золоченую броню среди гор, отзывающихся эхом, — и мне, несчастной, было неведомо, что такое любовь и страсть, и я дерзко насмеялась над любовным томлением и слезами. Но ах! Как я должна теперь раскаяться, так жестоко, горько и сладостно, в моих неразумных насмешках и презрении! Да, любовь совершила в этой груди свою месть, и я умру, если тот, с кем я разлучена, не будет моим. Ты смеешься, милая подруга, над моей слабостью? Голубоглазая дева с белокурыми локонами, сердце хочет говорить, а язык умолкнуть. Но нет, ты любишь, и ты сумеешь меня понять, меня утешить, успокоить и смягчить мою боль, мой страх, — я хочу поверить их тебе, и пусть мои слова не станут препятствием на пути этого. О, подруга моя, какая это сладостная боль, — ни одно утешение не сможет уменьшить эту скорбь. Этот рыцарь в ржавчине, — он взял меня в плен, и к нему, к нему устремлены ныне мои желания. Как я испугалась, увидев его вблизи, как крепко он прижал меня к своей груди, я кричала и плакала, издали иска глазами помощь, и как я взглянула в его карие глаза, как его сладостный голос, его взгляд, проникая

в меня, уже не пугали, но утешали и очаровывали, и как я нежно, без ужаса и боязни, нежно обняла его, неотрывно на него смотря. Первый поцелуй, который встретили мои губы, поцелуй тех губ, подобных пламенным рубинам, тронул мою душу и открыл мне целый мир ужаса, желаний и страстей, и на его щеках играл ослепительный румянец, и его дружеские взгляды, его благородное лицо, заставили мое сердце расцвести от его поцелуя, как розы распускаются под лучами солнца. Теперь я знаю, почему, горя пурпурным пламенем, встает утренняя и клонится долу вечерняя заря, что возвещают нам алые цветы роз, какой пламень тлеет в глубине рубинов, почему губы наливаются жаром в поцелуе, почему молния своей игрой слепит нам взоры, почему звезды смотрят сверху на наш мир, и почему всякая весна — томление любви. В этих поцелуях явились мне миры и светила и сотворили мне на сердце рай, поэтому я должна ему воздать за эту любовь, и для моего счастья пал от его руки могучий великан, ах, подружка, ты не можешь, ты не должна бранить меня, я понимаю очень ясно, что эту любовь, как ни внезапно она вспыхнула, нельзя назвать увлечением, — нет, она не что иное, как открытие глубин себя самой.

Леалия. Любовь ничто, если она не чудо, как вдруг знойный воздух раскалывает молния, и среди ночной тьмы обвивает своим блеском ствол могучего дерева и ударяет в гору, как весна, придя сначала робко и неуверенно, вдруг смыкает свод леса изумрудной листвою, так же внезапно, в сладостном испуге, опьяненное восторгом, должно кануть сердце в пучину любви. Поэтому, возлюбленная госпожа, пусть умолкнут твои сетования, — но если этот человек, получивший над тобой такую власть, — только дерзкий разбойник, без звания, без происхождения, без благородства? Тогда, возлюбленная, пусть это будет тебе предостережением, не упреком, — а вдруг это некое колдовство? И ты свое благородное сердце, охваченное страстью и страданием, вручила на погибель низменному, пропавшему сердцу?

Марсебилль. Замолчи наконец, болтунья! Ступай и оставь меня одну вздыхать и жаловаться на свое несчастье.

Леалия уходит.

Марсебилль. Нет, мой слух не потерпит поношения моего любимого, пусть будет проклят всякий голос, который не заслуживает награды, и поэтому ее уста пусть умолкнут. Да, я не вытерплю этих мучений, такая боль непереносима, о, любимый, приди ко мне, будь моим, дай мне покой в твоих могучих руках, на молодой груди, только для тебя моя краса и прелесть, только для тебя цветет моя юность. Да, ты станешь моим супругом, разве не об этом ты сказал в поцелуе, разве не об этом говорили твои глаза, твой сладостно потемневший взгляд, твои свежие уста, хмельные от радости и страсти, пока твоя рука в любовной горячке ласкала мою нежную грудь, так, что я не осмеливалась роптать, утопая в твоём взгляде? Если

я, лобзая тебя, скажу: Любимый, перемени веру! Сделай это! Ты бы обратился, и мы нашли бы счастье и покой. Пусть любовь будет нашей верой, и наши влюбленные натуры — нашими богами; мы и все наше едины в любви, — нужны ли иные боги? Мой Магомет исчезнет, и ты вскорости забудешь всех своих Дионисиев! Земля, небо, леса, ручьи, и уединенное скалистое ущелье, там мы разобьем наши шатры, и наши руки сплетутся, прелестные дети играют вокруг нас, и сладкий птичий щебет окружает нас, — любимый, чего еще тебе желать? Да, ты, как и я, покорен всем этим. Входи, Роксана, подруга моя, ты еще в полудреме?

Входит Роксана.

Роксана. Нет, возлюбленная, я бодрствую, и спешу на твой зов.

Марсебилль. Дитя, послушай и постарайся не браниться. Тот рыцарь, что похищал меня, стал господином моих помыслов, он выглядит таким отвратительным и грязным, — могу ли я говорить об этом, могу ли дать этому имя, должна ли удивляться, поражаться самой себе? Ах, мое сердце, ты вместишь все это, ибо, может быть, и твое мужество покорено, иначе ты не было бы столь прекрасным, столь очаровательно умным. Когда я прежде думала о мужчинах и любви, о супружестве, я чувствовала только страх, мужчины казались мне дикими, и свадебное ложе — не предмет желаний, а только лишь пугалом для любой девицы. Я убегала от поцелуя, как от отравленной стрелы, все ласки мужчин, как мне казалось, портили мою красоту, ах, это было так! И только для него сберегла я цветок моей красоты, мои губы, мои глаза открылись только для него, и мое сердце, и мои помыслы ждали с благоговением этого часа, когда сердце, мысль и разум будут ранены любовью, тогда его крылатый облик, сладостное звучание его слов, светлый разговор его взглядов погрузились в хмельную от любви кровь и восстали в блеске, и склонились в любви, я чувствовала руку любимого, пожатие его любви, немой поцелуй, полный преданности, на моем девичьем теле, и поцелуй, и пожатие, и взгляды, и сладостные речи, — всё, всё дышало для меня невинностью.

Роксана. Кто всецело и преданно любит, кто глубоко отдается любовному пылу, не должен ни трепетать, ни робеть, он желает — и ему достается победа, получается то, что казалось невозможным, потому что он следует сердцу. Посмотри, дорогая, как восходит в кровавом сиянии утренняя заря, и солнце словно возвещает о своем появлении туманно блещущим полям.

Марсебилль. Вот бы он пришел вместе с солнцем, как солнце, в пурпуре и золоте, спустился бы с ближнего холма, появился из лесной чащи!

Роксана. Если он любит без задней мысли, то его разбудило сверкание зари и страсть ведет его неудержимо на крыльях его желания, ибо не одно горящее сердце не устоит перед натиском любви.

Марсебилль. Поддай мне мое наипрекраснейшее платье, темного пурпура, богато расшитое золотом и с вплетенными цветами; поддай и диадему, с искрящимися рубинами; и серьги, сверкающие подобно слезам радости, и богатое ожерелье для шеи и белоснежной груди, чтобы оно легло на плечи; и так я перед моим отцом, подобная кровавой богине войны, жаждающей грабежа и смерти, подобная пурпурной заре, возвещающей сияющий день, подобная розе в полях, когда она купается в росе, и на ее листьях искрятся алмазы, и, страшивая свое убранство, она орошает мелкие цветы, подобная любви, — я хочу пройтись, пламенея, как гранат, ах, говорят, что его сердце податливо к лаврам победителя в бою; так и мое сердце заставит сдаться героя. Дорогая, следуй моему велению.

Уходят.

Шатер султана

Султан, Аламфатим, Лидамас, Арлангес, свита.

Военная музыка.

Аламфатим. Как пламенеет утренняя заря, и ее багряно-пурпурные знамена реют над ее золотыми путями, она мечет вниз золотые искры, и леса упиваются ее багрянцем, цветы на лугах купаются в свежих росах, заря прелестно нарумянила ланиты, и отсюда взлетают ввысь эти звуки и приветствуют новое солнце, дабы оно увенчало тебя радостью и восторгом побед и славы. Слышишь, как ликующе звучат трубы, и звон кимвалов смешивается с радостным пением, и нежные флейты влетают туда же свой наигрыш. Но твой взгляд мрачен, и ты, погруженный в несчастье, не хочешь понять свое гордое сердце.

Султан. Да, для меня эти часы протекли без сна и без дремоты, в неутихающем гневе, горе и унынии.

Арлангес. Смотрите, — из багряного пламени зари появляется блещущий светлым оружием всадник, его вороной конь мчится, вставая на дыбы, словно чудовище из диких лесов, и он, то гневом, то лаской, укрощает непокорное животное, он спрыгивает с седла, поглаживая шею коня. В его руке оливковая ветвь, его оружие сверкает, поверх него пурпурный плащ, у него смелый вид, он приближается, ибо он узнал на этом широком поле твой шатер по роскошному убранству, кажется, это посланец для переговоров.

Входит Флоренс с оливковой ветвью.

Султан. Что ты требуешь от меня, посланец?

Флоренс. Желает ли ты, султан, всё, что я скажу, выслушать без гнева и спокойно?

Султан. Я желаю, чтобы ты говорил смело, здесь, в лагере, никто из моих героев не причинит тебе вреда.

Флоренс. Прими же обвинение и приказ, будь ты ласков или гневен, — как тебе будет угодно, но я ничего не боюсь, даже когда вокруг сверкают мечи. Знай же, что Бог, который за грехи наши принял в муках позорную смерть на кресте, Христос, который за своих возлюбленных чад сражался со смертью и самим адом, Он, и с ним не меньше того — Мария, Святая вечная Дева, чьими мольбами смягчается гнев ее сына, претворяясь в кротость, — ниспошлют нам, христианам, силу и славу. Облеченный верой, и под надежной защитой Святого Дионисия, мой король Дагоберт послал спросить тебя, зачем это войско кишит под стенами его города, — ибо оно кажется ему лишь скопищем презренных червей, ибо нашими руками он разгромит тебя, и эти шатры, ныне горделиво блистающие, повергнет в пыль и обратит в пепел. Поэтому отправляйся сейчас к нему и принеси ему покаяние в своих делах, тогда он утишит свой яростный гнев и великодушно возвратит тебе твою презренную жизнь; но, если ты не прильнешь с мольбой к его стопам, тогда трепещи его гнева, позднее прозрение уже ни к чему не приведет, и топор отделит твою голову от туловища.

Султан. О, гнусный и бесчестный! Эта рука, этот нож пусть укоротят дерзкий язык!

Бросает в него свой кинжал.

Флоренс. Твой острый кинжал полетел в стену. Ты хочешь опозорить себя таким началом? Не ты ли признал мой чин посла?

Султан. Ты прав, христианин, я должен смирить гнев, посланцев мы должны выслушивать, не прерывая, даже если их нечестивые речи оскверняют наш слух. Судьба отвела мой брошенный кинжал, он не должен был причинить тебе вреда. Пусть это благородное оружие будет тебе послано как знак моей несправедливости, моей ошибки, и, если твое сердце, как мое, думает о примирении, — пусть тебя обрадует его прекрасная рукоять, богато украшенная рубиновыми камнями, и ты можешь с гордостью носить его на своем поясе. Своему же королю скажи: мое сердце не найдет покоя, пока его дерзкую насмешку я не вымещу на нем сполна, по своему усмотрению, ибо он лишится своего трона, его кровь прольется в чистом поле, и он понесет заслуженное позорное возмездие, если только не перейдет в мою веру и не поклонится Магомету, моему благородному богу.

Входит Марсебилль с фрейлинами.

Султан. Сюда пришла моя дочь, пусть все забудут гнев, я радуюсь, когда мои глаза видят ее.

Обнимает ее.

Флоренс (*про себя*). О небо! Как будто навстречу твоему светилу вся кровь отлила от моего сердца, как эти уста, эти очи, это гордое чело маг-

нетически влекут к себе мой взгляд, и румянец выступает на моих щеках, и словно замирает течение жизни в жилах.

Марсебилль. Могла ли я еще долее ждать, чтобы увидеть тебя?

Султан. Да, я знаю желание твоего сердца.

Марсебилль (*про себя*). О, радость и счастье могут теперь выйти из берегов, излиться потоком жарких слез! Как? Это — моя любовь? Или же — только сон? Он ли это? Или же пустой призрак? Наверное, неутолимый трепет моего желанья создал для моего воображения этот обманчивый фантом. (*Султану*) Ты уже знаешь, отец, о моем несчастье, как я едва спаслась от дерзкого наглеца, так выслушай теперь идущую от сердца просьбу, — отомсти за меня этому разбойнику.

Султан. За тебя и за Магомета начнется битва, я вдребезги сокрошу их бахвальство, никакой пощады этому племени, закоренелому в своей гнусности; я обрушу на них меч, голод и войну.

Марсебилль (*про себя*). Мне нужно говорить, молчать мне тяжелее.

Флоренс (*про себя*). О, как эти взгляды хватают меня за сердце, меня охватывает боязливый трепет, я не выдержу насмешки в этих очах.

Марсебилль. Скажи мне, христианин, не знаешь ли ты рыцаря (Хотя, быть может, он никакой не рыцарь), который вчера убил храбрейшего из нас? Ты бы мог передать мне весть от него. Никогда прежде я не желала себе супруга, и нынче, если не исполнится мое желание покарать его, меня будет томить это несчастье, оно лишит меня сна, вся моя радость обратилась в печаль, с тех пор, как мои глаза встретились с его взглядом. Я оплакиваю не только то убийство, — нет, я ношу в себе совсем другое страдание. Он осмелился на все, и недозволенный поцелуй, на который ответили мои девичьи губы, сделал так, что я теперь должна изнывать по нему, ибо он лишил меня покоя, сна и веселья, о, Магомет, пошли мне отраду, чтобы случай привел его в мои руки! Чтобы я отомстила ему за убитого рыцаря, за мой испуг и бессонницу.

Флоренс. Я знаю этого рыцаря, — он очень похож на меня и походкой, и статью, и движениями, он из-за твоей беды истомлен и бледен, только тебя он ищет по всему кругу земному, он не оробеет ни перед опасностями, ни перед ударами судьбы, лишь бы ему явился твой светлый лик, и, едва утро озарит луга, он выедет сюда, чтобы тебя увидеть. С тех пор, как сияние небес предстало ему в этих чертах, словно утренняя заря, его путь ведет только одна звезда, и он страждет в великом горе, что не можешь вместе с ним служить Богу, который из любви к нам принял смертную муку, он надеется, что ты оставишь идолослужение, и тебя примет в свое лоно высшая Любовь. Тебе, султан, я больше ничего не имею сказать, я ухожу, мы встретимся теперь на поле брани. Твое глумление над христианством уязвило меня, и я тебе воздам за него сполна, твоя жизнь — на конце моего неустрашимого копья, это острие продырявит тебя на песке, если ты не

оставишь твоих идолов, не почитишь Христа, который милосердно даст тебе приобщиться к вере.

Уходит.

Султан. Как? Он никакой не посол, он дерзкий мальчишка! Спешите за ним, со всех ног и вместе с его отрубленной головой возвратите моей душе утешение и поддержку, которые похитил у меня этот разбойник!

Арлангес. Я тороплюсь ему вдогонку, как из лука летит быстрая стрела, и скоро он увидит свою погибель и раскается в своих угрозах.

Аламфатим. Его будут преследовать сотня латников и лучников, и за свой разбой он будет отдан их ярости, он будет трепетать, умолять, дрожать от ужаса, но ничто не придет на помощь его смертному страху, его отчаянию. Прощайте, возлюбленные братья, прощайте прекраснейшие из дев, я сажусь на моего коня, который и разу не споткнулся в беге, который лучше твоего коня, разбойник, и не поколеблется броситься в схватку. Я беру с собой мою пику и возвращусь с его головой.

Уходит.

Султан. Лидамас, останься в шатре, их достаточно, чтобы справиться с этим делом. Я уже вижу вдалеке их бой и жаркую схватку. О, дай им силы, бесценный Магомет и благосклонное небо! Однако у них достаточно сил, чтобы уничтожить сотню христиан.

Лидамас. Ничего нельзя разобрать в облаках пыли, я вижу только сверкание оружия, там нападают, здесь убегают, кто-то из наших спасается бегством, к тому же солнце слепит глаза, и я не различаю подробностей. Но вот уже общая свалка разделилась, одни отъезжают в одну сторону, другие — в другую, и их оружие сверкает на утреннем солнце. Впереди скачет один всадник, другие следуют за ним, из-под его копыт вылетают искры, но вот пыль поднялась еще выше, они приближаются к нашему лагерю, да, это твои слуги, впереди быстрый Арлангес, скачет, чтобы первым принести тебе весть.

Входит Арлангес.

Арлангес. Господин, как нам сказать об этом? Где найти слова для речи? И я опасюсь, буду ли говорить, или промолчу, твоего неистового гнева. Мы преследовали его, как на крыльях, каждый пришпоривал коня, и мы стремительно настигли его в уединенном месте. Рыцарь без испуга встретил нас грудью, в него полетела туча стрел, и лес копий нацелился на него, но все это казалось ему детской забавой, они встречали его панцирь и отскакивали от блестящей позолоты, казалось, что все боги хранят этого злодея. Он сбросил с седла наших лучших воинов, ворвавшись на коне в нашу свалку, неистово нападая, он сыпал удары там, сыпал здесь, поле вокруг него было усеяно отрубленными руками и головами, полные ужаса крики раненых раздавались у нас в ушах. Он стремглав налетел на меня,

и я был сбит с коня, до сих пор, как ты знаешь, привык только к победам; но тут прискакал твой брат, на своем коне, который смело и неудержимо рвался вперед, как всегда, бесстрашно, ибо этот конь драгоценнее и сильнее всех остальных коней, кроме твоего. И Аламфатим, подняв свое копьё, рванулся вперед и пробил щит своего врага; то же пробил его щит. Каждый из коней дико взвился на дыбы, каждый из воинов удержался в седле, так они выяснили свою силу, и схватились за мечи, и раздался звон скрестившегося оружия, ни один не уступал другому, но вдруг твой брат упал, и все мы пали ниц от горя, ибо голова его была рассечена, и христианин увел с собой этого прекрасного, могучего, бесценного, прославленного на весь свет коня, и на нем этот разбойник, подобно орлу, летел вдаль через поле и лес, и как мы все ни старались, не смогли его догнать.

Султан. Довольно, прекрати свою речь! О злосчастный, горестный приезд этого мерзостного обманщика! О, если бы он лежал в бездонной пропасти, сброшенный туда моими руками! Смотри, злой, несчастный Магомет, поправься от своей порчи, не то я разобью тебе башку! Может, ты ему оказал помощь, а моему брату послал бессилие? Я прикажу расколоть тебя, как чурбан, если ты не перестанешь быть негодяем, обманывать нас, водить за нос и одурачивать! К чему тогда золото и украшения, которые я на тебя потратил, и это драгоценное роскошное одеяние? Если не хочешь помочь по-хорошему, — смотри, получишь иные подарки! — Теперь, воины, не медлите, — все, все на совет! Мы наконец обсудим, как нам уничтожить это гнусное отродье.

Уходят.

Марсебилль. Он благополучно спасся, да, он избран для счастья, если бы его больше не было, то и мне пришлось бы лечь в могилу, ибо сердце мое приковано к нему, к его речам, его взглядам, которые дают мне счастье, моя жизнь принесена в жертву его жизни, даже умереть за него — блаженство.

Султан возвращается.

Султан. Нет, нигде мне нет покоя! Что мне еще остается? Надежда, утешение и всякая мысль хотят меня покинуть.

Марсебилль. Отец, осмелюсь ли я обратиться к тебе, высказать тебе то, что может нам помочь, помочь отомстить тому дерзкому разбойнику, который убил короля?

Султан. Говори, дитя мое! Что ты придумала?

Марсебилль. Позволь мне с моими фрейлинами расположиться лагерем на лугу далеко от твоего и прикажи своим рыцарям появиться тогда, когда мой похититель поверит, что они меня покинули. Я позову твоих воинов, и они принесут тебе бесстыдную башку этого победителя, который добился своих побед не иначе как с помощью магии, он не смог победить по-другому, разве тот могучий король не сохранил бы свою жизнь, сража-

ясь один на один с жалким христианином? Да, он придет, полон наглости, и заплатит за нее своею кровью, он станет жертвой моей хитрости.

Султан. Любимая дочь, Марсебилль, а не можешь ли ты таким действием предать своего отца, — чтобы его горе дошло до своего предела? Нет же, нет, пусть будет по-твоему, я хочу верить твоим словам, все сомнения должна прогнать эта столь родственная мне любовь. Ведь не может сердце пантеры обитать в нежной груди голубки. Чего же мне тогда еще терять, если хитрость и низкий обман смогут похитить у меня это сердце, всегда бившееся ради меня? Мы находим среди зверей Севера, утоляющих свою кровожадность в этой дикой безмолвной пустыне, и верную любовь, и благородные чувства, не должна ли эта картина быть намеком на мою жизнь?

Уходит.

Марсебилль. Как опечален, как удручен ныне мой дух! Я сама в себе не властна и следую тому, что суждено. Ах, если бы нас себе не покоряли прекрасные желания и высшая любовь, если бы у нас не было порывов ни ко злу, ни ко благу, юность проходила бы в потемках, в безжизненном уединении.

Уходит.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Лагерь Марсебилль на берегу Сены

Марсебилль, Роксана, Леалия.

Марсебилль. Посмотрите на волны, на их скользкий бег, на деревья, которые тихо любят себя в заводи, а среди облаков я вижу, как движутся золотые сны. Как волны теснят друг друга, расходясь кругами, разбегаются и соединяются, играют с отблесками, и цветы, пурпурные и золотые, отражаются в волнах, и прелестным дождем падает в волны роса!

Роксана. Разве любовь не подобна этим кругам? Волна догоняет убегающую волну, и та счастливо улыбается; они сплетаются друг с другом, блаженно сверкая; с любовью проникают друг в друга, и с упоением предаются своей игре. И, пока они тормозят друг друга в общей плещущей суматохе, кажется, что чистое лазурное небо остужает пыл на их щеках.

Леалия. Так и верность в любви отражается во всех меняющихся чувствах, они приходят и исчезают, мчатся, как пугливые олени в чаще, и по-детски с тоской оглядываются назад; но взгляд любящего сердца следит за картиной этих страстей, как одни побеждают, другие уступают, и видит за всем этим единственное счастье.

Марсебилль. Посему изменяйтесь, помыслы, когда вы меняете свой облик, я знаю, что вы по сути неизменны, не зная ни измены, ни колебаний.

Роксана. Только бы не ослабела вера, вера — это та стихия, в которой победно пламенеет любовь.

Леалия. И чистейшая лазурь сердца — верность становится всё просветленней, верность только в любви познает себя.

Роксана. Однажды, в чудесный вечер, дева увидела вдали, как по темно-зеленому лугу едет благородный рыцарь: Не он ли, кого я жду? Отрада моего сердца?

Марсебилль. Что за песню ты начала распевать? Она мне незнакома.

Роксана. Я только что ее придумала. Да, он едет для нежной битвы, посмотри на сияющее оружие, что любовь дала ему для победы! Да, это он, я теперь узнала его без всякого сомнения.

Марсебилль. Там, около реки, посмотри-ка, видны два благородных рыцаря. Ступай сейчас же, беги на берег, махни ему шарфом, потому что оружие на нем, как мне кажется, сверкает.

Роксана уходит.

Леалия. Не следует ли ему окунуться в заводь, чтобы тина не дала ослепнуть твоим глазам?

Марсебилль. Если он любит, волна вынесет его из тысячи таких заводей. Смотри, он бросился в воду, и река испуганно запенилась, и они бесстрашно плывут вперед, и смелый боец выходит на берег, ах, я знаю, он найдет ожидаемую и желанную для него добычу, и мое сердце уже испуганно бьется от радости, как пойманная дичь.

Роксана (*возвращается*). Они быстро переплыли волны, эти два смелых чужеземца, они вышли на зеленый берег и пустили коней на цветущий луг, они идут к шатру радостно, полные веселого оживления.

Входят Флоренс и Бертран.

Флоренс. Наконец я вижу эти очи, наконец-то, снова после разлуки, и восторг, играя, мне навевает счастье любви — после страха и печали. Ах, любимая, можешь ли ты представить, какая смертельная тоска пронзала меня во время нашей разделенности, когда я должен был тебя избегать! Какая отравленная стрела сильнее ранит? Уста, вы еще по-прежнему румяны? Все ли еще цветут сладостные поцелуи и слова любви на этих полуоткрытых бутонах, которые делили небесные восторги, раскрываясь во вздохах, затем смыкались в улыбке, и блаженно сохраняли улыбку в безмолвно длящемся поцелуе?

Марсебилль. Мой любимый, сними свой шлем и открой свое лицо, сложи здесь свои доспехи, ибо тебе надо немного отдохнуть. О, теперь я вижу твою голову, и твои каштановые шелковистые волосы,

как они вьются по моей руке и ласкают пальцы своим прикосновением. Ах, я могла бы, не переставая, восхвалять твои глаза, твои щеки.

Флоренс. И губы должны томиться, и не прильнуть к пурпурному источнику, поцелуи которого равны соловьям в их пении?

Роксана. Ступайте внутрь шатра, там царит покой и молчание безмолвия, там вы сможете найти слова без помех и свидетелей. Там могут поцелуи осыпаться, как цвет с деревьев, с одной ветки на другую, там страшит одиночество и улетучивается робость.

Марсебилль и Флоренс уходят.

Леалия. С вечернего неба нисходит тишина, только лишь пугливо шелестят листья, словно обмениваясь поцелуями, к закатным облакам поднимается восторг любви, пылание губ и яркий жар ланит, и в струях эфира льется золотой дождь, чтобы дать счастье всем созданиям, всем сердцам, всем душам. И земля в сладостных объятиях сверкает и возвращает в упоении все поцелуи, которые льются на нее, и, охваченные желанием, вдруг вздрагивают холмы, прелестная страсть и ее сладостное завершение переполняет все их жилы. И любовь вторгается в их душу, и эфир простирает над ними лазурные крылья.

Роксана. Нет, мы должны держать караул против чужеземцев и врагов.

Бертран. Как же я все время думаю о тебе, и мои глаза о тебе плачут.

Роксана. Лучше уж убивать великанов, хотя, конечно, плакать легче.

Бертран. Не насмехайся, возлюбленная роза, над моим сердцем, моей печалью.

Леалия. Куда вы бежите, облака, несетесь толпою стремглав, куда торопятя так бурно эти бесчисленные волны? «Нас взрастили ручейки, и подхватила нас река, мы слышали кое-что о священных глубинах моря, где спят предвечные чудеса, туда бы нам попасть!» Куда улетают нежно взоры любви? И из розовых врат — слова любви? «Ничто не вернет нас обратно, ах, вечное счастье непостижимо, из его источника возникают звезды, луна и солнце, это страстное желание зачинает от духа любви и, как дитя, порождает мир».

Роксана. Мой любимый, я узнала тебя тотчас, и обрадовалась.

Бертран. Пусть же кроткий поцелуй уладит все ссоры между нами.

Роксана. Разделенный поцелуй не объединит того, что разделено.

Бертран. Ты верно говоришь, после поцелуя страсть пылает горячее.

Леалия. Святой, чистый, кроткий поток, дитя любви, светлые воды! Когда новосозданный мир был высшим гневом оледенен в своем

существо, и все силы покинули его, и его сердце застыло, он, как закоченный труп, парил в пустынях неба, в нем не было духа жизни, над ним не было родственных светил. И двинулись тогда Скорбь, Любовь и Сострадание в путь посреди незамутненной лазури, возложили белые руки на безмолвную грудь и согрели в ней сердце. Оно почувствовало сначала содрогание, затем трепетный ужас, и надрывалось от страха и невольного оцепенения, и всецело отдалось скорби, ибо вокруг была лишь обитель смерти, и юность покинула его вместе с прежней радостью. И когда мир скорбел, терзаемый болью, пришли Воспоминания, и небесная любовь обняла его нежнее и мягче, но он, томимый смертною мукой, желал скорой кончины. И вот тяжкие затворы пали, и жестокая смерть была после смерти низвергнута Желанием, святые сладкие слезы любви истекли из потаенных глубин на бескровное лицо, на изуродованные щеки. И посреди скорби вдруг зажглась радость, и взошел ввысь Свет, и вернулся из высей, и обнял святую страдальицу мать, и отца — поток светлых вод. И прорастали цветы и зеленые травы, и потоки текли и рвались к морю, новорожденному морю, и светила в золотом блеске с любовью смотрели с высоты, и светлоликое солнце, и луна в тихом утешении, и звездочки, волшебю блуждая, цвели в бездонном небе. И все звери резвились, полны жизни, и, наконец, пришел благочестивый человек — и все звери, и все камни, рыбы и растения, большие и малые светила, и люди молитвенно благодарили прародителя — святые, чистые, живящие всякий плод светлые воды.

Роксана. Посмотри, как чудесные золотые звезды проглядывают одна за другой на темном небе.

Бертран. Они хотели бы покоиться в голубом потоке, в своем извечном лоне.

Роксана. Как тени с неба шагают через горы и леса!

Бертран. Ах, ты могла бы мои раны, если бы захотела, сразу исцелить.

Входят Флоренс и Марсебилль.

Флоренс. Да, теперь ты моя, и вовеки я буду верен тебе, буду твой супруг, я должен сейчас расстаться с тобою, но вскоре я вернусь; вот так страдание превращается в радость, радость сменяется болью. Всякая любовь произрастает из горестного томления, черпая из него свои первые слезы, из его сладостных мук — свои первые радости. Думай обо мне в твоём томящемся одиночестве.

Марсебилль. Ты уходишь? Ты скоро возвратишься? Скажи мне это сейчас!

Флоренс. Да, любимая, как я уже обдумал во время разговора, я должен в битве пленить твоего отца, ввергнуть его в темницу, чтобы он не ставил нам преград, чтобы не препятствовал тебе стать христианкой и моей супругой.

Марсебилль. Это нелегко сделать и самому храброму! Вот если бы сначала похитить его коня, Понтифира! Услышь о тех чудесах, на которые способен этот конь: он плавает, как рыба, в морских пучинах; может переплыть море, и ему хватит сил и дыхания; может мчаться, как ветер, и никто за ним не угонится; нет такого коня, который был бы быстрее его в беге. В той сече, что начнется скоро, приплыви на корабле и высадись здесь на берег, тайно увези меня отсюда, чтобы я могла быть в твоих объятиях. Ибо я все более опасаясь подозрительности моего отца: он догадается о нашей любви, тогда нас осудят на смерть.

Флоренс. Взгляни, как перемигиваются звезды, и луна льет свое сияние на реку, берега и деревья, облака радужно озарены ее блеском, и всё чудесно меняет свои очертания, это — картина моего сердца, полного огней, звуков и красок, любовных песен, желаний, и отзвуков любви, воспоминаний, и среди этого — временами грозящих теней разлуки.

Марсебилль. Прощай, ты похитил мое сердце, помни же, как ты должен его хранить, ах, за тобой порываются уйти мои чувства, желания и помыслы, мне остаются лишь тоска и трепетное томление; я роняю слезы в речной поток, те слезы, что источает моя печаль, и речные струи несут их вдаль, пусть они станут маленькими цветочками и их лазурные чашечки скажут тебе: «Не забывай меня! Не забывай меня!» Вспомни об этом, когда будешь их срывать.

Флоренс. А розы будут без конца вопрошать меня: где твои покинутые губы? Прощай! Уже глубокая полночь приняла мир в свои распахнутые объятия.

Уходит с Бертраном.

Марсебилль. Как облака бегут — приходят издалека и улетают вдаль, — так боль и скорбь притекают к нам потоком, я должна снова в них погрузиться, мои глаза вновь увидят его, источник моей грусти, того, кто ныне должен со мной расстаться. Уходите, мои печали, тьма сменяется светом, и воды невнятно журчат мне: скорбь ведет за собой радость.

Сен-Жермен, лужайка

Клеменс, Антон, сидящие перед домом.

Клеменс. Мой любезнейший, дражайший куманек, поверьте, — то, что вы слышали в городе, — только глупейшая болтовня. Иметь верный кусок хлеба, — вот высшая мудрость, остальное, друг мой, — только пустая дурь. Поэтому мое желание остается прежним: пусть мой Клаудиус вас послушает; госпожа Беата еще молода, у нее достаточно средств, и с ней в дом придет изрядная сумма денег. Нет, Клаудиус не желает пролезать наверх, вступать в рыцарский орден, ему это сословие не нужно. Вот с Флоренсом — ладно уж, пусть, хотя как бы этому господину не свернуть себе шею.

Антон. У каждого свой гений. Молодой господин Клаудиус никогда бы не показал себя в шлеме и латах.

Клеменс. Поверьте, друг мой, я бы постыдился сам себя, если бы предназначил моего сына в рыцари. Будьте только добры не распространяться об этом. Я живу, как бургер, зарабатываю на жизнь, как бургер, останусь бургером и бургером умру. Достаточно того, что мой король щедро наградил меня, и этим я доволен, и не беспокоюсь о журавлях в небе, слава и восхваления не принесут ни гроша.

Антон. Смотрите-ка, кто это там идет, такого шутовского вида, неотесанный, но высокомерный и капризный, такой сгорбленный, скрюченный и заросший?

Клеменс. Такого редкого зверя называют шутом, тем, кто рожден для шутовства. Он носит колпак с ослиными ушами и бубенчики на одежде. Часто такие субъекты разыгрывают из себя простачков и малых детей, но вдруг отмочат какую-нибудь выходку, скрывающую неприятную мудрость, и владыкам, которые не желают знать правду, преподнесут в золоченой обертке. Тогда тот, кто смеется, вдруг призадумается. Тьфу ты, пропасть! Нет, я не ошибаюсь, это та самая потешная физиономия жителя Востока, моего знакольца, турецкого бывшего посла; вот так меняют карьеру! Я не удивлюсь, если он ныне придворный шут!

Входит Хорнвилла.

Хорнвилла. Ну, мой милый Клеменс, я теперь профессиональный дурак, и получаю жалованье за то, что расстался со своим разумом, и это было самым умным, из того, что я сделал в своей жизни.

Клеменс. Причудливо меняется ваша жизнь, и диковинным образом та роль, которую вы выбрали в спектакле жизни, не оставляет вам долго выступать в одном облике. Садитесь-ка, садитесь к нам сюда. Это занятие для вас не слишком тяжело? Выпейте со мной чарочку вина. Я вам признаюсь, что я просто пропадаю оттого, что все надо мной смеются, корчат насмешливые мины, и когда я должен всё это выносить. Мое пищеварение страдает. Нет, честь и репутация — лучшее украшение жизни.

Хорнвилла. Когда вы дышите на ладан, и вас ставят нос к носу с веревкой, топором и ядом, бегите со всех ног от этих угощений к моему нынешнему занятию. Я не имею ничего общего с этим скопищем героев, которые, когда хвастаются, так разевают рот, будто готовы проглотить целую страну. Нет, насколько счастливее вы, маркитанты, с которыми ты можешь пропускать чарочку за чарочкой, пока твой нос не станет багровым, и, пока где-то гремит битва, можешь сидеть в прохладе шатра.

Клеменс. И я так думаю, ведь я практический человек, и единственная рыба на моей сковородке дороже мне всех рыбьих косяков в просторах моря.

Хорнвилла. То же самое и я говорю: всю жизнь, изо дня в день, нужно считать копошением в общем улье, тогда никого не захочется уби-

вать. Вот так они меня поймали и хотели было уже повесить, я защищался, я кричал: караул! Тогда епископ сказал: сын мой, отрекись от лживых языческих учений, поклонись Христу, и тогда к тебе проявят милосердие. По рукам! — тут же говорю я, иду по тому пути, по которому уже ходил однажды, вам ведь очень легко найти в своей душе уже накатанную колею. И вот они стали учить меня со всей серьезностью из старых притч и поучений, как человек должен направлять свое сердце так, чтобы оно, подобно легавой, рыскало повсюду и приносило нам тепленькую добродетель; смиренно подкрадывалось, и глазело вверх на небо, и, когда заметит херувимчика, начинало бы тявкать; тогда ему прямо на нос посыплются монетки. Ну, и тому подобные традиции. Я делал все так, как будто все искренне усвоил, и укреплялся в вере, и вот христианская община пополнилась еще одним членом. Тогда пришел господин Дагоберт и сказал: ну, вот теперь ты достоин веселить свою душу большим, нежели служение ничтожным идолам. Да, сказал я, в этом моя слава, а язычество принесло мне одни неприятности. Ты должен, — сказал он, выказать христианское смирение и потому поступаешь ко мне в шуты, как саламандра, бросаемая в огонь, и мы останемся вместе. По мне — занятие как занятие, я лишен предрассудков, и вот я был посвящен в должность, и гофмаршалом пожалован в шуты. Когда он представил меня двору и произнес речь, то и я затем держал свою: некоторые дамы, растроганные, начали плакать. Я говорил о веротерпимости и просвещении, о конечном исполнении извечных чаяний, о том, что сословия должны протянуть друг другу руки, — король, шут, статский советник, — дабы культурой улучшить человеческую природу. И в это я хочу внести свою скудную лепту, подобно той бедной вдовице; пусть каждый левой рукой жертвует то, что велит рассудок; захочет он быть полезным государству — и я вызовусь на это с горячностью, ибо я вложил в это весь мой капитал, да еще с процентами. Тогда они назвали меня патриотом, я, право, скромно покраснел.

Клеменс. Вы совершенно правы; но мы здесь сидим совершенно открыто; я уже вижу, как мальчишки-оруженосцы поразевали рты; а этот разговор не кажется мне очень подходящим. Я хорошо знаю, что гуманность, терпимость и всякое прочее милосердие, — да, мне сердце подсказывает, — одно там находится внутри, а снаружи висят все эти колокольчики...

Хорнвилла. Адьё, обыватели! Вот подождите, закончится война, и, клянусь Христом, в долгие вечера вам придется кусать локти, будете облизываться, глядя на шута, заманивать его в гости вином, но, если он к вам не пойдет, — знайте, это буду я.

Клеменс уходит в дом. Антон уходит. Входит король Дагоберт со свитой.

Дагоберт. Где ты, шут? Тебя давно не видно.

Хорнвилла. Я тут связался с бюргерским сословием, ибо оно составляет ядро нации. О, счастье бюргеров! Мой возлюбленный, бесценный властелин, — это высший жребий, стремись к нему, добудь его себе, —

и получишь, как в мясном ряду, порцию и чувств, и сердечности, и верности, и искренней простоты, и великодушия.

Дагоберт. Смотри, шут, я должен прощать тебе всё, но надеюсь, что не злоупотребишь этим.

Хорнвилла. Если вы не можете приучить себя к мысли, что снисходительностью можно злоупотреблять, запрячьте ее на дно сундука, потому что снисходительность и создана на случай злоупотребления. Злоупотребление! Как часто все злоупотребляют этим словом!

Уходит.

Флоренс выходит из дома.

Дагоберт. Как ваши дела, мой храбрый юный рыцарь?

Флоренс. Благодаря вашим милостям мне всё удастся.

Дагоберт. Я слышан о ваших смелых делах, о вашей любви и ваших дерзаниях, поистине, сердце настоящего рыцаря не живет без любви и благоговения. Пусть будет с тобой удача, мой славный мальчик, надежда Франции!

Дагоберт уезжает в лагерь. Сюзанна выходит из дома.

Флоренс. Что случилось, мама? Почему вы так плачете?

Сюзанна. Ах, любимый сын, ты приносишь нам одно горе! Это наш крест! Это наше несчастье! Ах! Пережить такое в мои годы! Ты теперь рыцарь, ты совершил такие славные подвиги, убил великана, выбрал принцессу в дамы сердца, ходил к султану, говоришь с королями — тебя не в чем упрекнуть; но для старых, одряхлевших, спятивших людей, которым невесть что взбрело в башку, вся эта война, все эти усилия — повод для позора и дурацких выходов.

Флоренс. Что это значит, мама? Я вас не понимаю.

Сюзанна. Тебя нужно не пускать в этот дом, как больного, как зачумленного, потому что ты заражаешь всех неистовыми фантазиями. Я-то не поддамся, знает Бог, и в нашем Клаудиусе я могу быть уверена, мы не собьемся с пути истинного — Бог миловал; но наш старик, наш Клеменс, — как слабоумный побродяжка, как угольщик, как дьявол (Господи, прости!), стоит там в комнате, лицо и руки все вымазаны сажей, на нем одежда паломника, в которой он двадцать лет назад пришел из Иерусалима и принес тебя, несчастное дитя, сюда, во Францию, и собирается идти туда, к язычникам.

Флоренс. Но почему?

Сюзанна. Почему? Ты еще спрашиваешь? Разве ты не рассказал ему о этом звере, этом чудовище, лошади по кличке Понтифер? Это втемяшилось ему в голову, и он хочет пойти туда, чтобы украсть эту лошадь для тебя.

Клеменс входит в дом в одежде паломника.

Его лицо и руки вымазаны сажей.

Клеменс. Правда, я выгляжу по-язычески, как свирепый мавр? Господин Людвиг наверняка меня испугается.

Флоренс. Дорогой отец, вы знаете, на что вы осмелились?

Клеменс. Будьте все покойны и не говорите мне ничего, моя голова разгорячена эти проектом, и если кто-нибудь начнет ахать да охать, всё пойдет вкривь и вкось. Да, вытаращите глаза, разиньте рот, и всё получится! Так что я еще могу ухватить порядочный кусок славы прямо перед носом у некоторых сопляков. Я еще могу хромать. Вот так получается? Нет, стой-ка! Должно быть не так, как будто я хромаю напоказ, и не так, как шатаются пьяные, а как будто это у меня с рождения. Теперь хорошо?

Флоренс. Вы хромаете превосходно и очень естественно, но зачем это? Это лишнее.

Клеменс. Это — маленький довесок к дерзкому плану, превосходная черточка, которая не повредит и будет для меня полезна, ибо, если я буду совершать это хромая, и каждое мгновение следить за своей хромотой, я и в остальном буду владеть собой и не выйду из своей роли, потому что вообще в таком исключительном случае все зависит от замысла, осмотрительности и от того, насколько всё будет продумано сначала. Прощайте оба!

Флоренс. Если это удастся, это будет великое деяние. Если же нет, я выкуплю вас у Султана.

Клеменс. Нет! Нет! Только следите хорошенько, чтобы я нашел ворота города открытыми, когда буду спасаться бегством.

Уходит.

Сюзанна. Ах, если мой муж не возвратится, я сегодня вечером сойду в могилу.

Уходит.

Флоренс. Мысли, картины, сладостные воспоминания, плывущие облака, поющие птицы, вернете ли вы моему воображению те вечерние часы, напоенные ароматом цветов? Теперь нас не разделяют более скалы и ущелья, любовь одарила меня золотыми крылами, и я долечу к моему единственному счастью, поднявшись над морями, реками, проливами. Так бейся же, мое сердце, вольнее и отважнее, твое желание, твоя кара исполнится и твое страстное томление найдет покой. Приди же, битва! Мечь кипит во мне, как ни свирепа ты, я хочу тебе улыбнуться, ты приносишь мне мое счастье в окровавленной пасти.

Лагерь Султана

Султан, Лидамас, Арлангес, свита.

Султан. Смотри, возлюбленный Магомет, как твоя голова сияет золотой диадемой и бесценными камнями, то, что мой гнев, движимый любовью, причинил тебе убыток, ты мне великодушно прости, если кто

из богов пользовался всегда моей рукой и моим мечом, — разве это не ты, мой возлюбленный, вернейший? И ныне пусть ничто не будет слишком дорогим для твоего убранства. Ты, конечно же, отомстишь за моих братьев, которые ныне пребывают с тобой в твоём царстве, теперь мы должны сокрушить мощь Франции, своей пятой пожать все эти короны, никто не должен более упоминать о Дионисии, наша рука должна беспощадно повергнуть в прах его монастырь, и тогда все уста воспоют тебе хвалу, возлюбленный Магомет.

Арлангес. Что там за паломник, в белой одежде, приближается сюда? Он уже издали приветствует твой богатый шатер.

Лидамас. Он, кажется, прибыл из дальних стран, и, судя по загару, из жарких.

Арлангес. Он, кажется, человек невысокого положения, он в плаще, хромает и опирается на палку.

Султан. Позовите его сюда, он, кажется, почтенного возраста, может быть, я от него что-нибудь узнаю.

Вводят Клеменса.

Клеменс. Я должен, всемогущий, коленопреклоненно поклониться Великому величию (*про себя* — Ах, что я должен говорить? Зачем я подошел к этому ужасному человеку с глазами, мечущими искры? Да, мое предприятие надо назвать слишком рискованным. Я был ослеплен блеском драгоценных камней, усеявших этот шатер. Перед таким количеством камней человек сам обращается в камень). Могущественнейший, высочайшая светлость, когда человек ищет только блеска, роскоши и достоинства, мой Бог! Клянусь Магометом, человеку нужно только зайти сюда, в этот блистающий шатер (проклятье! Я же не знаю, что нужно для этого дела, а лицо этого молодца слишком уж отвратительно)... Здесь можно найти блеск множества рубинов, но ужаснее всего блещет твое лицо. Я видел в моих странствиях множество стран и могущественных владык, но никого другого, кого все так жаждали бы восхвалять, и, хотя во всем мире государства управляются героями или мудрецами, я бы не посоветовал никому быть тебе врагом, потому что ты самый избранный цветок всей Азии, Африки, всего язычества. Твое достоинство известно всему миру, все трепещут, лишь только ты пошевелишь головой (вперед, вперед, все очень галантно, я смогу, ей-богу, воздать ему почести), поэтому тебе повинуется море, как и земля, и ни одна сила не может противостоять твоей силе, и только Европу ты еще должен смирять, и первой — ветреную нацию французов. Поэтому ты прибыл сюда по седым волнам моря, со своим закованным в броню и неустрашимым воинством ради сокрушения христианства, твое войско, неисчислимое, как песок морской, всосало непобедимость вместе с молоком матери, и потому ты победишь, — это понятно. (Хвала Богу! Все сошло прекрасно. Это — великое дело, что я владею напыщенным стилем.)

Султан. Истинно, что солнце дарит нам свет и море пенится бесчисленными волнами, пока я могуч! И я не найду покоя, пока не прекращу собачье твяканье христиан, моими устами говорит мировой дух, и как растения, горы, светила, воды, леса, и море, и пески, и знойные поля обращаются с мольбой к Магомету, то же должны делать и все смертные.

Клеменс. (Тот в самом деле величайший мастер, кто упражняется и развивает свой талант, и я с каждым словом становлюсь все наглее.) Мой господин, кто однажды узнал нашего Магомета, тот совершенно не почитает прочих великих духов, в нем возжигается квинтэссенция, благодаря которой духи становятся подлинными духами и которая движет светилами, солнцем, землей и морем.

Султан. Ты кажешься мудрым человеком — откуда ты?

Клеменс. Наипрославленнейший, как тебе это известно, там, где Египет омывается Красным морем, лежит Эфиопская страна, оттуда я отправился и поперек прошел жаркие пески пустыни, всю Африку, Нубию и Абиссинию, Халдею, Персию, Индию, короче, всю Азию.

Султан. Поистине, ты бывал в очень дальних краях! Но скажи, в моем далеком отсюда государстве ты не слыхал ничего о моем нынешнем походе?

Клеменс. Слышал, и очень многое; каждый умный человек говорит, что Европа сожжена дотла, она лежит, стеная, разоренная этим походом, все они клянутся в исполнении твоих стремлений, прибегая к тысяче изысканных сравнений. Ты — сфинкс, хранящий такую загадку, что ни один Эдип не отважился бы ее разгадать, ты сам испек такой крендель, что никто его не ест — только страдает и мучается (не верь, когда я тебя так балую словами), во всей Европе не найдется такого щелкунчика, который расщелкал бы принесенный тобой орех, будь то хоть сам великий Александр.

Султан. Кто ты, собственно, такой, и чем ты занимаешься?

Клеменс. Я изучаю очень много разных вещей, от которых государство и монарх могут кое-что иметь; и обладаю познаниями, сколь серьезными, столь и изящными, как получить много золотых талеров, и, хотя я умею мудро ограничивать себя, я все же могу сделать вклад в разные искусства. Я — танцор и эквилибрист, гадатель по воску в чашке, жокей и немного алхимик, импровизатор и сочинитель рифм, демонстратор натуральных фокусов, могу — для меня это легко, заштопать дырки на одежде, выводить жирные пятна и летать на воздушном шаре на удивление всем нациям. Но первейшая из моих наук — определять ценность благородных камней, знать силу, присущую каждому из них, и назначать им цену в соответствии с достоинством. Но то, что мне доставляет наибольшую выгоду, а монархам и богатым людям — наслаждение, — это мои познания относительно лошадей, подобных которым не имеет более никто в мире. Я могу точно сказать, каков их возраст, определить все недостатки и достоинства, и готов биться о любой заклад, что сумею точно указать, каковы их сила,

норов, все качества, — и через какой срок минует благородный скакун свой лучший возраст, и когда постигнет его смерть, — всё это я предсказываю по единственному волоску. Тут, впрочем, есть одна тонкость, — если лошадь дика настолько, что не может меня вынести, то, если я сумею сесть на нее, тогда я сделаю то, о чем сказал, с несомненной верностью, если же я солгу, то вверяю себя твоему гневу, и, если меня зарубят топорами, или если бросят в серу и кипящую смолу, это будет слишком малая кара за мой проступок.

Султан. Тебя можно испытать, — ведь у меня есть конь, с которым не сравнятся никакие кони, он мчится так быстро, что его не догонит в полете стрела из могучего лука; сильный, неудержимый, статный, высокий, на лбу острый рог, чьи удары многих латников уложили на месте. Приведите сюда Понтифера, моего удалого скакуна! Смотри, вот он! Его держат на золотой привязи и серебряной цепи, посмотри на него, определи и скажи без промедления, когда умрет этот конь, когда он состарится, его смерть нанесла бы мне такую рану, которая никогда не заживет; сколько стоят двадцать государств, столько стоит в моих глазах этот благородный конь, но нет, ему вовсе нет цены.

Клеменс. Это самое прекрасное животное из всех, кого я когда-либо видел, он сверкает ослепительной белизной, словно лебедь (я боюсь подойти близко к этому зверю, — у него громадные зубы, и к тому же рог! Но, если я его поймаю, честь для меня будет тем большей...), — какая чудесная грива, и все у этого животного — настоящее чудо; его ноги выглядят безупречно, все четыре. К тому же он весь сверкает от множества дорогих камней, легко подпрыгивает, танцуя, на своей драгоценной привязи, он строен, гибок, дивно сложен (кого он разок достанет своим рогом — тот никогда больше ничем не заболит!), как грациозно отгоняет он мошек, как грызет свои сияющие удила, едва чувствуя под собой землю!

Султан. Вот это конь, не так ли? Таких, как он, больше нет! Какое несравненное создание!

Клеменс. За всю свою жизнь я нигде не видел, такого величия и такого редкостного убранства.

Султан. Теперь, папаша, садись-ка на этого малыша, прищпорь его, и, сидя в седле, ты сможешь нам рассказать, как долго еще проживет этот благороднейший конь.

Клеменс (*про себя*). Наступает кульминация всего предприятия. Если б какая-нибудь случайность в мгновение ока унесла меня отсюда! Фу, Клеменс, — стыдись своей трусости! Мужайся, Клеменс, все должно получиться. О, святой Георгий, святой Мартин, защитите меня, — ведь вы лучше разбираетесь в этом деле, чем я, несчастный бюргер, — мне так страшно стоять здесь, перед этим душителем христиан.

Султан. О конь! Ты пленил навек мое сердце! Как ты танцуешь! Как умен твой взгляд! Чем больше смотришь на тебя, тем больше хочется

тебя разглядывать! Ну, папаша, все готово? Не желаешь ли прямо сейчас начать и сесть в седло?

Клеменс. Этот конь не взбрыкивает задом?

Султан. У него нет такого обыкновения; начинай побыстрее! Я желаю тотчас же узнать всё.

Клеменс. Я сейчас же буду к вашим услугам.

Садится на коня.

Султан. Как дико он косит глазом вокруг себя! У старика, кажется, умная голова и изысканные манеры; — Он взвивается на дыбы! И снова стоит спокойно! Эй, Понтифер! Что такое на тебя нашло? Вот так он брыкается, — и этот черномазый, этот паломник лежит на зеленой травке, шлепнулся, и здорово расшиб себе нос.

Клеменс (*приходит в себя*). Вы смеетесь, ваша пресветлость? Какой это был удар! Мне показалось, что небо рушится. Но я пытаюсь снова, ибо я должен сказать вам то, что вы желаете.

Султан. С каким жаром он прыгает! Я могу во все глаза смотреть на это создание целый день — и мне будет мало. Ну, что необычайного ты увидел, ведь ты смотрел на него так внимательно? Слезай, он уже к тебе привык.

Клеменс (*издали*). Прощай, султан! Спасибо за коня, тебе я оставляю мой посох и суму!

Султан. Как?! Что?! Подайте мне лук, подайте меч! Что за взгляды здесь, полные яда?! Мой конь! Мой конь!!! Бесценный! Золотой!! Он мчится прочь! О, я схожу с ума! Мой скакун!! Мой Понтифер!!! О, сколько украшений! Мой белый конь!!! О, черный вор!!! О, небо!!! И ты не хочешь обрушиться?!!

Бросается наземь.

Арлангес. За ним погоня, они постараются вернуть его.

Лидамас. Бесполезно — его теперь не догонит даже ветер. Мой благородный господин! О, я боюсь, что его великий дух отлетел отсюда! Он застыл, как камень.

Арлангес. Он видит, как развеялось его счастье, и ему нужно окаменеть, чтобы это вынести.

Лидамас. Те, кто бросился в погоню, уже идут обратно.

Арлангес. Как позорно нас провели с этим конем.

Рыцари возвращаются. Султан приходит в себя.

Один из рыцарей. Вор со своей добычей уже въехал в ворота Парижа.

Султан. О, если бы ты не мчался, как молния, они смогли бы тебя догнать! О, ты потерян для меня навеки, ты, стойвший дорожке всего моего царства! И поделом мне, старому безумному дуралеку! О Магомет,

бессловесное, безмозглое чучело! Сорвите с его головы диадему — не пойму, почему я не расколочу его вдребезги?! Но нет, он не заслуживает, чтобы я поднимал на него руку, — что он частенько уже испытывал, — не достоин того, чтобы я обращал к нему мой взор, полный дикого негодующего пламени, нет, злодей, ты попробовал бы этого, если бы я еще видел в тебе свое утешение, — а ныне пусть я сам буду богом, вместо этой дичи, которую грызут собственные собаки. Теперь, Париж, ты должен изведать мой гнев, — моя месть не может больше ждать. Собирайте, вожди, свои отряды, мои народы, стекайтесь под их знамена! Кто там хочет удерживаться от гнева, ярости, бешенства и крови? Трубы и рожки, гудите во всю мочь перед решительной схваткой! Вооружайтесь рукой и сердцем, укрывайте сталью свою грудь и сами будьте как из стали! Халдея, Аравия, племена, пьющие воду Евфрата, Месопотамия, Персия, Парфия, и жители берегов Ганга, мавры — ваших имен не перечислить, вперед! Испейте крови! Устремляйтесь неудержимо, как потоп, как смерть, как чума! Разбросайте на этих полях посев смерти! Вперед, с яростью тигров истребите этот нечестивый сброд!

Сен-Жермен. Лужайка

Король Дагоберт, Октавианус, Флоренс, свита.

Дагоберт. Это деяние, достойное всяческого удивления, — что старик оказался столь храбр и отважился проникнуть туда к ним в лагерь.

Флоренс. Посмотри, мой король, на этого редкостного коня, самого могучего и дикого, — он неотразим в своем натиске и непобедим в бою, — он скачет так стремительно, что ни стрела, ни ветер не могут его догнать.

Дагоберт. Ты так уже прославился своими подвигами, а теперь имеешь чудеснейшего коня.

Флоренс. Если он вам нравится, мой король, берите его себе, он привык носить только властителей.

Дагоберт. Благодарю тебя за этот дар, и пойду сейчас же испытую, могу ли я ездить на нем.

Уходит.

Октавианус. Ты самый достойный из всех рыцарей, в тебе цветут нежная любовь и чувство чести, о которых поется в старых сказаниях.

Флоренс. Мой император, Господь нам всем служит защитой, во имя Его я хочу обнажить этот меч в сражении; но когда я в душе произношу ваше имя, или ваш светлый облик оживает в моем сердце, ваше милосердие, ваш взгляд, ваш поцелуй, — свет и радость обвевают меня, как дуновением. Воспаряет мужественный дух, трепещет в нетерпении устремленное в бой копьё, жаждущее крови, — моей руке нет нужды бить: оно летит

неудержимо и пронзает сердце врага; словно с неба, победа падает к моим ногам, — в этом Божья заслуга и ваша милость.

Возвращается Дагоберт с Клеменсом.

Клеменс. Да, Ваше Величество, вот это конь! Это я его добыл! Я мчался назад, как буря, как призрак! От бешеной скачки у меня только в ушах посвистывало, а сзади на все лады голосили язычники!

Дагоберт. Вы стали героем в почтенных летах, и это деяние свидетельствует об отважном сердце.

Клеменс. Да, в молодости я был солдатом, хоть старый кот, а мышей ловлю.

Сюзанна выходит из дома.

Сюзанна. Мой муж! Мой Клеменс! А эта скотина не растерзала тебя по пути?

Клеменс. Нет, я его доставил пойманным в город и презентовал нашему королю.

Дагоберт. Я благодарю вас за этого благородного коня, но теперь и вы ждите за него награду, подобающую той, которую дает король, чтобы подданный, которого он любит, за его благородный дух, за такого сына, с благодарностью принял ее из рук короля.

Клеменс. Я хочу благодарить, хочу плакать, рыдать, и, если я запинаясь в моей речи, это от почтения к моему королю.

Входит Арнульф.

Дагоберт. Что вы желаете от меня, святой епископ?

Арнульф. Еще раз я хочу просить вас отпустить меня, дав высочайшее распоряжение; прощайте, мой дорогой повелитель! С неудержимой силой влечет меня уединение, и с вашего высокого позволения я желаю испить блаженство молчаливого созерцания, живя как отшельник. Бог вам в помощь в битве!

Дагоберт. Ступай же с Богом, благородный святой человек!

Арнульф уходит. Входит Пепин.

Пепин. Пора! Мой король, наступил день, в который Франция должна победить и воспрянуть в блеске, или же Франция падет — и с нею все ее святые. К оружию! Враг, охваченный яростью, собирает свои полчища, все поля вокруг города сверкают, покрытые щетиной мечей и копий, всюду кони и лучники, они приближаются, необозримые и неисчислимые, земля гудит от их поступи, и человек гложет от звуков их воинственных песен. Уже наши стражники трубят на стенах и призывают нас к борьбе, звонят колокола, благочестивые монахи простерлись ниц и умоляют Господа послать нам победу.

Дагоберт. Мы все уже облеклись в латы и вооружились. Это тот день, когда христианское воинство смертью и кровью подтверждает завет со своим Спасителем.

Флоренс. Это тот день, которого я давно желал, пора испытать сполна твердость духа, то, что трубы нам непреложно возвещали своими звуками, когда сердце было объято ликованием, — воспылало от звона мечей и грозящей опасности, всё томление, все желания сегодня разрешатся.

Октавианус. Это тот день, когда добро победит, и храбрые сердца узнают меру своей храбрости, но многие жизни под саблями диких язычников уйдут в песок вместе с кровью.

Входит король Эдвард.

Эдвард. Где эти дикие язычники, которые любят злодейство и чинят насилия, убийства и прочие напасти друзьям Христа? Уже эта пика трепещет от гнева, и моя смелая дружина жаждет ринуться в эту пляску мечей; и я, как орел, налечу на врагов на своих могучих крыльях, повергну их в пыль, и пусть смерть соберет из наших рук обильную жатву.

Входит король Родерик.

Родерик. Крест Господень на знамени напоминает о Страстях, Ты, Мария, сидящая на троне, вокруг которого ликующие звезды ведут хоровод, направь наше оружие! Кто может усомниться, кто может подумать, что Пречистая Матерь и Сын ее на этом знамени, под которым мы сражаемся, — не пошлют нам победу!

Входит граф Арманд.

Арманд. Тот, кто знал одну любовь, кому сияли нежные очи, кого, вспыхнувшего восторгом, целовали любимые губы, чье пылающее сердце впивало лучи любви со светлого неба, тот сегодня вспомнит всё это в яростной гуще схватки.

Дагоберт. Друзья, товарищи, братья, благородные воители, знамена развеваются на ветру, летнее синее небо так ясно и знойно, как будто этот чудесный день вручил себя нам. Вперед, во имя Божье! Там, за стенами, защитой нам будет только Дева с Младенцем, сердце бодро ликует, все желания кипят, нас называют борцами и защитниками. Вперед, французы! Покажите храбрость ваших сердец, для которых опасность, кровь и смерть — лишь игра, — для мужественных римлян есть одно страдание — не чувствовать боль побежденных ран, могучий дух испанцев только посмеется над ужасом этой битвы, и в море сверкающих мечей остудят свою неутолимую страсть Англия и Прованс.

Уходят под звуки марша.

Входит Арнульф.

Арнульф. Вокруг вьются знамена, на них ангелы, раскинув золотые крылья, поражают зло, как бодро звучат трубы, рожки, и воинственные валторны, я вижу, как христианство идет к победе, воодушевленное праведным гневом, идет, чтобы сразиться с самим сатаной и его воинством. Скоро

сражение будет выиграно, и отовсюду зазвучат гимны, псалмы, зашелестят святыя пальмовые ветви, святой Дионисий взглянет с небес и возрадуется в упоении, он увидит, что язычники стали новообращенными братьями во Христе, и возрадуется он, как жнец колосающегося поля. Я же удаляюсь в пустыню, в затишье сладостного одиночества, чтобы вся полнота небес предстала мне в дыхании Любви, которое дышит в шелесте деревьев, в нежном говоре ручьев, и предстал лик Всевышнего в камнях, утесах и волнах потоков. Тогда я снова узнаю вас, деревья лесов, которые давали мне утешение, когда я, по обыкновению, проводил жизнь среди вас в молитвах и созерцании, там еще звучат песнопения, которые я певал когда-то, чтобы теперь, услаждаясь, следить в отзвуках витание духов над моей главой.

Уходит.

Клеменс, Сюзанна, Клаудиус, Беата выходят из дома.

Клаудиус. Прощайте, отец, мать, пусть счастье и благополучие пребудет с вами обоими.

Сюзанна. Будь счастлив в твоей новой семье, и чтоб я скоро увидела внуков.

Клеменс. За этим не станет, будьте только веселы, и ваши желанья исполнятся. Простите только, что у нас дома не будет гулянья — война неподходящее время для свадьбы.

Беата. Все устроилось как нельзя лучше, вот только одно — мы живем в самом городе, и сейчас там спокойней; а ваш дом почти в поле, и шум лагеря мне не нравится.

Клеменс. Я сейчас должен все лучшие помещения превратить в женскую половину, для прекрасной дикой турчанки, которая скоро войдет сюда как невеста, и для нее мой сын уже пригласил двенадцать пажей, которые будут у него на службе, и будут составлять ее свиту. Он хочет похитить ее во время сражения.

Беата. Если ему именно так и удастся сделать, это будет такое везение, какое никому еще, как говорится, не выпадало на долю. Но все-таки когда-нибудь он сломит себе шею. Ну, прощайте, дорогой свекор!

Клеменс. Что он может, что он в состоянии — то он совершил, но сейчас вместо деяния у него только воля, мой сын исполнит всё, что выходит за пределы даже моих возможностей. Пусть будет на вас благословение неба.

Все уходят.

Входит Гумпрехт.

Гумпрехт. Париж, прощай! Ты не потерпел в своей среде человека, который чего-то, право же, стоит! Тебе, а также госпоже Беате придется еще в этом раскаяться, когда я уже буду на чужбине, а здесь будут хозяйничать хлипкие и ничего не знающие лодыри. Что ж, нет пророка в

своем отечестве! Адъё, Париж! Я хочу теперь посмотреть мир, ведь хорошие женщины есть повсюду. (*Уходит.*)

Флоренс, Марсебилль, Роксана, Леалия.

Флоренс. Мы добрались благополучно, нас несли добрые волны, на всех мы покачались, пока плыли сюда. Покинул ли тебя твой страх, исчезла ли твоя робость?

Марсебилль. Ах, любимый, твоим вопросам, твоим губам, твоим взглядам, этому страданию, этому восторгу, я не могу дать никакого ответа. Только мое желание, только моя влюбленность, и то, что я теперь твоя, и твоя жизнь — это моя жизнь, — вот то, что одно остается. Ты теперь со мной расстанешься, вдали я слышу бушевание схватки, и, чтобы успокоить дикие призывы труб, которые кличут тебя на помощь, ты не замечаешь моих желаний, не замечаешь этих вздохов, этих слез, которые текут по моим щекам, как ни расцветали здесь для тебя взгляды и поцелуи, ты сейчас тоскуешь по убийству. Ах, я должна воображать в жестком страхе, как заостренная стрела, пущенная из татарского лука, пронзает твою грудь; пусть тогда стрела громовержца сразит раньше мою полную ужаса жизнь.

Флоренс. Не отчаивайся и не страшись, твоя любовь меня защитит, когда громоздятся опасности, оставь слезы, оставь жалобы. Ангельские сонмища призывают меня отважно броситься в битву, святые сохраняют меня, и та, что выносила во чреве нашего искупителя, который ради нас сокрушил оковы ада, — она защитит меня от опасности.

Марсебилль. Ах, непривычными устами я вознесу молитву ее Сыну, чтобы Его свет сопровождал тебя, чтобы Он окружил тебя своим сиянием, и сохранил тебя от ярости врагов, и был тебе самым надежным щитом. С тех пор, как я исполнилась Веры, и могла чувствовать ее в своем сердце, — улыбки детей и их игры, — для меня сладостный лик божества.

Флоренс. С верой и упованием да будет твое сердце Его престолом. Молись возлюбленному Сыну и божественнейшей из жен.

Марсебилль. Будут ли твои глаза всегда смотреть на меня с такой любовью, ибо вчера в вечернем сумраке я отдала тебе сердце, душу и тело, как невеста и жена, — и ты не будешь ли теперь презирать меня?

Флоренс. Прекрасная, сладостная, единственная, смотри, как, пораженное твоими словами, мое сердце открыто предается скорби, как я плачу, произнося эту речь. Нет, клянусь светом солнца, светом небес, светом ясным, святым сонмом ангелов, любовью, которая во мне пылает, — только смерть сможет нас разлучить. Прощай, да сохранил тебя Господь.

Уходит.

Марсебилль. В поле бушует битва, уже ожидающая перелома, там, где сражаются победоносные христиане, — там рдяные кресты на знаменах. Как неудержимо рвется кровь пролиться в сражении, гнев встречается грудью с гневом, оружие торжествует в триумфе, и железо показывает

свою алчную мощь, так ненасытно оно охотится за плотью и кровью, с жадным гневом пожирает свой обед. Ах, багровое солнце, скажи, когда придет прохладный вечер? Повеют ли твои мягкие ветерки, освежая, здесь на меня? Когда колышется в перешептывании деревьев нежный аромат цветов и речные струи поют, как музыка, волны звучат, как арфы, и между этим его слова райскими звуками наполняют слух. Порывы и робость, желание и изнеможение, приносились в жертву, воспламенялись, — для того чтобы он познал полноту любви, готовой жить и умереть для него. Из прелестных далей доносилось щелканье соловьев, которые посылали в вечерние сумерки свои тоскующие трели, и эти трели долетали, не умолкая, в них звучало томление, они были как темные гроты, полные прохладных теней, и душа, такая страстная, такая любящая, такая страдающая, словно входила в покойную прохладу, словно отдыхала среди кротких теней. Это окружало нас, словно шатер, полный животворного бальзама, и мы еще влюбленнее, еще крепче, еще ненасытнее обнимали друг друга. Ах, какое мне все теперь чужое, мой супруг далеко от меня, я не верю водам, цветам, птицам, которые сейчас поют, и духам в глубине сердца, которые так бодро взмахивают крыльями. Ты не вернешься ко мне больше? К чему тогда весь этот трепет, эти страхи? Да, я охотно и радостно умру, ибо высшее, единственное, всё, что и жизнь, и земля, и божество, щедро наделяют дарами, воплотилось для меня в его любовь, и я смогла сказать ему, как я его люблю; смерть, пожелай, чтобы мы умерли вместе.

Уходит в дом.

Леалия. Блаженная жизнь, блаженная смерть, — о, когда же наконец дыхание, мысль, желание и слово расплавятся, как золото, в общем тигле страсти!

Уходит.

Роксана. Как розы каждое лето возвращают свою красу земле, как снова и снова пчелы находят сладкий корм в цветах, как утренняя заря никогда не замедлит вновь расцвести небо, так и возлюбленный с радостью возвратится к возлюбленной.

Уходит.

ПЯТЫЙ АКТ

Поле, лагерь, шум сражения

Флоренс, Бертран.

Бертран. Сейчас время тебе возвратиться окончательно, чаша весов колеблется, то христиане победно ликуют, то победа, дрогнув, перелетает на сторону язычников.

Флоренс. Мое сердце неистово бьется, панцирь мне тесен, сейчас мы ринемся с тобой в самую гущу схватки.

Входит король Дагоберт.

Дагоберт. Отведите Понтифера немного в сторону. Мой Флоренс, мой любимый, сейчас дикий неистовый султан наскочил на меня, едва увидел меня на этом коне, — громко треснуло копьё, и он пробил мой щит, я едва сумел устоять против такого чудовищного натиска, но затем кони стремительно бросились друг на друга, его конь оказался с силой сбит на землю, и Понтифер ухватил своего бывшего хозяина и яростно швырнул его далеко в поле.

Флоренс. Сейчас становится враждебным язычникам всё то, что сначала было их надеждой, роскошью и подмогой. Прощайте, мой король, отдохните здесь.

Уходит с Бертраном.

Дагоберт. Как храбро ворвался он в гущу врагов, он разбил их ряды, и знамена дрожат, да, языческие знамена, они пятятся, они бегут! Ага, вон оттуда начинается на нас новый натиск, поток врагов врывается в ряды англичан, их крики звучат все ближе и яростней, им навстречу устремляются римские знамена.

Входит Арлангес.

Арлангес. Срывайте знамена с крестом! Топчите их ногами в знак презрения! Магомет — единственный великий и могущественный бог! Ага, это король! Ты должен пасть, твоя голова станет моей добычей! Наш султан упал с коня и ты сказал ему насмешливые слова, так пусть же твоя корона и твое величие будут наградой моей победы!

Дагоберт. Умолкни, предатель, твои угрозы пробуждают во мне гнев и отвагу. (*Бьются*)

Арлангес. Где теперь твой защитник, твой краденый чудо-конь? Эй, сюда, моя свита, напирай на него, — ведь он без щита и без шлема и из-под его панциря потоком струится кровь.

Входят язычники.

Дагоберт. Дионисий, с высоты твоего престола поспеши мне на помощь, услышь возносимую мной мольбу! Кто украсит твой храм, кто покроет убранством собор, кто поставит священников, поселит монахов, кто даст зазвучать под сводом сладостным звукам вечерни и молитвенных часов, исполняемых созвучным хором, если язычники меня одолеют и я паду в поле мертвым?

Входит Флоренс.

Флоренс. Назад, назад, собаки! Боже, защити короля! Все святы, спасите корону Франции! Через мой труп вы теперь найдете дорогу к его голове!

Арлангес. Прочь! Прочь! Бежим от этого дьявола!

Все разбегаются.

Флоренс. Ваше Величество ранены?

Дагоберт. Благодарю тебя — ты спас мою жизнь и мое государство. Я уйду, вернусь, когда утихнет кровавый ток.

Уходит.

Флоренс. О Марсебилль, твой образ витает предо мной!

Уходит.

Входит король Эдвард.

Эдвард. Струсившая дружина побегала, наше знамя отступило, но, трепеща моего гнева, они вернулись в бой. Мои красные латы вдвойне покраснели от крови, кто, опьянев от битвы, может испугаться опасности и смерти? Лучшее вино жизни струится по полю брани, люди черпают золотую волну шлемом и сверкающим щитом, и, пока мы весело пируем, звучат голоса труб. Освежая переполненное сердце.

Уходит.

Входит Октавианус.

Октавианус. Пыль сражения вздымается и опадает, как облака в летнюю грозу, то вздымается, наводя страх, к багровому небу, то порыв ветра снова отгонит ее, так и сама битва вздымается и опадает; кто смел и честен, может смотреть опасности прямо в глаза; но меня страдания войны угнетают, и вялая жизнь становится еще безрадостней. Часто я думал: вот эта стрела, пущенная тугим луком, должна найти мою грудь, мое израненное сердце и прекратить эту жизнь, раскаяние и скорбь! Но волны смерти меня минуют, и продолжают раскаяние, горечь и сознание греха язвить мое онемелое сердце.

Входит Султан.

Султан. Не тебя ли я вижу, проклятый христианин, который, в неистовстве, так бешено моих друзей и приближенных подверг кровавому избиению? Ты и тот яростный дьявол засеяли поле немалым числом благородных тел; но теперь я продырявлю тебя моим копьем!

Октавианус. Твоему бешенству и твоей злобе с презрением будет дан отпор. Ты, поверженный на землю врагом, попробуй теперь сразиться со мной.

Султан. На этот раз ты не ускользнешь, тебе не избежать темницы или смерти.

Октавианус. Как будет угодно небу, хвала ему во веки веков.

Султан. Смотри, как мой яростный меч сбивает шлем с твоей головы, — теперь ты у меня в руках. Умри, проклятый!

Октавианус. Прощай, жизнь, прощай, мой друг Флоренс, который любит меня как сын.

Входит Флоренс.

Флоренс. Я слышал, как ты звал меня по имени. В какой крайней опасности я нахожу здесь тебя! Эй, могучий воитель, повернись ко мне, Султан Вавилона, ты будешь моим пленником!

Султан. Проклятый злодей, ты заплатишь за свою дерзость; но сейчас я не буду сражаться, ибо ни один человек не может драться с тобой, — ты заключил договор с адскими духами. (*Убегает.*)

Октавианус. Мой благородный юноша, ты второй раз спас мне жизнь; ты поступил слишком хорошо, ибо спас имущество, которое сам владелец недорого ценит; все же я благодарен тебе, — позволь тебя обнять, теперь ты стал мне дорог, как сын.

Флоренс. Смею ли я сказать: «отец!» Такому благородному человеку!

Октавианус. Мой любимый! Пусть твое мужество получит и толику благоразумия: я никогда не видел столь ожесточенной сечи, ты же ведешь себя так, как будто тебе не жаль расстаться с жизнью; как будто для тебя радость — пасть в этой битве; небо хранит тебя, ты даже пока не ранен, однако сейчас отдохни немного.

Флоренс. Мой благородный господин, как я могу отдыхать? Сегодня день, когда мне выпало доказать, что я достоин принадлежать к рыцарскому ордену, милость моего короля придает мне силы, сегодня жаркий день, — жаль только, что он быстро проходит, в этот день я могу показать, что я — христианин. Сегодня день, когда мне даровано судьбой в этом ужасном сражении добыть мое счастье, мое высшее благо, которое эта битва, подобно льву, с окровавленной пастью ищет отнять у меня; мы должны укротить этого свирепого зверя, дабы он послушно лег, ласкаясь, у ног нашего короля, и пусть это чудовище принесет нам прочный мир, когда мы его пасть взнуздаем крепкими удилами. Но возвратимся в бой. Вы видите отважные деяния английского короля, который сражается во главе своей дружины? И как знамена мужественных испанцев врезаются в гущу врагов? С какой смелостью граф Арманд бросается в битву? Как французы, подобно дельфинам, режутся в бушующем море крови? Поспешим же туда, и на сей раз я буду неразлучен с вами, — я не знаю чувства, подобного тому, которое привязывает меня к вашему взгляду, к вашему благородному облику. Так пусть же мой обет верности пребудет с вами, как и моя любовь, и ни одна языческая сабля не ранит вас, если она прежде не поразила меня, пусть и плен и смерть будут для нас общими.

Уходят.

Входит король Родрик.

Родрик. Как отважный сокол неустрашимо свершает свой стремительный путь в воздухе, и, пораженная его ударом, падает окровавленная цапля, — так и враг, лишившись мужества, давно бы уже обратился в бегство, если бы его не поддерживали новые полчища, сражающиеся с новым пылом; само небо помогает нам их отразить и одержать полную победу.

Входит Лидамас.

Лидамас. Отряды смешиваются, рассыпаются, и несчастье пробивает брешь в боевых порядках язычников, через которую убегают счастье и победа. Вперед, почитатели Магомета, покажем, что мы сильнее христиан, или же нам придется отпасть от нашей веры и признать чужеземного бога!

Родрик. Сделай это, мерзкий язычник, и тебе будет пощада.

Лидамас. Я долго искал тебя, потому что твой меч пролил много благороднейшей крови героев и твое хвастовство непереносимо.

Родрик. Ты тоже поцелуешь землю!

Лидамас. Ни слова больше!

Уходят сражаясь.

Входит граф Арманд.

Арманд. Победа досталась нам. Уже день клонится к закату, и прохладные сумерки веют на поля, и заходящее солнце скоро бросит алый отблеск на изумрудные травы, так закатывается счастье врага, и поля окрашиваются кровью умирающих язычников. Но как опять сшиблись в схватке полки! Вот Октавианус в самой гуще битвы, он в плену, и Флоренс вместе с ним! Язычники уводят их как добычу. Они погибнут, если я сейчас же не догоню их и не возвращу свободу обоим героям.

Уходит.

Входит султан со свитой.

Султан. Через эти раны вся моя кровь может вытечь — и с нею жизнь. Возвращайтесь в битву, меня же оставьте отдохнуть здесь, в шатре, я вернусь скоро, когда вернется ко мне мой гнев и мой боевой пыл. Возвращайтесь и умрите со славой или же, как я, красуйтесь в ранах!

Входит рыцарь.

Рыцарь. Господин, твоя возлюбленная дочь Марсебилль исчезла, — говорят, что она дерзко похищена тем смельчаком, — она уже в воротах Парижа, как ты собираешься ее вернуть?

Входит быстрым шагом Арлангес.

Арлангес. Господин, все полчища разбежались, могущество Магомета пало, и бледный страх охватывает тех, кто еще держится в битве; ибо вместе с огненным блеском заката, когда ручьи крови стали гуще и

горячей, — облака заблестали и целое море пурпура с неба снизошло на равнину, как покрывало, и тогда ясно увидели храбрейшие из нас, женский лик в сиянии заката, она спокойно и несокрушимо стояла с младенцем на руках, — и все воины, узревшие ее, обратились, смятенные, в бегство, словно волна увлекла за собой наши народы.

Входит Лидамас.

Лидамас. Господин, все погибло, этот бедственный час уничтожил твое великое войско и потряс до основания твой трон и нашу веру. О, внемли небывалому чуду: когда мы сражались, грудь с грудью, ободряя друг друга, вдруг мы увидели, на нашем правом фланге появился необычайный отряд врагов; он стройными рядами спустился с высот Монмартра, их одеяния блистали белизной, и еще ярче сияли их лики, словно то были неземные духи, с их уст слетало пение, от которого все мы содрогнулись, и страх объял все наше войско. Они подняли лучезарные щиты, и, словно молнии, разили нас, нанося бесчисленные раны; многие были убиты; и никто не знал, кто они такие; и бледный ужас преследовал нас. И вот эти ангелы смерти разом ударили на нас; всё огласилось дикими воплями, как на загонной охоте, и лишь временами сквозь этот гам пробивалось их грозное пение. Беги с нами, господин, — они приближаются, беги, спасай себя из пасти смерти.

Султан. Да, я пускаюсь в бегство, и пленные будут искуплением моего гнева. Их свяжут крепко и надежно, их будет много после нашего похода, а мы убежим за море, но многие найдут самую худшую смерть, — в муках, медленно расставаясь с жизнью. Вот этой острой секирой я разрубаю твою дорогостоящую башку, Магомет, за то, что ты выдал меня этим собакам; возьми ее вместе с туловищем, и больше ты не получишь от меня никаких почестей, — нет, я пойду искать других, лучших богов, которые в ответ на усиленные мольбы охотно обратили бы свое лицо ко мне; тебя же, одетого ради позора в тряпье, я буду показывать на рынке всему народу, мошенник! (*Все убегают.*)

Входят король Дагоберт, король Эдвард, король Родрик, свита.

Дагоберт. Пусть враги убегают в свое отечество, мы же обратимся к кресту и алтарю, и с благоговением преклоним колена, и вознесем наши молитвы к небу, утешение, услада, радость и упоение расцвели для нас, как цветы среди мертвых руин; этот сладостный восторг пронзил нас молнией, нас, защитивших алтарь и святую Церковь.

Все уходят.

Сен-Жермен, лужайка

Хорнвилла (*один*). Во всем городе ужасный шум. Вот идет один и говорит: сражение идет так-то. Нет, кричит другой, заскочивший

в ворота, — их самочувствие совсем не такое, они пребывают в добром здравии, пьют кровь бочками и, опьянев, шатаются здесь и там, и все ненасытнее, все безудержнее влекутся к этому красному вину. Но тут является другой вестник и вопит: я только что щупал им пульс, они при последнем издыхании, они выпили лишнего, они не в состоянии держаться на ногах, наш милостивый король Дагоберт только что дал им последнего пинка и после нескольких трепыханий с ними будет совсем покончено. Тут являются патриоты и начинают ликовать.

Клеменс выходит из дома.

Клеменс. Вы не слышали новость? Сражение уже выиграно, и все позади.

Хорнвилла. Соломенная башка, нашли, о чем спрашивать!

Клеменс. Я узнал об этом без вас, мой дурачок.

Хорнвилла. Взаимно, ваша заплесневелая, заржавелая, мышами проеденная Разумность, ваша дырявая, с чужого плеча Приветливость, ваша унылая и одышливая Веселость, ваша мещанская уютенькая Вольнодумность.

Клеменс. Бранись, бранись, это — твоя привилегия, тебя за это никто не тронет.

Хорнвилла. Вы только и говорите о войне, о слухах о войне, о государственных делах и опасностях, подстерегающих в жизни, после того, как украли эту облезлую лошаденку с рогом на носу.

Клеменс. Как замечательно идет шутовской колпак к вашим речам.

Марсебилль, Роксана, Леалия выходят из дома.

Марсебилль. Мое горе, мои слезы и мой трепет не позволяют мне более оставаться в доме.

Леалия. Ты подвергаешь опасности собственную жизнь, ты слишком предалась напавшей на тебя скорби.

Роксана. Может ли небо послать тебе утешение? Смотри, закат уже одевает верхушки деревьев.

Марсебилль. Ни небо, ни земля, ни закат, ни деревья. Слышите?! Утешительно режут трубы, возвещающие победу!

Входят король Дагоберт, король Эдвард, король Родрик, солдаты.

Марсебилль. Приветствую тебя, король, как победителя! Скорей скажи мне, где мой Флоренс!

Дагоберт. Он отстал от нашего войска, я думаю, он скоро отыщется здесь, рядом с тобой.

Марсебилль. О горе мне, несчастнейшей! Зачем я родилась?! Ветры, развейте мою злосчастную жизнь!

Дагоберт. Как он от нас отстал? Где его искать? Знает о нем кто-нибудь, мои дорогие?

Арманд. Император Октавианус захвачен в плен, и с ним Флоренс, отважный юный витязь, я стремился освободить их обоих, и преследовал язычников по пятам, но смертный страх, и ужас, и отчаяние гнали их прочь без оглядки, испуг подхлестывал их огненным бичом, и они скрылись со своей бесценной добычей, недоступная даль стала им защитой.

Марсебилль. И вы могли допустить, чтобы юный герой, который убил ваш страх, который изгнал кручину и отчаяние, мучившие вас, который не щадил ради вас своей крови, которому битва была как поляна цветов, где он срывал головы, как розы, окунался в кровь, как в купальню, который с надлежащим смирением и любовью охранял тебя, король, обрел жизнь в твоей жизни, а счастье — в твоей благодарности, который украшал собой рыцарство и облагораживал оружие, — и вы могли его, который добыл для вас победу, — вот так оставить?! Если бы он был среди павших! Вы бы оплакали храбреца, и его смерть была бы овеена славой; но нет же, он в плену! Если вы можете воздать за любовь, отблагодарить за полученные дары, если вы великодушны и проникнуты христианскими чувствами, быстрее поворачивайте коней и во весь опор скачите через поле битвы, через горы, скалы, широкие реки и не возвращайтесь в Париж прежде, чем вернете ему свободу.

Дагоберт. Да, клянусь Богом, благородная госпожа, вы говорите истинную правду. Повернем наших коней, вновь развернем знамена, и отобьем пленных у язычников — или же умножим число погибших! Император мне тоже дорог, и, если они пострадают, — победа не принесет нам славы, но вечный позор.

Марсебилль. Я отправлюсь с вами. Подайте мне шлем, щит, копьё и латы.

Леалия. Посмотри на этот шлем, он ярко сияет на солнце, я водружу его на твои локоны, золото теперь отражается в золоте. И твой взгляд сверкает еще смелее царственным гневом и мужеством.

Роксана. И я закрываю твою прекраснейшую грудь латами, золочеными, чудной работы, сияющими рубинами и алмазами, ты будешь прекрасна и грозна, внушать восхищение и ужас.

Леалия. Возьми своей белоснежной рукой этот щит на позолоченной перевязи, как ты его всегда носила, как вскидывала его на руку, чтобы горные ущелья оглашались звуками битвы.

Роксана. В правую руку прими копьё, золотое внизу, обитое медью вверху, эту смертоносную, несокрушимую, боевую пику, теперь ты носишь в руке сокрушающую небесную молнию.

Марсебилль. Я часто бывала в таком убранстве, когда охотничий рожок звал меня на ловлю, туда, где в лесистых ущельях скрывались львы и тигры. Вперед, мои смелые ловцы! Следуйте все за моим скакуном,

дайте волю гневу и мужеству, псы войны, оставьте привязь, ибо вам надлежит преследовать чудовище, которое похитило у меня всё — и жизнь, и сердце, все стремления, все желания. Не допусти, добрый Бог христиан, чтобы мне первым встретился мой отец, и я сразила его, — или он меня, — в предстоящей битве. Об этом я смиренно умоляю Тебя во имя Твоего Сына.

Дагоберт. Веди нас, воительница, ведь у тебя и султан на шлеме, и застежки, и каждый самоцвет сияют счастливой отвагой, твои ланиты пылают, как розы, и не знаешь, — то ли богиня войны, Беллона, предстала пред нами, то ли Венус нам явилась.

Уходят.

Хорнвилла. Давайте и мы тоже отправимся в поход, смотрите, я даю Вам руку.

Клеменс. Не подобает пожилому бюргеру отправляться в поход с шутом.

Хорнвилла. Оставьте эти причуды, не подобает следовать предрассудкам такому благородному человеку, у которого голова всегда на месте.

Уходят.

Поле. Лагерь

Фелицитас и Лев.

Лев. Мы уже добрались до цветущих лугов Ломбардии, и, мне кажется, что ты с глубокой тоской глядишь на долины, леса и поля, словно бы неслышная роса воспоминаний нежно выпадает из этого воздуха; и во мне очертания этих гор, журчание вод, прохлада лесов пробудили боль страстной тоски, и чувство благоговения.

Фелицитас. О возлюбленный сын, всё это — прекрасное окружение моих детских лет, когда в горах каждую весну рождался из зелени лесов и разливался ветерок, и так нежно ласкался к моей груди, что, казалось, его рождает влюбленные взгляды звезд, ибо утраты мне были тогда незнакомы, как и томительные страсти, которые сердце должно переживать в одиночестве. Мой отец был так изнежен, что, стоило подуть ветерку, он начинал браниться; он не мог встать босой ногой на что-нибудь жесткое; когда же он, не прячась от меня, нагим грелся на солнце, я не возвращалась домой, пока на вечернем небе не показывались звезды. К тому же он слабодушно мучил свое сердце множеством печалей; и мое имя слетало с его уст всегда со вздохом. Детские годы и золотые деньки, когда время беззаботно резвилось вокруг меня, ушли навсегда. Тогда я любовно ухаживала за садом и цветами, и думала только об одном: было бы завтра похоже на сегодня. И вот в мое сердце прокралась грусть, и тоска, и радость, и неведомые предчувствия, и весна поблекла, знакомое и близкое стало чужим, без-

заботные шутки упорхнули от меня, я искала прошлое, — и увя! не нашла его нигде, все, что было таким ясным, исчезло для меня без следа. Тогда и приехал твой отец, и его светлый взор чудесно проник в глубины моего существа, тогда пробудились скорбь, радость и восторг; духи любви, покойно дремавшие дотеле, поспешили прийти по невидимому мосту и стали рыдать и взывать о помощи, и слетелись нежные слова и успокоили бушующие волны. Но мы снова такие, как когда-то! Когда лес и ручей звали меня и стремились мне навстречу, весна возвращала себе своей блеск, лепестки цветов ниспадали мне на сердце, я вновь приветствовала поле и сад, плакала от этого благословенного избытка, и все ручейки журчали о любви, и то, что было прекрасно, давало еще прекраснейший цвет. Он отправился на охоту, в прохладный лес, он сел рядом со мною у серебряного ручья, и лесной напев, звучащий неумолчно в этой тени, мы слушали как напев нашей любви. Усталые, мы испили воды из ручья, затем прилегли на мягкую траву, в этой уединенной тиши, где сияние солнца рассеивалось в мерцающем полумраке, насадили мы рощу нашей любви. Но скоро нас охватил страх за нашу любовь, — мы больше не желали прятаться в тени лесов, — и вот желанный день настал, и в Риме я назвала любимого супругом. Ах, волны счастья, куда вы унеслись? Где вы теперь, лужайки нашего блаженства? Обломан весь стоит сад моих роз, и шипы искололи мне сердце. Там роща, куда я так часто приходила, там высится гора, с которой я озирала просторы вокруг, здесь поле, где ветерок обвевал мне лицо, приводя в восторг, там мы в первый раз заключили друг друга в объятия, и его поцелуй словно бы оторвал меня от самой себя. Теперь я проливаю слезы, ибо столько лет уже прошло со времен моей молодости.

Лев. Так быстро мчатся дни, и месяцы, и годы. Минувшее, ты опустошаешь нашу жизнь! Сейчас вокруг нас безоблачно сияет солнце, и вдруг разом обнимает нас непроглядная ночь. С детской резвостью сбегает ручей, с горы, украшенной цветами, и вот он вытекает на болотистую пустошь и еле струится, забытый в одиночестве.

Входит Рихард.

Рихард. Что это за лагерь, каких благородных воителей я столь неожиданно нашел на этом мирном поле?

Лев. Кто ты такой?

Рихард. Я иду из Парижа, там в злосчастной и кровавой битве благородный король Дагоберт подвергся натиску неисчислимых язычников, и теперь он наверняка погиб, потому что в этой схватке я и мои товарищи должны были уступить врагу поле битвы, ибо вражья рать была непобедима, и даже самые храбрые из нас отступали.

Лев. Тебе больше подошло бы и погибнуть вместе с королем на поле боя; но то, что ты пришел как вестник, принесло мне пользу. Вперед,

к Парижу, на помощь благородному королю! И эта отборная дружина, которую я взял у Балдуина и веду, спасет его трон или поляжет в бою.

Уходят.

Лес, шатер

Султан и свита.

Султан. Да, здесь мы можем передохнуть в зеленой прохладной тени, хотя наши враги и храбры, они не погонятся за нами так далеко; здесь я смогу залечить свои раны и успокоить жгучую месть, исполнив свою угрозу; сегодня днем я сам умерщвлю обоих мерзавцев и моя воля умиротворится. Но как называется эта страна?

Рыцарь. Плодоносная, полная очарования и цветущая, дарящая вино и благородные напевы, она именуется — Прованс. Эта долина славится повсюду, как и эти лесные уголья, где с обрывистых гор повсюду ниспадают ручьи, и соловьи наполняют округу своим пением.

Султан. Как прекрасны эти деревья, я вижу, как жизнь играет на этих распростершихся сучьях, и нежные сны слетают сверху в эти прохладные уголки, где извиваются ручьи. И многочисленный птичий хор смешивает свое пение с чарующим эхом, доносящимся от нависающих скал. Но я должен думать о мести. Прочь, изнеженные мечты! Что мне зелень и эти деревья? Все мои радости увяли и потонули в пучине моего горя, моя боль переполняет меня скорбью. Вся красота, которую я вижу, говорит о потере. Сейчас я — судия. Приведите сюда мерзавцев, пока я схожу в шатер.

Вводят связанного Флоренса.

Флоренс. Моя смерть близка, но я не могу содрогаться, я думаю только о ней, единственной, которая в сладостной прохладе вечера отдала мне себя — всю, без остатка. Там я нашел впервые полноту своей жизни, в этом любовном, глубинном союзе, губы желали лепетать: «я твой, ты моя», и все замолкало в поцелуе. Розы и лилии, и другие прекрасные цветы источали аромат, соловей разливался пением, воды мелодично журчали, ради этого мне даны эти часы моей славы, и смерть приближается ко мне, чтобы я сильнее ощутил высшую жажду жизни.

Вводят связанного Октавиануса.

Октавианус. И вот я приведен к рубежу моей жизни, теперь только я искуплю старое прегрешение, я умер бы радостно, если бы мое несчастье не затронуло бы тебя, кого я так нежно люблю.

Входит султан с топором палача.

Султан. Теперь вы мне должны все искупить, — все злодеяния, все несчастья, которые вы мне причинили, вы насытите мою месть, вы оба мне заплатите. Прежде всего ты, юный дьявол, я могу назвать тебя

так, ибо человек не в силах совершить столько злодеяний, ему не хватит сил; во-первых, ты убил моего брата, моего адмирала, во-вторых, могучего Аламфатима, наконец, самого короля-великана; ты послал украсть у меня моего коня, Понтифера, благороднейшего и драгоценнейшего, ты похитил мою дочь и обесчестил мое любимое дитя, и вместе с этим стариком принес мне много бед в сражении, поэтому я вам обоим отсеку головы этим тяжелым топором, как должен быть поступить с моим Магометом, которого я так долго почитал; а посему ожидайте удара и будьте готовы к смерти.

Входит быстрыми шагами Арлангес.

Арлангес. Господин, помедли немного в своем справедливом гневе и прости своего слугу, ибо от полей в сторону леса летят клубящиеся облака пыли, воины ли это, враги ли это, — я пока не могу тебе сказать, но впереди скачет женщина, блистая оружием, само же множество еще неразлично.

Султан. Может быть, это — враги, убийцы, но я сначала отрублю эти гнусные головы, потом пойду и сам посмотрю на тех врагов.

Входит Лидамас.

Лидамас. Великий султан, услышь невероятное известие, услышь о случившемся ужасе, — наши рыцари заметили и наши слуги увидели, как со стороны поля приближается какой-то отряд в белых одеждах, ярко блистая оружием, и вот они уже в лесу вдруг напали на наши шатры, один среди них особенно яростен, и никто не может ему противостоять, и все твои воины уже обратились в бегство, в которое обратил их этот неизвестный, и он дико бушует повсюду, и ему служит грозный дикий лев, — который растерзал и разметал целые полчища, пытавшиеся ему сопротивляться, и теперь в лесу блистают кровавые ручьи и красные озера. Что нам делать? Видно, небо гневается и отовсюду посылает гибель.

Султан. За мной! Вот эту секирой я отражу это несчастье, покараю их всех или же погибну в сече.

Все уходят.

Октавианус и Флоренс остаются одни.

Я слышу вдалеке звуки битвы и воинственные крики, — они уже сшиблись, лес и горы испуганно вторят своими отзвуками звону мечей.

Октавианус. Мне сейчас вспомнился давнишний сон: мне часто снилось, как в густом лесу я очутился, чувствуя беду, вокруг меня беспорядочно шумели ручьи, раздавались чьи-то голоса, щебетали неизвестные птицы, с гор доносилось эхо, — я был удручен и беспомощен, и вдруг, как солнце из-за туч, вбежала Фелицитас, смеясь сквозь слезы, и возвратила мне прежнее счастье.

Входит Фелицитас.

Октавианус. О сон, как сладостно ныне для меня твое продолжение, — вот она пришла, храня верность в любви, — она развяжет те узы, которыми я опутан, она приведет этот прелестный сон своими поцелуями, слезами, вздохами, смехом к счастливому пробуждению.

Фелицитас. Здесь христиане, одни и связаны? О, милосердное небо! Или меня обманывают сны, часто приходившие ко мне в дальних странствиях?! (*Падает на колени*). Мой Октавианус! Мой повелитель! Мой супруг! О, эти бесценные руки! Ужели я могу покрыть их поцелуями и развязать эти путы? (*Развязывает пленников*.)

Октавианус. Фелицитас, ты — сладостное видение, так в нашем невинном детстве играют летние ветерки, раскачивая волны цветов, и поднимают наше сердце к облакам, чтобы оно купалось там в лазури. О, как мне хорошо! Жизнь плещется во мне, как золотая рыбка в озере, когда она, играя, мечет к солнцу сверкающие прохладные капли.

Фелицитас. О, мой супруг! Неужели мы снова нашли друг друга? Почему твои руки так недвижны? Какие путы их связывают? Или ты отвергаешь меня?

Октавианус. Нет, не буди меня, пробуждение будет слишком горестным.

Фелицитас. Ты не хочешь узнавать меня? Ты столько лет хранишь ко мне враждебность, а ведь твой взгляд полон доброты.

Октавианус. Если ты — не сон, то поцелуй меня, жена моя, — да, это ты, ты наяву, и ты вернулась! О мои руки, обнимите, как прежде, эту бесценную грудь, ощутите биение этого сердца, и всю эту юность, надежды, счастье и любовь, что некогда из этих очей струились, как из родников, когда с этих уст, как золотые плоды, срывались сладостные слова. Пусть в этих слезах омоется мое отчаяние, и моя жизнь выйдет, укрепившись, из этой купели. Ты ли это? Мне ли дано такое блаженство?

Фелицитас. Ты снова меня любишь, и мы снова можем быть вместе.

Октавианус. Смогла ли ты простить мою вину?

Фелицитас. То, что совершает любовь — совершает человеческое сердце. Злой дух изменил положение моего созвездия, когда ты гневался на меня, — всё было сон, теперь мы проснулись и любим друг друга.

Октавианус. О, благородное сердце, теперь я узнал тебя, ты ждала все это время, — на это способен только высокий дух. Мой юноша, сейчас я развяжу твои путы.

Флоренс. Благодарю вас, благородный господин! Как ныне счастье, радость и блаженство сияют в зелени лесов и отзываются в каждом звуке!

Фелицитас. Кто этот благородный юноша? Эти глаза так чудесно притягивают меня, его речь трогает глубины моего сердца. Приветствую тебя, кто бы ты ни был, — ты друг моего мужа, его спутник в несчастье и страданиях.

Флоренс. Я целую вашу прекрасную и добрую руку и тронут вашими приветливыми словами.

Октавианус. А мои дети? Ах, я не должен называть их моими: ибо я недостойн называться отцом.

Фелицитас. Одного я навеки лишилась, другой — тот, кто спас тебя, вот он идет, мой сын, мой герой, мой бесценный Лев.

Входит Лев.

Лев. Мать, мы одержали блестящую победу, они разбиты, и их повелитель пленен.

Фелицитас. Сегодня нам помогают все силы небесные. Вот он стоит, жив, здоров и со мной рядом, — Римский император, мой супруг и твой отец.

Лев падает на колени.

Лев. Мой отец, мой повелитель!

Октавианус. К этому сердцу, которое так неистово забилося при виде тебя, прижмись, мой сын, моя кровь, мое счастье! В объятиях твоих и твоей матери, — какой радости мне останется еще желать?

Флоренс. Чего же ты еще хочешь, беспокойное сердце? Или твоей любви, верности твоей прекрасной невесты, близкого блаженства тебе недостаточно? Какие пустые желания заставляет тебя биться?

Вводят пленных Султана, Лидамаса и Арлангеса.

Султан. Что ты решил сделать с нами, рыцарь? Чтобы тебе провалиться вместе с твоим львом! Он растерзал и сожрал половину моего войска, и я сам в плену! О, злая судьба! Будь проклят тот день, когда я ступил на землю Франции!

Лев. Сейчас ты склонишь свою шею под мой меч, тут же, в это самое мгновение, заплатишь за все злодеяния, которые ты совершил против Бога, христианства и святой Церкви; если только ты сам признаешь Христа и отвергнешь Магомета, тогда ты станешь моим другом, возвратишь себе свободу и трон; я сам доставлю тебя на родину.

Флоренс. Благородный дух гласит устами этого юноши. Оставь ему жизнь, и он станет христианином. Если он это сейчас отвергает, значит, ярость продолжает бушевать в его крови.

Лев. Из любви к тебе я сделаю так, как ты сказал. Но обещай удостоить меня твоей дружбы.

Арлангес. Позволь нам, господин, оставить старую веру, ибо Магомет предал нашу к нему верность.

Лидамас. Уже давно я тайно размышлял о том, как вся благая доля выпадает христианам, нас же несчастье преследует тысячей ударов.

Султан. Ладно! Только переходить в другую веру вдруг, в одно мгновение, — это не в моем обычае. То, что Магомет никуда не годится,

теперь ясно. Но я должен сначала узнать, что значит быть христианином, что христианин думает и во что он верит, к чему направлены его стремления и дела, — со всем этим меня поближе познакомьте.

Лев. Ты должен пройти обучение у священника, ибо не может приобщиться к мистической благодетельности нашей религии тот, кто не приемлет ее толкования и ее духовного смысла, и только оскверняет тайну святости своим земным пониманием.

Султан. Пусть мне будет дано снести все это во имя Божье. Вы же, мои друзья, благородные короли, вы, кто одни только у меня и остались, — вам придется вместе со мной стать христианами, потому что я не хочу приобщаться к новой вере в одиночестве.

Арлангес. Если ты будешь нас вести, мы охотно последуем за тобой.

Лидамас. Мы горим желанием найти свет истины.

Султан. Тогда я могу приветствовать тебя, юный смельчак, как моего возлюбленного сына! Бери Марсебилль с моего благословения, и живите с ней долго и счастливо.

Флоренс. Благодарю тебя! Вот так я приобрел любящего отца. Пусть это рукопожатие скажет твоему сердцу, как искренне я благодарю.

Султан. Полегче, полегче, сынок! Ты без пощады стиснул мне раненую руку, я сначала должен полечиться, тогда моя плоть сможет выдерживать такой порыв любви.

Арлангес. Что за шум слышу я по всему лесу? Звучат рожки, раздаются призывы труб, и грохочет военный барабан.

Лидамас. Сквозь кусты, сверкая золочеными доспехами, скачут всадники, в чаще развеваются пестрые знамена, колышутся перья на шлемах.

Флоренс. Кто мчится так стремительно к белому шатру: женская фигура, так чудно блистающая золотыми лучами своего копья, шлема и лат! Это же она! Возлюбленная Марсебилль! *(Бежит ей навстречу.)*

Марсебилль на коне.

Марсебилль. Это ты, Флоренс?! Живой и невредимый?!

Флоренс. Я твой, — и с нами примирился твой отец. Сойди с коня в мои объятия.

Султан. Возлюбленная дочь, приветствую тебя!

Марсебилль. Я схожу с коня, бросаю меч и щит и сияющий шлем на эту зеленую травку. К чему мне теперь панцирь, прикрывающий грудь? Пусть мое сердце будет беззащитным пред тобой. Я твоя, пусть лишь твоя рука меня обороняет.

Султан. Кто там едет тебе вослед, возлюбленная дочь?

Марсебилль. Все монархи и сам король Дагоберт.

Октавианус. Пойдем им навстречу, любовь моя, они должны разделить мою радость.

Марсебилль. Следуй за мной, Флоренс.
Султан. Я хочу пойти с вами.

Все уходят.

Лев остается один. Входит Леалия.

Лев. Я не пойду за ними. Ибо сладостная гармония движется и звучит в этом теле, когда она ступает, она подобна дыханию страсти, и цветы вокруг, ликуя, вторят этому созвучию. Кажется, что небо снизошло на землю и воплотилось в этом прелестном облике. Я могу только смотреть и, ослепленный, — молчать.

Леалия. Не ты ли это, лесная поляна в цветах, которая вызвала к жизни тот чудесный образ, что следовал потом за мной в моих снах? Словно кара, сладостно постигшая меня? Снова он стоит одиноко в изумрудной тени, львица позади него прячется в кустах, и эта благочестивая важность, и нежность лика, и этот взгляд, — все воскресло для меня.

Лев. Возлюбленная, — так я должен тебя называть, — помнишь ли ты то время в восточной стране? Узнаешь ли ты во мне своего друга, нашедшего тебя когда-то в одиночестве среди чудного леса?

Леалия. Почему мы должны были в тот раз так скоро расстаться? Твой милый образ навсегда остался со мной, это так, — пусть притворство навеки уйдет из моих уст; я думала только о тебе, и только тебя должна любить.

Лев. О, сладостное признание, милые, прелестные слова, не потерпящие никакого обмана! И я должен сказать, — только в тебе мне явлена вся прелесть и грация и, как ручей в своем беге ищет только слиться со своей рекой, и сквозь пустынную тьму пробивается луч восхода, — так только тебя ищут мои воспоминания, и твой рассвет пронизывает мое сумрачное сердце.

Леалия. О тебе одном все мои помыслы, ты — моя собственная, самая глубинная сущность, потому я всегда верна тебе и без колебаний забываю самое себя, чтобы стать всецело твоею.

Лев. Что я должен подумать о такой любви? Каким чистым блеском сияют цветы лилий! О, если бы твое сердце смогло наставить тебя, о, если бы ты сумел почтить божество любви!

Леалия. Уже давно заблуждение покинуло меня, во мне пробудилось новое стремление, и, наконец, воссияла утренняя звезда в моем сердце и рассеяла ночной мрак. Я смиренно приняла желанное учение Христа, и вручила ему мое пламенное сердце, — я буду христианкой, как только мне будет дарована возможность воспринять святое таинство крещения в купели.

Лев. И мы с тобой соединимся в вере. Что тогда сможет разлучить наши сердца? Я счастлив, что обрел единственную, которая будет для меня светочем жизни. О блаженные, святые и мучительные часы, которые я про-

водил в отдаленье, в страданиях и наслаждении, воспламененный тобою и только тебя чувствуя в своем сердце, и устремляясь к тебе всей силою моей тоски.

*Входят Октавианус, Фелицитас, Флоренс, Марсебилль,
Клеменс и Хорнвилла.*

Октавианус. О дивное чудо! Какая новая пора начинается для нас! Какая необыкновенная судьба свела всех нас воедино, столь давно разделенных! Мой Флоренс! Вот почему мое сердце начинало так биться при виде тебя!

Флоренс. О благословенный день, когда я обрел вновь обоих своих родителей, и притом наиболее благороднейших, — отца, столь славного деяниями, и мать, отмеченную печатью великого духа.

Марсебилль. О, как получилось, что война, желавшая нас разметать, соединила всех нас, и я, дочь врага, стала орудием этого чудесного союза!

Фелицитас. О, как щедро вознаграждены все мои страдания! Кто отказался бы заложить свое сердце под проценты и стать должником горестей, когда спустя годы собственник получает столь громадный доход? Какая редкостная, необыкновенная игра судьбы! Львица похитила одного сына, и ты нашел его, другой пропал в гуще дикого леса, и ты нашел его спустя многие годы. И ни одно облачко более не омрачает светлый день, — тому свидетелем наш старый Клеменс.

Клеменс. Да, милостивый император, мне было тяжело его носить, тяжело донести его сюда, его, купленного за деньги по моей дурости, которую Богу теперь угодно прекратить, к нашему общему удовлетворению. Эта чудесная история о львице и другом Вашем сыне записана (а я-то считал все это сказкой) в книге некоего мэтра Адама, который тогда путешествовал со мною в Иерусалим.

Хорнвилла. Истинная правда, мой красноречивый и усыпительный болтун, — я вел вас тогда через Ливанские горы.

Клеменс. И еще касательно Флоренса, мои милостивые государи, того, кто столько лет считался моим сыном, — в итальянском войске есть человек, он пришел сюда как солдат, — у которого я тогда и купил этого очаровательного карапуза. Войди, мой друг, почтенный Роберт, войди сюда!

Входит Роберт.

Роберт. Да, мой милостивый император, я клянусь, что этого ребенка я продал этому человеку, я взял его у одного рыцаря, который отбил его в лесу у обезьяны. Он убил обезьяну, которую после мы нашли в луже собственной крови; она же, без сомнения, похитила его у нашей милостивой императрицы, когда та спала на берегу ручья. Я должен сознаться, что в те поры занимался не весьма почтенным ремеслом: я дерзко грабил на

большой дороге. Прошу меня простить, поскольку своей солдатской службой я загладил ошибки моей буйной молодости.

Октавианус. Вы все не уйдете от меня без щедрого вознаграждения. Моя супруга, мои возлюбленные сыновья, обнимите друг друга, мои ненаглядные дети, вы, которые уже в столь юные годы обручились со славой.

Флоренс. Я не знаю, то ли леса и горы колеблются, то ли мое сердце настолько опьянено счастьем, жив ли я еще, мне бы хотелось утопиться в потоке радостных слез, окунуться в купель ликования, где, как говорят, обитает вечная молодость.

Октавианус. Для меня остается непостижимым лишь одно: как львица с нашим ребенком очутилась на том острове, где ты нашла ее и ребенка?

Флоренс. Смотри, Марсебилль, как дикая львица, словно собачка, легла у твоих ног и, полная кротости, смотрит тебе в глаза.

Хорнвилла. О, Ваше Величество, вы слишком предаетесь размышлениям. Кто может познать все бывшее с достаточной точностью, если речь идет о детях одного отца? Оно остается областью веры, которая становится в конце концов вашим доверенным лицом. Вы ведь не можете разрезать своих детей на кусочки, чтобы найти внутри записку, гласящую, что вы — их отец? Если вам вера, любовь, симпатия, их сходство с вами, их любовь к вам не объяснили, в чем дело, — что ж, тогда подарите их кому-нибудь, пусть то, что вам не принадлежит, от вас уйдет.

Октавианус. Шут говорит правду; давайте просто радоваться, разве природа, искусство и поэзия не становятся принадлежащими нам только в прекрасном царстве веры?

Хорнвилла. А что касается львицы, то тут есть средство доставки: мы читаем о гигантской птице, которая может понести по воздуху военный корабль с двумя тысячами человек, словно коршун голубку; значит, для нее эта львица вроде комара. Но в высшей степени вероятно, что обычный грифон, так сказать, лев с крыльями, схватил четвероного льва, что часто бывает, и, таким образом, перенес на тот остров; хотя многие мыслители желают признавать подобных грифонов только как элемент сказки.

Входят султан, Арлангес, Лидамас, король Дагоберт, король Эдвард, король Родрик, граф Арманд, Бертран, Роксана.

Дагоберт. Мы все уже прослышали о вашем счастье, и к тому же прошли столь сильные ливни, точно само небо пожелало сойти на землю и взрастить на ней райский сад. Сейчас любая речь будет лишней, — живите долго, чтобы внуки и дети внуков могли рассказывать друг другу эту удивительную повесть, и каждый слушающий попеременно наполнял свое сердце изумлением, радостью и восторгом.

Султан. Раз уж я теперь стал христианином, люблю и ценю вашего Дионисия, отдайте мне обратно моего Понтифера.

Дагоберт. Он — ваш, как и моя любовь.

Арманд. И мне повезло, что я принимаю вас у себя в Провансе, ибо чудесная развязка наступила в этом лесу, в тех местах, которые знают меня как своего господина. Мы хотим богато украсить эти шатры и новые раскинуть среди этих деревьев, яркие и пестрые, — в знак нашей радости, пусть в этих долинах зазвучит приятная музыка, пусть начнется здесь веселое свадебное пиршество, и будет отпразднован прекрасный и хмельной праздник лета, как в старые времена, о которых поется в песнях сказителей, чтобы мы все насладились мирным счастьем. Трубы, звучите на самой громкой ноте, возвестите о счастье, что выпало мне на долю, — принимать здесь столь благородных гостей.

Трубы, музыка!

Хорнвилла. Раз уж все идет так хорошо, позвольте принять здесь одного из друзей человечества из числа маркитантов. О, я вижу женщину! Подай, дитя, одну чарочку вина за хорошую плату, и скажи доброе слово впридачу.

Аливус. О, Иисус всемогущий! Вот этот — в дурацком колпаке и с бубенчиками — мой супруг!

Хорнвилла. Так это ты?! О, причуды судьбы! Ни как турок, ни как христианин, ни как шут не могу я никак скрыться от тебя!

Аливус. Я пришла сюда с войском герцога Льва.

Хорнвилла. Я смотрю сквозь пальцы на твое поведение.

Лев. Отец мой, возлюбленная мать моя, вот та юная дева, о которой я вам рассказывал, она любит меня, я люблю ее, — дайте нам ваше благословение, я отправлюсь с нею в Иерусалим, после смерти Балдуина его трон стал моим.

Лидамас. И ты, дитя мое, возлюбленная Леалия, прими мое благословение и наилучшие пожелания.

Арлангес. И моя дочь, Роксана, выбрала себе молодого рыцаря Бертрана.

Хорнвилла. Как мухи на мед, все слетаются здесь ради желанного супружеского ложа.

Октавианус. И ты, мой сын, ступай с нами в Рим, как наследник моей короны.

Входит Арнульф.

Арнульф. В лесу раздается клич радости и смущает покой тихой кельи; я уже слышал о вашей необыкновенной судьбе, ступайте в Париж, пусть там будет отпразднован пристойным образом при всем народе святой праздник крещения, как назидательное зрелище, тогда подайте руки друг другу в знак супружества.

Дагоберт. Нет, святой человек, пусть все это завершится здесь в лесу, как в лесу и началось. (*Вдали звуки пения, флейт и свирелей.*) Пусть храм любви воздвигнется в лесу!

Процессия пастухов и пастушек.

Пастух. Мы с радостью узнали, благородный граф, что вы вернулись к нам, — мы приветствуем дорогих господ музыкой и пением.

Хор. Над вершинами гор восходит луна в золотом сиянии, она висит, касаясь макушек деревьев, которые стоят в венцах из звезд, тихо шелестя. Скоро поля оденутся мерцанием, небо озарится светлой улыбкой, звезды начнут свое прелестное путешествие по лучезарным кругам, звучит пение соловьев. Храм любви пусть воздвигнется.

В лесу

Солист. Сияющая лунным блеском волшебная ночь, держащая разум в плену, полный чудес мир сказаний, восстань в прежней красоте!

Флоренс. Когда распускаются цветы и веют весенние ветерки, пусть мир распростится с самим собой и вольется в поток любви!

Марсебилль. И потому пусть струится в сердце прохладный ручей улады, умиротворяя сердце; и прелесть приветливо улыбается нам, и в ее взгляде мы видим сияющую лунным блеском волшебную ночь.

Лев. Молитва и любовь даруются сердцу и жизни только в смирении, когда обузданы другие порывы.

Леалия. И, чтобы любовь оставалась в нас, нам дарована верность, она стережет беспокойный мир меняющихся помыслов, пусть верность пребывает непоколебимой, держа разум в плену.

Октавианус. Кто пьян от любви и желает расстаться с самим собой, но так, чтобы жар чередовать с холодом, любовь — с ненавистью, того подкараулит злая судьба и ввергнет в пучину греха.

Фелицитас. Когда он хранит верность в любви, все ему удастся и все сладится, чтобы счастьем и упоением засиял ему полный чудес мир сказаний!

Роксана. Из того, о чем думают, что мыслят духи, куда желания и стремления простирают свои крылья, нельзя найти ничего прекраснее любви, в которой нам улыбается сердце мира.

Хорнвилла. Если долго искра разгоралась, — проявите снисхождение к стихам. Пусть то, что тебе оказалось не по силам, восстанет в прежней красоте!

Пролог (1796)

Впервые опубликован: Tieck L. Ein Prolog // Tieck L. Sammtliche Werke. In 12 Bde. Berlin und Leipzig. Nicolai. 1799. Bd 7. Volksmärchen, II. S. 265–309.

Переведено по изданию: Tieck L. Ein Prolog // Tieck L. Schriften. In 36 Bde. Berlin, 1829. Bd 13. S. 239–266.

Жанровая принадлежность пьесы «Пролог» не была определена Л. Тиком. Мы относим ее к жанру фрагмента, поскольку она представляет собой зарисовку, сценку о зрителях, ожидающих представления. Эта пьеса содержит в себе некоторые теоретические положения Л. Тика о новом театре, а также показывает, каковы ожидания публики, как она оценивает пьесу, полагаясь на чужое мнение. Вообще же, здесь, как и везде у Л. Тика, показана творимая жизнь, которая бьет ключом, невзирая ни на какие преграды и рамки.

Аттенор — имя троянца Аттенора, мифологического основателя города Патания (современная Падуя). Это был один из троянских старейшин, советник Приама, принимавший у себя перед началом войны Одиссея и Менелпа, прибывших на переговоры о возвращении Елены. Герой пьесы У. Шекспира «Троил и Крессида» (1602).

Баал — имя одного из персонажей, восходит к древнееврейскому боже-ству. Ваал (или Баал) — библейское название языческого семитского бога. Означает «господин», «владыка» и соответствует обычному названию Бога у евреев.

Мелантус — имя персонажа связано именем царя из греческой мифологии. Мелант, или Меланф — царь Мессены, а затем Афин. Конечно же, персонаж Л. Тика мало напоминает царя, он пошлый бюргер, который носит модное имя, несколько не заслуженное им.

Скапин — Скапен, комическая характерная роль итальянских комедий: плутоватый слуга.

Шаривари — сумато́ха; ералáш; коша́чий ко́нцёрт.

Швабский диалект — диалект немецкого языка, распространённый в юго-восточной части Баден-Вюртемберга и на юго-западе Баварии (Баварской Швабии). При этом понятие «швабский» нередко используется как синоним «алеманнский».

Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом

В некотором роде продолжение Кота в сапогах.

(1796–1798)

Впервые опубликовано: Tieck L. Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack. Gewissermaßen einer Fortsetzung des gestiefelten Katers. Ein Spiel in sechs Aufzügen [1796–1798]. Leipzig und Jena, 1799. 422 S.

Переведено по изданию: Tieck L. Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack. Gewissermaßen einer Fortsetzung des gestiefelten Katers. Eine deutsches Lustspiel in sechs Aufzügen // Tieck Ludwig Sämtliche Werke. Bd 18. Wien: Verlage den Leopold Grund, 1819. S. 5–370.

Н.Я. Берковский (в своей книге «Романтизм в Германии») считал эту пьесу несценичной, громоздкой, А.А. Морозов (в предисловии к книге «Немецкие волшебные-сатирические сказки», Л.: Наука, 1972) называл ее водянистой и отмечал, что основной мотив этой пьесы — «исцеление от мечтательности» — восходит не столько к пьесе К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам», сколько к «Дону Сильвио» К.М. Виланда, который упоминается в ней.

Адонис — красивый юноша, которого полюбила Афродита. Он был убит на охоте вепрем и превращен богиней в анемон.

Андрокл — римский раб, который бежал от тирании своего господина, римского проконсула в Африке, в Ливийскую пустыню, где встретил хромающего льва, у которого вынул из лапы занозу. В благодарность за это лев сделался верен ему, как собака, и в продолжение трех лет делился с ним своей добычей. У Б. Шоу есть пьеса по мотивам этой легенды «Андрокл и лев».

Аполлон — в данном случае имеется в виду род зерна, связанный с кукурузой. Аполлон — предводитель муз. Наверное, имеется в виду элитный сорт кукурузы, которую мелют Маисник с напарником.

Атилла — имеется в виду такое крепкое зерно, как этот герой. Атилла — правитель гуннов с 434 по 453 год, объединивший под своей властью остальные тюркские, а также германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги.

Афродита — древнегреческая богиня любви.

Берлихинген — герой произведения И.-В. Гёте «Гёц фон Берлихинген». Гёц (Готфрид) фон (1480–1562), немецкий имперский рыцарь. Он оставил подробное описание своей жизни, материалами которого и воспользовался Гёте, ознакомившийся с ними еще в годы своего студенчества в Страсбурге. Во многом образ Гёца близок Дон Кихоту — то же противостояние, «несмотря ни на что», низости и цинизму окружающих. Но в отличие от Дон Кихота Гёц не пародия рыцарства, он сражается не с ветряными мельницами, а с реальным злом.

Брут, Марк Юний — римский политический деятель, самый известный убийца Цезаря. Происходил из плебейского рода. Был другом Цезаря. Возглавил заговор против него.

Бюргер — Готфрид Август Бюргер (Burger, 1747–1794), немецкий поэт, создатель немецкой баллады.

Вейланд — Саксонский кузнец Вейланд — это норвежский кузнец Вёлундр, который вошёл в мифологию Британии. Вейланд был главным ремесленником богов, чьё оружие было такое острое, что оно звенело в воздухе. Со временем Вейланд был связан со множеством древних британских мест и появляется в произведении Гальфрида Монмутского «Жизнь Мерлина».

Вейнберг — городок в Германии.

Вертер — герой романа И.-В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774).

«Гамбургский Корреспондент» — имела в виду газета: Гамбургские штатные и ученые ведомости «Беспристрастный Гамбургский Корреспондент» («Staats und Gelehrte Zeitung dex Hamburgischen unparleischen Korrespondenten»).

Гансвурст — (немецкий Hanswurst, буквально — Ванька-колбаса), комический персонаж немецкого народного театра.

Геликанус — похоже, это персонаж из пьесы У. Шекспира «Перикл» (1609). В немецком переводе (Мангейм, 1783) — «Perikles, Prinz von Tyrus». По-русски имя персонажа переведено как Геликан, у Л. Тика — Gelikanus. По Шекспиру, это тирский вельможа. Само имя этого персонажа — греческого происхождения. Возможно, оно связано с названием горы в Греции — Геликон. Это лесистая гора в Беотии, посвященная Аполлону и музам, которые называются поэтому Heliconides, Heliconiades.

Гинценфельд — имя кота-министра. Гинц — обычное имя кота в немецком языке. Постфикс — «фельд» придает ему аристократичности. Это кот-аристократ.

Гомер — (IX–VIII вв. до н.э.) древнегреческий поэт, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»; традиция приписывает ему также несколько гимнов (Гомеровские гимны) и комическую поэму «Маргит».

«Дары Бога» — Речь идет о просьбе Соломона. Третья Книга Царств. Глава 3, стих 13 — «...и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои...»

«Дон Сильвио фон Розалва» — роман К.М. Виланда. В этом романе Виланд пародирует, по словам А.А. Морозова, «избитые мотивы и художественные средства “сказок о феях”, но не выступает против сказочной фантастики. Чудесное и фантастическое для него не равнозначно абсурду и нелепости. Он нападет на сказку, когда она допускает погрешности против здравого смысла, нарушает внутреннюю логику художественного образа. Только тогда она становится нелепой, а если сопровождается скучным морализированием, то и невыносимой» (Морозов А.А. Немецкая волшебнo-са-

тирическая сказка // Немецкие волшебнo-сатирические сказки / Отв. ред. А.В. Федоров. Л.: Наука, 1972. С. 172).

Клеон — персонаж пьесы У. Шекспира «Перикл». Клеон — правитель Тарса.

Курио — (лат.) редкая, антикварная вещь. Видимо, имя персонажа связано с его редкими душевными качествами.

Курфюрст — в средневековой Германии: владетельный князь, имевший право участвовать в выборах императора.

Леандр — герой поэмы К. Марло «Геро и Леандр», которая написана как продолжение поэмы У. Шекспира «Венера и Адонис». Леандр — юноша из Абидоса, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, жившую в Сесте, расположенном на другом берегу пролива Геллеспонт. Каждую ночь Геро ждала, когда он переплывет пролив и, чтобы ему было светлее, зажигала огонь на башне. Леандр плыл на маяк и добирался до берега. Однажды огонь погас, и Леандр не смог доплыть. Утром его тело прибило к ногам Геро. Увидев его, Геро в отчаянии бросилась в море с башни.

Лисипп — греческий скульптор, вместе со Скопасом и Праксителем вошел в триаду величайших скульпторов классической греческой скульптуры. Завершает эпоху поздней классики (IV в. до н. э.). Лисипп был придворным скульптором Александра Македонского. Колоссальная статуя Зевса работы Лисиппа стояла на агоре Тарента. Тиковский персонаж, по-видимому, назван в честь этого скульптора, чтобы подчеркнуть, насколько он этому имени не соответствует.

Ломбер — карточная игра. В нее играют втроем, поэтому Гансвурст приглашает с собой Лисиппа и Симонида. От этой игры получил название ломберный (т.е. карточный) стол. Двое игроков объединяются против третьего, более сильного, который объявляет игру. Игра напоминает охоту. Таким образом, все в пьесе построено как охота на смысл, на хороший вкус, на умных людей.

Маис — кукуруза.

Медяница — ящерица из семейства веретениц (Anguidae). Ловкий, изворотливый человек, в данном случае.

Натаназль фон Малсинки — принц из «Кота в сапогах» Л. Тика.

Ной — библейский персонаж, который вел праведную жизнь и единственный спасся в ковчеге от Всемирного потопа.

Орки — Орк является божеством подземного царства в этрусской и римской мифологиях.

Поликомикус — волшебник, имя которого, возможно, должно означать «много комичного; разнообразные виды комичного». То есть, возможно, имеются в виду многообразные комические ситуации, в которые он попадает. И сам его вид вызывает много шуток — ослиные уши (признак глупости), огромный рост (у великана Полифема в гомеровской «Одиссее» также был огромный рост и мало ума).

Пролив Дэвиса — Дэвисов пролив, пролив, разделяющий Гренландию и остров Баффинова Земля (канадская провинция Нунавут).

Птица Рух — (Рух или птица-слон) — в средневековом арабском фольклоре огромная (как правило, белая) птица размером с остров, способная уносить в своих когтях и пожирать слонов.

Свифт — англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, философ, поэт и общественный деятель. Джонатан Свифт (1667–1745).

Симонид — персонаж пьесы У. Шекспира «Перикл». Симонид, царь Пентаполисский. Это имя имеет греческие корни. Возможно, оно связано с Симонидом Кеосским (один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список Девяти лириков учеными эллинистической Александрии. Общегреческое признание Симонид получил после Греко-персидских войн, когда воспел знаменитые битвы при Марафоне, Саламине и Артемисии). Тиковский персонаж так же мало соответствует носимому им имени, как и Лисипп.

Софокл — (ок. 496–406 до н.э.), афинский драматург, считающийся наряду с Эсхилом и Эврипидом одним из трех величайших трагических поэтов классической древности.

Стерн — в данном контексте это классическая мука. Лоренс Стерн (1713–1768) — английский писатель.

Трусишка Ганс — Трусливый Ганс, Ганс Заячья нога, Ганс Хазенфус. Прозвище труса.

Уленшпигель — Тиль Уленшпигель — герой средневековых нидерландских и немецких легенд и народных книг. Образ Уленшпигеля — бродяги, плута и балагура — начал складываться в немецком и фламандском фольклоре в XIV в.

Фемистокл — имеется в виду крепкое зерно. Фемистокл — афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, полководец периода Греко-персидских войн (500–449 гг. до н. э.).

Хинес — персонаж, которого увековечил Сервантес. Речь идет о том, что в главе 18 романа «Дон Кихот» рассказывается о том, как Хинес де Пасамонте украл у Санчо Пансы осла. «К вечеру они забрались в самую глубь Сиерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь до тех пор, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плут и вор Хинес де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленных от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони Санта Эрмандад, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если Хинес, заметив наших путников, задумал снова поживиться на их счет. Неблагодарный плут решил украсть у Санчо его серого. (Росинант казался ему ни на что не годной клячей, и потому он не

обратил на него внимания.) И вот, когда наши путники заснули, Хинес подкрался к их стоянке и увел ослика; к рассвету он был уже так далеко, что отыскать его не было никакой возможности» (*Сервантес М. Дон Кихот / Пер. Б. Энгельгардта. М.: Эксмо, 2014. С. 28.*

«Хуго и Хегеса», немецкая народная комедия в различных видах — по словам Рудольфа Кёпке, это шуточная аллегория Л. Тика, которая вводит в пьесу «Метакритику» Гердера. Это полемика с Кантом. Не считая того, что вся пьеса «Принц Цербино» полемизирует с представлением Канта о вкусе, о чем мы уже писали (*Логвинова И.В. Категория вкуса в пьесе Людвига Тика «Принц Цербино» // Мир романтизма / Науч. ред. И.В. Карташова. Т. 15 (39). Тверь: Научная книга, 2010. С. 61–69.* «Метакритика чистого разума» (1799) принадлежит перу И.Г. Гердера, это его выпады против критики чистого разума И. Канта. В газете «Новый гельветский ежедневник» за 1799 год, 27 августа, № LXXIX на стр. 268 упоминается «Метакритика» Гердера, направленная против Канта, в таком контексте: «утреватый Хуго (у Гердера это мысль, имеющая внутренний смысл, Hug, Hugo, Hüge) борется здесь с хитрой юной предводительницей Хегесой (у Гердера, это тайный смысл мысли, руководящий представлением, Hugsä, Hägsä), и готовится к этой борьбе не впервые не сегодня-завтра». Таким образом, возможно, в названии пьесы Л. Тик обыграл борьбу внутреннего смысла с тайным смыслом, о котором идет речь в «Метакритике». Возможно, во времена Л. Тика эти слова были всем известны в контексте какого-нибудь анекдота или шутки о Гердере.

Эндимион — в греческой мифологии знаменитый своей красотой юноша, в которого влюбилась богиня Луны Селена. Царь Элиды.

Этаминонд (ок. 418 до н. э. — 362 до н. э.) — военный и политический деятель Древней Греции, глава Фив и Беотийского союза, внесший большой вклад в развитие военного искусства.

Мир наизнанку

Исторический спектакль в пяти действиях
(1799)

Впервые опубликован: L. Tieck. Die verkehrte Welt. Ein historisches Schauspiel in fünf Aufzügen // *Bambocciaden.*/A.F. Bernerdi. Berlin, F. Maurer, 1799. S. 103–276.

Переведено по изданию: L. Tieck. Die verkehrte Welt. Ein historisches Schauspiel in fünf Aufzügen // Tieck L. Schriften. In 36 Bde. Berlin, 1828. Bd 5. S. 283–433.

Первый перевод на русский язык: Шиворот-навыворот (пер. Ю. Архипов) // *Немецкая романтическая комедия / Сост., вступ. ст. А.В. Карельского. СПб.: Гиперион, 2004.*

А.Л. Бобылева характеризует пьесы-сказки Л. Тика как удивительный случай в истории драматической литературы, когда «театр словно бы целиком умещен в тексте драмы», а прием театра в театре выступает как «форма бытия», «особое состояние времени и пространства, взятых в их связи с человеком (как героем происходящего, так и его зрителем)» (Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX–XX вв. / Отв. ред. М.Ю. Давыдова. М.: РГГУ, 2001. С. 322). Ценным представляется утверждение исследовательницы о том, что сама структура пьесы приобретает философское значение, становится выражением её «формы бытия». Такою, возможно, представлял себе настоящую романтическую комедию и сам Л. Тик — комедию, отражающую многомерность, многозначность жизни, но показывающую не только образ действительности в лицах, а и «театр сознания» зрителя в образе выведенных в пьесе персонажей. Таков зритель, решивший побыть актером в пьесе «Мир наизнанку». Таким образом, романтикам, и прежде всего Л. Тику, нельзя отказать в стремлении воспитать «идеального» читателя/зрителя. Воздействие на зрителя было важным моментом эстетических представлений Л. Тика.

Adagio — (*um.*) тихо, медленно.

Andante Ddur — ре мажор. *Andante* — (итал.) идущий шагом, от *andare* — идти. Термин, обозначающий спокойный, размеренный характер музыки, темп обычного, неторопливого и не замедленного шага.

Crescendo — (*um.*) крещендо, всё громче, с возрастающей силой.

Forte — (*um.*) громко.

Fortissimo — (*um.*) максимально громко.

Piano — (*um.*) тихо, негромко.

Pizzicato — (*um.*) прием звукоизвлечения на струнных музыкальных инструментах.

Tempo primo — *Fortissime* в начальном темпе.

Violino Primo Solo — *Fortissime* соло первой скрипки.

«Абеллино» — «Абеллино, великий бандит» (1793) — роман швейцарского писателя Г. фон Цшюкке (1771–1848).

Адмет — в греческой мифологии фессалийский царь, у которого Аполлон семь лет служил в пастухах, будучи осужден на это Зевсом за убийство циклопов.

Алкеев стих — стих античной метрики, выработанный Алкеем, греческим лириком VII–VI вв. до н. э.

Альцеста — Алкеста, в греческой мифологии жена Адмета, царя Фессалии.

Амброзия — пища богов в греческой мифологии.

Английская болезнь — синоним рахита.

Аполлон — в греческой мифологии бог солнца, покровитель музыки и поэзии.

Арлекин — маска итальянской комедии дель арте. Слуга Панталоне.

Атлас — в греческой мифологии это гигант, который держит на своих плечах небесный свод.

Ауликус и Миртилл — Авлик, Миртилл — Аркадские пастухи. В западноевропейской живописи XVII века получил распространение сюжет «Миртил и Амариллис» на тему пасторальной пьесы итальянского поэта Б. Гварини (1538–1612). *Aulicus (лат.)* — относящийся к двору, дворцовый, придворный.

Бельведерский Аполлон — римская копия статуи Аполлона, которую изваял греческий скульптор Леохар. Установлена в Бельведере при Ватикане, в Риме.

Брузебарт — фамилия кума, подарившего мальчику Вильгельму куклу-Гансворста. Связана с образом бороды, грубой, неухоженной, одним словом, брутальной, как сам Гансворст.

Веста — богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Ей соответствует греческая Гестия.

Вестфальский мир — мирный договор, завершивший Тридцатилетнюю войну, заключенный после сложных и длительных переговоров между враждующими сторонами коалиции австрийских и испанских Габсбургов и противоборствующим антигабсбургским блоком европейских держав. Переговоры проходили в германских городах Вестфалии (отсюда название). Состоял из двух объединенных мирных договоров, подписанных в Оснабрюке и Мюнстере. Окончательный вариант Вестфальского мирного договора подписан 24 октября 1648 в Мюнстере.

Геркулес — Геракл, герой древнегреческой мифологии, сын Зевса и Алкмены. Совершил двенадцать подвигов.

Дамон — (сер. 5 в. до н.э.) греческий софист и музыкальный теоретик из Афин, советник Перикла. Считался учителем Сократа. Был осужден за симпатии тираническому режиму и подвергнут остракизму.

Зельмар — старонемецкое имя, мужской вариант имени Зельма.

Ипокрена — источник, обладавший; по мнению древних греков, свойством возбуждать поэтический дар.

Кёльнер — Давид Кёльнер (ок. 1670–1747) — немецкий композитор, лютист и органист.

Коломбина — одна из масок комедии дель арте. Служанка.

Кох — Генрих Кристоф Кох (1749–1816) — немецкий музыковед, композитор.

Лакедемон — в греческой мифологии лаконский герой, сын Зевса и Тайгеты. Лакедемоном называли Спарту. Письмо, о котором идет речь у Л. Тика, касалось политической карьеры Лисандра. В Спарте появилась достаточно влиятельная антилисандровская коалиция, лидером которой был царь Павсаний. Политические противники Лисандра воспользовались жа-

лобами и протестами. Решающим стало письмо персидского сатрапа Фарнабаза, чья область подверглась разорению.

Леукас — скала, с которой прыгали в море от несчастливой любви.

Лукреций — (95 — ок. 55 г. до н.э.) древнеримский поэт, автор поэмы «О природе вещей».

Марсий — в древнегреческой мифологии сатир, пастух, наказанный Аполлоном за выигранное состязание.

Маттисон — немецкий поэт Фридрих Маттисон (1761–1831), одно из его стихотворений называется «Аделаида», как зовут и героиню Аделаиду, дочь Рабе.

Мельпомена — муза трагедии в греческой мифологии.

Мидас — в греческой мифологии фессалийский царь. Был судьей на состязании в музыке богов Аполлона и Пана, где отдал предпочтение игре Пана, за что Аполлон вытянул ему уши, и они стали у него ослиными.

Миртил — Миртилл, в греческой мифологии сын Гермеса, возничий царя Эномая.

Мопса — пастушок из пьесы Шекспира «Зимняя сказка» (1608).

Навуходоносор — царь Вавилонии. По библейскому преданию, обезумев, вообразил себя быком.

Нептун — в греческой мифологии бог морей.

Панталоне — маска комедии дель арте, скупой, ревнивый и влюбленный старик.

Парнас — священная гора в греческой мифологии. На ней находился Кастальский источник и обитали музы.

Пегас — крылатый конь Зевса в греческой мифологии.

Прокл — Прокл Диáдох, античный философ-неоплатоник, руководитель Платоновской Академии, при котором неоплатонизм достиг своего последнего расцвета. Время жизни Прокла восстанавливается по источникам как 410–485 гг.

Пьеро — персонаж народного театра; тип печального воздыхателя, безнадежно влюбленного в Коломбину.

Рабе — фамилия персонажа, которую можно перевести как Ворон. Господин Ворон. У Л. Тика часто нет границ между людьми и животными. Например, в пьесе «Принц Цербино» собака Конюх становится министром просвещения и все воспринимают ее как человека. Так же, возможно, и господин Ворон — он и человек, и ученая птица ворон. Во всяком случае, такая фамилия у этого персонажа не случайна.

Сизиф — в греческой мифологии коринфский царь, которого за оскорбление богов осудили вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который, достигнув вершины, скатывался снова вниз.

Скарамуз — Скарамуш, Скарамуччо — маска итальянской комедии дель арте. Тип хвастуна и лгуна.

Талия — муза комедии в греческой мифологии.

Тантал — в древнегреческой мифологии лидийский или фригийский царь, обреченный богами на вечные муки (танталовы муки); стоя по горло в воде и видя свисающие с дерева плоды, Тантал не мог утолить жажду и голод, так как вода и плоды оказывались для него недосыгаемыми.

Телеф — в греческой мифологии сын Геракла и Авги.

Ученый фиванец — человек, который мнит себя много знающим (реминисценция из пьесы Шекспира «Король Лир» (действие 3-е, сцена 4)).

Филис — персонаж пасторальной поэзии. Поэтическое название пастушки. В переводе с латинского языка — возлюбленная.

Хор Данаид — из трагедии Эсхила «Просительницы». Данаиды, образующие хор, благодарят богов нового своего отечества за спасение от ненавистных женихов. Данаиды (дочери Даная), бежавшие от своих двоюродных братьев, сыновей своего дяди, из Египта, хотевших насильно взять их в жены, ищут убежища в Аргосе и садятся как молящие о защите просительницы у жертвенников перед городом. Аргосский царь Пеласг некоторое время колеблется между опасностью подвергнуться нападению женихов Данаид и боязнью навлечь на себя гнев богов отказом в покровительстве севшим у жертвенников. Мольбы дочерей Даная и решение аргосского народного собрания торжествуют над его робостью.

Штернгейм и *Фуксгейм* — персонаж романа Гриммельсгайзена «Симплициссимус», который был отцом главного героя, — дворянин Штернфельс фон Фуксгейм, который потом стал отшельником. Намек на то, что дворяне Штернгейм и Фуксгейм так же комичны, как их прототип.

Элизиум (Элизий) — в греческой мифологии царство теней.

Автор

Рождественский шванк
(1800)

Впервые опубликовано: Der neue Hercules am Schedewege, eine Parodie // Poetische Journal. Hrsg. von L. Tieck. Jena, 1800.

Переведено по изданию: Tieck L. Der Autor. Ein Fastnachts-Schwank // Tieck L. Schriften. In 36 Bde. Berlin, 1829. Bd 13. S. 267–334.

«Аврора, или Утренняя заря» — произведение Якоба Бёме. Полное название этой книги: «Аврора, или Утренняя заря в восхождении, или Корень или мать философии, астрологии и теологии, или Описание природы, как все было и как стало в начале: как природа и стихии стали тварными, также об обоих качествах, злом и добром; откуда все имеет свое начало, и как пребывает и действует ныне, и как будет в конце сего времени; также о том, каковы царства Бога и ада и как люди в каждом из них действуют тварно; все на истинном основании и в познании духа, побуждении Божиим при-

лежно изложено Якобом Беме в Герлице, в лето Христово 1612, возраста же его на 37 году, во вторник, в Троицын день».

«Женская комната» — «Разговорные игры дам» («Frauenzimmer Gesprächspiele») (1641–1649). В 8 т. (салонные игры в диалогах, «если угодно, дамская энциклопедия в развлекательной форме»). Автор этого произведения — Георг Филипп Харсдёрффер (1607–1658) — немецкий писатель эпохи барокко: прозаик, поэт, переводчик, эрудит.

Картинки Гилрея — Джеймс Гилрей (1757–1815) — британский художник и гравёр, более всего известный как автор сатирических политических карикатур. Для большинства его произведений характерны большой гротеск и яркая палитра красок. Мишенью для высмеивания Гилрея становились многие представители британской аристократии, король Георг III, а впоследствии — французский император Наполеон I.

Коцебу — Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761–1819) — немецкий драматург и романист, был на русской службе в Остзейском крае; потом в Германии, был директором придворного театра в Вене и написал ряд популярных драм благодаря сценичности и пониманию вкусов толпы. В своё время он был популярнее Гёте или Шиллера.

Лессинг — Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель. Основоположник немецкой классической литературы.

Одер — река, которая пересекает Западную Европу. Она протекает по Чехии, Польше, Германии, впадает в Балтийское море.

«Поэтический журнал» — Л. Тик издавал «Поэтический журнал», в одном из номеров которого вышел фрагмент «Автор» под названием «Геркулес на распутье» «Геркулес на распутье» — это известный сюжет в мировой культуре: аллегория выбора между двумя жизненными путями — добродетели и порока. Добродетельный путь всегда труден, но ведет к славе. Путь порока — легок и привлекателен, но ведет к ложной славе. Выражение «Геркулес на распутье» применимо к человеку, затрудняющемуся в выборе между правильным и приятным.

Стародум — буквально старый франк (Altfrank), старомодный человек. В отличие от Стародума в пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль», это персонаж сатирический (в старомодной одежде, с грохотом топающий по лестнице и громко орущий):

Фауст — поэма И.-В. Гёте «Фауст».

«Часы отдыха» — имеется в виду сборник «Часы отдыха для бодрости и домашнего счастья» («Ruhestunden für Frohsinn und häusliches Glück»). Bd 1. Hrsg. v. J.K. C. Nachtigal und J.G. Hoche. Bremen: Wilmans, 1798).

Шванк — это жанр немецкой городской средневековой литературы. Это юмористический рассказ в стихах, а позднее и в прозе, сатирического и назидательного характера.

Штернвальд — «Странствия Франца Штернвальда». Старонемецкая история, изданная Людвигом Тиком.

Якоб Бёме — (1575–1624), немецкий христианский мистик, провидец, теософ, родоначальник западной софиологии (учения о «премудрости Божией»).

**Анти Фауст, или
История одного глупого черта**
Фрагмент
(1801)

Впервые опубликовано (и по этому же источнику переведено): Tieck L. Anti-Faust oder Geschichte eines dummen Teufels. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen mit einem Prologe und Epiloge. Fragment // Tieck L. Nachgelassene Schriften. In 2 Bde. Leipzig, 1855. Bd 1. S. 127–159.

Веймар — город, который сыграл важную роль в развитии немецкой культуры. Расположенный в Тюрингии на 25 км восточнее от Эрфурта, сотни лет он был духовным центром Германии. Неразрывно связаны с этим городом имена И.-В. Гёте, Ф. Шиллера, И. Гердера и Ф. Ницше.

...верхом на своем коте в медной гравюре вырезает — существует такая гравюра на Гофмана — у Сафански Рюдигера в книге «Гофман», серия ЖЗЛ, есть картина: Гофман верхом на коте Мурре борется с обывателями.

Виланд — Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) — немецкий писатель Просвещения. Просветительный роман воспитания «Агатон» (1766), сатирический роман «История абдеритов» (1774), фантастическая поэма «Оберон» (1780), издатель первого в Германии журнала литературы и искусства «Германский Меркурий», представитель одворянившихся слоёв немецкой буржуазии XVIII века.

Гальванизировать — это слово имеет несколько значений. 1. Пропустить электрический ток через что-либо. 2. Покрывать металлической плёнкой поверхность какого-либо изделия методом электролиза в защитных, декоративных и т.п. целях. 3. Перен. Проявлять бесплодные старания оживить, воскресить что-либо умершее, отжившее. В данном случае, у Л. Тика, имеется в виду, что души не участвовали в опытах с электрическим током, не интересовались новейшими открытиями науки.

Геновева — имеется в виду легенда о святой Геновеве или сочинение Л. Тика «Жизнь и смерть святой Геновевы». Геновева — персонаж народной книги и легенд, пфальцграфиня, жена Зигфрида, который уходит на войну с неверными, оставив ее на попечении молодого управителя замка Голо. Этот образ привлекал внимание немецких драматургов до Тика и после него.

Гетеродоксия — (греч., от heteros — другой, dokeo — думаю, верю). Мнение, считаемое ересью.

Друзья шутки и сатиры — И.Д. Фальк издавал «Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre» (1797–1806), о котором и говорит Сатана. Это было «Издание для друзей шутки и сатиры».

«Лаузиада» — *«Лаузиада. Героическая поэма в пяти песнях, перевод с английского Петера Пиндара»* в *«Записных книжках» Фалька за 1801. С. 1.* — название этой поэмы связано с вшами: высмеивая Фогта, Маркс называет его брошюру «Мой процесс против „Allgemeine Zeitung“» «Лаузиадой» («Lausiade»), т.е. «Вшивиадой» (от немецкого слова «Lause» — «вошь»), по аналогии с сатирической поэмой английского поэта конца XVIII в. Питера Пиндара «The Lousiad» — «Вшивиада» (от английского слова «louse» — «вошь»). Поэтому Аристофан и говорит, что Фальк ловит вшей, в отличие от честного Ганса Сакса, который не ворует у англичан сюжеты.

Люцинда — героиня романа Фридриха Шлегеля «Люцинда» (1799).

Старик, поучающий Брута, — имеется в виду Цицерон, который оказал огромное влияние на Брута в тот период, когда он замыслил убийство Цезаря.

Фальк — Иоганн Даниэль Фальк (Johannes Daniel Falk) (1768–1826) — немецкий писатель и общественный деятель.

«Фауст на Востоке» — роман Фридриха Максимилиана Клингера (1752–1831), немецкого писателя, поэта, драматурга и генерала российской армии. В 1771 примкнул к группе революционно настроенных поэтов во главе с И.-В. Гёте, которая вскоре стала средоточием бурного и порой экстравагантного движения, известного под названием «Буря и натиск», восходящим к пьесе Клингера «Буря и натиск» (1776). Творчество писателя почти целиком посвящено социальной проблематике, его излюбленная тема — конфликт между индивидом и обществом. Расцвет творчества Клингера-прозаика приходится на годы, проведённые в России. С 1804 по 1817 г. Фридрих Клингер занимал должность попечителя Дерптского учебного округа, под его управлением находился и Дерптский (Юрьевский) университет. За свою деятельность на ниве просвещения Клингер был удостоен в 1809 г. ордена Св. Владимира 2-й степени, а в 1811 г. произведён в генерал-лейтенанты. Выполняя свои обязанности, в свободное время Клингер написал ряд произведений, среди которых — «Фауст стран Востока» (1797), «История немца новейшего времени» (1798), биографические материалы «Наблюдения и мысли, относящиеся к различным предметам мира и литературы» (1803-1805).

Хочу совсем порвать все связи с Сатаной — самоцитата у Л. Тика. В упоминаемой в «Анти-Фаусте» книге Л. Тика «Принц Цербино» таким же образом связи с Сатаной хотел порвать волшебник Поликомикус.

Кайзер Октавиан Комедия в двух частях (1801–1803)

Впервые опубликовано: L. Tieck. Kaiser Octavianus. Ein Lustspiel in zwei Teilen. Jena, bei Friedrich Frommann, 1804. 499 S.

Переведено по изданию: L. Tieck. Kaiser Oktavianus. Ein Lustspiel in zwei Teilen // L. Tieck. Schriften. In 36 Bde. Berlin, 1828. Bd 1. S. 3–421.

Это двухчастная драма для чтения. Она такая же большая, как «Принц Цербино», и предназначена больше для чтения, чем для постановки на театре. В этой пьесе мы снова встречаемся с музыкальными жанрами и тональностями, как и в «Мире наизнанку». Но на этот раз это не оркестр, а полный музыкальный беспредел. Эпическая Поэма скачет на коне и всё её содержание с ней мило беседует, распевает песни и наслаждается полной творческой свободой. Недаром об этой пьесе Л. Тика Н.Я. Берковский писал, что это «литература, обращенная к созерцающему глазу, сценарий, остающийся в пределах литературы, не притягивающий, чтобы по тексту его когда-либо разыграли спектакль» (*Берковский Н.Я.* Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 208). В этой пьесе «все находится во внешнем и внутреннем движении, всюду господствует относительность, великое становится малым, сильное слабым, прекрасное смешным, и обратно, все опять готово перейти от худшего к лучшему» (Там же. С. 207). Конечно, ничего общего выведенный в этой комедии Август Октавиан не имеет с реальным Октавианом. Это просто аллегорические образы рыцарей, средневековых поэтических жанров, отвлеченных понятий, пронизанные поэзией. Это как бы поэтический единый взгляд, которым Л. Тик охватывает любимое им Средневековье. При этом в пьесе есть повторяющиеся сюжетные ходы: Фелицитас и Антонелла в разных эпизодах входят в Иерусалим с ребенком на руках; Октавианус обвиняет Фелицитас в измене, и Хорнвилла обвиняет в измене Алибус. Сюжет как будто формируется на глазах у читателя (видна творческая «кухня» новой романтической мифологии): в разных вариантах одно и то же рассказывает Эпическая Поэма, а потом разыгрывают в диалогах персонажи.

Абиссиния — Эфиопия.

Александр Великий — Александр Македонский (356–323 до н.э.), царь Македонии, основатель мировой эллинистической державы.

Антон — по-видимому, это Антонио из оперы Л. Керубини «Два дня, или Водовоз» (премьера в 1800 г.).

Аполлodor — персонаж пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра», спасающий Клеопатру.

Арлангес — дон Арлангес, принц Испанский из романа Сервантеса «Дон Кихот».

Арнульф — Арнульф Мецкий (582–641), франкский политический и церковный деятель, епископ города Меца, прародитель династии Каролингов, канонизированный католической церковью.

Артур — король Артур, предводитель рыцарей Круглого стола.

Балдуин — имя нескольких членов правившего во Фландрии графского дома, которые, отправившись на Святую Землю как крестоносцы, стали в

XII в. иерусалимскими королями, еще двое были императорами Латинской империи в XIII в. Однако у Л. Тика имеется в виду собирательный образ, а не какой-то конкретный Балдуин.

Беллона — древнеримская богиня войны, входила в свиту Марса, богиня защиты Родины, богиня подземного мира. Имеет древнесабинское происхождение. Её имя произошло от *bellum* или *duellum* — «война».

Василиск — зооморфное мифологическое существо, убивающее взглядом или дыханием.

Венус (Венера) — богиня любви в римской мифологии, слово приходит из латинского и дословно переводится как «любовь» или «страсть».

Галлия — Римское название исторической части Европы, ограниченной руслом реки Рубикон, Апенниннами, руслом реки Макра, побережьем Средиземного моря, Пиренеями, Атлантическим океаном, руслом реки Рейн и Альпами.

Граф Арманд — по-видимому, это персонаж из оперы Л. Керубини «Два дня, или Водовоз».

Дзагоберт — в 622 году был поставлен отцом королём Австразии (северо-восточная часть франкского государства Меровингов, в противоположность юго-западной части — Нейстрии).

Дионисий — святой Дионисий, имя нескольких святых и церковных деятелей раннехристианской эпохи. В первые века христианской эры это имя получило широкое распространение.

Дитрих Бернский — герой германского цикла эпических сказаний («Песня о Нибелунгах», поэмы XIII в.: «Бегство Дитриха» (или «Бернская книга»), «Равеннская битва», «Смерть Альпхарта», «Песнь об Экке», «Лаурии»; норвежская «Сага о Тидреке» (около 1250 года).

Евфрасия — имя святой мученицы Евфрасии из Никомидии.

Зигфрид — один из героев германо-скандинавской мифологии и эпоса, герой «Песни о Нибелунгах».

Иоахим — немецкая, голландская и скандинавская форма библейского имени Иоаким (Яким, Аким): Святой Иоахим — отец Девы Марии. Иоахим — аббат монастыря во Флоре, в Калабрии, автор мистических сочинений

Кайзер Октавиан — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, древнеримский политический деятель; основатель Римской империи. Август является одним из действующих лиц пьесы Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра». Можно сказать, что это своего рода продолжение «Принца Цербино», где звучит намек на «Антония и Клеопатру» из уст Иеремии, цитирующего странствующим подмастерьям (судя по всему, актерам) отрывок про облака.

Клаудиус — такой персонаж (Клавдий) есть в пьесе У. Шекспира «Гамлет».

Кобольды — домовые и духи-хранители подземных богатств в мифологии Северной Европы.

Купидон — в древнегреческой мифологии божество любви.

Лев — сын Октавиана. Намек на Ричарда Львиное сердце. А также намек на роман Кретьена де Труа «Ивэйн, рыцарь со львом».

Ломбардия — северная Италия, тут жило племя лангобардов.

Магомет — в пьесе имеет в виду не совсем мусульманский пророк Мухаммед. Это Магомет языческий. Один из персонажей упоминает статую золотого Магомета, как будто речь идет о языческих божках.

Маркитанты — мелкие торговцы, сопровождавшие войска в походах в европейских армиях (особенно французской).

Марсебилль — по-видимому, это имя взято из оперы Л. Керубини «Два дня, или Водовоз». Там есть Марцелина.

Мегера — в древнегреческой мифологии самая страшная из трёх эриний, богинь мщения, дочь Эреба и Нюкты.

Монмантр — район Парижа, на месте которого раньше было древнеримское поселение. Представляет собой 130-метровый холм.

Нубии — По сведениям из словаря Брокгауза и Ефрона, Нубией называли то всю область Нила к югу от Египта до Абиссинии и страны озер, то пространство между Ассуаном и устьем Атбары, то к стране древних нобадов, или нубов («Уади Нуба»). «Нубией в собственном смысле называется обыкновенно область среднего течения Нила, до впадения Атбары и эфиопских предгорий; более южная часть Нильского бассейна называется Верхней Нубией, иногда Суданом (прежде, в XVIII в. — Сеннаром)». Оставалась христианским регионом до самого конца Средневековья. Нубийская церковь управлялась коптской Египетской церковью.

Парсифаль — рыцарь, герой стихотворного рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (1198–1210), а также романа Кретьена де Труа «Парсифаль».

Парфия — древнее государство в Азии (около 250 до н. э. 20 е гг. III в. н. э.). Возникло к югу и юго востоку от Каспийского моря, в середине I в. до н. э. подчиняло обширные территории от Месопотамии до границ Индии.

Пасквин — в древние времена, остроумный римский башмачник. Итальянское имя.

Петин — имя, намекающее, по-видимому, на Пипина Ланденского, который был одним из тех представителей австразийской знати, которые, враждая с Брунгильдой, пригласили в Австразию короля Нейстрии Хлотаря II.

Понтифер — горячий конь, который позже упоминается у Гофмана в «Повелителе блох», видимо, заимствованный у Л. Тика. По-видимому, Л. Тик придумал это имя коню, по аналогии с именами коней и мечей в скандинавских сказаниях (в Старшей Эдде или Младшей Эдде).

Прованс — область на юго-востоке Франции. У Л. Тика Прованс выступает как символ рыцарской, куртуазной культуры.

Рихард — король Ричард Львиное Сердце. У Л. Тика он только отдаленно напоминает знаменитого короля Ричарда.

Родрик (Родерик) — один из святых Кордовы (Испания).

Роксана — имя бактрийской жены Александра Македонского. Бактрия — восточная часть Персидской империи, современные территории северного Афганистана, южных областей Таджикистана, Узбекистан.

Ромул и Рем — легендарные братья — основатели Рима.

Рустикус (Рустик) — пресвитер, раннехристианский святой, почитаемый как священномученик. Согласно преданию, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием (Элевтерием).

Святой Михаил — Архангел Михаил, главный Архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам.

Сен-Жермен — предместье Парижа на берегу реки Сены, где находился королевский дворец.

Султан Вавилона — так в Европе называли мамлюкского султана Египта, Ал-Гури (1250–1517), который протестовал против плохого обращения короля Испании с маврами Андалусии, принуждавшего мавров принимать крещение. Султан призывал Папу использовать свой авторитет, чтобы положить конец всем этим безобразиям и угрожал в случае, если его требование не будет выполнено, отомстить христианам Египта и Сирии.

Тристан — персонаж средневекового рыцарского романа XII века (например, Т. Мэлори «Смерть Артура»). Средневековая легенда о любви юноши Тристана из Леонуа и королевы корнуэльской Изольды Белокурой относится к числу наиболее популярных сюжетов западноевропейской литературы.

Урсус, брат Валентина — святой Урс Равеннский, епископ Равенны (379–396). Валентинов было несколько: римского священник, обезглавленный ок. 269 года; а также епископ Интерамны (совр. Терни), и мученик, пострадавший в Римской провинции Африка. О том, что у Урсуса есть брат, источники умалчивают.

Фелицитас — имя жены Октавиана намекает на то, что она счастливая и приносит счастье. В переводе с латинского языка, это имя означает «счастье, удача, успех».

Феникс Аравийский — птица, бесконечно возрождающаяся из пепла, в христианской символике феникс связан с бессмертием души и воскресением.

Фортуна — древнегреческая богиня случая и судьбы.

Халдея — область на северном побережье Персидского залива. Здесь находился город Ур Халдейский. Со временем слово Халдея стала служить обозначением для всей Вавилонии.

Хорнвилла — крестьянин, который позже упоминается у Гофмана в «Записках Кота Мурра», как знаменитый Хорнвилла.

Эдип — царь Фив, сын Лая и Иокасты. Оракул предсказывал Лаю, что если он женится на Иокасте, то умрёт от руки своего сына. Ослушавшись

предсказания, Лай женится на Иокасте. Намек у Л. Тика на то, что он не разгадал загадку, значит, что он не расшифровал предсказания оракула.

Элевтерий — Святой Элевтерий (?–185/193), епископ Рима. В годы понтификата Элевтерия были гонения на христиан, вдохновителем которых был Марк Аврелий, но в самом Риме они не имели столь широкого размаха. Элевтерий продолжил борьбу против гностиков и марционитов.

Элигиус (Элигий) — (ок. 588–658/659), христианский святой, просветитель Фландрии. Достиг большого влияния при дворе короля Дагоберта, которое употреблял на пользу церквей, монастырей и бедных. По смерти короля Дагоберта Элигий был вынужден вступить в духовное звание, а затем принял сан епископа Нойонского. В этом сане он пользовался большим влиянием на церковные дела Франкского государства и проповедовал евангельское учение варварам на бельгийском берегу.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Логвинова И.В.</i> Сказка и легенда в пьесах Л.И. Тика	5
Пролог (1796)	15
Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом (1796–1798).....	34
Мир наизнанку (1799)	227
Автор (1800)	298
Анти Фауст, или История одного глупого черта (1801)	350
Кайзер Октавиан (1801–1803)	373
Комментарии	541

Литературно-художественное издание

Людвиг Иоганн Тик

Комедии и драмы

Составление, перевод *И. Логвинова*

Оформление *Ю. Верповская*

Корректор *А. Конькова*

Сдано в набор 10.09.2015

Подписано в печать 15.10.2015

Формат 60×90/16

Объем 35 печ. л.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз., Заказ 4096.

ООО «Русский импульс»

E-mail: rus-impulse@mail.ru

www.rus-impulse.ru



Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «ПОЛИГРАФТОРГ»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

В книге собраны впервые переведенные комедии и драмы Людвиг Иоганна Тика (1773–1853): «Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом», «Автор», «Пролог», «Мир наизнанку», «Кайзер Октавиан», «Анти-Фауст, или История о глупом черте». Все тексты снабжены научными комментариями. Издание сопровождается вступительной статьей «Сказка и легенда в пьесах Л. Тика».

Мир комедий Л. Тика необыкновенный, сказочный, полный самоиронии, игры, приключений, аллюзий на средневековые народные книги, мифы, и мы хотим надеяться, что нам удалось отразить его в русском переводе. Перевод иногда очень близок к тексту и в чем-то несовершенен художественно, но он — первый и открывает русскоязычному читателю волшебный мир Людвиг Тика, как тот однажды открыл немецкоязычному читателю творчество М. Сервантеса и У. Шекспира. Книга адресует исследователям, преподавателям литературы, детям старшего школьного возраста и студентам гуманитарных вузов.

